Мухтар Магадин

ГОЛУБОЕ МАРЕВО

Голубое марево

Мухтар Муханович Магауин

Аннотация
Голубое марево
ГОЛУБОЕ МАРЕВО. Роман
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
ЭПИЛОГ
ПОВЕСТИ
ДЕТИ ОДНОГО ОТЦА
ИСТОКИ
ПРИТОК ПЕРВЫЙ. ЗИГФРИД, СЫН АХМЕТА
ПРИТОК ВТОРОЙ. НАРТАЙ И ЕРТАЙ
ПРИТОК ТРЕТИЙ. ЯКОВ-ЖАКЫП
РУСЛО
СМУГЛЯНКА
ГИБЕЛЬ БОРЗОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

РАССКАЗЫ
- В СУМЕРКАХ
- ЗИМОВЬЕ В ГЛУШИ
- НОЧНЫЕ ГОСТИ
- ЛИВЕНЬ
- НЕПРЕДВИДЕННАЯ ВСТРЕЧА
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- СТРОПТИВАЯ
- ПОСЛЕ АЛТЫБАКАНА
- БЕЗ ХОЗЯИНА
- СЧАСТЬЕ ТУЛЫМХАНА
- АРХИВНАЯ ИСТОРИЯ
- НАШ РОДСТВЕННИК, ДЯДЯ МОИХ ДЕТЕЙ
- МАТЕРИ
- СИЗЫЙ ГОЛУБЬ

МИР ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Аннотация

Роман «Голубое марево» увлекательно повествует о судьбе молодого аспиранта-востоковеда Едиге. Читатель охотно познакомится с полной труда жизнью аспирантов, с картинами студенческих будней. В книгу также включены повести и рассказы, посвященные проблемам взаимоотношений аула и города, нравственных обязанностей человека.

Голубое марево

БИБЛИОТЕКА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

МУХТАР МАГАУИН

ГОЛУБОЕ МАРЕВО

РОМАН. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Перевод с казахского

"ИЗВЕСТИЯ"

МОСКВА • 1985



Мұхтар Мағауин

ГОЛУБОЕ МАРЕВО
Роман

Тебе ли бояться пламени!..

Гете. «Фауст»



1

Он хотел раздеться, сбросить пальто, но у вешалки задержался, уловив за неплотно прикрытой дверью рокочущий профессорский баритон:

— Да помилует вас аллах, дорогой!.. Что за ерунду вы тут нагородили!..

Едиге замялся, пальто нерешительно повисло в его руке. «Да помилует вас аллах, дорогой!..» Уж он-то знал: когда профессор пускает в ход подобные выражения, безопасней не попадаться ему на глаза.

— Он ждал тебя, — ободряюще улыбнулась тетушка Алима и перехватила пальто у него из рук. — Чужих никого нет, проходи. — Она легонько подтолкнула Едиге к двери.

Он собрался с духом и переступил — нет, п р е о д о л е л! — порог.

Профессор крупными, стремительными шагами расхаживал по своему просторному кабинету. Впрочем, сейчас кабинет вовсе не казался просторным, — напротив. Разгневанному Азь-аге явно не хватало места. Полы полосатого халата, небрежно наброшенного на плечи, при каждом повороте бурно развевались, цепляя то спинку

кресла, то ножку торшера, то выдвинутый из стола ящик с разбухшими папками. Резкие движения и порывистые жесты мало гармонировали с громоздким, тяжеловесным, как у верблюда-атана, телом профессора. Багровая краска заливала не только лицо, но и огромную, от лба до затылка, лысину. Сивые от седины брови накрывали глаза косматыми козырьками. Казалось, они едва сдерживают готовое плеснуть наружу пламя.

У письменного стола, спиной к двери, в виноватой и смиренной позе, стоял тот, на кого был обращен профессорский гнев. Собственно, Едиге в первое мгновение померещилось, что там, на фоне окна, странным образом повис в пространстве отлично сшитый, новый, с иголочки, коричневый костюм. Лишь черный хохолок волос над белой полоской жестко накрахмаленного воротника, выступавшего из-под пиджака, напоминал о голове, заставляя предположить, что голова эта низко опущена, так низко, что трудно объяснить, каким чудом она еще держится на шее.

— Чепуха! — гремел профессор, потрясая сложенными в пачку листами. Он держал их за самый кончик и встряхивал с таким ожесточением, будто выколачивал пыль. — Сущая

чепуха! — Остановившись посреди комнаты, он впился в рукопись, то ли не замечая вошедшего Едиге, то ли попросту не обращая на него никакого внимания. — «Визири были рогами теми…» Да, вот эта строчка! И дальше: «Отсюда следует, что визири во дворце не давали поэту житья, кололи его беспрестанно, как рогами, своими лживыми выдумками и сплетнями, пока, наконец, не поссорили с ханом…» Да будет вам ведомо, дорогой мой, что Ногайской ордой правили не чингизиды, а потомки Едиге-бия, и поэтому правитель орды имел титул не хана, а «улы бия», то есть великого князя, и его главный министр именовался не «визирем», а «нурадыном». Это же азбука, дорогой, она известна любому школяру, если он увлекается историей литературы и фольклором… Теперь вам ясно, почему эта ваша, так сказать, гипотеза о рогах и визирях гроша медного не стоит?..

— Азь-ага, вы, наверное, правы, я не сумел разобраться… Сложный текст… — промямлил обвиняемый, не поднимая головы. — Только там… — Он запнулся. — Там так и написано: «Визири…»

Едиге, уже догадавшись, что коричневый костюм и черный хохолок принадлежат доценту Бакену Танибергенову, пытался вникнуть в суть

спора, тихонько примостясь в уголке на стуле.

— «Визири…» — негодующе усмехнулся профессор. — А я вам говорю — в Ногайской орде визирей не существовало, и в тексте не может быть этого слова! Вы попросту напутали! Вы здесь все, с начала и до конца, переписали с ошибками! Вот, полюбуйтесь: «Черный кунан без гривы — как айыр без скота», то есть «жеребец-трехлетка без гривы — как вилы без скота…» Это какому же воину в те времена, собираясь в поход, приходило в голову седлать молодых кунанов-трехлеток?.. Или вам все равно — что боевой конь, что кунан, что осел?.. Седлали, мой дорогой, крепких, выносливых коней, пригодных для дальних переходов, и в тексте, несомненно, сказано не «кунан», а «кула», не «айыр», а «ер», хотя в соответствии с арабским письмом слово начинается с буквы «алиф»… И в результате выходит, примерно, так: «Темно-саврасый без гривы — как молодец без скота…» Почему, объясните мне, ученые, исследующие русскую литературу, обычно владеют несколькими языками, отлично знакомы с историей… Вы же… И подобные вам… Свистом, так сказать, скалы раскалываете, а сами простейших вещей не знаете!.. И не считаете нужным знать! Если ребенок едва-едва считает на пальцах, но не

усвоил четырех арифметических действий, его не переведут из первого класса во второй. Зато наши «высокочтимые» желают стать докторами наук, так и не научившись считать до десяти!..

Азь-ага подошел к столу, опустился устало в широкое кресло.

— Пишите, — буркнул он.

Бакен в одно мгновение оказался по другую сторону стола, на краешке стула, над чистым листом бумаги, с зажатой в пальцах авторучкой, весь — внимание, весь — преданность, готовность ловить каждое слово, как домашняя собачка — хватать лакомые кусочки с хозяйской руки.

— Кадыргали Жалаир, сборник летописей «Жамиг-ат-тауарих», Казань, тысяча восемьсот пятьдесят первый год, — прикрыв глаза, терпеливо диктовал профессор. — «Записки Оренбургского отделения Императорского Русского Географического общества», тысяча восемьсот семьдесят пятый год, выпуск третий… Загляните в седьмой том Радлова. Да не в «Словарь», а в «Образцы литературы…» Надо немало покорпеть, чтобы конкретно представить ту эпоху… Затем Перетяткович, Смирнов В. Д., они писали о Крымском ханстве. Далее… литература по истории калмыков…

«Напрасно Азь-ага все это втолковывает Бакену, — подумал Едиге, так и не решив, удобно ли, что он присутствует при разговоре профессора с доцентом, и не лучше ли было бы выскользнуть из кабинета столь же незаметно, как он тут и появился. — Ведь не зря говорят: «Разжеванная пища не идет впрок».

— …Иакинф. Не лишний труд — проштудировать его полностью. Пока достаточно. Идите и постарайтесь не осрамить ни меня, ни кафедры, как в прошлом году, когда двоих Сейдалиных превратили в одного человека. Все смеялись, а мне плакать хотелось. — Профессор помолчал и, словно забыв о Бакене, сидевшем напротив с тем же преданным вниманием на лице, начал рассеянно ворошить лежавшие на столе газеты. — Хорошо бы прочесть кое-что из работ Хатто, Чедвиков… Но для этого надо знать английский, немецкий… Сомневаюсь в том, что вы разберетесь толком хотя бы в казахских текстах, записанных арабской графикой…

— Не беспокойтесь, Азь-ага. На третьем курсе у нас учится студент родом из Джунгарии… Неплохо в будущем оставить его в аспирантуре…

— Отчего же… Если у него способности…

— Способности?.. Возможно, есть и способно-

сти… Правда, он задолжал мне один зачет…

— Тогда что же? Он владеет китайским? — Профессор перебирал газеты уже с едва скрываемым раздражением. — Нам нужны филологи, которым известен китайский язык.

— Китайский язык?.. Вообще-то рос он в казахском ауле… Вот арабский шрифт — другое дело, он знает его как свои пять пальцев.

— Арабский шрифт?

— Вот именно!

— Что ж… Сходите с ним в библиотеку, пускай выправит ваши ошибки…

— Все будет исполнено, Азь-ага. Все ваши советы, все указания… Спасибо! Тысячу раз спасибо!

Бакен поднял с пола прислоненный к столу кожаный портфель, отливающий тусклым глянцем, щелкнул блестящим замочком и аккуратно опустил внутрь листок со списком литературы. Потом, не закрывая портфеля, посидел в нерешительности, придерживая его на раздвинутых коленях.

— Ваши советы для меня всегда были советами старшего брата, — проговорил он, вставая. — Все ваши советы и указания… («Повторяется», — с ехидством отметил Едиге про себя.) — Вы сегодня отбываете на международный симпозиум

востоковедов? — Он продолжал держать перед собой, на уровне живота, открытый портфель. Слова «международный симпозиум» он произнес торжественно, даже слегка нараспев.

— Нет, — ответил профессор, — симпозиум откроется после Нового года. До того я еще поработаю пару месяцев в казанских и ленинградских архивах.

— Мы приедем вечером в аэропорт, — сказал Бакен. — Проводить вас…

Профессор поморщился. «Ни к чему, пустые хлопоты», — понял Едиге.

— Ну нет, уж тут позвольте с вами не согласиться, — улыбаясь и заметно смелея, возразил Бакен. — Уж если на заботы старшего брата младшие братья не отвечают даже столь малым уважением, значит, они не достойны называться младшими братьями…

«Сейчас… — подумал Едиге. — Сейчас он рассердится… Оборвет Бакена и такое выдаст…» Но Азь-ага молчал.

— Если мы значим что-нибудь в жизни, то лишь благодаря вам, — не унимался Бакен. — Если бы мы хоть на минуту об этом забыли, то ничего бы не стоили — ни как люди, ни как ученые.

«Пережал, — отметил Едиге, — пережал, «до-

рогой», и загнул лишку…» Профессор, словно соглашаясь с ним, опять сморщился, взмахнул рукой. «Как же, много радости считать такого своим учеником! — перевел его жест Едиге. — Иди и скройся с глаз моих!»

Однако Бакен не уходил.

— Я все выполню в точности, все ваши замечания и указания, — в третий раз повторил он почти одни и те же слова. — Исправлю, доработаю статью. Перепишу заново… Только… Ведь вы по своим делам… Очень важным, серьезным делам… Задержитесь на два-три месяца… Как бы статья не слишком залежалась… Тем более, что я хотел передать ее в наши «Ученые записки» или в «Известия» Академии… Уже договорился…

— После переделки — пожалуйста, не возражаю, — сказал профессор и резко отодвинул от себя рукопись, которая до того неприкаянно лежала посреди письменного стола.

Бакен ловко подхватил рукопись.

— Спасибо. — Он поставил портфель на пол. — Правда, опубликоваться в наше время нелегко… Пишет каждый, кому не лень… Вот если бы вашу подпись… Коротенькую рекомендацию и подпись… В том смысле, что вы не возражаете…

Увидел его профессор только сейчас или наблю-

дал за ним краешком глаза уже давно, — как бы там ни было, но вдруг он кивнул Едиге и указал взглядом на окно. «Открой форточку!» — догадался Едиге. Не обращая внимания на Бакена, он подошел к окну и распахнул форточку. В комнату хлынул клубящийся белым паром поток свежего морозного воздуха. Профессор поежился — впрочем, не преминув поблагодарить Едиге довольной улыбкой — и хотел было продеть руки в рукава халата. Но как ни пытался нашарить их позади, рукава не находились — халат был накинут наизнанку.

— Давайте сюда, — сказал он, по-прежнему улыбаясь Едиге. Но слова эти уже предназначались Бакену. Затем он взял со стола обыкновенную школьную вставочку — впрочем, о б ы к н о в е н н у ю ли, такой теперь не купишь, пожалуй, ни в каком магазине — с обыкновенным ученическим перышком и ткнул им в фиолетовое озерко, до краев наполнявшее массивную старомодную стеклянную чернильницу, которая тоже навряд ли могла сойти за украшение современного профессорского кабинета.

— Что писать?

— Наверное, как положено, Азь-ага: «Рекомендую в печать...»

— В каком виде?

— Конечно же, «по исправлении недостатков», Азь-ага…

«По исправлении недостатков рекомендую в печать» — наискосок, в верхнем уголке первой страницы, черкнул профессор своим стремительным, как бы летящим почерком. Отбросив сердитым движением ручку, он схватил за голову маленький бюстик Джамбула, стоявший рядом с чернильницей. «Наверное, ищет пресс-папье», — подумал Едиге. О том, что бюст Джамбула — не пресс-папье, профессор догадался в следующую же секунду, с недоумением разглядывая его в своей руке.

— Алима! — рявкнул он.

За дверью раздались поспешные шаги. Но туговатый на ухо Азь-ага их, очевидно, не расслышал.

— Байбише!..

— Я здесь, — откликнулась тетушка Алима, и, бесшумно притворив дверь, она протиснулась в комнату, слегка запыхавшись.

— Где Джамбул? — грозно спросил Азь-ага.

— Которого студенты подарили?

— Он самый!

— Ты держишь его в правой руке. — Тетушка

Алима потупилась.

— Я говорю: где пресс-папье?.. — загремел профессор, вторично поняв свою ошибку.

— Пресс-папье у тебя в левой руке. — Губы у тетушки Алимы вытянулись в ниточку. Она едва удерживалась, чтобы не рассмеяться.

В самом деле, Бакен, который к тому времени уже спохватился, обнаружил пресс-папье под грудой газет и вложил профессору в руку.

— Чтоб ему провалиться! — воскликнул профессор. Больше ему не оставалось, что сказать.

Чернила между тем успели высохнуть. Азь-ага с досадой вернул на положенные места пресс-папье и бюст Джамбула, отодвинул от себя рукопись Бакена и принялся вновь, по-прежнему безрезультатно, отыскивать за спиной рукава халата.

— Я помогу, — предложила тетушка Алима. Она потянулась к халату, собираясь надеть его на мужа, как надо.

— Чего тебе? — нахмурил косматые брови Азь-ага и уставился на жену с таким видом, словно она отвечала за любые несовершенства мира, в том числе и за его бездарного ученика.

— Не кипятись, — сказала тетушка Алима. — Дай-ка тебе помочь, ты ведь халат наизнанку набросил.

— Не мешай нам, — произнес Азь-ага сурово. — Сколько тебе повторять: не заходи в кабинет, пока я занят!

Тетушка Алима, чуть усмехнувшись, взглянула на Едиге и не спеша выплыла из комнаты.

— А вы, молодой человек, почему не считаете нужным здороваться? — осведомился доцент, бережно укладывая в портфель свою тощую рукопись. Теперь голова его была вскинута вверх, как грибная шляпка после дождя.

— Я поздоровался, когда вошел, вы не заметили, — сказал Едиге.

— Вот как... Ну-ну... — кивнул доцент снисходительно и поинтересовался: — А диссертация? Что-нибудь получается? Уже приступили?

— Приступаю понемножку. Хотя, наверное, «все рога себе обломаю»[1], пока напишу.

— Хм-хм... Удивляет меня нынешняя молодежь, Азь-ага! Ей бы всего добиться без труда, без напряжения... А ведь с давних пор известно: заниматься наукой, искать истину — все равно что копать колодец иголкой. Тут необходимо

---

[1] Примечания: 1

В неправильно прочитанном Бакеном тексте («Визири...» и т. д.) вместо «уәзірлер» (визири) нужно читать «үзілер» (обломаться). Едиге верно уловил по разговору, что там должно быть: «Обломаю я же рога свои». Речь идет о стихотворении прославленного средневекового казахского поэта Шалкииза.

терпение, упорство, самозабвение, наконец! А танцульки… Рестораны… Девушки… Э, нет, ученую степень так не получишь! Заруби это себе на носу, братец!

— Зарублю, Бакен-ага.

— Ну, то-то. Мы еще поговорим как-нибудь поподробней… Азь-ага, я не прощаюсь: мы приедем в аэропорт вас проводить.

Он слегка, но вместе с тем почтительно поклонился профессору — солидный, знающий себе цену молодой доцент — и, не взглянув больше на юного аспиранта, твердо и четко ступая, вышел из кабинета.

Азь-ага несколько минут продолжал сидеть, утомленно ссутулившись, опираясь щекой о левую руку, а сухими, костистыми пальцами правой постукивая по столу.

— Чего стоишь? — спросил он вдруг, словно очнувшись. — Проститься пришел? Садись. Что нового? Что сделал за последнее время?

— Сдал один минимум. По философии.

— Так… Ну, что же, молодец!

— Получил «отлично».

— Еще раз молодец. Как же это у тебя получилось?

— Многие аспиранты до меня проваливали

экзамен… Вот я и боялся… Готовился…

— Кто готовится, чтобы не провалиться, получает «удовлетворительно». И тратит время попусту. Сколько ты готовился?

— Два месяца.

— Считай, два месяца пропало. Зубрежка не становится знанием. Хочешь изучить философию всерьез — не довольствуйся учебной программой, рой в глубину. Но это потом, конечно, когда появится время… Сейчас у тебя другая цель. — Азь-ага снова помолчал, откинувшись на спинку кресла и думая о чем-то своем. — Эх, молодость-молодость… — Взгляд его черных, но не блестящих, а как бы подернутых старческой дымкой глаз устремился в какую-то далекую точку. — Энергию не знаешь куда девать, силы бурлят, ищут выхода… Но потом их становится меньше, меньше… Так что пока — учись не распыляться, идти к намеченному — шаг за шагом… Ты улыбаешься? Может быть, как говорил Абай, «отворачивая лицо, над глупым стариком смеешься»?..

— Что вы, Азь-ага!

— Я же вижу — смеешься…

Профессор слабо взмахнул рукой, как бы предупреждая ненужные оправдания.

— Смейся. Мы в свое время тоже смеялись. Много смеялись и мало думали, много болтали и мало делали. Так и состарились, ничего толком не успев. Смейтесь, на здоровье… Только смотрите, не окажитесь сами в нашем положении, лет этак через сорок… Впрочем, под старость я, кажется, становлюсь слишком ворчливым… Пожалуй, опять начнешь смеяться. Ступай.

Он отправился в прихожую проводить Едиге.

— Наверное, тебе известно, что сказал однажды Флобер молодому Мопассану, — проговорил он перед самой дверью, отодвигая защелку замка. — «Не берусь судить, есть ли у вас талант. Ведь, как утверждал Бюффон, талант — это энергия и терпение, поэтому все зависит от вас самих…» Так, примерно, он сказал. Но заметь, сказал Мопассану, о котором еще никто ничего не знал, разве лишь слышали, что есть такой весьма легкомысленный весельчак и повеса… Я не Флобер, но пару неглупых советов, как и многие старики, при случае могу дать… Так вот: для человека науки или искусства путь только один — работа. Остальное — мираж. Запомни это…

2

Мглистые сумерки упали на город. Еще недавно небо было безоблачно, воздух — прозрачен, и вдруг все заволокло низким, густым туманом. Желтые, красные, коричневые листья, пестрым ворохом стелившиеся под ногами, отсырели, пропитались влагой и уже не шуршали при каждом шаге, и звуки шагов не были слышны ни на асфальте тротуаров, обсаженных с обеих сторон дубами и тополями, ни на узких, плотно утоптанных тропинках, которые, прорезая поблекшие лужайки, петляли между кустами и пропадали в чаще деревьев. Все звуки поглощал толстый, пружинящий под подошвой ковер. На нижних ветвях иссеченных морщинами кряжистых дубов еще уцелели сиротливые листочки, в которых угас зеленый огонек жизни, им оставалось только упасть и под чьим-то каблуком рассыпаться в прах. Вершины черных, как бы потных стволов и вовсе не видны в тумане, они словно вонзились прямо в облака. «Похожи на колонны, — думает Едиге, — подпирают небо, не дают ему рухнуть вниз, на землю…»

С каждой минутой туман все беспроглядней,

тяжелее. Белесое марево, уплотняясь, разливается вдоль улиц, словно молоко. И вокруг так чудесно, таинственно… Не поймешь, светит ли солнце в небе, или уже вечер… А может быть, — утро… Только машины шуршат со всех сторон, выскакивая из тумана. И люди — вынырнет чья-то фигурка и тут же растворится, исчезнет. Иногда, чуть не задевая Едиге плечом, проплывет мимо парочка, держась за руки или в обнимку, и тоже — была и нет ее, пропала, утонула в густом тумане.

Едиге сообразил вдруг, что кружит по площади Цветов, потерявшей свой нарядный летний вид и чернеющей по краям вскопанными клумбами. Вряд ли старик сегодня улетит, — подумал он. — А интересно бы посмотреть, станут ли всю ночь дежурить возле него верные нукеры во главе с Бакеном?.. Смешно… Нашего старика не поймешь. Ведь знает же — никчемность, ничтожество, а терпит, не гонит прочь. Почему? Или считает, что науке такие вот прихлебалы не приносят вреда, пускай себе крутятся под ногами?.. Но если все настоящие ученые так думать станут — и то «пускай», и это «пускай»?.. Или до сих пор не раскусил он Бакена? Все верит, что этот «молодой» (в сорок лет!) «перспективный ученый» еще возьмет свое

и от него будет какая-то польза?.. Старый чудак!.. Все надеется, до сих пор!.. И жизнь прожил, а опыта не нажил… И знаний пропасть, а написано мало… Не так уж мало, впрочем. Но доведись Едиге дотянуть до шестидесяти, он бы написал раза в три больше! «Зря тратишь время…» А кто еще, только-только став аспирантом, сдает кандидатские минимумы?.. Хотя, между нами, дней пятнадцать — двадцать я проболтался без толку. Пусть даже не совершенно без толку, все равно — разве до этого не транжирились впустую и дни, и целые недели?.. Старик прав. Он сам это испытал, и не о неделях — о годах, потраченных зря, жалеет. И правда — жалко… Ведь один из столпов нашей филологии. Доктор, профессор, академик… Только вот передать людям все богатейшие свои знания не сумел… Не один он, понятно… Наверное, творческий человек должен оцениваться не в том смысле, сколько он дал, а в том, сколько мог дать — и не дал. Потенциальные возможности… Да, потенциальные возможности таланта, вот что важно. И если человек по мелочам разбазаривает свое дарование, он — преступник и на этом свете достоин лютой казни, на том — адского огня!.. Казалось бы, все просто, понятно… Впрочем… Я думаю так, другой — ина-

че, сколько голов, столько и умов, сколько людей, столько и дорог… Я свою дорогу знаю, с меня пока и этого достаточно… А туман-то, туман… Видно, старику сегодня не улететь, куда там… Да, старик. Замечательный старик. Чего только им не пришлось вынести! Тут и гражданская война, и разруха, и Отечественная… И многое, многое… Славный старик. Последний из могикан. Таких бы уважать и чтить, как в старину последних сподвижников Мухаммеда… Обнять бы его на прощанье. Ну да ладно. Еще решит, что прикидываюсь, подхалимничаю, как Бакен. Дался мне сегодня этот Бакен!.. Может, все-таки съездить в аэропорт? Плюнуть на все — и съездить?.. Нет. Старик рассердится, что слоняюсь без дела. Я не должен тратить времени зря. В итоге я добуду диплом кандидата наук, то есть книжечку в переплете из картона, оклеенного дерматином. И сравняюсь с Бакеном. Для этого надо: просиживать дни в библиотеке, ночи — у себя в общежитии, пыхтеть, сдавая минимумы, горбиться в архивах, слепнуть, разбирая древние рукописи, делать открытия там, где их нет и в помине, и писать о них — что взбредет на ум. Но это ничего, другие смогли — и ты сможешь. Трудно с умными, знающими людьми, которые

во многом тебя превосходят, вести беседу на равных, но и это можно, в конце концов. А вот как жить по принципу «ударили по правой щеке — подставляй левую», вот вопрос! Раньше в голову не приходило, что самое невыносимое — это сидеть лицом к лицу с тупицей, с бессовестным делягой и плутом, чувствовать обеими ноздрями, как этот тип воняет — и молчать! И ни слова! Ни ему — никому!.. Как же так?.. Ведь время какое — с каждым годом вперед и вперед, и коммунизм уже где-то невдалеке, и руку протягиваем к звездным мирам… И тут вдруг — эта вот гниль, эта вонь… И при всем том — какая самоуверенность! Недосягаемость!..

Между прочим, забавно получается… Сыновья земли, где поднята целина, где выращивают миллиарды пудов хлеба, земли, шагнувшей сразу от азиатской дикости и полудикости к европейской культуре… Сыновья народа, прежде неграмотного на девяносто восемь процентов, не имевшего своей письменности, не то что мало — вовсе не знакомого с современным искусством, а теперь?.. Всеобщее и при том обязательное среднее образование, развитая наука, искусство. Сколько угля, сколько меди, свинца добывается ежегодно у нас в республике!.. Все это нам известно, все

это мы видим, цифры все знаем на память — и тем не менее… Вот что забавно получается: это вот «и тем не менее»… Вдруг — такой вот Бакен… Откуда, почему, как?.. И ему хорошо, удобно, не стыдно… Есть притча про цирюльника, который кричал о том, что в душе накипит — в колодец, вырытый на пустынном месте. Не хочу искать такой колодец. От борьбы увиливают слабые. А я верю… Верю, что будущее наше прекрасней, чем все мы можем вообразить! Я не пророк не прорицатель, но оно придет — может быть, через пятьдесят, может быть, через сто лет. Буду я тогда жить?.. Не важно. Другое важно: настанет время, когда, как говорится, «жаворонок совьет гнездо на спине овцы»… Подняться бы тогда из могилы и поглядеть вокруг — одним хоть глазком!..

Едиге брел по городу, над которым уже свечерело, и вязкий туман окутал дома и деревья сырой, липкой мглой. Тускло светят вытянувшиеся ровной шеренгой фонари, огоньки едва пробиваются сквозь туман и кажутся такими далекими, отделенными друг от друга огромным расстоянием… Они как бы извещают своим слабым, едва заметным мерцанием, что не погасли, что где-то там, за туманом, продолжает гореть, внушая надежду, огонек…

Никуда не сворачивая, Едиге направился прямиком в общежитие.

Четырехэтажное, светлое от множества окон здание будто разбухло, распарилось. Дверь в подъезде, как всегда, не знает покоя — хлопает беспрестанно, жалобно дребезжит стекло… Несколько легко одетых, разгоряченных парней и девушек топчутся у входа. Едиге, не приглядываясь, определил: новенькие, первокурсники. По одежде, разговору, по тому, как держатся, сразу видно, что еще не успели освоиться, привыкнуть к жизни в большом городе. Аульная свежесть и чистота так и сквозят в грубоватых, наивных лицах ребят, в их нескладных, долговязых фигурах. Из общежития приглушенно доносится по-детски звонкий, с лукавой хрипотцой, голос Робертино Лоретти. «Папагал, папагал, папагал-ло…» В вестибюле нижнего этажа — танцы.

— Как много симпатичных девчушек, — вздохнул Едиге, поднимаясь к себе по лестнице. — Обалдеть можно… В наши молодые годы таких и в помине не было. Только вот, пожалуй, о танцульках думают больше, чем следует. Ишь, какой тарарам подняли… Кстати, сегодня же суббота. А у нас каждую субботу… Все равно. Они, если вникнуть поглубже, не столько живут, сколько го-

няются за удовольствиями, а это не одно и то же… Впрочем, пускай погуляют, потешатся, — великодушно разрешил он. — Мало ли что им предстоит впереди… Юность не возвращается. — Едиге, проживший на белом свете уже двадцать два года, естественно, считал себя все испытавшим, умудренным старцем, особенно в сравнении с этими желторотыми птенчиками. — Но красивых девушек все-таки стало гораздо больше, — продолжал размышлять Едиге, теперь уже не поднимаясь по лестнице, а спускаясь вниз, потому что незаметно для себя проскочил на четвертый этаж и понял это лишь по оборвавшимся ступенькам. — Или мы и в самом деле отжили свое? Ведь человеку только на склоне лет свойственно грустить о прошедшем… Третий этаж… Триста первая… Ш т а б-к в а р т и р а б у д у щ е г о с в е т и л а н а у к и, а н ы н е б е з ы з в е с т н о г о х о л о с т о г о а с п и р а н т а-ф и л о л о г а Е д и г е М у р а т-у л ы Ж а н и б е к о в а и в е л и ч а й ш е г о м а т е м а т и к а н а ш е й э п о х и К е н ж е к а А б д р а ш и т о в и ч а А х а н б а е в а… Свет включен, значит, величайший математик дома. — Глубокочтимый профессор! Отоприте! Достопочтенный академик стоит у дверей!.. — Тишина… — Так, значит, Кенжек отплясывает

с юными первокурсницами, гремя своими старыми пересохшими костями… Все ясно. Куда же, между прочим, запропастился этот чертов ключ?.. Ну, что ты скажешь…

Наконец ключ нашелся — в кармане плаща, том самом, который Едиге уже не один раз обшарил, ничего не обнаружив. И Кенжек, оказывается, дома. Правда, он не обратил внимания на заскрипевшую дверь, на Едиге. Низко склонясь над заваленным бумагами столом, отчего длинный чуб падал ему на глаза, он что-то усердно и сосредоточенно писал. Впрочем, больше не писал, а думал. При этом губы его беззвучно шевелились, отчего Кенжек походил, на шамана-баксы, который силится, и пока без особого успеха, магическими заклинаниями вызвать своих духов.

Едиге затворил дверь и прямо в одежде прошел к столу. Листы бумаги были заполнены какими-то совершенно непостижимыми для него знаками. Они показались Едиге не математическими символами, а неразгаданными, нерасшифрованными письменами какого-то таинственного, давно исчезнувшего народа. Что до Кенжека, то он напоминал Шампольона или Томсена, бьющихся над поставившей человечество в тупик загадкой и уже близких к решению…

Неожиданно Шампольон расправил плечи, разогнулся и, уставясь невидящим взглядом на Едиге, замер, вскинув кончик пера к потолку. Едиге чувствовал, что сейчас Кенжек созерцает некие сложные формулы, проплывающие перед ним по воздуху… Сейчас он бы ничего не заметил, даже появись перед ним не товарищ по комнате, а разинувший красную пасть свирепый африканский лев. Едиге, поняв это, отошел, ступая на цыпочках, и, стараясь не шуметь, снял верхнюю одежду. Затем, подойдя к кровати, сел, свесив ноги, немного помолчал и вдруг быстро, словно вспомнив о чем-то, разделся и бросился в постель ничком. Он долго пытался заснуть, однако тревожные мысли будоражили голову, гнали сон…

3

Он поднялся утром невыспавшийся, разбитый, с гудящей головой и до публичной библиотеки добрался лишь к обеду. Очередь в гардероб тянулась до самого входа. Те, кто разделся, толпились в небольшом коридорчике, дожидаясь номерка на свободное место в читальном зале. Впрочем, Едиге эта толчея не беспокоила. Он знал, что многие из тех, кто, бывало, приходил сюда и уходил наравне с библиотечными работниками, едва получив заветную ученую степень, забывали дорогу в читальню. А уж по воскресным дням их здесь вовсе не увидишь.

И верно: зал для научных работников и аспирантов оказался наполовину пуст. Без особых сложностей раздевшись и получив номерок, Едиге устроился с охапкой книг на давно облюбованном четырнадцатом месте во втором ряду.

Едиге раньше предполагал, что обязательные минимумы не доставят ему много хлопот. Не считая экзамена по спецпредмету, два других он думал сдать в первые же полгода и, покончив с ними, приняться за работу над диссертацией. Но тропа к званию кандидата оказалась, вопреки

его расчетам, куда извилистей и тернистей. Большинство старых университетских профессоров и молодых доцентов справедливо расценивали кандидатские минимумы как весьма полезное препятствие для случайных в науке людей, а потому требования к аспирантам предъявлялись высокие. В этом Едиге убедился, когда поступил в аспирантуру: из девяти аспирантов второго года обучения, державших экзамен по философии, благополучно обошлось лишь у четверых, да и те, как один, получили «удовлетворительно». Тем не менее они чувствовали себя счастливчиками. Едиге, который еще студентом полагал, что неплохо усвоил и Спинозу, и Канта, и Гегеля, а кроме того, и не понаслышке, знаком с трудами Шопенгауэра и Ницше, тут утратил прежнюю самонадеянность: никто из провалившихся не был недоучкой. Поэтому готовиться ему пришлось основательно. Сдав философию, он вышел в коридор и на вопросы ожидавших своей очереди ответил: «Как говаривал славный Пирр, царь Эпирский, еще один такой минимум — и моя карьера в науке закончена». Впереди был иностранный язык. Нелегкое дело — свободно владеть хотя бы одним из европейских языков, если времени в обрез, а в сельской школе, по при-

хоти стремительно возникавших и исчезавших учителей, год за годом с английского перескакивали на немецкий, с немецкого на французский, на филологическом же факультете университета Едиге увлекся арабским… Нелегкое, нелегкое дело… Но Едиге отчетливо сознавал: главная цель — не сдача минимума, это так, между прочим; главное — только глупец может надеяться стать настоящим ученым, не знакомясь в оригинале с работами ученых-ориенталистов по истории, литературе, культуре тюркских народов, тем более, что изрядное число книг пока не переведено на русский язык. Кстати, даже для того, чтобы изучать специальную литературу на русском, юноше из аула, в отличие от городских сверстников, тоже пришлось бы потратить в свое время немало усилий… Впрочем, Едиге, способный наизусть прочесть всего Абая или Бухара-жырау, а также — почти целиком — «Евгения Онегина» и «Фауста», верил, что его и на сей раз выручит отличная память. Иностранный он «толкнет», как и первый минимум, какого бы труда это ни стоило. С нынешнего же дня он мечтал целиком отдаться научной работе.

Свой первый жизненный марафон Едиге расчленил мысленно на три этапа. Этап № 1 — общая

подготовка: исторические и литературные источники, имеющие непосредственное или косвенное отношение к диссертационной проблеме. Этап № 2 — переход на жесткий, прямо-таки спортивный режим: конкретная работа над исследуемой проблемой, углубленный и всесторонний анализ. Этап № 3 — последний, решающий этап, финишная прямая: изложение на бумаге открытого и обобщенного. Три этапа — три года в аспирантуре. Если план будет выдержан в точности — а он будет выдержан, в этом Едиге не сомневался, — то к двадцати пяти годам (25 — круглая цифра!) он станет уважаемым, окруженным всеобщим признанием человеком, который совершил в науке первостепенное открытие, произвел переворот в истории — для начала, скажем, — родной казахской литературы. Правда, еще не совсем ясно, что за открытие, какой переворот, но главное в другом: сделано открытие, произведен переворот!.. А дальше?.. Дальше — новый марафон, сложнее и ответственней, чем первый. И так — всю жизнь. Дерзостные замыслы, трудности, неудачи, преодоление, победа!.. Но ничто не заставит Едиге успокоиться на достигнутом, опочить на лаврах. Вперед, только вперед! Никакие преграды его не остановят, не принудят отступить. Его не устра-

шат — ни дождь, ни буря, ни ураган. И нет в мире силы, чтоб свернула Едиге с прямой дороги!..

Однако его нынешнее существование пусто и бесплодно. Время бежит, а ничего не сделано. К примеру, что успел он за последние сутки — с вчерашнего полудня до сегодняшнего?.. А если так будет продолжаться впредь?.. Чего же ты достигнешь тогда — к тридцати годам? К сорока? К пятидесяти?.. Но ведь хорошо, если суждено прожить до пятидесяти, а вдруг на твою долю отпущено меньше? Трудись же, трудись не покладая рук, в поте лица — если веришь, что отмечен судьбой и рожден совершить великое! Чем ты пока отличаешься от какого-то тупицы, все желания которого — сладко поесть и вволю поспать?..

«Ничем», — вынес жестокий приговор себе Едиге, внезапно уразумев, что, поглощенный самобичеваньем, долгое время сидит без дела разиня рот.

У самого входа в зал, сразу около двери, сгорбился над столом седовласый старик. Когда бы Едиге ни пришел в библиотеку, старик постоянно здесь. И всегда на одном и том же месте. Перед ним груды старых книг в порыжевших переплетах, кипы газетных подшивок разного формата, по желтым, слипшимся страницам которых само

Время, казалось, прошло своим прессующим катком. Старик с утра до вечера читает и перечитывает какие-то статьи, что-то выписывает, что-то сочиняет попутно на небольших листочках. Когда он ест, отдыхает? И вообще помимо библиотеки — как и чем живет?.. Если Едиге приходил рано, до девяти, пока библиотека еще не открыта, или уходил поздно, засиживаясь до одиннадцати, пока не закрывают читальный зал, он волей-неволей натыкался на старика: в руках у того бывала сетка-авоська с каким-то свертком, покрытым сверху засалившейся газетой; паспорт и читательский билет укладывались в ту же сетку; одевался он неряшливо, кое-как, и все его вещи выглядели поношенными, потрепанными. Все большие ученые, думал Едиге, схожи величием духа, но у каждого свой внешний облик, свой характер… Причислив странного старика к большим, не признанным до времени ученым, Едиге уже давно с любопытством наблюдал за ним. При этом Едиге вспоминалась порядком примелькавшаяся газетная рубрика «Замечательные люди рядом». На свете столько удивительных людей, которые скромны, незаметны, хотя носят в себе великую тайну… Этот старик — один из них. Вот как надо жить. Вот как надо трудиться…

Склонившись над своим столом, Едиге вновь уткнулся в книгу. Однако мысли его разбегались, он пытался сосредоточиться — и не мог. Он посидел-посидел и, ничего не добившись, отправился в вестибюль, чтобы слегка развеяться.



В вестибюле кишмя кишит. Томятся, переминаются с ноги на ногу студенты, жаждущие проникнуть в общий читальный зал. Выходящих оттуда что-то не видно. Однако здесь все надеются… Едиге обратил внимание на нескольких парней с заросшими по самые плечи затылками, в модных галстуках-шнурках. Он заметил этих ребят еще в очереди перед гардеробом. «Всем бы такую выдержку! — подумал Едиге. — До чего терпеливые ребята…» Но были и нетерпеливые. Взгляд Едиге упал на девушку, стоявшую в сторонке, совсем еще молоденькую, лет семнадцати, не больше, тоненькую, с темными карими глазами, ярко выделяющимися на светлой, нежной коже лица. Волосы коротко подстрижены. Под мышкой толстая тетрадь в матерчатом переплете. Кажется, она собралась уже уйти, но слабая надежда против воли продолжает ее удерживать. Брови нахмурены, губа нижняя обиженно закушена. Ну, точь-в-точь ребенок, которому не дают конфетку… Едиге с трудом подавил улыбку.

В зал возвращаться не хотелось. Нерешительно помедлив, он подошел к девушке — благо, и места, чтобы постоять, нигде больше не было, — прислонился к перилам. Девушка сделала движение, чтобы отойти.

— Кажется, вчера в общежитии были танцы? — осведомился Едиге. Вначале он кашлянул и тем самым остановил девушку, а потом уже заговорил — не спеша, солидно, с достоинством.

— Да, — робко кивнула девушка. Ее щеки, покрытые светлым пушком, смущенно порозовели.

— И что же?.. — Едиге вошел во вкус, чувствуя себя суровым учителем, застигшим своего ученика на позднем сеансе. — Заставили бедняжку-мальчика, по имени Робертино, по фамилии Лоретти, до хрипоты петь то «Вернись в Сорренто», то «Папагелло», и так до часу ночи. — Едиге вскинул правую руку и вытянул вверх указательный палец. — До часу ночи, а точнее до двух часов утра кружились и топали. Сами не занимались и мешали другим. Если так пойдет и дальше, вам и первый семестр не одолеть.

Девушка растерянно молчала, покраснев до самых мочек и опустив глаза. Едиге понял, что переиграл.

— Не бойся, айналайын, я пошутил, — рассмеялся он. — Я ведь не преподаватель, а такой же, в сущности, учащийся. Просто советую, как старший. Иногда обидно за ребят: едут издалека, проходят по конкурсу, а там года не прошло как смотришь — возвращаются по своим аулам.

Медленно приподняв длинные, круто изогнутые ресницы, она недоверчиво, в упор посмотрела на Едиге. Какие ясные, чистые глаза… Темные, почти черные, и брови тоже черные, соединить их над переносьем — получится классический кочевничий лук… А волосы так и отливают смоляным блеском… Ну-ну, — остерег себя Едиге, чувствуя, что его заносит, — волосы как волосы, и девушка как девушка… Он уловил что-то трудно определимое в ее лице, на котором постепенно таял густой румянец — что-то не вполне восточное, присущее скорее европейским народам. Наверное, метиска, — подумал он.

— Странно, что ты говоришь по-казахски, — сказал он, проверяя свою догадку.

— А что тут странного? — По голосу, да и выражению лица было видно, что она уже овладела собой.

— Мама у тебя русская?

— Моя мама — полька. Хотя польского языка не знает.

— Неужели?.. Вот не думал, что поляки могут забыть родной язык… Предки твоей матери жили тоже среди казахов?

— Да.

— И ты, айналайын, уже, конечно, соскучилась

по дому?

— Еще бы…

— Ты сердишься, что я так тебя напугал?

Девушка окинула Едиге с ног до головы быстрым взглядом и промолчала.

— Завтра, наверное, у тебя семинар?

Девушка кивнула.

— Ну, тогда тем более я должен искупить вину. Пойдем со мной, будешь заниматься в нашем зале.

— Ой, что вы, нам не разрешают! Оттуда какого-то студента только что прогнали…

— Ничего, сядешь на мое место, никто тебя не тронет. Стыдно быть такой трусихой.

Оттого ли, что она вконец отчаялась попасть в общий зал, оттого ли, что Едиге задел ее гордость, назвав трусихой, — девушка последовала за ним. Однако в зале для научных работников ее взяла оторопь. Она остановилась, широко раскрыв изумленные глаза и озираясь по сторонам с таким видом, словно все эти сидящие поодаль друг от друга, за отдельными столами, блистающие лысинами старики-аксакалы, и пожилые, но все еще считающие себя молодыми карасакалы, перевалившие уже середину пути, уже с поредевшими, но еще не выпавшими напрочь волосами,

и бодряки-аспиранты, уже не юнцы, но и не достигшие зрелости, еще не расквасившие свои заносчивые носы о суровый гранит науки, еще с пышными шевелюрами, без единого серебряного волоска в новомодных бородках, — словно все эти люди, похожие сейчас на безмолвных, застывших истуканов, представились ей высеченными из белого и черного мрамора, отлитыми из сизовато-серой стали величественными ликами богов какого-то неведомого, таинственного культа; она собиралась было в испуге улизнуть отсюда, но Едиге взял ее за руку, как малого ребенка, подвел к своему столу и усадил.

— Ну, вот, готовься теперь к семинару, — произнес он шепотом, собирая свои бумаги, чтобы перебраться за пустой стол. — Но смотри, закончишь — проверю, и как бы тогда не пришлось поставить тебя в угол.

Едиге немного посидел, рассеянно разглядывая иллюстрации в сложенных кипой и внушающих почтение хотя бы одними размерами трудах по истории, этнографии, литературе, — эти были изданы в последние годы в Москве и Алма-Ате, на плотной хрустящей бумаге, другие, пожелтевшие от времени, напечатанные арабским шрифтом, появились еще до революции в Санкт-Петербурге,

Казани и Ташкенте, третьи, красиво оформленные, с золотым тиснением, тома Бартольда и Аткинсона, вышли на английском и немецком в Лондоне и Лейпциге. Не задержавшись ни на одной из книг, он выбрал наконец небольшой, оплетенный кожей, томик «Истории» Карамзина в первом издании. Человек высокого ума и пылкого сердца, — благодарно думал Едиге, — как он умел, не возвеличивая неумеренно одних, не унижать безосновательно других!.. Он стремился передать на бумаге события именно так, как случались они в действительности, ничего не прибавляя и не убавляя. Обилием фактов и наивной свежестью иных суждений старый историк притягивал Едиге. Его недостатки, ошибки, общая его концепция — все это впоследствии было надлежащим образом раскритиковано и объяснено историками, свободными от свойственных Карамзину пороков, но зачастую и не обладающими его достоинствами. Где этот мощный, как медные раскаты, язык, где поэзия, которой веет с каждой страницы?.. Едиге читал его, перечитывал — том за томом, как читают приключенческий роман в двенадцать лет, затаив дыхание, горюя, что скоро конец… Так было и сегодня. Как обычно при встрече с новой хорошей книгой, Едиге казалось,

что с каждой перевернутой страницей ему легче дышится, в теле возникает странная легкость. Голова прозрачна, чиста, как утреннее небо, дух парит в вышине, словно зоркоглазый орел. И не осталось ничего, что было бы от него скрыто, ничего, что не в силах он свершить. Все подвластно его уму, фантазии, и нет пределов…

Отложив книгу, Едиге взялся за перо. Он писал — не тратя времени на обдумывание, торопливо, его била, рождаясь где-то внутри, дрожь, как в лихорадке.

Он писал долго, безостановочно. Кончик пера бежал по бумаге, не поспевая за мыслями, образы возникали сами собой, неожиданные и четкие, как бы выхваченные из мрака яростной вспышкой молнии… Когда он взглянул на часы, стрелки показывали половину восьмого. Он вдруг ощутил подобие легкого сквознячка в желудке и понял, что голоден. Спустившись вниз, он взял в буфете бутылку кефира, взболтал, выпил, не присаживаясь, и вернулся на место.

Наконец все мысли, распиравшие его изнутри, улеглись на бумагу строчками синих чернил. По мере того, как они стекали с кончика стального пера, Едиге чувствовал, что его фантазия постепенно иссякает, утрачивает упругость, пру-

жинистость. В тот миг, когда была поставлена последняя точка, в груди его зияла пустота, как в опорожненном куби из-под кумыса. Ныла мозоль на среднем пальце, натертая ручкой, суставы во всем теле казались развинченными, расслабленными. Он устал. Но был доволен тем, что сделал. Правда, едва лишь он положил ручку, возникли кое-какие сомнения, неуверенность… Все равно. Сейчас он был подобен шаману-баксы, которого покинули терзавшие его духи. Но Едиге знал, что голова, налитая усталостью, темная, тупая, на утро снова будет светлой и ясной, а недавнее восторженно-счастливое чувство вернется опять, и так будет не раз и не два, а десятки, сотни, тысячи раз — всю жизнь…

Расправляя затекшее тело, Едиге сладко потянулся, огляделся по сторонам и заметил, что в просторном зале, кроме него, никого нет. В дверях показалась утомленная дежурная: «Сдавайте книги, молодой человек, библиотека закрывается». Едиге сложил свои бумаги, прижал к груди стопу книг и направился к выходу. Звуки его шагов по паркету гулко отдавались в пустом зале. Но внезапно, без всякой причины, Едиге овладело чувство бессмысленности, незначительности его стремлений что-то совершить,

чувство ненужности всех его поступков, действий, самого существования.

4

...Немало бед грозило когда-то кочевникам.

Века за веками — битва за битвой... Китайцы-табгачи стремились превратить их в покорных рабов. Силен был враг. И так многочислен, что земля под ним прогибалась и стонала. А коварство его было бездонно, как черная пропасть, расколовшая горы. Ссорил он простодушных кочевников друг с другом, сеял меж близкими племенами раздор. Если выступали против него единым войском, если надвигалось оно на врага, подобно могучему селю, который срывается с подоблачных вершин, коварные табгачи, избегая схватки, умели повернуть степняков лицом вспять, натравить на другие народы. Устрашая боязливых, обманывая доверчивых, пытались они заставить их служить себе. Однако неукротимый дух и воинская доблесть победили — и было вырвано у дракона злое жало, растоптан ядовитый муравейник...

Победители на том не остановились. Почуяв свою бранную мощь, напали они на племена укрывшихся за снежными хребтами шишиев, много раз терпевших поражение, но снова и

снова поднимавшихся на борьбу за собственную свободу. И кровь затопила мирные очаги, погасила огонь и жизнь. После того, как схлынула боевая ярость, осмотрелись пришельцы и увидели, что не с кого даже дань собрать, уже собрала ее смерть.

Выступили тогда походом в те края, где круглый год небо голубеет, а земля не снимает зеленого покрывала. Мечети разрушили, разграбили дворцы; как овец, перерезали и жен, и детей, и благочестивых старцев, украшавших головы белой чалмой… Тех, кто уцелел, приняли под свою руку.

Покорили народы, обитавшие в долинах Кавказа. Хитроумных ромеев, изощренных в науках и искусствах, оттеснили к берегу синего моря, захватив богатую добычу.

Разрозненные, раздробленные саклабы-славяне рухнули, не выдержав сокрушительных ударов. Города их предали огню, жителей взяли в полон, обложили непомерной данью.

Не спасла франков голубая сталь, в которую заковали они себя и своих коней. Красуясь развевающимися над шлемом перьями, вступили они в битву, но не выстояли против кривых сабель и пронзающих латы тяжелых стрел. В поле оста-

лись только высохшие кости да груды ржавого железа.

Никто не осмеливался выступить против победителей, сдержать их сокрушительный натиск. Одних растоптали, других поставили на колени, третьих заставили дрожать от страха.

И думали: это навсегда.

Думали так, не зная, что были уже — Вавилон и Египет, Карфаген и Рим…

Думали — и кичились своей мощью.

И далеко было еще время, когда люди услышат и поймут, что народ, поработивший другой народ и угнетающий его, не может и сам быть в истинном смысле этого слова свободным и независимым…[2]

Далеко, за сотнями и сотнями лет, было еще то время.

Знали, правда, и тогда, что нет ничего вечного в мире, все меняется… Все, кроме власти победивших. Все, кроме угрюмого строения, воздвигнутого на крови и рабстве. Но кто мог усомниться в крепости стен, стоявших неколебимо века? Кто бы осмелился подумать, что рухнут они в один день?.. Мудрейшие могли усомниться,

---

[2] Примечания: 2

Очевидно, Едиге имеет в виду известное высказывание Фридриха Энгельса (см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 18, стр. 509).

прозорливейшие — заметить, что мощные стены уже покрывает паутина трещинок, что фундамент уже дает осадку… Но всех, кто видел это, сосчитать можно было по пальцам одной руки. А голоса многих заглушают голос одиночек…

Ослепленные собственной мощью, полагали, что поставленные на колени уже не разогнутся, не попытаются сбросить со своей шеи ослабевший курук и в отместку затянуть волосяную петлю на горле своих господ. А сами уже грызлись между собой, делили власть и не могли поделить, и подвергали гонениям лучших, а худшие выдвигались, карабкались вверх. Отцы заботились лишь о собственном благополучии, дети забывали о предках…

И вот наступила пора, когда со спины ударили враги. Не чужие, а ближние. Не нашедшие иного неприятеля, кроме своих же братьев.

…Встревожились кипчаки, но не настолько, чтоб утратить веру в свои силы. Не их ли предки — в седьмом колене! — разбили наголову предков тех — в седьмом колене! — кто ныне напал на них?..

Аруахи — духи предков — поддержат!

Обе стороны сошлись на берегу великой реки.

По двадцать пять туменов с каждой стороны.

У защищавшихся все воины были храбры и отважны. «Сердца, обросшие шерстью», — говорят о таких. Во главе нападавших стоял прославленный полководец.

И закипела битва — подобной не видели ни солнце, ни луна со времен сотворения мира. Уши оглохли от бранных кликов, от конского ржанья, от лязга и скрежета железа о железо. Небо заслонила пелена красного пара, поднявшегося над землей, залитой кровью.

Широкая степь казалась воинам тесной. Но чем больше лилось крови, тем просторней становилось вокруг. Туши коней плавали в кровавых лужах, и с ними рядом — трупы бойцов, кто с отрубленной головой, кто с рассеченным лицом. Но на возникшем просторе было куда удобнее сражаться вчерашним сородичам, а сегодня — смертельным врагам. Каждому нашлось дело. Кто бился, чтобы жить, кто — чтобы победить.

В одном лишь месте не машут саблями противники, хотя сошлись лицом к лицу. Воинственные кличи летят один другому навстречу. Два батыра схватились в поединке: Темир-Бука из рода кипчак и Назар-Тагай из рода каучин. Храбрейшие витязи, каждый — гордость своего войска. Начиная с рассвета, когда зазвенели мечи и полетели

стрелы, оба успели умертвить множество врагов. Сами же встретились перед полуднем. Тогда были оба на конях — сейчас ногами упираются в землю. Тогда ни одного зрителя не было рядом — сейчас только на них устремлены глаза. Оба стана ободряют своих батыров, подзадоривают, призывают на помощь аруахов… Долго бьются батыры: Темир-Бука — сильнее, Назар-Тагай — изворотливей.

Наконец, когда солнце опустилось в свое гнездо, Назар-Тагай, словно скошенный стебель, мягко рухнул на землю с расколотой надвое головой. Темир-Бука же вскинул к небу иссеченный, продырявленный копьями щит и крикнул: «Родная земля! Тебе принадлежит моя жизнь! — И еще: — Аруах, спасибо тебе! Призови хоть сейчас — я готов!» Но эти слова никто уже не расслышал, ибо все свои силы вложил батыр в сразивший врага последний удар. Из груди его вырвалось только «А-а…» — и хлынула ртом кровь. Перевернулся молодой месяц, ринулся вниз, словно ястреб на добычу, и тысячи трупов вокруг, покрывающих необозримое поле, взмыли, взлетели куда-то вместе со всей землей. Меняя краски, переливаясь то розовым, то лиловым, то голубым, вселенная закружилась перед гаснущим взором и стала

стремительно проваливаться в бездонную мглу.

И Темир-Бука уже на том свете узнал, что в тот самый миг, когда его могучее тело, получившее семнадцать ран и истекавшее кровью, еще стояло, пошатываясь и силясь удержаться на ногах, когда отважная душа его еще никак не могла расстаться с оболочкой, в которой обитала так недолго, всего лишь какие-то двадцать три года, — в этот самый момент его братья, воодушевленные смертью доблестнейшего витязя из враждебного стана, снова накинулись, ликуя, на своих братьев-неприятелей, сотрясая воздух грозными кличами и торопя победу. И многое, многое узнал еще Темир-Бука — что случится завтра, что наступит потом, узнал и зарыдал кровавыми слезами, но поздно, не вернуться отошедшему в вечность к земным делам… А если бы и вернулся — кто услышит голос одиночки?..

5

Роман из эпохи падения некогда грозного государства кипчаков Едиге начал писать три года назад, будучи еще студентом. И написал половину, но тут вмешались различного рода обстоятельства: дипломная работа, государственные экзамены… Следом возникли аспирантские заботы, подготовка к сдаче минимума. Он решил, что роман придется на время отложить. Но Карамзин, точнее, небольшой штришок, на который, читая его, Едиге натолкнулся — упоминание о геройстве Мустафы — снова всколыхнул затаившееся где-то в дальнем уголке души чувство, и он, сам того не ожидая, приступил к прерванной работе.

Роман захватил его целиком. Едиге писал, не замечая, как говорится, ни дня ни ночи.

Промелькнул месяц, он вплотную подошел к завершающей части.

Однако что-то смущало, настораживало Едиге. Вроде бы все на месте — и в то же время чего-то недостает. Чего?.. Нет, не какой-то мелочи — самого главного, сердцевины… Или так ему лишь кажется?

Едиге чувствовал, что надо отдышаться. Может быть, он попросту вымотался, устал…

6

Когда аргамак истощит свои силы в долгой скачке, с него снимают седло и дают поваляться в густой траве. В молодости человек похож на такого аргамака…

Едиге решил дать себе недельный отпуск, но среди ночи, ни свет ни заря, проснулся и больше не смыкал глаз. Привык мало спать. Уже выспался.

Просто сказать — шесть-семь дней отдыхать, ничего не делать, — размышлял он. — Что значит — ничего? Чем же я все-таки буду заниматься? Целые дни? Вечера?..

Едиге, как и всякий смертный, с детства любил веселье и забавы, не упускал он и в студенческой юности свойственных возрасту развлечений. Но, примерно лет с двадцати, переступив, как он считал, этот важнейший рубеж, «отрекся от мирской суеты» и бесцельного растранжиривания дорогих для жизни часов. Изредка — оперный театр, симфонический концерт, оркестр народных инструментов… В остальном его существование распределялось между библиотекой, университетом и общежитием. Едиге как-то не приходило

в голову, что ныне даже люди пожилые, чьи беспечные годы давно миновали, а лица успели поблекнуть, — и те, не говоря уже о легкомысленной юности, перестали замыкаться, как когда-то, в тесном кругу ежедневных рабочих обязанностей и семейных хлопот. Побольше взять от жизни, познать ее радости, удовольствия, насладиться ею… Нет, Едиге такие стремления были чужды. Смысл бытия заключался для него в призыве, который Гёте сформулировал одним словом: «Самосовершенствуйся!» И тогда?.. О, тогда все, что ты замыслил, исполнится!.. Тогда ты не обыкновенный, заурядный небокоптитель — ты полубог! Другие прозябают где-то там, внизу, ты же, вознесенный над всеми, указуешь путь… Чтобы впоследствии… Но к чему говорить об этом? Помни одно: самосовершенствованию, то есть развитию человеческого духа, нет границ…

Прочих людей, идущих иными путями, к иным целям, Едиге ставил невысоко. Не жалость они вызывали, скорее — презрение. Но и презрения с них было, пожалуй, слишком много. Он попросту старался не замечать их, не удостаивать внимания. К чему?.. Едиге разделял всех людей на две категории: полезных для общества и бесполезных. Промежуточной группы тут не было. Из этой

жесткой схемы исключались только несовершеннолетние, еще не закончившие средней школы. Подобных мыслей, из-за которых друзья считали Едиге чудаком, в голове у него имелось немало.

В то утро будущий всесторонне развитый человек, указующий светлые пути людям, а пока их строгий судья, иными словами — аспирант-филолог первого года обучения Едиге Мурат-улы Жанибеков долго ворочался в постели. Как известно, чем упорней стараешься уснуть, тем дальше убегает от тебя сон.

В единственное окно продолговатой комнаты, где у стен, одна против другой, расположились две железные койки, а также покрытый клеенкой стол с тремя стульями, начали проникать еще робкие ранние лучи. В коридоре слышались частые шаги, то близясь, то удаляясь. Кенжек уже вскочил, с обычной торопливостью натянул брюки, рубашку, сбегал в умывалку, обтер на ходу полотенцем лицо и, волоча за собой свой толстенный, до отказа набитый портфель, умчался в академический вычислительный центр. Хождение в коридоре мало-помалу улеглось. Наступила тишина, от которой даже в ушах звенело. Только пронзительный скрежет трамвая на расположенном через квартал повороте напоминал о

том, что город приступил к исполнению своих повседневных обязанностей.

Едиге продолжал лежать и, считая себя отдыхающим, пытался размышлять о чем-нибудь приятном, погружаясь в сладостные мечты. Однако с мечтаниями, да еще и сладостными, как-то не получалось. Видимо, нужен предмет для мечтаний, нужна цель, нужен смысл. Без этого мысли его разбредались в стороны В конце концов его утомило это н и ч е г о-н е-д е л а н ь е, а точнее — н и ч е г о-н е-д у м а н ь е. Он устал, как от тяжелой работы. Какой дурак сочинил пословицу: «Хорошо лентяйничать, если есть, что поесть»?.. Выходит, будь у человека в достатке хлеба, он бы с радостью ничего не делал? И это радость — ничего не делать?.. Ну, нет, — решил Едиге, — невеликая это радость... Кстати, — подумал он, — я хочу есть. «Не хлебом единым жив человек», это верно, однако, и без хлеба нельзя. Другое дело, если кто-нибудь подавал бы еду тебе в постель. Как в фильме «Рапсодия». Там одна красотка все носила по утрам кофе в постель своему возлюбленному, скрипачу... Кажется, там... Но музыка была в этом фильме отличная. Чайковский, Рахманинов... Тренировка. Не только музыкантам — в любом деле необходима тре-

нировка, постоянный, упорный труд. Это как в спорте. Если стайер всерьез думает добиться успеха, он каждую неделю, готовясь к соревнованиям, пробегает по триста — триста пятьдесят километров. Хороший штангист ежедневно поднимает над головой десятки тонн. Ну, а путь, который должны одолеть мы, длиннее любой дистанции. И груз куда тяжелее самой тяжелой штанги! Даже прославленный спортсмен примерно в тридцать лет прощается со спортом. А мы до конца своих дней в строю. Попробуй выдержи такой марафон! А не выдержишь — спрячь в карман поглубже свое пустое тщеславие, зажми рот и не называй себя Человеком. Ты не человек тогда — жалкое двуногое… Однако всякое двуногое нуждается в еде. Пора вставать…

Едиге только сейчас почувствовал, что на улице зима, и не первый день. Стволы дубов и тополей так и потрескивают от мороза. Студеное небо хмурится — низкое, серое, оно похоже на засаленное полотенце. Снег, припорошенный копотью заводских труб и газа, сброшенного множеством проносящихся по улице машин, приобрел какой-то буроватый оттенок. Может быть, от того, что без солнца воздух тускнеет, Едиге кажется, будто и стены домов, и деревья, и столбы под провода-

ми покрыты налетом сажи.

На Никольском базаре, рядом с общежитием, — издавна облюбованная студентами столовая национальных блюд. Мясо, манты, лагман, плов. Готовят здесь вкусно и недорого, перца и уксуса не жалеют. К тому же обслуживают быстро, не задерживая посетителей… Едиге, собиравшийся заказать в превосходной этой столовой, где так сытно и дешево кормят, сразу два вторых, уперся в заколоченную неоструганной доской дверь. Закрыто. Пожалуй, насовсем закрыто — здание идет под снос… Да, он слышал, на этом месте построят новую столовую, большую, современную, — стекло, электрические плиты, разнообразное меню… Эх…

Едиге свернул в тихую улочку, на которой почти не было машин, и направил свои стопы к центру. Прохожих мало, лишь изредка пробегут мимо девушки, пересмеиваясь на ходу, все почему-то парочкой, или юноши прошагают деловито — с раздутыми портфелями в руках, с тетрадками под мышкой. Это — университетские, кто на лекцию, кто с лекции. Идут себе, как ни в чем не бывало, уверенной, легкой походкой. Едиге вспомнилось какое-то стихотворение о молодежи — такой, как эта: ей уютно в шумном

городе, словно ребенку в тихой колыбельке…

Едиге не спешит, все, кто движется с ним в одном направлении, без усилий обгоняют его. Но вот и он догнал и сейчас опередит кого-то, еще более неторопливого… Худая, костистая спина, с которой свисает долгополое пальто с мятыми, потерявшими форму плечами; под стать пальто и поношенная кепка с махрами по краям; человек тащится с трудом, словно превозмогающий себя пьяный — то вдруг рванется вперед, как бы стремясь кого-то настичь, то едва-едва, как в замедленных кинокадрах, переставляет ноги, плотно припечатывая каблуки к земле. Со стороны может показаться, что идти ему мешает длинная, чуть ли не волочащаяся по земле нитяная сетка, набитая какими-то свертками. Он то и дело ее перекладывает из руки в руку, из левой в правую, сетка лишает его спокойствия… Но вдруг он распрямляет сухую спину, кончиками пальцев приглаживает на затылке давно не стриженные буровато-серые завитки, бормочет что-то, размахивая свободной рукой. И, пройдя немного, сникает снова, голова уныло опускается, спина сутулится… Так повторялось несколько раз. Наконец, поблизости от гостиницы «Алма-Ата», он внезапно свернул в сторонку, остановился, сунул

руку в свою сетку, порылся среди свертков, раздобыл там заточенный с обеих сторон карандаш, листок бумаги и, пристроив его на полусогнутом колене, начал писать. Это был, как уже догадался Едиге, тот самый старик, с которым он постоянно сталкивался в библиотеке. Не задерживаясь больше, проголодавшийся Едиге направился к пельменной на углу улицы Мира — «вожделенной цели своего путешествия», как было бы сказано в старинном романе.

В этот час, между завтраком и обедом, пельменная была пуста. Но едва Едиге собрался выбить в кассе чек, как чье-то острое плечо оттеснило его в сторону.

— Простите, — услышал он, — вы шли следом за мной, так что моя очередь первая.

Едиге удивился, но спорить не стал. Это был все тот же старик.

Он выбил стакан чая за две копейки.

Попросив у мойщицы посуды два чистых стакана, он разделил свой чай на три части. Каждую он разбавил кипятком. Получилось три стакана, до краев наполненных чуть желтоватой жидкостью. Вряд ли можно было назвать ее чаем.

Дождавшись, пока Едиге сядет, старик присел к его столику.

— Вы не обиделись на меня?

— Что вы… — пожал плечами Едиге.

— Вот так-то, милый мой, — сказал старик, распутывая узел, который стягивал сверху сетку. — Во всем нужен порядок.

Он вытащил из сетки что-то, многократно завернутое в газету. Пока он, шурша, разворачивал сверток, газета накрыла почти весь стол, словно распущенная чалма правоверного мусульманина. Из середины свертка старик извлек надкушенную баранку. Положив ее поверх одного из стаканов, он снова с той же аккуратностью сложил газету и вернул ее в сетку, к остальным свертками.

— Вы много читаете, подолгу засиживаетесь в библиотеке, — сказал он, пристально взглянув на Едиге. — Вы что-нибудь слышали о поэте Кульдари?

Едиге напряг память.

Старик беззубыми розовыми деснами отгрыз-отломил краешек баранки, глотнул из стакана. Чай был, видно, слишком горячий, стакан обжигал пальцы — старик опустил его на стол.

— Так вы не слышали о Кульдари? Поэте и ученом?

Едиге по-прежнему пытался что-нибудь вспом-

нить — и не мог. Кульдари, Кульдари…

— Вы должны о нем знать. Стыдно, стыдно не знать о нем ничего, мой милый. — Старик не сводил с Едиге тусклых бесцветных глаз.

— Карсыбаев? — неуверенно проговорил Едиге.

— Вот! — вскинув палец вверх, старик торжествующе рассмеялся. — Молодцом, юноша, молодцом! Новое поколение не должно… — Он оборвал себя на полуслове и, приняв степенный, достойный вид, молча принялся за свой чай.

У Едиге ком застрял в горле. В подшивках за двадцатые годы ему встретились две-три статьи и несколько информации — о казахском фольклоре, об акынах и сказителях — за подписью студента Кульдари Карсыбаева. Судя по всему, от автора можно было ждать кое-чего в будущем… Ну и ну! Так это и есть тот самый Кульдари!..

Едиге приходилось и раньше немало слышать о людях, чья судьба в прошлом сложилась незавидно. Впоследствии погибшим вернули доброе имя, живые заняли принадлежащие им по праву места. А там начинали сбываться нарушенные когда-то планы, исполнялись давние замыслы; работа, творчество, жизнь — все шло своим путем… В голове у Едиге не укладывалось, что могло

случиться иначе. Кульдари, жидкий чай в стакане, баранка, которую он грыз… Едиге и верил, и не верил собственным глазам.

Кульдари доел свою баранку. Допил чай. Встал, накинул засаленную кепку на макушку. Затянул сетку — на два или три узла. Широко ступая, словно вдавливая в пол каблуки, дошел до двери, повернулся, поманил Едиге. И, когда тот приблизился, шепнул, едва не касаясь губами уха.

— Вы мне понравились, юноша. — Голос, обмякший было, тут же посуровел. Слезящиеся глаза сощурились, он погрозил Едиге пальцем.

— Вы должны помириться с девушкой, — сказал старик. — Непременно! Обязательно! — Голос его звучал теперь строго, даже сердито. — Такая симпатичная девушка, воспитанная, скромная… И все заглядывает в дверь. А вы ничего не замечаете. Так не годится!..

7

Едиге не понимал совершенно искренне, как это могут существовать люди, которые не посвятили своей жизни какой-нибудь возвышенной цели, — как они могут при этом спокойно есть, пить и спать.

В голову ему не приходило, что молодости отпущен довольно короткий срок, и жар ее со временем гаснет, мечты — бледнеют, желания — увядают.

Чего стоят, в конце концов, все приносимые в юности жертвы, какой смысл в том, чтобы посвящать ее цели яркой, но весьма отдаленной и вряд ли полностью достижимой, — об этом он не задумывался.

Едиге многого еще не знал. Весьма многого.

Не знал он и того — мы уже упоминали об этом, — как освободить свое сердце от постоянных тревог и забот, если впереди несколько свободных дней, которыми можно распорядиться по собственному усмотрению.

Обычно ему бывало не до того, чтобы отправиться в горы покататься на лыжах или встать на коньки и смешаться с озорной, смеющейся,

летящей по льду толпой. Кафе и рестораны?.. Он заглядывал сюда, но лишь в торжественных случаях, отмечая, скажем, день рождения, свой или близкого приятеля.

Нечаянные знакомства, встречи, будоражащие кровь и забывающиеся спустя пять минут?.. Они его не привлекали.

В таком городе, как Алма-Ата, многолюдном и шумном, полном всяческих искушений и соблазнов, имелось, по его мнению, лишь два-три места, где стоит бывать.

Одно из них — опера.

Впрочем, как бы ни старалась пышнотелая, гренадерского роста женщина, весом вряд ли меньше девяноста — девяноста пяти килограммов, с довольно заметными, несмотря на солидный слой грима, морщинами на лице изобразить юную кокетку, играя кончиком подколотой к затылку косы, как бы ни был звучен и сладок ее голос (меццо-сопрано), Едиге не мог внушить себе, что там, на сцене, трепещет от первого чувства сама невинность, и аплодировал весьма вяло. Когда же замолк пронзительный, писклявый голосок (тенор!) певца-коротышки, с тоненькими ножками и широченной, выпуклой, словно кузнечный мех, грудью, Едиге присоединился

к рукоплещущей публике: коротышка только-только исполнил арию и начал раскланиваться, как в его улыбающийся рот попал бьющий из софита луч, и весь рот засверкал — из тридцати двух зубов больше половины наверняка были золотыми. Едиге стало смешно… Хлопал он, однако, совсем не в насмешку. Как говорил Абай, «достоинство человека узнается не по тому, как он кончил дело, а по тому, как начал». Это значит: главное — замысел, намерение; результат же по разным причинам, в том числе и не зависящим от нас, может оказаться иным, чем предполагался. Ну, а эти двое — разве они весь вечер не надрывались, не пели до хрипоты, стремясь воскресить перед сегодняшними слушателями историю трагической любви юноши и девушки, которые жили в семнадцатом веке?..

Кино?..

Он побывал на нескольких сеансах, дневных и вечерних, — смотрел все подряд.

В отличие от оперного театра, где на сцене изображалась прошлая жизнь, киноленты дышали современностью. Он почерпнул немало сведений о нынешнем обновленном ауле, о преобразуемых по последним проектам селах, о перевыполняющих плановые задания рудниках.

Были интересные фильмы, как правило, — документальные, были неинтересные, плоские по замыслу, как правило, — художественные… Так ему, во всяком случае, казалось.

Что же дальше?.. За трое суток, похоже, он успел увидеть и вникнуть во все, что считал достойным внимания.

На четвертый день он бродил по улицам без всякой цели. И к вечеру, словно вспомнив о чем-то неотложном, остановился, подумал немного и, внезапно повернувшись, куда-то заспешил.

Он чуть не бежал. Он перевел дух лишь в пяти или десяти шагах от библиотеки.

Открывая входную дверь, он почувствовал обретенное наконец облегчение. И вместе с тем — досаду: столько времени погублено зря!..

8

Здесь ему показалось еще многолюдней и тесней, чем прежде. Сколько суеты, толчеи!.. Когда он сдавал в гардероб пальто, утомленная ожиданием очередь заволновалась: «А нам почему говорили, что нет мест?..» Но казашка-гардеробщица, хорошо зная Едиге, который еще в студенческую пору просиживал здесь целые дни, сказала: «Наушный работник!» — и очередь, на три четверти из студентов, перестала роптать. Возмущались несправедливостью только двое-трое, однако после того, как гардеробщица добавила: «Дохтыр! Прапесыр!» — их негодование тоже улеглось и, чувствуя неловкость, они потупились, будто сами того не ведая совершили нечто постыдное, но были тут же разоблачены с позором у всех на виду.

Едиге благодарно кивнул гардеробщице и направился в свой зал.

Единственное свободное место, на которое остался номерок, было тринадцатым.

Принято думать, что вера в приметы, да и вообще в потусторонние, сверхъестественные силы, свойственна людям темным, необразован-

ным. Едиге заметил, что мнение это верно лишь отчасти. История человечества, как известно, развивается по спирали. То же можно сказать и о человеческом сознании. Чем больше научных сведений о мире оно накапливает, тем глубже бездны, открывающиеся перед ним. У людей с высоким интеллектом, убедившихся в существовании бессчетных загадок и тайн, хранимых природой, нередко возрождаются качества, свойственные первобытному сознанию, наивному и примитивному. Этим объясняется, считал Едиге, парадоксальная для нашего времени боязнь перед черной кошкой, перебегающей дорогу, или тринадцатым числом, — боязнь, свойственная людям хорошо образованным, культурным. Да что там! Едиге самому доводилось видеть людей, далеких от религиозности, но каждое новое дело начинающих только в среду — «легкий», «удачливый» день, а по пятницам — «день для отдыха» — появляющихся на работе лишь для вида. Среди них есть и такие, кто, несомненно, верит в шайтана, дивов, духов и прочую дьявольщину, думал Едиге.

«Но сам я не верю ни в Христа, ни в Магомета, ни в ангелов, ни в бесов, следовательно, чертова дюжина обязана принести мне удачу, к тому же

сегодня пятница», — размышлял Едиге, выбирая из стопы сданных на хранение книг три-четыре нужные. Однако, войдя в зал, он так и дрогнул от смеха. Ну, нет, все-таки тринадцать — это тринадцать… На его тринадцатом месте расположился не кто иной, как старик Кульдари. Перед ним пирамидой громоздились тома в рыжих переплетах; на полу, прислоненные к ножкам стола, дыбились газетные подшивки. Кульдари что-то писал и тут же зачеркивал. Вид у него был такой, словно в руке у него не карандаш, а лопата, которой он в поте лица долбит промерзшую землю… Едиге неуверенно остановился рядом со своим столом. Скорее всего, старик занял его по ошибке. Но что делать?.. В зале среди примерно сорока столов Едиге не видел ни одного пустого.

Впрочем, Кульдари уже заметил его. Заметил — и такой испуг отразился у него в глазах, как если бы на руках у Едиге были надеты толстые, словно колотушки, боксерские перчатки, которыми он собирался — одним ударом! — нокаутировать бедного старика. Кульдари съежился.

— Простите… Я сейчас…

Он вскочил и принялся впопыхах складывать разбросанные в беспорядке бумаги. Тишина в зале была нарушена, к ним оборачивались — кто

негодуя, кто с любопытством.

— Сидите, аксакал, сидите, — бормотал Едиге, растерявшись не меньше самого Кульдари.

Но старик продолжал суетиться:

— Минутку, минутку…

Едиге поспешил к двери…

В общем зале было душно от множества людей, в глазах рябило при виде столов, поставленных длинными рядами, через небольшие равные промежутки. Едиге с тех пор, как сделался аспирантом, чувствовал себя «аристократом» и сюда не заглядывал. Но сейчас ему представлялось даже любопытным то, что здесь он видел.

Например, он увидел тут своих давних знакомых, — Едиге не знал их имен, зато лица помнил отлично.

Вот та светленькая девушка, пухленькая, как присыпанная сахарной пудрой булочка, — плотно закрыв глаза, она быстро-быстро шевелит губами, учит что-то наизусть, по временам посматривая, как в молитвенник, в раскрытую перед нею книгу. Когда Едиге поступал в университет, она была уже студенткой не то второго, не то третьего курса. С тех пор ей, наверное, удалось доползти до пятого…

А за нею, чуть дальше, горбоносый, с глубокими

залысинами мужчина, лет сорока. Он нигде не учится и скорее всего никакого специального учебного заведения не кончал, даже среднюю школу — и ту не полностью. Рабочий — с АЗТМ или с завода имени Кирова. Он появляется в библиотеке ежедневно к семи вечера и уходит одним из последних — в одиннадцать. У него четкий, устойчивый круг интересов: научная фантастика и альбомы с цветными репродукциями художников Ренессанса.

Ну, а эта девица из черноволосой преобразилась в огненно-рыжую. Едиге с трудом узнал ее. Наверняка — единственная дочка почтенных родителей. При рождении, возможно, нарекли ее Шолпан, она переименовала себя в Венеру. Кажется, училась вначале в институте иностранных языков, потом в университете, с прошлого года — неизвестно где. Характерная анкета… Но при всем том — одна из самых верных, постоянных посетительниц библиотеки. Приходит каждый день, как на работу. И каждый день — в новом наряде. Словно случайно завернув на минутку, по дороге на бал или в театр. Едиге ни разу не видел, чтобы она внимательно читала книгу, выписывала что-нибудь в тетрадь. Однако является она сюда с определенной, куда более

важной целью. Обычно студенты, придя пораньше, занимают и место рядом, приберегая его для товарища; возле Шолпан стул постоянно бывал свободен, хотя перед ним на столе всегда лежала перевернутая вверх корешком раскрытая книга. Рано или поздно здесь располагался какой-нибудь хорошо одетый парень, рослый красавец, напоминающий статью породистого ахалтекинца. Только странно, Едиге никогда не замечал, чтобы тот же парень садился на это место и на другой день. Казаха сменял русский, русского — немец. Появлялись и корейцы, и чечены. Но не удерживался никто. Вероятно, девица была еще неопытная или попросту невезучая при вполне симпатичной, даже агрессивной внешности. Вот и сегодня — то же самое, что и год, и два назад: сидит, выжидает, раскинув свои силки. Пунцовые губы, кажется, готовы лопнуть, как переспевшая черешня, при первом прикосновении; гладкая белая шея, высокие груди, вздымающиеся при каждом вздохе, глаза, в которых так и светится призыв, — ну, все, все говорит: «Иди же, иди ко мне!» Но у всякого при виде ее рождаются лишь греховные помыслы. А ей одно нужно — залучить себе суженого, в будущем — супруга. И непременно — красавца. Это уж — непременно… Красавцы

же что-то не льнут к ней. И жизнь бедняжки Венеры по-прежнему протекает в томлении и одиночестве. Едиге про себя пожелал ей удачи…

Только с нею рядом и сохранялось свободное место. Но Едиге не обманывался на собственный счет: шея, он знал, у него коротковата, и спина немного сутулая, и мало ли еще какие дефекты свойственны его внешности, поэтому, нет сомнения, стул около огненно-рыжей богини окажется «занятым», лучше не подходить. Однако предавшись мечтам и соблазнам, на которые падок слабый человек, он вздрогнул от неожиданности, когда кто-то тронул его за плечо: «Эй, парень, тебя девушка зовет», — вздрогнул, как будто его разбудили. — «Да вон же, вон», — сказал незнакомый студент, указывая на самый дальний стол. В самом деле, там, у окна, кажется, было свободное местечко.

Едиге едва протиснулся между спинками тесно составленных стульев. Место ему предложила молоденькая девушка — ее лица он не видел, оно было скрыто черной волной волос, падающих до самых плеч. Она так и не повернула к Едиге низко склоненной головы, продолжая перелистывать книгу с изображениями каких-то лепестков и травинок.

— Ваша подруга должна скоро прийти? — спросил Едиге, когда она, по-прежнему не поднимая глаз, протянула руку и придвинула к себе тетрадь, лежавшую перед соседним стулом.

— «Да», — кивком подтвердила девушка.

— Тогда не стоит садиться, — сказал Едиге.

Только теперь она повернулась к нему. Румянец вспыхнул и залил ее щеки, все лицо, до мочки маленького уха, вынырнувшего на миг из чащи волос. Едиге узнал ее — да, это ей с месяц назад он уступил место в зале для научных работников.

— П-п-простите, — растерянно вырвалось у него. Он поперхнулся — скорее всего от неожиданности. — Беру свои слова обратно. Это место мне нравится.

Девушка опять принялась листать страницы, разглядывая рисунки.

— Так вы не прогоните меня, когда придет подруга? — Едиге, уже вполне владея собой, расположился рядом.

Девушка прямо, в упор посмотрела на Едиге. Так прямо и открыто, что где-то в душе он вновь почувствовал растерянность.

— Наверное, теперь она уже не придет, — ответила девушка тихо, едва шевельнув губами. Красная кофточка из прозрачного нейлона с

закрытым, облегающим шею воротничком и черный сарафан с треугольным вырезом на груди очень шли к ее полыхавшему от смущенья лицу и угольно-черным волосам. И было столько юной, трогательной чистоты в этом лице, в этих чуть приотворенных, пересохших от волнения губах, в этом взгляде из-под настороженных пушистых бровей…

— Где вы потерялись? — спросил Едиге.

— Тс-с! — зашипели сзади.

— Это вы потерялись, — прошептала девушка.

Едиге вспомнил слова Кульдари, сказанные несколько дней назад. Так это про нее он говорил…

Девушка смотрела в книгу не отрываясь. Она, казалось, полностью ушла в чтение.

В зале словно прибавили света. Едиге посмотрел в окно и увидел, что за стеклами падает снег. Летели хлопья — пушистые, белые. Мельтешили, резвились в ярких лучах уличных фонарей. От окна, из щелки между рамами тянуло холодком. Едиге чувствовал, как он пробивается свежей струйкой сквозь спертый воздух читального зала, проникает в грудь… «Как хорошо! — неожиданно подумал он. — Как хорошо жить! Просто — жить!..»

Он огляделся по сторонам. Все застыли, замерли, каждый уткнулся в свою книгу. И тишина такая, что пролети муха — ее слышно было бы на весь зал. Соседка Едиге листала страницы с нетерпением ребенка, который ищет и не находит нужной картинки.

— Хорошо позанимались в тот день?.. — обратился он к ней шепотом.

Оторвавшись от какого-то рисунка — все то же: травинки, стебельки… — девушка медленно повернула к нему лицо, распахнула ресницы… Слышит она его или нет?.. Смотрит и молчит. Одновременно — такая далекая и такая близкая… Вот они встретились глазами. На щеках у соседки — как легко и мило она краснеет! — снова вспыхнул горячий румянец и разливается все шире, шире…

О, господи, — подумал Едиге. — Да я, наверное, спятил…

9

В небе слабо мерцают редкие звездочки. Оно словно раздвинулось, стало выше. И улица вместе с ним, и весь мир — всюду как будто сделалось просторней, светлее. Лишь стволы дубов по-прежнему чернеют угрюмо, слегка заиндевелые от мягкого морозца, которым сменился только что кончившийся снегопад. Но даже могучие столетние дубы, прочно уйдя в зимний сон, в эту ночь обновились, помолодели. Так, по крайней мере, казалось Едиге. Он полной грудью вдыхал прохладный, пахнущий снегом воздух и с удивлением озирался по сторонам — будто все видел впервые. Целый мир обновился и помолодел — за несколько часов!..

Наверное, и девушка рядом с ним испытывала то же радостное чувство.

— Какая ты маленькая! — заметил он, улыбаясь.

Она рассмеялась.

— Мне и папа всегда так говорил. Только когда после школы аттестат получила, сказал: «Ну, вот, теперь ты стала большой!»

— Все равно, ты и сейчас маленькая.

— Какая же маленькая — всего чуточку ниже вас.

— Разве? Давай померяемся… В самом деле.

— Я же говорю.

— Но ты смотри, не расти больше. Девушке ни к чему быть чересчур высокой.

Некоторое время они шли молча.

— Я до восьмого класса очень плохо росла, — заговорила она. — Прямо крошкой была. Потом в секции стала заниматься баскетболом, это помогло. Просто на глазах вытянулась. А после баскетбол забросила.

— Насовсем?

— Что — насовсем?

— Баскетбол забросила?

Ему хотелось, чтобы она повторила это словечко — такое детское — «насовсем». Ей очень шли такие слова. И еще, например, «честное-пречестное» или «честное пионерское»…

— Честное пионерское, — сказал он.

— Что — «честное пионерское»?.. — насторожилась она.

— Нет, просто так. — Едиге рассмеялся: до того приятно у нее это получилось. — Продолжай. Так чем же ты занялась после баскетбола?

— Лыжами.

— И сейчас катаешься?

— Нет. Мне папа посоветовал налечь на учебу. Ну, я и записалась в группу по общей физподготовке. Хожу два раза в неделю. Времени-то совсем мало… — Она вздохнула. — Только вот сейчас так захотелось на лыжах покататься! Девочки из соседней комнаты в прошлое воскресенье в горы ездили, рассказывают, до чего же там хорошо… А вы любите лыжи?

— Когда-то хаживал. В первом классе, по-моему, — усмехнулся Едиге.

— А каким спортом теперь занимаетесь?

Как она серьезно спросила… Так уж ей важно знать, каким спортом занимается Едиге…

— Угадай.

— Вы боксер, — сказала она.

— А может быть — борец?

— Нет.

— Или штангист?

— Не похоже.

— На борца — не похож. На штангиста — не похож. На кого же я похож?

— Не знаю, — сказала она. — Вы странный. Вы ни на кого не похожи.

— Ого! — подумал Едиге.

— Я занимаюсь фехтованием, — сказал он, воз-

вращая разговору прежнее русло.

— Правда?.. Как мне сразу в голову не пришло! — обрадовалась она. — Конечно, вы фехтовальщик. Я даже видела у вас значок мастера спорта.

— Мастера я получил по стрельбе.

— По стрельбе?.. Почему — по стрельбе?.. — удивилась она.

— Потому что все великие писатели были хорошими охотниками.

— А-а… — Она растерялась. — Это правда, Тургенев, например. Или… — Она искала, кого бы еще вспомнить.

— Хемингуэй, — помог он.

— Да, да, я о нем слышала… Слышала, только не читала. Не могла достать.

— У меня кое-что есть, возьми.

— Спасибо…

— Между прочим, как раз он-то и занимался боксом.

— Хемингуэй?

— Да. И бросил боксировать только после того, как ему чуть не перебили нос. А нос у него был крепкий, у меня, к сожалению, нет такого носа… И характер у меня робкий. Вот и выбрал фехтование, чтобы мне ничего не сломали. Рапира — дело

безопасное.

— И сейчас…

— Да нет, месяца два походил на тренировки, не выдержал и бросил.

— Как же вы, — огорчилась она, — надо было выдержать до конца.

— Зачем? Я знал, толку все равно не получится.

— Все-таки…

— Но моя фехтовальная карьера на этом не оборвалась, — утешил ее Едиге. — Было продолжение. Года через два-три приглашают меня в деканат. Оказывается, некого выставить на межфакультетские соревнования. Не выставим — пять штрафных очков. «Да что вы… — говорю. — Да я же…» А мне в ответ одно твердят: «Не выполнишь общественное поручение — слетишь со стипендии». Тут не откажешься… Вот я и провел восемь поединков, — а среди противников были перворазрядники, даже мастера, — во всех проиграл, со счетом пять-ноль, и добыл для своего факультета последнее место.

— И то хорошо. Вы правильно поступили, — она с живостью одобрила его, не рассмеялась, как ожидал Едиге.

К чему я столько болтаю? — подумал он. И спро-

сил, останавливаясь:

— Ты не замерзла?

Она тоже остановилась.

— Нет.

— Дай руку, погрею. — Стянув перчатки, он сунул их в карман пальто.

Она несмело протянула ему левую руку.

— Так не годится, — сказал он и снял с ее руки варежку. Пальцы у нее были теплыми.

— Давай другую руку.

Она покорно протянула правую. Он и с нее стянул варежку.

— Теперь без положенного вознаграждения обратно не получишь. — Едиге обе варежки спрятал к себе в карман.

— Пора домой, — сказала она. Но таким тоном, будто сама предлагала: «Постоим еще немножко».

— Сначала погрей мои руки. Видишь, я замерз.

— Как я согрею? Они такие большие.

— Тогда вначале правую.

— Почему правую?

— Потому что весь мой ум в этой руке. А если хочешь знать точно, то вот в этих трех пальцах.

Они стояли, смеясь, и она перебирала его пальцы, притрагиваясь к каждому с таким лю-

бопытством и осторожностью, словно пыталась разгадать тайну. Потом потянула Едиге за собой — идем…

Фонари светили ровно, не мигая. Снег под ними весело искрился, поблескивал. Скользя на поворотах и взвихривая свежую порошу, мимо пробегали юркие такси с зеленым кошачьим глазком. Загорались и гасли разноцветные неоновые надписи вдоль всего центрального проспекта. Обыкновенный будний вечер, но после снегопада всегда кажется, что в городе праздник…

На тротуар хлынула густая толпа — люди громко переговаривались, звучал смех. В кинотеатре закончился последний сеанс.

Вдвоем, словно избегая встречных, они повернули в тихую боковую улицу. И сразу будто перенеслись в какую-то странную, романтичную местность, где доселе не ступала нога человека: большие и маленькие, высокие и низкие дома по обе стороны улицы, заснувшие, с темными окнами, заметенные снегом, — это седоглавые горные хребты; деревья, дремлющие вдоль тротуара, — это лесная чаща в лощине; дорожка, проложенная кем-то по пушистому, доходящему до самых щиколоток снегу, — звериная тропа. Чем дальше они шли, тем глуше делалось вокруг,

пропадали приметы привычной жизни, улочка суживалась… Зато мир, казалось, распахивался перед ними все шире, безмерней.

Может быть, это сон?.. — мелькнуло у Едиге. Девушка шла по недавно протоптанной тропке, он держал ее под руку, ступая рядом и оставляя глубокие следы на рыхлом снегу.

— Мы правильно идем? Не заблудимся?..

Она искоса посмотрела на него, вопросительно и вместе с тем шаловливо.

— А в каком общежитии ты живешь?

— В четвертом.

— Университетском?..

— Да.

— Вот оно что!.. Так ведь и я тоже в нем живу!

Она кивнула молча. И — заметил Едиге — чуть усмехнулась, прикусив нижнюю губу.

Слишком уж все удачно складывается, — подумал Едиге, внезапно начиная испытывать какое-то непонятное смущение. — Или на самом деле мне все только снится?.. Ведь и правда — все как сон… Вот идет она, быть может, та самая, о которой я столько мечтал ночами, которую искал столько лет, придумывал, создавал в воображении. И вот она рядом… Скольким девушкам я протягивал руку, надеялся, верил, что это и

есть — Она. Но проходило время, и я видел, что снова обманут. Образ, который вынашивал я в себе, становясь явью, всякий раз уплывал, как мираж, таял в тумане… Где же ты? — думал я снова и снова. — Тебя нет… Тебя нет…

— Где же ты?..

— Я здесь.

Не отнимая руки, она шла теперь по другую сторону тропинки, распадавшейся на боковые стежки и уже еде заметной.

— Смотри, наберешь снега и ноги промочишь, — сказал Едиге.

— Ну и пусть.

— Простудишься, глупая.

— Ну и пусть. — Она еще дальше отступила от тропинки, будто нарочно искала, где поглубже.

— Не балуйся, — сказал он, смеясь.

— Буду баловаться…

— Говорю тебе, простудишься.

Она все-таки послушалась и придвинулась к нему поближе.

Тропка впереди совсем исчезла. Снег на тротуаре лежал сплошным настом, а вверху с обеих сторон сплетались дубовые ветви. Они двигались внутри светлого туннеля.

Едиге казалось, он слышит — и совершенно

отчетливо — биение ее сердца. Кончики пальцев, зажатых его ладонью, вздрагивали при каждом толчке. Теплая волна, возникая в них, поднималась выше, выше и разливалась по всему телу. Он еще не испытывал чувства, подобного тому, которое сейчас властно, неодолимо завладевало им. Наверное, так возвращалась бы жизнь к мертвому, буде ему суждено воскреснуть…

— Наверное, так возвращается жизнь к мертвому, буде ему суждено воскреснуть, — повторил он то ли вслух, то ли про себя, как в бреду.

Он потянул ее за руку, остановил. «Она должна быть моей, — подумал Едиге. — И будет, будет!» Он был словно пьяный. Еще миг — и он упадет, не удержавшись на слабнущих ногах. Неловким движением, как бы ища опоры, он притянул к себе девушку и обхватил за талию. Глаза их встретились на секунду, он увидел, какие острые у нее ресницы, взгляд был их продолжением. Она что-то сказала, Едиге не расслышал. Не понял. Только почувствовал — она что-то сказала… И еще — что сопротивляется она слабо, слишком слабо и нехотя его объятиям. Он ее не выпустил. Прошло несколько секунд, может быть, — минут. Она сдалась. Копья ресниц сомкнулись. Он осторожно поцеловал ее в приоткрытые губы.

Горячие, влажные. «Моя!» Он целовал ее, и она, казалось, вот-вот растает в его руках.

— Ты моя. — Он видел ее глаза как бы сквозь туманную дымку.

Она не ответила.

— Моя, — повторил Едиге, наклоняясь к ней. — Хоть я и мизинчика твоего не стою. Как же ты стала моей?..

10

— Надо было и девушек наших пригласить, — предложил Кенжек.

— У них в комнате никого нет, — сказал Бердибек.

— Мы их искали, но не нашли, — подтвердил Ануар. — Халима, наверное, отправилась в гости к сестре. А Батия, конечно, в лаборатории. Она ведь не признает ни суббот, ни воскресений.

— У нас в ауле тоже была Батия, — вспомнил Бердибек. — Первая красавица, сколько джигитов за ней увивались. Ну и что же?.. Сидела-сидела дома, да, видно, пересидела. Так и осталась на всю жизнь в девках Вот ведь как бывает…

— Чего не случается на свете! — согласился Ануар.

— Вот-вот, — вздохнул Бердибек. — А какая была красавица…

— Наша Батия — тоже сила, — сказал Кенжек. — Дай боже, что за девчонка!

— Только так и надо работать, как она, — поддержал Халел.

— Конечно, — сказал Бердибек. — Я и не спорю. Однако не грех иногда подумать о земных

усладах…

— Прикуси язык, — сказал Ануар. — Если станешь продолжать в таком духе, то совратишь с пути праведного наших малышей… Лучше шагай-ка на кухню. Сними там накипь с мяса, пока не разошлась…

— Разве теперь не твоя очередь, Ануар?..

— Кто староста в этой комнате? — возразил Ануар. — Я староста. Значит, на кухню идти тебе — и в первую, и во вторую очередь.

— Ну и ну, — грустно закрутил головой Бердибек. — Угораздило меня поселиться в этой комнате.

— Когда мясо будет сварено, порезано и поставлено перед нами на стол, сможешь прилечь отдохнуть, — утешил его Ануар. — А пока исполняй свой священный долг. Я все равно не умею варить мясо. Еще испорчу.

Бердибек покорился своей участи.

— Лично я пришел к выводу, что эксплуататоры долго еще не переведутся, — сказал Ануар. — Приятней эксплуатировать чужой труд, чем трудиться самому.

— Ничего, Бердибек своего нигде не упустит, — сказал Халел. Он уже вытащил откуда-то свою трубку с длиннейшим чубуком и начал уминать

в ней табак.

— Досадно все же, что нет девчонок, — сказал Кенжек.

— Да тебе-то что проку, есть они или нет? — усмехнулся Ануар. Поддразнивая Кенжека, он приглаживал упавшую на лоб челочку.

— С ними веселее, — сказал Кенжек.

— Ну, а вы что думаете на этот счет? — спросил молчавший до сих пор Едиге. — Да, именно вы, почтенный мырза Мухамед-Шарип Мухамед-Ханафия-улы Жаныкулов?

— Светлой памяти Жаныкул наверняка не думал, что его потомок в седьмом колене станет никудышным химиком, — сказал Ануар. — Кстати, единственное, что осталось у меня от школьного курса химии, это формула мыла. Зато она такая длинная, что можно надорваться, пока запишешь ее на доске.

— Я… — торжественно заговорил, блеснув стеклами огромных роговых очков, так же, как и Едиге, хранивший безмолвие мырза Мухамед-Шарип Мухамед-Ханафия-улы Жаныкулов. — Я… — Сняв очки, он протер платком стекла, но надевать не стал. — Я считаю тот факт, что проживающий в триста второй комнате аспирант второго года обучения, кандидат в кандидаты исторических

наук…

— А в настоящее время доктор овцеводческих наук… — вставил Ануар.

— Пользуешься его отсутствием, — сказал Халел, попыхивая трубкой.

— Думаешь, побоюсь повторить при нем? — покраснел Ануар.

— Не перебивайте оратора, — сказал Едиге.

— …считаю тот факт, что кандидат в кандидаты исторических наук, — продолжал Мухамед-Шарип, — вышеупомянутый Бердибек Исламгалиев, несмотря на предшествующий жесточайший провал, все же сдал — всеми правдами-неправдами, — но все же сдал минимум по философии — на тройку, не менее надежную, чем кривая подпорка в овечьей кошаре, а затем для восстановления расшатанного здоровья совершил пяти-шестинедельную поездку в родной аул, — я считаю этот факт крайне опасным прецедентом, способным разлагающе повлиять на весь наш аспирантский коллектив. Однако то, что вышеназванный товарищ…

— Какая ошибка в выборе профессии!.. — покачал головой Ануар. — К чему тебе химия? Болтология — вот твое призвание…

— …то, что вышеназванный товарищ, — на-

хмурив брови, продолжал Мухамед-Шарип, — не забыл достойных жалости дервишей…

— …а точнее — монахов-затворников, — сказал Халел.

— …а еще точнее — усердных в постижений наук суфиев-мюридов, — добавил Едиге.

— …вот именно, суфиев-мюридов, проживающих на третьем этаже университетского общежития номер четыре, то бишь — своих товарищей, и привез для угощенья немного свежего мяса, и пригласил собравшееся здесь общество, притом вопреки яростному сопротивлению известного скупца, который доит высохшее дерево — прошу учесть, господа филологи, последняя метафора-пословица изобретена лично мной, — вопреки сопротивлению известного скупца, который доит высохшее дерево и, несмотря на хилые свои силы, пытается докопаться до корней философской науки, отощавшего, исхудавшего…

— Чтоб тебе, дьяволу, лопнуть! — захохотал Ануар.

— Сразил наповал! — восхитился Кенжек, у которого губы чуть не до ушей растянулись от смеха.

— …недостойного аспиранта Ануара Солтабаева. К стыду последнего и на радость остальным,

доброе дело, затеянное достопочтенным Бердибеком, вновь подтверждает, что в нашем обществе «человек человеку — друг, товарищ и брат».

— Уф!.. Наконец кончил?.. — сказал Ануар. — Дайте воды, у него в глотке пересохло.

— Я произнес только вступление, — сказал Мухамед-Шарип.

Все расхохотались.

— Так тебе никогда не защитить диссертации по химии, — вздохнул Ануар. — Ты, дружок, должен обуздать свое красноречие. Ведь для вас главное — реакции, формулы…

— Разве моя речь хуже какой-нибудь формулы? — сказал Мухамед-Шарип.

— Вот не знал, что Муха такой оратор, — продолжал восторгаться Кенжек.

Достав из кармана платок, Мухамед-Шарип во второй раз аккуратно протер очки, хотя в продолжение всей своей речи держал их в руках. Едва он оснастил ими нос, как сразу же его лицо приняло обычное выражение — солидное и несколько флегматичное.

— Сварилось, наконец, твое мясо? — спросил Ануар вошедшего Бердибека.

— Даже не вскипело. Чертова плита…

— Тогда не выйти ли тебе снова?

— Это почему?

— Оказывается, и у тебя есть друзья. Ведь говорят, что истинный друг за глаза хвалит… У тебя в правом ухе не звенело?

— Его не только хвалили, — обронил Халел.

— Без врага нет истинного джигита, — возразил Ануар. — Но не всякий, кто за глаза ругает, — враг. Лично я никогда не поверю, что среди нас есть люди, желающие зла Бердибеку.

— Друзья, — усмехнулся Кенжек, — слушаю я вас и завидую. Как все вы умеете красиво говорить!.. Просто слушать любо-дорого. Едиге, посоветуй, как бы и мне научиться такому искусству, а?

— Что же, по-вашему, Бердибек — подлец? — приподнял брови Мухамед-Шарип.

— Советую, Кенжек, — не учись, — сказал Едиге.

— Никто о нем так не говорит…

— Почему?.. Может, и я тоже хочу…

— Разве заурядный человек бросит должность директора школы и уйдет работать простым чабаном? Ведь его никто не принуждал, пошел по собственной воле…

— Учти, кто боек на язык, тот не способен к настоящему делу…

— Не веришь?.. Он может и сам подтвердить. Слышите, ребята, наш Бердибек закончил университет и, не проработав даже двух лет по специальности, пошел пасти овец. Притом пас их довольно долго…

— Что, что?.. — переспросил Едиге. — Пас овец?..

— Вот именно — обыкновенных овец! — Ануар воздел вверх указательный палец. — И разъезжал при этом на обыкновенном маштачке!..

— Быть бы тебе шутом, а не философом, — обиделся Бердибек.

— Семь-ноль в мою пользу, — подытожил Ануар.

— Помолчи ты! — отмахнулся от него Бердибек. — Все правильно, я был чабаном. Ну, и что такого? Это плохо, позорно — пасти овец?..

— Конечно, нет, и всем это ясно, — буркнул Мухамед-Шарип.

— Достаточно вспомнить Жазылбека Куанышбаева, — уточнил Ануар.

— Было время, когда партия и правительство поставили на первое место освоение целины. И весь народ откликнулся. Молодежь начала овладевать механизацией, даже девушки сели на трактор… В результате миллиарды пудов,

которые…

— Все это мы и сами знаем, — перебил Бердибека Халел, выколачивая трубку.

— А если знаете, то знаете, что у нас в республике был потом выдвинут новый лозунг: «Животноводство — вторая целина».

— И это известно, — отозвался Халел.

— А если известно, тогда согласись, что настоящий интеллигент — это не какой-нибудь белоручка. Пасли овец наши предки, пасут наши сверстники, почему бы и нам не пасти? Мы что — лучше их?

— Доказал, — Халел снова принялся набивать свою трубку.

— Эй, послушай, ты и так уже нас всех обкурил. Может быть, достаточно? — обратился к нему Ануар.

— На сей раз хочу выкурить трубку в честь железной логики нашего Бердибека, — сказал Халел.

— Кури! — Бердибек дышал тяжело, как после драки. — Дело не в логике, а в истине.

— Я не беру под сомнение твою истину, — неожиданно встрепенулся Едиге, до того лишь изредка вставлявший слово. — Только незачем приплетать сюда предков. Ведь вы, историки,

сами доказываете, что вместе с бытием изменяется сознание, а раз наше общественное бытие поднялось на новую, высшую ступень…

— Значит, мы должны презирать физический труд? — перебил Бердибек. — Поскольку живем в эпоху автоматики и кибернетики?.. Ерунда!

— Что же выходит? — растерянно оглядел всех Кенжек. — Ну, допустим, закончил ты десятилетку — так положено. А потом? Государство ведь для чего-то тратило на тебя народные средства, пока ты в университете учился? Пока получал высшее образование? И заметьте — специальное, чтобы трудиться там, где принесешь больше пользы!..

— Да простит тебя аллах за то, что ты не понимаешь иногда элементарных вещей, — сказал Ануар. — Наш Бердибек в то время увидел, что больше пользы принесет народу, будучи чабаном…

— Почему же он перестал пасти баранов? — наивно спросил Кенжек.

— Ты как ребенок, — усмехнулся Халел.

— Я на год старше тебя, — сказал Кенжек.

— И что же, ты окончишь аспирантуру и вернешься к своей отаре? — спросил Едиге у Бердибека.

— А вы не слышали, ребята, может, сейчас,

чтобы поступить в докторантуру, тоже нужен животноводческий стаж? — осведомился Халел.

— Дайте заключить мысль, — сказал Ануар. — Как выяснилось за последние два года, Бердибек понял, что больше всего пользы для народа он принесет именно на поприще науки…

— Может быть, прекратим этот глупый спор? — предложил Бердибек.

— Здравая мысль, — одобрил Ануар. — Пойдука займусь лучше чаем. Сахар у нас есть. А из дома Бердибек привез целый мешок белых калачей.

— Вот это прекрасно! — сказал Мухамед-Шарип.

11

— Потрясающе! — воскликнул Кенжек. — Невероятно! — Он улыбался во весь рот, глаза его округлились и блестели. — Подумайте только, друзья, — две тысячи сотый год!.. Это далеко или близко? Для истории — какой-нибудь миг! Полтора века в жизни человечества — пустяки, но какими счастливыми будут люди, которым тогда доведется жить!.. Едиге, дружище, я всегда перед тобой преклонялся! Ты гений, честное слово! Правда, ребята, он гений?..

— Красивая сказка, — сказал Халел. — А Едиге — литератор. Потому он и умеет нарисовать так живо любую вещь… Живо, выразительно, впечатляюще… Даже явная фантастика выглядит у него убедительно… Одно только не ясно: Едиге хотел нас немного развлечь, поднять настроение или он сам безоглядно верит всему, что рассказал?.. А ты, Кенжек, стыдись — математик признает только разум и логику, его романтикой не купишь. Если на тебя так подействовала эта сказка, значит, я не ошибся: ты — ребенок.

— А ты — зануда и скептик, — выпалил Кенжек. — Преждевременно состарившийся скеп-

тик!

— Суть не во мне, а в истине, — спокойно возразил Халел. — Я понимаю Едиге. Но Платон мне друг, а история… Какие бы благородные цели мы ей ни указывали, у истории свои законы. Не так ли, историк?..

— Наверное, так.

— Но учтите, — сказал Едиге, — учтите: и у отдельного человека, и у человечества в целом — различные масштабы и различное восприятие времени. Если изобразить историю человечества условной величиной в несколько десятков лет, то вся эпоха цивилизации, начиная с Афин и Рима, уложится в какие-нибудь пять минут. Человечество только-только выходит из пеленок, вся жизнь у него впереди.

— А если большую часть жизни человечество уже прожило?.. И осталась меньшая?.. — сказал Халел.

— Хиросима, Нагасаки… — пробормотал Мухамед-Шарип.

— Даже случись атомная война, все равно она решится в нашу пользу, — возразил Ануар.

— Потери, конечно, будут громадны… Но для капиталистического мира эта война окажется последней развязанной им войной, — сказал

Бердибек.

— Эти гуманитарии рассуждают так, будто им одним все ясно, — усмехнулся Мухамед-Шарип.

— Ясно, что в современных условиях возможность новой войны почти равна нулю. Милитаристы на нее не решатся. Единственное, чего следует опасаться, это — случайности. Но допустим самое плохое — на планету обрушилось атомное бедствие… Что в результате? Развитие человечества приостановится, положим, на сто лет. И все равно это можно сравнить лишь с получасовой задержкой в пути, рассчитанном на шестимесячное путешествие. Караван истории приостановится на мгновение и выйдет снова на прежнюю тропу. Это в самом крайнем случае, ведь я сказал, что уверен — войны не будет.

— Согласен, Едиге, — отозвался Халел. — Вполне допускаю, что атомной войны не будет…

— Мир победит, — сказал Бердибек.

— Согласен, — повторил Халел.

— Все это нам известно из газет и лекций, — сказал Ануар.

— Согласен и еще раз согласен, — снова подтвердил Халел. — Но вы… — Он посидел немного, прикрыв глаза и потирая впалые виски. — Вы подумали о таких проблемах, как перенаселен-

ность планеты? Демографический бум, так это называют специалисты? Или — демографический взрыв?.. Полтораста лет… Если прогнозы оправдаются, то вашим гипотезам и теориям — грош цена…

— И опять-таки ошибаешься, — возразил Едиге. — Нашей стране перенаселение не будет угрожать еще, по меньшей мере, лет двести. Почему ты не берешь во внимание динамику развития? Представь, что завтра настанет пора освоения Сибири, потом — Дальнего Востока, потом — Крайнего Севера. В эти районы и начнется отлив населения. В других местах прирост сохранится в пределах нормы. И вообще, поколение, которое появится спустя полтораста лет, окажется умнее нас с вами, оно сумеет разрешить и эту, и многие другие проблемы.

— Кроме того, уже сейчас кое-где принимаются меры, чтобы притормозить прирост населения…

— Но у нас, говорю вам, такой проблемы нет. И долго не будет. А поколение двадцать первого века разрешит и такие проблемы, которые нам сейчас кажутся неразрешимыми…

— А продовольственная проблема?..

— Голод случается только в странах с небольшой территорией и слабыми природными

ресурсами.

— Со временем и большие просторы становятся тесными, — не сдавался Халел.

— Вот она, ваша ограниченность, господа технократы, — сказал Бердибек. — Задираете нос перед гуманитариями, а сами не знаете простых вещей. Не размеры территории, а общественный строй — вот что главное. При плановом хозяйстве, как у нас, используются все ресурсы. Когда то же будет повсюду, исчезнут голод и нищета.

— Тут Бердибек прав, — подхватил Едиге. — Природных богатств на земле хватает. Задача только в том, чтобы умело их использовать…

— Сдаюсь. — Халел вздохнул и ленивым движением прикурил давно погасшую трубку. — Чтобы жить, надо во что-то верить.

— Не спорю, — согласился Едиге.

— Кстати, зачем тебе филология? — сказал Халел. — Не податься ли, пока не поздно, в философы?

— Из Едиге философа не получится, — улыбнулся Ануар. — Он поэт. Послушать его, так коммунизм наступит чуть ли не завтра, и в первую очередь — у нас в Казахстане.

— В Казахстане или в Якутии, главное — что в нашей стране, — примиряюще произнес Муха-

мед-Шарип. — Это знает каждый школьник. О чем тут дискуссировать?..

— Ойбай-ау, в животе урчит, а мясо еще не сварилось. Приходится как-то время коротать, — сказал Ануар.

— Вот уж точно: где затесался филолог, там без болтологии не обойтись, — рассмеялся Бердибек. — Меня тоже заразили — битый час доказываю то, что и так всем понятно.

— Они ничего не поняли. — Кенжек огорченно переглянулся с Халелом и Едиге.

— Все, я складываю оружие и больше не спорю, — отрубил Едиге.

— Тем не менее, мы, возможно, не всегда умно и со знанием дела размышляли здесь о волнующих мировых проблемах. — Мухамед-Шарип, сняв очки, не спеша потер переносицу, на которой остался розоватый след от вдавившейся дужки. Затем, покашляв, словно собирался говорить речь с трибуны, продолжил: — И вот о чем я думал, слушая вас, друзья мои. Я думал: как же вырос за недолгое время наш казахский народ! Невежественный в прошлом, имевший до революции всего два процента грамотных…

— Увы, — перебил Едите витиеватую речь Мухамед-Шарипа, — слушая тебя, мне начинает

казаться, что наш народ еще не вполне избавился от невежества…

— Насчет двух процентов я не спорю, — сказал Халел. Нос его заострился, лицо, и без того смуглое, потемнело. Но голос был по-прежнему ровен, спокоен. — Может, и не два, а один процент, может — два с половиной, три или десять, не в том суть. Не спорил и не спорю — ни по поводу роста образования, ни по поводу двух процентов. Только скажите, какой процент грамотности до революции был у других народов? Кроме казахов? Об этом вы не думали? Что-то я не читал у Тургенева или Толстого, чтобы крестьяне в Орловской или Курской губерниях были все сплошь высокообразованны… Что же беспрестанно расчесывать свои раны?..

Спор снова разгорелся.

12

— Будет вам, вы уж чересчур схватились, — сказал Халел.

— Ничего, ведь это всего-навсего слова… — успокоил Бердибек.

— И надо же, мясо, как назло, подоспело… Жалость-то какая, — сказал Ануар.

— Этот молодой человек вообще, я вижу, против истории как науки, — вздохнул Мухамед-Шарип.

— История — моя любимая наука, — произнес Едиге. — Я против плохих историков — только и всего.

— Плохим историком ты считаешь, конечно, моего Бердибека, — сказал Ануар.

— Дело не в твоем Бердибеке, — ответил Едиге мрачно.

— И даже не в плохих историках, — усмехнулся Халел.

— Все равно, парень, ты слишком много на себя берешь, — возразил Бердибек. — Мы не хуже твоего разбираемся в своей специальности.

— Какую из своих специальностей он имеет в виду? — съязвил Ануар.

— Ну и змей! — рассмеялся Кенжек.

— Перестань корчить шута! — разозлился Бердибек на Ануара.

— Чувствую, мне пора на кухню. — Ануар бочком двинулся к двери, делая вид, что испугался Бердибека. — Мойте руки и готовьте желудки!

— Мы знаем свой предмет, вы — свой, — уточнил Бердибек сказанное прежде. — Ведь я не говорю, что лучше твоего смыслю в литературе. И ты не спорь, когда дело касается истории.

— Все равно будет спорить, — возвел глаза к потолку Мухамед-Шарип. — По-моему, этот парень сразу и филолог, и философ, и социолог, и историк. Еще немного — и он овладеет ядерной физикой и физической химией.

— Едиге закончил школу с золотой медалью, — сказал Кенжек. — Так что, дорогой, он тоже мог бы стать химиком, и не хуже тебя. Что-то пока мы не слышали о твоих открытиях в химии.

— А ты уже совершил какое-то открытие?

— Все мы что-нибудь откроем, — сказал Бердибек. — И добьемся в науке своего. Только надо при этом рассчитать свои реальные возможности. Каждый сверчок да познает…

— И какие, по-твоему, у тебя возможности? — перебил Едиге.

— Уж не меньше твоих. Мы ведь тоже успели

кое-что прочитать…

— И по литературе тоже, — вставил Мухамед-Шарип.

— Речь идет об истории…

— Что касается истории, — оборвал Бердибека Мухамед-Шарип, — что касается истории, то, как выразился наш универсально образованный друг, это — алхимия двадцатого века. Он, как я замечаю, полагает, что все историки — невежды, зато всякий невежда — историк…

— Ну, нет, это уж слишком, — загорелся Бердибек. Его спокойствие как рукой сняло. — Сколько он будет затуманивать наши мозги своими глупостями?.. Уж с твое-то мы знаем! — повернулся он к Едиге. — И побольше твоего!

— Если ты про себя, то — нет, не знаешь, — сказал Едиге.

— Как не знаю? Почему?..

— Почему — на это я не отвечу. Просто — многого ты не знаешь, вот в чем дело. Слышал ты, например, поговорку: «Перерублена шея верблюда — Бердибек встретил свою смерть»?..

— Конечно, слышал!

— А когда, при каких обстоятельствах она появилась?

— В боксе это называется — удар ниже пояса!

— Спроси лучше у своих филологов, — поддержал Бердибека Мухамед-Шарип.

— Ты что-нибудь читал об Абулгазы?

— Абулгазы…

— Абулгазы-багадур, жил в семнадцатом веке…

— Абул… Абилхаир… Абул… — Лоб у Бердибека покрылся испариной и заблестел. — Абул… Абиль…

— Ты, наверное, имеешь в виду другого Абулгазы? — усмехнулся Едиге. — Того, который был ханом в Хиве?

— Да, да, верно, — торопливо согласился Бердибек. Достав из кармана носовой платок из голубого, в полоску, штапеля, он вытер лоб, высморкался. — Просто я занимаюсь более поздней эпохой, а ханов — мало ли их было, всех не упомнишь… Но Абулгазы я знаю… Как же, в Хиве… Такой был жестокий, кровожадный хан…

— Браток, такой Абулгазы пока еще не значится в истории, — не моргнув глазом, продолжал Едиге, с жалостливой усмешкой наблюдая за Бердибеком. — Хорошо, не стану тебя мучить. Так вот, у Абулгазы-багадура, о котором я говорю, есть классический труд, известный всякому мало-мальски сведущему специалисту. Я говорю о «Шежре-и-тюрк» — «Родословной тюрков». Там

ты и найдешь историю, связанную с твоим именем. Ну, а теперь хватит спорить о моих знаниях. Я не только тебя — и твоего профессора посажу в калошу.

— Что-то не по душе мне гонор этого юноши, — сказал Мухамед-Шарип, покачивая головой. — Ох, не по душе! Если так надуваться, ведь и лопнуть недолго…

— Не согласен, дружище, — возразил Кенжек. — Ведь еще Архимед утверждал…

— Эй, страждущие и жаждущие Архимеды, готовьте стол! — Распахнув дверь ногой, в комнату ввалился Ануар. На вытянутых руках он нес большую эмалированную кастрюлю. Ее некогда белые бока потемнели от копоти, сбежавшей пены и потеков жирного бульона. — Обед Шыгайбая перед вами, хотя не пропило и пяти месяцев…[3]

То ли подействовал аромат, распространяемый сочной кониной, то ли всех утомил затянувшийся спор, но перепалка оборвалась. Пар, клубившийся над кастрюлей, дразнил ноздри.

— Я пойду, — сказал, вставая, Едиге.

— Что такое? Вы его обидели? — удивился

---

[3] Примечания: 3

Шыгайбай — сказочный персонаж, скупой и жадный бай, моривший гостей голодом. Закладывая в котел мясо, он приговаривал: «Варись, мое мясо, пять месяцев…»

Ануар.

— Нашел тихоню, которого можно обидеть, — сказал Мухамед-Шарип. — Наш эрудит сам хоть кого обидит…

— Перестань, Едиге, — попросил Ануар. — Если мы после каждого спора будем так расходиться…

— Не глупи, — подхватил Бердибек. — Садись, ведь еда готова. И ничего такого не случилось, чтобы нам ссориться…

— Извините, — сказал Едиге, взглянув на часы. — У меня свидание.

— Свидание?.. По-моему, еще вчера у тебя не было никого, кто мог бы тебе назначать свидание, — возразил Ануар.

— Ты знаешь, сколько всяких событий происходит в нашей стране за одну минуту? — спросил Едиге, заставляя себя улыбнуться.

— Каких событий?

— Например, сколько пар обуви шьют за одну минуту?

— Шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот девяносто семь! — отчеканил Ануар, вытянувшись, как солдат перед командиром.

— Вот видишь. А со вчерашнего дня прошли целые сутки. То есть двадцать четыре часа, и в каждом — по шестьдесят минут. Кенжек, сколько

минут в сутках?

— Тысяча четыреста сорок, — не задумываясь, сообщил Кенжек.

— Помножь это на шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот девяносто семь — так, Ануар?..

— Шестьсот пятьдесят тысяч восемьсот девяносто семь… Тысяча четыреста сорок… Четыреста сорок… Итого — девятьсот тридцать семь миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят!

— Сочиняешь? — спросил Ануар.

— А ты проверь.

— То-то же, — сказал Едиге. — Сутки — это много, во всяком случае их вполне достаточно для того, чтобы встретить девушку, которая, кстати, существовала задолго до нашей встречи и разгуливала по этой земле.

— Аргументация железная, — согласился Халел.

— Он, и правда, вернулся поздно, — сказал Кенжек. — Часа в два ночи.

— Ой, молодец! Сколько можно ходить в монахах? — обрадовался Бердибек, уже приступивший к исполнению роли хлебосольного хозяина. — Только ты все равно садись. Девушка подождет, им это бывает полезно.

— Не задерживай человека, — сказал Мухамед-Шарип. — Пусть идет.

— Не обижайтесь и не поминайте лихом, — сказал Едиге. Он и вправду чувствовал себя неловко перед ребятами.

— Апыр-ай, как-то нехорошо получается, — вздохнул Ануар.

Едиге вышел.

— И я пойду, — сказал Кенжек.

— Эй, а это что за новости? — возмутился Ануар. — Что с вами творится?

— Тоже к девушке торопишься? — со злостью спросил Бердибек.

— Решил взглянуть, какая девчонка у его дружка, — сказал Мухамед-Шарип.

— Мне надо в институт, — ответил Кенжек. Он не мог выбраться из-за стола, потому что никто из сидящих не тронулся с места, чтобы дать ему пройти.

— Ты, видно, на ходу спишь и дремлешь, — сказал Ануар. — Сегодня твой институт закрыт.

— А?.. Да, верно... — Кенжек смутился, покраснел и, не находя подходящих слов, начал теребить свой чуб.

— Ладно, потом поговорим. — Не поднимаясь со стула, Халел положил руку на плечо Кенжека

и заставил сесть.

— Не надо было удерживать и этого, — сказал Мухамед-Шарип.

— Что-то не нравится мне сегодня твое настроение, — сказал Халел.

13

...И постиг всемогущий Аллах, создатель всего живого — и птиц, и рыб, и зверей, и букашек, — что трудно ему будет управиться с таким обширным хозяйством и что не обойтись ему на земле без хорошего, толкового помощника-заместителя. Но просто сказать и легко сделать, а вот каков он должен быть, этот заместитель?.. Думал день многомудрый, думал ночь, лишился покоя и радости. Наконец, идея созрела. Выбрал он глину высочайшего качества, размял ее, как следует, не жалея босых ног, и приступил к творческому акту. А творил он, как настоящий художник, в порыве высокого вдохновения, не замечая ни минут, ни часов, ни суток; творил без отдыха и малой передышки, пока не вышло из рук его в законченном виде удивительное создание, не похожее ни на одно из уже населявших землю существ. И дал ему Аллах глаза — чтобы видеть, уши — чтобы слышать, язык — чтобы говорить. Поставив его на задние лапы, освободил передние и назвал их руками. Потом дунул в ноздри — и вдохнул в него жизнь.

Однако тут же понял всезнающий свою ошиб-

ку. В погоне за прекрасной формой он пренебрег содержанием. Увлекся — и забыл о цели, поставленной перед собой! С виду, пожалуй, новое существо, по имени Человек, выглядело неплохо, зато на что оно годилось?.. У слона — сила, у крокодила — зубы, у льва — отвага. Куда с ними тягаться Человеку! Даже быстроты в ногах, чтобы убегать, у него не оказалось, даже шерсти, чтобы спастись от морозов, даже голоса, громкого и грозного, чтобы отпугивать врагов.

Вдохновенье — отличная вещь, но неопытного художника оно иной раз приводит к ошибкам. Аллаху же опыта явно не хватало: он впервые затеял подобный эксперимент. Впрочем, боги не отступают от задуманного. И не разрушают своими же руками сотворенного. Аллах приступил к усовершенствованию Человека — и, надо признать, кое-чего добился. Ведь недаром он был, как положено богу, талантливейшим из талантливых, мудрейшим из мудрых. Он трижды поцеловал Человека в лоб, и зыбкое сероватое желе, наполнявшее его черепную коробку, пропиталось Разумом.

Результаты не замедлили сказаться. Из сердца Человека улетучился страх, он уже никого не боялся. Напротив — теперь его боялись. И он

заставил служить себе силу сильного, быстроту быстрого, из косматых звериных шкур сшил для себя одежду, из костей смастерил наконечники для стрел, из камня — топор; кто мог пригодиться ему — становился его рабом, в ком он не нуждался — тех подвергал истреблению. Все живое на земле забыло прежнего бога и поклонилось новому, которого звали — Человек.

Аллах увидел, что создал себе конкурента. Кто его знает, куда повернет дело, если предоставить всему идти своим чередом?.. И провел он тыльной стороной ладони по груди Человека и вложил в нее недобрые свойства: ненависть и зависть, предательство и жестокость. Лишился Человек былого совершенства и стремительно стал превращаться в скота, которому неведомо чувство долга, любви и благодарности. Теперь он жил ради собственного удовольствия, вдоволь ел, сладко спал, и все, что ни происходило во Вселенной, было ему трын-трава. Лишь бы его не затрагивало. А затронь — тут и проснутся в нем все недобрые свойства… Но разве о скоте мечтал Аллах, творя Человека?..

Кончилось для Аллаха прежнее беспечальное житье, хлопоты сменялись хлопотами… Однако выход и тут нашелся. У солнца взял он тепло, у

радуги — краски, у горного воздуха — свежесть, смешал и вырастил семя цветка жизни — не увядающего, не опадающего. И провел своей ладонью по тому месту, где у Человека сердце, и вложил в него чудесное семя.

Три стебля взошло из того семени, а на них распустились три цветка. Первый — самый крупный и яркий — был цветок благодарности (Аллах предназначал его для себя). Второй цветок, на стебле прочном, защищенном надежно шипами, был цветок любви к родной земле, родному народу. Третий цветок был невелик, но нежен красками и запахом, а форма его лепестков, ни с чем не сравнимая, изысканностью очертаний поражала глаз. То был цветок любви к женщине и всему, что есть живого на земле.

«Уф!» — вздохнул Аллах. И вздохнул с вполне оправданным облегчением. Наконец-то с основными заботами было покончено, пришла пора отдохнуть, обрести покой и любоваться с небес превосходно устроенными земными делами. Ведь едва расцвел в сердце Человека цветок Жизни, как тот сразу же начал меняться. Не то чтобы отрицательные качества сами собой пропали, нет, но теперь, когда разум и сердце соединились, Человек научился управлять своими страстями, а

заодно и всем остальным в мире, живым и неживым, огнем и водой. Слеза умиления выкатилась у Аллаха из глаз и, не достигнув земли, превратилась в облако, полное благодатного дождя…

Как известно, даже гении в период своего раннего творчества допускают просчеты, которых стыдятся в дальнейшем. Господь не был исключением. И лишь спустя миллионы лет после начала своего творческого пути осознал несовершенство первых созданий. Могучие динозавры, которых он считал когда-то красой и гордостью всего сущего, вымерли, не оставив потомков. Зато ничтожные микробы, не видимые глазом, созданные из праха и пыли, вместо того, чтобы сгинуть спустя несколько дней после создания, как ни в чем не бывало размножились и заполнили землю. Что делать?.. Случались и совсем нелепые промахи, вроде летающих ящеров или сухопутных рыб. Впоследствии они исчезли, тем самым ошибки были исправлены. Хуже обстояло с Человеком… И когда первоначальная радость и умиление собственной мудростью схлынули, Аллах понял, что совершил нечто такое, за что ему придется расплачиваться головой.

Во-первых, незачем было вообще создавать Человека. Гораздо лучше обходиться без себе

подобных. Ведь это существо, испорченное гордыней и спесью, заметив свое отражение в лоне реки, тут же может решить, что оно тоже — бог! Это совершенно ни к чему. Внешнее подобие — это все, чего господь добивался. Но сходство в остальном?.. Нет уж, увольте!

Во-вторых, для чего было одарять его умом? Разум — свойство чисто божественное. Недостойное существо, именуемое Человеком, сейчас же возомнило, что может тягаться со своим создателем! Впрочем, тут еще можно найти средство, чтобы его обуздать.

Самой непростительной была третья ошибка. Цветок Жизни, подаренный Человеку! Вот в чем она заключалась…

Едва он расцвел, как способности человеческие стали возрастать с каждым днем, без границ и меры. Человеку открылись новые искусства, новые науки, неведомые и самому Аллаху. Вера в свои силы помогла Человеку раздвинуть самые отдаленные пределы… И вполне естественно, что однажды он сказал себе: «Я — Человек! Нет ничего, что мне было бы не подвластно. Я все могу, все умею. Я летаю в поднебесье, как птица. Плаваю в воде, как рыба. Я превратил камень в огонь, я зажег рукотворное солнце. Захочу — польет

дождь, ударит молния, взовьется вихрь к самым тучам. Я все сделал на земле, что задумал. Теперь моя дорога ведет к звездам… Чем я хуже бога?.. Нет, я равен ему. Равен?.. — Он подумал немного и воскликнул: — Я выше, выше!.. Так отчего же он, бездельник, сидит в небесах и делает вид, будто правит миром? Миром, созданным моими руками, моим разумом? По справедливости, Человек — вот кто ныне сделался богом, разве не так?.. А господь, похваляющийся тем, что в давние времена, в ту эру, которая была задолго до нашей эры, совершил будто бы нечто выдающееся; господь, засевший за мемуары, достоверность которых в связи с отсутствием свидетелей весьма сомнительна; господь, которому век за веком воссылали молитвы и поклонялись (хотя, в сущности, бог знает почему), — этот господь, говорю я, состарился, одряхлел и того гляди впадет в детство. Пускай отправляется на пенсию. Пора!..»

Конечно, кому приятно слышать подобные слова? Аллах расстроился. Он, естественно, вовсе не считал себя достигшим пенсионного возраста. И вообще — по какой-такой инструкции он, как-никак — господь бог, обязан уходить на пенсию? Где она, эта ваша инструкция? Покажите!.. Но увидел Аллах, что не в инструкции дело, а просто

увял и засох в человеческом сердце цветок благодарности и любви к обитающему на небесах божеству…

И покинул господь Землю, и отправился в иные миры, в иные галактики. Там он, по слухам, в отместку земному человечеству и с учетом прошлых ошибок создает Анти-Человека, мечтая когда-нибудь отправить его на мятежную планету и поквитаться с нею за старые обиды.

Так ли это?..

Поживем — увидим.

На Земле же, между тем, люди, соперничая с богом, поднялись в космос, достигли Луны, потянулись к Венере и Марсу. И без всякой божественной помощи, надеясь только на свои собственные силы, крепла здесь могучая, великая держава, которая раскинулась на просторах, занимающих одну шестую часть всей суши. И был среди многих народов, населяющих ее, народ, живущий с давнишних пор в бескрайних степях. И родился у этого народа — между многих его сыновей — один, которого назвали Едиге. Мы узнали его в то время, когда сердце окутано мечтами, а возраст не достиг еще двадцати трех лет. Вся жизнь перед ним открыта, и благородная цель впереди, и нет препятствий, которых не

одолел бы он на пути к этой цели. Потому что все лучшее, что создал когда-то творец, замышляя Человека, и в нем заложено от рожденья. И живет он в счастливой стране, где все люди равны, и у всех — единое светлое будущее, и одна ведущая к нему дорога…

14

Он вернулся к себе в комнату и прямо в одежде повалился на кровать. Он устал — как если бы целый день работал. Рубил дрова или перетаскивал камни.

И надо же было ввязываться в этот дурацкий спор! — думал он, глядя на лампочку под потолком, висевшую на длинном проводе, залитом известкой, — следы летнего ремонта… Тусклая, маломощная лампочка. Кенжек обычно надевал на нее взамен абажура лист белой бумаги, с прорезью посредине. Тогда свет концентрировался на столе. Сейчас бумага обвисла и с одного бока прогорела, пожелтела. — Все это ни к чему, — думал Едиге. — Чаще всего мелют языками те, кто ничего не делает. Не способен сделать. Им только дай поговорить!.. И я тоже орал, кукарекал, как неоперившийся петушок. Какая глупость! Не умею сдержать себя… Но ведь молчать постоянно тоже нельзя. Невозможно. Раз промолчишь, два промолчишь, а на третий… Нет, иногда полезно — дать себе выкипеть. Если не раскрывать рта и только стискивать зубы, то в конце концов они раскрошатся. Тоже глупо. Зачем же позволять…

Что ушел — это правильно. Раньше следовало уйти…

Едиге почувствовал, что сильно проголодался. Взглянул на часы — девять. И буфет в общежитии, и столовые поблизости — все уже закрыто. Приподнялся с кровати, заглянул в тумбочку. Пусто, если не считать двух кусочков курта, — остатки посылки, присланной недавно из дома. В тумбочке у Кенжека, на верхней полке, ничего, кроме каких-то старых учебников с ободранными обложками да граненого стакана с застывшим на дне натеком сахара и присохшими к стенкам чаинками. Зато на нижней полке обнаружилась початая банка клубничного варенья и полбуханки серого хлеба за шестнадцать копеек.

Едиге с отменным аппетитом поужинал, запил варенье холодной водой из-под крана, Потом тщательно умылся, причесался и, надев новую рубашку, повязал шею галстуком, затянув его модным — широким — узлом. Облачась в новый костюм и недавно купленные туфли, он поднялся на четвертый этаж. Номера комнаты он вчера не заметил, но это не важно, Едиге запомнилось — крайняя комната, в дальнем углу. Вот она. Четыреста двадцать седьмая.

Он занес было руку, чтобы постучать, но со-

образил вдруг, что не знает ее имени. Не знает имени той, с которой целовался прошлой ночью, которой шептал (откуда что бралось!) такие нежные, смешные, нелепые слова, и потом уходил раз десять и снова возвращался, и уже в постели до рассвета не сомкнул глаз, все думал, вспоминал и не мог понять, сон или явь — эта девушка, эта тропинка в глубоком снегу посреди безлюдной, заснувшей улицы, эти поцелуи… «Любимая», — так называл он ее про себя, и это было для него все равно что «невеста». Но — «я имени ее не знаю…»

Едиге не знал, смеяться ему над собой или плакать. Вот он постучит. Откроет незнакомая девушка. «Вам кого?» — «Я к своей знакомой». — «Кто она?» — «Моя любимая». — «Как ее зовут, странный вы человек!..» — «Простите, но я не могу ответить…» — «Тогда — будьте здоровы! У меня нет охоты слушать ваши пошлые шутки!» Хлоп — и дверь на задвижку. В самом деле, что за положение! Как же все-таки быть?.. Он постоял еще немного в нерешительности, потом — была не была! — собрался с духом и хотел постучать, но тут за дверью послышались негромкие шаги. Послышались и замерли. Пропали. Потом кто-то, ступая несмело, подошел к двери. Щелкнул ключ,

поворачиваясь в скважине. И дверь, тонко и протяжно скрипнув, медленно отворилась.

Вначале перед ним возникли лучистые карие глаза под излучинами пушистых бровей, уходящих к вискам. Потом он увидел знакомые смоляные волосы и свежее, будто росой умытое лицо. Но дверь лишь приотворилась — девушка так и не перешагнула порога Едиге заметил, как в ямочках на ее щеках заструилась улыбка, легкий румянец покрыл все лицо. Не надолго, впрочем. Он тут же схлынул. Улыбка осталась. И с каждым мигом проступала все явственней — прокрадывалась к глазам, играла на губах. Рубашка в коричневую клетку с подвернутыми почти до локтей рукавами и голубые, узкие в бедрах брюки подчеркивали стройность маленькой, ладной фигурки. Волосы, чуть подстриженные, были уложены по-новому и благоухали. Пряди на висках, прикрывая уши, падали на щеки двумя серпами. Едиге казалось, будто их острые кончики щекочут его сердце.

— Не смотрите так, — сказала она, застенчиво потупясь.

— У тебя красивая прическа…

— Сегодня утром придумала. — Она мягким движением коснулась волос, как бы проверяя,

все ли в порядке. — Специально…

«Специально для меня», — подумал он, ликуя. Но вслух ничего не сказал, продолжая с жадностью разглядывать плавный изгиб черных бровей, опущенные вниз густые ресницы, маленький прямой нос и губы — по-детски припухшие и по-девичьи свежие… «Все это мое… — подумал он. — Мое!..»

— Не смотрите так, — опять попросила она.

— Ты такая красивая…

Ее щеки снова вспыхнули.

— Я знала, что вы придете, — сказала она чуть погодя.

— Ты умница.

— Все девочки ушли гулять. А я осталась. Только уже начала бояться, вдруг вы не придете…

— Разве я мог не прийти?

— Я ваши шаги узнала.

— Ты очень красивая. Ты самая красивая девушка на свете. И самая умная, самая хорошая. Поэтому я и люблю тебя. Но я все равно бы любил — будь ты и не красивая. И неумная. Любил бы, потому что ты — моя судьба…

— Не смотрите так…

— Буду смотреть. И когда-нибудь, наверное, растерзаю тебя и съем. Вот так…

— Не надо… Не надо, милый…

— Наконец-то я отыскал тебя… Теперь никуда от меня не денешься. Никуда тебя не отпущу…

— Я всю ночь не спала. Все думала, думала… И плакала. Сама не знаю, отчего.

Дверь напротив распахнулась и тут же отрывисто захлопнулась. Немного погодя она снова открылась, пропуская трех девушек, по виду — старшекурсниц. Дружно стуча каблуками, они прошли по длинному коридору, затем оглянулись, одна за другой хихикнули и, свернув к лестнице, исчезли.

— Как зовут мою невесту? — спросил Едиге, смеясь и не выпуская из своих объятий девушку, которая старалась освободиться от его рук с того момента, как открылась соседняя дверь.

— Мое имя… Имя вашей невесты — Гульшат…

Он поцеловал ее несколько раз, едва касаясь губами ее губ, и только потом развел руки и отступил на шаг.

— А имя жениха моей невесты — Едиге. Едиге Мурат-улы Жанибеков. Такова современная молодежь, — сказал он, снова приближая к ее лицу свое. — Совершенно испорченная молодежь. Как это так — сначала встречаются, влюбляются, клянутся, что веки-вечные будут вместе — и уж

затем только знакомятся, называют друг другу свои имена…

15

...И жили когда-то праотец наш Адам и праматерь наша Хауа в согласии с законом праведным, по которому человек человеку — брат и сестра, друг и товарищ. Не отягощали они себя заботами о защите диссертаций, хлопотами о степенях и ученых званиях и обо многом ином. Ибо не существовало еще в те времена ни университетов, ни институтов, и до проблем, связанных с всесторонней женской эмансипацией, тоже было далеко. Не говоря уже о повышении личного благосостояния, о домашнем («Не хуже, чем у людей!..») уюте и комфорте, — они об этом и подавно не думали. Отчасти потому, что и людей-то других пока не было, а отчасти потому, что в окружающей Адама и его подругу райской жизни Аллах все предусмотрел таким образом, чтобы дни свои проводили оба без трудов и печалей. Словом, жили — не тужили, без всякой серьезной мечты и цели. Гордились, что обитают не где-нибудь, а в раю, бездельничали и блаженствовали. Но на самом деле и представления не имели об истинном рае. Потому что не ведали Любви...

Но в один памятный для всего человечества

день открылась им сокровенная тайна, и ступили они в новый, неизведанный мир. Забыв обо всем, окунулись они в поток страсти. Великий и чудный огонь опалил их тела. Едва насытясь и охладившись, они вновь ощущали голод, и тела их снова искали игры с огнем, приносившей ни с чем не сравнимое наслаждение. Так повторялось весьма долго. «Это и есть Любовь, — думали оба. — Вот теперь-то, наконец, вкусили мы истинное блаженство!»

И они ошибались. Ибо не знали еще выхода чистейшие чувства, на которые были щедры их сердца. Во дворце Любви, огромном и великолепном, они даже не успели толком оглядеться по сторонам. Все, что здесь они обрели, было влечением тел, но не союзом душ. Однако, в неопытности своей, они не сразу постигли, что обманулись…

Когда же наступило прозрение, было поздно. Аллах в праведном гневе своем прогнал их из рая — на землю. А там пошло: сначала родился Кабыл, потом Абыл, потом возникла куча проблем, которые требовали немедленного разрешения… И пока проблемы возникали и разрешались, оба состарились, тела их сморщились и ссохлись, а сердца так и не вспыхнули прекрасным и нетлен-

ным огнем.

Грустная вышла история… Но да послужит она поучением и предостережением для потомков. Что же до Адама и Хауы, то не будем судить их слишком строго, не будем забрасывать их каменьями — лучше поймем их и простим: ведь они жили во времена, куда менее благоприятные для возвышенной и чистой Любви…

16

Им было хорошо — вдвоем. В театре они обычно сидели в первых рядах, у всех на виду. И с восторгом аплодировали некогда прославленной, а теперь уже пожилой певице, по-прежнему исполняющей партии восемнадцатилетних девушек; аплодировали молодому певцу, который подражал Карузо и пытался петь так же сладостно, в манере «бельканто», извлекая голос откуда-то из потаенных глубин и полагая, что это у него получается ничуть не хуже. Они открывали массу притягательного даже в слабых пьесах, лишенных и художественных, и всех прочих достоинств, написанных явно наспех, на основе ложных, нежизненных конфликтов. Им все нравилось, все казалось прекрасным, когда они бывали вдвоем. Потому что в течение трех-четырех часов, от начала и до конца спектакля, они, в сущности, видели только друг друга. Для Едиге величайшей радостью было сидеть рядом с Гульшат, плечом ощущать ее плечо, перебирать ее прохладные тонкие пальцы или сжимать их в своих ладонях после того, как потухал в зале свет, и раздвигался занавес, и на сцену лился

поток голубых, зеленых, багряно-красных лучей, а примолкшие ряды погружались в полумрак. Во время антрактов среди молодых людей, прогуливающихся по фойе, не было никого счастливее, чем Едиге и Гульшат. Он приносил ей шоколадку или стаканчик с мороженым, или угощал лимонадом, если ей хотелось пить, и для него не было большего удовольствия, чем наблюдать, как она ест или пьет. После спектакля, когда все в зале, поднявшись, второпях устремлялись к выходу, он шел занимать очередь в гардероб — не кидался опрометью, как иные легкомысленные юнцы, но и не зевал, чтобы не оказаться последним. Держа в охапке одежду, он пробирался сквозь беспорядочную толпу и, пристроив как-нибудь свое пальто, помогал девушке одеться, да так осторожно, словно остерегался что-то сломать или сделать больно, и это казалось ему не менее ответственным делом, чем выполнение важного государственного задания.

В кино они брали билеты в самый последний ряд, по возможности — в уголок. Едиге бывало безразлично о чем фильм: о несчастливой любви в давние времена или о счастливой — в более близкие нам годы; он не замечал, что происходит на экране. Он видел только длинные, изогнутые

ресницы, видел матово блестевшие в экранных отсветах глаза, ясные и тихие, как поверхность пруда, облитого луной, видел по-детски округлый подбородок. А чаще всего вообще ничего не видел. С того момента, как начинал стрекотать киноаппарат и на экран сверху, из квадратной прорези в стене, падал светлый луч, превращаясь в живые картины, и до последнего кадра, — время сжималось в единое мгновение. Он забывал, где он, давно ли, что вокруг. Лишь пробираясь к выводящим на улицу дверям, в потоке людей, изливающемся из зала, он замечал сидевших поблизости, осуждающе покачивающих головами пожилых супругов, чья юность отцвела еще в ту пору, когда взрослые были разумны, а молодые стыдливы, когда целоваться на людях считалось неприличным, а сдержанность, умение подавить в себе чувство выглядели естественно и привычно; замечал восторженно-любопытный взгляд мальчишек, пробившихся на недозволенный вечерний сеанс только благодаря своему росту, давно убежденных в собственной взрослости и обнаруживающих внезапно, что и в жизни, оказывается, бывают такие же продолжительные и страстные поцелуи, как и в кино; замечал завистливый, искоса брошенный взгляд хмурого

холостяка, постоянно пребывающего в одиночестве, перешагнувшего критические тридцать пять лет, за которые ни разу ему по-настоящему так и не повезло в любви, — все это замечал вдруг Едиге и усмехался про себя.

Выйдя наружу, они начинали справляться друг у друга: о чем же все-таки шла речь в только что просмотренном фильме и чем все кончилось, помирилась ли эта симпатичная девушка, вроде бы героиня, с тем бравым парнем, вроде бы героем, или нет… Обычно говорили обо всем этом шутя. Но Едиге удивляло, что Гульшат всегда улавливала и понимала больше, чем он. Однако и для нее фильм, как выяснялось, представал не единым целым, а монтажом не слишком связанных картин. Оба хохотали. Они смеялись над собой — стоило ходить в кино, чтобы за два часа ничего не увидеть! Смеялись над взрослыми, ужасавшимися, что молодежь средь бела дня бродит в обнимку, что молодые люди с наступлением темноты целуются в каждом подъезде и под каждым деревом, даже в кино не могут совладать с собой, а это все — не иначе, как проявление чуждого нам образа жизни. Смеялись над мальчишками, глядящими на все вокруг, разинув рот и распахнув удивленно глаза, замечая

в отношениях завидно самостоятельных парней и льнущих к ним подруг лишь одну внешнюю сторону. Смеялись над безнадежными холостяками, обвиняющими в собственном невезении весь белый свет, то есть всех на свете мужчин, отбивающих у них девушек, и всех на свете девушек, не проявляющих к ним интереса… Смеялись — но смеялись беззлобно. Ведь смех влюбленных чужд злорадства. Весь мир вокруг им кажется светлым и прекрасным. Они любят всех людей, все человечество, все живое и неживое — от присевшего на карниз дома голубя до безымянной звездочки, мерцающей в морозной вышине.

Когда они выходят из театра или кино, с неба летят белые лохматые хлопья, кружатся, падают, падают, словно сама природа взялась за один вечер, одну ночь обновить и очистить весь город, всю землю. Или же воздух прозрачен и звонок от колющего горло холода и в небе льдинкой тает бледная морозная луна. Или это ростепель — снег превратился в жидкую кашицу, она хлюпает под ногами, а вокруг туман, клубящийся в свете готовых, кажется, погаснуть фонарей… Но им все равно. Снег ли, мороз или туман — им все равно. Они рады этому чистому — хмурому или ясному, бездонному или забитому низкими тучами — но

все равно чистому, зовущему ввысь небу, и улице, покрытой белым пушистым ворсом, еще не смятой колесами машин, или одетой в прочный панцирь прозрачной, как литое стекло, наледи, или свободной от снега и льда, выметенной жесткими метлами дворников до выбоин в голубоватом асфальте; рады фонарям — где слишком редким, где частым, и свету их, разлитому широко или едва мерцающему, и резвой стае легковых машин, набирающих скорость после задержки у красного зрачка светофора, и грузным автобусам, и троллейбусам, буксующим на льду, ползущим с трудом от остановки к остановке, — они рады всему в этом мире, просторном и добром, щедро дарящем счастье… И они ли только рады? Нет, с ними вместе — все, все!..

Не дожидаясь, пока разойдется по разным направлениям толпа, разбиваясь на рукава и ручейки у перекрестков, они выскальзывают из нее и укрываются в какой-нибудь улочке, где лишь старые дубы и развесистые карагачи с потяжелевшими от снега, нависающими над землей ветвями наблюдают, как целуются эти двое — в сотый, в тысячный раз, словно встретившись после разлуки, которая длилась годы и годы…

В сущности, до общежития недалеко, но они до-

бираются до него не раньше полуночи; однако и не позже: двенадцатый час для студентов — «комендантский». Обычно — не позже. Бывает, что и задержатся на пять — десять минут, а то и на пятнадцать, а то и на полчаса. Входная дверь уже наглухо затворена, изнутри в железной петельке надежно сидит крючок. Опоздавшие нерешительно топчутся, переминаются с одной замерзшей ноги на другую. Но что делать?.. Едиге виновато дергает заиндевелую ручку — дверь безмолвствует. Он стучится настойчивей. Дверь по-прежнему безучастна. Но вот за боковым окном оживает занавеска, кто-то выглядывает оттуда, приподняв уголок. Слышится грозная поступь, звучат устрашающе-медлительные шаги, звякает заветный крючок — путь свободен!.. Впрочем, случается это не сразу. Прежде изнутри довольно долго доносится сердитая воркотня. Старушка вахтерша негодует — не то на перекосившуюся дверь, не то на забывшую всякое приличие молодежь. Но так или иначе, крючок подается, дверь открывается — нехотя, словно из милости. Оба скорее не входят, а крадутся через порог, ожидая, что на них обрушатся громы и молнии. Но вдогонку несется: «Эй, куда вы?.. А дверь?..» Едиге уже знает, в чем дело. Вернувшись, он приподнимает за ручку од-

ну из створок с осевшими петлями, второй рукой ловит и заталкивает в гнездо проклятый крюк. Потом он останавливается перед вахтершей, всем своим покаянным видом взывая к прощению. Но суровый страж неумолим — брови надвинуты на самые глаза, губы строго поджаты. Но это лишь хорошо разученная, повторяемая всякий раз игра. Старушка, похожая на капустный кочан в своих многочисленных, будто перед дальней дорогой, наброшенных одно поверх другого одеяниях, едва сдерживается, чтобы не выйти из роли. Еще немного — и насупленные брови примут обычное выражение, сердитые маленькие глазки потеплеют и улыбнутся, лицо покроют ласковые морщинки… Впрочем, к чему вынуждать человека, исполняющего служебный долг, проявлять противоречащие этому долгу чувства?.. Едиге благодарит вахтершу и догоняет Гульшат, поджидающую его на нижней ступеньке. Впрочем, напоследок оглянувшись, он замечает, что старушка все-таки улыбается им вслед…

Держась за руки, они поднимаются по лестнице. Общежитие, погруженное в глубокий сон, кажется опустевшим. Приглушенное освещение в коридорах, непривычное безлюдье, тишина… Но, приглядевшись, повсюду можно различить

силуэты парочек, неясные, расплывчатые — на подоконнике, в темном вестибюле, в любом укромном уголке…

Четвертый этаж. Вот и комната, где живет Гульшат, и овальная жестяная табличка-номерок «427». «Спокойной ночи, — желают они друг другу, — до завтра». Но ни тот, ни другой не уходит. Они повторяют эти слова множество раз, пока не расстаются наконец, вспомнив, что утром семинар или коллоквиум, библиотека или архив.

Бывали дни, когда они не ходили ни в кино, ни в театр, но ничуть об этом не жалели.

На каждом этаже в общежитии есть помещения, именуемые «бытовками». Здесь, поблизости от входа, установлены краны с горячей и холодной водой, вдоль обеих стен по всей длине протянуты высокие полки, над которыми в ряд, через небольшие промежутки, расположены электрические розетки; у той стены, что напротив двери, стоят два или три узких, обтянутых тканью стола. Здесь и гладят, и утюжат, и кипятят чай, и готовят еду те, кто питается из «общего котла». После десяти вечера, когда все хозяйственные дела закончены, «бытовки» пустеют, а точнее — превращаются в самые желанные места для свиданий…

На той половине третьего этажа, где жили аспиранты, «бытовка» всегда оставалась свободной. Когда общежитие стихало, Едиге и Гульшат, поглощенные весь день своими заботами, приходили в эту комнату. Здесь бывало тепло, чисто, им никто не мешал. Столы для глажки заменяли им стулья. Сидели, болтали — о том о сем. О событиях, которые приключились сегодня, о том, что упустили во вчерашнем разговоре. У них уже были свои воспоминания — они вспоминали, как познакомились и что каждый испытывал в первую встречу. Говорили, как это странно получилось — они встретились, а могли ведь и не встретиться?.. Как бы оба тогда жили — друг без друга?..

Иногда они тихонько сидели в обнимку, иногда, примолкнув, стояли, сплетя руки, опершись о подоконник. Разрисованные морозными узорами стекла холодили им спины, но они ничего не замечали. Слов не было, весь их запас казался исчерпанным, да и к чему слова?.. Они стояли так и час, и два, и дольше, порой слегка пожимая друг другу пальцы, отчего каждого кидало то в дрожь, то в жар.

Обычно в половине двенадцатого дверь «бытовки» раскрывалась и на пороге, с чайником в

руке, возникала Батия. Каждый вечер она допоздна работала в лаборатории или занималась в библиотеке. А что в «бытовке» кто-то есть, и даже кто именно — знала наверняка. Потому, возможно, и дверь открывалась так осторожно, словно опасаясь нарушить уединение, вспугнуть… И оставалась открытой — Батие достаточно было лампочки, горевшей в коридоре, да она могла бы, по привычке, найти ощупью кран с горячей водой. Напор в это время ослабевал, приходилось дожидаться, пока жиденькая тепловатая струйка наполнит чайник хотя бы на треть. Между тем на фоне дверного проема проступал четкий, точно вырезанный из черной бумаги силуэт: стройная девичья фигура с плавным изгибом крепких, чуть тяжеловатых бедер, волосы, заплетенные в тугие косы, достающие концами до самых икр. Косы оттягивали немного назад голову на высокой шее, придавая Батие горделивое, даже слегка заносчивое выражение. При этом в темноте исчезали крупные оспины, густой рябью покрывающие с детских лет ее лицо, исчезал шрам между бровей, оставленный когда-то копытом жеребенка. Батия, постоянно сосредоточенная на занятиях, здесь, в полутьме «бытовки», словно вдруг обретала уверенность в себе. Не будь так несправедлива к ней

судьба, она вполне могла бы считаться красивой девушкой, во всяком случае — симпатичной, не хуже других… Закручивая кран, Батия негромко вздыхала. Скорее всего от усталости, ведь не шутка — по многу часов смотреть, не разгибаясь, в микроскоп… Или, может быть, оттого, что и ей хотелось бы посидеть, помолчать рядом с парнем, преданным, верным, не чающим в ней души?.. Как бы то ни было, она вздыхает. И, выйдя из «бытовки», бережно прикрывает за собой дверь. В коридоре шаркают ее шлепанцы.

— Хорошо, что не заметила, — говорит Гульшат, уже не прячась за Едиге.

— Чего ты испугалась? Это аспирантка, такая же, как я.

— Она лекции нам читает.

— Ну и как?

— Очень хорошо читает. А знает сколько…

— Говорят, в ГДР какой-то научный журнал напечатал ее статью. Я слышал, у нее почти готова диссертация.

— Она — просто прелесть. Такой человек… Только строгая. Особенно к девушкам. Шелохнуться не даст… А недавно взяла и чуть не всей группе двойки выставила.

— Правильно сделала. Если ваши девушки ду-

мают больше о парнях, чем об учебе, только так и надо их жучить.

— Правда?.. А я тоже вот — и днем и ночью все думаю о тебе. Завалю, наверное, первую же сессию.

— И отлично. Я тоже брошу аспирантуру. Возьмемся за руки и махнем куда-нибудь подальше от Алма-Аты, заберемся туда, где ни мы никого, ни нас никто не знает.

— На целину?

— Слишком близко. Лучше на Сахалин или на Камчатку.

— Ой, это уж слишком далеко…

— Тогда поближе, например, на Алтай. Там, кстати, тоже есть казахи. Крещеные — ты слышала? Их крестили еще в царские времена…

— И что же мы там станем, делать?

— А вот представь. Избавились мы от учебы, забрались в лесные дебри и живем, одни-одинешеньки. Вокруг ни души — на двести, на триста километров, только лоси да медведи. Никакой цивилизации. Лес и только мы вдвоем…

— Ой, нет!..

— Глупенькая. Ты сама ведь говоришь, что думаешь только про меня… Выходит — нет?.. Одного меня тебе мало?..

Гульшат рассмеялась.

— И вправду я, наверное, глупая.

— Такое признание само по себе уже свидетельствует об уме… Сядь поближе.

— Сам садись поближе.

— Ну и баловница же ты… — Он придвигается к ней, хотя они и без того сидят вплотную.

— Я только с тобой баловница…

— Я только тебя люблю…

— Я только тебя боюсь…

Тронув девушку за подбородок, Едиге поворачивает ее к себе лицом.

— Если ты на самом деле меня любишь, тогда поклянись и скажи: именем аллаха, милостивого, милосердного…

— Не скажу.

— Тогда обними меня за шею.

Она обхватывает его руками.

— Теперь поцелуй.

— Не поцелую.

— Целуй.

— Не поцелую.

— А вчера целовала.

— Неправда…

— Тогда сегодня поцелуй.

— Не хочу.

— Смотри же, а то сам поцелую.

— Ах ты, какой хитрый… В честь чего я обязана тебя целовать?

— Вчера я целовал, сегодня — ты. Пора возвратить долг.

— Вот еще придумал!

— А как же? И долги твои с каждым днем будут расти.

— Это нечестно.

— Если хочешь, сделай меня своим должником.

— Ну, хорошо. В таком случае… Только один раз. А ты не смотри на меня.

Едиге смеется. В комнате и без того темно.

— Ты надо мной смеешься?..

— Нет. Просто здесь и так тьма-тьмущая, а ты говоришь — не смотри…

— Все равно — не смотри.

— Хорошо. Но предупреждаю: за один твой поцелуй я поцелую тебя сто раз.

— Я не согласна.

— Почему?

— Всего сто раз?..

— Тогда сто один.

— Всего сто один?..

— Сто три.

— Ладно, пускай будет сто три. Закрой глаза…

— Баловница моя…

Им кажется, пролетело всего какое-нибудь мгновенье. Ну, чуть больше… Смотрят на часы, думая, что уже двенадцать… Было, было когда-то двенадцать! Сейчас половина второго… Нет, не второго — третьего!.. Ступая на цыпочках, они пробираются по длинному коридору — туда, к двери с табличкой «427». В этот час в огромном общежитии, где обитает пятьсот человек, нет никого, кроме них, кто уже не спал бы, включая и вахтершу, которая, прикорнув на своем ответственном посту, тоже дремлет, смотрит свои старушечьи сны…

17

Новый год Едиге, Кенжек и Халел решили встретить своей компанией, без посторонних. В «новогодний фонд» вложили: Едиге и Халел, которые собирались пригласить девушек, — по тридцать рублей, то есть половину стипендии каждый, Кенжек же, как человек одинокий, — двадцать. Получилось порядочно. Втроем — а точнее вдвоем, потому что Кенжек, имеющий смутное представление о практических вопросах, все руководство доверил Едиге и Халелу, — долго совещались, пока не остановились на том, что самое лучшее — отпраздновать новогодие у себя дома, в триста первой комнате.

Заранее обо всем позаботились. Одна из тумбочек была уставлена шампанским, коньяком, винами разных марок. На зеленом базаре, несмотря на дороговизну, купили, сколько требовалось, — а возможно, и значительно больше, — жирной конины, казы. Не забыли при этом и про глянцевито-румяный апорт, а также прочие «сладости-радости» (выражение Халела) для девушек. Стряпать и накрывать стол начали с утра, но управились только затемно, часов около восьми,

хотя собраться решено было в семь. Поспешно привели себя в порядок, оделись, прифрантились. Покорно выполняющий руководящие указания Кенжек остался проветрить комнату и выбрать пластинки, Едиге же с Халелом отправились за девушками.

На четвертом этаже Едиге остановился перед комнатой Гульшат, прислушался. Не было ни голосов, ни оживленной возни, доносившихся из соседних комнат. В узенькую щелку пробивался свет, но казалось, что за дверью пусто... Он постучал — тихонько, давая знать о себе. Никто не откликнулся. Сердце у него сжалось от неясного подозрения. Он распахнул дверь. Гульшат была здесь. Она сидела на кровати, лицом к окну. Едва дверь заскрипела, как она вздрогнула и вскочила. Вскочила и замерла, сделав шаг ему навстречу. Вся настороженная, напряженная. Глаза ее, огромные, сияющие, радостно улыбались Едиге, но на лице еще не растаяла тревожная серая тень.

— А наши девушки ушли, — сказала она. (Как будто его могли интересовать ее подруги!)

— Вот и хорошо, — сказал он, прикрывая дверь.

— Меня уговаривали, что ты не придешь, уже

поздно. Звали с собой…

— Ну и пошла бы, — сказал Едиге.

Она улыбнулась — недоверчиво, растерянно.

— Ты прелесть! — вырвалось у Едиге. Он смотрел на нее, стоя у порога и опираясь спиной о косяк.

На ней было новое платье, зеленое, из шелковисто переливавшейся ткани. Высокий воротник подчеркивал нежную белизну ее шеи; колокол накрахмаленного подола приоткрывал круглые коленки над стройными икрами; тонкая талия была стянута широким поясом, из той же ткани, что и платье, на левой груди — маленькая, в форме цветка, брошь. От этого нарядного платья, от легких белых туфелек, опирающихся на тонкий каблук, от едва намеченной, едва круглящейся груди — от всего ее облика веяло духом чистоты и невинности.

Едиге задохнулся. Осторожно ступая, он подошел к ней и бережно притронулся — именно притронулся — к ее талии.

— Не могу поверить, что эта небесная пери спустилась на землю! Что она ест и пьет, как простые смертные, и даже кого-то любит!..

Он слегка притянул к себе Гульшат, уткнулся лбом ей в подбородок и стал вдыхать запах ее

кожи. Нежный, чуть слышный аромат взбудоражил его. Не в силах сдержаться, он обхватил ее за плечи, стал целовать — шею, грудь…

— Милый… Не надо… Ты помнешь платье…

— Все это — как сон, — сказал Едиге, отстраняясь. — Скажи, это правда? Или все-таки сон?

— Не знаю… Может быть, сон…

— Ты меня любишь?.. Скажи, любишь?.. Ну, я прошу тебя — скажи!

— Я люблю тебя… Очень люблю… Обожаю… Но я боюсь… Не знаю сама, чего… Только у меня такое чувство, что…

— Я так люблю твои ресницы…

— Я тебя очень люблю… Даже иногда не могу заниматься — все ты не выходишь из головы. Хочу что-нибудь делать, а ты все время перед глазами. Или кажется, ты вот-вот постучишься в дверь, меня позовешь. Все жду и жду чего-то такого…

— Я тоже с тех пор, как мы встретились, совсем перестал писать. И читать хочется одни стихи. Гейне, Хафиза. И еще — газели Навои. Ни к чему другому просто душа не лежит.

— А иногда… Мне кажется иногда, что долго нам не быть вместе…

— Ха! Какой пророк тебе это предсказал? Или ты сама этого хочешь?

— Нет…

Едиге рассмеялся.

— Пора, пойдем. Я познакомлю тебя с самым выдающимся математиком всех веков и народов. Что же до физики, то в ней он занимает место сразу после Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна.

Едиге еще издалека заметил, что Кенжек с нетерпением ждет их. Он то и дело высовывался из двери, желая убедиться, что не упустил торжественного момента. Когда они приблизились, голова Кенжека мелькнула в последний раз и скрылась. Однако на всякий случай Едиге постучался прежде, чем войти. Только после этого, надавив на дверную ручку, он пропустил девушку вперед.

В тот же миг загрохотала радиола — грянул победный марш из «Аиды». Едиге, приняв вид, вполне достойный триумфатора, взял оробевшую Гульшат за руку и вывел на середину комнаты. Кенжек, стоя у приемника, самодовольно ухмылялся. Длинный, давно не стриженный чуб, как всегда, падал на лоб, едва не закрывая смеющиеся глаза. Едиге, глядя на друга, тоже рассмеялся. А за ним и Гульшат — глядя на них обоих.

— Ну, вот, теперь познакомьтесь, — сказал Еди-

ге, когда радиола смолкла. — Моя невеста, — он церемонно поклонился в сторону Гульшат. — Мой лучший друг, — поклон в сторону Кенжека.

— Очень приятно… — Кенжек внезапно побагровел от смущения. — Это наш дом… То есть комната…

— Келья отшельников, — добавил Едиге.

— Действительно, келья… Мы очень хотели вас увидеть, готовились… Но когда живут одни парни… Простите, если что не так…

Он лопотал еще что-то в том же роде, не слишком вразумительное, и Гульшат, удивленная тем, что взрослый человек (аспирант, два года назад закончивший университет!) до такой степени растерялся при ее появлении, тоже смутилась и не нашлась чем ответить.

— Ну, будет, будет скромничать, Кенжек, — сказал Едиге. — Наша келья все-таки получше келий в медресе Улугбека.

— И вот еще что, — сказал Кенжек. — Очень это хорошо, что вы оба… Оба…

— То есть, что ты со мной дружишь, — бесстрастным тоном переводчика сообщил Едиге, обращаясь к Гульшат.

— Вот-вот, я это и хотел сказать, — подхватил Кенжек, растерянно теребя свой чуб. — Это

верно… И вообще, дружище… — Он заметил неловкость привычного словечка «дружище» в применении к Гульшат и смутился. Но мысль свою тем не менее закончил: — И вообще, скажу я вам, Едиге — это великий человек! Вы сами еще убедитесь, да!.. И просто здорово, что так хорошо все у вас получается…

Пришел и Халел со своей девушкой. Их встречали маршем Черномора, — не очень, пожалуй, подходящим к делу, но как быть, если среди пластинок Едиге других маршей обнаружить не удалось?..



Спутницей Халела была смугленькая, полненькая девушка, со смешливыми карими глазами и белым бантиком на затылке, в коротко подстриженных волосах, при каждом повороте головы взлетающих над плечами, как хвост у резвого жеребенка. Ей было, примерно, двадцать или двадцать два, но чувствовалось, что выглядеть ей хочется еще моложе. Она училась на четвертом курсе английского факультета в институте иностранных языков. Звали ее Зада. Кенжеку и Едиге она улыбнулась, как старым знакомым, а с Гулышат обнялась, как успевшая соскучиться родная сестра.

И хотя не было еще сказано ни слова, от ее непринужденности всем стало весело, легко, свободно. Кенжек — теперь он исполнял роль хозяина дома — пригласил собравшихся к столу. Одной стороной его пододвинули к кровати, расставили стулья.

— Минутку! — Зада предостерегающе подняла указательный палец. Опередив остальных, она подбежала к столу, накрытому газетами, и приподняла одну.

— Что же вы наделали!.. — Зада всплеснула руками. — Так я и знала!.. Вот что выходит, когда мальчики берутся не за свое дело!.. Почему было

не пригласить нас?..

Правду говоря, новогодний стол давал кое-какие основания для подобных претензий. Казы, нарезанное кое-как, было грудой навалено на тарелку, цыплята не разделаны вовсе, сыр напластован такими ломтями, что и ко рту не поднесешь, и все расставлено без всякого порядка, лишь бы уместить на столе…

Друзья, помрачнев, переглянулись.

— То-то же, — сказала Зада. — И нечего воображать, если вы мужчины. Без нас вам все равно не обойтись. — Впрочем, она тут же смилостивилась. — Ну, ничего, мы с Гульшат справимся в пять минут, а вы пока пойдите покурите вместе с этим Тарасом Бульбой, который уже тянется к своей трубке…

18

— Мой повелитель, я хочу танцевать, — сказала Зада.

— Если мы еще долго будем так сидеть, я умру, — шепнул Едиге, наклонясь к Гульшат. — Я должен сейчас тебя поцеловать.

— До двенадцати далеко, — сказал Халел. — Вначале надо подзаправиться хорошенько.

— Желания девушек — закон! — сказал Кенжек, Опираясь обеими руками о край стола, он поднялся с места. — Но мы пока толком не выпили. Танцы не уйдут… А сейчас… Предоставим слово будущему светилу физики, аспиранту второго года обучения…

— У меня вопрос, — перебила Зада. — Среди вас один Халел — гений?

— Среди нас нет людей заурядных, — сказал Кенжек.

— Значит, все вы — гении?..

— В самую точку, — сказал Кенжек. — Никаких сомнений!

— What boasters you are!..[4] — покачала голо-

---

[4] Примечания: 4
Какие хвастуны!.. *(англ.)*

вой Зада.

— Meine Liebe… — сделав глубокий вдох, Кенжек задержал дыхание. — Милая Зада, der Ala-Tau ist hoch… hoch einige Tausend Meter über dem Meeresspiegel, aber er scheint nicht so hoch dem Menschen, der neben ihm steht[5].

— Excuse me[6], — рассмеялась Зада. — Беру свои слова обратно. Для меня самый великий лингвист, самый великий археолог, самый великий физик и вообще самый великий человек — Халел.

— Все присутствующие заслуживают столь же высокого мнения, — сказал Халел. Он кашлянул для солидности, выпятил грудь и распрямил плечи.

— Разумеется, — сказала Зада. — Я придерживаюсь точно такого же мнения о Кенжеке и Едиге.

— Безмерно благодарен, — склонил голову Едиге. — Да вознаградит вас аллах за добрые слова!

— Такие джигиты, как мы, в старину, бывало, за один присест уплетали полжеребенка, — сказал Халел — Каждый съедал по целому барану…

---

[5] Примечания: 5

Дорогая… Горы Алатау высоки… Выше уровня моря на много тысяч метров, но кажутся низкими человеку, стоящему рядом *(нем.)*.

[6] Примечания: 6

Простите меня *(англ.)*.

— А я когда-нибудь съем тебя, — прошептал Едиге на ухо Гульшат.

— По целому барану, не меньше… А дети атомного века, собравшись такой многочисленной компанией, не в силах одолеть двух цыплят…

— Ты обязана меня бояться. Ведь я опасный человек. Очень опасный…

— Каких-то двух несчастных цыплят! Мудрецы были правы, люди вырождаются…

— Кто, в конце концов, у нас тамада? — повысил голос Кенжек.

— Монарху не пристало напоминать своим подданным, что он их повелитель, — сказал Халел.

— Видно, с тех пор, как был свергнут Николай Романов, у людей совсем не осталось уважения к престолам и скипетрам, — сокрушенно развел руками Кенжек. — Я готов отречься от власти. Причем по доброй воле, прошу это учесть…

— Первый случай в истории, — отметил Едиге. — Властитель добровольно отказывается от своего трона.

— Кенжек остается единственным и полноправным самодержцем за нашим столом! — провозгласил Халел.

— Тогда прекратить галдеж! — Кенжек позвякал ножом по пустой бутылке. — Возвращаюсь к

своим непосредственным самодержавным обязанностям. Предоставляю слово Халелу!

— Ваше величество, я уже дважды…

— Если я приказываю, будешь и трижды!..

— Ладно, налейте вина девушкам, — сдался Халел. И, наполнив стопки Едиге и Кенжека, бросившихся наперебой ухаживать за девушками, подлил себе «столичной». — Моя речь будет короткой. За мужчин!.. За миллионы мужчин — всех континентов и рас, любого цвета кожи и веры, за настоящих мужчин, и в первую очередь — молодых, светлых разумом, чистых сердцем, благородных в помыслах!..

— Твое место на трибуне Организации Объединенных Наций, — признал Едиге.

— Прошу не перебивать оратора, — Кенжек снова позвякал по бутылке.

— Кроме шуток, друзья, выпьем за парней, которым предстоит строить завтрашний мир!

— Толковый тост, — одобрил Кенжек. Он чокнулся с Халелом.

— А куда же деваться девушкам? — спросил Едиге. — Ведь мы пьем только за парней?..

— Ты глуп, мой дорогой, — сказал Халел. — Никуда они от нас не денутся…

— Это он так острит, — поморщилась Зада.

— В моих взглядах за последнее время кое-что переменилось, — усмехнулся Едиге. — Произошла эволюция. Теперь я считаю, что глупость — еще не самый страшный порок. Все горе от ума, если он мешает сердцу… Я, кажется, не слишком удачно выразился?..

— Ничего, — великодушно кивнул Халел. — Но закон, который ты открыл, верен в одном-единственном случае.

— В каком же?..

— Если ты влюблен. Влюбленному положено быть глупым.

— Тогда выпьем за глупость!

— Чокнемся, Гулышат, за здоровье этих джигитов…

— Да здравствуют парни! — сказал Кенжек.

— Да здравствуют девушки! — сказал Едиге.

— Спасибо за внимание, — сказала Зада.

— Вы как хотите, а я пью за свой тост, — сказал Халел.

Кенжек поднялся и поставил пластинку.

И начались сумасшедшие современные танцы. Комнату наполнили стук и грохот, шум и гам. От звуков громыхающей, визжащей, завывающей музыки раскачивалась под потолком одинокая лампочка, сам же потолок готов был, казалось,

рухнуть, предварительно расколовшись надвое. А пол, содрогающийся и стонущий под каблуками и подошвами не знающих устали ног?.. Он лишь чудом не провалился.

Всех удивили Халел и Зада — ну и танцоры, просто экстракласс! Буйные космы Халела вздыбились пуще прежнего, тело, обычно такое неуклюжее, до последней клеточки наполнилось веселой пружинистой силой. Как акробат в цирке, кружил и вертел он вокруг себя маленькую, упругую Заду. И было похоже, что они не повторяют заученные движения, а вдохновенно импровизируют страстный, подсказанный музыкой танец. Оба забыли — о себе, о других, они танцевали, и танец этот напоминал игру возмужавшего, полного мощи льва и юной пантеры…

Что же до Едиге, то в студенческие годы он тоже не пренебрегал танцами, но с Халелом ему было не сравниться. Тем не менее, взбодренный застольным пиршеством, он предоставил своим ногам полную волю, подхватил Гульшат, и они закружились.

Наконец, когда все порядком запыхались, Кенжек сменил пластинку, и по комнате поплыл старый добрый вальс — танец, родившийся еще чуть ли не при феодализме, процветавший в

эпоху развитого капитализма и благополучно здравствующий, даже как-то помолодевший ныне, при социалистическом строе. Однако для усталых танцоров он тоже оказался слишком стремителен, его вскоре сменило медлительно-томное танго.

Больше всех прочих танцев Едиге любил именно этот. Почему?.. Кто знает? Замечено, кстати, что танго предпочитают люди, которые или совершенно не умеют танцевать, или от природы одарены тонкими чувствами. Едиге можно было в какой-то мере причислить к первым, в какой-то — ко вторым. Ладони его осторожно легли на талию Гульшат, опустившей голову к его плечу, и они стали покачиваться на месте в такт мелодии. Едиге что-то шептал ей, но то ли из-за музыки, то ли из-за громко стучавшего сердца Гульшат не слышала его слов. Да и что было слышать?.. Что способен сказать девушке, держа ее в объятиях, молодой человек, полагающий, что он уже многое пережил и многое перевидел, но успевший прожить лишь какие-то два десятка лет, не испытавший и малой доли того, что предстоит ему впереди?.. Какими словами ответит ему девушка, едва освободившаяся от неусыпной родительской опеки, только-только

достигшая рубежа восемнадцати лет? О чем она скажет, чем ответит — ему, своей первой любви?.. Какие бы у обоих ни возникали слова, смысл всегда одинаков. Он сказал, и она услышала… Или он промолчал, и она тоже… Все равно, это ничего не меняет. Главное в другом. Его ладони по-прежнему бережно сжимают ее талию, а руки девушки кольцом обхватили его шею. И раскачивается, застилает глаза голубой туман, голубое марево… Колышутся легкие совиные перья… Сколько длится это странное, сладкое чувство? Мгновение? Вечность? Если вечность, то вся она умещается в единый миг; если мгновение, то оно стоит вечности…

Танго… И снова — танго… В который уже раз? Третий, пятый?..

— Едиге… — слышит он. — Едиге, неловко получается перед Кенжеком.

— Почему?

— Посмотри, он все время сидит один…

— Пускай ищет себе девушку!

— Нельзя так, — сказала Гульшат. — Он твой товарищ… Некрасиво быть таким эгоистом.

— Вот новости! Выходит, это я обязан заботиться, чтобы он не был одиноким? — Едиге наклонился, чтобы поцеловать ее в сочные, как

спелый гранат, губы.

— Я не то хотела сказать… — Она отвернулась, он так и не сумел коснуться ее губ.

— Хорошо, пойдем…

Они подошли к загрустившему Кенжеку, который сидел, подперев подбородок, перед радиолой и с явно преувеличенным интересом наблюдал за вращавшейся на диске пластинкой. Красный кружок в ее центре, заполненный надписями, напоминал гимнаста, крутящего «солнце» на турнике, а сама пластинка, отливая глянцем, казалась неподвижной.

— Честь и слава героям, посвятившим свою жизнь общему благу! — провозгласил Едиге.

Кенжек поднял голову, заулыбался. Едиге раньше не замечал, как преображает улыбка его лицо: Кенжек сразу делался похож на застенчивого подростка…

— Ну и что? — спросил Едиге. И прижал к себе Гульшат, она и шелохнуться не могла.

— Все хорошо, — ответил Кенжек.

— Я спрашиваю, что ты думаешь об этой девушке? Отвечай честно.

Кенжек продолжал улыбаться, но в глазах у него появилось выражение растерянности, даже отчаяния. Он в смущении теребил свой чуб, пы-

таясь подобрать слова.

— Так что же? Симпатичная она или нет? Красивая или безобразная?

— Она даже очень… симпатичная… — наконец выговорил Кенжек с запинкой. Его лицо, и без того красное от выпитого вина, сделалось багровым. — Нет! — поправился он тут же. — Не то!.. Она… Такие только в сказках бывают!..

— Ну вот, — усмехнулся польщенный Едиге, — мы тоже научились говорить комплименты. Теперь остается найти девушку, похожую на Гульшат…

— Это невозможно, — покачал головой Кенжек.

— А ты попробуй.

— Я попробую, — Кенжек тряхнул головой, отбрасывая со лба непослушные волосы, но упрямый чуб вновь упал на привычное место.

— А пока потанцуйте с Гульшат.

— Что ты, что ты, дружище… — Кенжек даже испугался. — Вы сами… Я…

— Не выйдет, — сказал Едиге. Подхватив Кенжека под локоть, он заставил его подняться. — Мне тоже интересно посмотреть, как это выглядит со стороны.

Едиге прервал танго и поставил снова что-то

сумасшедшее.

Вначале танцевали Гульшат с Кенжеком и Зада с Халелом.

Потом танцевали Гульшат с Халелом и Зада с Кенжеком.

Потом танцевали Гульшат с Задой и Кенжек с Халелом.

Потом все вновь поменялись местами.

Они всю комнату перевернули и поставили вверх дном.

Внизу, в вестибюле первого этажа, тоже шли танцы. И еще в пятнадцати или двадцати комнатах общежития — из ста пятидесяти — в этот час вовсю отплясывали парни и девушки. Однако шум в триста первой стоял такой, что, казалось, заглушал все. Наконец, комендант общежития тетя Клара, женщина в общем-то спокойная, уравновешенная, не выдержала и отправилась взглянуть, что здесь происходит. Но при ее появлении все — и Едиге, открывший дверь, и танцоры за ним следом — закричали «ура», да так дружно, словно только и ждали, когда к их веселью присоединится комендант. Танцы продолжались. Едиге усадил тетю Клару за стол, на почетное место, высказал ей все свои самые сердечные новогодние пожелания и уговорил

выпить стопочку за дружбу и мир во всем мире. Но за дальнейшие тосты она пить не стала, и Едиге не обиделся, памятуя, что тетя Клара находится при исполнении служебных обязанностей. Вскоре она ушла, причем уже на пороге лицо ее приняло выражение строгое, почти суровое. Она попросила вести себя потише, не допускать драк, скандалов и безобразий. И никто не дрался, не скандалил, но безобразия продолжались. Радиола по-прежнему громыхала и надрывалась, лампочка раскачивалась, пол дрожал… Но за десять минут до двенадцати все вернулись на свои места, чтобы встретить Новый год как положено.

Бутылки с шампанским пододвинули поближе, чтобы они были под рукой, приготовили стаканы и стопки, с успехом заменявшие здесь звенящие хрусталем фужеры… Кенжек предоставил слово другу Гульшат, другу друга Зады, побратиму его, Кенжека, а также Халела, аспиранту-филологу Едиге Жанибекову, предназначенному для великих свершений в будущем, а пока лишь подающему некоторые надежды — благодаря образцовому поведению и успешной учебе. Он предложил Едиге не делать свою речь куцей, как заячий хвост, но и не болтать попусту, как это иногда случается с филологами, и за пять или

десять секунд до двенадцати закончить.

Едиге встал, держа в правой руке пустой стакан.

— Я, небом рожденный великий повелитель тюрок Бильге-каган[7]… то есть Едиге-каган… С помощью моего брата, могущественного Куль-Тегина… то есть тамады Кенжека… воссевший на это высокое место, то есть — удостоенный чести произнести новогодний тост, — буду говорить. Восседающий справа от меня славный Кенжек-бек и восседающий напротив меня мудрый Халел-бек, а также прекрасная Зада-бегим, а также несравненная Гульшат-бегим, а также все остальные — и убеленные сединами старцы, и юная поросль, и весь народ мой, слушайте меня внимательно, умом и сердцем внемлите моим словам…

— Я вижу, это надолго, теперь его до утра не остановишь, — сказал Халел. Он откинулся на спинку стула, выбирая позу поудобней.

— Не мешай, — сказала Зада. — Говори, мы тебя слушаем, Едиге…

— В преддверии Нового… — Едиге взглянул на часы, оставалось шесть минут, — в преддверии

[7] Примечания: 7

Здесь и далее Едиге перефразирует одну из Орхонских надписей, известных в истории под названием «Памятник в честь Куль-Тегина».

Нового года я желаю всем собравшимся здесь, то есть себе и своим друзьям, желаю от всей души:

чтобы нам никогда больше не собираться вместе…

— Что за дичь! — вырвалось у Кенжека, он в недоумении оглядел сидящих за столом.

— Не будем перебивать оратора, иначе он лишится вдохновенья и вообще оставит нас без тоста, — сказал Халел.

— …никогда не собираться вместе,

если мы ответим неблагодарностью людям, любящим нас и желающим нам добра;

если не сбережем в чистоте свои мысли и чувства;

если обидим своих любимых;

если бестолково и бездарно растратим краткое время жизни, отпущенной нам;

если хотя бы слабая тень падет на чувства, которые нас всех соединяют;

если не выдержим борьбы и предадим великую цель;

если отступим или свернем с прямого и честного пути.

Пусть никогда не исполнятся наши заветные мечты,

если зазнаемся, будем считать себя выше всех

людей;

если утратим гордость души и силу, способную дерзать;

если хотя бы на день откажемся от поиска и познания истины;

если пожелаем творить без мук и труда;

если возжаждем легкой славы и ложного почета;

если опорочим в чем-либо совесть ученого и литератора.

И еще:

пусть со старым годом покинут нас все неудачи, несчастья, горести и недуги;

пусть останется радость;

пусть останется веселье;

пусть останется вера;

пусть останется любовь — наша любовь друг к другу и любовь к самому дорогому для каждого из нас;

пусть прибавится у нас друзей;

пусть прибавится у нас врагов.

А в самом конце я желаю,

чтобы вы, мои самые близкие друзья, продолжали совершенствовать свои знания, чтобы, отправляясь в неизведанные для науки края, добились новых открытий и многое сделали на

благо своего народа и всей страны. Надеюсь, и вы пожелаете мне того же…

— Ур-ра! — закричал Халел.

— Шампанское! Шампанское! — засуетился Кенжек.

Девушки вздохнули с явным облегчением, будто сами произнесли эту длинную речь, и захлопали.

Дуплетом выстрелили в потолок две бутылки шампанского.

Новый год…

Поднимая полные до краев стаканы, в которых весело играло и пенилось золотистое светлое вино, молодые люди чокались, звенели стеклом о стекло и чувствовали себя при этом так, словно и тело, и мысли — все у них обновилось, и они уже не те, что были минуту назад, когда ударили куранты, — перед каждым распахнулась иная жизнь, иная даль…

Потом снова были танцы… И нежное танго… Аргентинское танго…

19

— Уж слишком ты балуешь свою девчонку, — сказал Халел.

— Просто я ее люблю, — сказал Едиге.

— Он от нее без ума, — сказал Кенжек.

Было около двух. Они вышли в коридор покурить. Точнее, дымил своей громадной трубкой один Халел, его друзей эта пагуба миновала.

— Ты не понял, что я имел в виду, — продолжал Халел, пыхнув облаком густого сизого дыма.

— Почему же… Ты хотел сказать: «Учи ребенка с рожденья, жену…»[8] Я тоже так считал. Когда у меня были другие девушки. Опоздала, к примеру, на свидание минут на пять — и привет, счастливо оставаться, а я пошел… Нет, кроме шуток, я никогда их не ждал дольше пяти минут…

— Теперь понятно, почему ты до сих пор в холостяках, — сказал Кенжек.

Халел и Едиге расхохотались. Кенжек сообразил, что, целя в Едиге, попал в себя, и смущенно замолк.

---

[8] Примечания: 8

Имеется в виду казахская поговорка: «Учи ребенка с рожденья, жену — со свадьбы».

— Все оттого, что не было любви, — сказал Халел.

— Верно, — кивнул Едиге, — я теперь тоже так думаю.

— А сейчас все наоборот, — сказал Халел.

— Тоже верно, — согласился Едиге. — Я бы любому ее капризу, любой прихоти подчинился. И с радостью.

— Понимаю, — сказал Халел. — Но ты все-таки сдерживайся.

— Я привык поступать, как мне хочется, — сказал Едиге. — Воспитывался у бабушки с дедушкой, и вот результат… По-другому у меня не выходит.

— И зря, — сказал Халел.

— Каждый, кто любит, раб своей любимой, — не то сам сочинил, не то процитировал Кенжек.

— А вы думаете, я Заду не люблю? — сказал Халел. — Мы уже больше двух лет знакомы. И чувство мое осталось таким же, как в первый день… Фу, дьявол, слишком уж литературно выразился, правда, товарищ филолог?.. Но это и в самом деле так. Наверное, весной мы поженимся.

— А диссертация?.. — спросил Кенжек.

— Постараюсь до тех пор закончить, — сказал Халел. — Скоро в Москве должны появиться две мои статьи. Почти одновременно.

— Тогда тебе действительно можно жениться, — сказал Кенжек. — И я тоже, на тебя глядя, женюсь. Только бы вот с диссертацией наладилось…

— А тебе жениться нельзя, — сказал Халел, обращаясь к Едиге.

— Почему?

— Твоя девушка еще несовершеннолетняя, судить будут, — сказал Кенжек.

Все трое рассмеялись.

— Это верно, мы о женитьбе пока не думали, — признался Едиге. — Как-то забыли. У нас и разговора об этом не было…

— Наверное, говорили о чем-нибудь более существенном, — улыбнулся Халел. Он задрал подбородок вверх и выпустил изо рта одно за другим несколько колец дыма. Поднимаясь все выше, голубоватые кольца постепенно расплывались, таяли, теряя форму, пока не растворялись в воздухе под самым потолком. — Вы оба еще дети, — сказал он, помолчав. — Конечно, ты закончил университет, скоро тебе — кажется, в январе — исполнится двадцать три, еще пара лет пройдет — и ты лекции студентам станешь читать. Но она-то? Младенец, только-только открывший на мир глаза… Впрочем, не знаю, в ком

из вас двоих больше детства.

— Я давно уже чувствую себя зрелым человеком, — возразил Едиге. — Даже пожилым, если хочешь. Иногда мне кажется, что я прожил тысячу лет…

— Снова преувеличение… И опять-таки — самое настоящее детство. Может быть, романтика в таком возрасте и хороша, только мы, физики, рано взрослеем…

— Что же ты мне посоветуешь как взрослый?

— Если бы я умел советовать, то не был бы тем, что есть. — Халел обнял Едиге одной рукой и похлопал по спине. — Я люблю тебя, как родного брата. Поверь, это правда, и не обижайся.

— Он не обиделся, — сказал Кенжек. — С чего бы ему обижаться?

— А что касается девушек… Тут уж, по русской поговорке, «всяк по-своему с ума сходит…». Поступай, как сердце подскажет. Это самое лучшее.

— Голова что-то побаливает. Хватил, видно, лишнего, — грустно сообщил Кенжек.

— Девушки чай готовят, сейчас подлечишься, — утешил друга Едиге.

— Дай-ка мне ключ от своей комнаты, пойду прилягу, — сказал Кенжек Халелу.

— Там наши пальто, мое и Зады.

— Боишься, закроюсь на ключ и засну? Тогда запри меня снаружи.

— Неудобно перед девушками, ведь осталось посидеть совсем немного, — сказал Халел. — К тому же… Комната мне и самому нужна. Ну, идемте, нас уже заждались.

Девушки сидели рядом и оживленно щебетали о чем-то, словно две пташки, выросшие в одном гнезде. Все лишнее со стола было убрано, посуда перемыта, чай заварен и настоен до багровой густоты. Правда, не было ни молока, ни сливок, но и тут нашелся выход. Оказалось, что если в стакан опустить пару ирисок, чай получится на вкус не хуже, чем со сливками. Чего-чего только не знают эти девушки!..

Выпив пару стаканов, Халел начал собираться. Им с Задой, сказал он, предстоит до рассвета попасть еще в одно место… Зада, казалось, слышала об этом впервые.

После того как они ушли, за столом сразу стало пусто и невесело. Сначала в молчании чаевничали, потом Кенжек вскочил, будто внезапно вспомнив о чем-то. На столе опять появились стопки, в каждую из трех он налил армянского коньяка, цветом почти не отличающегося от индийского чая. Затем Кенжек, стоя, произнес

длинную речь. Он объявил, что безмерно рад за Едиге и желает счастья Гульшат. И признался, что, когда смотрит на них обоих, на глаза у него навертываются слезы... (И тут в самом деле глаза его повлажнели.) Так выпьем, сказал он, за ваше безоблачное счастье! После чего с видом человека, исстрадавшегося от мучительной жажды, он опрокинул содержимое стопки в рот и, не слушая возражений, заставил выпить Едиге и Гульшат. Добившись своего, он снова принялся разливать коньяк. Едиге, чувствуя, что дело осложняется, успел наполнить стопку Гульшат заваркой из чайника. Кенжек этого не заметил. Он продолжил свою речь. Он сообщил, что уже стар, ему стукнуло двадцать пять лет, но за свою долгую жизнь он так и не изведал никаких радостей. Мечты не сбылись, в усталой груди нет ничего, кроме разбитых надежд и горьких разочарований. И ему ничто уже не поможет. Нет, сказал Кенжек, не станет он ни профессором, ни академиком, даже самым обыкновенным, ничтожным кандидатом — и то он не станет. Потому что не хочет. Да, сказал он, не хочет и не желает! Он от всего отрекается! Он признает с этой самой минуты в жизни единственное — Любовь!.. Он сказал, что или отыщет красивую девушку, кото-

рая его полюбит, или умрет. И он не будет ждать рассвета, чтобы осуществить идею, которая его осенила. Весь город, сказал он, сейчас на улицах, вся молодежь. На площади Цветов горит огромная елка, и вокруг нее танцуют девушки, столько девушек!.. А в парке — скульптуры изо льда и снега: голова облаченного в шлем богатыря, свирепо разинувший пасть медведь… И нет счета девушкам, которые скатываются по ледяной горке, выскальзывая из богатырского рта или медвежьего чрева!.. Он, Кенжек, отправится и туда, и сюда, и еще неизвестно куда, только бы найти ее — самую красивую, самую добрую, самую умную, познакомиться с нею. Он посвятит ей остаток своей жизни. Кто желает удачи Кенжеку, кто хочет, чтобы бедный, обделенный счастьем Кенжек обнял, наконец, свою любимую, должен выпить эту стопочку, размером с наперсток… Спасибо!

Затем, сказав: «Простите меня, друзья», — он открыл заскрипевшую дверцу облупленного, пережившего не одно студенческое поколение шифоньера, стоящего сбоку от входа, и вытащил свое старенькое, потертое пальто. Но накинул его, не надевая на плечи, и как был, с непокрытой головой, устремился из комнаты. Едиге оставалось

только последовать за ним. В коридоре Кенжек сорвал с себя пальто, набросил его на Едиге, обхватил друга за шею руками и горестно заплакал. Немного поплакав, а тем самым облегчив душу, он снова засобирался, заторопился идти выполнять задуманное. Настала для Едиге очередь обнимать, уговаривать… Ничего не помогало. Он просил, он упрашивал, он даже поцеловал Кенжека один раз в соленую от слез щеку… Наконец, он пообещал, что сам примется за дело и возьмет себе в помощь Гульшат. Они непременно найдут, как на базаре среди множества арбузов находят, пощелкивая по звонким бокам, самый спелый и сладкий — так они вдвоем непременно отыщут самую-самую лучшую девушку среди обитательниц общежития и познакомят с ней Кенжека. Только на этом они пришли к согласию и Кенжек отложил свой великий поход. Однако он, по-видимому, несколько ослаб за время разговора, потому что, проделав два-три нетвердых шага, покачнулся, его занесло в сторону и он очутился перед комнатой напротив. Не раздумывая долго, Кенжек толкнул дверь плечом, и она отворилась. Едиге, войдя в комнату следом за Кенжеком, увидел на столе граненый стакан, пустую бутылку, огрызок соленого огурца, ломоть серого хлеба и,

наконец, хозяина комнаты — Ануара, храпящего на своей кровати, головой почему-то не на подушке, а на груде книг. Вторая кровать была свободна, Бердибек снова уехал к себе в аул. Кенжек, словно только теперь обнаружив то, что столь тщетно разыскивал, подошел к Бердибековой кровати и безмолвно рухнул в нее, свесив ноги над полом. Из попыток устроить его поудобнее ничего не получилось. Едиге махнул на них рукой, стащил с Кенжека ботинки, стянул пиджак, брюки, расслабил галстук. Ему даже удалось, переваливая Кенжека с бока на бок, вызволить из-под него одеяло и укрыть страдальца…

20

Когда Едиге вернулся, в комнате был мрак. Смутный силуэт Гульшат рисовался на желтоватом фоне окна, слабо подсвеченного снаружи.

— Лампочка перегорела. — Ее лицо расплывалось в темноте бледным пятном.

— Вот и прекрасно, — весело сказал Едиге. — Поняла, видно, что на сегодня исполнила все свои обязанности.

— Вы только вышли, как там, наверху, что-то щелкнуло и свет погас. — Она будто оправдывалась, до того виновато звучал ее голос. И было в его интонации еще что-то неясное, то ли робость, то ли страх.

— Ты испугалась, глупенькая?

— Нет, — сказала она. — А где Кенжек?..

— Спит. — Едиге подошел к ней. — Встань-ка боком… Вот так… — Он отступил шага на два к двери, любуясь. — Бесподобно… Подними чуть-чуть подбородок… Не так высоко… Эх, досада какая, взяла и все испортила!

— Скучно так стоять, — сказала она жалобно, совсем как маленькая девочка.

— Хочешь, расскажу тебе сказку?.. — Едиге вер-

нулся к окну.

— Я устала. — Голос у нее был по-прежнему жалобный. — Я к себе пойду…

— Погоди немного… — Осторожно, словно касаясь хрупкой вещи, он погладил ее подбородок. — Моя!.. — Рука его, гладя, скользнула по щеке Гульшат, зарылась в волосах. Он притянул девушку к себе и стал целовать — подбородок, шею, лицо, повторяя: — Все это мое, мое!.. — Он шептал эти слова ей на ухо, как будто боялся, что кто-нибудь их услышит. И целовал — снова и снова, жадно, хмелея от восторга, теряя голову… Гульшат не противилась его ласкам, но принимала их как-то слишком покорно, без ответа… Подчинялась, как подчиняются обязанности, долгу.

Спустя немного времени она повторила:

— Я пойду…

— Пускай рассветет, — сказал он.

— Я устала.

— Давай посидим.

Они присели на койку.

Едиге чувствовал, между ними струится холодящий сквознячок. Они сидели рядом — чужие, незнакомые люди. Такого еще не случалось. Ему стало тоскливо, тревожно, сердце сжалось

от какого-то горького предчувствия. Он обнял, обхватил ее обеими руками, прижал к себе — крепко, будто страшась, что сейчас она пропадет, растворится в воздухе, подобно зыбкому миражу. Она и на этот раз не противилась ему. Все тело у нее было мягкое, податливое, словно лишенное костей, и дрожало, как в ознобе.

Но вдруг она сделала попытку высвободиться из его объятий, отодвинуться, сесть подальше.

— Платье… — бормотала она. — Платье помнется…

— Тогда его лучше снять, — сказал он. Сказал — и сам испугался слов, которые непроизвольно у него вырвались. Гульшат на миг замерла, оцепенела, не веря своим ушам. И тут же рванулась, вскочила на ноги. Едиге поднялся вслед за нею.

— Я не смеюсь, — сказал он и обнял ее за плечи. Ему хотелось произнести что-нибудь вроде: «Прости за глупую шутку», но все вышло иначе. Рука его коснулась у нее на спине чего-то твердого — то ли какой-то застежки, то ли пуговки. Он догадался: это замок-молния, ее металлический язычок. Едиге потянул язычок вниз, и тот с коротким суховатым треском скользнул до самого пояса.

— О-о… — выдохнула она. Подобный звук издает человек, внезапно погружаясь в ледяную

воду.

Не обращая внимания на слабое, робкое сопротивление, он сдергивал платье с ее плеч, уже наполовину обнаженных. Еще мгновение — и платье с шуршаньем и шелестом осело на пол.

— Переступи…

Она, словно в полусне, перешагнула через платье.

— Теперь приляг, укройся… Я сейчас…

«Слишком много выпили, — подумал он. — Слишком… — Он поднял с пола платье, отряхнул, расправил и аккуратно повесил на железную спинку кровати. — Когда перепьешь, так вот, наверное, все оно и случается».

— Я сейчас, — повторил он. «Вот как, оказывается, молоденькие девушки лишаются невинности», — сказал он себе. Только эта мысль стучала у него в мозгу. Других не возникало. Хотя голова была ясной и работала трезво, четко.

В боковом кармане он нащупал ключ. Не спеша подошел к двери, запер. Для надежности — он и это сообразил — задвинул защелку, чтобы не открыли снаружи. Потом снял пиджак, повесил на стул. Развязал галстук. Сбросил верхнюю одежду…

Гульшат продолжала стоять на прежнем месте

неподвижно, словно окаменев. Комбинация на ней была короткая, намного выше колен, — белея в полумраке, она окутывала девушку легким, призрачным облачком, внутри которого все было загадка и тайна…

— Ты озябла?.. — спросил он. Гульшат не ответила. Она как будто лишилась и дара речи, и воли, подчинившись власти какой-то неведомой силы, подавленная ею. Так же молча, покорно опустилась она на постель…

До сих пор одежда мешала ему почувствовать, какая у нее гладкая, прохладная кожа… Руки его жадно ласкали маленькие девичьи груди, упругие, как еще не распустившийся цветочный бутон, и талию, такую тонкую, гибкую, и округлые бедра, горячие, опалявшие огнем, — все ее юное, трепетное, доверчивое тело. «Вот как лишаются девушки невинности… — вновь мелькнуло у него. — До чего же все просто, примитивно в жизни… Или… Почему она так легко уступила, согласилась?..»

Затихнув, она лежала у него в объятиях, словно плыла, бездумно отдавалась медленному течению, и оно, сладко баюкая, увлекало ее в пучину гибельного водоворота… Вдруг она вздрогнула, как от ожога. Вздрогнула, напряглась и резко

отбросила его руку, скользившую ниже, ниже… Так сбрасывают с тела ядовитую змею. Спустя мгновенье она, казалось, опять успокоилась, ослабела, приникла к нему, подчиняясь его ласке, его власти… Но потом повторилось то же самое.

Его смутил и охладил этот неожиданный отпор. Они лежали рядом, с трудом переводя дыхание. Чуть погодя, он возобновил свои попытки. Она, словно обессилев, уже не сопротивлялась им, только отвернулась к стене лицом — и внезапно разрыдалась. Она плакала громко, безудержно, уткнувшись лицом в ладони.

Едиге растерялся, не зная, что делать. Он чувствовал, как на его спине выступила холодная испарина.

«Какое я животное, — в отчаянии подумал он, безуспешно пытаясь ее успокоить. — Животное, самое обыкновенное, только двуногое… Ведь она такая чистая, просто ребенок… И ты… ты… старый кобель, хочешь замутить этот прозрачный родничок… Испоганить эту чистоту… И после всего этого еще считаешь себя Человеком?.. Прости, моя любовь, за то, что я мог так грязно подумать о тебе!.. Прости за все!..»

Наконец, он добился того, что она перестала плакать. Но всхлипывала еще долго — тихонько,

едва слышно.

— Прости… Я больше тебя не трону…

— А?.. — Она, казалось, не расслышала его слов. Или не поняла.

— Давай полежим просто так, — сказал он. — Я не сделаю тебе плохо, не бойся меня…

Она в последний раз всхлипнула.

— Придвинься поближе.

Она пододвинулась.

— Обними меня.

Она обняла.

— Ты больше на меня не сердишься?

Она прижалась к нему, положила голову на грудь.

21

В то время, когда юная душа погибшего в поединке Темир-Буки, не торопясь занять уготованное для нее в раю место, летала в горестном отчаянии над укрытым покрывалом ночи полем брани, где громоздились тысячи окровавленных тел собратьев батыра и тысячи — вперемешку с ними — изрубленных трупов его врагов, — в это самое время, предвидя, что решающая битва наступит завтра, оба стана уже вернулись в свои лагеря, чтобы приготовиться к новой сече. Дивились горделивые кипчаки, что народ, смирный и робкий, известный скорее трудолюбием своих земледельцев, чем доблестью воинов, народ, испокон веков предпочитавший низкорослого жилистого ишака неутомимому в скачке коню, — что этот народ неожиданно выступил в поход. И мало того — войско его сумело устоять перед натиском всесокрушающей конной лавины!..

Кипчакские воины дали отдых своим коням, предварительно покормив их кусочками курдючного сала, восстанавливающего силы, а сами, затянув у себя на поясе конец конского повода, улеглись, чтобы взбодрить усталые тела ко-

ротким сном. Никто не сомневался, что завтра удастся завершить начатое сегодня и нагрянувший недруг будет сломлен и отброшен далеко с берегов великой реки, за пределы родной земли.

Между тем вражеское войско приступило к постройке укреплений. Пешие воины-сарбазы за ночь выкопали глубокий ров. Над ним, с внутренней стороны, поднялись туры — боевые башни, способные надежно укрыть стрелков из лука. Преграждая путь стремительной коннице, повсюду щетинились ежи-араны, связанные из коротких, заостренных с обоих концов бревен. Там, где их не хватило, между вбитыми в землю кольями натянули конопляные арканы. С флангов, на случай обходного маневра, из конских туш и человеческих трупов, сложенных рядами, воздвигли защитную стену.

Но, несмотря на все это, не было веры в победу. Над уснувшим полем битвы, казалось, по-прежнему реяли воинственные клики, стучали боевые барабаны, окованные железом палицы яростных в сражении кипчаков сеяли смерть… И уже закончив сооружать оборонительный вал, устало рухнув на землю, вражеские воины не смыкали глаз и молили аллаха о помощи, глядя в черное, чужое небо.

Их предводитель знал, что бой предстоит нелегкий. Но, задумывая этот поход, он все обдумал, все взвесил. И не меньше, чем в силу своего войска, верил своей удаче, своей счастливой судьбе, которая возвысит и вознесет его над всем миром.

С тех пор как захватил он власть над страной и народом, еще ни разу не лишал его аллах своего покровительства. Но вчера… Только ночь, он чувствовал, спасла его от поражения. Помедли еще солнце в небе, не покройся земля густым мраком… Он не обманывал себя. И сознание опасности обостряло его ум, удесятеряло хитрость и коварство.

Перед походом он собирал различные сведения о противнике, засылал в его войско своих людей. Немало услуг ему оказывали также и разбойники, промышлявшие на караванных тропах, и прямые предатели, за недорогую плату продающие совесть. Настало время пустить в ход и это оружие…

Он отправил в стан кипчаков испытанного лазутчика, изощренного в хитром деле измены, и приставил к нему молодого нукера, который сумел бы всего добиться умом и храбрым сердцем, не будь он сыном простолюдина. Им было велено пробраться в шатер Акмырзы-бека, немало лет

мечтавшего стать правителем кипчаков и поджидавшего лишь удобного случая…

Жизнь и смерть тысяч и тысяч людей, которые должны были на рассвете ринуться друг на друга с громовым кличем, во многом сейчас зависели от этих двоих посланцев. И судьба обоих народов, не сумевших остаться братьями перед лицом врагов, грозящих им изо всех четырех углов мира, и счастье родной земли — все находилось теперь в руках молодого нукера и хитроумного старика, способного, как говорится, даже с голой кости наскрести мясо для сытного обеда…

И взошло солнце, но, похоже, не на востоке оно родилось и не на юге, а на севере. Тяжело поднималось оно, алое от крови, будто кто-то еле вытолкнул его за черту горизонта. Увидев его восход, предвещавший недоброе, взмыла к небесам душа юного Темир-Буки, стеная и плача. Там, на седьмом небесном этаже, у порога рая летела она встретить души своих братьев, которым предстояло в тот день изойти кровью и обняться с черной землей.

Когда солнце приблизилось к зениту, ряды враждебного кипчакам войска, утомленного вчерашним сражением и не отдохнувшего за ночь, стали редеть. И те, в чью грудь не впились

еще каленые стрелы, в чье тело еще не врубился острый клинок, уже дрогнули сердцем. Глубокий ров и боевые башни, врытые в землю колья и туго натянутые арканы — ничто не могло сдержать могучего напора кипчаков. Вот-вот — и враг ударится в бегство… Но случилось то, чего никто не ждал.

Самый центр кипчакского войска, тумены, сражавшиеся под началом темника Акмырзы-бека, по его приказу повернули вспять своих коней. В спину бегущим ударили свежие отряды старшего сына Завоевателя. До сих пор они стояли в резерве, обнажив клинки, выжидая момента, чтобы пустить их в дело. Теперь они-то и врубились в самую гущу кипчаков.

К заходу солнца всем полем битвы, красным от крови, поглотившим за два дня неисчислимое множество жизней, овладело вконец обессилевшее, наполовину уничтоженное, но торжествующее победу войско чужеземцев.

Завоевателю оставалось довершить начатое: разорить лишенную защитников страну, сжечь хлебородные поля, вытоптать луга, разрушить зимовки, стереть с лица земли процветающие города; детей, которые завтра, окрепнув, сядут в седло, чтобы сразиться с врагом, — истребить;

женщин, способных родить новых воинов, — истребить; всех непокорных — истребить; даже имя страны, с давних времен существовавшей на этих бескрайних просторах, предать забвенью…

22

Он чувствовал себя так, будто у него за спиной, на месте лопаток, выросли мощные крылья. Он парил в небесах, и любая даль открывалась его взору… С Гульшат они пару раз встретились в библиотеке, и то случайно. Не до нее было. За какие-нибудь две-три недели Едиге дописал роман, основные, заключительные главы. Оставался небольшой эпилог.

Он гордился собой, так гордился — первое время! Еще бы, исписано столько страниц!.. Но взялся править, дорабатывать, переписывать набело — и восторги его погасли. Роман ему нравился все меньше и меньше. Хотя он работал над ним три года, хотя вложил в него все сердце, всю душу и нервы!.. Сейчас ему было видно, как много в нем поверхностно написанных кусков, плохо скомпонованных, непродуманных. И язык — то не в меру цветистый, то сухой и неуклюжий. Однако главная беда состояла не в том. Роману не хватало чего-то самого важного, самого существенного… Чего же?

Шло время, сомнения не покидали Едиге. Беспокойство, вначале смутное, то появлявшееся, то

исчезавшее, превратилось в постоянную неудовлетворенность: она грызла, как червь, лишала уверенности в себе.

Он чувствовал, что уперся в тупик, из которого нелегко найти выход. Нужно было подождать, пока все внутри уляжется, успокоится — и тогда, возможно, все прояснится само собой.

Рукопись в пятьсот страниц уместилась в одном из углов чемодана, задвинутого под койку. Едиге и сам не знал, на какой срок она там очутилась.

23

— Что, Едиге, всю библиотеку перечитал и домой решил вернуться? — От Кенжека, его старенького коричневого пальто и облезлой каракулевой шапки, так и дохнуло уличной стужей. Кончик носа у него был малиновый, щеки побелели. Видно, ему хотелось улыбнуться, но кожа на лице задубела от мороза и, твердая, как кора, не давала толстым губам растянуться во всю ширь. Зато голубоватые глаза Кенжека сияли и смеялись.

Едиге читал у себя в постели, опираясь на подушку спиной и натянув одеяло до подбородка. Он ничего не ответил, только хмуро покосился на Кенжека.

— Ойбай-ау, какая сегодня холодина... — Кенжек постукал ногой о ногу, промерзшие ботинки при этом заскрипели. Он стащил с негнущихся пальцев свои видавшие виды, истончавшие перчатки, подышал на руки и начал торопливо раздеваться. — Растопить бы сейчас печку, да так, чтоб гудела, и сидеть себе, попивать чаек. О чем еще мечтать аульному казаху?..

— Ты романтик, Кенжек, — поморщился Еди-

ге. — Зря вас, математиков, считают реалистами… Думаешь, аульные казахи только и делают в эту пору, что чаи распивают? Как бы не так! Все, кроме беспомощных стариков и детей, возле своих отар. Шесть месяцев зимы — шесть месяцев тревог и хлопот.

— Да ты не в духе сегодня, — сказал Кенжек. — Опять захандрил? Нет, брат, хандра — это для нас роскошь. Это для тех, у кого богатые родители и много денег. А у меня с утра кусочка во рту не было. Только по дороге в общежитие проглотил в буфете одно яичко да запил стаканом кофе. Зато, как видишь, бодр и счастлив…

— Тебе одолжить? — Едиге только теперь прервал чтение и положил книгу на грудь, не закрывая, вверх переплетом. — Сколько?

— Деньги у меня есть, — буркнул Кенжек. — Просто некогда было. — Потирая застывшие щеки, он присел к столу и нахохлился.

— Ведь я в долг даю, — сказал Едиге.

— Не нужно.

— И торопить не буду. Хочешь — на год бери, хочешь — на полтора. Вернешь, когда кандидатом станешь.

— Спасибо, дружище. Только в жизни, знаешь ли, самое лучшее — не ходить в должниках.

— Ну и гордыня! Прямо как у испанского гранда… Слушай, тогда, может быть, сделаем иначе? Я тебе под проценты деньги стану ссужать. Как папаша Гобсек…

— Что еще за Гобсек?

— Жил в Париже такой ростовщик. Полтораста лет назад.

— Ишь ты… До чего ты много знаешь… — Он подсел к Едиге на край кровати. — Я тоже когда-нибудь все это прочитаю. Что у тебя? «Индонезия обвиняет»… А еще есть — «Я обвиняю». Только не помню, кто написал.

— Эмиль Золя.

— Да, правильно, Эмиль Золя… Дело Дрейфуса. «Я обвиняю!» Вот был настоящий человек, а? Гражданин?.. Золя! Как он замахнулся-то, а?..

— Это еще как посмотреть, — усмехнулся Едиге.

— То есть — что значит «как посмотреть»?..

— Да то вот и значит.

— Интересно ты говоришь, дружище. Разве тут не самое настоящее гражданское мужество, о котором любят рассуждать и критики, и литераторы?..

— Гражданское?.. Мужество?..

— Не пойму я тебя…

— А ты постарайся. — Едиге подтянулся на койке повыше, сел. — Сам подумай; Сколько слез и крови тогда лилось на земле! Гибли целые народы, существовавшие долгие века, тысячелетия, создавшие свою культуру, искусство, внесшие свой вклад в мировую цивилизацию… Гибли, исчезали с лица земли… Или прозябали в угнетении и рабстве, презираемые, забитые… И в это самое время человек, именуемый гением, провидцем, духовным вождем эпохи, возглашает: «Я обвиняю!.. Я не согласен!.. Я протестую!..» Что же его так возмутило, так затронуло его гражданскую честь, совесть?.. Да то, что в одной стране одного человека приговорили к смертной казни! Скажи, чем тут восхищаться?..

— Что же, по-твоему, следовало допустить, чтобы казнили Дрейфуса?

— Нет, конечно. Это неправильно, что Дрейфуса приговорили, хотели казнить… Кто невиновен, того нужно оправдать, спасти ему жизнь. Я о другом. Почему, когда гибнет один человек, нужно кричать на весь мир: «Я не согласен! Я обвиняю!..» — и помалкивать, если речь идет о судьбе народов?.. Один человек — это прутик, народ — густая роща…

— У тебя скверное-настроение, ты злишься — и

сам себе противоречишь, — сказал Кенжек. — Роща, прутики… А, например, Сакко и Ванцетти? Они, по-твоему, тоже были «прутики»?..

— Это другое дело, тут классовая борьба.

— А Джамиля Бухиред? Что ты о ней скажешь?

— Красивая девушка…

— Не увиливай.

— Ты толкуешь о частностях, а я говорю об истории.

— Что же отсюда следует?

— Что история — это история. В ней решают не личности, а народы.

— Между прочим, удобная позиция для такой «личности», которая хочет остаться «над схваткой»!.. Или ты, может быть, задумал устроить мне еще один экзамен по философии? Конечно, я сдавал минимум раньше, ты позже, но тут меня не подловишь! Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, как и мне, и тебе известно. А это значит, что личность, связанная со своим временем, жизнью страны, народа, не имеет права…

— Стоп! — Едиге поднял руки. — Сдаюсь.

— Ну, то-то же. — Кенжек удовлетворенно хмыкнул. — Есть, милый мой, такая штука на свете: логика!.. В чем-то ты прав, но только до тех пор, пока не нарушил закон логики. В ней ты не

очень силен. Мы, математики…

— Все, я молчу, — сказал Едиге. — Боюсь окончательно испортить тебе настроение, ведь оно, кажется, у тебя сегодня хорошее.

— Верно. — Поднявшись со стула, Кенжек прошелся по комнате, словно измеряя ее длину своими крупными, размашистыми шагами. — Сегодня поставлена последняя точка в докторской диссертации моего руководителя.

— Поздравляю! — сказал Едиге. — Такое дело стоит обмыть. Не зря появилась поговорка: «Защищает не аспирант, а его руководитель». Ты, конечно, и сам защитишься, но авторитетный руководитель — тоже неплохо.

— Неплохо, — повторил, улыбаясь, Кенжек. И подергал за кончик чуба, свисающего на лоб, как делал обычно, если был чем-то взбудоражен. — Неплохо… Теперь, наконец, я освободился. Теперь-то, дружище Едиге, и я приступлю к сбору материала для кандидатской.

— К чему приступишь?..

— К своей кандидатской, к чему же еще?

Едиге, сбросив рывком одеяло, сел, свесил ноги с кровати.

— Значит, все это время…

— Ну, а чем же я, по-твоему, занимался? Надо

было помочь…

Едиге вскочил, бухнул в пол голыми пятками.

— Ты не шутишь?

— Какие тут шутки!.. Я правду говорю. Иначе бы ему не закончить в такие сроки.

— Ну и черт с ним!.. — взорвался Едиге. — И черт с ним, что не закончит!.. Что тебе-то за дело?..

Кенжек стоял, зажав чуб между средним и указательным пальцами, не двигаясь, исподлобья наблюдая за Едиге и недоумевая, с чего это его друг так разгорячился?..

— Конечно, ты прав, — кивнул он. И, потирая руки, как продрогший в стужу человек, снова принялся вышагивать вдоль комнаты. — Никто меня не заставлял. Я мог бы и не согласиться… Но такой хороший, просто замечательный человек… И так упрашивал, хотя ведь старше меня намного… Ну, разве тут откажешь?..

— Ладно, пускай он трижды замечательный! Но ты-то?.. Ты кто — его слуга? Ты корпел-корпел, а теперь твою работу он выдаст за собственное открытие?..

— Видишь ли, для науки главное — открытие. А кто его сделал — вопрос или второстепенный, или вообще не имеющий значения.

— Только сейчас я увидел, кто ты, — сказал

Едиге. Он взмахнул рукой и расслабленно рухнул на стул. — Ты балда! Самый настоящий балда! Где твоя научная гордость? Где личность — ты ведь про нее тут все разглагольствовал!.. Писать кому-то докторскую, не защитив даже кандидатской!

— Ты не совсем точно меня понял, — виновато улыбнулся Кенжек. — Я ведь не целиком диссертацию… Я из трех глав две только подготовил…

— И зря. Уж если взялся, надо было все сделать самому! — съязвил Едиге.

24

Ему все надоело. Надоело писать, выводя на бумаге бесконечные цепочки бисерных значков — и не чернилами, разведенными водой, а соком мыслей, разбавленным кровью… Надоела наука, ее мелочное копание в прошлом — так роются в пыли, месят глину и ворочают камни, потому что когда-то в древние времена где-то здесь останавливались на ночлег наши далекие предки, и теперь на этом месте можно, если повезет, обнаружить проржавевший наконечник стрелы… Все надоело. Ходить, двигаться, слушать, говорить. С утра до вечера валялся в постели, выходил из общежития только пообедать.

За последние два-три года у Едиге скопилось немало книг, которые он или совсем не прочел, или успел пробежать наспех. Здесь были романы классиков, жизнеописания великих людей в серии ЖЗЛ, историческая литература. Едиге взялся за чтение. Бальзак его не взволновал, Марк Твен не развеселил; исполины мысли, их энергия и великие деяния угнетали его; невольно сравнивая себя с ними, он ужасался, чувствуя собственное убожество. Геродот, Плутарх и Тацит

утверждали, что в мире ничто не вечно, с лица земли исчезают бесследно и малые народы, и могущественнейшие империи… Он взялся — в который раз — за «Фауста». Перечитал, сравнивая немецкий оригинал с переводом Пастернака. Он снова и снова возвращался к отдельным страницам. В нем что-то распрямилось, воспрянуло, он словно вышел из душной темной комнаты на вольный простор, где сияло солнце. Нет, если ты истинный писатель, если твоя жизнь наполнена великим смыслом, ты ни перед чем не склонишь головы, в любой беде останешься счастливейшим из смертных — ведь все мироздание вмещается в твоем сердце… Едиге думал об Овидии, который провел долгие годы на берегу Понта Эвксинского, думал о Пушкине, изгнанном в Михайловское… Потом вновь нападала тупая тоска. Он лежал часами, без движения, уставясь в потолок. Равнодушный, безучастный ко всему на свете.

Как-то под вечер пришла Гульшат. Что случилось, не болен ли он?.. Его нигде не видно… Нет, все в порядке, он здоров. Здоров телом и крепок духом. Как никогда. Оптимизма и бодрости у него — хоть отбавляй. Да, да. Кстати, известно ли Гульшат, что Едиге — человек необычный и его ждет большое будущее? Ну, как же, как же…

А что Едиге замечательный писатель? Выдающийся ученый?.. Она и этого не знает?.. В чем же дело? Как же так, все это знают, а она, его любимая, не знает?.. Ну, не беда. В ближайшие годы его звезда засияет в небе. О, какие появятся произведения в казахской литературе!.. Какой художественной мощи! Они бы поразили Толстого, потрясли Хемингуэя. Да, да! В конце двадцатого века казахский роман покорит весь мир, как в девятнадцатом русский — всю Европу. Известно ли Гульшат, что сказал однажды Бальзак? Он сказал: «Своим гусиным пером я подчинил Франции те народы, которые Наполеон не смог завоевать силой оружия». Что-то вроде этого… Казахи — народ небольшой, но у них есть Едиге. И не надо смеяться, не надо смеяться! Перед нею, на скрипучей железной койке, лежит, вытянувшись во весь рост, этот самый человек. Он не хвастается, он говорит правду. Что успели совершить к двадцати трем годам… — Кстати, сегодня у него день рожденья, виноват, забыл предупредить. Впрочем, что тут особенного, каждому однажды в жизни исполняется двадцать три года… — Итак, что успел совершить к двадцати трем годам тот же Толстой?.. А Стендаль?.. А Бальзак?.. Никто из них… Да, Лермонтов… Но у поэтов так оно и

случается, они рано расцветают и рано, опадают. Он сам говорил: «Я раньше начал, кончу ране...» И еще: «В моей груди, как в океане, надежд разбитых груз лежит». Так он закончил стихотворение, которое начинается словами: «Нет, я не Байрон, я другой...» Лермонтов, понятно, мне ближе иного казаха, однако я и не Лермонтов, я другой... Пока — никто. Пока — просто Едиге. Хотя двадцать три, ясное дело, это уже солидный возраст. Можно было кое-что успеть. Но у меня свои взгляды на искусство. Сколько тренировок нужно спортсменам, чтобы пробежать каких-то сто метров! Ну, а для марафона, того самого, в сорок два километра сто девяносто с чем-то метров? Искусство — тоже марафон, только в тысячи, миллионы километров. Он будет продолжен после смерти твоей душой, то есть твоими произведениями. Кто сможет его выдержать? Чей дух вынесет подобное испытание? Были, были такие. Среди русских, немцев, англичан, французов. А среди казахов?.. Но не зря же я родился! Во мне течет кровь кочевников эпохи Ельтериса, Естеми, Куль-Тегина. Ты слышала о Кула-Шоре?.. Не слышала... Так вот он — это и есть я...

Вначале Гульшат озадачивала и забавляла болтовня Едиге, смешило его ироническое бахваль-

ство, но потом ей стало скучно. Она запуталась и не могла различить, где он шутит, издевается над собой, где за острословием скрыто что-то серьезное. Она отвернулась к окну, сохраняя позу, которую приняла с первой минуты: стояла перед кроватью, облокотившись о спинку стула.

Едиге несло.

— Загляни в историю, и тебе будут ясны и сила, и слабости твоих соплеменников. И если хочешь понять, почему мы так долго оставались в хвосте кочевья… Впрочем, тут длинный разговор, я назову тебе лишь одну причину. Фурье много писал о роли женщины в обществе, о том, что помимо различных других факторов именно от женщины зависит духовный, нравственный облик народа… Вспомни декабристок. Да, на Сенатской площади их не было, но то, что они совершили, — тоже подвиг! Подумай только — по своей воле бросить все — роскошные дворцы, поместья, титулы, оставить родителей, даже собственных детей, — от всего отказаться и навсегда — навсегда! — отправиться в Сибирь, вслед за своими мужьями!.. Разве это не подвиг, да еще в то жестокое время?.. Подвиг — во имя любви! Любви-долга, любви-понимания… Какие высокие чувства, великие сердца!.. И немного

спустя — сколько женщин-революционерок, народоволок — эшафоты, тюремные казематы — ничто их не страшило…

— Да, — сказала Гульшат, — да, конечно… — Она смотрела в окно. — Какой снег пошел… Валит хлопьями, крупными, пушистыми… Белый-белый. Точь-в-точь, как тогда…

Голос у нее был задумчивый, грустный.

Едиге усмехнулся.

— Ты не слушаешь?.. А я хочу сказать, что гляжу я у нас в университете на студенток, твоих сверстниц… Таких современных девушек, у которых и модные прически, и маникюр, и все такое, хоть сейчас в Париж, на всемирный конкурс красоты… Гляжу и думаю… — Он пронзил Гульшат выразительным взглядом. — И думаю: до чего же узок у них кругозор, убоги мысли, стремления! Говорят о любви, она у них чуть ли не главная в жизни забота, но разве сумеют они любить?.. Или для них любовь — это что-то совсем иное?.. Но тогда не лучше ли подыскать другое слово?.. Культура, образование, духовное богатство нашего народа — все верно, все так, да они-то?.. Что у них есть за душой? Крашеные ноготки?.. Чувствуют они, в какую эпоху живут, чего она требует от каждого из нас?..

— Пройтись бы сейчас, прогуляться по улице, — сказала Гульшат. — Пока снег идет…

— Знаешь, — сказал Едиге, — иногда мне кажется, что я все вижу, все понимаю… А потом вдруг становится ясно, что я слеп и глуп, и в голове у меня не мозги, а какая-то жидкая каша. — Он глубоко вздохнул, набрал полную грудь и выпустил воздух — медленно, с присвистом. Он думал еще что-то сказать, но посмотрел на Гульшат — и оборвал свою и без того длинную тираду.

Слышала ли она, о чем говорил он до сих пор?..

Едиге потянулся, упершись ногами в прутья железной кроватной спинки. Расшатанная койка под ним заскрежетала, застонала.

— Давай сходим на каток. — сказала Гульшат. — Этой зимой я еще ни разу на коньках не каталась. Взять бы сейчас, одеться — и пойти, а?..

— В моем-то возрасте бегать по каткам?.. — ухмыльнулся Едиге желчно. — Это мальчишкой, бывало, прикрутишь ремешками коньки к валенкам — и поминай как звали, до самой ночи тебя не дозовутся… Теперь не то. Старость, болезни… Одряхлевшему телу трудно покинуть теплую постель.

Гульшат поджала губы.

— Там не одни мальчики… Взрослые люди, и те

катаются… Даже пожилые… И старики.

— Наверное, сплошь тунеядцы-бездельники или пенсионеры. — Он зевнул нарочито громко.

Гульшат оттолкнула стул, на который до того опиралась, — выпрямилась, В коротком, быстром взгляде, брошенном на Едиге, вспыхнула обида, оскорбленная гордость. Прежде он ничего такого не замечал в ней… Он замолк. Пожалуй, он зашел слишком далеко… Он хотел тут же извиниться за свои шутки, но Гульшат, все такая же прямая, с высоко вскинутой головой, уже направилась к двери. Он увидел только ее спину. Не обернувшись на его голос, она вышла.

Однако минут через десять в дверь постучали.

— Войдите, — крикнул Едиге.

Скрипнув, дверь приоткрылась, в узенькую щелку впорхнул сложенный вчетверо листок. Из коридора донеслись торопливые удаляющиеся шаги.

— Что за чушь, — подумал Едиге. — Так пираты вручали «черную метку»…

«Мой (?) мальчик!

Ты ведь знаешь, какая я глупая и… как я тебя люблю. Почему же ты все время смеешься надо мной? Или уже разоча-

ровался?

Если считаешь, что я не достойна внимания, скажи мне об этом прямо. Я не буду просить милостыни.

Твоя (пока ты меня любишь) девочка».

Едиге дважды перечитал записку. — «Это называется — «первое серьезное предупреждение», — поморщился он. — Придется отступить, поднять руки». Он почувствовал тревогу. Какое-то смутное подозрение укололо его в сердце и продолжало покалывать, как ни старался он сохранить прежнее ироническое спокойствие. Оно плохо защищало.

Он вскочил, умылся, пригладил волосы и поднялся на четвертый этаж, туда, где находилась комната Гульшат.

Ушла на каток, сказали ему. Только что. Одна, никого с ней не видели…

25

Снег превратился в мелкую крупу. Она секла, обжигала лицо, сухая, колючая. Сквозь низкие тучи то проблеснут на мгновение звездочки, редкие, тусклые, то пропадут, скроются в рваных клочьях…

Едиге, глубоко вдыхая острый холодный воздух, не сразу понял, что идет по направлению к университетскому стадиону, который на зиму превращался в каток. «В самом деле, отчего бы не заглянуть? — подумал он. — Что тут такого? Может, и мне пришло в голову прокатиться на коньках…»

За дощатой оградой слышались звуки музыки, легкие, стремительные, эхо которых, отраженное льдом, пронизывало воздух над стадионом искристым весельем. Обрывки голосов, беспечный смех, восклицания были перемешаны с шарканьем и скрипеньем режущих лед коньков.

В кассе — пристроившейся возле ворот фанерной будочке, разрисованной бородатыми гномами, — Едиге за десять копеек получил билет и у входа столкнулся с двумя девушками в синих спортивных костюмах, с коньками под мышкой.

Тонкое трико плотно, даже с некоторым вызовом, обтягивало их стройные, гибкие тела, подчеркивая каждую линию. Со словами: «Дайте дорогу!.. Посторонитесь!..» — они опередили Едиге. Одна из них зацепила его локтем. Проскочив вперед, обе девушки разом оглянулись, стрельнули глазами и рассмеялись.

За шесть лет жизни в городе так и не видевший катка Едиге чувствовал, что попал на вальпургиеву ночь в последнем акте «Фауста».

Огромное ледяное поле кишело людьми. В глазах рябило от пестроты костюмов — голубых и оранжевых, красных и желтых, с полосками, без полосок, в змейках огнистых «молний», в переливчатом блистанье снежной и ледяной пыли. Кого здесь только не было!.. Одни плавно скользили, словно плыли, сомкнув пальцы за спиной. Другие летели, взмахивая поочередно руками, похожие на лучистые звезды. Третьи катались парами, в обнимку, или, ухватив друг друга за пояс и в лад отталкиваясь ногами, вытягивались длиннейшей цепочкой, на манер товарного состава, идущего порожняком. Но в одиночку ли, по двое или целыми группами, все неслись в одну сторону, мчались по кругу, и постепенно начинало казаться, что не люди, а сам стадион

кружится, словно гигантская пластинка.



Стоя в сторонке, Едиге думал, что здесь и в самом деле, как на Брокене, попахивает чертовщиной. Например, эти пестрые, облегающие тело костюмы — для защиты от холода они предназначены или для того, чтобы, сохраняя внешнюю пристойность, являться друг другу в соблазнительной наготе?.. А приличия, скромность, которые сохраняются даже на пляже, где всю одежду заменяют узенькие, чуть не в два пальца, лоскутки?.. Уж на что вольно ведут себя на студенческих вечерах, где считается вполне естественным, когда парень может пригласить девушку, знакомую или совершенно незнакомую, и потом, танцуя, обнимать ее, прижимать к груди… Но все это — образцы старозаветного целомудрия в сравнении с гем, что можно увидеть здесь. Не важно, согласна ли девушка, умеет ли она кататься или едва стоит на льду, — если у нее стройная фигурка и нет поблизости своего парня, она тут же окажется в положении козленка для кокпара:[9] каждый сорвиголова из тех, что носятся вокруг метеорами, вправе подхватить ее и умчать с собой. А сами девушки? Они протестуют, возмущаются?.. Не

[9] Примечания: 9

Кокпар — национальная конная игра, смысл которой заключается в том, чтобы отобрать у соперников козла и доскакать с ним до финиша.

заметно. Иная рванется, чтобы высвободиться из бесцеремонных объятий, но — и только… А потом? Они познакомятся, встретятся — завтра, послезавтра?.. Едиге выделил в толпе двух-трех рослых, красиво одетых ребят, быстрых и ловких, как молодые дьяволы. Описывая очередной круг, они всякий раз появлялись, обхватив за плечи новую девушку…

Едиге, наблюдавший за тем, что творилось на льду, вскоре почувствовал, что ноги у него замерзли, а стрелки на часах подбираются к девяти. Гульшат в крутящейся перед ним сумасшедшей карусели не было видно, и ждать ее дальше не имело смысла. «Зачем я пришел?.. — подумал Едиге. — Получается, что я за ней шпионю…» У него больше не было причин задерживаться, к тому же, хоть он и не испытывал голода, следовало завернуть куда-нибудь, поужинать перед сном, через тридцать-сорок минут в столовые уже прекратят впускать посетителей.

На ближайшей к стадиону остановке он довольно долго дожидался трамвая. Тем временем скопилось много людей, в основном тех, кто возвращался с катка. Едиге решил, что сядет на следующей остановке, и отправился до нее пешком. Трамвай, разумеется, обогнал его, когда

Едиге находился как раз посредине пути. Он усмехнулся, свернул на Узбекскую улицу и зашагал к общежитию. Он уже забыл о столовой.

Первым делом он постучался в комнату Гульшат. Нет, она еще не возвращалась… Он пришел к себе, кинулся на кровать, уткнулся глазами в Гейне, «Книгу песен». Однако так и не перевернул ни страницы.

Через полчаса Едиге снова решил подняться на четвертый этаж, но, выйдя в коридор, он вдруг напоролся на Бердибека. Давненько не встречались… Бердибек даже успел отпустить узенькие кавказские усики. В сочетании с крупным носом, украшенным горбинкой, они придавали его лицу мужественное, горделивое выражение. Ну, просто удалец-молодец! Джигит! Горный орел!.. Да еще и в спортивном костюме, в шапочке с помпончиком, и в руке болтаются связанные шнурками коньки — картинка! Щеки румяные, так и пышут сытостью, силой, здоровьем… Едиге хотел миновать его, не задерживаясь, но Бердибек перегородил коридор. Мало того, раскинул руки, бросился обнимать — коньки взлетели чуть не к потолку.

— Как жизнь, батыр?.. — В лицо Едиге пахнуло холодом улицы. — В тот раз ты ушел, обиделся

на меня. Потом я догадался — было за что… Но скоро я опять вас всех соберу. Только вот еще один минимум сдам!..

— Богатая мысль, — сказал Едиге, — Благодарю за внимание. — Он попытался освободиться, но Бердибек продолжал стискивать плечи Едиге своими лапищами.

— Ты, значит, еще в обиде?.. — сказал он, искательно заглядывая Едиге в глаза. — Ты прав, прав… Я виноват перед тобой. — «Да в чем же виноват?..» — слабо поморщился Едиге, испытывая непонятное и острое отвращение к этому человеку, сжимавшему его в объятиях. Ему хотелось вырваться из них и уйти, но он не мог во второй раз — и теперь без всякого повода — обидеть Бердибека.

— Я виноват, — продолжал Бердибек. — Ты не думай, будто я не вижу… Я тебя уважаю. Хотя ты и смотришь на всех сверху вниз… Ничего, в твоем возрасте мы тоже были такими… Это пройдет. Видишь, я все понимаю. И потому ты мне все равно друг.

— Я очень ценю, — сказал Едиге.

— Мы — люди науки, — сказал Бердибек. — «Черта с два?..» — чуть не вырвалось у Едиге. — Мы — люди науки. Наука — вот наше будущее,

вот наша жизнь. А остальное — жратва, тряпки, девчонки — это для других, нам по таким пустякам ссориться не к чему. Ссориться, злиться друг на друга… Это не для серьезных людей. Как ты думаешь?

— Я думаю, что ты человек серьезный и все понимаешь правильно, — сказал Едиге.

— Ну, вот, и давно бы, — сказал Бердибек, снова обнимая Едиге. — Уж мы-то с тобой всегда общий язык найдем, верно?

…Гульшат только-только вернулась и едва успела переодеться. Лицо ее было еще розовым с мороза, и глаза — как черные угольки… Он боялся, что она не захочет с ним разговаривать, не выйдет к нему, как раньше… Но она встретила Едиге как ни в чем не бывало. На катке ей понравилось, даже очень, и погода — просто чудо, и вообще давно она так не веселилась, одно досадно — штанину на брюках порвала, когда упала… На каком катке? Это секрет. Нет, не на университетском стадионе, конечно, стала бы она туда ходить… И не к чему было ее искать, зря тратить драгоценное время, тем более — на коньках он не катается… Не искал? И хорошо. Все равно бы не нашел. Она собирается в следующее воскресенье в горы, на лыжах кататься, — ин-

тересно, в каком ущелье Алатау он станет ее разыскивать?.. Напрасное занятие. Вот вместе бы пойти — другое дело… Много времени?.. Ну, что же, его никто не принуждает… Ему виднее, как использовать свое время… Кстати, сегодня познакомилась с одним парнем, он такой… Что? Не смеет?.. Это еще почему? Вот новости!.. Захочет — и не с одним парнем, а с целым десятком познакомится! Он-то сам раньше гулял, сколько у него было девушек?.. Нет, вовсе она не портится. Взрослеет, ума набирается, вот и все. Она уже не ребенок, летом ей восемнадцать стукнет, вот так!.. И что тут плохого, если он красивый, да… И умный, и образованный… Это ведь только сам Едиге считает себя пупом земли. Если девушке кто не понравится, так ей нипочем и его ум, и образованность… Правда, тот парень, с которым она познакомилась, не выдает себя за гения, как некоторые, зато когда с ним говоришь, тебя страх не мучает — вдруг что не так, вдруг не угодила… Уже за одно это понравился, и очень… Нет-нет, ничего она не выдумывает, все так и есть… Честное-пречестное?.. Ну, ладно, она пошутила… А зачем он поверил?.. Кто любит, тот в такую чепуху не поверит. А он ее не любит, и вот еще одно доказательство… Нет, сегодня уже нет времени.

Она устала. И спать пора. Завтра? Нет, и завтра нет времени. И послезавтра, и послепослезавтра тоже нет. Надоело — и оперу слушать, и кино смотреть. Она ведь не старуха, чтобы только и знать, что… Нет. И потом — скоро зимняя сессия. Надо готовиться, она и без того боится, что экзамены завалит. Надо заниматься… И лучше будет, если он пореже станет заходить, пореже ее беспокоить… До свиданья. Нет, слишком поздно. Уже половина двенадцатого. Надо ложиться спать. И завтра. И послезавтра, ведь она уже сказала… И на будущей неделе. И через неделю. Весь месяц. Если придет, это ей помешает заниматься. Отвлечет… Не знает… Возможно, и выкроит как-нибудь время. Подумает. Кстати, все, что она сказала про того парня — правда. Спокойной ночи…

26

На следующий день Едиге позвонил профессору — пришло время ему вернуться, а если он приехал, то, возможно, уже и разыскивает Едиге.

В трубке телефона-автомата послышался ломкий, с металлическим привкусом, голос:

— Да-а! Я слушаю!..

— Мне нужен профессор Бекмухамедов… — сказал Едиге, решив, что перепутал номер.

— Я Бекмухамедов, но не профессор. К сожалению. К величайшему сожалению… И, увы, никогда не стану профессором. Хотя, по всей вероятности, это весьма приятно…

Конечно, он ошибся, не то набрал, не туда попал… Порылся в карманах, выудил еще монетку. Не спеша, без суеты набрал положенные шесть цифр.

— Слушаю вас…

Опять тот же голос.

— Простите… — Он назвал номер. — Я правильно звоню?

— Абсолютно.

— Это квартира профессора?

— Абсолют-тно… Профессора Бекмухамедова и

его сына, тоже Бекмухамедова, стыд и срам на его непутевую голову…

— Ваш отец дома?

— К величайшему… К величайшему сожалению, его нет. И его жены тоже… Я в п-полном, аб-бсолютном одиночестве. Поэтому мне скучно, и я выпил… А?.. Вы меня осуждаете?.. Что вы молчите?.. — Едиге казалось, в ноздри ему так и разит из трубки винным перегаром. — Эй, послушайте, вас как зовут?.. Вы не одолжите мне денег?.. Немного — сотню-полторы?.. Я вам верну! Очень бы меня выруч-чили… А? Нет?.. Тогда положи трубку, дурак, и не смей звонить, если ты такой нищий…

Краем уха Едиге что-то, слышал про сынка профессора — студент, не удержался ни в Москве, ни в Ленинграде, болтается теперь в Алма-Ате, кочует из института в институт. Говорили еще, будто бросил жену с ребенком… Едиге не слишком-то интересовали эти сплетни. Зато иные преподаватели с кафедры, тот же Бакен, кстати, частенько шушукались, обсуждая семейные дела профессора, и охали, ахали, винили его жену — не воспитала, не углядела за единственным сыночком… Бедная тетушка Алима! Бедный профессор! И осчастливит же бог таким золотцем! — Бакен

вздыхал, сочувствуя старикам.

Едиге так и не выяснил, между прочим, вернулся ли профессор… Но не звонить же было еще раз! При одной мысли об этом Едиге плюнул себе под ноги и направился к университету.

На кафедре он застал одного Бакена. Словно черная птица, широко распростершая крылья, восседал он за профессорским столом, занимая весь угол в глубине комнаты. Перед ним были разложены бумаги, короткие толстые пальцы сжимали красный шестигранный карандаш. И. О. — исполняющий обязанности заведующего кафедрой. Не шутка!.. Ну и жирную же холку он отрастил за три последних месяца…

— А-а, это вы, юноша… — Бакен покровительственно протянул ему руку. — А мы тут совсем вас потеряли. Где это вы бродите?..

— Поблизости, Бакен-ага.

— Поблизости?.. Помню, покойный Мухтар Ауэзов любил повторять: упаси нас бог от непризнанных Толстых и непонятых Шекспиров…

— Мухтар Ауэзов говорил немного иначе.

Бакен поморщился.

— Не будем спорить. Кому из нас двоих лучше знать Ауэзова?.. Мы изучали его не по лекциям — я имею в виду близких друзей, соратников по

общему делу… Мы беседовали, бывало, лицом к лицу, делились… Он с нами, мы с ним… — Бакен вздохнул, откинулся на спинку стула. — Да, еще не скоро появится у нас такой великий человек… Такой мастер слова! Чем больше думаешь, тем больше удивляешься, что за титаны — и Сакен Сейфуллин, и Ильяс Джансугуров, и Беимбет Майлин, и Габит Мусрепов, и Сабит Муканов — а?.. Вот оно, поколение, пришедшее в литературу с революции! Вот они, наши истинные писатели, поэты! А нынче?.. Не на кого пальцем указать…

Бакен сокрушенно развел руками, понурился.

— А вы? — сказал Едиге.

Бакен шевельнул бровями, подозрительно всматриваясь в лицо Едиге, но не уловил на нем и следа насмешки.

— Э, что там говорить о нас, — устремив глаза в потолок, произнес он. — Мы скромные, незаметные труженики науки. Разве нас знают, разве нас ценят? Даже наши имена — и то известны лишь узкому кругу специалистов. Кто услышит о тебе, если ты не писатель, которого все читают, о ком шумят?.. Пожалуй, чтобы чего-нибудь добиться, надо дожить до возраста Азь-аги.

— Здоровье у вас хорошее, — подбодрил его Едиге. — Вы и дольше проживете.

— Милый, какое там здоровье! Недавно уложили в больницу с аппендицитом, еле поднялся после операции… Никто из вас, кстати, не пришел, не проведал… Да и печень, почки, сердце — все пошаливает. В награду, так сказать, за служение науке… Будь я здоров, давно бы защитил докторскую. Но понемножку дело движется, слава богу. Вернется Азь-ага — порадую, принесу первый вариант диссертации. Жду не дождусь, когда приедет. Дней десять осталось… — Он помолчал, мечтательно зажмурился, прикрыв пухлыми веками замаслившиеся глаза, постукивая по столу карандашом. И снисходительно улыбнулся Едиге: — Будешь разумно себя вести, стараться, делать что нужно и как положено, — смотришь, и для тебя сыщется местечко в науке. Так-то, юноша…

— Вы хотели что-то сказать по поводу Толстого и Шекспира…

— А-а, да-да… Покойный Мухтар, бывало, так нам говаривал: пускай нас бог избавит от непризнанных гениев, возомнивших себя Шекспирами и Толстыми… Видно, чувствовал, мир его праху, что за поколение народилось. От спеси раздуваетесь, гордыня вас распирает. Уважение к наставникам, приличия, благовоспитанность —

где они? Порога не перешагнув, рветесь к столу, на почетное место. Мы в свое время каждое словечко старших ловили, на заботу добром старались ответить. И хуже от этого не сделались, а?.. Многое, многое вы пока не поняли, да…

— Ничего, вы нас еще всему научите…

Голос у Едиге, тонкий от злости, задрожал, сорвался. Эх, не выдержал тона! — подосадовал он.

— Вы, юноша, оставьте при себе вашу иронию! — побагровел Бакен. — Единственная ваша заслуга в том, что вы — аспирант профессора Бекмухамедова. Заморочили почтенному аксакалу голову и пользуетесь его добротой. Но найдутся люди, которые откроют ему глаза! Три месяца прошло, как он уехал, — ну-ка, чем вы занимались?..

— А я не обязан перед вами отчитываться.

— Нет, обязаны! Кто сейчас заведует кафедрой?

— Насколько мне известно, профессор Бекмухамедов. Или его уже освободили от этой должности?..

— Не пытайтесь поймать меня на слове! Вам не удастся нас поссорить, Азь-ага превосходно знает мне цену!..

— Допустим…

— На следующей неделе мы слушаем ваш от-

чет.

— О чем?

— Что вами сделано, чем вы, так сказать, обогатили науку… И откуда у вас такой гонор… Вот вы нам и расскажете!

— Кое-что я, пожалуй, сделал, — сказал Едиге, помолчав. — Кое-что… для науки… открыл… Но вы сами понимаете, кое о чем нельзя говорить раньше срока… Перед всеми. Только Азь-ага и вы должны об этом знать…

Едиге был серьезен и даже как бы подавлен отчасти значительностью того, на что пока решился лишь намекнуть. Голос его звучал таинственно и вместе с тем доверительно… Бакен, барабаня пальцами по столу, довольно долго вглядывался Едиге в лицо — подозрительно, изучающе.

— Это правда, — произнес он наконец. — Сейчас в науке развелось немало проходимцев. Не один, так другой захочет воспользоваться. Тут нужна осторожность… Азь-аге ты можешь довериться, тебе он второй отец, да ему и своей славы хватает. Я тоже не чужой для тебя, как-никак мы из одного жуза. С нами будь вполне откровенным, плохих советов от нас не услышишь.

Бакен незаметно перешел на «ты».

— Я говорю, что открыл… Да, открыл. Это

не просто научная находка — это открытие. В масштабах истории казахского народа и всех тюркских народов, больше — в масштабах всего человечества. Но боюсь, у меня не хватит сил справиться в одиночку. Здесь бы опыт и знания Азь-аги, только ведь у него хватает своих забот, и энергия уже не та…

— Что ж, если строящее дело, я готов помочь… — Бакен, склонив голову на правое плечо, смотрел на Едиге почти с нежностью.

— Я всегда верил, что у вас доброе сердце, — признался Едиге.

— Спасибо, милый…

— Так вот, — сказал Едиге, — однажды, катаясь на лыжах и охотясь на архаров… — Он говорил медленно, выделяя каждое слово паузой, как бы давая Бакену возможность все хорошенько осмыслить. — Катаясь на лыжах и охотясь на архаров… Я ведь последний месяц провел в туристическом походе, в горах Алатау… И вдруг на южном склоне Талгарского пика мне совершенно случайно удалось обнаружить странные надписи, не упоминаемые ни в одном исследовании…

— Надписи выбиты на камне?.. — Бакен всем корпусом подался вперед, налегая на стол мощными локтями.

— Да, надписи выбиты на камне. К тому же имеются следы краски, состав которой нам не известен. Я обращался к химикам, они провели лабораторный анализ…

— Лю-бо-пыт-но…

— Крайне любопытно. Самое же любопытное в том, что эти письмена не похожи ни на древнетюркские, ни на арабские. Ни на санскрит, ни тем более на латинскую, греческую или славянскую графику. Скорее тут что-то промежуточное — между древнетюркскими руническими письменами и арабским алфавитом. При тщательном исследовании я выявил именно эти элементы. А это значит, что письменность, которая применялась у казахов до революции и считается арабской… Что эта письменность, возможно, на самом-то деле и есть видоизмененная, усовершенствованная на протяжении многих веков форма древнетюркских рун…

— Погоди… — Бакен от волнения сглотнул слюну. — Повтори еще раз… Так ты полагаешь, что…

— Конечно, я могу и ошибиться, — сказал Едиге. — Не тот кругозор, не та широта мышления. Нет навыка в кропотливых исследованиях, тут вы для меня примером, Бакен-ага…

— Ты сможешь найти дорогу к этим надпи-

сям? — В голосе Бакена все слилось, перемешалось — надежда, сомнение, затаенное ликование… И страх: он еще боялся вспугнуть удачу, ему не терпелось удостовериться во всем окончательно.

— Последнюю неделю валил снег, мела поземка. В горах, говорят, прошли лавины. Но я думаю, что с пути не собьюсь…

— Где, ты сказал, находится это место?

— На южном склоне Большого Талгарского пика, на высоте трех тысяч семисот пятидесяти двух метров над уровнем моря, в ущелье Есекты, что означает — Ослиное…

Бакен подскочил, взвился, словно его укусил тарантул. Навалившись на стиснутые кулаки, он повис — над столом, над Едиге, угрожающий, как скала, готовая обрушиться и раздавить все живое.

— Я поставлю вопрос о тебе перед ректоратом! — с трудом расцепил челюсти Бакен. И грохнул кулаком так, что шестигранный карандаш, лежавший на столе, подпрыгнул и чуть не щелкнул Бакена по носу. — Если бы не Азь-ага… Я бы посмотрел… Посмотрел, как бы ты у меня вольничал!

27

При всем том, что никаких симпатий к Бакену он, разумеется, не испытывал, кое-что в его словах задело Едиге, заставило задуматься. В самом деле, с чего ему, Едиге, задаваться? Хотя бы перед тем же Бакеном? Никакого вклада в науку он пока не внес, открытий, на радость благодарным современникам и потомкам, не совершил. Дни за днями бегут бесполезно, бесцельно. А его грандиозные замыслы, благородные мечтания! Все поблекло, развеялось, ушло, как вода в песок, в серенькие будни, мелочи, пустяковые страдания… «Ты бездельник, Едиге, — сказал он себе, — ты бездельник и лодырь! Пора начать новую жизнь!»

И он начал новую жизнь…

При первом знакомстве архив не внушал ему ничего, кроме робости. Папки, папки, папки, рукописи — толстые, тонкие, в картонных, матерчатых, ледериновых переплетах или сшитые и переплетенные кое-как… Неполные, обрывочные сведения, описания, стихи, песни, легенды, сказки, вышедшие из-под пера сотен и сотен людей — сочинителей, ученых, энтузиастов — собирателей фольклора; когда-то фиолетовые,

а теперь коричневые от времени чернила, и синие химические, и простой, еле различимый карандаш; слова, слова, слова — на казахском, на русском, на чагатайском языках, изображенные с помощью славянского, арабского, латинского алфавита на белой, желтоватой, голубоватой, глянцевито-блестящей, плотной, мягкой, жесткой или почти прозрачной бумаге самой разнообразной формы: квадратной, продолговатой, широкой, узкой… У него кружилось в голове. Он чувствовал себя путником, который забрел, без компаса и оружия, в непроходимую чащу, полную диких зверей и чудовищ. Архив представлялся ему океаном, который не имеет берегов; хаосом, где нет ни начала, ни конца… Но через несколько дней он убедился, что учрежденья, именуемые архивами, скучнейшие на свете учрежденья, куда, казалось, приходят лишь седые старцы и, сгорбившись, в очках, усиленных поднесенной к носу лупой, вытягивают иссохшие шеи над пыльными, пропахшими затхлостью листами, — что эти учрежденья на деле являются счастливейшим местом, где обитают поэзия и тайна, где посеяны зерна будущей жизни, а не похоронены скелеты прошлого.

Теперь всякое утро, входя в небольшой, уют-

ный зал, светло-золотистый от солнечных лучей, льющихся сквозь двойные рамы высоких окон, Едиге ощущал себя героем фантастического романа, обладателем уэллсовской машины времени. Здесь бывало тихо, тепло. Ничто не напоминало о зимней стуже, оставленной за наружной дверью… Многие столы пустовали. За остальными располагались редкие и, как правило, почти не менявшиеся посетители архива. Шелестели, похрустывали бережно переворачиваемые листы. Иногда скрипел чей-нибудь стул…

Материалы, с которыми он имел дело на первых порах, оказывались чаще всего лишь оригиналами уже опубликованных памятников, заслуженно и широко известных. Едиге их бегло просматривал, экономя время. Иногда он обращал внимание на то, что публикаторы местами кое-что сокращали, местами добавляли, улучшая или переделывая по собственному вкусу. Оригинал не был для них неприкосновенной святыней. Он видел порой, что материалы, прочитанные до него многими людьми, в самом деле имели спорный, а иные даже бесспорно вредный смысл, пронизанный духом вражды и черной злобы. Иногда попадались курьезы: стишки с неприличными выражениями, фривольные

рассказы, неведомо кем сочиненные и неведомо как попавшие в архив. Но кто-то принес их сюда, кто-то надеялся: когда-нибудь и они смогут пригодиться… Все, все хранил на своих полках архив, внешне бесстрастный, ко всему безучастный, равнодушный… Но Едиге уже чудилось, что он видит, как в глубине молчаливых его хранилищ не затихает непрестанная борьба, та же, что и в жизни, — между светом и тьмой, добром и злом, взлетами человеческого гения — и примитивной, влекущейся по земле пошлостью.

Однако вскоре — он еще и не успел привыкнуть к нынешним занятиям, не успел вдоволь насладиться разлитым по архивному читальному залу философическим покоем — вскоре Едиге, листая очередную папку, наткнулся на небольшое по размеру эпическое сказание. Оно было записано в середине прошлого века гусиным пером, черными чернилами, на гербовой бумаге. Судя по языку и особенностям стиха, сказание складывалось в давнишнюю эпоху. Текст, свободный от позднейших наслоений, полностью сохранил драгоценный для специалиста аромат времени. Едиге жадно вчитывался, поглощая строку за строкой. Он словно держал в руке засохший цветок, лепесткам которого на глазах возвращалась

прежняя форма и окраска, вместе с забытым и тонким, живым благоуханием…

Никто из исследователей до сих пор не упоминал о памятнике, он был никому не известен. Как это могло произойти? Как случилось, что наткнулся на него именно Едиге, только-только вдохнувший таинственный и сладостный запах архивной пыли?.. Он пробежал наскоро всю рукопись и прикрыл ее сверху листком чистой бумаги, как если бы там на столе сверкала горсть яхонтов, способных ослепить своим огнем. Он сидел минут пять, устремив глаза в одну точку, повисшую в пространстве. Он еще не верил себе. Своему везенью. Своему счастью. Своей удаче… И не верил, все еще не верил до конца, когда с опаской, оглядевшись по сторонам, словно неопытный вор, которого могут схватить за руку, принимался все перечитывать заново — во второй, потом в третий раз. Нет, сомневаться не приходилось — перед ним лежал памятник высокого художественного достоинства, его значение для истории литературы было неоспоримо…

Не теряя времени, Едиге принялся за переписку. В течение недели, не разгибаясь, он переписал весь текст, сверяя каждое слово с оригиналом. Потом набросал — вчерне, лишь приблизительно

расшифровав темные места — перевод, пригодный для современного читателя.

«Вот так, уважаемый доцент Бакен Танибергенов! Вам требовалось Открытие?.. Вот оно! — думал Едиге не без веселого злорадства, укладывая к себе в папку страницы с еще никому не ведомым текстом. — Хотя что мне Бакен? Это мелко — вспоминать сейчас о Бакене… Азь-ага, вот кто от всего сердца поздравит его с удачей!.. Азь-ага… Но тянуть нельзя, нужно поторопиться с публикацией, пока кто-нибудь не перехватил…»

В нем неожиданно заговорила подозрительность. Да, посетителей в архиве немного, но в его сторону давно посматривают с интересом. Ведь не так часто встречаются молодые люди, которые усердно роются в архиве и читают рукописи на арабском, который кажется непосвященным колдовской грамотой, а старикам — никому, кроме них, не доступной премудростью. Полюбопытствуй кто-нибудь, чем он увлечен, — и у него тотчас возникнут соперники. Но как не полюбопытствовать, видя у него на столе изо дня в день одну и ту же папку с бумагами?.. Из предосторожности он присовокупил к ней несколько папок. И заказал еще — чтобы думали, будто он продолжает ворошить рукописные груды… Впрочем, он

делал это не только для вида. Листая новые папки, он открывал для себя немало полезного, там и сям прощупывались ниточки, ведущие к творениям фольклора, также никому не известным, не пущенным в научный обиход. Новые оригиналы, новые варианты, отдельные факты, преданные забвению по неясным причинам… Но все это не шло в сравнение с главным его открытием.

Он всегда верил в свою звезду. И однако — без особенного труда, без долгих хлопот и поисков, за считанные дни собрать материал, достаточный для кандидатской?.. Тут было с чего утратить равновесие. Он уже не казался себе незрелым юнцом, способным лишь на пылкие мечтания. Нет, он уже другой человек! Люди о нем услышат, его имя будут передавать из уст в уста!.. Впрочем, не сразу… Бывает, что современники глухи… Но я докажу…

Так он думал, когда шел по улице, посматривая на встречных с жалостью и легким презрением. Что сделали они в жизни замечательного, чем они могут гордиться?.. Но хмельная радость, вызванная собственным успехом, длилась недолго. Бесспорно, его находка важна для науки. Но при чем тут сам Едиге? В чем его заслуги? Случайно попалась ему на глаза именно эта связка бумаг,

случайно раскрыл он именно эту страницу… Кропотливый труд, упорство, вдохновенные догадки, озаренные жаждой истины поиски… Ничего этого не было. Любой образованный человек, улыбнись ему счастье, мог бы совершить то же самое. Любой студент…

«И нечего тебе пыжиться, старина, — решил он. — Остынь, приди в себя. А то, вижу я, ты порядком обалдел…»

Он немного успокоился, охладился. Но радостное удивление — почему случай отметил именно его?.. — не исчезло.

Он был молод, быстр на выводы, скор на решения. В подобном возрасте жизнь представляется проще того, что есть она на самом деле, и никто не ждет от нее уроков, которые она коварно припасает на будущее…

28

Ну и головомойку же задал ему профессор!.. Где это видано, чтобы учитель разыскивал ученика, а не ученик учителя?.. Кого только не расспрашивал он с тех пор, как вернулся! Ни одна живая душа о нем не знает. Где он скитается? Что это за новости — все бросить и кататься в горах на лыжах? Он охотник? Альпинист? Наука или развлечения — надо выбрать что-то одно! Три месяца не показываться на кафедре… А если руководитель уедет на целый год? А если не сегодня-завтра закроет навеки глаза, ведь жизни ему осталось, как старой овце?.. Тогда что? И потом — эти архары?.. При чем тут архары?.. Он думает охотиться на архаров или учиться в аспирантуре?.. Надо работать, работать! Пока не сосредоточишь все силы на главной цели — ничего не добьешься! В этом вся разница между настоящим ученым и сапожником!..

— Но кое-что я все-таки делал, — сказал Едиге, когда профессор, излив на него свой праведный гнев, мало-помалу стал успокаиваться.

— И чем же, интересно, ты занимался?

— Дней двадцать я сидел в архиве.

— Ну что ж, хотя бы это… — Азь-ага удовлетворенно кашлянул и взглянул на Едиге уже более снисходительно, словно отчасти сожалея о резкости своих упреков. — Это хорошо, что ты работал в архиве. Двадцать дней, говоришь?.. — К нему вернулись прежние сомнения. — Двадцать дней… А остальное время?

Едиге не хотелось лгать, он промолчал.

На побледневшем лице профессора резко проступило круглое родимое пятнышко над правым виском. Некоторое время Азь-ага сидел неподвижно, не произнося ни слова, только подбородок его мелко, едва заметно подрагивал. Затем Азь-ага, неожиданно грохнув по столу крупным костистым кулаком, на котором, как реки на географической карте, ветвились набухшие синие вены, вскочил и зашагал по кабинету. Он шагал стремительно, взад-вперед, по пестрому ворсистому ковру, застилавшему весь пол, и просторный кабинет, казалось, ему тесен, и тесен для того, чтобы вместить возмущенье, которое клокочет в профессорской груди, угрожая вот-вот извергнуться наружу. И опять, как три месяца назад, Едиге подумал, что Азь-ага похож на разъяренного самца-атана, и не удержался от улыбки. Профессор же, уловив ее краем глаза, остановил-

ся и замер посреди комнаты, словно не веря себе.

Не известно, что последовало бы дальше, но тут, к счастью, постучали в дверь.

— Папа, можно к тебе?

Не дожидаясь ответа, в кабинет вошел юноша лет двадцати двух — двадцати трех, высокий, с тонкими чертами лица и гладко зачесанными назад густыми волосами. Он был статен, красив, одет со вкусом. У него точно такое же родимое пятнышко, как у Азь-аги, только не над виском, а чуть пониже. И глаза такие же черные. В остальном же — и прямым тонким носом, и округлым, девически-нежным подбородком — он походил не на лобастого, тяжеловесно скроенного отца, а на мать, которая в свои пятьдесят с лишним лет сохранила миловидность. Зато кое-чем — и разительно, Едиге определил сразу — он отличался от обоих: ни Азь-агу, ни тетушку Алиму нельзя было заподозрить даже в намеке на чванливость. А этот… Он едва взглянул на Едиге, скромно сидевшего возле письменного стола, и взглянул свысока, словно сын бая, владельца тысячеголовых табунов, на самого последнего слугу. Словно ждал, что Едиге тут же вскочит и согнется в три погибели, смиренно его приветствуя. Но Едиге, понятно, и бровью не повел. Он только еще глуб-

же откинулся в кресле, про себя сказав: «Если захочешь, сам первый здоровайся, балбес!»

Однако наследнику тысячеголовых табунов не было никакого дела до жалкого аспиранта.

Подойдя к отцу, он приобнял его одной рукой и что-то зашептал на ухо.

— У меня ничего нет, — сказал Азь-ага, слегка поморщившись, но в то же время с лаской и гордостью глядя на сына: так смотрят на стройного, взращенного на степном приволье красавца аргамака. — Возьми у мамы.

— Она не дает, — мрачно сообщил юный наследник.

— Скажи, что я разрешил…

Через минуту в дверях показалась тетушка Алима.

— Ата, разве ты…

— Дай ему, сколько просит, — перебил ее Азь-ага.

— Что ты, отец, ведь вчера тоже…

— Ладно, ничего не случится. Он с приятелями что-то хочет отметить… Скажи Жорабаю, пускай подбросит их до ресторана и оставит ключи, не дожидается…

— Ох, отец…

— Иди! — строго сказал Азь-ага. — Закрой дверь

и не мешай нам!.. — Даже не взглянув на жену, он вернулся к столу. — Ну, — заговорил он с Едиге, — так на чем же мы остановились? — Однако, вспомнив, что совсем недавно был сердит на своего ученика, снова нахмурился.

— Мне хотелось показать вам кое-что, — Едиге торопливо раскрыл портфель. — В архиве я обнаружил одно эпическое сказание… Кажется, никому не известное…

— Что это за сказание, да еще никому не известное? — возразил ворчливо профессор, — Провел в архиве двадцать дней — и готово, получайте «открытие»! Такое редко случается даже с теми, кто безвылазно просидел там по двадцать лет!..

— Слепой и за сорок лет не увидит того, что лежит под ногами, — обиделся Едиге. И не протянул профессору извлеченный из портфеля текст, а продолжал держать его в руке.

— Я слышал, ты начинаешь дерзко себя вести, — сказал Азь-ага. — Это правда… Ну, так что это за сказание?

— Пока я только переписал его. Выводы еще не сделаны… Но, судя по словарю, строению предложений и некоторым именам, известным в истории, можно предположить, что это подлинное историческое сказание и что оно написано в

пятнадцатом веке.

— Во-первых, нелепо говорить: «Написанное». Письменная литература казахов свое начало ведет с Абая, эта истина всем хорошо известна…

— Эту истину пора пересмотреть… Потому что…

— Во-вторых… — Профессор повысил голос, заставляя аспиранта умолкнуть. — Во-вторых, не всякое эпическое произведение, в котором встречаются имена исторических лиц, является историческим, если иметь в виду время его создания и достоверность описываемых в нем событий. К тому же казахские исторические сказания возникли, как известно, в восемнадцатом веке и связаны с борьбой против джунгарского нашествия. К этому периоду относится и высший расцвет казахской эпической поэзии.

— Есть основания считать, что казахский эпос расцвел еще в пятнадцатом-шестнадцатом веках. А сказания, записанные в прошлом веке и в таком виде дошедшие до нас, — это приблизительные и ухудшенные варианты, лишенные половины достоинств первоосновы…

— Похвально иметь на все собственный взгляд. Но твои мысли наивны и абсурдны! Ведь отбор, совершенствование, обогащение фольклор-

ных произведений, происходящие в течение длительного времени, — это аксиома и азбука современной науки! Стыдно не знать столь элементарных положений!

— Выходит, если бы «Илиада» и «Одиссея» не были в свое время записаны на бумаге, они до сих пор продолжали бы совершенствоваться и обогащаться?

Профессор смолк, оборвав спор.

— Хорошо, можешь оставить, — сказал он, кашлянув несколько раз подряд. — Я просмотрю, когда будет время.

Едиге положил перед ним рукопись.

— Если не соберусь сам, — сказал Азь-ага, — поручу Бакену.

— Для него это не представит интереса, — несмело возразил Едиге, испытывая смутную тревогу. Он, было мгновение, даже пожалел, что оставляет профессору свою рукопись. Но взять ее со стола уже казалось невозможным.

— Ну что же… Там будет видно, — кивнул профессор. — Но вообще-то докторская диссертация Бакена как раз связана с казахским эпосом. Дельный, растущий молодой ученый…

— Как для кого. Мне лично он ничего посоветовать не сможет. Поэтому…

— Я любил тебя, как сына, прощал все твои выходки, но ты совсем распустился, — вспыхнул профессор. — Может быть, Бакену не хватает глубины, полета мысли, но науку двигают вперед не болтуны, а рядовые труженики. И вообще, молодой человек, — сурово заключил он свое наставление, — для вас пока самое главное — научиться у того же Бакена, как надо себя держать, и как работать, и как, между прочим, разговаривать со старшими…

Едиге опешил. Он не ожидал от профессора таких слов, такого тона… Продолжать спор было бессмысленно. Он понял это и простился. Но и на улице им владело такое чувство, будто он ослышался или принял всерьез отлично разыгранную шутку. Неужели профессор, умный, проницательный человек, бескорыстно и всю жизнь преданный науке, действительно верит в то, о чем говорил несколько минут назад?..

Едиге внезапно почувствовал себя разбитым, раздавленным. Как будто что-то внутри у него сникло, сломалось. После радостного подъема и напряжения этих дней силы покинули его. Он был пуст, выпотрошен. Так, наверное, в прежние времена баксы, закончив свою неистовую пляску, в изнеможении падал на землю…

29

У Гульшат он не появлялся больше месяца. И не только оттого, что не было времени. Долго ли встретиться, находясь в одном общежитии? Он мог зайти к ней после архива. И у обоих бы отыскался свободный вечер, чтобы сходить в кино или театр, наконец, просто побродить часок по улице. Но Едиге так и не решился ни разу подняться на четвертый этаж. Ни разу — за все эти недели…

Он сердцем чуял, что с того вечера, когда Гульшат одна ушла на каток, между ними возникла какая-то стенка. Невидимая, но прочная. Из попыток ее сломать ничего не получилось. Наоборот… И он оттягивал встречу, боясь окончательно все испортить.

…Он постучался в ее дверь нерешительно, как будто в первый раз. «Войдите!..» Ее голос. Он снова постучал. «Тук-тук-тук…» Ее шаги. Дверь приоткрылась — Едиге увидел ее лицо, которое тут же осветила улыбка. Губы, брови, легкие ямочки на зарозовевших щеках — все в ней радостно смеялось, летело ему навстречу. Но мгновение — и она, как бы вспомнив о чем-то, погасила улыбку. Нижняя губа досадливо закушена, тонкие брови

выгнулись дугами вверх — удивление. Он явился? С чего бы?.. Переступила порог, левой рукой, заложенной за спину, прикрыла дверь. Прихлопнула — но слишком резко, дверь с чрезмерной силой громыхнули о косяк. Гулышат это, кажется, смутило — и она, оглянувшись, опять толкнула дверь назад, в комнату, а потом притворила — уже осторожней, обеими руками. Хотя пальцы ее так и не выпустили дверной ручки, когда она встала напротив Едиге, с безразличным лицом и устремленным куда-то в сторону взглядом.

— Как ты живешь?.. — спросил Едиге.

— Хорошо… — Улыбка прокралась в ее глаза, чуть-чуть раздвинула губы, но Гулышат, как бы спохватись, вновь нахмурилась.

— Сессию закончили?..

— Еще когда-а-а…

— Как сдала?

— Тройки, четверки… Куда уж нам, девушкам… На большее мы не способны… Мысли у нас не те, кругозор убогий…

— А-а-а… Да-да… — Едиге вспомнил свои слова о современных девушках, — было, было, болтал он что-то такое… — Беру обратно.

— Что?

— Все, что в тот раз наговорил тебе.

— Теперь уже все равно, — сказала Гульшат. На этот раз она и в самом деле улыбнулась. Только улыбка получилась кривая — будто не улыбается, а насмехается. «Почему это — теперь все равно?» — чуть было не вырвалось у Едиге, но он сдержался.

— Сколько дней дали на каникулы?

— Неделю всего. Осталось пять. Даже четыре… И на лекции снова… — «Сессия, значит, кончилась недавно», — про себя отметил Едиге, вспомнив ее «еще когда-а…» — В комнате нас трое сейчас, другие домой уехали. — Опустив глаза, она принялась чертить носком туфли по полу, огорченная, видимо, тем, что не смогла тоже съездить домой.

— А ты что же?.. — У Едиге не нашлось других слов, он произнес первые попавшиеся. В голове был сумбур, он не думал, что говорит. Он тронул ее за подбородок, заглянул в глаза, такие знакомые, родные… — Ты осунулась.

— Как я могла уехать, если ты… — Она отвела глаза. Ему показалось, у нее сейчас хлынут слезы. — Если ты… — Она овладела собой и поправилась: — если я… Познакомилась с одним парнем…

— …и влюбилась! — закончил Едиге, жестко усмехнувшись. Он отдернул руку от ее подбород-

ка, отступил назад.

— Нет! — Она повернулась к нему лицом и теперь смотрела на него прямым, светлым от ярости взглядом. — Нет! Я никогда ни в кого не была влюблена. Никогда!..

— Ну-ну, — сказал Едиге. В горле у него пересохло, и язык ворочался с трудом. — Не была, так будешь.

— Буду!..

— Конечно. Все в твоих руках. — Впрочем, теперь, услышав ее признание («Никогда…»), он ощутил внезапно явное облегчение. К нему вернулась прежняя уверенность, он снова ступал по твердой земле. — Да, — коротко рассмеялся он, — вот так это и бывает. Знакомимся, целуемся, говорим, что жить друг без друга не сможем, говорим, хотя где-то в душе ведь знаем, что это не совсем так и на самом-то деле сможем, сможем!.. Но говорим, так положено в игре, которую называют любовью, и лжем себе, лжем друг другу. Но игра есть игра, проходит неделя, месяц — и надоедает обманывать. А уже привычка, уже пустовато без этого. Как без карт — картежнику: жизнь не в жизнь… И тогда, закончив игру с одним, переходишь ко второму, к третьему… к пятому, к десятому… И пошло, пошло!

— Это правда, — подтвердила она с горьковатым смешком. — Нет любви на свете… — В ее голосе слышался упрек.

— Вот видишь, и ты согласна. Оттого, что теперь много умнее, чем три месяца назад… Я тогда тоже был дураком. И если с тех пор поумнел, так из-за тебя. Это ты меня умным сделала. Так что мы квиты, никто никому не должен, — ведь и я кое-чему тебя научил. Думаю — научил…

— Научил, — повторила она за ним.

— Только еще не всему научил, не хватило талантов… Пускай доучивает новый знакомый.

Гульшат вспыхнула, быстрым взглядом, как лезвием, полоснула по его лицу — и опять отвела глаза.

— Наверное, это судьба, — сказал Едиге. — Что ж, простимся, как в классической трагедии — обнимаясь и плача. — Он вновь приблизился к ней, осторожно коснулся щеки, провел по ней, погладил — похудевшую, бледноватую после экзаменов, с почти прозрачной кожей, покрытой нежным, как у одуванчика, пушком… И почувствовал — дальше не выдержит свою роль. Пропади она пропадом, эта роль! И все роли, все игры — пропади пропадом! Если сердце идет наперекор уму — к черту этот ум, его кислые

сентенции и кривляния!.. Рука его поднялась выше, утонула в густых волосах. Гулышат не отстранилась. Он притянул ее к себе, склонился над нею. «Сейчас, — подумал он, — сейчас я ее поцелую, и все вернется…» — Наверное, это судьба, — повторил он — уже иным тоном, в ином смысле. Но лучше бы он не произносил этих слов! Ни этих, ни других! Он и без того произнес их слишком много. Слишком, слишком… А они так бедны, когда пытаются выразить чувство… Скажите: «Это поет соловей» или: «Это шелестят листья» — и что же? Разве услышите вы пенье соловья? Или шепот листьев?.. Так и любовь — она чуждается слов, не верит им. Она стыдлива и предпочитает молчанье. А если слова, то скорее даже глуповатые, ведь человек всегда немножко глупеет от любви. Глупеет — и болтает глупости, городит вздор, все, что взбредет на ум и подвернется на язык. Но при этом кажется, что говорит он умно и красиво… Так им кажется обоим — ему и ей… Только тогда немного слов не помешает — они хоть и не помогут им понять друг друга, но прибавят мелодии сердец новые ноты, новые звуки… Ах, эти глупые, эти лишенные смысла, эти самые умные в мире слова!.. Но наш герой не сумел их найти в нужную минуту. «Наверное, это

судьба...» Это значило, что она — его звезда, единственная на многозвездном небе. Что она — это все, что есть для него в жизни, его надежда, его заветнейшее желание, сама жизнь... Но она не поняла его. И решила, что он смеется над нею. В который раз! — «Не смей!» — сказала она и отбросила его руку. Видно, и ей не хватило глупости, чтоб довериться сердцу. Оба в тот миг — и он, и она — оказались слишком умны... И, как иной раз случается, должно было миновать долгое время, годы и годы, чтобы потом, соединенные с кем-то другим, с кем-то чужим по душе, соединенные навсегда, волоча по длинной тоскливой дороге в одной упряжке телегу жизни, навьюченную гремучим котлом, закопченной треногой и прочим семейным скарбом, — чтобы тогда, с поздним сожалением, вспомнить тот миг и вздохнуть; «Ах, какими же глупыми мы были...» Глупыми?.. Да, пожалуй. Оттого, что искали слишком умных слов.

Но пока... Пока еще ничего страшного, необратимого между нашими героями не произошло. Он хотел ее поцеловать, она не позволила. Только и всего. А ведь мало ли, мало ли что случается и у счастливых пар, любящих, верных, одолевших многие испытания! Такие вспыхивают порой

баталии, такие битвы! И что же?.. Следуй за этим непременно драматическая развязка — что сталось бы с миром?..

Итак, она отбросила его руку. И не просто отбросила — она при этом сказала: «Не смей!..» Для того, кому двадцать лет (или на три года больше), подобное снести нелегко. Но любовь все прощает. Простил и Едиге. Тогда Гульшат словно вознамерилась испытать, на что способно его терпенье. Блестя глазами, она стала рассказывать о своем новом знакомце, — ожесточась, мстительно усмехаясь в душе.

Она и не думала выглядывать кого-то на стороне — было время, ей нравился Едиге. Нравился, не больше, но она-то себя уверила, что любит… И вот… Все началось на катке, в тот день, когда Едиге сказал, что он не мальчишка, не ребенок — он помнит?.. Она каталась одна. Вдруг ее обнял за плечи какой-то парень. Она попыталась вырваться, круг или два они сделали вместе, он ее не отпускал. Отпустит, — сказал он, — если она перестанет сердиться. Сердиться?.. На что?.. Ну, пошутил, здесь так принято. И сам — интересный, видный из себя, одет щеголем. (Каждая подробность — как новый укор, новый укол.) Но Гульшат не хотела с ним знакомиться. Она даже

имени своего не назвала. Ни в тот раз, ни когда они снова встретились — в горах, возле трамплина… В горы она ходила вместе с девочками. Просто так, прогуляться, покататься на лыжах. А на трамплине шли городские соревнования по прыжкам. И тут она увидела того парня. Им все любовались — какой отчаянный, ловкий! Он птицей взлетел в самое небо — так им, снизу, казалось! — и опустился далеко, за стометровой отметкой. Рекорд?.. Нет, мирового рекорда он не поставил, возможно, она что-то спутала — не сто, а девяносто… Или восемьдесят… Или семьдесят… Возможно, и сорок, ну и что?.. Это не самое главное… Что главное?.. А то, что он очень внимательный, вежливый… Деликатный, вот подходящее слово. Да, деликатный. Не задавала. Не эгоист. Не грубиян. И при том — такой смелый, такой мужественный. И не в пример старичкам, просиживающим день и ночь, въедаясь в книги, — не в пример им, настоящий спортсмен. И умный, и знающий. Аспирант, работает над диссертацией, но успевает — и то и это. Защитится будущей осенью, в крайнем случае через год… Нет, не тогда, он рассказал обо всем этом позже. Вчера… Она в тот, первый день, и не взглянула на него ни разу. Отворачивалась, не слушала, что он

говорит… Но он не обиделся. Наоборот, проводил до самого порога. И потом приходил несколько раз. Гульшат не принимала его приглашений — отправиться на каток, в горы. Разговаривала — и то не дольше пяти минут. Ни на капельку не хотела изменять Едиге. Только сердцу, видно, не прикажешь. И она просит не винить ее. До сих пор она ни в чем не уступила — но долго ли так будет?.. Нет, целоваться она не позволяла. Рукой коснуться — и то… Нет! И чтобы влюбилась — тоже нет, она этого не думает. Нравится — да. Это так. И теперь она верна Едиге, но… Ничего не обещает. Не хочет обманывать… И вчера, и сегодня — он приходил, уговаривал пройтись, они болтали — час, два… Завтра? Что будет завтра, она не знает. Едиге должен согласиться: такие ребята не часто встречаются…

— Кто он? — Едиге наклонился, заглянул Гульшат в глаза. — Ну? Говори!

Она молчала, постукивая носочком туфли по полу, и глаз не отводила — насмешливых, торжествующих.

— Кто он?

— Вызовешь на дуэль?

— Это мое дело!

— Вряд ли с ним тебе справиться, — сказала

она. — Да, вряд ли. Он сильный. И ростом выше тебя. И кулачищи у него вот какие… — Она сложила оба свои кулачка. — Даже больше. Так что, боюсь, ничего у тебя не выйдет. Он такая громадина…

— Ясное дело, — сказал Едиге. — Раз «такая громадина», то уж тут не устоять. Вам только и надо, чтоб «такая громадина»… — Он отступил на шаг, смерил ее презрительно с головы до ног. — Как же зовут эту «громадину»?.. Неотразимую для любвеобильных сердец?..

По ее шее, щекам, всему лицу разлилась багровая волна.

— Беркин… — сказала она, глядя себе под ноги. — Его зовут Беркин…

— Такого я не знаю…

— Знаешь, — сказала Гульшат. Она выпрямилась и с вызовом взглянула на Едиге. — Он живет рядом с вами, напротив. Историк…

— Беркин?.. Беркина у нас нет. Погоди, не Бердибек ли?.. С усиками?..

— Да…

Он прямо-таки задохнулся от изумления.

— И это правда?

— Правда… — Она вновь опустила глаза.

Вдруг Едиге стало смешно. Сомнения, ревность,

мучившие его столько дней, — все отлетело, пропало куда-то. Он захохотал. Он хохотал все громче, эхо прокатывалось по всему коридору. Он то стискивал обеими ладонями голову, словно боясь, что вот-вот она лопнет, то сгибался в три погибели, закрывая лицо руками, то упирался кулаками в бока. Он не мог ничего с собой поделать, не мог остановиться… Наконец, отхохотавшись, еще всхлипывая от смеха, он посмотрел на Гульшат. Она как будто съежилась, уменьшилась в росте. Она хотела что-то сказать, но губы у нее дрожали, дергались, не выговаривая ни слова.

— Так тебе, значит, понравился наш Бердибек?.. — Он вытащил из кармана платок, вытер глаза, на которых от смеха проступили слезы. Аккуратно сложил платок, спрятал в карман. — Что ж, поздравляю!

Она молчала.

— Ну и вкус у тебя, просто на удивленье. Не ожидал. — Он добил ее взглядом, холодным, безжалостным. — Впрочем, он еще старичок хоть куда, наш Бердибек… Еще крепкий старичок…

— Он моложе тебя, — сказала Гульшат, кусая губы.

— Он старше меня на семь лет, а вас, моя любовь, на целый мушель — на двенадцать.

— Все равно он выглядит моложаво, — сказала она, слегка оправляясь. — Глядя на вас, никто не подумает, что вам двадцать три года. («Вам», «вас», — так, так, — отметил про себя Едиге). А он похож на двадцатилетнего юношу.

— Правда?.. — Едиге усмехнулся.

— И вообще — какое значение имеет возраст?.. — сказала Гульшат. — На сколько лет Пушкин был старше Натальи Гончаровой?..

— Пушкин?.. — Едиге даже слов не нашел, только пожал плечами. — Ты сравниваешь Бердибека и… Пушкина, да будет благословенно его имя, и каждая строчка в его стихах, и каждая точка, и каждая запятая!.. Сравниваешь?.. Дорогая, мне доводилось видеть немало серых ослов, но этот — самый серый из серых!.. Бесстрашный храбрец, спортсмен, ты говоришь?.. Да, прыжки с трамплина — это спорт, но тут не львиное сердце надо иметь, а крепкие ноги… Пушкин!.. Трусливый заяц, вот он кто! И болван, да такой, что его хоть тысячу раз палкой ударь — шагу правильно ступить не научишь!..

— Теперь я вижу… — Лицо у Гульшат по-прежнему так и полыхало огнем, зато губы побелели. — Теперь я вижу… Он лучше тебя в сто раз! Он не сказал о тебе дурного слова, всегда только

хвалит… А ты…

— А я не стану лгать только потому, что он меня хвалит. Ведь это правда: из всех вислоухих он самый серый…

— Он лучше тебя! — повторила Гульшат, глядя куда-то поверх головы Едиге.

— Ну что же, и отправляйся к тому, который лучше.

— И отправлюсь, и не нужно мне твоего разрешенья… — Слезинка сорвалась у нее с ресниц — светлая, круглая, скатилась по щеке, капнула…

— Какая же я была дура, — сказала она. — Ведь только что он приходил, приглашал в кино… Какая же я дура!..

— Очень жаль, — сказал Едиге. — Очень жаль, что ты так огорчила нашего добряка Бердибека. И что вообще столько времени потратила зря, поджидая меня.

— Какой же дурой я была, — в третий раз повторила Гульшат. Слезинки закапали одна за другой.

— Ничего, — сказал Едиге, — еще не поздно все исправить.

— Нет, уже поздно, поздно…

При слове «поздно» в груди у Едиге снова защемило… Но его самолюбие было оскорблено. Она,

та самая Гульшат, которую он считал чистейшим существом, созданным из эфира и небесной лазури, она позволила себя замарать прикосновением грязным, порочным!.. Замарать?.. Да, замарать! Хотя еще ничего непоправимого не случилось — все равно, могло, могло случиться!.. Мысль об этом была как тысяча ножей, вонзенных в спину черным предательством.

Но в душе его шла схватка между самолюбием и любовью. Ведь каким ни был Едиге гордецом, но Гульшат он любил, и любил по-настоящему. Результат этой схватки, казалось, предрешен — несмотря ни на что. И верно, к нему все клонилось. Едиге сжал обеими ладонями ее горячее, мокрое от слез лицо…

— Скажи, ты ходила куда-нибудь… Без меня… В театр, в кино?.. Еще куда-то?..

— Нет…

— Смотри мне в глаза.

Она смотрела — глаза в глаза.

— Скажи, ты с этим… С этим бравым Бердибеком… Уже целовалась?..

В ее лице мелькнуло удивленье, испуг, что-то еще, похожее на брезгливость. Она помедлила немного — и с неожиданной силой ударила его по рукам, которые лежали у нее на плечах. Она

ударила, оттолкнула его — второй раз в этот вечер. И, закрыв ладонями лицо, ссутулилась, сгорбилась.

— Как… ты… можешь… — Ее слова прерывались, комкались в плаче.

Едиге еле сдержался. Он готов был пасть перед нею на колени, обнять ее ноги, все простить и просить прощенья… Она разжала пальцы, ладони, ее разомкнулись. Каким прекрасным было в тот миг ее залитое слезами лицо!..

— Как ты мог!.. — Ноздри ее вздрагивали. Взгляд мгновенно высохших глаз был острым, гневным.

— Ты лжешь, — сказал Едиге. — Если это правда — поклянись!

— Это такая же правда, как то, что я тебя любила… — Она тут же поправилась, дерзко вскинула голову: — Такая же правда, как то, что я не любила тебя!..

Он видел ее глаза словно в тумане. Густом, плотном. Потом белесая пелена зазыбилась, расступилась. В глубине ее зрачков мелькнула тусклая искорка — насмешливая, злорадная. Это решило все. «Довольно! — сказал он себе. — Довольно… Хватит!»

— Я и сам так думал… — Он чуть помедлил, подыскивая слова. — Ладно, ты у меня не первая и

не последняя… — Ему хотелось найти что-нибудь потяжелее, чтобы причинить ей боль. — Пусть будет гладкой дорожка, по которой ты пойдешь от меня к Бердибеку. Ты только зря обидела его сегодня. Мало ли что, вдруг больше не заявится…

Гулышат было опомнилась, рванулась что-то сказать.

— Ну, ничего. — Едиге остановил ее. — Только будь с ним полюбезней в другой раз. А сегодня, что же делать, я сам приглашу его к тебе.

Он изобразил нечто вроде реверанса в стиле д'Артаньяна, повернулся и, твердо ступая, пошел по коридору, печатая шаг. Он было задержался у лестницы, ведущей вниз, но прошел дальше, в самый конец, где коридор соединялся со второй лестницей. Только тут он оглянулся. Вдалеке темнел ее силуэт. Она стояла посреди прохода, неподвижная, и словно силилась и не могла решить какую-то сложную задачу. Казалось, вот-вот она крикнет: «Подожди!» — и кинется вдогонку. Подбежит, повиснет на шее… Так показалось Едиге. И для него вдруг потеряло значение, что было правдой в ее недавних словах, что — ложью. Все можно забыть, все вернуть… Но она не кинулась за ним вслед. Или она ожидала, что он сделает первый шаг?.. Но он не рискнул, побоялся, что

она не ответит. Едиге только поднял руку, помахал ей — прощай! И попытался припомнить, как расставался с другими девушками… Но ничего не вспомнил — то ли мысли его разбегались, то ли не было их, этих расставаний, потому что и девушек не было, первой дли него была Гульшат… Первой и последней, — подумалось ему, когда он спускался по лестничным ступенькам.

30

Он вошел без стука. И тут же поморщился: его оглушил стоявший на столе маленький транзистор, включенный на полную мощность. Пронзительный, на высокой ноте, голос выводил монотонную, унылую мелодию, похожую на бесконечно повторяемую жалобу… Бердибек был один. Он лежал, закинув руки под голову, а ноги, обутые в тяжелые ботинки на толстой рубчатой подошве, возвышались над спинкой кровати. Впрочем, они с необычайной легкостью вскинулись вверх, описали стремительную дугу и опустились на пол. Бердибек вскочил, как будто под ним сработала катапульта.

— Это ты?.. Проходи, не стой на пороге, — засуетился он. — Сейчас чайку заварим, отведаешь, что мне из аула прислали… — Бердибек торопливо пододвинул гостю стул.

Но Едиге остался стоять, только на спинку опер-ся. Только стиснул ее обеими руками, сдавил в пальцах, как если бы боялся, что кто-то ее у него вырвет. Красив Бердибек или нет — он раньше об этом не задумывался, плевать ему было на это, с чего бы он стал об этом думать?.. Но сейчас

он как будто впервые увидел Бердибека, и не с в о и м и глазами. Пожалуй, он и вправду мог нравиться женщинам, в особенности молоденьким девушкам вроде Гульшат, неискушенным, наивным… Рослый, статный, плечи развернуты, грудь колесом — создавалось впечатление чего-то надежного, прочного, такой защитит и укроет от любой беды… Да еще это лицо с выражением напористой, уверенной в себе силы… Хотя сам Едиге не ощущал в нем ничего, кроме грубого, животного начала… Но, как бы там ни было, отнюдь не уродливое лицо, — напротив, густые, пышно взбитые волосы прикрывали узкий лоб, а нос с горбинкой, кавказские усики, тяжеловатая — «волевая» — нижняя челюсть подчеркивала мужественность его облика. Даже странно, почему Едиге всегда считал Бердибека трусоватым парнем. Крепким снаружи и с трухлявинкой внутри… Часто встречаться у них не возникало повода, если же все-таки встречались, то разговор не выходил за пределы науки. Тут Бердибек обычно пасовал перед Едиге. Но, как известно, в темноте, да еще на неровном месте, не только хромой или кривой боязливо ступает, опасаясь, чтобы не споткнуться…

«Может быть, я чего-то не заметил в нем, не

оценил?» — думал Едиге, пристально и молча изучая Бердибека.

Жалобно причитающий голос продолжал сверлить уши. Едиге потянулся к транзистору на столе и повернул рычажок. Так легким шлепком унимают плаксивого шалуна…

— Зря, хорошая была песня, — сказал Бердибек.

— Очень, — усмехнулся Едиге. — Кстати, у тебя, кажется, бабушка узбечка?

— Верно, — удивился Бердибек, стоявший перед Едиге в неловкой позе, опустив руки по швам. — Верно, моя бабушка была узбечкой. Как ты догадался?..

— И сам не знаю, — сказал Едиге.

— В наших краях казахи и узбеки — два народа, породнившиеся между собой, — радостно сообщил Бердибек, наверняка довольный тем, что нашлась тема для разговора. Он улыбнулся Едиге. Но столь мужественному на вид лицу не очень-то шла эта растерянная, жалкая улыбка. Однако жалкой и растерянной она была лишь в первый момент. Неуловимым переливом она обратилась в улыбку проникновенно-мягкую, даже сладостную. Она ласкала, обволакивала. И вся кожа на его лице до последней морщинки, до последне-

го мускула так и светилась, изображая эту как бы заранее и многократно отрепетированную улыбку. Только розовая пухлая губа, поросшая черной щетинкой, выбивалась из общего строя и то приподнималась, обнажая высокие влажные десны, то вновь опускалась, чтобы соединиться с нижней. У Едиге помутнело в глазах, когда он представил губы Гулышат слитыми с этим слюнявым розовым ртом. Внутри у него все перевернулось, закипело. Он зажмурился. И не то глубоко вздохнул, не то застонал.

Расцепив веки, он увидел перед собой лицо встревоженного Бердибека.

— Что случилось? Ты болен?.. — Забыв о стуле, на который опирался Едиге, Бердибек пододвинул к нему другой. — Может быть, присядешь?

— Ох, уж эта моя дырявая память, — сказал Едиге, не меняя позы. — Ведь тебя наверху дожидается одна девушка, вся в слезах. Я специально завернул к тебе сообщить об этом…

Было приятно видеть, как Бердибек растерялся. Побледнел. Покраснел. Уперся глазами в пол, как бы в смутной надежде сквозь него провалиться.

— Я… Понимаешь ли… — Он что-то бормотал, хотя и заготовил, наверное, немало слов, предчувствуя неизбежный разговор, но теперь не мог

их вспомнить, связать воедино. — С каждым случается… Может случиться… Но я, разрази меня бог, не знал… Я и не думал, что эта девушка…

— Не морочь себе пустяками голову, — сказал Едиге. — В наше время такое встречается сплошь и рядом.

— Это верно… И все-таки… Я…

— Да ладно тебе, — сказал Едиге, похлопав Бердибека по крутому плечу. — Се ля ви. Сегодня ты отбил девушку, завтра у тебя ее отобьют… Стоит ли переживать?.. Ты иди. Она ведь там плачет-заливается. Ждет тебя. Сама мне сказала: «С тобой все кончено, Едиге. Вторая серия этого остросюжетного приключенческого фильма называется «Бердибек»… Я правду говорю. Правду, всю правду, ничего, кроме правды. Ну, будьте счастливы, благословляю вас обоих. Или ты уже не веришь людям?.. Но как тогда жить? Как смотреть друг другу в глаза? Как называть и называться другом и братом?..

— Друг мой, — прочувствованно сказал Бердибек, — друг мой и брат Едиге… Ты настоящий мужчина. Спасибо!.. — Голос у него был приподнятый, торжественный. Он подошел и с повлажневшими глазами обнял Едиге.

— Не стоит благодарности, — Едиге с трудом

высвободился из объятий Бердибека. — Ведь мы как-никак люди двадцатого века…

— Правда, братишка, — сказал Бердибек. — Твоя правда. И я отплачу тебе тем же, если окажусь на твоем пути. — Он схватил Едиге за руку и с силой ее потряс — Это строптивые жеребцы вступают в схватку из-за кобылы. А мы ведь люди. К чему нам ссориться? Кобылок в Алма-Ате хватит для каждого…

Вот здесь-то, на слове «кобылка», Едиге и ударил его по щеке. У Бердибека чуть голова не отвалилась — такую Едиге влепил ему пощечину.

— Эй, ты что делаешь?.. — заорал Бердибек и схватился за щеку.

— Это я так, ради шутки.

Бердибек побелел.

— Да ты знаешь, я кто?.. — Он повис над Едиге. — Я… Я в десять раз тебя сильнее!.. — Он весь дрожал. — В лепешку расшибу, костей не соберешь!

— А ты попробуй, — сказал Едиге. — Попробуй. Только учти: когда тебя выгонят из аспирантуры, тебе придется уже не два-три года пасти баранов, чтобы вернуться, а все двадцать — тридцать лет.

— Нас обоих выгонят, — сказал Бердибек угрюмо. Но пыл его поостыл.

— А я этого не боюсь, — сказал Едиге. — И вот еще одно доказательство!.. — Он снова, теперь уже по другой щеке, ударил Бердибека. — Ну? Если тебе мало доказательств, подходи, добавлю…

Он, однако, не ждал, пока подойдет Бердибек, а сам на него надвигался, и Бердибек, отступая, загораживал ему дорогу стульями. Но стулья не могли служить надежным заслоном, поэтому Бердибек бросился к столу и с грохотом выдвинул его на середину комнаты:

— Не подходи! Я за твою жизнь не ручаюсь!

— Предлагаю несколько условий. Твое дело — соглашаться или…

— Что за условия? — Бердибек занял боксерскую стойку.

— Чтобы не свернуть шею, не появляйся больше на трамплине!

— Да зачем он мне сдался, твой трамплин?..

— Не шляйся по каткам, не совращай молоденьких дурочек! Не все такие покладистые, как я, нарвешься на какого-нибудь парня — изувечит…

— Да разве я…

— Помолчи, прикуси язык!

Бердибек покрутил кулаками у себя под носом, изображая угрозу.

— Вот мои условия. И не условия — ультима-

тум… Знаешь, что такое ультиматум?

Бердибек стоял в нерешительности, словно размышляя, затевать ли новую драку, смириться ли с нестерпимым унижением.

— Все, что здесь произошло между нами, останется тайной, — сказал Едиге. — Все равно никто не поверит… Так что не пытайся жаловаться. А вообще — держись от меня подальше, тебе лучше будет.

— Ты ненормальный, — сказал Бердибек. — У тебя в голове не все в порядке, я давно заметил. — Он опустил стиснутые кулаки, не решаясь ни разжать их, ни выйти из-за своей баррикады.

— Не зли меня снова, — сказал Едиге.

— И не думаю, — сказал Бердибек.

— То-то же, — сказал Едиге. — Ведь мы друзья. Нас теперь водой не разольешь.

— Конечно… Стоит ли, чтобы из-за… из-за… — Бердибек запнулся.

— И на этом точка, — сказал Едиге. — Ступай… И можешь называть ее, как хочешь.

31

Вернувшись к себе в комнату, он тяжело опустился на кровать, присел — обессиленный, опустошенный. «Вот и все, — подумал он. — Все кончено». Так он подумал, так сказал себе, подводя итог, но сам в это еще не верил. Не мог, не хотел верить. Казалось, разыграна глупая, нелепая шутка. Или сон приснился — скверный, тяжелый сон. А на деле все осталось по-прежнему… «Нет, — подумал Едиге. — Это не сон и не шутка… Но хорошо, что все уже позади. Рвать так рвать. Все правильно». Он расправил спину, плечи, вдохнул воздух полной грудью, выдохнул — и не почувствовал облегчения. «Устал, — сказал он себе. — Ты просто немного устал, старина. А когда устанешь да еще не выспишься, откуда взяться хорошему настроению? Выспаться — вот что главное. Выспаться — и все как рукой снимет. Вот я и лягу сейчас. Лягу, посплю». Он снял пиджак, медленно, как бы с трудом совершая каждое движение. Потом постоял, будто силясь о чем-то вспомнить, перед закрытой дверцей шифоньера. Открыл дверцу. Окинул взглядом костюмы на вешалке. Целый магазин одежды — и

все его костюмы. Польского, германского, чешского, советского, французского производства… Коллекция! Серый, коричневый, синий, черный, в клеточку, в полоску… Не один, не два, не три — семь костюмов. С тем, что на нем, — восемь. «Дичь какая-то, — подумал Едиге. — Восемь костюмов! К чему мне это барахло?.. Бросить в огонь и спалить все к черту!..»

Он снял свободную вешалку, кинул на нее пиджак. Снял брюки, повесил на нижнюю перекладину. И перед тем как захлопнуть шифоньер, снова помедлил. «Нет справедливости на свете, — думал он. — У Едиге, тупицы и бездаря, — восемь костюмов. А умный, талантливый Кенжек имеет всего один. Да и тот выцвел, потерся. Единственный костюм, единственная пара туфель, старое пальто, облезшая шапка… Все оттого, что у него отец погиб на фронте, а мой вернулся живым. Оттого, что у Кенжека нет никого из родственников, только старушка-мать, а у меня и родители, и три-четыре семьи, которые меня любят, как родного сына… Где справедливость?.. Но Кенжек — настоящий парень, молодчага, — подумал он затем. — Голова у него светлая. Если не запряжется снова в чью-нибудь упряжку, через года полтора защитится, станет кандидатом. А впо-

следствии доктором. Может быть, академиком… Почему бы ему не стать академиком? Кенжек — молодчага. А Халел тоже молодец, своей цели добьется… Они оба — настоящие парни. Такие-то люди в науке и нужны. В науке, в жизни. Талантливые, умные, упорные. Из таких толк выйдет… Ну, а ты кому нужен, психопат несчастный? Из тебя что получится? Ничего не получится, можешь не сомневаться, — сказал он себе. — Расклеился, раскис, нюни распустил… Из-за кого? Было бы из-за кого. А то ведь обыкновенная вертихвостка, пустышка. Просто срам!..»

Но из глубины груди к горлу прихлынула тяжелая, крутая волна. У него перехватило дыхание. Он глотнул воздух, как рыба на песке, глотнул раз, другой, пытаясь прогнать застрявший в горле тугой комок. Ему это удалось. Но не надолго. За первой волной пришла вторая, и тут у него не хватило сил сдержаться, совладать с собой…

Он лежал на кровати, рухнув ничком, и кусал подушку, заталкивал в рот — мокрую, горячую от слез. Он презирал, ненавидел себя в те минуты за слабость, за слезы, которые не мог остановить, за странные, хриплые, отрывистые звуки, которые рвались из него, несмотря на стиснутые зубы. Еще хорошо, догадался защелкнуть дверь. По

крайней мере, никто не войдет, не увидит.

Сколько так прошло времени? Он не знал. Когда он очнулся, раскрыл глаза, в комнате было уже темно. Мрак, обступивший его, казался беспроглядным… Неужели всего несколько часов назад он виделся с Гульшат, говорил с нею?.. Как давно это было!..

Лежа в темноте щекой на сбившейся в комок подушке, еще сырой, не просохшей от слез, он со стыдом вспоминал эти слезы. «Нет, — думал он, — тут она ни при чем. Просто человек — это уж такая машинка… Непрочная, плохо отрегулированная… В любом механизме случаются неполадки. Вот и у человека бывают моменты, когда из глаз начинает сочиться соленая жижица… От горя плачут, но ведь и от счастья — тоже. Организм очищается от вредных выделений, осадков. Предлог не играет роли… Разве не так?..»

Стараясь ни о чем не думать, Едиге лежал, глядя в потолок, по которому иногда скользили отсветы проезжавших по улице машин. Он следил за перемещением желтоватых размытых пятен, это успокаивало.

Дверь в соседней комнате с шумом открылась, потом захлопнулась. Послышались чьи-то уверенные шаги. «Халел, — подумал Едиге. —

Должно быть, он. Мухамед-Шарип — этот ходит осторожно, и шаги у него мягкие, не идет, а плывет, пол боится обидеть...» Дверь снова хлопнула. В скважине щелкнул ключ. Шаги повторились. «Халел, — решил он. — Куда это ему приспичило, на ночь глядя?..»

Он взглянул на часы. Циферблат голубовато светился в темноте, фосфорическое мерцание то разгоралось, то тускнело — так, чередуясь, приливают волны... Усики стрелок смотрели в разные стороны, образуя почти прямую линию, — начало восьмого. Он приставил часы к уху, уловил мерное потикиванье. «Вечер, — подумал он. — Конечно, вечер. Утром после семи уже светает».

Не подходя к выключателю, Едиге — сам не зная отчего — по-прежнему в темноте, довольствуясь светом, проникающим из коридора, отыскал полотенце, мыло, зубную щетку и тюбик с пастой. Он тщательно умылся, выполоскал рот, с наслаждением растер смоченным в холодной воде полотенцем грудь и спину. Глаза были красными, веки опухли — он подставил лицо под бьющую из крана струю и так держал, пока не заломило в висках от холода. Кое-как он привел и лицо, и всего себя в надлежащий вид.

«Вот и все, — сказал он себе. — В голове у меня

ясно, как никогда, на сердце спокойно, дыхание ровное. Будем жить, старина! Начнем все сначала, не повторяя ошибок. Жизнь дала нам урок?.. Спасибо! Будем жить…»

Он возвращался к себе в комнату, весело насвистывая. И света уже не боялся. Перешагнув порог, первым движением протянул руку, нашарил выключатель справа от косяка. Лампочка ярко вспыхнула, но тут же погасла.

«Перегорела… Что за черт! — ругнулся он. — Вечно в нашей комнате лампочки перегорают. Ведь недавно… Когда же?.. Да, под Новый год…»

«Лампочка сгорела…» И на фоне окна — расплывчатый силуэт…

Он увидел его так отчетливо, повернув голову к окну, зиявшему пустотой… «Перестань, — приказал он себе. — Мы ведь договорились — начать все заново. Сейчас мы это дело и отметим. Вспрыснем в ресторане. Жалко, нет Кенжека. И Халел ушел. Разве что прихватить Гульшат с Бердибеком? Вот бы потеха была… Но их, пожалуй, тоже нет. В кино где-нибудь. В последнем ряду, рука в руке, все, как полагается. И каждые пять минут — сладчайший поцелуй… Ну-ну. Они друг друга стоят. Славная парочка… Я о них не хочу думать. И не думаю. Мне и без них есть о

чем подумать. Например, какой из костюмов надеть. Это на первый взгляд просто, но это совсем не просто. Выбрать костюм. Особенно, если в комнате нет света. Если темно, самое простое становится сложным. Пустяк вроде бы… А попробуй, разбери, какой костюм светлый, какой темный или в полоску…»

Он разрешил, тем не менее, эту проблему легчайшим способом — снял с крючка ближайшую вешалку…

На улице было свежо, воздух чистый, морозный. Он вдохнул его всей грудью и даже глаза прикрыл от удовольствия. Просторная улица, оживленные прохожие, звонкие голоса, высокое, в редких звездочках, небо… Свет фонарей казался теплым, ложась на дорогу, вместо асфальта вымощенную крупным булыжником. Такси со сбитым на бок зеленым огоньком катило по нему как бы вприпрыжку… Едиге не стал объяснять шоферу, куда ехать. «Прямо, я скажу, где повернуть». Когда машина затормозила перед двухзальным рестораном в самом центре, на счетчике оказалось выбито всего тридцать семь копеек. Он усмехнулся, протянул разгневанному шоферу новенькую похрустывающую трешку.

В «зеркальном зале», небольшом, уютном, было

немноголюдно. Он выбрал свободный столик в стороне от остальных, за раскидистым фикусом, сделал заказ, попросил принести шампанского похолоднее, для начала выпил коньяку. Пошутил с неприступной на вид молоденькой официанткой в кружевной наколке, возлежавшей, подобно короне, на ее золотисто-рыжих волосах. Он проводит ее домой после работы, сказал Едиге. Не стоит, сказала она, не утруждайтесь. Но вы мне нравитесь, сказал Едиге. Если вы не согласны по доброй воле, придется вас похитить. Вы мне тоже нравитесь, сказала она. Но сегодня — нет. Может быть, завтра. Но завтра у меня не будет времени, сказал он. Завтра, и послезавтра, и весь месяц, и круглый год — у меня, представьте, не будет времени. Что же делать, сказала она. Что же делать, сказал Едиге. Вы мне так нужны именно сегодня. Нет, сказала она, именно сегодня никак не могу. А вы мне так понравились, сказал Едиге. Он расплатился за выпитое и съеденное, ошарашил официантку чрезмерной щедростью, извинился за пошлые шуточки и напоследок преподнес нераскрытую бутылку шампанского. Нет, сказала она, я не обиделась. И пригласила заходить почаще. Ему приготовят все, что он пожелает, и долго ждать не придется. Едиге не устоял против

искушения и в честь столь приятного знакомства на прощание опрокинул еще сто граммов. Довольные друг другом, они расстались.

Странно, удивился он, выходя из ресторана, я абсолютно трезв. Как и не пил. Может быть, вернуться?.. Он постоял в задумчивости на ступеньках, но решил, что прихватит что-нибудь в гастрономе для Кенжека и Халела. Что-нибудь выпить, закусить. Колбасы, например. Килограмм колбасы. Самой лучшей, копченой, по четыре или пять рублей. Жаль, ни казы, ни карты[10] в магазинах не достанешь. Но колбаса, в сущности, тоже неплохо. Из первосортной конины, со свиным салом… Два килограмма. Нет, пожалуй, три. Три килограмма колбасы, три бутылки водки. На троих — в самый раз. Три, три и три… Черт возьми, я совершенно трезв. Даже досадно… Только как быть — ни сумки, ни сетки… Надо сходить в общежитие. Схожу, возьму сетку. Большую, как мешок. Накуплю всего, сложу, взвалю сетку на спину и принесу к себе в комнату. И мы выпьем — чин по чину. Выпьем и закусим… А с какой радости? — подумал он вдруг. С какой такой радости? В честь чего?.. Ах, да, я и забыл… За

[10] Примечания: 10
Деликатесные изделия из конины.

упокой моей любви!.. Тут уж положено выпить. И на седьмой день, и на сороковой, и в годовщину. Выпить, помянуть…

Как тогда в комнате, когда перегорела лампочка, он почувствовал в горле колючий тугой комок, задохнулся. Этого еще не хватало, подумал он. Здесь, у всех на виду, посреди улицы… Глаза пощипывало, но слезы льдинками застывали на ресницах. Чепуха, сказал он себе. Я не заплачу, я труп. Я сегодня умер. Идут люди, видят мое тело, пустое, как футляр от разбитой скрипки, но им и невдомек, что я умер, остался пустой футляр…

Он шел, покачиваясь, не замечая, что свернул с тротуара и шагает по обочине. Нет в жизни счастья, думал он. Кто на всем свете несчастливее меня?.. Не знаю… Нет, знаю. Есть такой человек… Тут ничего не докажешь, не объяснишь, но я-то знаю, знаю… Есть такой человек… И это — она…

Перед общежитием он постоял, продолжая беседовать с самим собой. Потом как бы очнулся, опомнился. И, хотя в этом не было никакой надобности, расстегнул пальто, отряхнул хорошенько, почистил полы, снова застегнул на все пуговицы, поправил шапку, галстук, затянул на шее шарф под самым подбородком. Ступая твердо, уверенно, так ему по крайней мере казалось, вошел в

общежитие, плотно затворив за собой дверь.

Проходя к своей комнате, он заметил, что дверь приоткрыта, — значит, Кенжек дома. Кто бы еще мог ее открыть?.. И верно, в комнате слышалось знакомое похрапывание. Кенжек храпит во сне на свой лад, тут его ни с кем не спутаешь: на два коротких вдоха — долгий, протяжный выдох, с посвистом и сопеньем. Так баловник-малыш притворяется понарошку, будто спит: зажмурится изо всех сил и дышит старательно, с усердием, едва-едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться… Чтобы не разбудить Кенжека, Едиге не стал включать свет. Кстати, вряд ли успели вкрутить новую лампочку взамен перегоревшей. Он двигался осторожно, стремясь не зашуметь, не натолкнуться в темноте на стол или стул. Кое-как ему удалось раздеться и даже развесить все по своим местам. Только потом он присел к столу и сидел долго, закрыв глаза и стиснув пальцами виски. В голове гудело, как в океанской раковине. Все-таки ты, видно, перебрал, старина, сказал он себе. Сейчас бы глотнуть чайку. Что бы решила, глядя на тебя, твоя покойная бабушка? Она бы горько вздохнула — и тут же умерла, бедняжка, во второй раз…

Кенжек беспокойно заворочался, сбросил одея-

ло, повернулся на другой бок. Под ним застонала потревоженная койка — сердитым железным стоном. Кажется, он проснулся.

— Нет, — громко сказал он. И что-то забормотал, быстро и невнятно.

— Что?.. — переспросил Едиге. — Я не понял…

— Нет, — повторил Кенжек запальчиво. — Вы ошибаетесь!.. — Теперь его речь была более разборчивой, и Едиге уловил, что состояла она из каких-то математических терминов, соединенных в длиннейшее предложение.

— Этот вопрос мы обсудим завтра, — сказал Едиге, поскольку сейчас ему меньше всего хотелось иметь дело с высшей математикой.

— А?.. — очнулся Кенжек. Он вскинул голову, но ничего больше не сказал и тут же расслабленно ткнулся лицом в подушку.

— Спи, — произнес Едиге, вставая. — Спи, потому что великим математикам именно во сне являются великие мысли… А я попью чайку, иначе мне не заснуть. Иначе у меня голова лопнет…

Его глаза уже привыкли к темноте. Порывшись в тумбочках, своей и Кенжека, он нашарил две-три смятые пачки из-под когда-то наполнявшего их чая. Расправил, ссыпал в ладонь застрявшие на сгибах чаинки — так выдаивают сочащийся по

капле березовый сок… Щепотку он все же надоил. Чайник оказался на своем обычном месте, в углу, под хромой, без одной ножки, табуреткой. Едиге кинул в него драгоценную щепоть. Оставалось залить ее кипятком — и чай готов. Впрочем, какой там чай, одно название… Пора взяться за это дело всерьез, решил Едиге. Для этого: а) надо закупить впрок пять… нет, десять… а еще лучше — двадцать пачек индийского или цейлонского чая и сложить их на этажерке, составить, как собрание сочинений какого-нибудь классика — пускай все видят, какой мы пьем чай… в) . . . Хотя почему же в), а не б) . . . Конечно, б). Итак, б) нужен сахар, и предпочтительно кусковой, и предпочтительно из джамбульской свеклы, как самой сладкой; в) нужен чайничек для заварки, это ни на что не похоже — заваривать чай прямо в большом чайнике! (Но сегодня еще используем старый метод, ну-ка марш в «бытовку»!..); г) . . . Пожалуй, «г» пригодится для чего-нибудь, что мы упустили из виду, оставим пробел; д) нужна электроплитка…

В «бытовке» у окна стояли, обнявшись, парень и девушка. Заметив их, Едиге похолодел. Весь хмель из него выскочил моментально… Парень был крупного роста, с пышной шевелюрой, а девушка… Она приникла к нему, положила голо-

ву ему на плечо и словно дремала, спала. Едиге взглянул в их сторону единственный раз — и больше ничего не успел заметить. И выскользнуть в коридор — тоже не успел, не сумел. Делать нечего, оставалось прикинуться слепым и довершить то, зачем он сюда явился. Едиге склонился над краном, отвернул колесико…

— Едиге!..

Он по голосу понял — это не Бердибек!

— Сколько на твоих часах?..

Это Халел!

— Десять… Половина одиннадцатого… — Голос у Едиге зазвенел, надломился. Как ему хотелось в тот миг кинуться и обнять Халела!.. Он — мой самый близкий, самый верный друг, — билось у него в голове, — самый-самый верный, дружище Халел… Он да еще Кенжек.

Едиге помедлил в ожидании, что Халел заговорит с ним, но тот не проронил больше ни слова.

О девушке, стоявшей в обнимку с Халелом, Едиге вспомнил, только вернувшись к себе в комнату. Нет, это не Зада, — подумал он. — Зада и ростом пониже, и живет в другом общежитии… Может быть… Нет. Чепуха!

Когда Халел обратился к нему с вопросом, девушка вздрогнула и отодвинулась от Хале-

ла — будто проснулась, застигнутая врасплох неожиданным вторжением. На секунду ее встрепенувшийся силуэт резко прочертился на фоне окна, — чем-то знакомый и такой милый девичий силуэт… Должно быть, красивая девушка, правда, великовата. Зато косы… Да, по спине у нее струились тяжелые длинные косы… Батия! Конечно же, Батия!.. Вот так история! Ну и дела творятся на белом свете!..

Отворив тумбочку, Едиге ощупью отыскал граненый стакан. Чтобы не пролить, чего доброго, в темноте мимо, подставил его к самому носику чайника, наклонил и налил — наугад, примерно до половины. Потом осторожно, боясь обжечься кипятком, коснулся губами края стакана — и с досадой поставил его на стол. Зря он считал себя трезвым. Ведь это надо же: до того потерять голову, чтобы перепутать краны и нацедить в чайник вместо кипятка холодной воды! И самое досадное — последняя щепотка чая истрачена зря…

Не раздеваясь, как был, Едиге пластом упал на койку.

Лежа на затвердевшей, сбившейся в комок подушке, глазами в потолок, он следил за рябыми плывучими пятнами света, проникающего снаружи, и старался думать — о ком и о чем угодно,

лишь бы не о Гульшат.

Сначала он думал о Кенжеке, которому, в отличие от Едиге, никто не шлет всякий месяц по сто рублей из дома, но Кенжек, закончив университет одним из лучших, несмотря на постоянные нехватки и трудности, теперь кое-как сводит концы с концами на аспирантскую стипендию в шестьдесят рублей, сохраняя при этом такой вид, словно карманы у него набиты пачками червонцев. Мало того — он никогда не откажет одолжить товарищу… Он простодушен, бесхитростен, как ребенок, добряга Кенжек, несмотря на то, что ему ведь уже двадцать пять и жизнь его не баловала…

Он хотел думать о Кенжеке — не смог. Он попытался сосредоточиться на Халеле — сдержанном, суховатом, ироничном Халеле, который всегда точно взвешивает свои слова и поступки, не болтает попусту, не бьет на дешевый эффект — ровен, спокоен, уверен в себе, и хотя уступает способностями Кенжеку, но умом в свои двадцать четыре года равен иному пятидесятилетнему…

С Халелом тоже ничего не получилось, и Едиге представил смуглокожую крепышку Заду, белые бантики в черных волосах, взлетающих при повороте головы, подобно хвосту озорного

жеребенка; он увидел ее лицо, такое открытое, светящееся, готовое откликнуться на любую боль или радость, согревающее улыбкой каждого, кто с нею рядом… И тут же мысли его переметнулись к Батие, для которой в жизни, казалось, существуют лишь наука, занятия в лаборатории, лекции… Эта девушка, одаренная судьбою всем, кроме привлекательной внешности, на голову превосходит девяносто мужчин из ста, включая и самого Едиге, хотя он не склонен умалять собственных достоинств… Он попытался составить треугольник — Зада — Халел — Батия. Что столкнуло, сблизило Батию с Халелом — прежде они не проявляли никакого интереса друг к другу… Вопрос остался без ответа.

Он вспомнил вдруг рыжеволосую, волоокую Венеру-Шолпан, которую столько раз встречал в библиотеке, изнывающую, жаждущую, как писали в старину поэты, «сразиться на поле страсти» с любым юношей или мужчиной, были бы только у него в исправности двенадцать частей, составляющих тело, и будь он похож на статного, с лебединой шеей и широкой грудью ахалтекинского жеребца… Вспомнился ему и лысоватый уже, лет за сорок рабочий, серьезный, с равным увлечением читающий труды по

истории искусства и научную фантастику… Он, в свою очередь, уступил место Кульдари, с его подшивками пожелтелых газет и книжными грудами, — его жизнь, странная, непонятная, невольно будоражила воображение… Едиге думал, вернее, пытался думать о каждом из них, но мысли его, не застревая, летели дальше, устремляясь к одному и тому же, к одной и той же… И кружили, кружили, как глупая бабочка, влекомая огоньком и бессильная от него оторваться… Если он размышлял о Халеле, то перед ним тут же возникала Гульшат — вспоминалось, как все они весело танцевали в тот новогодний вечер… Он рассуждал о Кенжеке — и опять-таки уходил к Гульшат, на которую так завороженно смотрел его друг и с которой они втроем остались, когда ушли Халел с Задой… Он задумывался о Батие — и снова с ним была Гульшат, с которой они целовались в «бытовке», от всего сердца благодарные деликатной Батие за то, что она их не замечает… Все, все было связано с Гульшат, даже старик Кульдари: «Вы должны помириться со своей девушкой…»

Помириться?.. — думал он. — Помириться?.. С нею?.. После всего, теперь?.. Выходит, у тебя не осталось ни капельки гордости, жалкий ты

человек! Ни гордости, ни чести, ни мужского достоинства!.. Помириться?.. Попробуй лучше представить, что бы ты делал, окажись в «бытовке» не Халел с Батией, а Гульшат с Бердибеком… Подумай, ничтожнейший из ничтожнейших, и не морочь себе голову понапрасну! Это еще тебя ждет впереди — увидеть их рядышком, воркующих, как сизые голубки… Приготовься! Ты еще изопьешь свою чашу до дна…

Он взглянул на часы. Стрелки, посвечивая в темноте, усмехнулись ему: без двадцати минут двенадцать. Время, — сказал он себе, — самое время на них полюбоваться, на обоих… Они, понятно, еще разгуливают где-нибудь по улице, под ручку, млеют возле каждого подъезда или дерева… Губы ищут губ, глаза не могут оторваться от глаз… Но пора, пора, иначе дверь запрут на засов, нужно поторапливаться… Не сойти ли вниз, посмотреть из укромного уголка на счастливцев, на звезды, которые блистают у них в глазах?..

На первом этаже, справа от входа, расположен просторный вестибюль, вечерами студенты собираются здесь перед телевизором, а по субботам стулья сдвигают к стене, расчищая место для танцев. Пожалуй, в этом вестибюле и можно занять наблюдательный пункт: сейчас там темно, тихо,

Едиге никто не увидит…

Он спустился вниз, подождал, пока вахтерша отвернется, закрывая дверь, накидывая на петлю неподатливый железный крюк — тот самый крюк!.. — и юркнул в темноту, забрался в угол подальше. Отсюда было видно, как старуха протопала к себе за столик у входа. Приблизив к глазам круглый будильник, она подслеповато щурилась, долго разглядывая циферблат, затем подкрутила — вероятно, до упора — пружину, пробормотала что-то себе под нос и поставила будильник на край стола. Едиге посмотрел на свои часы. Двери сегодня закрылись рановато, за десять минут до положенного… Но в этом, знал Едиге, виноват будильник: он давно свихнулся от старости и спешил, но неравномерно, то убегая за сутки на три-четыре минуты, то на полчаса — уследить за ним было невозможно. Знакомый с его причудами, Едиге, возвращаясь запоздно вместе с Гульшат, обычно задерживался у столика и подводил его стрелки по своим.

Время тянулось медленно. Едиге видел, как вахтерша, подремывая на стуле, все ниже склоняет голову, повязанную теплым шерстяным платком, или начинает ворочаться, позевывая, вздыхая и пристанывая: «Уй-бай, поясница!» Видел, как она

опять взяла в руки часы, пригляделась к стрелкам, потом тяжело встала и, держась руками за поясницу, шаркая по полу валенками в глубоких калошах, прошлась, выключила свет, оставив гореть единственную лампочку над своим столом. Коридоры общежития погрузились в ночной полумрак. Вахтерша, удовлетворенная тем, что навела необходимый порядок, направилась к широкому, обитому кожей дивану, похожему на монументальное надгробье; диван заворчал, заскрипел, пружины его басовито запели, когда она умостилась в углу, привалясь к валику боком.

Но спустя минуту в дверь постучали. Только-только сомкнувшая сонные вежды старуха неспешно, словно в раздумье, привстала, раздвинула занавеску, прикрывавшую нижнюю половину окна рядом с диваном, заглянула в темное, заиндевелое по краям стекло. Затем, приволакивая ноги, подошла к двери, громыхнула запором. В вестибюль, окруженная густым облаком морозного пара, ввалилась компания ребят и девушек. Шум, смех, возбужденные голоса… Одни благодарили вахтершу, другие упрашивали простить — в самый-самый последний раз… Через минуту вестибюль снова опустел, голоса и быстрый топот замерли на лестнице, уводя-

щей на верхние этажи. Диван опять закряхтел всеми пружинами — старуха-вахтерша прилегла с ногами, не снимая валенок, но калоши ее остались на полу. Едиге уловил, как она пробормотала напоследок что-то вроде: «Спаси нас и помилуй…» — вероятно, на этот раз готовясь уже всерьез отойти ко сну. В тот же миг снова раздался стук в дверь.

На сей раз бедняжка, покидая свое ложе, не вздыхала даже, не бормотала свое неизменное «уй-бай, поясница», — так сильна была ее досада. Молча откинула она угол занавески и смотрела в окно долго, будто чем больше вглядывалась, тем меньше доверяла своим старым глазам. Вдруг она отпрянула от окна, как если бы там, снаружи, ей померещилось некое привидение… Словно в надежде, что оно исчезло, она вновь заглянула в окно, приставив для верности ладонь к глазам, но так же, как и в первый раз, отпрянула назад, второпях задвинула занавеску и в изнеможении плюхнулась на диван. Она посидела немного, упершись неподвижным взглядом в одну точку, затем, стараясь не заскрипеть, прикорнула, затаилась между спинкой и валиком. Глаза ее закрылись, она притворилась спящей.

Тот, кто находился в это время на улице, не мог,

разумеется, наблюдать за лукавой игрой с нечистой силой, да и не до этого ему было. Сначала забарабанили в дверь, потом в окно. Вахтерша не шевельнулась. Но стучавший не унимался. Стекло дребезжало все громче, нетерпеливей. В конце концов старуха не выдержала поединка. «Шайтан в него вселился, что ли!..» — ворчала она, поднимаясь.

Со звоном и грохотом рванулся, вылетая из петли, крюк… Да, Едиге не ошибся в своих предчувствиях: они…

Бердибек накинулся на вахтершу прямо с порога:

— Это просто безобразие! Просто издевательство! Целый час, понимаешь, торчим на морозе, окоченели — хоть умирай!..

— Хочешь — помирай, хочешь — не помирай, твое дело, — отвечала вахтерша строптиво. — Только на меня не кричи! Ты кто такой, чтоб кричать?..

— А я не кричу, — сказал Бердибек, — я не кричу, мамаша… — Он и вправду снизил голос, но интонации его не стали от этого менее угрожающими. — Я не кричу, а вот возьму и пожалуюсь, доложу, кому следует, как вы здесь самоуправствуете! Доложу, как вы дверь закрываете раньше

законного времени! Мы подошли без трех минут двенадцать…

— И пощай! — сказала вахтерша. Зная капризы своих часов, она не решалась продолжать спор по-казахски и перешла на русский, как обычно поступала в затруднительных случаях. «И пощай» значило в ее устах: «И пускай!.. Иди, жалуйся, это мое дело, когда закрывать!..» — Шляться, ходить не надо, — продолжала она, устремляясь в наступление. — Окно стучишь, спать людям не даешь! Сапсем с ума што ли сашол! Стекло разобьешь — кто отвечать будет?.. — Старуха отвернулась, давая понять, что на этом разговор закончен, и занялась дверью.

— Не ваше, — сказал Бердибек мрачно, — не ваше дело, мамаша, когда и где мне гулять. Ваша обязанность — своевременно закрывать и открывать дверь, и вы за это получаете от нашего Советского государства деньги. Смотрите у меня! Со мной, знаете ли, шутки плохи!..

Он что-то еще выговаривал ей про права и обязанности — про свои, понятно, права и про ее, понятно, обязанности, тут уж старухе, которая за всю свою жизнь и дня не училась, было не тягаться с аспирантом-историком!..

Зато Едиге чуть не выскочил из своего угла,

чуть не взорвался… Но вспомнил, что находится на наблюдательном пункте и не должен обнаруживать себя перед противником. К тому же, честно говоря, он не очень-то прислушивался к тому, что там плетет Бердибек…

Он смотрел на Гульшат, на ее лицо — бледное, застывшее… То ли она вконец продрогла на морозе, то ли ее, как и Бердибека, рассердила упрямая старуха… Войдя в общежитие, она попыталась ей улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось, она тут же растаяла на губах у Гульшат, — растаяла, пропала. Губы ей не повиновались. А глаза… Однажды на автобусной остановке он увидел девушку лет двадцати, слепую, в обеих глазницах у нее были вставлены протезы, из стекла или пластмассы, из чего их делают, Едиге не знал, но сделаны они были мастерски, сразу не заметишь, не отличишь… Тем более, что и осанка у девушки была независимая, гордая, и улыбалась она чему-то, беседуя со своим спутником, но в глазах ее — вот что сразу бросилось Едиге — не было тепла, не было света жизни, мертвым, неживым блеском они блестели… У Гульшат, подумал он, точно такие же глаза — чужие, закоченевшие, мертвые.

И пока Бердибек поучал старуху-вахтершу,

пока толковал ей о правах и обязанностях, Гульшат стояла как бы в стороне, вдалеке. Казалось, разговор ее не касается. Слышала она его или нет, по лицу было не определить. Только когда Бердибек — в который раз! — повторил: «Со мной шутки плохи!..» — она хотела ему что-то сказать, но то ли не осмелилась, то ли неловко было перед вахтершей — вмешиваться, перебивать его... И Гульшат обратилась к ней — мягко, просяще:

— Извините нас... Это я во всем виновата...

— Милая, — сказала та, покачав головой, — милая, если бы я была умной да ученой, я бы, может, сама научила кое-кого уму-разуму, а вот приходится терпеть и слушать на старости лет, как позорят последними словами... А тебе, дочка, я добра желаю, подумай хорошенько, правильную ли дорожку ты выбрала... — Она огорченно махнула рукой и поплелась к дивану.

Гульшат, глядя ей в спину, проводила старуху глазами. По ее лицу трудно было понять, как отнеслась она к услышанному.

Бердибек, неуверенно переминавшийся подле Гульшат, потянулся было взять ее под руку и увести, но она повела плечом и высвободила локоть. Он попытался повторить свой маневр, и снова неудачно. Впрочем, особенной решительности

в ее движениях не ощущалось. В третий раз она бы уступила, подумал Едиге, наблюдая из своей засады, как они рядом, но все же порознь шли к лестнице.

Неужели ей нравится Бердибек?.. Если нет, то с чего бы стала она таскаться с ним до полночи, ходить в кино или еще куда-то, откуда ему знать, куда они ходили… Но если ей неприятно даже его прикосновение и она отдергивает локоть… Минутное раздражение?.. Каприз?.. Едиге терялся, стараясь ответить на эти вопросы. Все спуталось в его голове, один ответ противоречил другому, мысли были сумбурные, он так ни на чем и не остановился. «Впрочем, не все ли мне равно, что там и как у них складывается… — подумал он. — Это уж не моя забота…»

Он ждал, пока вахтерша заснет, — и теперь уже глубоким, бестревожным сном, — чтобы без помех выбраться из темного вестибюля. Но старуха уснула, он слушал, как она всхрапывает, посвистывает носом, а сам все сидел, не двигаясь, у себя в углу…

32

В том году зима затянулась.

Как обычно в Алма-Ате, начало марта — месяца кукушки — выдалось теплым. Но прошла неделя, и люди, поверившие было обманчивой улыбке весны, опять закутались в зимние одежды. Ударил мороз. Одряхлевший, казалось бы, старец, прежде чем окончательно сдать позиции, в последний раз надул, напружинил щеки и дохнул стужей на почерневшую, подтаявшую под ярким солнцем землю. Он и раньше, случалось, откалывал подобные шутки, чуть не в разгаре весны обрушивая на город бураны и снегопады, но, побуянив, припомнив прошлую удаль, напоследок одаривал землю пушистым, нежным покровом, белым, как подвенечное платье невесты, а сам уходил, ковыляя, волоча за собой старую изодранную шубу, кочевал куда-то на север, мотая седой бородой… Но на этот раз он словно забыл о прощальных подарках, о том, чтобы пригнать из-за гор лиловые, разбухшие тучи, полные искрящихся снежинок, и затем, очищая лишившийся за долгую зиму прозрачности, пропитанный гарью воздух, засеять землю последним посевом… Су-

гробы, отощавшие в оттепель, все еще лежали на обочинах, вдоль домов и заборов, и снег, ослеплявший прежде белизной, был сер и грязен, как затоптанная, старая кошма.

И все-таки весна была на пороге. Деревья стояли продрогшие, иззябшие, но уже освобожденные от снега, с покоричневевшей корой, и где-то там, внутри, по невидимым сосудам корни гнали к ветвям пробужденные соки, и ветви, устремляясь к небу, словно тянули к солнцу руки, просили у неба тепла — и скворцов, неумолчно стрекочущих, неустанно хлопотливых, и сорок с воронами, опускающихся на деревья в поисках ночлега, с утра до вечера кружащих над городом, пугаясь трамваев и автобусов… Как ни упиралась зима, она уже опустилась на четвереньки, лапы ее ослабели, когти сточились, она отползала все дальше с каждым днем. И ее неизменная спутница, долгая черная ночь, становилась короче и короче, а светлый день, друг весны, с каждыми сутками подрастал — как говорили в старину, карыс за карысом, а это не так уж мало, если учесть, что карыс равен четверти аршина…

Нелегким было это время для Едиге.

Неделями безвылазно пропадал он в архиве. Кипы рукописных и печатных текстов проходили

через его руки — папка за папкой, том за томом. То, что было известно ему лишь понаслышке, приблизительно, теперь обретало тяжесть плоти, прочность истины; многое из того, над чем он прежде не задумывался, скользя мимо, вдруг оказывалось необычайно важным, значительным. Неожиданно обнаружилось, что все, с чем имел он дело, прямо или косвенно касается темы, которую он выбрал для диссертации. Однако пока Едиге никому не рассказывал о жемчужном зерне, случайно попавшемся ему в бумажных грудах… Он себе работал и работал, зная твердо, что главное уже позади, ему необходимо лишь подтвердить и развить концепцию, возникшую у него в голове. Когда-нибудь, думал он, факты, на которые он сейчас наталкивался, ему пригодятся в полной мере, но сейчас… Едиге присовокупил к правилу «Изучи и откажись» новое: «Знай и забудь», разумеется — забудь до поры до времени… Разве память не уподобляется при этом архиву, который дремлет, как умудренный долгой жизнью и опытом старец, и терпеливо хранит на своих бесчисленных полках свидетельства о добре и зле, прекрасном и безобразном, трагическом и смешном — обо всем, что ни встречается в мире?.. Архив молчалив и скромен, всеведущ,

но не кичлив. И Едиге, не вкусивший еще от почета и славы, тоже был далек от искушения появиться перед людьми в облике пророка, чтобы возвестить: «Мне открылось... Мне, первому и единственному...» Зато ему довелось испытать наслаждение более острое, радость более захватывающую: ступить на тропу, которой не касалась дотоле нога человека, и увидеть впереди величественный дворец, о существовании которого пока не догадывается ни одна живая душа. Знать и беречь в себе тайну... Знать... Не это ли высшее торжество духа?.. Все другое — признание, слава — придет само собой, в этом Едиге не сомневался. Знать... Но чем больше он узнавал, тем чаще убеждался, как мало, ничтожно мало знает. Иногда его мучило собственное бессилие: кто он? Всего-навсего ореховая скорлупка в океане... Иногда он чувствовал, что хотя знания его в сравнении с этим океаном — только жалкая лужица, не просохшая после короткого дождя, но кое в чем он превосходит своих сверстников, и кое в чем — карасакалов, старше его на много лет, и даже аксакалов — кое в чем... Уверенность в своих силах рождала в его сердце надежду на то, что в будущем, если он посвятит науке всю свою жизнь, без остатка, ему по плечу станут

большие дела.

Что тут было от наивного детства, что — от дерзкой, исполненной самомнения юности, что — от зрелого сознания собственных возможностей?.. Пожалуй, напрасный труд пытаться отделить одно от другого.

Но нередко Едиге чувствовал, что заблудился. Его подавляло обилие материала, масса фактов, которые не желали согласовываться между собой, спорили, опровергали друг друга. Стройность мыслей исчезала, гармония сменялась какофонией. Он видел перед собой не благоухающий плодовый сад, а кое-как брошенные в землю семена. Что же дальше? Хорошо, если прольется теплый дождь, пригреет солнце, лето не окажется засушливым, осень — ранней, обильной осадками, — тогда, быть может, и народится богатый урожай. А если град? Если земля потрескается от палящего зноя? И случится еще разное, что невозможно предвидеть?.. Тогда к чему был тяжкий труд?.. Еще одна диссертация, еще один кандидат?.. И все? И только?..

Так от светлых надежд он обращался к черному пессимизму, от веры к мрачным предчувствиям. Но тем не менее архив был его убежищем и спасением… В нем незаметно мелькали дни, утро

сменялось вечером… Невмоготу становилось по ночам.

Дорогой в общежитие он усмехался, думая, что рабочее время в учреждениях типа архива надо бы продлить, увеличить до круглых суток. Но архив закрывали в шесть, изредка удавалось задержаться до восьми. Потом волей-неволей приходилось плестись к себе в берлогу. Впереди была ночь, длинная, дли-ин-ная ночь, вмещавшая, казалось, не часы, а месяцы и годы. Пустота. Одиночество. Безмолвие. Койка, похожая на могилу…

Иногда Едиге, побродив по улицам, заворачивал в ресторан, в неизменный «зеркальный зал». Здесь бывало не слишком людно, не слишком шумно. Полосы серебристого стекла в простенках между окнами отражали огни хрустальной люстры, мгновенные вспышки на гранях фужеров, беспечные, озабоченные улыбками лица… Едиге не притрагивался к вину или коньяку. Как-никак он был занят работой и наутро хотел иметь ясную голову. Он ковырял вилкой в тарелке с остывшим блюдом, потягивал потихоньку лимонад. Потом являлась какая-нибудь компания, для которой требовался свободный столик, или в люстре убавляли свет — в знак того, что ресторанный вечер

закончен…

Вернувшись в общежитие, он сразу же ложился в постель, пристроив перед глазами раскрытую книгу. Его не привлекала проза: он боялся ее скрупулезного анализа, беспощадной точности. Непрочитанные романы грозили на каждой странице миной, готовой взорваться в любой миг. Знакомые произведения уводили к знакомым мыслям… Едиге предпочитал поэзию, в основном классическую. Она освежала, сердцу становилось легко — в плавном парении рифм и ритма. Но и тут была необходима осторожность, точнее — строгий выбор. Любимые поэты не вызывали ответа у него в душе, зато как никогда прежде он упивался Лермонтовым, погружался в Байрона, открывая неизведанные глубины в «Манфреде», «Каине», «Чайльд Гарольде». Кенжек по-детски посапывал во сне, что-то бормотал, беспокойно ворочаясь с боку на бок. Едиге — в который раз! — перелистывал «Брандта», «Пер-Гюнта»… Чуть не каждая ночь завершалась «Фаустом» — зная его почти наизусть, он возвращался к нему снова и снова. На тумбочке Едиге лежали томики Петефи, Мицкевича: ему доставляло радость одно сознание, что в любую минуту он может окунуться в их стихи, где клокочет любовь и страдание, боль

и вера…

Он читал до изнеможения. Голова тупела, перед глазами плыл туман. Едиге гасил прикрытую газетой лампочку, натягивал до подбородка одеяло. Тело его наполняла усталость, оно тяжелело, как асык, залитый свинцом; веки смыкались, но сон не приходил. И невтерпеж было лежать, и глупо подниматься — куда идти среди ночи, к кому?.. До утра, до рассветного часа тянулась эта маята, между сном и явью, между обволакивающими паутиной мыслями — и суматошным бредом… Наконец, как в омут, он падал в сон — черный, без сновидений, словно увесистый камень уводил его на дно и держал там — крепко, намертво.

Но когда бы он ни засыпал, в шесть наступало пробуждение. Он пытался снова нырнуть в темную глубину, забыться… Он мог лежать с закрытыми глазами — полчаса, час, без всякого толка. И мог подняться, взять мыло, полотенце и, взбадривая неотдохнувшее тело, совершить утреннее омовение под краном, в еще пустой умывалке.

До той минуты, когда перед ним распахнется дверь спасительного архива, оставалось еще три часа. Их тоже нелегко бывало заполнить.

33

Однажды, выходя из архива, Едиге встретился на улице с Кульдари — и непритворно обрадовался этому; так после долгой разлуки встречают близкого родича или друга. Хотя не сам по себе старик его обрадовал, а скорее то, что было с ним связано в прошлом — счастливом, невозвратном… Он кинулся к Кульдари, еще немного — и он обнял бы и расцеловал старика на глазах у прохожих. А тот, просияв, улыбался ему так, что были видны корешки его редких, желтоватых зубов, его жилистые пальцы крепко сжимали руку Едиге. Кожа на пальцах Кульдари, тонкая, высохшая, казалась прозрачной, сквозь нее просвечивали костяшки и припухшие суставы.

Поток людей, раздваиваясь посреди тротуара, обтекал их с обеих сторон. Глядя на Едиге и Кульдари, прохожие пересмеивались, а они все потрясали стиснутыми руками.

— Вы куда-то запропали, Товарищ Молодой Ученый, — говорил Кульдари, широко осклабясь. — В библиотеке совсем вас не видно…

Едиге посетовал на дела, недостаток времени.

— А я вас ждал. — Кульдари, перестав улы-

баться, принял вид серьезный и даже несколько таинственный. — Мне нужно кое о чем с вами посоветоваться… Но это важный, долгий разговор, а времени у вас и без того не хватает… Вы куда-то спешите… Прошу извинить, я не…

Он вдруг сбился, смешался и оборвал свою невнятную речь. Едиге, видя, что старик намеревается с ним проститься, остановил Кульдари.

— Как раз сегодня я не тороплюсь. Что, если мы зайдем в ресторан? Я бы угостил вас обедом…

— Обедом?..

Неожиданно старик нахмурился, вскинул голову. Лицо его стало холодным, неприступным.

— Вы желаете угостить меня обедом?.. Вы что же думаете, молодой человек, я — нищий, у которого не найдется денег на пропитание? К вашему сведению, я получаю от государства пенсию, и не маленькую, не пять и не десять рублей. Мне хватает. И я бы мог прокормить еще двух-трех таких же, как я! Вот так, молодой человек!..

Он заключил свой протест сердитым взмахом руки, готовый повернуться и продолжать прерванный путь.

— Простите, аксакал, я, наверное, неудачно выразился. Ведь вы сказали, что хотите поговорить, и разговор у вас долгий, серьезный. Вот я и

подумал: не на улице же нам его заводить?..

Кульдари смягчился.

— Это другое дело… Но в ресторан я не пойду.

— Я очень прошу.

— Нет, — покачал головой Кульдари. — При всем почтении к вашему таланту (он выдержал паузу, как бы оттеняя значительность слов)… При всем почтении, я не могу исполнить вашей просьбы.

— Да отчего же?..

— Первым всегда приглашает старший по возрасту, — со щепетильной церемонностью пояснил Кульдари. — Но я, не предполагая вас встретить, вышел из дома, не захватив кошелька. За что и прошу извинить.

— О, господи!.. — Едиге улыбнулся. — Что нам считаться? Сегодня приглашает младший, завтра… Завтра будет видно!..

— Нет-нет, — неожиданно вспомнив о чем-то, вновь возразил Кульдари. — На мне и костюм сегодня старый… Ведь я не знал, что вы… — Он для убедительности расстегнул свое долгополое пальто, демонстрируя потертые лацканы костюма, который Едиге обычно видел на нем в библиотеке. — В такой одежде…

— И прекрасно, — заверил старика Едиге. —

Настоящий бостон. Материал, из которого сшит костюм у меня, куда хуже. — Впрочем, расстегивать пальто, подобно Кульдари, он не стал. Старик упрямо твердил свое.

— Не смущайтесь по пустякам, — сказал Едиге. — Мы пойдем в ресторан, где меня знают. Я ужинаю там чуть не каждый вечер. Если вы не желаете мне голодной смерти, не раздумывайте долго, соглашайтесь.

Ему все-таки удалось уломать Кульдари.

— Ну, что же, молодой человек… Я готов… Единственно из уважения к вашим дарованиям…

В ресторане Кульдари объявил, что для него ни в коем случае не надо заказывать ничего, кроме бутылки минеральной воды. Он с трудом решился заменить ее двумя стаканами чая. После длительных уговоров он присоединил к чаю салат. Но в заключение (помог ли тут подстрекающий к греховным желаниям вид молодой официантки, той самой, златоволосой, улыбнувшейся Едиге, как давнему приятелю, со словами: «Добрый вечер, Эдгар!» — или сыграла роль настойчивость Едиге…) — но в заключение он подчинился своему юному другу во всем, сохранив непреклонность разве что лишь в отношении винно-водочных изделий. Едиге не спорил и заказал сто граммов

армянского коньяку — для себя.

— Высокочтимый младший брат мой Эдгар! — торжественно заговорил Кульдари, когда расторопная официантка накрыла стол и принесла закуски. Старик постепенно оттаивал, прежняя скованность покидала его. Глаза его заблистали, голос окреп. — Сидящий перед вами Кулян-акын — человек, многое повидавший и переживший, претерпевший на своем веку разного рода злоключения и беды. Были времена, когда в результате бесстыдной клеветы, возведенной на меня, мне пришлось на годы и годы отойти от творчества…

— Минутку… — Едиге налил в фужер Кульдари минеральной воды из только что откупоренной бутылки, плеснул в свою стопку темно-золотистого коньяка из тонкостенного, похожего на колбу графинчика. — За вас, аксакал, и за таких, как вы! Пусть не оскудевает ваша энергия и сила духа! — Он чокнулся с Кульдари-ученым — Кулян-акыном, приподнявшим свой фужер, в котором вскипала мелкими пузырьками вода. — Простите, что перебил вас. Я весь внимание…

— Но я не утратил веры в людей, в добро, — продолжал Кульдари. — Если угодно, это была для меня еще одна школа, школа жизни… Человек

закаляет сердце, переправляясь через бурный поток. Мужество рождается в преодолении… Но сейчас я имею в виду другое. Для меня всегда главным было творчество. А значит — служение людям, которые созидают светлое будущее… Правильно я говорю?..

Едиге кивнул. «Правильно, только уж слишком высокопарно», — подумал он.

— Так вот, — продолжал Кульдари, — о чем же я обязан писать? О темных сторонах жизни, которые, понятно, существуют, с которыми мне довелось повстречаться?.. Не согласен! — Он сурово посмотрел на Едиге, глаза у него яростно вспыхнули — пронзительный, острый луч ударил Едиге в лицо. — Нет, не согласен! Человеку не для того выпадают страдания, чтобы он впоследствии смаковал их, расписывал и мусолил! Я знаю кое-кого, кто так думает… Ничтожные, презренные душонки, не ведающие, что такое истинное творчество, в чем великая и святая цель искусства!..

— В чем же она, эта святая цель? — спросил Едиге.

— Не в том, молодой человек, не в том, чтобы заносить на бумагу все, что слышал и видел, без всякого разбора и выбора! Нет, не в том! — Для

Кульдари явно был нужен оппонент — даже намек на возражение раззадоривал старика, подстегивал его красноречие. — Для того-то и существуют страдания, чтобы оценить полной мерой свет и радость жизни! Писаки, которые этого не понимают, должны пользоваться туалетной бумагой! Да, именно так — туалетной!..

— Глубокие и мудрые мысли, аксакал, но вы совсем забыли о еде…

— Я знаю, как и о чем писать!..

— Вот хлеб… Вот соль, перец, если желаете…

— Я давно вас приметил и выделил, молодой человек. Вы усидчивы, терпеливы и любознательны. Вы умеете думать и понимать, хотя, наверное, избалованы воспитанием и счастливой жизнью, как все ваше поколение… Но скажите откровенно, не тая своих мыслей… Греки оставили после себя «Одиссею», «Илиаду» — величайшие творения, летопись своего времени… Фирдоуси написал «Шахнаме», энциклопедию персидской истории. Возьмите Данте. Возьмите Сервантеса. Возьмите Толстого… Их произведения — портрет эпохи! За это мы и склоняем перед ними головы. Где, скажите, у нас что-либо подобное? Где они — поэмы, романы, эпопеи?.. Конечно, вы ответите — а «Тихий Дон»?.. Не спорю. Есть и у

нас крупные, значительные вещи. Но пришла пора отразить… Отразить… Отразить наш век в произведении гигантском, труде титаническом… где и «Тихий Дон» оказался бы лишь эпизодом, коротенькой главкой… Вы понимаете, о чем я говорю?..

— Признаться, не совсем, — Едиге слегка пожал плечами. — Мне кажется, вы смешиваете и путаете различные понятия…

— Э, нет, молодой человек, я ничего не путаю, — Кульдари погрозил ему пальцем. — Я не путаю, это у вас в голове путаница, потому вы и не можете уразуметь моих слов…

— Тогда расскажите обо всем яснее, у меня и вправду какой-то сумбур в мозгах. — Едиге виновато улыбнулся, стремясь скрыть этой улыбкой накипающее раздражение.

— Что ж, извольте. — Кульдари, казалось, и сам почувствовал, что перехватил через край, и понизил голос. Он продолжал не горячась, тихо, отчего каждое его слово звучало особенно веско и значительно. — Чтобы осуществить мой замысел, требуются величайший талант и величайшее упорство. Тут необходимо вложить всю жизнь, иначе цели не достигнуть… — Он испытующе вгляделся в Едиге, выжидая, не станет ли он спо-

рить. Не дождался, откашлялся, прочищая горло, и заговорил — уже напористо, резко: — Сколько лет сочинял Фирдоуси «Шахнаме»?

— Тридцать четыре года, — без запинки сообщил Едиге.

— Мне понадобится меньше времени.

— Вам?..

— Да, мне. Кулян-акыну. — Кульдари откинулся на спинку стула и с победоносным видом огляделся.

Едиге чуть вилку не выронил — до того был он ошеломлен. С минуту он сидел в совершенном замешательстве, не зная, что ответить. Потом выцедил себе в стопку весь, до последней капли, коньяк и опрокинул в рот, забыв чокнуться со стариком.

Кульдари наслаждался эффектом.

— Я уже давно вынашиваю эту книгу, но только теперь, на пенсии, освободился от посторонних дел… Это будет великая, возможно, — величайшая из книг… Да, да — величайшая из книг о нашем времени, величайшем из всех времен. В ней сольются традиции древней поэзии и дух атомного века. Название у меня готово. «Хамса», так я назову свою эпопею. А?.. Что вы на это скажете?.. Но моя «Хамса» — совсем не то, что «Хамса»

у Низами, Навои, Физули, Хосров… Кому теперь интересны такие пустяки, как любовные шашни какого-то Меджнуна и Лейлы, например… Это все не для нашего времени, не для нынешней великой эпохи!.. Разве я не прав?..

— Отчего же, вы абсолютно правы, — сказал Едиге.

Он приподнял опустевший графинчик за узкое горлышко, с досадой поболтал в воздухе — официантка была далеко.

— Но такая книга должна иметь соответственную форму! — В голосе Кульдари звучало торжество. — Возможно, вы слышали, что слово «хамса» означает «пять книг»… Теперешняя молодежь совсем не знает восточной литературы… Пять книг. Свою эпопею я создам в пяти книгах. Вот почему она и называется — «Хамса». Но если кто-нибудь вздумает уличить меня в формализме, приписать… Я опровергну, все опровергну!.. Все обвинения!.. У меня форма в полном соответствии с содержанием! Кульдари все знает сам, не надо его учить… К тому же история, если в нее глубоко проникнуть, как раз и требует членения на пять частей, пять звеньев… Не думайте, я не хвастаюсь, не преувеличиваю собственных заслуг… Но я работаю, тружусь день и ночь и верю:

моя книга будет именно такой, какую давно ждут люди!..

— Ваши намерения благородны и достойны всяческой похвалы, — стараясь не улыбнуться в открытую, произнес Едиге. — Но нужно учитывать еще и особенности жанра. Тут дело не в одном поэтическом таланте…

— Не беспокойтесь… — Кульдари усмехнулся. — Не беспокойтесь, молодой человек, что касается таланта… Его у меня вполне достаточно. К тому же тема… Такая тема сама по себе способна вдохновить, окрылить фантазию. А вот вы… Да, да, вы, молодой человек, — тут в глазах его полыхнуло пламя, — вы хотите, чтобы я от нее отказался! И затеваете разговоры о «поэтическом таланте»… Талант! Да тут еще шаг — и… Не шутите с огнем, юноша! По-вашему, конечно, и у Абая был талант?.. У того Абая, который предавался безысходному пессимизму, когда писал: «Не находя лекарства, чувствую, как печаль огнем сжигает грудь мою…» А?.. Это вы и называете поэтическим талантом?

— Погодите… — Едиге пододвинулся поближе к Кульдари. — Я все меньше вас понимаю…

— Вы не меня, вы истинной поэзии не понимаете! Не понимаете, что нужно от поэзии нашим

современникам!..

Едиге чувствовал — от злости у него начинают дрожать руки. Он мог бы ответить Кульдари, мог бы многое сказать ему… Но, как нарочно, сейчас у него не находилось в запасе слов, чтобы срезать этого тишайшего старичка, такого застенчивого, такого скромнягу, способного, казалось, вызывать только жалость… Вот куда его понесло! Слова у Едиге, впрочем, имелись — тяжелые, увесистые, слова-кирпичи, слова-камни, которые в два счета сбили бы того с ног. Но Кульдари, нельзя забывать, аксакал, к тому же гость… Едиге стиснул зубы, сдержался. И только убедившись, что достаточно владеет собой, поднял на Кульдари глаза. Старик, самодовольно развалясь на стуле, пальцами правой руки безостановочно выстукивал по столу, словно играл на пианино, и при этом, склонив к плечу голову, созерцал потолок.



— Не будем спорить об Абае, за ним уже закрепилось вполне прочное место в литературе, — сказал Едиге, стараясь ядовито вежливым тоном замаскировать шипы сарказма, торчащие из каждого слова. — Что же до вас, то еще не ясно, на что вы способны в поэзии.

— Хитер, хитер, мальчик!.. — Кульдари рассмеялся. — Хочешь заставить меня проговориться, выведать мои секреты?.. Не выйдет!.. — Он вдруг напустил на себя гордый вид, нижняя губа оттопырилась от важности. — Моя «Хамса» еще не дописана. Закончены лишь первая, вторая и четвертая книги. Не хватает и в третьей книге, в самом начале, пары глав, хотя ее и так можно считать завершенной. Пятую же я только начал…

— И эта эпопея… Ваша «Хамса»… Какой у нее объем?

— «Хамса» будет насчитывать пятьдесят тысяч строк. Пять книг — по десять тысяч. У каждой книги свой пролог, свой эпилог, что же до поэмы в целом, то по традиции древней восточной поэзии она открывается «Приветствием читателю», а заключаться должна «Прощанием с читателем» — это важнейшее место в поэме, ее философический итог… Теперь вы понимаете, как сложна композиция, которую я избрал, не го-

воря уже об остальном?.. Вы молоды, юноша, но я вам доверяю. Только смотрите, не проболтайтесь о том, что сегодня от меня услышали. Не дай бог, дойдет раньше времени до журналистов…

— Сколько вы уже написали?

— На нынешнее число готово сорок две тысячи пятьсот восемьдесят одна строка, осталось семь тысяч четыреста девятнадцать. К намеченному сроку я обязан успеть все закончить.

— И что потом? — Едиге сидел перед стариком, упершись локтями в стол и стиснув лоб руками. Глаза его были полуприкрыты.

— Потом я отнесу поэму в издательство. Думаю, что ее поддержит самая широкая общественность.

— Сколько вам лет? — Едиге в упор посмотрел на Кульдари.

— Шестьдесят шесть. Но я еще крепок и не собираюсь сходить со сцены. Мой дед и в девяносто два года соперничал в кокпаре с молодыми джигитами.

— У вас впереди долгая жизнь, в этом я уверен, — сказал Едиге. — Но к чему обрекать ее на дополнительные терзания? Не лучше ли поставить на них точку?

— Конечно, мне живется нелегко. С одной сто-

роны — муки творчества, с другой — поиски материала, ведь поэма-то историческая… В ней охвачена вся наша эпоха… Приходится много читать, подыскивать факты, цифры… Все это требует огромного труда, но он окупится сторицей.

— Вы не поняли. Я хотел сказать, что вам надо совсем прекратить свои занятия, оставить поэзию и зажить спокойно, радуясь законному отдыху.

— Мне?.. П-прекратить?.. Оставить п-поэзию?.. — Кульдари задохнулся. — Так я что же… Я кто же п-по-вашему?..

— Вы очень достойный человек. Достойный, почтенный человек… В этом я совершенно убежден. Но я так же твердо убежден, что вы не поэт.

Кульдари подскочил, взвился над стулом, как пробка от шампанского. И тут же опустился на прежнее место.

— Товарищ Эдгар… — Звуки вырывались из него с шипением, в лицо Едиге летели мелкие брызги слюны. — Товарищ Эдгар… Не знаю, простите, вашей фамилии… — Кульдари отстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, ослабил ворот, как бы освобождая шею от тугих тисков, и горделиво вскинул голову. — Я вас раскусил, товарищ Эдгар! Ваши утверждения говорят о

тайной зависти, которую вы испытываете… Да, именно — зависти! Вы не смеете оскорблять мою литературную честь!

— Что вам за дело до литературы? — усмехнулся Едиге. — Почему вам не лежится дома, на теплой печке, в кругу детей и внуков?..

— Все ясно! — Кульдари дышал тяжело, с хрипом. — Эти слова до конца разоблачают ваш облик… Чуждый, гнилой облик… Но вы не имеете права!.. Никакого права — требовать, чтобы я отступился от литературы!

— Ничего я не требую, — сказал Едиге. — Я просто говорю, что думаю.

— Вы не слышали моих стихов!

— Не слышал, но догадываюсь. И промолчал бы, если бы не желал вам добра.

— Вы?.. Добра?.. Мне?.. — Однако Кульдари слегка приутих. — Я прочту пролог из пятой книги «Хамсы». Если не возражаете…

— Не возражаю.

Кульдари, пасмурный, как грозовая туча, поднялся со стула, мрачно откашлялся, прочищая горло. Затем, устремив куда-то в пространство глаза с выцветшими, белесыми зрачками, вскинул над головой тощий кулак:

Наше время, летящее вперед,

Прямо к Марсу мчащее вперед!
Мы, Луну оставив позади,
К Солнцу направляем свой полет!..

Он не то сбился, забыл продолжение, не то ему хотелось увидеть, какое действие оказали на Едиге первые строчки, но Кульдари выжидающе смолк, повернувшись к своему слушателю.

— Это не стихи, — сказал Едиге.

Ему казалось, Кульдари набросится на него чуть не с кулаками. Пожалуй, тогда ему было бы легче… Но старик не вымолвил ни слова. Он только вдруг согнулся, как если бы в поясницу ему вонзилась пуля, и рухнул на стул.

— Почему?.. — Он выговорил это слово после продолжительного молчания. Голос его едва звучал, губы почти не шевелились.

— Тут и малому ребенку понятно — почему.

— Нет, вы мне докажите, докажите… — Кульдари внезапно оправился, оживился. — Нельзя же так, без всяких доказательств…

Едиге пожал плечами.

— Что ж, если хотите…

Он произнес короткую лекцию — о современной поэзии, строении стиха, о великих традициях и слепом эпигонстве, о правде жизни и мертвой

риторике… Он стремился к простоте и ясности, но местами запинался, ощущая нечто похожее на неловкость, даже стыд — за свои знания, свою университетскую образованность, свою полную сил и надежд молодость — за все, чем владел он сам и чего никогда уже не будет иметь этот старик — честолюбивый, бездарный и несчастный… Он чувствовал себя так, будто в чем-то виноват перед ним…

Кульдари слушал его покорно, безропотно. Он съежился, согнулся, зажав ладони между острых колен. Казалось, он продрог на ледяном ветру, и во всем мире не хватит огня, чтобы ему отогреться.

Но Едиге не успел закончить. Кульдари встрепенулся, вскочил и торопливо, судорожным движением выхватил из кармана горсть медяков.

— Салат из огурцов — четыре копейки, — бормотал он. — Кабырга — восемнадцать… Бифштекс — сорок семь… Чай — две копейки… Хлеб… Вода…

Забыв, что он в ресторане, Кульдари подсчитывал заказанное по расценкам обычной столовой, и от этого скрупулезная точность его расчетов выглядела особенно жалкой.

Остатки мелочи он сунул обратно в карман. И все проверил сызнова.

— Семьдесят шесть копеек… Пять на чай… Итого восемьдесят одна копейка… За прожитые годы Кулян-акын еще никому не был в тягость… Не был должен… Никому, ни в чем… Официантка!

— Перестаньте, аксакал, вы мой гость…

Кульдари сам разжал, разогнул ладонь подошедшей к столику, вконец растерянной официантке, всыпал ей в руку всю мелочь и сказал, глядя поверх головы Едиге:

— Наши предки к своим гостям относились иначе, товарищ Эдгар! — И направился к выходу, не попрощавшись.

— Что случилось? — Ничего не понимая, девушка раскрыла перед Едиге ладонь, на которой лежала пригоршня медяков.

— У вас дома есть телефон?

— Нет…

— Вот видите, мой гость каким-то образом проведал об этом. Теперь вы сможете звонить из автомата сколько угодно тому, кого любите.

— Вы что-то сочиняете, Эдгар!

— Хорошо бы еще одну чашечку кофе…

Конечно же, он сам виноват — не так надо было держаться, не так разговаривать с Кульдари… Но

слишком велико было разочарование, слишком остра горечь. В какие романтические одежды облекал он этого жалкого, немощного старика!.. И вот… Он как будто внезапно осиротел. Едиге вдруг охватила такая тоска, словно умер старший брат, служивший для него примером и опорой, или близкий друг, связанный с ним общими душевными тайнами…

34

Обычно аспиранты, живущие в одном общежитии, подолгу не встречались, даже если комнаты их находились рядом. Каждый бывал поглощен своей работой, собственными заботами. Кто целые дни проводил в архиве, кто — в библиотеке или лаборатории. Каждый сам устанавливал для себя удобный распорядок: одни предпочитали раньше уйти и раньше вернуться, другие поздно вставали и поздно ложились, третьим общежитие вообще лишь служило местом для короткого ночлега. Чаще всего виделись мимоходом, на бегу, в коридоре или умывалке, здоровались, кивали один другому, обменивались шуткой — и тут же расходились в разные стороны, подобно встречным составам, которые несутся на полной скорости по параллельным путям… У молодых людей в возрасте от двадцати двух до двадцати шести лет (средний возраст аспирантов) не хватало времени для простых житейских дел, из которых складывается повседневное существование. Они жили будущим и для будущего, направляя свою нерастраченную на пустяки энергию к отдаленным целям. Как сказал бы поэт,

ветер великих надежд раздувал широкие паруса их желаний. Среди них находились, разумеется, и такие, кто стремился с минимальной затратой сил достигнуть того, что давалось другим ценой упорного труда. Как говорится, если у собаки есть хозяин, то и для волка есть бог… Тут «божеством», на которое уповали, бывал какой-нибудь брат или сват, дядя или племянник, лишь бы «человек с положением», «человек со связями», в крайнем случае — тот, кто сам «связями» не обзавелся, но близок тому, кто их имеет. Однако такие «живущие с расчетом» молодые люди внешне мало выделялись среди остальных, сливаясь с массой энергичных, не теряющих и часа даром аспирантов, исполненных веры в науку и свое призвание…

Что до Едиге, то последний месяц он намеренно избегал своих товарищей и друзей. Его тяготили обычные разговоры, раздражали легкомысленные остроты, которыми перебрасывались на ходу. Замечали, что его характер — и прежде не из легких — портился на глазах. С ним заговаривали — он молчал, здоровались — пробегал мимо, едва кивнув. «Молокосос… — думали, глядя ему вслед. — Вконец зазнался, загордился… Задрал еще выше свой заносчивый нос!..»

А Едиге попросту чувствовал, что начинает бояться людей. Бояться внимательных, испытующих взглядов, бояться вопросов, дружеского — и такого бесполезного! — участия… Бояться насмешек и огласки. Улыбки, которые возникали в его присутствии, казались ему злорадными, остроты — желчными, с намеками и подтекстом. Он искал одиночества. И в особенности страшился встреч с двумя людьми…

Первым, понятно, был Бердибек, второй — Халел.

Бердибек средь бела дня ограбил его, разбил его любовь, поразил в самое сердце мужскую гордость. Как там ни крути, как ни ерепенься — факт остается фактом. Торжествовал Бердибек, Едиге был повержен, опрокинут, втоптан в грязь… А Халел? Умный, проницательный Халел, вероятно, догадывался, что у Едиге на душе, не зря его взгляд, мимолетно задерживаясь на Едиге, становился таким пристальным, как бы и сострадающим, и усмехающимся одновременно. Едиге был открыт, прозрачен для обоих. Но кому по нраву обнажать свою слабость — перед врагом или другом, не все ли равно? Оба вторглись в ту область жизни Едиге, которая для каждого — святая святых, и тем словно сблизились между

собой, по крайней мере он не мог избавиться от этого ощущения…

Оставался Кенжек, наивный, простодушный Кенжек, большой ребенок… Едиге не брал его в расчет. Но именно Кенжек удивил его, и самым неожиданным образом.

Они и раньше не часто виделись — то Едиге заставал Кенжека спящим, возвращаясь в общежитие запоздно, то Кенжек уходил по утрам, когда приятель его лежал, уткнувшись в подушку. Теперь их встречи сделались еще более редкими.

Но как-то вечером Едиге застал Кенжека расхаживающим по тесной комнатке, явно не предназначенной для столь стремительных шагов. Несмотря на поздний час, он был одет, как если бы только что явился домой; руки в карманах, насупленные брови сведены у переносицы. Он не откликнулся на приветствие, только хмуро взглянул Едиге в лицо — и тут же отвел глаза. По его сосредоточенно-напряженному виду можно было заключить, что Кенжек тщетно ищет решения какой-то невероятно сложной задачи… Едиге, стараясь не мешать, разделся, чтобы нырнуть в постель. Но его друг, с грохотом отшвырнув подвернувшийся на пути стул, навис над ним, расставив ноги так широко, как если

бы под ним раскачивалась палуба застигнутого бурей корабля.

Едиге впервые убедился, что глаза Кенжека могут загореться гневом.

— Что происходит на свете? — сказал Кенжек. — Нет, ты объясни мне, что такое происходит?..

Голос, которым он произнес эти не слишком-то внятные слова, плохо соответствовал сердитому выражению его лица. Скорее это был голос вконец растерянного, обескураженного человека.

— В чем дело, Кенжек? Или снова кто-то решил стать доктором?

— Брось ты, — сказал Кенжек. — Напишу я кандидатскую или не напишу, что от этого изменится... — Он опять заходил по комнате — взад-вперед, взад-вперед.

Едиге лег. Но при этом, откинувшись на подушку, заложил руки под голову, обозначая своей позой, что не собирается спать и готов выслушать друга.

— Ведь скоро май, — туманно начал Кенжек. — Майские праздники...

— Совершенно верно, — подтвердил Едиге, не понимая, к чему тот клонит.

— Целую зиму трудились... Тут главное не в том, чего каждый успел добиться, а в том, что все

работали, старались…

— И это верно, — согласился Едиге.

— Ну, я и подумал, хорошо бы встретить праздники, как встречали Новый год…

— Вряд ли на этот раз получится… — Едиге зевнул. — Слишком уж много хлопот.

— Беру все хлопоты на себя. Только чтобы все, как зимой…

Так вот в чем дело!.. «Как зимой…»

— «Как зимой» уже не выйдет, дружище, — суховато, но вместе с тем не желая обидеть Кенжека, произнес Едиге. — Давай сразу на этом и покончим.

— Знаю, — сказал Кенжек. Он присел на край кровати, в ногах у Едиге. — Знаю, почему ты отвиливаешь. И знаю, что ты не прав. Потому и предлагаю — соберем вечеринку. В том же составе, что зимой.

— Ведь ты умный человек, Кенжек. Ты и сам понимаешь, это невозможно.

Кенжек поднялся и в раздумье снова зашагал — от окна к двери, от двери к окну. Потом вернулся, присел на кровать.

— Слово в слово с Халелом… Он тоже заявил: «Это невозможно». А по-моему, вы оба — круглые дураки.

— Что касается Халела, то ты ошибаешься. Вот я, возможно, и круглый дурак.

— Хочешь сказать, он вместо одной девушки нашел себе другую, а ты остался один?.. Это не важно, вы оба дураки.

— Не в том суть. — Едиге попытался направить разговор на иную тему. — Я Халела не одобряю и не осуждаю. Но если бы не он, а какой-нибудь другой парень переменил студентку Заду на аспирантку Батию, то, согласись, мы бы предположили, что какой-то скрытый расчет все-таки здесь имеется.

— Ну ты и циник, — сказал Кенжек.

— Что-то до сих пор мне довольно редко приходилось видеть абсолютно бескорыстных людей. Подонки встречаются куда чаще.

— И я из них?

— Нет. Ты — честный человек, даже сверх меры.

— Если так, то я, наверное, не последний из могикан. И без меня отыщутся честные люди…

Едиге рассмеялся.

— Признаю свою ошибку и прошу покорно простить. — Он был рад, что разговор как будто принял новое русло.

— Сейчас я заставлю тебя признать и еще кое-

какие ошибки, — сказал Кенжек. — Не нравится мне твое отношение к Гулышат.

— Почему бы тебе для начала не добиться, чтобы признал свои ошибки Халел, — пошутил Едиге, чувствуя, что слишком рано, пожалуй, он обрадовался.

— Чтобы понять свои ошибки, нужен ум, — сказал Кенжек. — Дурак на это не способен.

— Тут многое зависит не только от ученика, но и от учителя.

— В этом ты прав, — с неожиданной покорностью согласился Кенжек. — Ведь какая славная девушка была Зада… И Батия тоже неплохая, я не о том. Она толковая, ничего не скажешь. Она и доктором, и профессором будет. Еще и пораньше Халела… Так что не думай… Нет, я очень высоко ее ставлю. Но где же любовь?.. А?.. Халел-то ее не любит. Сегодня с одной, завтра с другой. Ведь вот что скверно получается! Они ведь не того от него ждут — сейчас Батия, раньше Зада… Они надеются… Эх, Зада, какая девушка!..

— Может быть, она первая порвала с Халелом?

— Э, нет. Я видел, как она его искала не раз.

— Тогда в самом деле жаль. Из нее получилась бы хорошая жена.

— Исключительная была девушка, — подтвер-

дил Кенжек. — Я и Халелу это говорил. «Тебе, — говорю, — не найти никого лучше Зады».

— А он?

— «Правда, — говорит. — Я очень ее любил…»

— «Любил»?.. Тогда они расстались окончательно.

— Ну, разве не дурак?.. Я все не оставлял его в покое, вот он и разозлился. «Зада дружила до меня с одним парнем, — говорит. — Если тебя интересует это обстоятельство, то теперь оно тебе известно. Иди, — говорит, — и не беспокой меня по пустякам…» Не думай, что я тут же собрался и ушел. «И всего-то? — говорю. — И в этом вся причина?» «С меня довольно», — говорит. Я чуть не расхохотался ему в лицо. «Серьезный повод для ссоры, — говорю. — Молодец, ловко придумал. Ты и ей то же самое сказал, Заде?..» «Чудак ты, Кенжек, — говорит. — Хватит с тебя и того, что знаешь. У меня со злости это вырвалось, пускай и остается только между нами». Выходит, он ее еще любит!.. Но ты посмотри, какая отговорка: «До меня дружила с другим парнем…»

Едиге вспомнилось, как Халел и Зада думали пожениться весной, какими твердыми казались их намеренья. Вряд ли тогда у Халела была другая цель… Кенжек понял его слишком буквально.

Едиге представилось, что он догадался, почему Халел столь неожиданно отвернулся от девушки, которую хотя и не до безрассудства, но любил, и любил настолько, что считал подходящей для себя парой. Вспомнилось, как в новогоднюю ночь он увел Заду на какой-то таинственный вечер, о котором, по всей видимости, она до того и не подозревала, и еще ему вспомнилось, как Халел не дал захмелевшему Кенжеку ключ от своей комнаты.

— Когда же они рассорились?

— По-моему, вскоре после нашей новогодней вечеринки. Кажется, он еще хаживал к Заде, только уже без прежней охоты. А когда положил глаза на Батию, распрощался с ней окончательно.

— Понятно… — Догадка, которая возникла у Едиге, оправдалась.

— Ну и умник же наш Халел!.. Нашел причину!.. Что девушка — не человек, что ли? Не имеет права смотреть вокруг, выбирать — парню позволяется, а ей нет? Вот если бы господь бог оповещал заранее: «Тогда-то и там-то познакомишься с таким-то, он — твоя пара на всю жизнь»…

— Если бы…

— Если бы они познакомились, когда Заде было шестнадцать-семнадцать лет!.. А она уже закан-

чивала второй курс… И до того не взглянуть ни разу на какого-нибудь парня, не сходить с ним в кино, не потанцевать на вечере — как можно от нее такое требовать? Почему Халел не хочет этого понять? Не сказал этого себе с самого начала?.. И вдруг, на половине дороги, решил, что Зада, видите ли, недостаточно для него чиста?.. Разве это по-мужски?..

— Целиком с тобой согласен, Кенжек. Но Халела винить не берусь. Тут должна быть какая-то причина, которая нам не известна. Ни с того ни с сего от любимых не отказываются.

— Причина, причина… — Кенжек взмахнул рукой, отметая все возражения. — Причину я назвал. Только это не причина, а повод. — Он угрюмо помолчал, упершись локтями в колени. — Я все хочу спросить, да как-то неловко… — Он бегучим, ускользающим взглядом коснулся лица Едиге. — Но раз мы завели разговор… По какой причине ты бросил Гульшат?

— Кто бросил?

— Ты.

— Кого?

— Как это — кого? Гульшат! У тебя ведь нет, наверное, таких отговорок, как у Халела? Она ни с кем не дружила до тебя? Верно?

— Верно. — Сердце у Едиге забилось, застучало. — Она до меня даже целоваться не умела толком. Это мои уроки, всему обучилась… То есть — как целоваться, я это хотел сказать. Способная ученица, талантливая, что правда, то правда.

Кенжек смутился, покраснел.

— Думаю, всю жизнь будет вспоминать меня с благодарностью, — продолжал язвить Едиге.

— Дружище… Не то ты говоришь… Не то, нет… — замотал головой Кенжек. — Не надо марать грязью чистую душу…

— Sie ist leichtsinniges Mädchen[11], — сказал Едиге. Оказалось, некоторые слова легче произнести на чужом языке. — И сейчас гуляет с нашим бравым Бердибеком. Тебе этого мало?.. — Он едва вытолкнул из себя две последние фразы — вытолкнул, выдавил. Хотя Кенжеку все это и без него было известно.

— Эх!.. — взорвался Кенжек. — А еще литератор, еще собираешься заделаться писателем! Инженер человеческих душ… А не сумел понять даже самого близкого человека! Откуда ты взял, что она с Бердибеком?

---

[11] Примечания: 11

Она — легкомысленная девушка *(нем.)*.

— Давай прекратим этот разговор, — Едиге пару раз ткнул кулаком подушку, повернулся на бок и натянул до самых ушей сползшее одеяло. — Пора спать.

— Ну, нет. Я должен разобраться. — В голосе Кенжека зазвучали решительные ноты. — Должен, слышишь? И не ради тебя, а ради этой девушки!

— Она тебя о чем-нибудь просила?

— Нет. Я сам обо всем догадался без ее слов.

— Не слишком же ты догадливый. — Едиге повернулся лицом к стене, показывая, что продолжать разговор не намерен.

— Послушай, дружище… — Кенжек пересел поближе, опустил руку на прикрытое одеялом плечо Едиге. — По-моему, она так ведет себя нарочно… Чтоб ты ревновал. Я собственными глазами видел — вчера вечером иду, а она стоит рядом с нашей дверью…

— Стоит и дожидается Бердибека, — хмыкнул Едиге. — Его дверь-то напротив.

— Да, она стояла ближе к той двери, что напротив.

— Вот теперь ты рассказываешь правильно. Ты честный человек, старина, и не сворачивай с прямого пути до самой смерти.

— Погоди ты. Не в том дело, перед какой две-

рью… Как она стояла — вот что важно… А стояла она, как будто ждала кого-то, хотела попасться на глаза, понимаешь? Иначе с чего бы ей так, без дела, стоять?.. Увидела меня, и только тогда в дверь постучалась. Она ведь могла бы и сразу постучать, верно? Тебя она ждала, дурень, с тобой встретиться хотела.

— Это еще не доказательство, — сказал Едиге. И подумал: «Ай да Кенжек! Ай да старина Кенжек!..»

— Доказательство! И самое прямое! Дверь-то была, оказывается, заперта. Я потом проверил, когда она ушла. Теперь понимаешь — зачем ей было стоять перед закрытой дверью?

— Если ей нравится один, почему она гуляет с другим? — помолчав, мрачно проговорил Едиге. — Кто ее заставляет?

— Гуляет!.. Словцо-то какое! Тут думай, что захочешь. А факты — вещь серьезная. Ну, были они два-три раза в кино — что дальше? Всему конец?

— Друг мой Кенжек, известно ли тебе, что сказал Юлий Цезарь о своей жене?

— Нет, неизвестно.

— Загляни в Плутарха или Светония.

— Так ведь то сказано про жену…

— Не имеет значения. Та, которую любишь,

должна быть еще ближе. Здесь — любовь, там — в какой-то мере уже привычка.

— Не напирай на меня со своими Плутархом и Светонием! Гульшат тут ни при чем.

— Как знать… С нею они, понятно, знакомы не были. У них речь о другом: по Риму разнесся слух, что супруга Цезаря путается с каким-то патрицием. И Цезарь сказал: «Ужасно уже само по себе то, что возникло сомнение в добродетельности жены Цезаря…» Чувствуешь? Одно лишь сомнение — и то ужасно!.. «Жена Цезаря должна быть выше подозрений». Так он сказал. Не думаю, что Гульшат зашла слишком далеко… Только если девушка целуется с кем-нибудь за спиной парня, с которым дружит, это равносильно тому, что жена изменяет в постели с каким-то мужчиной. Даже хуже!..

Кенжек не нашелся, что ответить. Он еще посидел, помолчал, потом огорченно вздохнул, поднялся, все так же молча погасил свет и улегся в постель. В тишине было слышно, как он ворочается.

«Чудак, — подумал Едиге. — Наверное, и сам не рад, что вмешался… Эй, Кенжек-Кенжек… Вот уж ты и правда здесь ни при чем…»

Он повернулся лицом к другу, хотя в комнате

все равно ничего не было видно в темноте.

— Не злись, — сказал он. — Теперь для тебя кое-что стало яснее.

— Ничуть, — буркнул Кенжек.

Оба помолчали.

— Если ты веришь, что она… — Кенжек с трудом подыскивал слова, — что она… Если она в самом деле тебе… изменила… Тогда… Но сам-то ты в этом уверен?..

Едиге не ответил.

— Если Бердибек окрутил бы ее, все давно бы это знали. У такого молодчика слово за зубами не держится. Да и Ануар, который с ним живет… Этот ведь тоже как дырявое ведро. Но никаких сплетен пока не слышно. Ну, зайдут иной раз в кино, — а что же еще?

— Что еще?..

— Конечно, для тебя это конец света… Но если взглянуть на вещи трезво…

— Трезво?.. На Бердибека?.. Да меня колотит, едва я подумаю о нем! Плут, лицемер, пройдоха — без стыда и совести! И с ним лизаться, его выбрать… По-твоему, я должен все забыть, простить — да еще и, быть может, на коленях умолять ее вернуться?..

— Извини, — сказал Кенжек. — Извини, если

задел твою гордость… Но ты все преувеличиваешь, накручиваешь. А пока ничего страшного, ей же богу, не случилось. Нельзя просто ни за что ни про что уступать такую девушку. Ты потом этого себе не простишь. Сходи к ней…

Допустим, я пойду, а она мне пальцем на дверь?.. Тогда как?.. Самому напроситься на такой позор?.. — хотелось ответить Едиге. Он до сих пор не думал о примирении, ему и в голову не приходили подобные мысли. Все равно прежнего не вернешь, говорил себе, мысленно продолжая разговор с Кенжеком. И твердил «нет», хотя чувствовал: явись у него самая ничтожная надежда, он бы решился… Он и сейчас готов был соскочить с постели, одеться, бежать к ней, к ее двери с овальным номерком, на четвертом этаже — как давно он туда не заглядывал!.. Но стучаться — в этот час, посреди ночи? Когда все спят? Переполошить подруг?.. «Сумасшедший», — решат они… И будут правы…

Ночь, подруги, переполох… Он и сам сознавал, все это — никчемные отговорки. «Завтра, — думал он. Завтра. Утром, часов этак в шесть или в семь, когда все проснутся». Он знал, что наступит завтра, но ни в шесть, ни в семь он не пойдет к ней, не отважится. Но сейчас обманывал себя,

чтобы хоть не надолго поверить — еще возможно, возможно... И что-то, казалось, угасшее, омертвевшее в его сердце снова пробуждалось, готовое вспыхнуть...

Как бы то ни было, но в эту ночь он ощутил, что между ним и Гульшат еще не оборвана тонкая, невидимая для глаза нить.

35

Перед рассветом загремела, расколола небо гроза.

Грянула… Не раскачивал ветер шелестящие первой листвой вершины деревьев, не гнал, не перемешивал, подобно льдинам на вскрывшейся реке, горбатые, взлохмаченные тучи, похожие на гривастые клубы от пожара, охватившего пересохшие степные травы. И не брызгали с неба прохладные, крупные, редкие, как мужские слезы, капли, отрываясь от сгустившейся тучи, не учащались с каждой минутой, чтобы под конец перейти в дождь, грохочущий, будто старая шкура, когда ее выколачивают палкой… Ничего этого не было. Вначале пророкотал, разрывая небо, гром. И словно раскололся надвое гигантский казан, в котором копилась вода со дня сотворения мира… Хлынул дождь. Он не капал, не моросил, не лился… Он хлынул сразу, сплошным потоком.

Едиге почувствовал во сне как наяву: в комнату ворвался голубоватый, слепящий свет, затопил ее — На единое мгновение. Потом что-то прогрохотало над ухом, откатилось, умчалось дальше. И пока еще где-то гремело и перекатывалось,

ударил ливень.

Едиге продрог, поплотнее натянул одеяло. Он спал, и во сне испытывал странное облегчение, какую-то беспричинную блаженную радость. Одеяло накрывало его с головой, ему было тепло, сладкая, навеянная дождем истома нежила его тело. Казалось, весенняя гроза выбрала для себя единственной мишенью четырехэтажное здание, в котором располагалось общежитие. По железной крыше словно гнали отару из тысячи овец, дробное поцокиванье их копыт смешивалось со звуками плещущей водопадной струи, которая, грохоча, устремлялась вниз по жестяному желобу. Вначале, сбегая с крыши, сквозь дрему мерещилось Едиге, вода имеет бурый, ржавый цвет, потом светлеет, очищаясь от грязи и пыли, а затем становится прозрачной, как лесной родник. Или ему представлялось, он лежит в бескрайней степи, среди вольного белоковыльного простора, и светлый ливень, похожий на косые столбы солнечных лучей, омывает его всего, проникает внутрь, ополаскивая душу, освобождая ее от случайных наносов, грязи, недостойных мыслей и чувств, оставляя после себя благоухание и свежесть…

Постепенно ливень затих, сменился морося-

щим дождем.

Выглядывая из-за сумрачных туч, сползающих по склонам Алатау, солнце загоралось над горизонтом, рассыпая в воздухе многоцветные искры, словно отсвечивая в бесчисленных, тонких, как паутинка, проводах, натянутых между небом и землей.

Наступало утро.

А Едиге спал, разметавшись на кровати, откинув одеяло с груди, дышавшей глубоко и свободно. В воздухе, еще сыроватом, пахло весенними лужами, мокрой листвой и отбушевавшей грозой.

36

Выйдя на улицу, Едиге увидел, что в город пришла весна. Тротуары, еще вчера покрытые зимним сором, были выскоблены дождем и блестели, над асфальтом курился легкий сизоватый пар. У столетних дубов, еще недавно похожих на толпу дервишей, воздевающих к небу руки, у дубов, покрытых морщинистой корой, в буграх-наростах, словно пробудились дремавшие в земле корни, наполняя сосуды ствола и ветвей благотворным соком. Даже пожухлые прошлогодние листья под теплым ветерком, казалось, ожили вновь и трепещут, вспоминая зеленую юность…

Едиге шел по обновленному городу, присматриваясь к помолодевшим, прояснившимся лицам прохожих, заглядывал в ослепительно-голубые лужи, вытянувшиеся вдоль обочины, прислушивался к веселому птичьему гомону. Воздух, очищенный от пыли, копоти, гари машин, был золотист и мягок, в нем смешивалось дыхание земли и неба.

37

И надо же было проснуться так поздно, думал Едиге. Он любил бродить под дождем. Не под холодным, перемешанным со снегом дождем, какие случаются ранней весной или поздней осенью, и не под хлестким летним ливнем, и не под нудным, зарядившим на весь день, моросящим, нескончаемым дождичком, а окунуться в серый, с жемчужным отливом туман, густой и прохладный. Вначале и не замечаешь, что это не туман, а дождь, — так мелки его капли, похожие на оседающую пыль. Но проходит немного времени, и вот уже эта влажная пыль, покрывая одежду, становится крупнее, сворачиваясь в серебристые шарики, одежда набухает сыростью, тяжелеет. И вот уже прозрачные капли скатываются с капюшона, срываются на землю с подола плаща. Тряхнешь головой — и с бровей и ресниц посыпятся блестящие бусинки. Только теперь замечаешь, что идешь по дождю. Однако нет желания куда-то прятаться, бежать под крышу. Самая пора для прогулки. На пустеющих улицах сейчас не встретить шумных прохожих, смеющихся, громко разговаривающих. Все мол-

чаливы, над головой повисли отглянцованные дождем зонты, на лоб надвинуты мокрые, как бы покрытые лаком капюшоны. А те, у кого нет ни того, ни другого, шагают ссутулясь, втянув голову в плечи, — сразу видно, не праздные гуляки, спешат по важному, неотложному делу. Даже машины, кажется, редеют в такие часы, глуше рокочут моторы. И затихают дома, сомкнув створки окон, сквозь которые уже не проникнет наружу ни голос, ни какой-нибудь иной звук. Задумчивые, погруженные в свои тайны мечтатели… А деревья словно парят в тумане, оторвавшись от земли, словно машут крыльями, отдаваясь неторопливо ласкающему их дождю. Но не только им — и тебе мила его ласка. Затяжной, незаметно рождающийся из тумана дождь приносит покой душе. И охватывает странное чувство — будто ты один на один с первозданной природой, с только что сотворенным миром, у которого еще все впереди, еще в замысле и проекте… И оттого, быть может, в твоей груди эта светлая радость, и столько сил, которые ищут простора!.. Теперь в самый раз вернуться домой. Скорее за стол, к белым листам бумаги… Садись, хватай ручку, пиши! О чем же? О том, что волновало уже давно, медленно вызревая? И было так смутно, зыбко — усколь-

завшее, не обозначенное четким контуром?.. Или о том, что никогда до этой минуты не приходило в голову и теперь вдруг засверкало красками, зазвучало, как музыка?.. Откуда, из какого сна оно пришло?.. Впрочем, не важно. Пиши, пиши, потому что сейчас ты — полубог. Ты все можешь, все тебе подвластно. Любая картина, любой образ… Твори!

…Едиге знал, что ночью разразилась гроза и что не мягкий дождь, навевающий печаль, сменил ее, а веселый, яростный ливень. И все-таки ему было жаль, что проснулся он так запоздало…

38

Раньше, по пути в библиотеку, он ежедневно проходил мимо этого места. Но ни разу не задержал на нем взгляда. Когда-то Алма-Ата почти сплошь состояла из таких домишек, да и сейчас их еще немало. С какой стати застревать тут прохожему?.. Однако теперь Едиге смотрел на невысокий, сложенный из старых бревен полуразваленный сруб и не мог оторваться.

Кое-где снаружи еще белела штукатурка, торчали обломки дранок, набитых крест-накрест, из пазов между бревнами вылезала пакля, похожая на коричневый мох вперемешку с присохшими к дереву лепешками серой глины. От высокой печи, разделявшей переднюю и заднюю комнаты, осталась только плита с черными глазницами конфорок да еще труба, уцелевшая наполовину, зияющая темным отверстием. Оно кажется мертвым, незакрывшимся оком — того, кто уже переступил порог, отделяющий жизнь от смерти…

У Едиге по спине пробежали мурашки, на него словно дунуло могильным холодом. Сколько дыма, рожденного жарким пламенем, прошло

сквозь эту трубу! А эта печь — сколько лет согревала она людей в мороз и стужу, кормила, утоляя голод пищей, сваренной на ее огне!.. Две маленькие комнатки, не дворцовые палаты, не белокаменные хоромы, — но для скольких поколений служили они жилищем, сколько младенцев лежало здесь в своих колыбельках, чтобы через многие годы, состарясь, покинуть эти стены, отправляясь в последний путь… Что знают об этом доме те, кто не был соединен с ним судьбой?.. Для них имеют значение одни только деловые соображения: требуется площадь для строительства высотного здания, а следовательно… И они, разумеется, правы. Кому горевать о старом, предназначенном к сносу домишке? Пожалуй, и его прежние жильцы, съевшие здесь не один пуд соли, только вздохнут, спускаясь напоследок со скрипучего крылечка на три ступеньки, — вздохнут, взгрустнут… И обо всем забудут, вселившись в новый дом, в просторную, комфортабельную квартиру. Разве что чудак вроде Едиге, проходя мимо разоренного домика, остановится, погруженный в различные, не относящиеся к делу мысли. Ведь и угасание полно поэзии…

39

Едиге почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся. Перед ним стоял богатырски сложенный парень, лет двадцати пяти. Светлые, отливающие на солнце волосы, прямой, скульптурно высеченный нос, твердый подбородок, острый взгляд голубых глаз… Он, видимо, почувствовал неловкость, когда Едиге обернулся, но глаз, смотрящих в упор, не отвел.

— Понимаю и сочувствую, — сказал он.

По виду Едиге он решил, что перед ним бывший обитатель дома.

— Се ля ви… — Соболезнующе вздохнув, голубоглазый указал на развалины.

— Толя, постоим немного, я устала, — обратилась к нему спутница, которую Едиге сразу как-то не приметил.

Жена, должно быть, — подумал он. Перед голубоглазым Толей у ног лежала большая, набитая картошкой сетка. Килограммов десять, — прикинул Едиге. — Интересно, сколько дней они будут ею питаться?

Толя подхватил сетку с земли, но взглянул на жену и покорно согласился:

— Хорошо, постоим… Полюбуемся этим чудом архитектуры…

— Простите его за глупую шутку, — смутилась женщина, взглянув на Едиге.

Он где-то видел эти черные глаза и, под стать им, такие же иссиня-черные волосы, но когда, где?.. На лице под густым слоем пудры проступает смуглая кожа, худощавая фигурка с узкими бедрами… Рядом с мужем-великаном, который у себя на плечах уместил бы двух таких женщин, она казалась особенно хрупкой, маленькой и вдобавок утомленной ранними заботами и тяготами семейной жизни…

Еще до того, как он ее вспомнил, она, должно быть, тоже узнала его и смутилась пуще прежнего, вспыхнула, заторопила мужа.

Да, она самая, — думал Едиге, глядя ей вслед.

Это была Шолпан… Венера-Шолпан, утренняя звезда… Та самая огненно-рыжая Шолпан, которая встречалась ему в библиотеке. С тех пор, как он видел ее в последний раз, миновало не больше пяти-шести месяцев.

Наверное, все они становятся такими, эти нежные мечтательницы, чересчур жадные к наслаждениям жизни… То же случится и с Гульшат… Но Едиге не хотелось думать о своей отгоревшей,

отпылавшей любви. Глядя на развалины, он сравнивал их с этой любовью. Возможно, сравнение было чрезмерно романтичным, но казалось ему в те минуты достаточно верным по существу…

Он ошибался…

40

— А-а-аве Мари-и-ия…

Усталый, полный печали голос.

Едиге остановился.

— А-а-аве Мари-и-ия…

Среди дубов, раскинувших ветви над тротуаром и похожих на старых воинов, которые сотни лет несут бессменный караул, затесалась одинокая березка. Возможно, ее высадили года два или три назад на месте какого-нибудь дуба-ветерана, списанного по старости, засохшего, с подточенными червем корнями… Она отличалась от остальных деревьев всем своим видом. Еще не зрелое дерево, но уже и не зеленый прутик. Ушли в землю крепкие молодые корни, распрямился и вытянулся вверх гладкий белый ствол. Только-только лопнули почки, распустились треугольные клейкие листики, повисли на ветках, как на тонких нитях. Блестят, покачиваются на ветерке, налетающем неведомо откуда. Но не ветер, чудится, колышет и баюкает деревце, а голос, долетающий с верхнего этажа:

— А-а-ве Мари-ия…

Еще не окрепший, не огрубевший голос. Чи-

стый, высокий, отроческий… Казалось, то не были привычные для уха земные звуки, и не на земле этот голос рождался. С вышины, из неоглядного голубого простора, летит он, ликуя и возвещая: люби, люби… Люби эту светлую, озаренную солнцем березку, люби людей, которых видишь вокруг, люби себя — люби все, что есть Жизнь. Она так прекрасна… Она прекрасна и бесконечна. И молодость бесконечна. И любовь… Радуйся жизни и будь счастлив…

Но странный голос, и странная мелодия. В ее переливах столько радости, но вместе с тем она так печальна… Отчего? Или слышен в ней намек на то, что как бы осталось за ее пределом? И говоря о непреходящем и вечном, она добавляет: жизнь бесконечна, но твой век недолог… Молодость бесконечна, но для тебя она минет… Любовь вечна… Но так ли, так ли это? Сможет ли она остаться неизменной, верной спутницей жизни, если и сама жизнь со временем старится, вянет и однажды в мгновение ока исчезает, уходит в небытие…

Странный голос, странная музыка. В ней столько печали и нет тоски…

Едиге казалось, доносящаяся до него мелодия возникла не сто лет назад, в сердце юного Шуберта — сына далекой, чужой земли, где все другое,

все так не похоже — и язык, и нравы, и люди… Казалось, она родилась прямо у него на глазах, и поет ее тонкий ствол молодой березки, туго запеленутый нежной розоватой корой…

Мелодия оборвалась, как бы истаяла в лучезарной вышине.

— Ты плачешь?..

— Нет. — Едиге сам удивился тому, что голос его прозвучал твердо, не дрогнув. — Просто мне почудилось, что поет не Робертино, а… вот эта березка.

Он стоял перед общежитием. Гульшат разговаривала с ним, свесившись из окна.

— Я все смотрю на тебя. Ты долго тут стоишь, слушаешь… Дожидаешься кого-то?

— Если и жду, то не тебя.

Ему хотелось немедленно повернуться и уйти. Но он не тронулся с места.

— А я ничего такого и не думаю.

Он насторожился, ожидая, что она еще что-нибудь прибавит, но Гульшат смолкла.

Едиге первым нарушил молчание:

— Как это ты догадалась, что я подошел и слушаю «Аве Марию»?

— Я всегда чувствую, когда ты идешь.

Насмешничает, — решил он. Однако в груди у

него защемило, по телу прокатилась теплая волна. — Потешается надо мной, а я торчу под самым ее окном, как последний дурак… Повернись и уходи, уходи сейчас же, — приказал он себе.

И снова не двинулся.

— Всегда чувствую… — Он криво усмехнулся, повторяя ее слова. Но голос его прозвучал так тихо, что Гульшат не расслышала.

— Ты давно здесь, — сказала она. — Я уже три раза пластинку заводила.

— Спасибо…

— Ты бы лучше зашел к нам. Посидели бы, вместе послушали.

Дразнит, — подумал Едиге. — Раньше она была другой…

— Ты, между прочим, сильно изменилась, — произнес он громко.

— А как же? — Она рассмеялась, независимо тряхнула головой. — Мне ведь уже восемнадцать!

— До восемнадцати тебе… — Он быстро прикинул в уме, подсчитал: — Месяц и двадцать два дня.

— Оказывается, ты помнишь? — Она не могла скрыть радостного удивления. И еще дальше выдвинулась из окна. На ней была белая рубаш-

ка — «под мальчика» — с длинными, до запястий, рукавами. Острые кончики воротничка упирались в грудь, на которой поблескивали мелкие перламутровые пуговки. Волосы, собранные в модную прическу, поднимались над головой высоким черным валом. А лицо бледное, бледнее обычного — похудевшее, утончившееся… Но ей так идет эта бледность, оттеняемая чернотой густых волос… И юбка на ней, наверное, черная, с черным узеньким пояском, — подумал Едиге. Он видел, так однажды она была одета.

— У меня хорошая память, — сказал он. — Я все помню. Даже то, что к этой рубашке ты одеваешь черную юбку.

— И правда!.. — Она вся засветилась. — Только я порвала ее, зацепила гвоздем.

— А платье, в котором ты была под Новый год? Оно тоже порвалось?

— Нет, просто я его перешила, у него теперь другой фасон.

Другой фасон… И все, все уже другое, — грустно вздохнул Едиге. — От прежнего ничего не осталось… Что прошло, того не вернуть.

— Но сама я прежняя…

Он даже вздрогнул — она словно слышала его мысли… И лицо ее — там, в вышине, — было

таким же чистым и светлым, как это небо пронзительной голубизны, как этот струящийся с гор воздух, омытый грозой, как эта юная березка… Окно Гульшат находилось на четвертом этаже, но она казалась в нем такой далекой, недосягаемой… Стоя внизу, он чувствовал себя по сравнению с ней стариком, погрязшим во всех смертных грехах.

— Но я сделался другим человеком.

Гульшат не ответила. Только свесилась еще ниже. Как она держалась на подоконнике?..

— Упадешь, — сказал он. — Осторожней.

— Ну и упаду!.. — Была уже видна ее стянутая пояском талия. — А ты возьми и поймай…

— Где мне поймать, — сказал Едиге, — я ведь не спортсмен.

Она промолчала.

— Ты ведь знаешь, я не спортсмен. — Едиге ощутил неожиданно, как злость, долго таившаяся в нем, заклокотала и вот-вот готова выплеснуться наружу. — Помнишь, как из-за моего значка «Мастер спорта СССР» ты приняла меня за боксера?

— Помню, — отозвалась она тихо.

— Ты потом поняла, что ошиблась… Но ничего. В Алма-Ате хватает настоящих спортсменов,

верно?..

— Не надо так, — попросила она. — Не надо… Ты заходи лучше, послушаем пластинки…

Ее голос звучал так жалобно… Казалось, он сейчас сорвется.

Дурень, — выругал себя Едиге. — Дурнем был, дурнем и остался. Вроде кривого сучка, который как ни старайся — не выпрямишь… Но до каких же пор, о господи, можно быть таким дурнем!

— Мы помешаем твоим подругам.

— Никого нет, я одна.

— А если они вернутся?

— Вернутся?.. Ну и что?

Ну и что? — про себя повторил он. — В самом деле, ну и что?

— Мало ли что они подумают!

— А о чем они подумают?

О чем?.. О чем?.. О том, что брошенный, покинутый — вернулся! Вернулся, как постылый пес, которому хозяин, сжалившись, отворил дверь…

То ли от сумятицы в мыслях, то ли оттого, что он долго стоял, запрокинув голову, у Едиге ломило в затылке, перед глазами плыли радужные круги.

— Лучше ты сама выходи на улицу.

— Нет, — сказала она, — сейчас никак не смогу. Я сегодня дежурная, мне нужно сварить обед на

всю комнату.

— Тогда пошли к нам, — предложил Едиге, пропустив мимо ушей ее последние слова. Ему хотелось в любом случае настоять на своем.

— Я стесняюсь Кенжека, — помедлив, призналась она.

Внутри у него снова все закипело.

— А в триста вторую ты захаживаешь и никого не стесняешься?..

Удар был жесток и точен — Едиге понял, что, пожалуй, переусердствовал… Удар пришелся прямо в лицо, он заметил, как оно передернулось, побелело, как она закусила губу и даже как побелела ее до боли закушенная губа, — он и это, казалось, видел.

— Я… — Голос ее надломился. Каждое слово давалось ей с трудом. — Я… Из-за тебя…

— Я тоже… Тоже частенько ночую на стороне — из-за тебя!

Это была ложь, но произнес он ее с злорадным наслаждением.

— Почему?.. — Наверное, она не поняла, что он хотел сказать, вопрос ее прозвучал до крайности нелепо.

— Почему?.. А ты — почему?.. — Вот и я — по той же самой причине.

Он все же не повторил, не решился повторить, что «ночует на стороне». Но теперь она сообразила, что он имеет в виду. Сообразила, поняла — и вспыхнула, щеки ее запылали. Она отпрянула назад, соскользнула с подоконника, на котором до того полулежала, — наверное, встала на ноги. Но снаружи казалось, будто она неожиданно уменьшилась в росте или что подпорка, на которой она держалась, вылетела у нее из-под ног.

— Так что мы друг друга стоим, — сказал Едиге примирительно. — Две прорехи — одна заплатка. Что, если мы, как писали в старинных романах, соединимся вновь и рука об руку пройдем остаток жизненного пути?.. Я не шучу. Я официально делаю тебе предложение.

Он произнес последнюю фразу спокойно, вполне будничным тоном, как если бы приглашал знакомую девушку в кино. И, запрокинув голову, с холодным выражением лица уставился на окно, в ожидании немедленного ответа.

Несмотря на спокойствие, граничившее с надменностью, сердце его бешено колотилось. Он чувствовал, дальнейшие препирательства ни к чему не приведут, надо решить все разом.

Гульшат за время их короткой дружбы успела привыкнуть к выходкам Едиге, удивить ее было

трудно. И все же она, вероятно, не поверила своим ушам. А поверив ушам, не поверила Едиге… Во всяком случае, голова ее скрылась за колыхнувшейся занавеской. С минуту ее не было видно. Потом она осторожно выглянула, как испуганная улитка из своего домика. Но едва лицо Гульшат появилось над подоконником и глаза растерянно встретились с глазами Едиге, как взгляд ее тут же скользнул в сторону и замер.

Едиге невольно обернулся. По тротуару, с желтым портфелем под мышкой, вышагивал Бердибек. Во второй руке нес он сетку-авоську, разбухшую, набитую кульками и свертками.

— Пардон, — сказал Едиге и жестом приподнял над головой несуществующую шляпу. — Хозяин явился. Когда подплывает пароход, лодки расступаются перед ним, давая дорогу… Я исчезаю.

Гульшат хотела что-то сказать, замешкалась, у нее слова, казалось, застряли в горле. Едиге вскинул руку и помахал ей:

— Гуд бай.

Он сам направился к Бердибеку, который, видимо, надеялся прошмыгнуть мимо, сделав вид, что ничего не заметил. Но Едиге преградил ему путь. Он поинтересовался, что у Бердибека в сетке, спросил, какие и где приобрел он спиртные

припасы (он так и сказал, пощелкав пальцем по торчавшему среди пакетов горлышку: не «вино» или «водка», а «спиртные припасы»), затем осведомился, из какого магазина у Бердибека огурцы в маринаде, а также колбаса, и особенно дотошно допрашивал, почем нынче макароны. Он задал Бердибеку еще несколько вопросов о том и о сем, и не отпускал минут пятнадцать, пока у того не проступила на лбу легкая испарина. При этом он все время ощущал на себе пристальный взгляд Гульшат, наблюдавшей за ними из окна, чувствовал всем своим телом, всем существом, затылком, спиной, лопатками. Ему хотелось обернуться, увидеть ее лицо, чтобы понять, что этот взгляд означает, но он боялся, что собьется, выйдет из роли.

Стоял конец апреля, близились праздники. Едиге, впрочем, помнил только, что сегодня тридцатое число, остальное выскочило у него из головы. Он шел к профессору Бекмухамедову, чтобы решить вопрос, от которого зависела теперь вся его жизнь.

41

Дверь отворила светловолосая, неряшливо одетая женщина с бледным лицом, густо усеянным веснушками. Она была молода, но тело у нее раздалось, отяжелело, в движениях ощущалась медлительная степенность, как у пожилых байбише.

— Вы к Санжару? — Она окинула Едиге недоверчивым взглядом. — Его нет дома.

— Простите, я перепутал…

Дверь захлопнулась.

Он проверил номер квартиры. Никакой ошибки… Едиге спустился по лестнице, вышел во двор. Нет, и дом тот же, и тот же подъезд… Азь-ага переехал, и его квартиру заняли другие?.. Едиге вернулся и нерешительно надавил на пуговку звонка.

— Еще раз простите… Здесь Бекмухамедовы живут?

— Бекмухамедовы. — Опершись полным плечом о косяк, женщина смотрела на него с легкой усмешкой.

— А профессор дома?

— Так бы сразу и сказали. — Женщина отсту-

пила назад, освобождая дорогу. — Папа дома. Проходите… Азимхан Бекежанович, к вам! — крикнула она в сторону профессорского кабинета. Оставив Едиге в прихожей, она прошла на кухню, покачивая грузными бедрами. Наверное, беременна, — подумал Едиге. — Новая невестка…

Профессор восседал на широкой тахте, покрытой зеленой бархатной накидкой, и читал газету. Ноги у него были подвернуты по-турецки, плечи согревала шаль из мягкого козьего пуха.

Судя по выражению лица, Азь-ага был чем-то необычайно обрадован.

— Вот, пожалуйста, — отвечая на приветствие, он протянул Едиге развернутую газету и с торжествующим лицом потряс ею. — Я-всегда говорил: из этого джигита выйдет толк! Мать дороги — копыта, мать науки — поиск. Так-то, сынок, лишь тот, кто работает, не жалея сил, добьется в науке успеха. Видишь, и Бакен… Хотя ты, кажется, еще не прочел, возьми-ка газету да присядь за стол…

Едиге без особой охоты подчинился. Продолжая стоять, он бросил на указанную статью довольно равнодушный взгляд. И тут же колени его дрогнули, он почувствовал в ногах противную слабость и не сел, а рухнул на тахту, едва не задев при этом профессора.

Ему хватило пяти минут, чтобы пробежать статью до конца. Пробежать и вернуться к началу…

— Я знал, что по части теоретической подготовки он слабоват, — говорил между тем Азь-ага, удовлетворенно потирая ладони. — Знал и советовал — читай побольше, ищи, ищи… И что же? Он обогнал, казалось бы, куда более способных…

— Потрясающе!.. — вырвалось у ошеломленного Едиге.

— Важное открытие, — согласился профессор, на свой лад истолковав восклицание Едиге. — Очень, очень важное открытие!..

— Нет, это просто потрясающе… — У него все-таки достало самообладания и выдержки, возвращая газету Азь-аге, предварительно сложить ее — аккуратно, уголок в уголок.

— Ценный вклад в историю нашей литературы, — произнес профессор, вновь разворачивая газету. Как бы желая подчеркнуть, что именно следует считать вкладом, он ткнул указательным пальцем в статью, разлившуюся, словно озеро, на целую газетную полосу.

Едиге молчал.

— А вы молодцы, нечего сказать, — проговорил профессор язвительно, опустив ноги на ковер и нащупывая шлепанцы. — Молодцы… — продол-

жал он, расхаживая по кабинету, заложив руки за спину. — Все у вас решает настроение, а не холодный рассудок. Не примерив как следует, спешите отрезать! Вы судите о человеке не по его достоинству, а по тому, нравится он вам или нет…

— Вы обо мне говорите?

— О тебе и твоих сверстниках!.. Возьмем, к примеру, Бакена. Порядочный, скромный человек, преданный друг, добросовестный ученый…

Едиге с трудом подавил усмешку.

— Науку двигают вперед как раз такие люди…

Едиге вскочил. Если бы перед ним был кто-то другой, он расхохотался бы ему в лицо. Но Азь-ага… Едиге остался стоять на месте, не спуская глаз с профессора, с победным видом вышагивающего вдоль кабинета.

— Мы стареем, у нас уже не те силы, не та энергия… Теперь дело за вами. — Азь-ага остановился и пристально, в упор, взглянул на Едиге. — Но что же получается? Ты целый год в аспирантуре, а добился единственного — сдал минимум. К сбору материалов для диссертации так и не приступил, месяцами никто знать не знает, чем ты занимаешься. Видно, за тобой нужен глаз да глаз. Пускай за тебя возьмется Бакен. Он будет твоим научным руководителем.

— Хотите, чтобы я написал для него докторскую?

Профессор не то не понял, не то не расслышал.

— Это верно, он пишет докторскую, но она, кажется, уже близка к завершению. Так что время у него найдется.

— И это ваше окончательное решение?

— Я забочусь о твоем будущем.

— Спасибо, — сказал Едиге. — Я бы согласился, и с величайшей радостью. Но я долго думал, весь этот год, и вижу, что у меня нет, к сожалению, никаких научных способностей…

Азь-ага небрежно отмахнулся:

— И со мной такое случалось. Но потом…

— Это мне подсказало не чувство, а холодный рассудок. Я не смогу быть полезным для науки человеком. — Профессор опять хотел возразить, Едиге его не слушал. — Наука требует полной самоотдачи, ей нужно посвятить все силы, от многого в жизни отказаться…

— Ты прав, сынок, ты прав… — кивал профессор, довольный тем, что Едиге повторяет его собственные слова, и еще, наверное, не до конца осознав, к чему тот клонит.

— Ну, а я, как ни старался, не смог найти у себя необходимых для науки достоинств…

— Ошибаешься, сынок. Способности у тебя есть, и не малые, ты только разболтался немного.

— …И поэтому я решил, что мне пора проститься с наукой.

— Что?.. Проститься?..

— Да, проститься с наукой.

— И что же…

— Я пришел сказать, что ухожу из аспирантуры.

— И ты… — Азь-ага растерянно шагнул к Едиге. — И что же ты собираешься делать дальше?

— Страна у нас велика. Для двух рук одна лопата везде найдется.

— Аллах милосердный, что за чепуху он городит!.. — Профессор покраснел, даже глубокие залысины залила багровая краска. Еще немного — и он, казалось, в гневе затопает ногами. — Твое будущее — это наука! Ты слышишь? Наука!.. Ты подумал о своем будущем, глупый ты мальчишка?..

Едиге стало жаль старика.

— Я хочу быть писателем, Азь-ага. — Он попытался улыбнуться. — Я заканчиваю роман.

— И прекрасно!.. — Азь-ага снова принялся расхаживать по кабинету. Пальцы, туго стиснутые за спиной, громко похрустывали. — Прекрасно!

Пиши свой роман. Одно другому не мешает. Разве Ауэзов…

— К несчастью, я не Ауэзов, — сказал Едиге, стараясь, чтобы голос его звучал возможно мягче. — И потом, насколько я знаю, его никто не грабил средь бела дня.

— Что такое?..

— Вы все время твердите, какой превосходный человек Бакен Танибергенов, какой он талантливый ученый. А что, если он — вор? Да, самый обыкновенный вор?..

Конечно, Азь-ага опешил. Вор?.. Что за слова! Как можно, и еще вдобавок за глаза, обвинять человека бог знает в чем — только потому, что его не любишь… Как можно!.. И тут Едиге отбросил всякое стеснение.

— Вы радуетесь… — Он подхватил газету, лежавшую на тахте, и приподнял ее на раскрытой ладони, как бы прикидывая на вес. — Радуетесь, какой это вклад в историю литературы, великое открытие… — Он швырнул газету на тахту. — Два месяца назад я положил на ваш стол — этот вклад, это открытие. Что же тогда вы не радовались?.. Вы не прочитали ни строчки, отдали все Бакену — выдающемуся ученому и превосходному человеку!

Азь-ага смущенно молчал, пощипывая поросший седой щетиной подбородок.

Скрипнула дверь.

— Иди, иди, не мешай, — не оглядываясь, махнул рукой профессор.

Но дверь открылась, вошла невестка. Никого не замечая, она прошла к стеллажу, раздвинула стекло на одной из полок, вынула из плотного ряда какую-то книгу и, держа ее в руке, все так же неспешно, лениво, покачивая бедрами, выплыла из комнаты.

— Погоди, погоди... — В мучительном недоумении потирая нахмуренный лоб, Азь-ага машинально притворил дверь, оставленную невесткой открытой. — Только сейчас начинаю припоминать. Да, ты что-то такое мне приносил, я передал Бакену... Потом он вернул рукопись, по его мнению, в ней не было ничего интересного. «Все это мне давно известно», — так он, кажется, сказал... Где-то здесь она должна быть, эта рукопись. Где-то... Алима! Эй, Алима!.. Ах, да, ведь она отправилась на базар... Но скоро она придет, и я... Я разыщу... Не может быть, чтобы Бакен... Чтобы он...

Едиге неловко и горько было смотреть на виновато суетящегося старика.

— Возможно, мы одновременно наткнулись в архиве на этот текст. Ведь чего не случается… — Едиге хотелось чем-нибудь его утешить. — Просто руки у него оказались длиннее, вот он и опередил меня.

— Ты так думаешь? В самом деле… — ухватился за это предположение профессор. Лицо его прояснилось, он обрадовался, как малый ребенок. — Вполне вероятная вещь… Такие истории бывали… Я поговорю с ним, мы разберемся. Наверное, Бакен согласится на соавторство. Он честный человек, он…

У Едиге иссякло желание продолжать разговор.

Зачем доставлять старому профессору лишние страдания?.. Он и без того растерян, сбит с толку, не знает, как поступить, Говорит и не верит собственным словам… Кое-как успокоив Азь-агу, он тепло с ним простился и ушел.

Когда Едиге вернулся в общежитие, здесь в полном разгаре был предпраздничный вечер. В нижнем вестибюле танцевали, гремела радиола…

Спал он плохо, тревожно. Вначале ему мерещились Гульшат. Потом он увидел белого козленка. Со связанными ногами козленок лежал на свежем

пушистом снегу, и кто-то размахивал над ним огромным сверкающим ножом. «Пусть, — подумал Едиге. — Ведь она сама же, сама…» Брызнула кровь, заливая белый снег. Козленок в последний раз жалобно заблеял и вдруг произнес голосом Гульшат: «Умираю…» Едиге очнулся. Казалось, и снег, и кровь, и голос Гульшат — все это не сон, а явь. Голос ее продолжал звучать у него в ушах. Едиге засыпал, просыпался — и все слышал его, этот голос…

42

Ложь пересилила правду.

Коварство сломило отвагу.

Подлость восторжествовала над справедливостью.

Месяц за месяцем черной тучей носились вороны над полем битвы, кружили коршуны-стервятники, пировали, терзая непогребенные тела кипчаков. Богатой была добыча. Проворные хорьки и хитрые корсаки, краснохвостые степные лисицы и ненасытные, сбившиеся в стаю волки обгладывали и грызли разрубленные надвое черепа, рассеченные железом ребра, хрустели раздробленными позвонками, пока дожди не отмыли побелевшие кости, пока не высушил их ветер, пока не погребла их земля, засыпая седой пылью и горючим песком.

Те, кто сумел спастись, прятались в развалинах спаленных городов и селений, хоронились в глухих чащобах, куда не добрался огонь. Домом были для них лощины и овраги, крепостью — горные ущелья. Но мало-помалу старики и старухи вновь складывали очаги из грубых, необтесанных камней, раздували пламя под уцелевшими

казанами, вскармливали тощих, тонкошеих внуков, не пронзенных вражеским копьем потому только, что ростом они были не выше ступицы тележного колеса.

Бежали годы…

Всякую дыру можно заштопать, как бы ни была она велика, и всякую трещину можно заделать, как бы ни была она широка. Обескровленные сосуды начинали пульсировать — правда, пока слабо, чуть заметно… Дети, становясь юношами, верили, что солнце еще взойдет над родной землей, и затянутся ее раны… Но мало, слишком их было мало.

Завоеватель же вернулся к себе на родину во главе своего войска. Ряды воинов, конных и пеших, сильно поредели, но знамена гордо развевались, возвещая великую победу. Плакали, глядя на них, безутешные вдовы и сироты, рыдали старухи, вспоминая погибших в походе сыновей. Зато неисчислимой была добыча — многотысячные отары овец, табуны быстроногих скакунов, сотни тяжелых тюков шелка и бархата, кованые сундуки, до самого верха набитые золотом и серебром… Кружились головы, тщеславная радость наполняла сердца… Ослепленные награбленным богатством забывали, чьи подвалы проглотят

эти сундуки, чьи дворцы расцветят эти шелка и бархат.

Но не богатство веселило сердце Завоевателя, которого бездарные поэты уже славили в своих пустых и надутых стихах. Он кичился тем, что поразил своего мощного соседа, унизил и раздавил его навсегда. Так ему казалось.

Завоевателя называли великим, непобедимым и многомудрым, разве что сам аллах сравнился бы с ним по количеству льстивых эпитетов. Но уже была для него вырыта могила, уже зияла она у его ног бездонным зевом — черная пропасть, которую приготовил для себя он сам.

С той стороны, что лежит к солнцу от Мекки, нахлынули на степь яжуж-мажужы[12], и было их, как песка на морском берегу, — сколько песчинок, столько и воинов. Первой жертвой оказалась обессиленная недавним нашествием страна. За нею — земля, где властвовал Завоеватель. На одного набрасывались десятеро, на десятерых — сотня, на сотню — тысяча. Новый потоп залил вселенную, кровавый потоп…

И много поколений должны были смениться, подобно волнам, накатывающим одна за другой,

---

[12] Примечания: 12
Речь идет о нашествии Чингисхана.

чтобы поверженные величайшим бедствием поднялись на ноги, окрепли и двинулись вместе со всем человечеством по той дороге, которая именуется Историей.

Но до того, как это стало возможным, еще немало пролилось крови и слез, немало войн отполыхало, немало смелых и доблестных джигитов пало в сражениях за свободу и правду — сражениях, уже не столь далеких, не столь давних… Имя им — Революция.

43

Он перечитал сызнова все написанное и понял, что так и не добрался до сути. До истины. Все было шатко, рыхло, приблизительно. Не возникало уверенности, что описания исторических событий достоверны, что происходило все именно так…

Едиге в отчаянии смотрел на кипу вынутой из чемодана бумаги, на сотни страниц, исписанных его рукой… Он вспомнил вдруг старика Кульдари, который сочиняет поэму в пятьдесят тысяч строк, полагая, что создает эпохальное произведение. Но так ли уж велика разница — между Кулянакыном и Едиге?..

Однако теперь для него кое-что прояснилось. Еще немногое, но тем не менее — кое-что… Нельзя писать по стародавним образцам для живущих во второй половине двадцатого века. Писать для современников — значит, смотреть их глазами, чувствовать их сердцем, жить их мыслями. Без этого историческое произведение превратится в фальшивую подделку, в скопище мертвых музейных экспонатов — или в красивую сказку, которая тешит фантазию и ласкает слух, но так

же далека от истины, как… «Хамса» Кулян-акына — от поэзии.

Но, в сущности, что он знает о своих современниках?.. О тех, для кого пытается писать?..

44

Вот какие дела: даже спалить написанное — и то не можешь, — думал Едиге. Он брал из пачки за один раз по десять — пятнадцать страниц и, мелко разорвав, аккуратно складывал в корзину для мусора. — Если бы рядом горела печка, все было бы куда проще…

45

Надо куда-нибудь уехать, — думал он. — Чтобы разобраться в себе самом. Чтобы увидеть жизнь. Ведь я о ней только читал, надо увидеть. Время одно для всех, но люди-то разные. Кто живет настоящим, кто прошлым, кто будущим. Нет прошлого без будущего. Мне нужно посмотреть на это будущее, пощупать своими руками — оно рождается из настоящего, на глазах — каждую минуту, каждое мгновение…

Хорошо бы поехать на целину… Нет, все плохие романы кончаются этим. На целину едут в поисках экзотики. Не нужна мне экзотика. Гоген в погоне за экзотикой уехал на Таити, Моэм — на Самоа. Ну, а с меня хватит и нашей страны, то есть одной шестой мира. Хватит, чтобы познать жизнь, людей… Целина… Туда и без меня уже ездили многие. Сахалин… Край нашей земли. Там был Чехов… Интересно, должно быть. Или взять и отправиться к якутам?.. Тайга, мороз под шестьдесят градусов. Тундра, оленьи стада… Или податься к чукчам, ительменам? Ведь я неплохой стрелок, бью косулю в глаз. Не пройдет и недели, как сделаюсь заправским охотником… Надо

уехать, куда-нибудь уехать. Уехать в такой край, где расстаются с прошлым и начинают новую жизнь. Где перекресток эпох…

Он был готов уехать, но что-то его еще удерживало.

Надо! — говорил он себе. — Пора!..

И так — день за днем…

46

— Сейчас я из тебя котлету сделаю! — встретил его Кенжек. Вид у Кенжека был такой угрожающий, как будто единственное, чего он дожидался, это возможности превратить Едиге в котлету, едва тот вернется.

Едиге в самом деле не на шутку испугался. Кенжека не узнать. Волосы, обычно гладко зачесанные, взъерошены и торчат дыбом, под левым глазом фиолетовый синячище во всю щеку, чуть не до брови, с кровоточиной по краям. Бешеные, налитые кровью глаза вот-вот вырвутся из орбит. Синяк на подбородке, на лбу, нос расквашен, поверх ноздрей запеклась кровь…

Едиге обхватил его за плечи:

— Что с тобой, Кенжек?..

Стиснув кулаки, Кенжек напирал на него грудью:

— Я тебя…

— Перестань!.. Что случилось?..

И тут неожиданно улетучилась вся злость Кенжека, вся его ярость. Словно в одно мгновение лишившись сил, он опустился на кровать, закрыл руками разбитое лицо. Только плечи у него еще

вздрагивали — со стороны могло показаться, что Кенжек плачет.

Едиге в полнейшей растерянности присел рядом.

— Я дрался с Бердибеком.

Кенжек отнял от лица руки. Пальцы его тут же как бы сами собой напряглись и снова стянулись в кулаки. Но глаза были спокойны, холодны.

— Грязный человечишко… Гнать таких из науки!..

Едиге не знал, что и думать: Бердибек, синяки, драка… Все было так не похоже на Кенжека!..

— Что такое Бердибек, всем известно, — сказал он.

— Низкий, подлый, двуличный… — Кенжек стиснул зубы, заиграл набухшими желваками.

— Много ли от нас останется, старина, если мы начнем бить в рожу персонально каждого подонка. Это не метод — схватываться со всяким…

— А я схватился, — сказал Кенжек. — Ты не смотри на то, как он меня изукрасил. Он сильный, сильнее меня… Но ему тоже досталось. Надолго запомнит!..

— Все равно не стоило с ним драться.

— Это ты так думаешь, — возразил Кенжек, — потому что не любишь… Не любишь Гулышат.

Едиге промолчал.

— А я дрался. Потому что…

— Почему?

— Потому что такие девушки достаются подлецам… Ты ведь еще не знаешь всего… Он часто ездил к себе в аул, а почему? Оказывается, там у него жена и ребенок.

У Едиге остановилось дыхание.

— Разве?.. Я об этом не слышал!.. Клянусь, не слышал!

— И я тоже. В курсе был один Ануар, который с ним живет в одной комнате. Он и говорит мне: «А что?.. Ведь они все равно не расписаны, поэтому Бердибека можно как бы считать холостым…» Каков?..

— Что же теперь будет… — Едиге сел, уперся локтями в стол и закрыл глаза. — Что будет… — повторял он, потирая лоб, стараясь сосредоточиться.

— Жена узнала, что он крутит с другой, приехала из аула и прямо к ректору с ребенком на руках.

— Что теперь будет…

— Ничего больше не будет! — Кенжека разозлил потерянный вид Едиге. — Все кончено!

Едиге обхватил руками голову. Казалось, он

ничего не слышит, не видит, — до того пустым и мертвым был взгляд его остекленевших глаз.

— Слышишь?.. Я же говорю — все кончено! — Кенжек похлопал его по спине. — Смотри на меня. — Едиге поднял глаза. — А теперь слушай, что я скажу. Бердибек… Ладно, черт с ним, с Бердибеком. Хочешь знать, кто ты сам? Так вот, слушай меня и запоминай! Ты трус. Хвастун и трус. Ты пыжишься, надуваешься, потому что у тебя мания величия. Ты бог знает что о себе воображаешь, а на самом деле ты просто трус. Я встречал ребят, у которых перевешивает рассудок, они все вымеряют и шагу боятся ступить там, где надо рискнуть. Но такого труса, как ты, я еще не видел!

— Хватит, Кенжек…

— Кто виноват?.. Ты! Во всем ты один виноват! Сам оттолкнул от себя свое счастье!..

— Кенжек, перестань…

— Не перестану. Такой девушки ты больше не найдешь. Она… Как цветок она была, понимаешь? Цветок ведь каждый может сорвать, понюхать и бросить, да еще и ногой наступить. Она… Как птенчик она была, понимаешь ты это? Слабенький, неокрепший… Надо было приютить его у себя на груди, уберечь от всего. А ты?.. «Пус-

кай, — решил ты, — пускай себе полетает, авось, и вернется...» О себе ты только и думал, не о ней! Гордыня тебя заела!..

— Она сама во всем виновата, — сказал Едиге. — Сама. Бердибек ей понравился... Я-то здесь при чем?

— Эх ты, — ядовито произнес Кенжек, — тоже мне — писатель, сердцевед, как вас там еще называют... Психолог!.. Был один писатель и психолог, по имени Толстой, и у него героиня, кстати — положительная, тоже девушка...

— Наташа Ростова...

— Смотри, сам догадался!.. Не уберегли бы ее, так она бы с Анатолем Курагиным сбежала... А кто нынешних девушек убережет? Живи Наташа Ростова в наше время и да еще повстречайся, не дай бог, с тобой... Она бы, знаешь, сколько парней переменила, пока добралась бы до своего Пьера Безухова!.. Я точно тебе говорю!

— Не клевещи на наше время, — попробовал отшутиться Едиге.

— Пустышка ты, а не человек, — сказал Кенжек. — Эгоист и пустышка... Все боялся тебя обидеть, жалел... Но таких, как ты, грешно жалеть! Знаешь, почему я подрался с Бердибеком?

— Ты ведь сказал — у него жена, ребенок... А

он…

— А он?.. Что — «а он?..» Ты не догадываешься, что — «а он?..»

Кенжек выразительно посмотрел в глаза Едиге, криво усмехнулся.

— Врешь! — Едиге подскочил, как ошпаренный. — Врешь!..

Кенжек отвернулся.

— Противно говорить… Этот подонок хвалился недавно Ануару: «Она ведь была девушкой… До меня никто ее не тронул…» Это случилось после майского вечера. Сам спроси, если не веришь…

Он отошел к окну и процедил, стоя спиной к Едиге:

— Трус!..

47

Что было потом?.. Едиге не запомнил.

Он опомнился только утром. Кругом было белым-бело от снега, который падал всю ночь. В снегу была проложена дорожка на полсотни шагов. Он протоптал ее, пока ходил до самого рассвета, без остановки, взад-вперед, взад-вперед…

Снег засыпал крыши домов, тротуары, выбелил нити проводов над улицей. Снег лежал густыми хлопьями на зеленой, едва распустившейся листве, пригибая к земле отяжелевшие ветки. В прозрачном и звонком от мороза воздухе особенно резко проступали контуры гор. Казалось, их вершины приблизились, нависли над городом.

Сухо похрустывающий под ногами, весь в холодных голубых отливах, он покрыл весеннюю землю, согретую солнцем, разбуженную, зазеленевшую первой нежной травой…

Недолго держались заморозки, но когда они отступили, яблони в садах стояли осиротелые, голые.

Впереди ожидало их знойное лето, хмурая осень, студеная зима.

Но разве не всякий год зима сменяется новой

весной?..

ЭПИЛОГ

Что же произошло в дальнейшем с нашими героями? — спросит любопытный читатель. И, вероятно, почувствует разочарование, узнав, что ничего особенного, достойного удивления, с ними не случилось.

Грустно сообщать эту прискорбную весть, но как быть?.. Профессор Азимхан Бекмухамедов скончался. Его с почетом проводили в последний путь многочисленные коллеги и благодарные ученики. Говорят, в преждевременной смерти профессора отчасти виноват его сын… Так ли это, судить не беремся.

Бакен Танибергенов живет и здравствует. Защитить диссертацию в Алма-Ате ему не удалось. Он защитился в другом городе. Впрочем, утверждение докторской что-то затягивается.

Бердибек — декан факультета в одном из периферийных вузов. Он тоже хлопочет, пишет докторскую и недавно приезжал в Алма-Ату посоветоваться со специалистами.

И Ануар, и Мухамед-Шарип — кандидаты наук. Но наука уже утомила их, вряд ли они двинутся дальше.

Халел и Батия поженились. Оба своевременно защитили диссертации. У них три дочери. Если бы не заботы о детях, Батия уже сейчас достигла бы многого. Но она довольна своей судьбой. Все находят, что дочки у нее очень милые, одна красивей другой. Они подросли, теперь у матери, наверное, освободятся руки.

Кенжек живет в одном из областных центров, преподает в институте. Великих открытий в математике он пока не совершил, однако, кто знает, что ждет его в будущем?.. Кенжек по-прежнему холост.

Кулян-акын закончил свою поэму в пятьдесят тысяч строк. Но, по всей видимости, ни одно издательство ею не заинтересовалось. Кулян-акын убежден, что это происки завистников. «У кого знакомства и связи, тех печатают!..» — восклицает он. Но он твердо надеется, что труд его по достоинству оценят потомки.

Гулышат… К сожалению, сведения о ней крайне скудны. Не закончив университета, она вышла замуж за флотского офицера, приезжавшего в отпуск в Алма-Ату, и уехала с ним в город на берегу — не то Балтийского моря, не то Тихого океана, в точности не известно. А жаль. Ведь с нашей героиней мы, как говорится, успели съесть пуд

соли, хотелось бы знать — счастлива ли она?..

Ну, а главный наш герой?

Человека формируют, как принято считать, время и обстоятельства. Характер Едиге изменился в лучшую сторону. Он уже не считает себя пупом земли. Он внимателен к родственникам, обходителен, сдержан в спорах со знакомыми и друзьями. Правда, в его характере заметна некоторая замкнутость. Но это и понятно. Шесть или семь лет он провел на Камчатке или Чукотке, в краях, где природа сурова и не располагает к праздной болтовне, которая иной раз и принимается за общительность… Чем он там занимался? Одни говорят — пас оленей, другие — охотился на тюленей и моржей, третьи утверждают, что Едиге работал в районной газете. Как бы то ни было, раскроем секрет: наш Едиге — автор повести «Чукотская история», напечатанной несколько лет назад в одном из центральных журналов. Ее хвалили. Потом ругали. Потом хвалили и ругали одновременно… И Едиге снова засел за работу, но печататься не спешит.

Что же, пускай работает. Конечно, хорошо, если из него получится со временем настоящий писатель. Но если не выйдет из Едиге писателя — тоже не беда. Ведь, по словам поэта, вошедшим

в поговорку, для человека главное — быть гражданином своей страны, своей Родины. В этом его первейшая обязанность…

Ручаемся, то же чувствует и сам Едиге. И потому не ищет легкого пути, протоптанных троп, быстрого успеха. Но автор при всем том не берет на себя смелость утверждать, что жизнь его героя сложится вполне благополучно. Мало ли какие препятствия ожидают его впереди — одолеет ли он все трудности, выдержит ли все испытания?..

Однако и автор, и его герой — оптимисты. Они верят, что в наши дни сбываются все желания, если они чисты и служат общему благу. И пусть пока еще не раскинулись по всей земле райские кущи, не потекли молочные реки в кисельных берегах, — все равно, близится время, перед которым покажется убогой и нищей фантазия самого Асана-Кайгы.

Алма-Ата. 1971 г.

Перевод Ю. Герта.

ПОВЕСТИ



ДЕТИ ОДНОГО ОТЦА

Среди песен о войне, сложенных в недавнее время, мне особенно запомнилась одна, с припевом: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». У всех, кто ее слушал, будь то мои сверстники или люди постарше, на глаза накатывали слезы. Я сам это видел. И каждый раз вспоминал фотографию, снятую весной 1942 года. На ней были парни одного аула, только что призванные в армию. Их — я подсчитал — было шестьдесят семь. А в аул воротилось трое, как в той песне…

Тех из них, кто погиб, я никогда не видел и не могу о них писать. Но я знал безутешных отцов и матерей героев, знал их малых детей, оставшихся сиротами. Знаю, сколько лет было бы сейчас тем, кто не успел от них народиться…

Эту небольшую повесть мне хочется посвятить детям, которых осиротила война, и памяти погибших в битве с фашизмом, особенно тех, кто навечно сомкнул глаза, так и не сделавшись отцом. Пусть она станет горстью земли, брошенной на могилу павших, и песнью, которая, может быть, утешит живых.

Автор

ИСТОКИ

— Ну вот, уважаемые, теперь все в сборе… Слушайте и решайте, — сказал баскарма[13]. — Сами знаете, когда я уезжал, то думал, что вернусь и привезу нам помощников. А получилось все по-другому. В наш район направили ребят из детских домов, пятьдесят четыре человека. Дорога далекая, пока я до райцентра добрался, тех, что постарше, колхозы разобрали. Хотя бы и по четырнадцать, по пятнадцать лет, а все рабочие руки… Что было делать? Посмотрел я на оставшихся сирот, подумал… И взял самых маленьких.

---

[13] Примечания: 13

Баскарма — начальник. В данном случае — председатель колхоза.

Люди зашумели. Еще до того, как собраться, прошел слух, что председатель колхоза вдвоем со счетоводом привезли полную подводу ребятишек — мал мала меньше. Так оно, значит, и есть.

— Тише, уважаемые, — сказал баскарма, поднимая руку. — Не шумите. Привезли мы только шестерых. Все равно на всех не хватит. К тому же как бы не случилось такого, что кто нынче пригреет, завтра слезы лить заставит... Это не по нашим казахским обычаям. Может, в район еще детей направят, тогда и спорить не придется. А пока давайте решать по справедливости. Эй, байбише, — крикнул он, — выведи ребят, если они поели.

— Сейчас, аксакал, — послышалось из юрты.

— А ну, отступите немного, дайте место, — сказал баскарма.

Перед входом в юрту расчистился полукруг. Он то увеличивался стараниями баскармы, то уменьшался: каждому хотелось быть впереди, люди теснились, подталкивали друг друга. И трудно было понять, кто на что-то надеется, а кем владеет простое любопытство.

Наконец в дверях мелькнул белый платок жены председателя. Но она еще немного замешкалась, хотя войлочный полог был уже откинут.

— Идемте, милые, идемте…

Точно желтый взъерошенный цыпленок из-под белого крыла наседки выглянул из юрты мальчуган, худенький, с тонкой шеей и соломенными волосами. Гомон сразу стих — как ножом срезало. Следом за мальчуганом стали выходить один за другим остальные малыши — кто рыжий, кто черненький, у кого каштановый вихорок на макушке. Не то яркое солнце их слепило, не то заробели они перед примолкшей, пестро и бедно одетой толпой, но дети сгрудились у самого входа и застыли в неподвижности.

— Э, лопоухие, да вы не бойтесь, — сказал баскарма. — Ступайте поближе. — И каждого за руку вывел и поставил в ряд перед юртой.

Люди, затихшие было, снова оживились, загудели, начали переговариваться вполголоса, когда заметили среди детей и таких, у кого кожа была смуглой, а глаза черными.

— Ну, Дауренбек, — обратился баскарма к молодому человеку в синих галифе и солдатской гимнастерке, стоявшему впереди всех со скрещенными на груди руками, — читай свои документы, рассказывай про ребятишек, что и как.

Дауренбек, тяжело топая солдатскими сапогами, вышел на два-три шага вперед и вытянул

из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок — вытянул довольно неловко, неумело, действуя левой рукой, на которой уцелели только большой палец и половина мизинца. Затем, переложив листок в здоровую руку, развернул его, разгладил складки и некоторое время беззвучно шевелил губами, читая текст про себя. Закончив, он пересчитал детей обрубком мизинца, опять заглянул в бумагу и, переменив ребятишек местами, заново выстроил перед собой. После этого он прочистил горло, прокашлялся, сложил аккуратно листок и вернул его в карман.

— Все правильно, басеке[14], — сказал он, — детей записано шесть человек. — И строго посмотрел на ребят. — Всем стоять смирно, пока я буду знакомить… Называю по порядку. Двое крайних на правом фланге — братья. Казахи. Старшему восемь лет, зовут Нартай. Младшему шесть, зовут Ертай. Следующий за ними — Рашит, шести лет, татарин. Дальше, — он указал на девочку с обритой наголо головой, узкоглазую, скуластую, — то ли калмычка, то ли дунганка, шести лет. Возле нее — Яков, девяти лет, в бумаге записано, что русский, хотя по виду… — Дауренбек покачал

---

[14] Примечания: 14

Басеке — уважительное от «баскарма»

головой, приглядываясь к большеносому мальчику, — по виду скорее еврей. Откуда пришел в детдом, где жил раньше — неизвестно. Не то заика, не то наполовину немой… Последний, вот этот, который вышел первым, — семи лет. Между прочим, немец… Взяли его в детдом, поскольку лишился отца-матери, остался без крова. Больше о нем ничего не знаю.

Дауренбек замолк, упершись взглядом себе под ноги. По толпе побежало:

— Это как же?..

— Откуда?

— Что — откуда?

— Да мальчик этот…

— Который? Их тут пятеро…

— Дети… Кого кто возьмет… Те, что возьмут… Как же…

— Я все сказал, — отрывисто произнес Дауренбек. — Есть еще вопросы?

Вопросов не было.

— Тогда я кончил, — повернулся к председателю Дауренбек. — Баскарма, теперь слово за вами.

— Э-э, какое уж тут слово… Из аула нашего ушли на фронт сорок три джигита, все как на подбор молодец к молодцу. А вернулось пока только двое: Дауренбек, считай что без руки, и

Берден, потерявший ногу. На двадцать четыре человека похоронки получили. А сколько без вести пропавших?.. Если разобраться, все мы, выходит, сироты, всех нас война осиротила… Будь у нас в колхозе по-прежнему, разве мне бы, с моей грамотешкой, занимать место председателя, вести хозяйство? Или Ахмету в его семьдесят лет — ходить днем за скотиной, а по ночам пасти лошадей?.. Да что поделаешь — война… Пускай только поскорее она закончится и мы победим проклятых фашистов… — Баскарма помедлил, проглотил подкативший к горлу ком. — Э-э, зачем говорить долго, время попусту тратить? Мы сыновей лишились, а те, что стоят перед вами, — родителей. Две половинки — одно целое… — Голос у него надломился, по-стариковски задребезжал. Баскарма думал что-то еще сказать, но, видно, не смог и только махнул рукой.

— Тока, — нарушив тишину, обратился к нему черноусый мужчина в стеганке. Левая нога у него была обута в старый растоптанный саптама — сапог с войлочным голенищем, правая опиралась на новый, обтянутый кожей протез. Это был Берден, тот самый, о котором обмолвился председатель. Тока, многие из нас взяли бы детей. И я, и аксакал Ахмет, и Тлеубай… Да и вы,

наверное, тоже не хотели бы ни с чем остаться. Дети еще маленькие, можно сказать — несмышленыши. Завтра же и позабудут, откуда пришли. Будем родными… Вы уж сами нам их раздайте, баскарма.

— Правильно ты рассуждаешь, Берден, — сказал баскарма, успокоившийся и вновь посуровевший. — Только выбирает пускай себе каждый по сердцу, а я послежу, чтобы не было никаких обид. За вами первое слово, аксакал.

До того как к нему обратился председатель, аксакал Ахмет, сохраняя полнейшую невозмутимость, восседал на своем коне, рыжем жеребце, сверху вниз посматривая на собравшихся. На голове у него красовался облезлый тымак[15] из поярковой шкурки, сдвинутый на левый висок, с лихо задранным кверху правым ухом. При последних словах баскармы он отбросил прочь длинный курук[16] с петлей на конце и ловко, с почти юношеской легкостью соскочил на землю.

— Кого из детей облюбуете, того и берите…

Ахмет прошел сквозь расступившуюся толпу и остановился перед детьми, как бы размышляя,

---

[15] Примечания: 15

Тымак — лисья шапка.

[16] Примечания: 16

Курук — шест с петлей на конце для ловли лошадей.

кого ему выбрать. Пристальным, цепким взглядом окинул он каждого из шестерых и шагнул к братьям казахам, стоявшим в начале ряда. Они жались друг к другу, Старший обнимал младшего, положив руку ему на плечи. Ахмет осторожно попытался их разделить, но мальчики только еще тесней приникли один к другому. Тогда он, вздохнув, опустился на колени, обнял обоих, прижал к груди и каждого поцеловал в лоб. Потом, поднявшись, по очереди погладил всех детей по голове и взял за руку замыкавшего ряд худенького светловолосого мальчугана.

— Вот кого я выбрал.

Толпа заволновалась.

— Воля ваша, — сказал баскарма.

— Как его зовут? — повернулся Ахмет к Дауренбеку.

Тот пробормотал, глядя куда-то в сторону, мимо Ахмета:

— Пожалевший врага им же будет ранен…

— Эй, ты чего мелешь? Я ведь у тебя совета не спрашиваю, — вскинулся Ахмет.

— При седой бороде, на сомнительное дело решаетесь, аксакал.

— Не встревай в подхвостник, светик мой, — усмехнулся Ахмет. — Знавал я и отца твоего,

атшабара[17] Бакибая, так и он передо мной не смел хорохориться. — Старик поправил тымак на голове концом сложенной вдвое камчи. — Ты емису[18] три пальца отдал, а я — трех сыновей… Не задерживай зря, скажи, какое имя у моего мальчика?

— Зигфрид Вольфганг Вагнер. Довольны? — косо улыбнулся Дауренбек.

— Зекпри Болыпкен… Как, как?..

— Зигфрид Вольфганг Вагнер.

— Э-э… Хорошее имя, — кивнул Ахмет. — Айналайн, пошли. Домой пошли. Мать дожидается тебя… Что нам до чужих толков, пошли домой.

Он направился к коню, которого держал за повод кто-то из аульных ребят, сбежавшихся поглазеть на небывалое зрелище. Подняв Зигфрида, неловко раскорячившего ноги, Ахмет посадил его в седло. Потом нагнулся, подобрал с земли курук и, едва коснувшись носком стремени, вскочил на коня сам. Седло, украшенное серебряной насечкой, оказалось достаточно широким, оба в нем уместились: впереди — мальчуган с голубыми

---

[17] Примечания: 17

Атшабар — помощник-посыльный разных должностных лиц в дореволюционном Казахстане (после присоединения к России).

[18] Примечания: 18

Емису — искаженное «немцу».

глазами на малокровном, худом лице, давно не стриженный, обросший длинными светлыми вихрами, позади — сохранивший прямую осанку старик, с молодецки закрученными седыми усами и остроконечной бородкой, дочерна загоревший на солнце и степном ветру.

Рыжий жеребец с белой отметиной на лбу, давно изучивший все маршруты хозяина, повернул было вправо, к холмам, где паслись лошади, основная рабочая сила колхоза, но старик, натянув поводья, тронул коня влево, а затем, пришпорив жеребца, поскакал, нарушая собственные привычки и заведенный обычай, напрямик, пересекая аул. И только после того, как позади остался и аул, и свора исходивших лаем аульных собак, преследующих жеребца, Ахмет придержал коня, разрешая ему перейти на шаг. Впрочем, и спешить больше было некуда — впереди, несколько на отлете от аула, виднелась одинокая юрта, в которой жил Ахмет.

— Да будут их дни долгими и радостными! — сказал баскарма, задумчиво смотревший вслед Ахмету до тех пор, пока тот не добрался до дома и не сошел с коня перед своей юртой. — Это последняя кибитка, оставшаяся от почитаемой всеми, дальними и ближними, семьи — самой славной

у нас в роду… Ну, пора и на работу выходить, поторопимся, — вернулся он к делу. — Баке, теперь, после Ахмета, ваше право выбирать.

— Спасибо, Токажан, сынок, — закивал в ответ председателю сгорбленный старичок, и толстая палка, на которую он опирался всем своим сухоньким телом, дрогнула и заходила в его руках. — Спасибо… Но бог отнял у меня моего единственного, хотя когда-то я едва вымолил его у неба… А теперь мы со старухой добрели до края могилы. Зачем горемычное дитя, потерявшее родителей, снова делать сиротой? Зачем лишний грех брать на душу?..

После слов Баке общее возбуждение окончательно улеглось, поладили без шума, споров. Если сам баскарма, соблюдая порядок и приличие, терпеливо дожидался своей очереди, значит, и другим негоже рваться вперед. И те, кто разобрал малышей, и те, кто остался с пустыми руками, — все, казалось, были удовлетворены. И лишь когда горько, навзрыд, не слушая уговоров, заплакали братья Нартай и Ертай, не желавшие разлучаться, людям сделалось не по себе. «Как я заранее о таком не подумал, дурень!» — укорял себя баскарма. Женщины, глядя на сирот, утирали слезы, мужчины, помрачнев, стояли безмолвно,

не расходясь по домам. Но ни бригадир Берден, который выбрал Ертая, ни Тлеубай, которому достался Нартай, не думали уступать, расставаться с детьми. Дошло между ними до резких слов, могло бы, чего доброго, дойти до потасовки, не вмешайся старшие. «Были бы дети счастливы, — сказали они, утихомиривая упрямцев. — А слезы сегодня прольются — завтра высохнут. Все обиды забудутся...» Последние слова прозвучали утешением и для остальных. Люди разошлись.

ПРИТОК ПЕРВЫЙ. ЗИГФРИД, СЫН АХМЕТА

По аулу разнесся слух, будто бы старый Ахмет пригласил к себе жившего по соседству муллу Жакана, чтобы обратить немецкого мальчика в истинную веру. Но когда мулла попросил за свои услуги козленка, Ахмет, рассердясь не на шутку, будто бы не дождался даже конца чаепития и тут же выпроводил Жакана за порог. При этом Ахмет напомнил ему о праведном халифе Али, который наставил на путь аллаха тысячи и тысячи, но ни у кого за это козленка не требовал... А на другой день, по тем же слухам, заявился неуемный старик на центральную усадьбу колхоза и увез к себе

ходжу Сеитбека, который давно уже не показывался на людях, и Сеитбек будто бы исполнил над мальчиком положенный обряд обрезания. Опять ждали шума, но на этот раз все обошлось мирно. И аульные сплетницы рассказывали, будто ходжа уехал к себе довольный, получив подарок — овцу с ягненком.

Трудно выяснить, где тут правда, где вымысел, достоверно другое. Весь аул пригласил Ахмет на той в честь праздника усыновления. По исстари заведенному обычаю, принятый в семью в этот день «держит асыкжилик», то есть ему вручается большая берцовая кость, асыкжилик, в знак того, что не приемышем входит он в дом, а родным сыном.

Люди давно не отведывали свежего мяса и собрались от мала до велика, молодые и старые. Ахмет же на радостях прирезал своего единственного барана и отварил всего, вплоть до ножек и внутренностей. Хватило вдоволь гостям и жирного мяса, и наваристой супы, наелись так, что когда разостлали дастархан для чая, никому не хотелось уже и смотреть на рассыпанный по скатерти курт и иримшик. Разве чтобы только утолить жажду, выпили по чашке пустого кипятка — заварки в те времена было днем с огнем

не сыскать.

И тут бригадир Берден строго напомнил, что с утра на работу, мол, раньше ляжешь — раньше и поднимешься… Но баскарма остановил его. Вот уж два или три года люди не видели такого тоя, пускай душу отведут.

Женщины хором затянули песню. Протяжная мелодия, начинавшаяся словами «Бир бала» — «Один мальчик…» — навевала тоску и уныние. «Откуда мне ждать радости… Печальна моя земля…» Но старые напевы сменились новыми, неизвестно кем сложенными, неведомо как занесенными в аул, и хотя неказисты были у них и слова, и мотив, зато душу облегчали, а того сейчас и хотелось.

Женщины пели, мужчины, послушав немного, вышли из юрты. Постояли, потолковали о том о сем. Ночь была темная, безлунная, ни зги не видно, в небе мерцали звезды, и не было им ни числа, не счета. Мерцали, светились, как и пять, и десять, и сто лет назад. Все такие же юные. Такие же не ведающие ни горестей, ни печалей…

А женские и девичьи голоса льются-заливаются. «Пой, мое сердце, про того, кто в бою… Вернется ли он ко мне, я не знаю… Только жду его, жду…»

— Ах, друзья, что же так стоять? Может, кто

поборется, силу покажет? — нерешительно предложил баскарма.

Желающих не нашлось. Одни старики в ауле остались, до молодецких ли им утех?.. Еле-еле вытолкнули на середину двух аксакалов. Покряхтывая, долго ходили они по кругу, разминали затекшие ноги, но постепенно, подогретые подбадривающими восклицаниями, ухватились друг за друга. Этот попытался дать тому подножку, тот — положить этого на лопатки, но только потоптались, поохали, уморились вконец и уселись на землю — отдохнуть. Впрочем, остальные вдоволь повеселились. Тоже хорошо…

Зато когда смолкли смех и шутки, в тишине еще слышнее стали женские голоса. Раньше они звучали нестройно, вразнобой, а теперь, как ручейки в одном русле, слились в единой жалобе и надежде.

— Надо мальчишек заставить бороться, — предложил кто-то.

Но мальчикам не было дела ни до грустных женских песен, ни до борьбы, о которой, вспоминая собственную молодость, говорили старики, — они себе резвились за юртой, играя в свои веселые ребячьи игры.

— А не потягаться ли нам в кокпаре? — подал

голос Тлеубай.

— Ойбай, в темную-то ночь…

— Что ночь — не беда, только где козла возьмем?..

— Если Ахмет-ага не пожалеет шкуры барана, что пошел на угощенье…

Слово за слово, а Тлеубай уже не шутил и уговоров не слушал: «Или сегодня, или никогда!..» Вскочил на одного из коней, привязанных возле юрты, зажал свежую баранью шкуру под коленом, гикнул диким голосом и пропал во мгле. Только топот, стихая в отдалении и снова приближаясь, плыл кругами над ночной степью.

— Ойбай, глупая голова!.. — вздохнул Берден. — Себе шею свернет — его дело, а вот скакуна покалечит… Вернись! Эй, вернись назад!

Тлеубай между тем поднялся на невысокий перевал сразу же за аулом и остановился, развернув коня поперек. На фоне слабо светящегося, усыпанного звездами неба можно было разглядеть его размытый силуэт.

— Не верну-у-усь! — крикнул он. — Опозорю вас всех, увезу шкуру к себе домой!.. Эй, торопитесь, а то мне ждать надоело!..

— Ведь и вправду на целый свет осрамит, — проворчал Берден. — Какой под ним конь?

— Кок-Домбак.

— Скверное дело. Его разве что Жирен-Каска нагонит. Где Ахмет?.. Отвязывай своего рыжего с белой отметиной… Да поскорей, не то этот беспутный скроется из виду.

Привели коня, помогая, подсадили Бердена. И тут стало видно, как Тлеубай тронулся с места.

— Если вернусь ни с чем, пускай и вторая моя нога будет деревянной, — сказал Берден. — Чу-у, жануар, благородное животное!..

Спустя мгновение он уже одолел подъем.

И тут поднялся такой переполох, словно враги на аул напали. Кто-то устремился к лошадям, привязанным возле юрты, кто-то кинулся к тем коням, которые отдыхали перед завтрашним рабочим днем, паслись неподалеку в степи.

Топот копыт и отрывистые гортанные выкрики, доносившиеся то из степи, то со стороны окрестных холмов, долго еще не утихали в ту ночь.

Зигфрид Вагнер, уютно устроившийся в теплой постели и уснувший еще до того, как гости расправились с мясом, наутро проснулся Зекеном Ахмет-улы Бегимбетовым.

— Если хотите знать, — сказал Ахмет, — всякий, кто разделяет людей, называя их орыс, или казах,

или емис, нарушает учение пророка и берет на свою душу великий грех.

Дело было после того, как в колхозе отпировали по случаю пяти усыновлений и одного удочерения, и страсти, связанные с этим, мало-помалу улеглись. На хирмане[19] своим чередом шла работа, и, пользуясь тем, что только что пролился, взбрызнул землю короткий слепой дождь, люди отдыхали, настроенные самым благодушным образом.

— Благословенный дед мой говаривал, — продолжал Ахмет, — что сам слышал в старину эту историю от мудрых людей... — Он вытянул из-за голенища отороченную серебром роговую шакшу, положил в рот щепоть насыбая[20]. И помедлил немного, покручивая усы и расчесывая пальцами бороду. — Поначалу сотворено было небо, голубое, без единого пятнышка, потом земля, черная, без единой морщинки. Потом из неба родилась туча, окропила землю, выросли цветы, зеленые травы, густые леса и деревья, дающие плоды. Дикие звери заселили поля и леса, а чтобы ими управлять и властвовать, создан был чело-

---

[19] Примечания: 19
Хирман — ток.

[20] Примечания: 20
Насыбай — жевательный табак.

век. И приручил он диких зверей, обратил их в домашних животных, а по просторным степям раскинул свои кочевья. Не было в те времена ни вражды между людьми, ни разделения на своих и чужих. Все жили в достатке и веселье. Потому что те первые люди знали, что все они — братья, дети одного отца…

— Неправильные это мысли… Неправильные и даже вредные, — заметил Дауренбек. Он был здесь самым грамотным и поэтому считал, что глаза его лучше видят — о прошлом ли заходила речь или о настоящем. — Все мы родились от обезьян.

— Пустые слова, светик мой, — сказал Ахмет. — Благословенный дед мой рассказывал, что дальний наш предок — сивый волк. Но в Коране об этом тоже ничего не написано. Там написано, что все люди на земле пошли от отца Адама и матери Хауы. Слышал я, даже самые ученые русские муллы с этим согласны. От отца Адама произошли Абиль и Кабыл…[21]

— Все это — религия и дурман, — резко оборвал Дауренбек. — По науке, предки у нас — обезьяны. И не одна обезьяна, а много обезьян.

---

[21] Примечания: 21

Абиль и Кабыл — Авель и Каин.

Знающие нрав Ахмета ожидали, что загорится ссора, вспыхнет скандал. Но ничего такого не случилось.

— Каждый о своем предке говорит, — добродушно рассмеялся Ахмет. Кончиком языка он собрал в комок насыбай, сбившийся под нижней губой, и, отвернувшись, сплюнул.

Все рассмеялись.

— Ничего не понимаете в науке, а спорите, — побледнел Дауренбек.

Строг он был, счетовод Дауренбек, и почти всегда сердит, чем-то недоволен… Люди затаили дыхание.

— Может быть, сынок, ты и прав, — сказал Ахмет, кивнув головой. — Мы люди неученые, темные… Может быть, как ты говоришь, мы и родились от обезьян, а может быть, как написано в Коране, все мы — потомки одного предка, отца Адама. Кто знает… Если верить моему деду, который дожил до девяноста семи лет, то предки у казахов — сивые волки, а у других народов — разные прочие звери. Сам никто ничего не видел, одни догадки… Только ведь и по твоей науке такого не получается, будто одни люди хуже других: казахи, скажем, хуже русских, или… — Ахмет не договорил, но выразительно, глаза в глаза, по-

смотрел на Дауренбека. — Нет, и по науке такое не получается… Ведь обличье — это вроде бы занавеска, скрывающая нутро. Вот и надо про нутро говорить. Как сердце стучит, к чему душа лежит — на это, сынок, смотреть следует.

— У русского народа есть пословица, — сказал Дауренбек. — Сколько волка ни корми, а он все в лес смотрит. — Он понял, на что намекал Ахмет.

— Умные слова, — отозвался старик, — только не к месту сказаны. — Он спрятал за голенище сапога пустую шакшу, обошедшую всех любителей насыбая. — Все равно сидим, пока хирман подсохнет… Послушайте-ка, что я вам расскажу… Наверное, все вы слышали об Айбасе, предке моем в восьмом колене. Знаменитым он был батыром, не раз становился во главе войска, во многих походах участвовал. Однажды, воюя с белыми калмыками, понесли наши большие потери. В те времена для каждого мужчины завидной судьбой считалось погибнуть от руки врага, сражаясь лицом к лицу; по тем, кто погибал, носили траур, но слез пустых не проливали. И все же, когда у одного человека… Не скажу — у кого, может быть, у родича батыра, может, у почитаемого народом аксакала… Короче, когда у одного уважаемого человека все пятеро сыновей разом от вражеских

стрел погибают, такое вынести нелегко. И отцу особенно. Пришел батыр Айбас посочувствовать отцовскому горю, а тот человек и говорит: «Пятеро сыновей моих погибли в бою, пятеро шахидов…[22] Духи-предков гордятся ими, я не плачу, не проклинаю свою участь. Но все они молоды были, мои шахиды, никто не успел из них оставить после себя наследника семейной чести продолжателя рода. Когда я умру, погаснет дым моей юрты, упадет мой шанырак… Вот над чем я плачу, подумал ли ты об этом?» — «Подумал», — ответил батыр Айбас. — «А если так, садись на коня, по обычаю предков: тебе погибель не страшна, у тебя за спиной — сын…»

И снова собрал батыр свое поредевшее войско и после нескольких дней похода снова напал на врага, упоенного недавней победой. И кололи его, и рубили, и преследовали воины Айбаса, пока не прогнали за Алтай. На добро, на скотину Айбас и не смотрел — добычей для него стали только дети, ростом не достигшие ступицы колеса. Как их роздали, кому они достались, когда вернулся батыр из похода, не знаю. Зато известно, что потомки пяти мальчиков, приведенных вместо

---

[22] Примечания: 22

Шахид — павший за правую веру, за родину.

пяти сыновей-шахидов, пустили корни, каждый зажил своим аулом, и долго жили они в богатстве и благоденствии… А их потомки, подошло время, вступили в колхоз.

Опираясь на рукоять камчи, Ахмет поднялся с места.

— Где же они? В каком колхозе, Ахмет-ага?.. — с любопытством заговорили вокруг.

— Да у нас же, в нашем колхозе, — усмехнулся Ахмет.

— Аксакал шутит…

— Что мне шутить?.. Потомки тех пятерых, занявших место погибших, сидят и сейчас между нами. — Ахмет направился к своему коню, взобрался в седло. — Не дай бог, скотина забрела на посевы… Мне бригадир голову снимет. Поеду посмотрю… — Перед тем как пришпорить лошадь, он обернулся: — А вы приглядитесь хорошенько друг к другу. Может, что и заметите. — Ахмет стащил с головы тымак, тряхнул его, сметая осевшую на току пыль, надел снова и, смеясь от души, поскакал галопом в сторону поля.

Были мужчины на току, были женщины; были молодые, были старые; кто сидел, поджав ноги, на подстилке из соломы, кто полулежал, выдавив боком ямку в сыпучем валу пшеницы, кто попро-

сту опустился на корточки, но в тот миг каждый замер в той позе, в какой застали его последние слова Ахмета, и только глаза с торопливой подозрительностью скользили по лицам оказавшихся рядом или напротив. А вдруг и в самом деле обнаружится непривычная, чужая линия, складочка, черточка?.. Но спустя минуту или две ни у кого не осталось и малого сомнения в том, что все работавшие на току — чистокровные казахи.

— Аксакал Ахмет разыграл нас, — догадался кто-то.

И тут началось… Один захлебывался от смеха, другой стонал, вытирая слезы, третий уже хрипел, не в силах удержать хохот. Все смеялись, пока не раздался сердитый окрик Дауренбека:

— Довольно сидеть, пора за работу браться.

И в чем-чем, в этом счетовод Дауренбек был прав. Пора… Кто с метлой, кто с лопатой — все разошлись по своим места. Впрочем, смех долго еще слышался кругом.

И только постепенно, не вдруг, стало для каждого проясняться сказанное Ахметом…

«А все-таки, Ахмет, по какой причине выбрал ты этого мальчика?» — могли бы спросить у Ахмета его сверстники-аксакалы.

И что бы он им ответил?

«Сам не знаю, — ответил бы Ахмет. — Правду говоря, думал я поначалу о братьях казашатах. Но жалко стало мне их разлучать. К тому же старший показался мне слишком большим. Трудно такому забыть свою семью, привыкнуть к новой…»

«Так ведь были там и другие?»

«Были, это верно… Только приглянулся мне этот Зекен».

«И все-таки…»

«Все они были для меня одинаковы, — сказал бы Ахмет. — Но среди других сирот он… как бы сказать… был самым большим сиротой. Вот и взяла меня жалость…»

Вскоре он только и говорил, что о своем новом сыне.

— До чего понятливый постреленок! — хвастался он. — До чего сообразительный!.. Но в школу пока ему рано. Прежде пускай по-нашему разговаривать научится. Иначе как бы не почувствовал себя обделенным судьбой или чужаком среди прочих детей…

— Верьте не верьте, — рассказывал он в другом случае, закладывая под язык новую порцию насыбая, — верьте не верьте, а есть у него что-то в роду от казахов. Уж очень лошадей любит. Вроде бы еще и зада от переда отличить не может, а все

возле моего рыжего вертится. Такой непоседа…

— Воистину от родного сына не отличу, — радовался Ахмет, беседуя с третьими. — Только в первые дни робел, а сейчас… Да что про нас со старухой толковать, он ко всему нашему аулу сердцем привязался…

Люди с одобрением кивали, слушая Ахмета, но дети признали Зигфрида своим не сразу. Долго не подходили они к нему, не принимали в свои игры. Он был для них чужаком. И только в присутствии Ахмета держались к Зигфриду поближе, не обижали, даже могли подарить асык, например, или что-нибудь еще из своих бесценных мальчишеских пустячков, но все как-то не от души…

Что ж, он был не злопамятен и в компанию не напрашивался — играл себе один. Вывернет наизнанку Ахметов тымак, нахлобучит на голову, оседлает вместо коня гибкую лозину — и с утра до вечера носится возле дома. Покажется невдалеке какой-нибудь мальчуган — Зигфрид позовет его, помашет рукой. Тот и взгляда, бывало, не кинет в его сторону, пробежит мимо, а Зигфрид летит за ним следом… Впрочем, от дома особенно не удаляется.

Но с тех пор как он начал мало-мальски болтать по-казахски, аульные ребята к нему, казалось,

потеплели. Случалось, и домой стали забегать. Только кто знает, что их притягивало: то ли сам Зекен, то ли чашка, наполненная до краев маслянистой жареной пшеницей, которую здесь неизменно выставляли перед гостями, то ли, наконец, жеребец Жирен-Каска, за которым ходила слава тулпара…[23]

Зигфрид бывал, рад каждому гостю. После того как у чашки с пшеницей обнажалось донце, он снимал подвешенную к изголовью деревянной кровати продолговатую торбу, сшитую из козьей шкуры, и все содержимое вытряхивал на землю. Было, было и у него чем похвастать! Ахмет специально собрал все эти асыки, разъезжая по дворам, и самолично выкрасил — травяным корнем, густой хной — в желтые, с веселой рыжинкой, и в темные, кровяно-красные. А бабки от ног архара, дикого барана, пролежавшие столько лет в уголке сундука и наконец извлеченные оттуда! Крупные, коричневые, отполированные мальчишескими пальцами!.. У кого не разбегутся, не заискрятся глаза при виде таких сокровищ!

— И у меня асыки есть, — говорит гость, проводя кончиком языка по пересохшим от волнения

---

[23] Примечания: 23

Тулпар — крылатый конь *(фольклорное).*

губам.

— Жахсы, — отвечает Зигфрид. — Хорошо. — Вместо гортанного казахского «к» он мягко выдыхает «х». Зная, что за ним водится такой недостаток, он избегает этого звука, но ему это удается далеко не всегда. Остальные звуки он произносит сносно, включая и те, которые усвоил впервые. Ну, а гортанное «н» ему до того нравится, что Зигфрид употребляет его к месту и не к месту.

— Ханша аск сенки?

Но гость молчит. Ему явно не под силу сосчитать, сколько у него асыков.

— Много, — после некоторого раздумья произносит он.

— Жахсы, — одобряет Зигфрид. И, вызывая у старой жены Ахмета улыбку своим акцентом, забавным для ее непривычного слуха, торопится поведать о собственных несметных богатствах. — У меня тоже… тоже много… У меня сорок… сорок… Сколько у меня, апа?[24]

— Сорок девять, солнышко.

— У меня сорок девять асыков!

— И у меня сорок девять асыков, — не слишком

---

[24] Примечания: 24

Апа — мама.

уверенно повторяет гость, полагаясь на свою догадку, что «сорок девять» — это и есть «много».

— Жахсы… Жахсы… — похлопывает Зигфрид его по спине. — А кулжа у тебя есть?

Гость молчит, чтобы не сказать неправды…

— Кулжа… От архара, знаешь?

— Кулжа… Я тоже найду себе кулжу… — не желая сдаваться, бормочет гость.

— Это кулжа моего старшего брата… Нарымбета… — запинаясь, произносит еще не вполне освоенное имя Зигфрид. — Он мне ее оставил… Его на войне убили. Трех моих старших братьев на войне убили. А у тебя сколько братьев убили?

— Мой старший брат еще… тири, — говорит мальчик.

— Тири?.. Апа, что это — тири?..

— Значит, не умер, айналайн. Значит, живой, где-то ходит.

— О-о!.. А мой умер, моего убили! — с торжеством восклицает Зигфрид.

Гость в смущении помалкивает, признавая свое поражение.

— На войне моих братьев убили… Кто убил, апа?

— Керман[25], солнышко.

— Керман убил на войне моих братьев!

— И моего старшего убьют, — не в силах дальше выносить такое унижение, обещает гость. — Его завтра убьют.

— Все равно, — не желает уступать Зигфрид, — у тебя брат живой, а моих убили. — И выставляет врастопырку три пальца. — Келим-бет… Жолым-бет… Нарым-бет… — При каждом имени он загибает один палец, сначала большой, потом указательный и в конце — средний. — Теперь я один. — Вместо трех загнутых пальцев Зигфрид выставляет мизинец. — Это я. А буду… — Он разгибает большой. — Вот я какой буду, отец сказал!

Но не всегда встречи с аульными детьми были столь мирными. Особенно вначале, когда ребята, спрятавшись под обрывистым берегом реки, обстреливали комками сухого конского помета Зигфрида, игравшего в одиночестве неподалеку, возле своей юрты. Пока кто-то выскочит ему на выручку, обидчики успевали нырнуть в кусты. Однажды, улучив момент, когда Зигфрид отошел от дома, на него натравили щенка. В другой раз, когда он подбежал к своим сверстникам, барах-

---

[25] Примечания: 25

Керман — искаженное «Германия».

тавшимся в речке, его схватили, вымазали илом лицо и так отпустили.

Не на шутку рассердился Ахмет, увидев чумазого, облепленного грязью Зигфрида, ревущего благим матом… Одни залитые слезами глаза блестели на его похожем на маску лице. Ахмет вскочил на коня и, подхватив Зигфрида, усадил перед собой. Озорники то ли не ждали такого скорого возмездия, то ли, как обычно, рассчитывали на полную свою безнаказанность и по-прежнему весело плескались в воде. Завидев Ахмета, они кинулись врассыпную. А точнее, на противоположный берег. Но дальше растущего здесь тальника убежать не смогли: вся их одежда осталась там, где они купались и учиняли свою экзекуцию…

Впрочем, они бы и голышом задали стрекача, вздумай Ахмет перебраться через мелкую речушку. Но он придержал коня у самой воды.

— Эй, — крикнул он, — босоногие!.. Знаете вы, над кем измываетесь? Над моим сыном! Над младшим братом Нарым-бета!.. — Он назвал по имени трех ребят постарше и поманил к себе. — Смойте с Зекена грязь. Научите его плавать. — И, не дожидаясь ответа, опустил Зигфрида на землю. — Иди играй. — А сам, повернув коня, поехал

шагом, не оборачиваясь.

И вышло так, что с того дня никто из ребят больше не сторонился Зигфрида. Сам же он был ненасытен в играх. Целые дни, с утра до вечера, проводил на берегу, резвился в воде, возводил из песка крепостные стены и башни, строил из глины дома, из камыша мастерил лодку, заменяя парус зеленым листом лопуха. И плоские камешки, влажно сверкавшие на солнце, пускал он, рассекая гладкую поверхность воды, и носился по густой, пружинящей под голой пяткой траве-мураве, играя в догонялки. Лишь на закате Зигфрид возвращался домой и замертво валился на подушку.

Вскоре он превратился в такого же мальчугана, как и его теперешние товарищи, до черноты загорелые, бритоголовые, с ногами, покрытыми ссадинами и цыпками. Но вместе с тем в облике Зигфрида что-то выделяло его среди аульной детворы, то ли яркие синие глаза, то ли светлые брови и ресницы. Однако к нему привыкли, он уже не выглядел в ауле чужаком. И к языку, который слышал вокруг, постепенно приобщился. Теперь у него здесь были не только друзья, обнаружились вдруг даже кровные родственники — до шестого, до седьмого колена. Люди

постарше, например, отыскивали в нем явное сходство с Нарым-бетом, а другие тут же и объясняли столь удивительный факт, вспоминая, что брат Нарым-бета, средний сын Ахмета — Келимбет, намерен был одно время жениться на немке, а может, и женился, и таким-то вот образом родился Зигфрид… Впрочем, для него самого эти слухи и догадки не имели значения. Важно было, что он был признан полноправным гражданином ребячьей республики, где все имели равную возможность выбирать и свергать хана, участвовать в азартных потасовках и играть в «айголек»…

Но игры продолжались недолго. В начале сентября общие заботы захватили и подростков-школьников, и тех, кто по годам еще явно не годился для работы в поле… Малыши лишились своих заводил и главарей, Зигфрид оказался среди них старшим. К тому же похолодало, никого не тянуло на речку, даже асыки прискучили… Зигфрид нашел для себя новую забаву.

С первых же дней жизни в ауле он пристрастился ездить на коне, усевшись впереди Ахмета, а теперь и вовсе сделался завзятым лошадником. Да и Ахмет при любой возможности брал его с собой. На хирман ли направиться, пригнать ли скотину, соседей ли навестить — оба восседа-

ют на рыжем, старый да малый. Бывало, Ахмет спешится по своим делам, а Зигфрид с важным видом дожидается его в седле. Поначалу он, правда, и выпустить из рук боялся луку седла: как вцепится, так и не разожмет пальцев, но постепенно привык держать повод и самостоятельно править лошадью. Зигфрид не был, понятно, таким лихим наездником, как многие из его сверстников, которые уже в два-три года освоили ашамай — специальное детское седло и чуть ли не выросли, не слезая с коня, но смирный по натуре Жирен-Каска охотно подчинялся мальчику. Зигфрид сам водил его на водопой, выгонял в степь, умудрялся порой даже слегка порысить на нем. Несмотря на ворчанье жены, Ахмет начал посылать Зигфрида сторожить поле, не подпускать к нему случайно забредающую скотину. «Пусть привыкает к верховой езде, — думал Ахмет. — Самая большая беда — упадет. Ну и что? Нет казаха, который бы с лошади не падал. И нет казаха, который от этого бы умер».

Тем не менее, прежде чем подсадить в седло Зигфрида, Ахмет и затянет покрепче подпругу на рыжем, и несколько раз повторит свои наставления — как поступать и чего остерегаться. А стоило Зигфриду где-нибудь задержаться, и он

отправлялся на поиски пешком. Словом, хлопот в его жизни прибавилось. Но не к досаде, а к радости… Наконец он добился своего: Зигфрид обучился ездить верхом. В седле он держался свободно, подражая Ахмету, и так же, как он, слегка заваливался при этом на правый бок, и сидел небрежно, в позе бывалого наездника. А когда конь шел рысью, старался не подскакивать, сидеть в седле как влитой. И быстрой езды уже не боялся, и не екало у него сердце ни на обрывистых спусках, ни на крутых подъемах.

Ночами Ахмет выпасал на пастбище рабочий скот, и днем ему не удавалось отдохнуть. Его обязанностью было охранять засеянное пшеницей колхозное поле. Рядом бродили не знавшие узды жеребята, а иной раз и отпущенные на недолгий отдых жеребцы и кобылы. Имелись в ауле и коровы, которых в прошлом казахи не признавали за достойную внимания скотину и оценили только теперь, в военные годы. Но именно с них, с этих добрых и смирных животных, начались для Ахмета все беды.

И всего-то было их десять или пятнадцать, о чем бы, казалось, говорить?.. Под утро вернется Ахмет из ночного, пригонит в аул рабочую скотину, отведет подоенных только что аульных

коровенок на пастбище пораньше и наконец-то возвращается к себе домой, но только разденется, только облачится в домашнюю одежду, только сядет за чай — бежит жена: глаз у нее острый, она и чай мужу подливает, и во двор то и дело выскакивает — за полем приглядеть. И вот едва пригубит Ахмет пиалу, а она уже тут как тут, кричит, стоя на пороге:

— Ойбай, отец Накена!.. Ойбай, отец Зекена![26] Коровы на поле идут…

— Аф-ф, сопатая, чтоб тебе… — И Ахмет, чертыхаясь, снова взбирается на лошадь.

А коровы уже у речки, а над речкой колосится пшеница. И, понятное дело, пока доберется туда Ахмет, коровы отведают лакомого зерна…

— Эй, — рявкает он, — назад! Кому говорю!..

Коровы слышат издали его голос и повинуются приказу. Лучше, знают они, не связываться с неугомонным стариком… И волей-неволей отступают назад, поворачиваются и бредут к себе на пастбище. Но не все. Те, что поглупее, упрямятся — и стоят, будто к земле приросли копытами, ни взад ни вперед, и только покачиваются, поводят боками и шумно дышат, исходя слюной, не в

---

[26] Примечания: 26

По обычаю, в прошлом жена не называла мужа по имени.

силах покинуть поле, такое манящее, близкое и запретное… И так до тех пор, пока не прискачет Ахмет.

Но с коровами он обходится деликатно, не бьет, не гонит что есть мочи — от этого может пропасть молоко. Ахмет не спеша заворачивает их к пастбищу, только теперь уводит еще дальше… Все равно. Часа не пройдет — и коровы снова, возбужденно мыча, движутся к полю. О господи!.. Ночи Ахмет проводит среди волов, которые днем тянут соху; и среди верблюдов, на которых возят зерно; и среди лошадей, впрягаемых в лобогрейку; и среди жеребят-стригунков, для которых всегда отыщется работа на хирмане, — всего-то что мельком соснет прямо в седле или вздремнет на земле, завернувшись в тулуп… А днем тело и душу ему выматывают эти коровы!..

Зато с того времени, как Зигфрид стал привыкать к коню, Ахмет почувствовал некоторое облегчение.

С утра Зекен уже в седле, а сам Ахмет благодушествует, чаек попивает, иной раз умудрится и всхрапнуть час-другой. Если нужно — Зекен поскачет галопом, проверит, в какой стороне пасется стадо, все ли в порядке. Доволен Ахмет, словно неба макушкой коснулся. И не слуша-

ет постоянных попреков жены: как бы чего не стряслось, как бы какой беды на мальчика не накликать… Глупая старуха! Да в такие годы уже и в байге на сорок километров участвуют! В такие годы Ахмет уже до самой Кояндинской ярмарки скот помогал перегонять! Мал еще Зекен?.. Ничего, так он скорее настоящим джигитом станет!..

Но однажды, когда Ахмет вот так блаженствовал, Зигфрид и в самом деле нарвался на беду. И не только Зигфрид…

Обычно Ахмет наказывал ему присматривать за коровами, а при нужде скакать за помощью домой. Но то ли забыл Зигфрид об этом наказе, то ли решил в ребяческом задоре со всем справиться сам, — как бы то ни было, заметив, что стадо направляется к полю, мальчик хлестнул рыжего жеребца и помчался наперерез. Коровы и не подумали отступать перед всадником с тоненьким голоском и куцехвостой камчой. Степенные животные, мыча и помахивая хвостами, упрямо двигались напролом. И только успевал он завернуть одну корову, как вперед устремлялась вторая; он торопился к ней — третья преграждала ему путь, становясь поперек. В конце концов все стадо скопом, вместе с выбившимся из последних сил Зигфридом, вклинилось в поле колосящейся

пшеницы. Тут-то и застиг его Дауренбек…

Счетовод возвращался из бригады, работавшей в поле на жнейках. Увидев смятые, истоптанные колосья, коров, жадно накинувшихся на поспевающую пшеницу, он пришел в неистовый гнев, но всю свою вполне справедливую ярость обрушил почему-то на Жирен-Каску. Огрев камчой коня по крупу, он погнал его перед собой, не обращая внимания на отчаянные крики Зигфрида.

Услышав топот четырех пар копыт и пронзительный вопль «Аттан! Аттан!»[27], из юрты выбежал насмерть перепуганный Ахмет. Завидев Дауренбека, преследующего Зигфрида по пятам, да еще с камчой, занесенной над головой мальчика, он, не мешкая ни секунды, тоже закричал и кинулся за соилом[28]. Жирен-Каска, храпя, уже уперся грудью в коновязь. Дауренбек же при виде увесистой дубины в руках Ахмета хлестнул своего коня и повернул назад. Иначе — чем черт не шутит! — старик бы вышиб его из седла…

Ахмет, казалось, даже не взглянул на перепуганного Зигфрида, который кубарем скатился с коня. Волоча за собой соил, он тут же хотел

---

[27] Примечания: 27
Древний воинственный клич: «По коням!»

[28] Примечания: 28
Дубина с утолщением на конце.

вскочить на Жирен-Каску и мчаться вдогонку за обидчиком… И Ахмет так бы и поступил, если бы не жена…

Вечером оба — Ахмет и Дауренбек — стояли перед баскармой.

— Ты не меня — должность мою колхозную не уважаешь! — кричал Дауренбек. — Какое право имеешь соилом размахивать? Ты на кого это замахиваешься, а? На меня или на власть нашу?..

— Ты моего сыночка хотел камчой ударить… Он тебе кто — сирота, за которого некому заступиться?.. Я ему отец, я над ним измываться не позволю! — твердил Ахмет.

— Этот стервец нарочно хотел стравить коровам наши посевы! — брызгал слюной Дауренбек. — Я сам видел!..

— Аллах всемогущий! — Ахмет ухватился рукой за ворот и сел. Не найдясь, что ответить, он только зацокал языком, закачал головой.

— Да, видел! — продолжал наступать Дауренбек. — А что тут удивляться? Немец есть немец. Кто войну зажег? Кто трех твоих сыновей жизни лишил?..

— Не оскверняй моих детей своими погаными устами! — оборвал Ахмет. Голос его был негромок, но суров.

Дауренбек почувствовал свой перевес.

— Немец есть немец, да!.. — повторил он свои прежние слова. — Я их… Я за два года вот этими глазами насмотрелся такого, что на всю жизнь запомнил! И не позволю!..

— Ты про кого говоришь? Или совсем разума лишился? Он ведь мальчик еще…

— А кто у него отец? Это ты знаешь?..

— Не знаю и знать не хочу!

— А я знаю… Знаю, кто ты есть на самом деле! Укрыватель — вот кто! Ты… Ты…

— А ты — настоящий зверь!..

Не вмешайся в этот момент баскарма, камча обвилась бы, наверное, вокруг головы Дауренбека…

Пришлось обоим сделать строгое внушение. И тот и другой были виноваты. Ахмет согласился, что недосмотрел за стадом, а Дауренбек под грозным взглядом баскармы попросил у старика прощения за обидные слова.

— Погорячился, — сказал он, — испортил кровь на фронте. Не могу держать себя в руках…

— Слово — как стрела, назад не возвращается, — сказал Ахмет. — Ты замахнулся на мальчика, который стал мне сыном. — Он так и не принял у Дауренбека извинения и сам тоже не попросил.

Тем не менее они разошлись в тот вечер вроде бы примиренными.

А спустя несколько дней в аул нагрянули люди с красными петлицами на вороте. Кто-то со стороны указал им на Ахмета. Якобы порочит он честных советских людей, в том числе самого председателя, распуская слухи, что среди его предков были враги казахского народа, и вообще высказывает суждения, подрывающие дружбу народов, разводит враждебную агитацию, вносит смуту в ряды тружеников тыла. И еще — что под именем Зекена укрывает у себя некоего Зигфрида Вагнера, не ясно, а пожалуй даже, и ясно, в каких целях… Разумеется, ни баскарма, ни остальные аульчане не подтвердили того, что Ахмет ведет враждебную агитацию, вносит смуту и т. д. А приехавшие самолично увидели, кто такой Зекен, он же и Зигфрид Вагнер. Но для окончательного выяснения некоторых обстоятельств, уезжая, захватили Ахмета с собой.

Вернулся он через неделю, полностью освобожденный от всех обвинений. Мало того, немного спустя из района прибыл специальный уполномоченный, и тут оказалось, что отец Зигфрида — немец по национальности — служил командиром в Красной Армии и погиб в далекой

стране Испании, сражаясь с фашистами. В сорок же втором году, когда у Зигфрида умерла мать, мальчика взяли в детдом. Обо всем этом рассказал председатель после отъезда уполномоченного.

— Апырай, — говорили в колхозе, — выходит, немцы воюют с немцами…

— С фашистами, — уточняли другие. — А фашисты — они тоже бывают разной нации…

ПРИТОК ВТОРОЙ. НАРТАЙ И ЕРТАЙ

Все, что происходило с ним теперь, у Нартая рождало сомнение. Он ничему не верил. Не верил, и при этом все-таки надеялся…

Человек по имени Тлеубай, который назвался его отцом, то вел Нартая за руку, то, несмотря на явное недовольство мальчика, подхватывал и сажал к себе на плечо. Пока они таким образом дошли до аула, расположенного за гребнем холма, он успел рассказать многое. По его словам, он не знал до сих пор, где находится его пропавший сын. Разве иначе он бы не отыскал Нартая раньше? Но все кончилось хорошо, сынок сам к нему вернулся. И он, отец, едва не заплакал от радости, когда увидел своего Нартая…

А как же борода? У отца Нартая не было бороды,

одни усы… Правильно, одни усы. То есть сначала были одни усы, а уже потом выросла и борода. Ведь как всегда случается? Сначала — ничего, ни бороды, ни усов, потом пробиваются усы, а после них — борода. Верно? Если Нартай захочет, они сейчас придут домой, и он сбреет бороду — тогда станет ясно, что перед Нартаем — его куке…[29]

— Мой куке был молодым…

Вот как, молодым? Так ведь он тоже был молодым, да вот постарел, пока жил в этом ауле. Много работал, вот и постарел. А главное — от горя постарел. Это ведь большое горе — потерять единственного сыночка?.. Но теперь он отыскался, его сынок. И он помолодеет. Снова помолодеет…

Нартай поверил, не смог не поверить таким убедительным доводам. И ему внезапно захотелось заплакать. Он потянулся, обхватил руками Тлеубая за шею… Но в ноздри Нартаю ударил острый и едкий запах пота. Он отстранился, только дал поцеловать себя в лоб. Но Нартай не улыбнулся даже. Вдруг ему вспомнился Ертай. И как он плакал. Как они вместе плакали. Как младший брат не хотел расставаться с ним и

---

[29] Примечания: 29

Куке — папа.

крепко обнял его, вцепился обеими ручонками… А потом! — как он сам бежал за ним, за своим братом, которого уносил на плече незнакомый человек с закрученными кверху черными усами и деревянной ногой. И Ертай колотился у того в руках и все голоса заглушал неистовым ревом…

Потом кто-то схватил его самого и отдал этому бородатому…

— Ертай — мой братик, — сказал он.

— Правильно, айналайн, — ответил бородатый. По его лицу бежали слезы.

— Ертай маленький, без меня его другие мальчишки поймают и отлупят.

— Нет, — сказал бородатый, — никто его не станет бить…

— Почему ты Ертая тоже не взял?..

— У него нашелся свой отец…

Снова Нартая охватили сомнения.

— Он мой родной братик, — сказал Нартай, — и у нас один отец. — Он уже не плакал.

— Что же теперь делать? — сказал бородатый. — Ты сам видел, я хотел его взять. А мне вот не дали. Еще хорошо, что тебя со мной отпустили. Могли не пустить… — Нартай промолчал. — И на этом спасибо, — сказал бородатый. — Что бы я делал, если бы тебя другому отдали, а?..

«И правда, — подумал Нартай. — Что, если бы кто-то другой меня унес. Хорошо, что куке… Что этот бородатый, чей-то куке… взял меня…»

— Ну, вот, мы к себе в аул пришли, домой, — сказал бородатый.

Оказалось, аул — это всего-навсего юрта на краю длинного оврага. Перед юртой пощипывает травку тонконогий жеребенок на привязи, неподалеку пасется бурый теленок и несколько белошерстных ягнят и козлят. В точности как в книжке на картинке. «Мо-о-о!.. Ме-е-е!..» Но ни теленок, ни ягнята с козлятами не захотели ответить Нартаю: «Мо-о-о!.. Ме-е-е!..» Даже головы не повернули ему навстречу. Зато из юрты вышла женщина. Тоже немолодая. Что-то белое покрывало сверху ее голову, захватывая плечи и спину. Как у той старухи, которую Нартай видел недавно. Тогда он спросил, что это за странный платок. «Кимешек-шаршы, — сказала та. — Кимешек-шаршы…» Женщина в кимешек-шаршы, заслонясь ладонью от солнца, постояла немного у входа, пригляделась и двинулась к ним. Не знает, не видел он раньше этой женщины… Да и она его — тоже. «Господи, да он мусульманин!» — сказала она. И потом: «Да еще и казах, светик мой!» Схватила Нартая в охапку, к груди прижала и — в

слезы. Плачет и приговаривает, будто песню поет: «Единственный ты мой, единственный!..» «Это кто же ее единственный?» — подумал Нартай. Все лицо у него стало мокрым от ее слез. Даже подбородок, даже на шее стало мокро. И в рот слезы попали. Соленые, горькие… Нартай сплюнул.

Бородатый поднял Нартая на руки и прошел в юрту. Женщина принесла высокий кувшин с изогнутым носиком и полила бородатому. Все трое помылись. Потом посредине юрты поставили круглый приземистый стол, женщина, позвякивая посудой, принялась готовить чай.

— Почему аже[30] плакала? Кто ее единственный? — улучив момент, спросил Нартай шепотом.

— Это про тебя. Она радуется, что ты нашелся.

Нартай не понял:

— Аже — кто? Наша родственница?

— Да, — сказал бородатый, — она твоя мама.

— Моя мать умерла, — сказал Нартай.

— Нет, она живая, — возразил бородатый. — Кто умер, тот по земле не ходит. А она — ходит, она живая, ты ведь сам видишь. Она живая?

— Живая…

---

[30] Примечания: 30

Аже — бабушка.

— Ну вот, это… это твоя мама.

— Она живая… Она не моя мать! Моя — умерла. Я видел, как ее зарыли, — сказал Нартай.

— Понимаешь, она, оказывается, тогда не умерла, — подумав, объяснил бородатый. — Я ее сам откопал. И с тех пор она живая. Погляди сам. Если бы она была мертвая, разве она бы ходила по земле?

Это правда. Неживой, то есть мертвый, лежит и не двигается. И мать его лежала и не двигалась. Он не забыл… Хотя две зимы прошло с той поры.

— Ты сам спроси, если хочешь, живая ли она, — сказал бородатый.

— Апа, ты живая? — спросил Нартай.

— Что он говорит?

— Спрашивает, живая ли ты.

— Живая, светик мой, живая. Здоровье у меня еще хорошее, благодарение богу. Ешь иримшик, айналайн. И сметанку, сметанку бери…

— Ты больше не умрешь?

— Не умру, жеребеночек мой, не умру. Ты теперь со мной, чего же мне умирать? Не умру.

Нартай задумался — верить или не верить?

— Пшенички у нас нет, айналайн. Ну, теперь-то уж твой отец ее найдет и домой принесет. Пускай только урожай уберут и зерно на хирман ссып-

лют. Все у нас будет… Ешь, айналайн, курт ешь.

Но Нартай не притронулся ни к иримшику, ни к курту. И окажись на столе хлеб, он бы и его не коснулся.

— Ты когда из Алма-Аты приехала? — спросил он вдруг.

— Ойбай, светик мой, какая Алма-Ата?.. Я и Жанакалы, до которой рукой подать, еще не видела…

— Не говори чепухи, — оборвал жену Тлеубай.

— Ты не моя мать, — сказал Нартай. — Ты — живая. И старая. А моя мать была молодая. Она умерла. Она там, в Алма-Ате, на горе лежит. Ее туда отнесли и в могилу закопали.

Не дождавшись конца чаепития, бородатый встал и ушел. Нартай тоже поднялся со своего места. Аже попыталась обнять его, но мальчик рванулся из ее рук и вышел из юрты.

Было жарко, Нартай присел в тени, которую отбрасывало нехитрое степное жилище. Таких нет в городе, там, где жил он до сих пор… Он задумался, не обращая внимания на косматого пса, который растянулся рядом, лениво высунув из пасти влажный язык. Пес тоже не проявлял к нему любопытства. Он только приподнял голову, лежавшую между лап, и сонными глазами

посмотрел Нартаю в спину, когда тот поднялся и зашагал к видневшейся неподалеку сопке. По ее склону пестрыми пятнышками рассыпалось стадо. Если хорошо приглядеться, каждое пятнышко — это корова. Вблизи, наверное, большая, а с такого расстояния — маленькая. Будь она и вблизи маленькая, ее бы и совсем не увидеть. Если бы там, на сопке, сейчас оказался Ертай, его бы тоже не было видно… И все равно Нартай его найдет, хотя пока не знает, где искать. Наверное, он в таком же ауле. В такой же юрте… А вдруг в той юрте рядом с Ертаем сидит их мать? Живая?.. Нет. Кто умер, того закопают, засыплют сверху — чтобы никогда не поднялся. Из могилы никто не выходит, никто… А Ертай, может быть, все еще плачет, дурачок. Хоть бы там, где он теперь, тоже были ягнята и козлята. Он бы играл с ними и не плакал…

Нартай и сам не прочь был поиграть. Осторожно подошел-подкрался он к бурому теленку, мирно щипавшему травку возле юрты, и сделал попытку вскарабкаться на него. Не тут-то было! Теленок замотал головой, взбрыкнул задними ногами, и Нартай плюхнулся на землю. Из юрты выбежала аже, заохала, бросилась к Нартаю. А тот поймал теленка и снова попытался взобраться на

него. И опять свалился, в кровь ободрав кожу на локте. Но не заплакал, а рассмеялся, не желая показывать перед аже, как ему больно. Он пробовал оседлать ягненка, затем козленка. Они вели себя смирно, только удержать его на себе им было не под силу. На жеребенка бы влезть… Росту не хватает. Да и храбрости… В утешение аже вынесла Нартаю холодного айрана[31] в тостагане — деревянной чаше, разрисованной по краям. Нартай поднес тостаган ко рту, выпил жадно, большими глотками. Айран оказался очень вкусным.

Вместе с аже он вернулся в юрту. И осмотрел все внутри, внимательно, ничего не упуская. Огонь разводили здесь прямо посредине, а дым выходил в круглое отверстие наверху. «Шанырак» — называла его аже. И Нартай повторял за нею, прислушиваясь к звукам незнакомых слов: шанырак, уык, кереге…[32] В Алма-Ате ничего этого не было. И юрты не было. И такого вот большого сундука, украшенного резной жестью. И деревянной кровати с выгнутым изголовьем. И еще одного сундучка, черного, с разрисованной крышкой и боками, который называется кебе-

[31] Примечания: 31
Айран — кислое молоко.

[32] Примечания: 32
Части юрты.

же… Здесь все по-другому. И совсем не видно книг. Как же так? Ни одной книги?.. В сундуке, на самом дне, есть одна книга, сказала аже. Очень старая книга — Коран… Он и взглянуть на нее не захотел, на эту книгу. Подумаешь, одна-единственная, да и то — старая. Не две, не три, не сто — одна… Нет, это не его дом — другой. И люди тут другие. Чужие…

Бородатый вернулся с работы вечером, усталый, но не было с ним ни бумаг, ни ручки с блестящим перышком. И книгу свою — одну-единственную — не вынул он из сундука, не стал читать. И назавтра тоже не вспомнил о ней. Только-только рассветет — он уже отправляется на работу, а приходит, когда на дворе сгущаются сумерки. Он отнимает Нартая, целует в лоб, в шею, и пахнет от него пылью, зерном, горячим степным ветром… Он добрый, думает Нартай, он хороший… чужой куке.

Раз он хотел взять Нартая с собою на хирман и еще кое-куда заглянуть, но аже не пустила. Вдруг пить Нартаю захочется? Или спать?.. Он ведь маленький, пускай лучше к дому привыкает. Да Нартаю и самому никуда не хотелось. Ему бы в одиночестве подумать, вспомнить все в точности.

Сколько было у них комнат? Он этого не запомнил, но квартира была просторная, светлая, и в комнатах на полу — ковры… Красиво. И мягкие стулья, диваны — на них было так удобно, приятно сидеть или лежать. И разные шкафы, и столы с ящичками, а на ящичках — железные ручки, поблескивающие при свете ярких ламп. И под высоким потолком — подвешенные вокруг лампы льдистые, переливчатые стекляшки, а на шкафах, сверху, всякие штучки, кувшины и кувшинчики, что-то еще. Но всего больше было книг. У одной комнаты и стен-то как будто не было — с полу до потолка сплошь книги. Называлась она — кабинет. В нем работал отец, и входить туда запрещалось. Дверь в кабинет обычно бывала плотно затворена, и, лишь когда куке уходил из дома, к нему в комнату заглядывала мать. Чтобы взять какие-то бумаги или книги. А потом дверь снова закрывалась. Даже на ключ, если за нею был куке. Так что где там входить… Им и мимо-то пройти иначе, как на цыпочках, не разрешалось. Не то чтобы побегать, пошуметь… Впрочем, Ертай не слушался и делал все, что хотел. Глупый. Мама говорила, что он не глупее других детей, просто еще мал. И не понимает, чего от него требуют… Ертай, бывало, вперевалочку, на толстых

ножках, добегал до заветной двери и, затаив дыхание, подсматривал в щелочку, или в замочную скважину, или пытался разглядеть что-нибудь сквозь стекло. Но стекло затягивала голубая занавеска, сквозь щелочку же в углу можно было увидеть разве что ножку стола и отцовские ноги в домашних тапочках с расплющенными задниками. Ножка стола не двигалась, а ноги отца то стояли на месте, то вдруг перекрещивались, начинали покачиваться, а то и вовсе исчезали — их не было видно. Значит, отец поднялся из-за стола. Но по-прежнему из кабинета не выходит. Слышно, как он вышагивает по комнате — туда-сюда, туда-сюда… И тут Ертай, глупыш, пускался в рев. Отец останавливается в надежде, что тот успокоится сам. Но Ертай не утихает. И голосит все громче. Тогда отец подает голос: «Мамуля, уведи этих бандитов!» Мамуля не слышит. Она в кухне — шыж-ж… быж-ж, — готовит обед. Отец вынужден приоткрыть дверь. Но не для того, чтобы впустить их к себе. Перегородив проем, он снова зовет мать. И она спешит к ним, на ходу вытирая руки передником. Она уводит их обоих в другую комнату — Ертая, который мешает отцу своими воплями, и Нартая, который ни в чем не повинен. Она перед ними наваливает целую

груду игрушек, а сама опять уходит на кухню. Но спустя некоторое время Нартай, ступая на цыпочках, вновь крадется к отцовской двери, неодолимо его влекущей. И тут же следом, вперевалочку, появляется Ертай, с медвежонком в охапку или с машиной, которую тянет за собой на веревочке. И они по-прежнему стоят у двери, подглядывая в узенькую щелку…

Он не понимал, чем занимается день-деньской отец у себя в комнате, один, запершись и, наверное, ничуть не скучая. И до сих пор это непонятно Нартаю… Но как-то, когда отец исчез, он улучил момент и пробрался в его кабинет. Вот здесь-то и увидел он — книги, книги, книги, от пола до потолка, и все под стеклом. И все такие красивые… Впрочем, взять в руки хоть одну, подержать, полистать он так и не решился. Даже те, что валялись на полу, поверх ворсистого красного ковра, он только по переплету погладил. И к бумагам, разбросанным на столе, на полу, не притронулся. Только посмотрел, убедился, что картинок нет, одна писанина. Строчки густые, а буковки мелкие-мелкие…

Потом они переехали на другую квартиру. Ертай уже подрос. Начал говорить. И мог уже бороться с Нартаем… Крепенький, только глупыш.

А может, просто помладше Нартая… Лицом он похож на отца, говорила мать. Ертай похож лицом, а Нартай — умом. На отца… И она тоже была на отца похожа. Такая же хорошая. Только плохо — она умерла. Если бы ее не задавила машина, она б не умерла. Глупая машина. Злая машина. Глупая машина и на прямой улице прямо ездить не умеет. Злая машина всегда на хороших людей наезжает. В этом ауле нет машин. Лошади есть, и телеги есть, а машин нет. Правда, телега тоже может задавить человека. Или откуда-то, из леса, например, выедет машина — и задавит Ертая… Глупыша Ертая, единственного братика.

Через три-четыре дня аже сказала, что вечером будет веселье — той. И вечером собрались человек десять или пятнадцать, старики, старухи и женщины. Но никто не веселился, не смеялся. Наелись мяса, стали петь песни. Чаю попили — и снова за песни. Это женщины. А мужчины — те все толкуют про хирман, еще про что-то скучное. И никто не улыбнется… Что в этом тое хорошего? Одни хлопоты.

Только и радости, что поиграл Нартай с мальчишками, которые тоже пришли в гости. Все они были здешние, аульные, кроме Рашита. Нартай вместе с Рашитом ехал сюда из детдома. Он не

знал, что у Рашита отец — председатель колхоза, и только теперь услышал об этом. Не от самого Рашита — другие мальчики рассказали. Жалко, не пришли с ними ни Зигфрид, ни Яков… Ни Ертай… Зато вместе с матерью явилась девочка-дунганка с обритой наголо головой, Оля. И носилась, быстроногая, то туда, то сюда, и хохотала — заливчато, беззаботно. А ее мать — грузная женщина с грубым широкоскулым лицом — все пела, пела, сидя неподвижно, как истукан, и уставясь куда-то вдаль застывшим, немигающим взглядом… Хохотушка Оля выскочила было вместе с ребятами на улицу, поиграть в аксуйек, но Нартай затолкал ее обратно в юрту, объяснив, что девчонки в кости не играют. Впрочем, игра все равно не получилась. Малыши для нее не годились, а сверстников у Нартая было мало. Так что всем скопом они побегали вокруг юрты, пошумели, едва не свалились в очаг, на огонь, догоравший под опустевшим казаном, — на том и закончилось веселье. Как раз к тому времени, когда взрослые стали расходиться, желая хозяевам здоровья и на прощание целуя Нартая в щеку…

Плохо спалось этой ночью Нартаю, тревожные сны мучили его, и он просыпался в испуге, лежал, не смыкая глаз, в немой, враждебной темноте. А

утром, наскоро позавтракав, отправился в аул, не сказав толком аже, куда и зачем уходит. Он запомнил слова Рашита и без особого труда отыскал юрту, в которой жил Ертай. И младший брат, едва завидев Нартая издали, кинулся к нему и обнял, повис у него на шее…

Он был одет во все новое — на нем была белая рубашка и кумачовые шаровары с голубой полоской вдоль штанин. Только сандалии на ногах остались старые. Он вцепился обеими руками в Нартая, ухватил за пояс и потащил к юрте. У входа лежал черный пес — он прогнал собаку, запустив в нее куском кизяка. И, подталкивая брата в спину, заставил перешагнуть порог.

— Это моя мать, — сказал Ертай, указав на моложавую женщину в поношенной шали. Она сидела возле кровати на тулаке — подстилке из козьей шкуры — и крутила веретено. — Апа, это мой сталший блат Налтай.

Женщина неприветливо взглянула на Нартая, нахмурилась и продолжала крутить веретено.

— Отец на лаботе, — сказал Ертай. — Он блигадил. Он сильный.

И тут же объявил, что у него две камчи. Одну он взял с собой, уходя на работу, вторая висела на стене. Треххвостая, с вырезанной из таволги

рукоятью, перевитой тускло поблескивающей медной проволокой… Ертай хотел показать камчу брату, но женщина, которую он называл «апа», не позволила снять ее со стены. Тогда Ертай начал раскладывать перед братом свои собственные богатства. Десяток асыков… Непригодная для игры коровья бабка-левша — сампай… Резиновая свистулька — не то кошка, не то собака, выцветшая, не сохранившая и следов ярких красок, которыми когда-то была разрисована… И еще — осколок зеленого стеклышка, чтобы смотреть на солнце, и смастеренные из сухой дощечки вилы — целых две штуки, и грабельки на четыре зуба…

— Апа, дай нам баулсаков, — попросил Ертай, закончив свой показ.

Женщина безмолвно отодвинула веретено в сторону, нагнулась, запустила руку под кровать и, пошарив там, достала баурсак. Так же молча она вложила его в ладонь Ертаю. Тот повертел баурсак так и сяк, помедлил, соображая, как ему быть. И протянул угощенье брату:

— На, ешь. У нас их много.

Нартай не взял:

— Ты сам ешь, я не хочу.

Ертай снова помедлив, подумав, но сам есть не стал, а сказал:

— Апа, дай еще баулсак.

Только теперь женщина заговорила.

— Сначала съешь тот, что у тебя, — суровым голосом произнесла она. — А то, как вчера, собака унесет.

Ертай запихнул в рот лоснящийся жиром колобок. И стал жевать — торопливо, проталкивая в горло недожеванные куски. Поперхнулся. По щеке у него скатилась слезинка.

— Апа, еще…

Но женщина как бы не слышала. Лицо у нее было серое, недоброе, она сидела к братьям вполоборота и резкими движениями крутила веретено.

— Апа…

— Дурак!.. — не выдержал Нартай. — Твоя мать умерла! Это — чужая!

— Эй, ты чего несешь? — Женщина выхватила из погасшего очага железную кочергу. — Ты чего несешь, обездоленный?..

Нартай вскочил на ноги, но не побежал, а даже будто нарочно замедляя шаги, дошел до порога, потом обернулся и присовокупил к своим прежним словам:

— У нас у обоих — одна мать. Она умерла. Она лежит в Алма-Ате, на горе.

Женщина замахнулась кочергой, но не ударила.

— Убирайся! Пропади с моих глаз! — закричала она хрипло. — Попробуй только еще раз прийти!..

Нартай взглянул на Ертая, вконец растерявшегося, с застывшей на щеке круглой слезинкой, потом повернулся и пошел прочь. Его не испугала женщина с кочергой. Он, казалось, даже и пса как-то не заметил, хотя тот за порогом юрты подался было к нему, рыча и скаля желтые зубы… Нартай не спеша поднялся к седловине между сопками, постоял, обернулся назад. Он различил фигурку брата в дверном проеме — такую далекую, маленькую, сиротливую… И больше уже не сдерживал себя. Он пустился бежать по склону вниз. И бежал до самого своего дома. И до самого дома плакал.

Наступило время учебы. Ребята постарше попрежнему работали на хирмане, а малышей, первоклассников и второклассников, увезли на центральную усадьбу колхоза. Тлеубай тоже отдал Нартая в школу, не послушав жены, которой хотелось, чтобы мальчик хотя бы год прожил с ними, привык к новой семье… «Восемь лет, — думал Тлеубай. — Незачем отставать от

сверстников...» Он устроил Нартая в доме одного из своих дальних родичей. И подбросил им — в запас, для сына, — полбурдюка масла, полмешка курта и иримшика. Пообещал, кроме того, поближе к зиме барашка да пуд талкана — муки из жареной пшеницы, а там и еще чего-нибудь. Хозяева остались довольны.

Колхозный центр находился от хирмана неподалеку, в каких-то десяти километрах. Тлеубай, выкроив немного свободного времени, седлал кобылицу и ехал проведать сына. Случалось это чаще всего под вечер; он целовал полусонного Нартая, оставлял хозяевам килограмм-полтора муки и отправлялся в обратный путь. Выходные же дни Нартай обычно проводил дома. В субботу после работы Тлеубай ехал в центр, усаживал мальчика к себе в седло и вез домой, а в понедельник, еще не рассеются предрассветные потемки, отвозил обратно. Этот воскресный день всегда казался Нартаю слишком коротким — день, который он проводил среди близких ему людей, согреваясь теплом их простодушной ласки, отъедаясь вдоволь... Но закончились работы на хирмане, и Тлеубай, взяв с собой отару овец, перебрался на зимовку в предгорья. Теперь он уже не мог приезжать так часто за Нартаем. Порой они

не виделись месяцами. Только зимой, в каникулы, он взял к себе мальчика на все десять дней; в дороге их застиг буран, они едва добрались до зимовки. А в марте, когда началась весенняя суматоха, бураны сменяла ростепель, дороги развезло, а к тому же наступил сезон окота, — он так и не сумел привезти Нартая домой на каникулярную неделю. Встретились они только после того, как закончился учебный год, в степи зазеленело и люди перебрались в низины, туда, где по берегам рек раскинулись привольные луга и пастбища.

Тогда же Нартай сумел наконец увидеть своего брата Ертая.

Всю зиму тосковал он по нему, тем более что встретиться им так и не случилось. Даже на январских каникулах — Ертай жил на другой зимовке, далеко. Но его видел школьник, двумя годами старше Нартая, гостивший оба раза у своих родителей. Дом его был рядом с домом Ертая, и он рассказывал, в какой шубе из белой овцы щеголяет Ертай и какой малахай на голове у него — из мягкого, шелковистого каракуля… А какой он стал шустряга, какой озорун!.. И до чего радовался подарку Нартая — фигуркам лошади, козла и барана, которые тот нарисовал, а потом вырезал из газеты! Обрадовался и сам передал старшему

брату подарок — два баурсака… В мартовские каникулы Нартай послал ему с тем же мальчиком новый рисунок — витязя на коне. Нартай нарисовал его на большом листе белой бумаги синим карандашом, получилось очень красиво. А Ертай в ответ снова передал ему баурсак, правда, надкушенный сбоку. Нартай долгое время не притрагивался к этим трем баурсакам, даже когда очень хотелось есть. Он их спрятал на самом дне портфеля, сшитого из светлого войлока, и вынимал, если особенно скучно ему становилось, и одиноко, и томила тоска… Наконец однажды, ближе к лету, он достал их после уроков и съел. Баурсаки затвердели, сделались как камень, он порядком помучился, пока разгрыз.

…Брат, оказывается, сберег все его рисунки — сложил в несколько раз и хранил в кармане. При встрече он тут же их вытащил, развернул, но там уже ничего не разобрать было, карандаш стерся, бумага на сгибах надорвалась, обвисла клочьями.

Ертай почти не вырос в вышину, но коренастенькое тело его стало как-то крупней и грудь — шире, а большой головой на короткой шее он походил на задорно-упрямого бычка. На брата он был мало похож — лицо широкое, круг-

лое, с пухлыми щеками и приплюснутым носом. Нартай был стройней, красивей, хотя ему и в голову не приходило сравнивать себя с младшим братишкой…

А каким он стал драчуном, каким задирой! Ни одного аульного мальчишки мимо своего дома не пропустит. В этого камнем кинет, на того собаку натравит… Впрочем, в присутствии Нартая он стихал и как бы сам себя стеснялся. Но Нартай и близко к его дому не подходил — встречались они на улице, когда играли. Брат постоянно вступался за меньшого, защищал от ребят, затаивших на Ертая зуб и поджидавших момента для мести. А Ертай и сам никого не боялся, готовый схватиться с теми, кто был намного старше. И спуску не давал. Случалось и ему быть битым, а вместе с ним перепадало и Нартаю. Но признать поражение, пойти на попятный? Где там!.. Он хватал все, что попадет под руку: палка — так палку, камень — так камень. И не знал жалости в драке. Хоть мал, да удал — все его побаивались. Даже те, кто мог с ним справиться, предпочитали держаться от Ертая подальше.

Осенью он тоже отправился в школу. И, по словам учителя, оказался таким же смышленым, как брат. Нартай, впрочем, не сомневался

и раньше, что так будет. Разве малыш, еще не умея толком говорить, не любил вычерчивать на бумаге разные закорючки? Не заглядывался на книги в отцовском кабинете?.. Он умный, Ертай, и станет еще умнее — как отец. Он будет лучше всех учиться в первом классе. И во втором, и в третьем, и в пятом… Он похож на отца, очень похож. И тоже будет много читать. Они оба будут много читать — и Ертай, и Нартай. Особенно Ертай. Ни у кого нет такого славного братишки, как Ертай… Ни у кого!

Весной закончилась война.

Как люди радовались! Просто пьяные ходили от счастья. И лица у всех были улыбчивые, просветлевшие — даже у самых сморщенных и хмурых стариков. То в одном доме, то в другом собирались гости на веселый той в честь долгожданной победы…

И после такого праздника даже странно как-то казалось, что в повседневной жизни все осталось по-прежнему. Учитель, один на все четыре класса, распустил в положенное время школьников по домам. Тлеубай сдал колхозу отару, которую пас зимой, и снова взялся за соху. Бригадир Берден опять вооружился своей грозной камчой и оседлал белоногого Актабана. И, как в прошлые

годы, поближе к хирману, на берегу реки, поднялись юрты, около десятка, среди них одна из кошмы посветлее — председательская, остальные — потемнее, иной раз и дырявые от старости. Несколько семей, тоже занятых полевыми работами, раскинули жилища в стороне, особняком, чтобы привольней было и самим, и телятам с жеребятами. Ребята тоже не бездельничали — кто за сохой ходил наравне со взрослыми, кто за скотиной смотрел; каждому дел хватало. И только самая что ни на есть мелкота день-деньской гоняла по берегу, плескалась в речке и выуживала из воды чебачков…

Короче, все вроде бы осталось по-прежнему.

По-прежнему — да не по-прежнему…

Отчего у него было такое чувство, Нартай вскоре понял. В аул, где для него давно уже не было чужих лиц, по одному, по два стали приезжать незнакомые люди. Одеты не как-нибудь, не во что попало, а — не в пример аульчанам — с иголочки. И все молодцеватые, подтянутые, в гимнастерках и широких, туго схватывающих талию ремнях. Глаз не отвести — картинка!

Каждый из них оказывался чьим-то отцом или старшим братом. Везло же мальчишкам! Как не позавидуешь тому, у кого такой брат. Или отец…

Следом за другими вернулся домой и старший брат Рашита. Сын баскармы. Хотя было известно, что он погиб в позапрошлом году: почта принесла извещение. Так что и Рашит, и отец Рашита — баскарма, и весь аул считали его погибшим. А он вдруг приехал. Правда, руки одной нет, и ноги одной нет, и на уцелевшей руке нет ладони с пятью пальцами. Но все-таки живой. Все-таки голова цела. И одна нога цела. И еще полруки. Рот, нос, глаза — все на своем месте. Жив! Привезла его светловолосая русская женщина, ее все называли — сестра. Глаза у нее были голубые, лицо доброе… Она привезла старшего брата Рашита и, не задерживаясь долго, уехала.

Баскарма устроил той, на него собрался весь аул. А точнее, съехались люди со всего колхоза — и с центральной усадьбы, и с отдаленных ферм. И Нартай был на этом тое. И Ертай.

Старший брат Рашита многое рассказывал: и как его ранили, и как врачи у него из головы осколок вынимали, хоть и небольшой, но вполне достаточный, чтобы жизни лишиться. Долго вынимали, но все-таки вынули, вот он и остался живой. Только не такой, каким был раньше, когда на фронт уходил… Ну, да ведь сколько из тех, с кем он уходил, и совсем не вернулось… Его, старшего

брата Рашита, сына баскармы, слушали — не дышали. Многие плакали, многие радовались. Кто сочувствовал ему всей душой — не мог удержаться от слез. Кто надеялся, что и его сын так вот из мертвых может воскреснуть, — эти радовались. И не отходили от старшего брата Рашита особенно получившие в свое время «черную бумагу» — похоронку. Расспрашивали: не видел ли он того-то?.. А где такой-то?.. Не видел. Не знает. Он был вместе только с куке Урака. Про него в «черной бумаге» написано правильно, сказал он. «Ранило его примерно за полчаса до того, как попало в меня… Не ранило — убило. Я сам видел, как он испустил дух…»

Запричитала мать Урака, расцарапала себе лицо, раскровенила щеки. Глядя на нее, страшно стало Нартаю, кожу на голове как холодом стянуло. Да и старшему брату Рашита сделалось, видно, не по себе. Пот крупными каплями выступил у него на лбу, лицо побелело, даже какой-то голубоватый оттенок появился на нем, словно у неживого… Плохо, плохо все получилось…

Но скоро снова он принялся рассказывать, и смешное в его рассказах сплеталось с грустным, веселое — с мрачным, и до того крепко — не расцепишь… А чаще всего повторял он одни и те

же слова: «Наконец-то снова я дома — по родной земле ступаю, воду родную пью, а сам все еще не верю...» И хотя не как раньше — во всеуслышанье, а уже потихоньку, не привлекая лишнего внимания, — каждый расспрашивал его, задавал осторожные вопросы... Но снова и снова твердил он, что с ним на фронте был только отец Урака, о других ему ничего не известно.

То же самое сказал он и о сыновьях Бердена, то есть о двух старших братьях Ертая... Знал Нартай, что эти братья Ертая никогда не станут братьями ему самому. А его старший брат, воротись он домой, не будет братом Ертаю. Потому что Тлеубай и Берден им не настоящие отцы. Да еще и в ссоре друг с другом. Настоящие братья, по крови, — это они, Нартай и Ертай. У них была одна мать, только она умерла... И один отец. Только его нет... Нет... Но может быть...

Он долго не решался, и бросало его то в жар, то в холод, пока наконец он спросил:

— А моего куке вы не видели?

— Твоего куке?.. — переспросил старший брат Рашита. — А он кто — твой куке?

— Наш с Ертаем отец.

— Кто-кто?.. — повторил старший брат Рашита, растерянно озираясь по сторонам.

Он ждал ответа, подсказки, но все молчали, опустив глаза.

— Чей это сын?

— Тлеубая сын, — отозвался кто-то. — Из детдома он…

На заговорившего цыкнули, тот прикусил язык.

— Это младший сын Тлеубая-аги, — стал объяснять один из присутствующих. — Зовут его Нартай. Тлеке упал с лошади, ногу сломал, вот и послал на той сына вместо себя, с тобой поздороваться, честь воздать твоему возвращению…

— Э-э-э… — задумчиво протянул старший брат Рашита. — Вот оно что… Младший сын Тлеке, значит… Моего Рашита товарищ, значит… Подойди ко мне, айналайн, поцелую тебя.

Нартай не подошел. Испугался болтавшейся ниже плеча культи. Но его все же подхватили под мышки, приподняли, посадили перед старшим братом Рашита. И тот поцеловал Нартая в щеку. Холодными как лед, бескровными губами. И локтем, а вернее — концом культи погладил по голове.

Странное дело — мягкая оказалась культя. Мягкая-премягкая, а вовсе не такая, как Нартай ожидал.

— Был он джигит — настоящий джигит! — услышал Нартай. — Замечательный был джигит!.. Поначалу мы вместе служили, помню — на военных маневрах… Потом разделили нас. Я пошел в кавалерию, он стал снайпером, вот так… У нас ребята все просились — или в кавалерию, или в снайперы. На коне привычнее, чем пешком, так мы думали. Где это видано — пешими с врагом сражаться… Снайперы погибали тоже, но все-таки… Нас гибло куда больше. Что уж там кони, кавалерия — на такой-то войне… Отец твой, говоришь? Он был меткий стрелок, никогда промаху не давал, вот так… Его во фронтовой газете хвалили, я сам читал! Ну, а потом… Да ты не плачь, айналайн… Жив он… Может, и жив… Откуда мне в точности знать, чудачок? На фронте знаешь сколько людей было? Тысячи, миллионы, как я мог за всеми углядеть?.. Вот я и говорю: может, и живой. Ходит себе, может, где-нибудь, землю топчет, домой собирается… А там, смотришь, и приедет… Я тоже вот приехал… Приехать-то приехал, только сам… вроде подпиленного дерева… Разве это жизнь? Еще не известно, кто кому завидовать должен на моем-то месте: мертвый живому или живой мертвому…

Старшему брату Рашита не дали дальше гово-

рить — перебили, зашумели, стали успокаивать, иные даже сердились, укоряли за глупые последние слова, иные же плакали отвернувшись, не в силах унять слез… Посыпались и у Нартая по лицу слезинки, посыпались мелким частым горошком, и он, не глядя ни на кого, выскочил опрометью из переполненной юрты.

Но были рождены эти слезы не горем, а радостью.

Вместе служили, сказал он, вместе были на военных маневрах… Может, и жив, сказал он. Жив… И домой собирается. Только не едет, — нельзя, значит, не время еще, не всех сразу из армии отпускают… А отпустят — тогда и приедет. Скорее бы…

И Нартай стал дожидаться возвращения отца. С зари до зари, случалось, бродил по сопке, сидел на вершине — караулил большак, ведущий в районный центр.

Иной раз покажется на дороге всадник. Иной раз — двое или трое. А то вереницей тянутся друг за другом телеги, запряженные медлительными волами, или верблюды, напоминающие чем-то цепочку возвращающихся в родные края гусей. Нартай смотрит, вглядывается, пока в глазах не начнет мутиться. И, сбежав с холма, вместе

с остальными ребятами мчится навстречу едущим.

Ребятам только бы вскарабкаться на арбу или на коне прокатиться. Ну, а ему — не пропустить бы куке. Да не видать его что-то… Едущий шагом одиночка — это баскарма, он возвращается из райцентра; первого из подбежавших к нему мальчишек он сажает впереди себя, второго — позади; немного спустя их сменяют другие; до Рашита доходит очередь в самом конце, когда отец уже подъезжает к дому и спешивается, зато ему теперь никто не мешает в одиночку распоряжаться отцовской лошадью… А двое, что рысят по дороге, — это представитель из района и счетовод Дауренбек; уж они-то, заранее известно, никого к себе не подсадят — лишь окинут сердитым взглядом голосистую ватагу и промчатся мимо, обдав пылью… Но вот вдоль дороги растянулась цепочка телег или верблюжий караван, отвозивший на склад зерно. Бывает, вместе с караваном, усевшись на арбу или верблюда, возвращается в аул кто-то из фронтовиков. В таких случаях караван даже выглядит иначе, нежели в другое время. Как ни медленно он движется, а все-таки же на подходе к аулу прибавляет шагу. Камчи со свистом вьются над крутыми воловьими боками,

телеги грохочут, шум стоит такой, что слышно за один-два километра. Кто-нибудь, взобравшись на быстроходного верблюда, опередив караван, устремляется в аул. И кричит во все горло, размахивая тымаком: «Суюнши! Суюнши!..» Тут не только дети — взрослые не усидят на месте. Весь аул, от мала до велика, высыпает навстречу. Меж детьми, далеко опередив старших, несется и Нартай. Скорее, скорее... Вот и караван. Когда он уже совсем близко, с арбы обыкновенно спрыгивает кто-то в военной форме. Кто?.. Никто не знает, но все бросаются наперегонки. И галдят, и перекрикивают один другого, и виснут на шее, и взбираются на плечи, и — самые маленькие — обнимают ноги в пропыленных сапогах. Тем временем поспевают и взрослые. Поцелуи, приветствия, слезы, смех... Только теперь для Нартая проясняется, кто такой прибывший в аул, демобилизованный из рядов армии воин. Одному мальчику он приходится отцом. Другому мальчику — старшим братом...

И Нартай с надеждой дожидается завтрашнего дня.

Но проходит и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и послепослепослезавтра — не приезжает отец. Проходит еще неделя, еще ме-

сяц — нет его, и почта тоже не приносит о нем никаких вестей. Наступает осень. Дни мелькают за днями — короткие, хмурые, моросят дожди, а его все нет. Снегом покрылась земля, стекла на школьных окнах изукрасили зимние морозы, а его нет и нет… И не будет, понял Нартай. Напрасно его ждать. Он не приедет. Сюда не приедет. Как же он сюда приедет, если ему не известно, что дети его — здесь?

Нартай рассказал о своей догадке Ертаю. Хоть и маленький, но уже не дурачок, не глупыш, каким был когда-то. Уже больше восьми — лучший ученик второго класса… Все понимает!

— Наверное, наш куке вернулся, — сказал Нартай. — Наверное, наш куке в Алма-Ате. А где мы с тобой — не знает… Помнишь, какая была у него комната — кабинет? А сколько было там книг — помнишь? Наверное, он и сейчас там, у себя в комнате, где столько книг. Он там, а мы здесь… Мы должны к нему поехать. Сами. Дом я найду, — сказал Нартай. — Большой дом, трехэтажный. И рядом — фонтан. Знаешь, что такое фонтан? Не знаешь, глупыш?.. Это такой ручеек, только вода из него течет прямо в небо. Понимаешь?.. Да, там и деревья, много деревьев, и все огромные, высоченные, как ты играл под

ними — помнишь?.. Не помнишь?.. Ну, не важно. Лишь бы добраться до Алма-Аты, а там я все найду. Только бы добраться… Надо сесть на поезд. Все поезда идут в Алма-Ату. Сядем в Жанакале. Отсюда до Жанакалы — девяносто километров. А в задачнике по арифметике сказано, что пешеход в час проходит пять километров. Значит, на всю дорогу надо восемнадцать часов. Устанем — отдохнем, верно? Можно спать ночью, зарывшись в снег, в снегу — тепло… Так написано в учебнике по родному языку.

Ертай все одобрил, со всем согласился. Только жаль ему отца, который за ним приедет, чтобы взять домой на десятидневные каникулы…

— Я тоже соскучился по аже, — говорит Нартай. — Но ведь у нас есть наш настоящий отец, куке. Если мы здесь останемся, он подумает, что мы пропали, и вместо умершей мамы приведет другую, а вместо нас найдет других детей…

Это производит впечатление на Ертая.

— Тогда пойдем… Только сначала нужно подготовиться. Надо собрать еду, чтобы хватило на дорогу до Алма-Аты…

И оба собирали, копили потихоньку — баурсаки, курт, иримшик… И не оставалось ничего такого, что могло бы теперь их задержать.

Как и сговорились, оба встали еще затемно, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза… Правда, в последний момент Ертай вдруг заколебался. Жалко ему было навсегда расставаться с теми, кого уже привык он здесь называть матерью и отцом… А что ему мог сказать на это Нартай? Ведь и для него было горько покинуть добрых людей, которым был он вместо не то сына, не то внука…

— В Алма-Ату приедем — письмо пришлем, — сказал он брату. — И летом сюда вернемся — в каникулы. А пока сделаем, как решили.

Больше они не стали медлить. Санный путь, изгибаясь, уводил их вперед, по сторонам смутно белела в предрассветных сумерках неоглядная степь. Если все идти и идти, дойдешь до колхоза «Кзыл ту», это им было известно. А пойдешь дальше — будет колхоз «Азат». Пойдешь по дороге, никуда не сворачивая, — будет станция Жанакала. А там и поезд, который отвезет их в Алма-Ату…

Когда братья выходили из аула, было тепло, безветренно, улежавшийся наст весело поскрипывал под ногами, придавая бодрость. Но затем внезапно похолодало, в воздухе закружились крупные хлопья. Нартай шагал впереди; ветер ударил ему в лицо, залепил глаза снегом… Он

заслонился рукавицей от ветра, огляделся и подождал, пока его нагонит приотставший Ертай. У того пар валил изо рта и ноздрей, щеки были красные-красные, а брови белые, мохнатые…

— Давай вернемся, — сказал Нартай. — Еще заблудимся.

— Не заблудимся, — Ертай поглубже на лоб надвинул шапку. — Пойдем по дороге и не заблудимся.

— Давай вернемся, — повторил Нартай.

— Все равно на уроки опоздали… Что учителю скажем?

— Давай вернемся, — уговаривал Нартай. — Смотри, как метет… Не дойдем, замерзнем!

— Не замерзнем, — упрямо твердил Ертай. — Тут скоро молочная ферма, до нее дойдем…

— Не дойдем.

— До аула теперь дальше, чем до фермы.

— Нам ветер в спину дуть будет, подгонять… Давай вернемся…

— Ты сам, — сказал Ертай, — сам возвращайся. А я пошел. Ты и апу видел, и куке видел, а я никого не видел. Я тоже хочу увидеть. Я сам найду дом, про который ты рассказывал.

Он отбросил руку Нартая, который пытался удержать его, и, весь облепленный снегом, дви-

нулся вперед по дороге. Нартай постоял немного, растерянно озираясь по сторонам. Что было делать?.. Он последовал за: братом.

Снег повалил гуще, ветер швырял его в лицо пригоршнями. Мороз усиливался. Плотная белесая мгла простерлась над степью.

Их отыскали только на девятые сутки — после того, как утих буран. Видимо, первым упал Нартай. По одну руку от него лежал малахай, по другую — валенок. Шуба на груди была расстегнута. Похоже, когда его совсем доконал мороз, он стал сбрасывать с себя одежду и раскидывать куда попало. В конце концов он упал и растянулся во всю длину, подогнув под себя обутую в валенок ногу. Ертай застыл рядом с ним, стоя на коленях и глядя в небо. Руки его, обнимавшие непокрытую голову брата, примерзли к ней намертво.

Наверное, дети потеряли направление и сбились с пути, когда пытались укрыться от бурана в защищенной от ветра лощине. До молочной фермы им оставалось одолеть каких-нибудь триста метров.

ПРИТОК ТРЕТИЙ. ЯКОВ-ЖАКЫП

Он и сам не знал, кто он по национальности. Вначале, когда он сюда приехал, говорили, что он русский Удивляться этому не приходилось: казахи всех людей, не схожих с ними обликом, в особенности же голубоглазых и светловолосых, относили обычно к русским Когда он сделался старше, на вопрос, кто он, Яков отвечал: «Русский», а про себя думал, что с таким же основанием мог назвать себя украинцем или белорусом. Или поляком. Или евреем. Тем не менее сам себя он по-прежнему считал русским, да и не слишком много придавал этому значения. Русский так русский, и точка! Ну, а в ауле постепенно как-то забылось даже и то, что он русский. Жакып… Жакып Кобегенов… Между собой аульчане называли его «тот Жакып», а если надо было выделить среди других Жакыпов, то говорили: «Жакып Кобегена». Вот он и начал тогда соображать: «А может быть, я и в самом деле казах?» Ведь и правда: мог же какой-нибудь казах, уехав из родных краев, жениться где-нибудь на русской женщине, или на польке, или на еврейке?.. Но сколько ни думал и ни вспоминал он, а отца все

же припомнить не мог. Известно ему было только, что был он человеком военным, носил форму защитного цвета, широкий темно-коричневый ремень и тяжелый револьвер в кожаной кобуре. Остальное — лицо, имя, фамилию — он забыл. Забыл начисто.

Помнилось только, как глубокой осенью — деревья стояли уже голые, черные — они с мамой (только где?.. в каком городе?..) сели в поезд. Множество людей, давка, плач, ругань, лица — растерянные, злобные, залитые слезами; в вагоне — теснота, на полу все вповалку — дети, женщины, вещи, какие-то мешки, чемоданы, узлы… Но все, что он видел, ему казалось увлекательным приключением, захватывало необычностью, новизной. Эшелон еле тащился по забитым путям, застревал в тупиках, на полустанках. Поезд начинал двигаться — люди мало-помалу затихали, успокаивались. Поезд останавливался — всех охватывала тревога… А ему было интересно наблюдать, как мимо в обратную сторону, где на машинах, где пешим строем двигались бойцы в серых шинелях, с винтовками за плечами, уходящими вверх своими длинными, тонкими штыками. Встречались машины, которые тянули за собой пушки, повернутые задом наперед.

Встречались танки. Они ползли в затылок один другому, как толстые неуклюжие жуки. И было жаль, что ползли они навстречу составу, а не рядом с ним, не в том же направлении, — так было бы куда удобней и дольше за ними наблюдать. И еще обиднее — не было видно самолетов, а ему так хотелось на них посмотреть! Вот он и приставал все к маме — когда они прилетят?.. Наконец миновало двое или трое суток — они прилетели… С рассвета эшелон стоял на какой-то маленькой станции. Самолеты, которых он дожидался с таким нетерпением, появились после полудня. Летели они тремя рядами, ровно, красиво летели. И было их много — почти столько же, сколько пальцев у него на обеих руках… Но люди, вместо того чтобы любоваться таким редкостным зрелищем, ударились в панику. И мама, не дав ему как следует сосчитать самолеты, схватила его за руки, и они вместе со всеми побежали куда-то за насыпь, в поле; дальше была какая-то яма — яма или ров, добраться они не успели, мама упала на землю ничком и подмяла его под себя. Только тогда, в тот именно миг, ему сделалось страшно. Он едва не задохнулся, заплакал…

Что было после, он помнил совсем смутно. Помнил, как от страшного грохота качнулось небо,

задрожала земля. Помнил клубы дыма — синие, белые, и пламя — красное, слепящее… Был момент, когда земля ушла у него из-под ног, встала дыбом, и почудилось, что спина у него треснула, переломилась пополам. И навсегда пронзило память, как мама, навалясь на него, придавив к земле всей тяжестью своего тела, вдруг странно, едва слышно охнула и грузно отвалилась вбок.

Он открыл глаза, когда звенящая тишина — страшнее любого грохота — ударила в уши. Он увидел мать — правой рукой она царапала землю, а правая нога отбивала частую дробь и все подпрыгивала, словно стремясь отделиться от тела. Алая кровь хлестала из левой руки, перебитой в локте, и из левой ноги, разорванной от колена до бедра. Из ломтей кроваво-красного мяса торчала острым обрубком белая кость… Дальше он не помнил.

Еще одно звено в распавшейся цепочке: пахнущая лекарствами комната, светлые стены, потолок, женщины в белых халатах. Не слышно, как они ходят, разговаривают, хотя видно, что губы у них шевелятся. Вообще не слышно ни звука, как будто весь мир онемел. Странно… Через два-три дня, когда у него отлегло в одном ухе — словно вынули вату, правда, не всю, — он

понял, что не мир, а сам он сделался немым. Теперь его пугал каждый звук или слово, слабо, как бы издалека доносившееся до него. И он по-прежнему не понимал, что за люди лежат на соседних койках и откуда эти женщины, и как он сам оказался здесь, и где был раньше. Все вокруг представлялось ему незнакомым, вызывало тягостное удивление. И снился ему по ночам один и тот же сон. Как он сжимает ладошкой руку матери, и они бегут, бегут — все быстрее, быстрее… Уже задыхаются, уже ноги слабеют в суставах… А они все бегут, спасаются от какого-то злобного чудовища, которое следует за ними по пятам, неотступно. И вот им уже не под силу бежать, они падают и ползут. Лишь теперь отваживается он оглянуться. И видит самолет. Вместо пропеллера — голова с загнутым книзу железным клювом. Длинные когти достают до самой земли. Вот-вот они настигнут его и схватят… Но что это?.. Чудище, похожее на самолет, или самолет, похожий на сказочное чудище, крылом отбрасывает его в сторону и, подхватив мать, уносит с собой. Она не бьется, не вырывается. Она летит, машет ему рукой и смеется. Он в испуге кидается за ней, кричит, зовет ее… И кто-то обнимает его, поднимает с земли. Прижимает к груди, успокаивает. А он

кричит, изнемогая от страха и слез. Женщины в белых халатах окружают его, по очереди берут на руки. Кто-то гладит, кто-то целует. А он плачет все громче и горше.

Он плачет, вспоминая мать, ее искалеченное тело, бедро с выпирающей из раны белой костью, вспоминая широкий отцовский ремень и тяжелый револьвер в кожаной кобуре. Он только никак не может вспомнить, понять, что целых три месяца, лишенный слуха и речи, он был между жизнью и смертью, что совсем недавно, несколько дней назад, у него стало слышать одно ухо, а заговорил только сегодня, сейчас…

Женщины наконец добились общими усилиями, что он перестал кричать и плакать. Ему принесли кусочек рафинада, какую-то игрушку со свистулькой. Пробовали расспросить о чем-нибудь, затеять разговор. Но у него болела голова, поташнивало, да и многие из слов, обращенных к нему, он попросту не расслышал. А те, что расслышал, не совсем понял. А на слова, которые понял, не смог ответить. И лишь когда особенно настойчиво приступили к нему с расспросами, он произнес в ответ одно-единственное слово:

— А… а… а-кып!

— Яков! — догадалась одна из женщин, и все

они расплакались.

Они были хорошие, эти женщины в белых халатах. И больница — она Якову нравилась. Не понравилось ему в детском доме. Несколько раз он убегал, садился в поезд и ехал куда глаза глядят, чтобы в конце концов снова угодить в детский дом. Но всюду повторялось одно и то же. Двадцать — тридцать детей в группе, и где там уследить за ними одному воспитателю? Мальчишки постарше — забияки, сорвиголовы, младшие — ненамного лучше. И все дразнятся, насмешничают — над ним, над его запинающейся корявой речью. За два года он превратился в замкнутого, дичащегося всех ребенка. Он знал, что жил раньше где-то далеко, там и земля, и люди — все другое. Знал — и потому чувствовал себя не только сиротой, но и чужаком. Хотя большинство детдомовцев и обликом, и языком похожи были на него.

Предчувствие неожиданных, радостных перемен… Оно никогда его не покидало. И вот однажды воспитательницы отобрали в младшей группе человек десять, примерно одного возраста, и сказали, что они поедут в аул, где их ждут не дождутся папы и мамы. Дети шумно возликовали, обрадовался и Яков. Но не стал бегать и прыгать

подобно прочим, ошалев от веселья. Он давно был уверен, что рано или поздно его разыщут.

В аулы увозили не только их, а многих детей. В большинстве они были повзрослев, лет четырнадцати-пятнадцати. Держались они свободно, независимо. Руки в карманах, цигарка в зубах, ходят себе и поплевывают через губу — не подступишься… И тех, кто приехал за ними, не очень-то замечали, не очень слушались. Всю дорогу соскакивали с телег, затевали потасовки, а то и кровавые драки. Сопровождавшие их лишились терпения и покоя.

Караван из пяти-шести телег, запряженных волами, долго, с ночевками, добирался до районного центра. Дорога была тяжелой, в особенности последний день. На волов уже не действовали ни камча, ни уговоры, и они ступали медленно, истекая слюной и покачивая рогами. В колесах высохла смазка, они натужно скрипели, с трудом поворачиваясь и кренясь то в одну, то в другую сторону. Дети устали. Если прежде они радостно вскрикивали при виде каждого зайца, перебегавшего дорогу, или дрофы, настороженно вытягивающей шею на отдаленном склоне, то теперь никто даже головы не поворачивал в их сторону. Самые заядлые озорники — и те

притихли. Когда остановились на обеденный привал, оказалось, что и перебродившее кислое молоко в сабе[33] кончилось. Вечером въехали в село, где было много домов непривычного вида, с плоскими крышами, то рассыпанных без всякого порядка по косогору, то сбившихся в кучу. Не веселила глаз и главная улица, где за каждой телегой столбом вздымалась рыжая пыль… Но все были рады и этому селу, и концу пути.

Наутро пришли незнакомые люди. Все они, как один, были с обветренными загорелыми лицами, черноглазые, черноусые, чернобородые, в чапанах и невиданных треухих шапках — тымаках. «Это мои дети», — говорил каждый и уводил с собой по нескольку человек. Вскоре из пятидесяти или шестидесяти ребят, проведших ночь в конторе райисполкома, осталось десять — пятнадцать самых маленьких. Их накормили супом, напоили шалапом[34], и они снова заночевали в конторе.

Детей разбудили затемно, и опять ждала их тряская арба. Многие не успели как следует выспаться, к тому же пронизывало утренним холодком и хотелось есть… Но старый казах с ред-

---

[33] Примечания: 33

Саба — бурдюк.

[34] Примечания: 34

Шалап — разбавленное водой кислое молоко.

кими усами на широком лице, ехавший на коне рядом с подводой, сказал, что скоро каждый будет жить у себя дома, со своими родителями, и тут даже у самых маленьких высохли слезы. Он брал к себе в седло ребятишек, рассказывал им что-то занятное. Лоб у него был в жестких морщинах, а глаза улыбчивые, добрые… Яков очень внимательно его слушал, но так ничего и не понял. Выяснилось, что он почти не говорит по-русски. Теперь Яков уже с некоторым сомнением начал поглядывать и на этого старика, который был, конечно, хорошим человеком, только по-русски не разговаривал; и на молодого казаха, который по-русски разговаривал, но видом был чрезмерно суров и нравом слишком беспокоен — то нахлестывал своего саврасого, чтобы вырваться вперед, то, напротив, отставал от подводы; третий, правивший арбой казах средних лет, за всю дорогу не проронил ни слова и не огляделся ни разу по сторонам, а все мычал и мычал про себя какую-то песню. Якову не верилось, что его родители действительно живут здесь, среди этих чужих по языку и облику людей.

Сомнения его вполне оправдались.

Все дети, приехавшие с ним вместе, отыскали своих родителей. Старик, который привез их,

оказался отцом Рашита. Недаром он столько раз дорогой подсаживал его к себе на коня… Отцом Зигфрида был белобородый, горделивой осанки старик, со смуглым лицом и длинными, как у Чапая, только совершенно седыми усами. Так же, как Чапай, восседал он на статном аргамаке, правда, вместо сабли в руке у него была плеть с витой медной насечкой вокруг рукоятки. Все встретили здесь своих родителей. Даже Оля — совсем еще маленькая девочка со смешной, наголо остриженной круглой головкой…

Якова, понятно, тоже не оставили на улице. Какая-то женщина подошла к нему и увела с собой. «Я — твой мама, — твердила она. — Я — твой мама». Но Яков не забыл свою маму. Что-что, а глаза ее он хорошо помнил — большие и ясные, наполненные нежной синевой… И волосы — каштановые, с красноватым отливом. И розовый, разлитый по щекам румянец. Она была высокого роста, статная, крупнотелая, и кожа у нее была белая и гладкая, с чуть заметным золотистым пушком. Ну, а у этой — и глаза черные, и волосы, и роста она небольшого, и не полная, а, наоборот, тоненькая, худенькая. Лицо у нее не светлое, а смуглое… И еще: мама по-русски разговаривала, а эта одно русское слово, наверное, и знает, но даже

его произносит с ошибкой. «Я — твой мама…» Какая она мама? Она чужая. Чужая мама…

Чужая мама, держа Якова за руку, привела его на окраину аула. Здесь стояла ее юрта, но не большая, не высокая, как у других, а поменьше — юрта-кос. В такой юрте взрослый человек только на середине может распрямиться в полный рост, а двое уместятся с трудом и только сидя. Однако Якову юрта-кос понравилась. На дом не похожа, скорее, напоминает шалашик, сложенный ребятами для игры… Он сразу почувствовал себя тут легко, вольготно.

А когда перед ним появилась сметана в тостагане и мягкий, тающий на языке иримшик, он и вовсе повеселел. Там, где они ночевали, в конторе, он почти ничего не ел, теперь у него разыгрался аппетит, иримшик он глотал с жадностью, сметану вылизал до самого донышка. И вдобавок выпил наполненную до краев чашку айрана.

— Ох! — произнес он, погладив живот. Он чувствовал, что пожадничал, переел, живот, отощавший в пути, прямо-таки распирало от сытости.

Глядя на него, чужая мама довольно рассмеялась.

— Апа, — сказала она, указывая на себя паль-

цем. — Апа!

Выходит, ее звали Апа?..

— А-па! — повторил за нею Яков. Хорошее слово, короткое и удобное для произношения. — Апа, — повторил он во второй раз.

Апа обрадовалась. Погладила Якова по голове, что-то сказала — Яков хоть и не понял, но по голосу догадался: что-то приятное. И улыбнулся в ответ.

Апа съела немного курта, запила айраном и ушла. Яков остался один. Дверь была открыта, но его не тянуло наружу. Перед уходом Апа приподняла нижний край юрты, и Яков, лежа на старой кошме, наблюдал, как из соседних юрт выходили женщины, старики. Все беспорядочной толпой направлялись в сторону голубеющей неподалеку реки. В толпе заметил он и свою Апу. За взрослыми шли ребята, его сверстники, кое-кто — постарше. Но никого из тех, что приехали сегодня вместе с ним, здесь не было.

Вскоре взрослые спустились к реке и пропади из виду. Ребята, гомоня, рассыпались по берегу. Стало тихо. Лишь с противоположного берега временами доносилось хриплое тарахтенье — не то машина, не то трактор.

И вдруг вспомнился неведомый, где-то на

другом конце земли, город, и будто было это давным-давно… Поезд на далекой станции, где они садились… Мерное, однообразное постукивание колес… Хотя эшелон больше стоял, чем шел… Грузовики, хмурые лица солдат, танки с вытянутыми вперед стволами пушек… Вспомнилась мать, залитая кровью, и торчащая из разодранной раны острая белая кость… Раньше эта картина, возникнув, неизменно вызывала у него дрожь во всем теле. Сейчас впервые такого не случилось. Все, что мерещилось ему, было туманно, расплывчато. И казалось страшным, но вряд ли происходившим на самом деле. Однако и тут у него навернулись слезы. Он заплакал — тихо, беззвучно. И, плача, заснул.

Снова ему приснился все тот же сон — как он бежит, но бежит один, а за ним, едва не касаясь черным брюхом земли, гонится самолет. У Якова уже подламываются ноги, вот-вот он рухнет на землю… И самолет настигает его. Сейчас он начнет стрелять, сейчас… Яков оглядывается, но видит своего отца. Это не самолет, а отец спустился с неба и обнимает, целует его в лицо. Губы у него мягкие… Надо лбом — пятиконечная звезда… Отец!.. Он снова целует Якова, но губы у него странные — жесткие, колючие. Целует он или

кусает, царапает?.. Папа!.. Нет, он смотрит — это совсем не папа… Нет! Яков хочет бежать, но не в силах двинуться. Хочет крикнуть — нет голоса. А страшный человек целует его, кусает, царапает. «Узнай меня!.. Ты меня знаешь!..» Да, он видел, видел этого человека! Он сопровождал их, ехал на саврасом коне…

— Кет!.. Прочь!..

Яков очнулся. Было уже темно, Апа вернулась домой. Увидев бычка, который просунул голову в юрту и облизывал спящего мальчика, она криком прогнала его прочь и принялась расталкивать Якова. Она гладила Якова по спине и, негромко смеясь, приговаривала что-то ласковое. Но он все дрожал, не мог прийти в себя.

Апа принесла кизяку, сложила посреди юрты и разожгла огонь. В чугунке, подвешенном к треноге, вскипятила молоко, подлила воды, снова вскипятила и насыпала в чугунок талкана. Сваренный суп, как понял Яков, назывался «кора коже». Апа наполнила две глубокие чашки. Одну, поменьше, поставила перед Яковом, вторую пододвинула к себе. Суп оказался Якову по вкусу. Он попросил добавки и выпил еще половину кесе.

Кровати в юрте не было. Апа постелила на полу. Якова она укрыла одеялом, до того износившим-

ся, что ткань расползлась и во многих местах наружу торчала шерсть. Сама же она накрылась шубой и заснула, едва коснувшись головой свернутой валиком старой стеганой телогрейки.

Якову не спалось на новом месте. В золе тускло мерцали не хотевшие угасать угольки. В щелке над дверью перемигивались две-три неяркие звездочки. Угольки будто дышат — разгораясь, бледнея и снова разгораясь. Но чем дальше, тем слабее их отблеск. Мало-помалу они стали затухать и наконец погасли. Зато звездочки засияли, даже сделались как-то крупнее. Две звезды, одна над другой. И обе подмаргивают, словно манят куда-то, лукаво усмехаясь… Внезапно звезды тоже погасли… Снова загорелись… И опять погасли… Кто-то попросту заслонил их, вот в чем дело. Кто-то, подойдя к двери, прислушался — и тихо-тихо, с легким шорохом, просунул руку в щель. И пытается отстегнуть крючок. Рука, видно, не дотянулась, крючок остался в петельке. Но человек, скрытый темнотой, еще дважды пробовал добраться до запора. Наконец он прекратил свои тщетные попытки. Какое-то время его совсем не было слышно, и Якову показалось, что он ушел. Однако вскоре раздался глуховатый, с характерной хрипотцой голос:

— Сакып… Эй, Сакып…

Он звучал негромко, но Яков узнал его сразу — Дауренбек!..

Всю дорогу, пока они ехали, человек этот ни разу не улыбнулся, не заговорил ни с кем. Якову запомнился неприязненный, сумрачный взгляд, который он бросал из-под тяжелых век, — то ли на него, то ли на сидевшего рядом Зигфрида. Хорошо еще, что с ними был тот добрый старик — наверное, начальник и Дауренбек боялся при нем дать выход затаившейся злобе… Но теперь он явился ночью, подкрался к юрте… Яков лежал, боясь пошевелиться, ни жив ни мертв.

Дауренбек еще раз или два подал голос и опять просунул руку в щель. Крючок слабо звякнул, дверь скрипнула и отворилась. Яков закричал. Дауренбек, едва успев перешагнуть порог, застыл на месте. Тихо стонавшая во сне Апа проснулась, и Яков кубарем покатился к ней, юркнул под шубу, прижался к теплому боку. Что случилось потом?.. Он бы не смог ответить. Он чувствовал только, что теперь он в безопасности, Дауренбек не сумеет его выкрасть… Наверное, Дауренбек тоже понял это и страшно разозлился. Он пнул ногой чугунок, разлил остатки супа, опрокинул чайник с водой. А выходя из юрты, полоснул по ее

стенке камчой. Апа поднялась, ощупью отыскала, поставила на место чайник и чугунок, накрепко затворила дверь, потом легла, прижала к себе Якова и долго плакала. Яков, приникший лицом к ее груди, слышал, как гулко билось ее сердце.

Утром он не решился остаться дома один, Апа взяла его с собой. Оказалось, она работает на хирмане. А тарахтенье, которое доносилось до Якова вчера, издавала машина, которую он здесь увидел. Называлась она — мо-ло-тил-ка. Вместе со всеми Апа подносила к ней пшеничные снопы и подавала человеку, который швырял их в железную, дрожащую от жадности пасть. В густой пыли, замутившей воздух над хирманом, только глаза у Апы блестели по-прежнему, а губы почернели, запеклись, и лицо было запыхавшееся, потное. Люди работали без передышки, молотилка им не давала ни минуты покоя. И лишь когда она стихала, подносчики опускались на землю, кто где стоял. Но тут появлялся Дауренбек… Больше других от него доставалось Апе. Но все помалкивали в ответ на его крики и попреки, молчала и она. Только молчала не как остальные, не потупив глаза, а глядя Дауренбеку прямо в лицо. Видно, ничуть его не боялась. И Яков его тоже не боялся — здесь, на людях. Знал, что у всех

на виду его никто не посмеет тронуть, и бегал вокруг хирмана, гоняясь за кузнечиками.

А вечером, когда весь аул погрузился в сон, Дауренбек пришел к ним снова. Апа еще не ложилась. Дауренбек вел себя совсем иначе, не как в прошлую ночь. И в голосе у него не было злобы — только укор, и просьба, и даже мольба. Долго упрашивал он о чем-то. Но Апа не смягчилась. А когда он сделался слишком настойчив, разбудила Якова, который было прикинулся спящим.

Дауренбек ушел. Апа уже не плакала, как вчера. Только вздыхала. Долго вздыхала. До самого рассвета…

Через некоторое время Яков научился немного понимать по-казахски. И тогда оказалось, что Апу звали вовсе не «Апа», а Сакыпжамал. Но это сложное и длинное имя выговаривать ему было трудно, и, хотя он отлично понимал, что «апа» значит «мама», а Сакыпжамал никакая ему не мать, он продолжал называть ее по-прежнему.

Постепенно мальчик всем сердцем привязался к ней, и она уже не казалась ему чужой. Впрочем, не чурался он теперь и других жителей аула: они тоже, он чувствовал, не были для него чужими людьми. Первоначальная робость покинула его. Яков свободно, никого не боясь, разгуливал меж-

ду юртами. Правда, он так и не сошелся поближе с ребятами, но как бы то ни было к жизни в ауле успел привыкнуть…

Едва посветлеет небо, перед юртой слышится конский топот. И зычный голос бригадира Бердена:

— Сакыпжамал!.. Эй, Сакыпжамал!..

А она уже не спит. Сидя на корточках, разгребает вчерашнюю золу, чтобы раздобыть тлеющие под ней угольки, раздувает их, подкладывает в огонь кусочки кизяка.

— Ау, кайнага![35] — откликается она. — Ах ты, шустрая! Уже проснулась?..

Конь под Берденом резвится, играет, и бригадир направляет его к соседней юрте.

— Кулиман!.. Эй, Кулиман!..

Никакого ответа.

— Эй! Кулиман! Поднимайся, засоня! Вставай, если не забрюхатела! Эй!

Из юрты доносится в сердцах брошенное крепкое словцо.

— Чего же ты, милая, отмалчиваешься, если проснулась?.. Солнце встало, и ты вставай! — посмеивается Берден, и белоногий Актабан уносит

---

[35] Примечания: 35

Кайнага — обращение к мужчине, старшему родственнику мужа.

его к следующей юрте.

— Бекет, эй, Бекет!

Здесь ему тоже не сразу удается добиться ответа.

— У-у, сорванец! Русские пацаны в твои годы сами на фронт просятся! А ты, выходит, бока отлеживаешь?.. Ай, Бекет, ай-ай!..

Из юрты по-прежнему ни звука.

— Встанешь ты наконец? Бекет, эй, Бекет!..

Видимо, Бекет отзывается, но что при этом он говорит — не слышно. Зато хорошо слышно, как Берден отвечает:

— Э-э, айналайн, в тринадцать лет мужчина — в доме хозяин, так что умывайся скорей да перекусывай!

И бригадир едет дальше.

— Вот окаянный Тлеубай! Настоящий единоличник! От всех отделился, юрту черт знает где поставил… И ведь нет чтобы самому вовремя подняться, тоже дожидается, пока разбудят!.. — ворчит Берден, направляясь к юрте Тлеубая, которая стоит в стороне от остальных, на краю аула.

Яков просыпается раньше всех и засматривает, щурясь, в дырочку, пробитую в войлоке. Ему все видно, все слышно. И только когда Берден исчеза-

ет из его поля зрения, он поднимается с постели.

Апа между тем уже подоила корову. Кизяк уютно потрескивает в очажке, мурлычет песенку закипающий чайник. Вот и самотканый дастархан разостлан на полу. Перед Яковом появляется кесе с остатками вчерашнего супа. Сама же апа пьет чай. Собственно, не то чтобы чай. Попросту кипяток, забеленный молоком. Потому и называется он аксу, белая вода. Зато пьет его апа в полное удовольствие — пять-шесть чашек подряд.

Только собрали дастархан — снова конский топот. Но на этот раз бригадир Берден не тратит времени на шутки, голос его звучит громко, властно.

— Сакыпжамал! Пора, выходи!..

— Кулиман, а Кулиман!.. Долго возишься!..

— Бекет! Хватит глаза протирать, светик мой! Тлеубай, что на краю света живет, и тот уже на хирмане…

— Торопись, торопись, поторапливайся! — покрикивает он перед каждой юртой.

Впрочем, сейчас и без того никому не придет в голову медлить. Люди вереницей, один за другим, тянутся на колхозный ток.

Яков тоже отправлялся поначалу на хирман, не желая далеко отлучаться от апы и каждую

минуту ощущая ее успокоительную, привычную близость. Кроме того, были у него некоторые опасения по поводу Дауренбека… Но постепенно он убедился, что никакая беда ему не грозит, да и хирман прискучил. Поэтому, просыпаясь с рассветом, он частенько оставался дома. И с аульными ребятами свел знакомство, хотя не слишком короткое. Были среди них и его приятели по детдому, но дефект, сохранившийся у Якова в речи, вынуждал его сторониться сверстников.

Тем не менее у него, предпочитавшего играть в одиночку, были свои развлечения, свои заботы. То прокатится верхом на теленке, то отправится сторожить корову. Иной раз возьмет мешок и уходит собирать кизяк. Вроде и забава, и дому помощь. Апа довольна, да и остальные, глядя на Якова, улыбаются. Уж на что суров к нему Дауренбек, так и он, завидев однажды, как Яков, пыхтя, волочит на себе мешок, полный кизяка, пробормотал, по-видимому, что-то одобрительное…

С первым снегом Сакыпжамал перебралась на одну из колхозных зимовок, поближе к овцам. Глинобитная мазанка, до половины врытая в землю, стояла у подножия высокой горы, как бы наглухо отгораживающей ее обитателей от остального мира. По эту же сторону, куда хватит

глаз, простиралась плоская равнина, где на тридцать — сорок километров не встречалось примет человеческого жилья. Если бы не отара, бредущая спозаранок в степь, не рассыпанный по снегу овечий помет и не следы диких зверей, — равнина, насквозь продуваемая ветром, вообще казалась бы мертвой. Весь день кружится над загоном стая пестрокрылых сорок. Всю ночь заунывный волчий вой оглашает предгорья. Сороки да волки — единственные вестники жизни, которая продолжается где-то за пределами зимовки, ее однообразного, унылого существования… Впрочем, людям и здесь некогда скучать от одиночества, изнывать в тоскливых мыслях.

Сакыпжамал ухаживает за ослабевшими овцами, ягнятами, козами, которым отведено место за плетеной изгородью, на солнечной стороне загона. То сено им подбрасывает, то загон чистит, то гонит к роднику на водопой. От вечно вздыхающей и охающей старухи чабана Кобегена ждать помощи не приходится. Зато присматривать за овцами Сакыпжамал помогает Яков, или Жакып, как произносят его имя на казахский лад жители аула. Покончив с хлопотами по зимовке, Сакыпжамал запрягает в волокушу быка с рваной ноздрей и принимается за подвозку

сена. Яков едет с нею вместе. Стоя на волокуше, он укладывает, уминает шестом с развилиной на конце подаваемое ему сено, — чем он еще в силах помочь?.. Но ему представляется, что делает он важное, серьезное дело, без него Сакыпжамал не обойтись... И домой возвращается очень довольный собой.

Все четверо живут в одном домишке. Главную, гостевую комнату занимает Кобеген с женой, вторую — Сакыпжамал и Яков. По деревянной кровати, старому сундуку, выцветшим, сложенным горкой одеялам можно судить, кто из них и где устроился. Но живут они сообща, вместе обедают, пьют чай, коротают долгие вечера.

Яков любил эти вечера — овец запирали на ночь в загоне, и все собирались в одной комнате.

Старуха, жена Кобегена, только и знала, что подкладывала топку в огонь и следила за чайником. Сакыпжамал крутила ручную мельницу или толкла поджаренные пшеничные зерна. Иногда она мяла курт, а когда хватало муки, раскатывала тесто под лапшу. В центре комнаты, на покоробившемся от времени круглом приземистом столе светился фитилек, пристроенный внутри надколотого кесе. Возле стола, на кошме, располагался Яков, а у печки, на козьем тулаке,

восседал, по-турецки подвернув ноги, сам Кобеген. Отогревшись чаем, он блаженно жмурился, поглаживал лоб, покачивался всем телом из стороны в сторону и наконец, не глядя на истомившегося от нетерпения мальчика, начинал низким, густым голосом:

— Давным-давно это было… Еще той порой, когда волк ходил в больших начальниках, а лиса у него была телохранителем…

Так начинал он, всегда одними и теми же словами, но каждый раз за ними следовала новая сказка.

И не было случая, когда старый Кобеген принимался за сказку, чтобы жена его не фыркнула:

— П-шшш… Нашелся рассказчик!

Но Кобеген как будто ее и слышать не слышал. Расчешет усы, разгладит бородку и заводит скороговоркой:

— Жил в те давние времена один бай, дал ему бог множество скота, только не дал сына…

Или:

— Жил в те давние времена один бек-зада, и отправился он по свету искать себе невесту, красивейшую из самых красивых, достойнейшую из самых достойных…

Или:

— Жил в те давние времена один сирота, ходил он, босоногий, в Багдаде по базару и горько вздыхал: «Что мне делать?.. Ума у меня много, а в кармане ни динара, одни дырки…»

— Какая кому польза от этих твоих богачей и батыров, сыновей беков и босяков-голодранцев? — не унималась старуха. — Что тебе до базара в Багдаде?.. Сидел бы себе да хлебал суп, а не задуривал нам головы небылицами!..

И верно, до сказок ли было ей, когда день-деньской не отходила она от очага? До сказок ли Сакыпжамал, если у нее забот по горло? Да и Жакып, не слишком-то усвоивший казахский язык, способен был понять сказку лишь в самых общих чертах.

— …И вот, повстречав своих родителей, обрел он покой души и тела, — заканчивал Кобеген.

Или:

— …И вот, сыграв свадьбу, которая продолжалась сорок дней, и затеяв праздник, который продолжался тридцать дней, добился он исполнения всех желаний.

Или:

— …И вот сделался он для людей опорой, для своей страны защитником.

Так тянулись вечера. И расходились все четверо

только тогда, когда наступало время ложиться.

Старуха, охая и стеная, забиралась на скрипучую деревянную кровать и всю ночь ворочалась, проклиная попеременно бога и людей.

Кобеген укладывался на тёре. Он с головой заворачивался в тулуп из черной овчины и тут же начинал храпеть. Ночью два-три раза он поднимался, прохаживался вокруг землянки, будил и взбадривал собак. Громкий лай сплетался с низким распевным баритоном Кобегена, и горное эхо возвращало эти звуки, многократно их повторив.

Яков и Сакыпжамал устраиваются в своей комнате у печки. Сакыпжамал, как и жена чабана, всю ночь проводит неспокойно. Хотя никого при этом не ругает, не проклинает. Просто потихоньку вздыхает, вздыхает… Или уткнется лицом в подушку и стонет. Иной раз в очереди с Кобегеном обойдет скотный двор, наведается к овцам. Якова она никогда не зовет с собой, но он встает вместе с Сакыпжамал и выходит во двор.

Морозной ночью, когда на выстывшем черном небе даже звезды, кажется, озябли и дрожат от холода, Сакыпжамал и Яков стоят рядышком, глядя на уходящую вдаль темную гряду гор, и так же, как старый Кобеген, криком ободряют

заскучавших собак и пугают волков. Только странно — собаки не отзываются, не лают им в ответ. Знай полеживают себе, свернувшись клубком, на соломе, с подветренной стороны. Подойдешь к ним — только вскинут голову да помашут хвостом. Ну что ж, Сакыпжамал и Яков их не беспокоят. Хочется им полежать, подремать — пускай себе дремлют… Накричавшись до хрипоты, на страх волкам, они возвращаются в дом, промерзшие, издрогшие.

Первым поднимается на заре Кобеген. За ним — Сакыпжамал и Яков. И наступает каждодневная жизнь, полная нескончаемых трудов и скудных радостей.

Яков тоже занят с утра до вечера. Но по-настоящему он устает разве что в те дни, когда чистит загон. Обычно же там, где взрослые валятся с ног, у него, малолетки, сохраняются и силы, и бодрость. Но весной дел прибавилось. Начался сезон окота. Все связанные с этим заботы легли на плечи Сакыпжамал и Якова. Кобеген уходил с отарой на пастбище, от жены его проку было мало, вот и хлопотали они вдвоем. Сакыпжамал ухаживала за истощенными животными, едва дотянувшими до весны. Присматривать за приплодом, подпускать его к маткам, возиться с новорожденными

ягнятами выпало на долю Якова. И все же, как ни тяжело ему порой приходилось, многое в кругу его теперешних обязанностей нравилось мальчику. А при виде жалких, беспомощных ягнят на хилых ножках у него теплело в груди, он чувствовал себя большим, сильным… В те начальные весенние дни у Сакыпжамал тоже стало веселей на душе. И даже ворчливая, угрюмая старуха Кобегена реже воссылала богу свои проклятия.

Небо расчистилось, целыми днями с голубой вышины светило яркое солнце. Снег лежал только по горным склонам. В низине, над прогревшейся землей курился сизый парок, и вокруг загона пробивалась молодая травка, да такая зеленая, что глазам не верилось. Яков выпускал сюда своих ягнят и козлят, они резвились на весеннем солнышке, и он с ними… А по вечерам, как и прежде, Кобеген рассказывал сказки. Яков про себя считал, что он — приемный сын Сакыпжамал и Кобегена. Так ему все чаще казалось…

Но подошло время, когда Кобеген повел отару на горное джайляу. Сакыпжамал с Яковом перебрались в сенокосную бригаду. Здесь она стала работать копнильщицей.

Забывались и Кобеген, и его сказки, — Яков подружился с ребятами и целые дни играл в асыки.

Он уже не чувствовал себя чужим, и с теми, кто хотел бороться, — боролся, кто хотел драться, — дрался. Все куда-нибудь бежали — и он бежал, все кричали — и он кричал. С ним затевали спор — он тоже не лез в карман за словом. Короче, за год он вполне свыкся с аульной жизнью, а что до языка, то почти все услышанное он понимал и сам без особого труда мог выразить любую мысль. Правда, про себя, не вслух. Речь его по-прежнему спотыкалась на некоторых звуках. Но ребята уже привыкли слышать от него вместо «асык» и «сака» — «атык» и «така», они этого попросту не замечали.

И все же, как бы там ни было, Яков предпочитал где можно смолчать, не подавать голос…

За сенокосом последовала жатва.

Когда убрали урожай, Сакыпжамал вернулась на старую зимовку, и Яков, разумеется, с нею.

Так шло время…

На третий год осенью, в тот день, когда землю покрыл первый снег, умерла жена Кобегена. Последний месяц она не поднималась, ночами стонала, бредила: «Пшшшш… Сказки… Тебе ли рассказывать сказки… Кому твои сказки нужны… Кому ты сам нужен…»

На зимовку как раз в тот день приехал Дау-

ренбек, и с ним еще несколько человек — переписывать скот. Двое из приехавших вместе с Кобегеном отправились рыть могилу неподалеку от зимовки, рядом со старым, полуобвалившимся мазаром. Земля здесь была твердая, каменистая, пришлось промучиться до позднего вечера. Схоронили старуху лишь на следующее утро. Потом Дауренбек со своими людьми закончил пересчет поголовья и уехал на другую зимовку. Кобеген выгнал своих овец пастись. Сакыпжамал вдвоем с Яковом остались в опустевшем дворе…

Пока старуха была жива, ее мало замечали. Ворчала себе, кряхтела — никто не прислушивался к этому кряхтенью, не отвечал на бранчливые слова. Но вот старухи не стало, и в доме сделалось как-то пусто. Почувствовали это и Кобеген, и Сакыпжамал, и даже Яков. Вечерами Кобеген уже не усаживался, скрестив ноги, не раскачивался, зажмурив глаза, подыскивая новую сказку… И у Сакыпжамал опустились руки, свою ежедневную работу исполняла она без прежнего старания, кое-как. Якова одолели лень и сонливость. Зима тянулась без конца…

К весне, заметил Яков, в доме случились некоторые перемены. Однажды вечером Кобеген снова начал рассказывать свои волшебные истории…

Сакыпжамал стелила себе теперь не там, где спал Яков, а рядом с Кобегеном.

Но вот странность. Прежде Кобеген всегда имел в запасе новую сказку, и не было такого, чтобы он возвращался к рассказанной. А этой весной что-то с ним стряслось. То начнет сказку, которую слышали от него два-три дня назад, то и вовсе запутается — возьмет у одной начало, у другой конец… Изменился нрав и у тихони Сакыпжамал. По каждому поводу ворчала она, покрикивала на Кобегена. И все меньше обращала внимания на Якова, — в ней словно что-то угасло, приглохло…

Раньше, бывало, Кобеген и ухом не ведет на воркотню своей старухи. Теперь же стоит Сакыпжамал шевельнуть бровью — он и оробел, а скажет сердитое слово — старик и вовсе потерялся. Вечером лежат они, отвернувшись друг от друга, каждый под своим одеялом. Однако их постели располагались рядом, и Яков думал, что на летнее джайляу отправятся они вместе с Кобегеном. Вышло иначе. Они перебрались в сенокосную бригаду, а Кобеген ушел со своей отарой один.

Вскоре и Якову пришлось на себе испытать одиночество. Запряженные в сенокосилку быки взбунтовались, и Сакыпжамал, бедняжка, угоди-

ла под косу… Когда она умерла, Якову сделалось горько, тоскливо, но он не плакал.

То ли потому, что Сакыпжамал никогда не имела собственных детей, то ли потому, что Яков был уже не малый ребенок, а сама она была еще так молода, то ли потому, наконец, что не нашли друг для друга внятного языка их души, угнетенные — каждая своей — печалью, но, как там ни объясняй, не сроднились они, не стали сыном и матерью. Пока жива была Сакыпжамал, Яков чувствовал себя сиротой, которого приютила дальняя родственница. Тем более в последние месяцы… И все же истинный смысл, слова «сирота» Яков постиг лишь теперь, оставшись без Сакыпжамал.

Раньше у него был с в о й дом, с в о я, хотя бы и маленькая, юрта. Здесь он мог без спроса брать что хотел, и есть сколько хотел, не испытывая голода и не ценя сытости. Но вот ему довелось жить в ч у ж о й юрте, и накрываться ч у ж и м одеялом, и есть не когда захочется, а когда разрешат, усадят вместе с собой… Раньше для любого в ауле он был полноправным сыном Сакыпжамал. Кем был он теперь?..

Лето кончилось, люди стали разъезжаться по зимовкам, он присоединился к кому-то и добрал-

ся до Кобегена.

Старик жил вместе с семейством вернувшегося в прошлом году фронтовика. Он сильно изменился — похудел, осунулся, только и остались на ссохшемся лице что костистые, выпирающие скулы да мутноватые, как бы выпученные глаза. Все молчит, молчит, а скажут ему что-нибудь — не расслышит. А расслышит, так в ответ только кивнет или покачает головой… Но приезду Якова он обрадовался: на ночь укладывал рядом, подсаживал в седло, выезжая пасти овец. И Яков снова почувствовал себя человеком, имеющим собственный кров и стол. Но ненадолго. В середине зимы Кобеген отправился следом за своей женой и Сакыпжамал.

Вот когда у Якова из глаз хлынули слезы… Он рыдал, оплакивая смиренного Кобегена. И несчастливую Сакыпжамал. И собственную мать, умершую в луже крови, которая вытекла из ее тела, из ее страшных ран. Плакал он и по ворчливой старухе, изглоданной болезнями, простонавшей половину жизни на своей деревянной кровати. Но больше всего плакал он о себе самом, хотя навряд ли понимал это… Плакал и не мог остановиться…

Это были его последние в отрочестве слезы.

Суровая жизнь рано закаляет сердце. Якову шел четырнадцатый год, когда он почувствовал себя взрослым, вполне самостоятельным человеком, у которого достаточно сил, чтобы обеспечить собственное существование. И в самом деле, благодаря свежему воздуху и физической работе он вытянулся, выглядел крупнее своих сверстников, у него были крепкие, ловкие, привычные к любому труду руки. В те годы на таких ребят смотрели как на равноправных членов колхоза.

Все лето он убирал сено в копны. Осенними днями, увязая в грязи, помогал ремонтировать старые зимовки. В морозы чистил загоны для овец, возил сено — словом, делал все, что придется. За несколько лет он превратился в рослого, плечистого парня с грубоватым, обветренным лицом и несколько угрюмым, а может быть, просто застенчивым взглядом.

Повзрослев, он принялся за розыски родителей, точнее — отца. И попытался выяснить, где он сам родился, откуда попал в детский дом. Какая, наконец, была у него настоящая фамилия. Но на все запросы следовал одинаковый ответ: не известно, не известно… Выходит, не зря его назвали в детдоме Яков Неизвестный. А по казахским понятиям — безродный. Не имеющий своего

рода-племени. Так сказать, найденный средь дороги… Ему не хотелось мириться с этим. Но все-таки кто же он тогда? Иванов? Или, может, Петров? Или Сидоров?.. Не известно. Может, и так, может, и этак… Одним словом, Яков Неизвестный… Поразмыслив, он выдумал себе фамилию: Сакыпжамалов… Нет, женское имя тут не годится. Кобегенов… Пожалуй. Яков Кобегенов… Так его и записали в документах.

Шли месяц за месяцем, год за годом. Имя его приобрело более удобную для произношения форму «Жакып» и в этом виде закрепилось за ним. И между собой уже не называли его ни «орыс», что значит «русский», ни «жойыт», что значит «еврей». Он стал, как и все аульчане, смуглым от солнечного загара, и прищуривал глаза на остром степном ветру, и ходил в стеганых штанах и шубе из овчины.

В колхозе Жакыпа знали как парня трудолюбивого, добросовестного, который не имеет привычки уклоняться от поручений заведующего фермой или бригадира. За что ни возьмется, все сделает быстро, аккуратно. Потому, чуть где прорыв — сейчас же туда Якова, где какая дырка — кроме Якова и заткнуть ее вроде бы некому. Иные, глядя на него, усмехались, называя

«чокнутым»; другие ставили в пример. «Завести бы парню свою кибитку, — говорили о нем, — зажить своим домом, как и все...» И нашлись доброхоты, начали подыскивать для Жакыпа невесту.

На примете у них оказалась повариха Полина. Несколько лет назад появилась она по какому-то случаю в ауле и с тех пор жила здесь, никуда не уезжая. День-деньской крутился возле Полины, рядом с казаном, шустрый черноглазый мальчуган лет шести. Сама же она была, как говорится, видная женщина, с широкими бедрами, тугими икрами, с пышной короной золотистых волос на голове... Но едва зашла речь о сватовстве, Полина тут же отмахнулась:

— Нужен мне ваш заика!.. За такого замуж? Да боже меня сохрани!..

Вернулись от нее сваты как в воду опущенные и опять стали думать, какую бы невесту в ауле для Жакыпа подыскать.

Сам же он в то время меньше всего был озабочен этим. По-прежнему замкнутый, сосредоточенный в себе, он задавался совсем иными вопросами и пытался найти на них ответ.

Кто он, зачем живет, чего хочет в жизни добиться, чем будет завтра, через год, через десять

лет? Все люди вокруг живут, как и он: пасут скот, косят сено, убирают урожай, и так год за годом, — старые и молодые, мужчины и женщины, и нет им покоя и отдыха ни летом, ни зимой. А между тем ведь можно жить и по-иному. Об этом, он слышал, толковали геологи, все лето искавшие ру иду раскинувшие свои палатки на джайляу, рядом с аулом.

Странным казалось им, что он, русский человек, живет один-одинешенек, в казахском ауле. И они, приглашая Жакыпа к своему костру, расспрашивали, каким образом он здесь оказался, и рассказывали о местах, где жизнь для него более подходящая, где есть, например, овощи, и фрукты, и многое другое, особенно в больших городах. Правда, из-за того, что Яков не был силен в русском, они не вполне понимали друг друга. Но геологи, полагая, что всему виной глуховатость Якова, терпеливо ему все разъясняли. Он же уловил главное: городская жизнь — совсем другое дело; работаешь по часам, когда положено — отдыхаешь; в субботу — короткий день, в воскресенье нет работы, один месяц в году опять же отдыхаешь; и притом — столовые всюду, рестораны, еда — какая хочешь, в любой момент; на каждом перекрестке — кино, театры, короче,

все, о чем только можно мечтать. Так что же его здесь держит?.. Да здесь, говорили ему, и собаку привяжи — она веревку перегрызет и сбежит.

И тут задумался Яков — задумался впервые в жизни — над тем, что он — человек другого народа, другой национальности. Снова ожили в душе затуманенные картины прошлого, вспомнились отец, мать… Даже имен их он не знает. Мать умерла, отец, даже если жив, никогда с ним не встретится. Нет у него никого в целом свете. Только о себе и остается ему думать, только для себя жить. Ну, а его нынешняя жизнь — какая это жизнь? Все тут чужое, ничто не держит, надо уходить. К людям, которые как-никак твои соплеменники, что ли, собратья по крови, по языку, хотя и не родные, конечно…

Сам ли Яков додумался до таких мыслей, другие ли подсказали — он бы не ответил. Но, как бы там ни было, мысли эти прочно засели у него в голове. И он решил уйти, податься в город.

Правда, сделать сразу это ему не удалось. Его не хотели отпускать в разгаре летней страды. Пришла осень. Якова отговаривали, пытались удержать. Но он не слушал ни наставлений, ни добрых советов…

Миновал год. По слухам, достигшим аула, Жа-

кып объявился в райцентре. Кто-то его там видел, кто-то с ним говорил… Рассказывали о нем всякое. И что документов у него каких-то не оказалось, не смог устроиться в городе — вот и вернулся. И что не в документах дело, а в том, что по-русски Жакып знает плохо, вот и не прижился. И что, напротив, живется ему в городе хорошо, а теперь он просто приехал в отпуск… Словом, чего ни болтали, каких догадок ни строили… Пока в один прекрасный день в аул не заявился сам Яков.

Одет франтом. Нейлоновая белая сорочка, на груди — галстук, повязанный по моде, широким узлом. Костюм новый, коричневый, только брюки слегка отвисли в коленях и складки в дороге примялись; на голове — шляпа с полями, от них по лицу мягкая тень. Летний плащ свисает небрежно с левой руки, в правой — чемодан, блистающий «молнией» и медными застежками. А сам-то — и волосы длинные отпустил, и усики завел… Совсем не тот Жакып, какого знали! Один человек уехал — другой приехал!..

Люди-то, понятно, узнавали его сразу, хотя здоровались поначалу отчужденно, с прохладцей. Но двух своих сверстников, Зигфрида и Рашита, Яков дружески обнял, притиснул к могучей груди, стариков уважительно похлопывал по

спине, детей целовал в крутые щечки, улыбаясь при этом, что-то радостно бормоча… Не только обликом переменился Яков, что-то непривычное прорезалось в его характере…

Он побывал гостем в каждой семье. Чемодан его, оказалось, был набит пачками индийского чая и всевозможными игрушками. Чай — для старых, игрушки — для малых… И люди удивлялись: «Апыр-ай, город и вправду, выходит, уму-разуму каждого учит?.. Всего какой-нибудь год прожил там наш Жакып, а уже многого достиг…» И, забыв, как год назад осуждали Якова, вздыхали: «Э, что у нас тут есть? Потому только и сами живем, что родная земля…» И ждали, когда соберется он в обратный путь, чтобы поднести ответные подарки.

Но случилось такое, чего никто не предвидел. Отдохнув несколько дней, вдоволь отведав кумыса и мяса, Яков как-то утром облачился в новенький синий комбинезон, до того лежавший на дне чемодана, и вышел со всеми стоговать сено. Так было и назавтра, и на третий день… А вскоре Яков снова удивил весь аул, и на этот раз тем, что поселился в доме у старой Кулиман. Та самая Оля, которую Кулиман взяла на воспитание, порядком засиделась в девушках. И вот однажды на косьбе, где она работала копнильщицей, дождавшись

полуденного перерыва, Яков подошел к ней и сказал… Что и как он сказал, никто, разумеется, не слышал, никого в то время рядом не было. И потому не станем выдавать за истину вольные догадки и шутки аульных остряков. Суть не в том, что Яков сказал, а в том, что он сделал.

А сделал он все, как положено: съездил со своей невестой в райцентр, привез свидетельство о браке и в тот же день устроил скромный свадебный той.

Только теперь убедились люди, что Жакып вернулся в аул насовсем и никуда уезжать отсюда не собирается.

РУСЛО

В те времена я только начинал работать в газете, и вот накануне Дня Победы мне дали задание — написать очерк о ветеране-фронтовике. Причем о таком, который еще не привлек внимания нашей журналистской братии. По совету редактора я собрался и зашагал к городскому госпиталю инвалидов Отечественной войны.

Главный врач сразу понял, кого я ищу, и назвал мне Тогрыла. По его словам, за двадцать лет ему довелось перевидеть множество пациентов, но

такого стойкого, волевого, такого жадного к жизни он не встречал… Что же, отлично!

Тогрыл играет в шашки, сказали нам, поищите его в саду. Я удивился. Ведь только что я слышал, что у него нет обеих рук и ноги. Как он играет? Допустим, кто-то двигает за него фигурки, но какая радость ему от подобной игры?.. И вообще, как он ест, как одевается? Что это — существование или жизнь?..

Он сидел за врытым в землю, грубо сколоченным столом, спиною к нам. Подходя, мы услышали раскатистый, добродушный хохот. Полный бритоголовый казах, похожий на Котовского, вдруг вскочил со скамейки напротив и начал дрожащими руками застегивать на груди халат.

— Ойбай, Саке, простите… Так уж вышло: зазевался — и выиграл, — сквозь смех оправдывался Тогрыл. — Ей-богу, нечаянно!.. Давайте не будем эту партию засчитывать?

— Э, что с тобой поделаешь, — насупился Саке. — Как ни играй — все равно проиграешь. — Он взял свою палку, прислоненную к столу, повернулся и пошел прочь. В его торопливой прихрамывающей походке чувствовалась нешуточная обида.

— Сам виноват… Не надо было зевать… — со-

крушенно повторял Тогрыл.

Нам с доктором осталось только улыбнуться, глядя на ребяческие огорчения двух взрослых людей.

— Я привел вам нового партнера, Тока, — сказал главврач.

Только теперь Тогрыл повернулся к нам. Волосы у него были совершенно седые, и брови казались как бы осветленными инеем. Но глаза живые, с острым, пристальным взглядом, — судя по лицу, ему не перевалило еще за пятьдесят. И его инвалидность была на вид не похожа на ту, какая мне представлялась. Одна рука, правда, была срезана по самое плечо, на другой недоставало лишь кисти. Культя напоминала разведенные ножницы. Выглядела она неуклюжей, и в первый момент я усомнился, что ею можно пользоваться. Но тут же понял, что ошибся. Тока двумя своими «пальцами» принялся расставлять шашки на доске и делал это быстро, ловко. «Пальцы», разумеется, уступали природным в гибкости, да и было их не пять, а два, но приноровившегося ими владеть человека нельзя было назвать беспомощным.

Мы с Тогрылом без труда нашли общий язык. Нрав у него оказался открытый, легкий, характер

простой и бесхитростный. Я услышал, как он на протяжении двух лет после ранения находился на грани жизни и смерти, какие муки выпали ему на долю, как хирурги думали ампутировать и эту последнюю культю, в которой засел осколок снаряда, и как он, не согласившись, решился на сложнейшую операцию — и она закончилась успешно. Ничего не скрывая, он рассказывал мне про свои страдания, телесные и душевные, про то, как несколько раз умирал и воскресал заново и как, случалось, обессилев от непрекращающихся мучений, рыдал среди ночи, упав лицом в подушку.

Не помню, сколько партий мною было проиграно, но после двух-трех встреч я собрал весь необходимый для очерка материал.

В молодости перо, как говорится, само бежит по бумаге. Очерк был написан, и, на мой взгляд, довольно удачно. Не только на мой, впрочем, но и на взгляд жены, которой читал я его трижды. Пыл соединившей нас любви успел к тому времени поутихнуть, но в том, что я умею писать, она еще не сомневалась. И была рада, услышав, что за такой материал я получу по меньшей мере пятьдесят рублей.

Однако редактор очерка не одобрил, обна-

ружив в нем множество изъянов. Кто он, мой герой, что за человек, какие у него заслуги? Танк подбил или дзот разрушил? А ордена — сколько у него орденов? Ну, допустим, он явил пример духовного, так сказать, подвига. Но ради кого, в конце-то концов? Ради чего? Ради собственной жизни — так получается? Но какая польза от этого обществу?.. Да, о многом я не подумал, беседуя с Тогрылом, и столько труда пошло прахом. К тому же я получил выговор за то, что не подготовил столь нужный для газеты материал. Выговор был, правда, устный, да что с того?.. Выговор есть выговор.

Но мучило меня другое — не труд, пропавший понапрасну, не выговор, полученный на виду у всей редакции. И что там жена, которая лишилась гонорара, уж ее я как-нибудь утешу, не в этом дело… С каким лицом покажусь я Токе?.. Ведь я обещал, что не сегодня-завтра очерк опубликуют. Но не зря говорится: наш язык — источник всех бед… Хоть не показывайся Тогрылу на глаза! Но в конце концов я решил свалить вину за свои злоключения на редактора и с тем отправился в госпиталь.

Тогрыл прогуливался по саду. Подобно многим, кто вынужден пользоваться протезами, он дви-

гался по аллейке как бы вприпрыжку, короткими бросками посылая вперед свое крупное тело. Рядом с ним я увидел интеллигентного вида молодого человека, судя по всему, городского жителя. Времени у меня было в обрез, я не стал выжидать, пока Тогрыл окажется один, и прямиком направился к ним. Видно, свидание уже закончилось, и незнакомый парень, завидев меня, стал прощаться. Я услышал последние слова:

— Хорошо, ага… Но дней десять вы у нас обязательно должны погостить. А то Балым обидится…

Я поздоровался с Тогрылом и его гостем, который кивнул мне довольно холодно, повернулся и пошел к выходу из больничного сада.

— Только позвоните, и мы за вами приедем, — крикнул он, обернувшись напоследок, и помахал рукой.

Я удивился. Он очень чисто говорил по-казахски, хотя было видно, что это не казах. Скорее татарин, башкир или чуваш, а возможно, что и русский. Но не успел я и рта раскрыть, как Тогрыл удивил меня еще больше.

— Дети просят меня к ним перебраться, — сказал он, глядя вслед молодому человеку, который уже скрылся за поворотом, — каждый год про-

сят… Я бы и сам не прочь переехать. Да как быть, привыкли мы к степи. Без зеленого луга, без желтого кумыса, что для нас за жизнь? Приедешь погостить — и то не знаешь, куда от тоски деваться. На будущий год хочу сюда Болата своего отправить. Будет учиться и жить у своих.

— Наверное, это зять к вам приходил? — спросил я.

— Нет, младший брат, — ответил Тогрыл. — Родной мой братишка.

— А как его зовут?

— Рашит.

Младший брат… Скорее всего отец один, а матери разные, решил я. Можно было бы ограничиться этой догадкой, да ведь у нас, казахов, каждый как начнет с имени, так уж не отступится, пока не дойдет до седьмого колена. Я тоже ударился в родословную.

— Видно, лицом он в нагаши[36] пошел…

Тока вспыхнул. С моей стороны эти слова были, конечно, бестактностью, но я слишком поздно сообразил, какого дал маху… Пришлось извиниться, памятуя и о куда более серьезной вине, отягчающей мою душу…

---

[36] Примечания: 36

Нагаши — родственники по материнской линии.

Тока, впрочем, быстро успокоился.

— Это ты меня извини, дорогой, — сказал он, кладя мне на плечо свою культю. — К тебе никаких претензий быть не может. Факт налицо, так сказать… Просто о том, что Рашит — другого рода, мне никто еще не говорил, ни знакомые, ни чужие. Так что и вопрос твой — не от глупости или злого умысла, а от… неосторожности, что ли, неосмотрительности… А дело вот как было, голубок…

И Тогрыл рассказал мне о Рашите и еще нескольких ребятах-сиротах, которые во время войны прибыли в отдаленный казахский аул и там нашли себе новых родителей. Он не вдавался в подробности и лишь коротко познакомил меня с этой историей. Меня она захватила. И захватила не сюжетом, не остротой и своеобразием ситуаций, а прежде всего самим смыслом рассказанного. Вот он, поистине бесценный для журналиста материал о дружбе народов, — пишут на эту тему много, но как-то слишком общо, сухо! А тут… Новый очерк сам плыл мне в руки, а вместе с ним — и возможность оправдаться перед Тогрылом и редакцией за все мои грехи. Только надо собственными глазами увидеть и этот далекий аул, и будущих героев…

О новом замысле я торжественно доложил редактору. И, не дождавшись Тогрыла, который гостил в это время у своего младшего брата, отправился в путь. На сей раз, исходя из своего стремительно возрастающего журналистского опыта, я сдержался и не стал обещать ему заранее, что случайный его рассказ послужит темой для очерка, который вскоре потрясет сердца читателей…

Мне повезло. Всех, кто мне был нужен, я застал в ауле.

Мальчик Зигфрид, о котором я услышал от Тогрыла, оказался зрелым мужчиной тридцати с чем-то лет, главным зоотехником совхоза Зигфридом Вольфганговичем Бегимбетовым. Жена его работала учительницей. Она закончила Алма-Атинский университет за год до того, как я в него поступил. У нас нашлось немало общих знакомых. Я разговаривал с этой приветливой, мягкой женщиной и думал при этом, что наши матери, а еще больше — бабушки были в чем-то похожи на нее. В душевной широте, пожалуй, в чувстве собственного достоинства и какой-то природной тонкости в обращении с людьми… А как вкусно она готовит! Как чисто и опрятно у нее в доме, наполненном детьми!.. Я насчитал

их то ли семь, то ли восемь, шустрых, с шумом и гамом носившихся друг за дружкой, и сбился со счета… Все они были просто загляденье — кожа светлая, но со смуглинкой, глаза карие, горячие… Вспомнив о собственной жене, которая, дай бог ей здоровья, и одним-то ребенком тяготилась, я спросил, не трудно ли растить такую ораву. Она засмеялась. Да уж не легко… Когда жив был дедушка, было легче. Но аксакал Ахмет, после смерти своей байбише переселившийся к детям, умер три года назад.

Якова мне помогли отыскать в сенокосной бригаде. Мне думалось, нам не так-то просто будет разговаривать, но мои опасения не оправдались. Я быстро освоился с его речью, да и он, преодолев первое смущение от встречи с незнакомым человеком, если и заикался, то не столь уж часто.

Когда я был у Якова дома, туда пришел один из руководителей совхоза — аксакал Дауренбек. Он позже других услышал весть о приезде журналиста из Алма-Аты. Иначе они встретились бы раньше, сказал Дауренбек, ведь он как-никак инвалид Отечественной войны, уважаемый в этих местах человек, немало потрудившийся на благо колхоза, и представителю редакции должно быть интересно… Вот именно, сказал

я, очень и очень интересно… И начал задавать вопросы, которых стало еще больше, когда выяснилось, что как раз этот человек привез детей в аул. Малыши были, вздыхал он, совсем еще малыши… Что значит время! Не успели оглянуться, как босоногие сорванцы сделались настоящими мужчинами, отцами семейства… Да, не зря о них в те годы столько заботились, воспитывали — не в одиночку, а всем коллективом… Не зря! И вот, пожалуйста, плоды общего нашего труда…

— Вот этот карапуз, — улыбнулся Дауренбек, показывая на сынишку Якова лет пяти, — от горшка два вершка, так ведь говорится?.. Ну, а попробуй угадать, кем он будет лет через пятнадцать — двадцать?.. Бахыт, иди-ка сюда!..

Но мальчуган не захотел идти к Дауренбеку.

— Ах ты упрямец, — сказал кто-то из сидевших в комнате, — ах ты озорник… А ну-ка, Бахытжан, скажи дяде из Алма-Аты, кто ты?

— Кто ты, айналайн? — подхватил я.

— Отец — русский, мать — калмычка, а сам я — татарин, — ответил малыш.

Все рассмеялись.

— И отец, и мать у тебя — казахи, а сам ты — дурачок, — сказал кто-то. А еще кто-то возразил:

— Смех смехом, а что мальца с этаких пор при-

учают свой род различать — это ни к чему…

— Ничего, — возразил Дауренбек, — сегодня помнит — завтра забудет… Но вот о чем, сынок, никогда не забывай: отец у тебя может быть русский или немец, мать — казашка или калмычка, это не так уж важно, главное, что ты — советский… Вот это запомни накрепко и никогда не забывай…

Он порядком поблек и усох, старина Дауренбек, но голос его был еще звучен и тверд. Чувствовалось, энергии у этого человека хоть отбавляй. Он в полную мою власть отдал служебную машину и до тех пор, пока я не уехал, постоянно был рядом со мной. Большинство необходимых сведений я почерпнул у Дауренбека. И должен заметить, он рассказал мне все, как было, ничего не утаивая. Только расспросы о гибели Нартая и Ертая вызвали у него что-то похожее на смущенье. Отвечал на них он без особой охоты. Единственное, что я от него услышал, сводилось к следующему. Берден до самой смерти горевал о своей тяжкой утрате, весть о гибели Ертая оказалась для него горше, чем потеря двух старших, убитых на фронте, сыновей. Под старость он сдружился с Тлеубаем, и были они как братья — вместе кочевали, рядом ставили юрты, а теперь оба дома опустели, и уже

не курится дымок над погасшими очагами… Что же до гибели мальчиков, то здесь нет вины ни правления колхоза, ни школьной дирекции — все случилось по неразумию самих детей. К чему нынче ворошить прошлое… Больше он ничего не сказал. Тем не менее я посчитал своим долгом сходить на могилы братьев.

Похоронили их на окраине большого и старого кладбища. Я увидел два холмика, оба они не составили бы в длину и одного кулаша[37]. Поначалу холмики эти, из кирпича-сырца, были сложены в виде колыбели, но со временем дождь и ветер почти сровняли надгробья с землей, могилки заросли полынью. В изголовье стоял невысокий гранитный обелиск, один на двоих. На нем были выбиты лунный серп и надпись: «Братья Нартай и Ертай Арыстанбековы».

И тут я вспомнил отца этих ребят. Для одного из праздничных номеров нашей газеты мне пришлось брать у него интервью. Он принял меня дома, в своем рабочем кабинете. Пока мы разговаривали, рядом играл мальчонка лет пяти или шести. Резвости ему было не занимать. Он сражался с невидимыми врагами на саблях, и

---

[37] Примечания: 37

Кулаш — мера длины: расстояние между концами расставленных рук.

пел песни, и валялся на ковре, и в конце концов свалил с книжного стеллажа несколько увесистых томов, разыскивая книжки с картинками. Пожалуй, он был слишком избалован. Внук?.. Нет, оказалось, что сын. Слово за слово, и я впервые услышал о пропавших детях, которых, несмотря на все усилия, так и не удалось разыскать.

Вернувшись в Алма-Ату, я думал тут же пойти к Арыстанбекову. Но, поразмыслив, решил, что это ни к чему. Мало удовольствия — сообщать отцу столь печальную весть… «Сейчас старшему было бы тридцать пять, младшему — тридцать три, — говорил он. — У обоих, наверное, дети, такие же, как мой Алтай… Где-то они живут, и рано ли, поздно ли, должны объявиться». Что на всем белом свете дороже надежды? Я не нашел в себе ни сил, ни желания погасить ее искорку в душе человека, который сумел заново разжечь огонь у себя в очаге, поднять новый шанырак над своей головой…

Не заполнил я и место в газете, отведенное мне в связи с моей командировкой.

Когда мы прощались, Зигфрид сказал:

— Только презренный человек скрывает свое происхождение. Я никогда не забуду своего куке, аксакала Ахмета, воспитавшего и вырастившего

меня. Его фамилию ношу я сам, и носят мои дети, и будут носить дети моих детей. Но живет во мне память и о том человеке, который подарил мне жизнь, — о моем дорогом отце Вольфганге Вагнере, погибшем в рядах испанских республиканцев, сражаясь с фашистами. Кто же я, спросите вы, кем считаю себя по нации?.. Я и сам иногда задумываюсь над этим. Немец?.. Не вполне. Казах?.. Тоже не совсем верно. Происхожу от немцев — это будет поточнее. Ну, а дети мои… Они как ответят на этот вопрос?.. Впрочем, так ли это важно — копаться в своей родословной? Сейчас мы все — русло одной реки, дети одного отца. Или, если хотите, члены одной семьи, сыны одного улуса… К чему растравлять старые раны?

Мне показалось, что это сказано им было не только от своего имени, ко также и от имени Якова, Рашита, от имени всех… Тогда я задумался всерьез над его последними словами, но потом понял, что они совершенно правильны.

И все же было жаль бросать на ветер все то, что услышал, узнал, увидел собственными глазами в этой поездке, жаль было родившихся в связи с нею мыслей. Изменив имена реальных людей, слегка оживив картины, сбереженные их памятью, я написал не то повесть, не то цикл

переплетенных между собою рассказов… Не знаю сам. Журналист из меня не вышел, — может быть, выйдет писатель?.. В душе я на это надеюсь, хотя вполне готов и к тому, что надежда моя не сбудется. Что ж делать? Перенесем и это.

Как бы то ни было, пока все решится, у меня впереди еще достаточно времени…

1973

Перевод Ю. Герта.

СМУГЛЯНКА

«Уважаемый наш Беке! Сегодня получили наконец ваше письмо, и радости нашей края не было. У нас все хорошо, все живы-здоровы. Секиман топочет по дому, совсем как медвежонок. Спросишь его: «Где куке?» Ручонки разведет: «Неть куке». Пальцем ему погрозишь, а он пальчик поднимет и скажет: «Куке — ау. Куке — мау». Это значит: папа мой в Москве… Такой хороший.

Новости наши: паспорт получила, метрику на Секена оформила, в ясли приняли. Это соседка помогла. Отношу его на всю неделю, только на выходные отдают обратно. Теперь уже пять дней как устроилась на фабрику. Пока что ученицей. Зарплата, конечно, маловата, но говорят: будешь хорошо работать — побольше выйдет, станешь в коллективе как все.

Беке мой! Как я скучаю без тебя! Народу в городе — яблоку не упасть, а все равно как в пустыне. На кого опереться? С кем посоветоваться? Старики говорят: когда

все хорошо кончается, так тысяча дней страданий одним днем обернутся. Лишь бы «аллах не обделил нас своей милостью.

Куке ты наш! Ты уж с силами соберись, забудь покой, не бойся спрашивать у своих ученых руководителей чего не знаешь, советуйся, на ошибки покажут — исправь. Защитись. Ни о чем другом, не думай. Обо всем забудь. За нас не беспокойся. Ты же сам говорил: как кончу — так на другой день и защита. Ну не на другой день, так еще полгодом позже — не беда. Терпи, до конца терпи. По письму твоему судить, ты пал духом и уныние завладело твоей душой. Держись, родной мой! Добрых людей, что могут помочь, там же больше, чем здесь. Не один, так другой поймет. Лишь бы с пути своего не свернуть…

Да, вот еще что: ваш руководитель профессор Махмет-аксакал в тяжелом состоянии попал в больницу. Говорят, кровоизлияние в мозг. Помнишь, такой проныра был малый, в прошлом году аспирантуру кончил, диссертацию еще

защищал, Бикали зовут? Так я на улице его вчера встретила. Он мне и сказал.

Что еще? Желаю на пути вашем встретить вам удачу, пусть другом вашим будет святой Кыдыр, пусть поддержат вас духи предков.

Письмо написала и рассказала о своем житье-бытье ваша добрая и верная супруга.

Айгуль,
29 сентября 1951 г.

А это Секитая рука. Это он привет посылает. Пальчики растопырил — чтобы куке на пять защитился и быстрее вернулся.

Чуть не забыла. Вверху у него еще один зуб прорезался. Теперь у нас уже десять зубов. Пряник или сухарь попадется — хватает и грызет. Сегодня ему исполнилось полтора года. Джигит уже.

Раз работа теперь есть — нам полегче будет. С первой получки вышлю денег. Не хотела дожидаться, да взаймы никто не дал».

— Т-у-у-у, Бексеит! Стою битый час, наверное, — хоть бы оглянулся! Враг разнесет твой дом — ты и ухом не поведешь. Мало по архивам хлама бумажного перетряс, так и дома вверх дном все. Человека нанять прикажете эти горы вымести? И откуда все это повыволок?

— Сам не знаю, байбише. Сам удивляюсь.

— Ай-ай-ай, что за слова?.. Феодал недобитый!

— Между прочим, этот феодал за свою жизнь немало сделать успел, а прожил не так уж много. Вот, пожалуйста, оттиски статей из академических журналов, вот — научные доклады, вот — рецензии на труды других ученых. Огромная работа. А большая часть ее еще не видела света. Соберу все, и еще одна книга готова. Что вы на это скажете?

— Идея недурна.

— Только одно грызет… Моя первая кандидатская… Так и бросил, не защитил.

— «Колонизаторская политика царского правительства в Казахстане в начале XX века». Она?

— Да.

— Этот орешек разгрызть не просто…

— Был бы топор хорош, так и войлочный кол вобьешь. Не в теме загвоздка, а как подать.

— Ты прав. Ведь сам говорил, работа отличная.

Жаль только, света не увидела.

— Сейчас я проглядел ее. Конечно, в таком виде куда ее понесешь… Слишком уж вольно я размахнулся. Факты, документы — все верно, все точно. Но выводы — сомнительны… Не сомнительны даже, а как-то легковесны… Жаль, что там говорить. А так бы получился труд увесистый, листов на тридцать.

— А готового что есть?

— Листов двенадцать-тринадцать. Статьи, рецензии…

— Маловато… А может, подправишь, дотянешь?

— Чем дотягивать — проще за новую тему взяться. Правду говорят: не зная, и яд за бальзам примешь… В каких-то местах у меня даже мороз по коже, — неужели я написал? Что значит молодость безрассудная.

— Если б листов тридцать, так и деньжат перепало б.

— «Помнишь ли юности дни?..»

— О чем ты?

— Абай. Мир праху его, знал старик, что к чему… «О боже, боже, где те годы?..»

— Я понимаю.

— Ничего ты не понимаешь. Молодость ты, мо-

лодость… В душе — простор, чистота. Все звенит в тебе, и дух твой бодр. Не в реальности живешь, которую пощупать можно, а паришь в каком-то странном, удивительном мире, который сам же ты и придумал. Впереди только радость и свет. Все манит, все интересно. Ты и Наполеон, ты и Бисмарк. «Сладок той ожиданием». В этом ожидании и мчится юность. Может, тебя и не той ждет вовсе, а поминки… Но это и в голову не приходит. Потому как — глуп. Тем и прекрасна молодость. Ну, а когда страсти улягутся и оглядишься вокруг себя…

— …плакать хочется.

— Именно плакать. Ко из-за чего тебе хочется плакать, я знаю. Забыть не можешь, как любить начинала. Твоя тоска по любовникам, узкобедрым, как верблюд, и с мощной верблюжьей грудью. Ну, а я…

— Ты испорчен до мозга костей. Несешь, что в голову взбредет, лучше на себя посмотри…

— А что смотреть?..

— Не таким уж чистеньким приплыл ты мне в руки. Ну, побывала я замужем, так ведь и ты успел жену бросить.

— Да заткнись ты…

— Только твоя жена — вонючая аульная баба, а

мой муж большим человеком был.

— Не забудь только, что моей жене было двадцать, а твоему мужу разочка в три больше — шестьдесят ровнехонько.

— Ну и что?.. Главное, человек какой.

— Да уж… В людях разбираться ты, конечно, мастак. Эрик, из-за которого ты мужа бросила, — ему восемнадцать-то было? Тоже ведь прекраснейший человек был? А? Если мне не изменяет память, этот достославный джигит обобрал кого-то в темном переулке и отправился за решетку?

— Ну и отправился… Ну и что? Я ведь за тебя пошла.

— Почему же не за Эрика, а за меня?

— Милый мой! Я ведь полюбила тебя.

— Ах, вот оно что… Полюбила, значит…

— Ну и ревнив ты. Кроме тебя, я никого не любила. Не веришь?..

— Ради бога, не лезь. В мои годы на этом не проведешь.

— Вечно ты себя старишь. Сорок четыре для мужчины…

— Для мужчины, конечно, самая пора женихаться. А для женщины?

— Мне нет сорока. У меня самый бальзаковский возраст — тридцать пять.

— Тридцать пять тебе было шесть лет назад. Ну, допустим, тридцать пять. У нас, на востоке, тридцать пять — это старуха.

— Прогнивший, дикий восток.

— Пусть дикий. Но у этого древнего дикого востока был хороший обычай: жена не перечила мужу.

— Прости меня, ты весь горишь. Я помешала тебе… Ты говорил о том…

— Забыл.

— Ты говорил, что плакать хочется, когда вспоминаешь юность.

— Да. Хочу плакать. Но не от тоски по минувшему, а от жалости к себе…

— И напрасно. Ты добился всего, о чем мечтал.

— А может, не добился?

— Не говори глупостей. Ты и академиком станешь. Впереди еще вон сколько, дорога длинная. Эти старики, из которых песок сыплется, думаешь, долго они протянут? Пока-то, конечно, первое слово за ними. Делать ничего не делают, только бока отлеживают, а каждый месяц восемьсот-девятьсот, а то и всю тысчонку получите, пожалуйста…

— В голове твоей, кроме денег, есть что-нибудь? Для тебя вся жизнь, весь смак ее — добыть копей-

ку, одеться и пожрать.

— Думаешь, я мещанка? Вечно тебе надо меня унизить…

— Ну, допустим… Так чего же я должен хотеть, о чем мне мечтать прикажете?

— Брось эту труху бумажную, ее уже и мыши не нюхают. Ты вкус жизни забыл, да и куда тебе… не знал ты его. Долби не долби — не поймешь.

— Ну-ка! Ну-ка!

— Это кто сказал: «Жить надо так, чтобы, когда умирать будешь, ни о чем не жалеть»?

— Прошу извинения, нечто подобное, начиная с древних эллинов, говорили многие.

— Не важно, кто сказал. Важно, что знал этот человек толк в жизни. Надо успеть взять от времени все. Все, все, что оно дать может. Так и надо жить, если ты человек современный.

— Все правильно. Кино, театры, рестораны… Курорты, санатории… Ты всего попробовала. А чего еще желать современной женщине?

— Хороший дом, современно обставленный… Дача, машина… Много чего.

— Все имеешь… Что еще надо?!

— Мой милый! Я хочу защититься.

— Ах, вот о чем речь…

— Да… Такого случая давно не было. А сегодня

вдруг и так кстати… Жена Бикали, ну тот, что на твоей кафедре…

— Что Бикали женат, я знаю.

— Да не перебивай… Муж младшей сестренки этой Канышми как раз лингвист, французским занимается…

— Ну и что?

— Сегодня в гастрономе ее встретила, слово за слово, и всплыло. У меня так и заныло все внутри. Знать бы раньше…

— И что бы ты сделала?

— Как что сделала? Ведь самое трудное — минимум по языку. Его сдать, остальное — ерунда.

— Допустим, все сделано. А дальше?

— Дальше — диссертация.

— И какую же тему вы намерены выбрать?

— Да все равно.

— А писать кто будет?

— Что значит — кто? Думаешь, все, кто защищает, — Америку открывают? Надергают из разных книг, с чужих диссертаций перекатают… Да и ты на что? Этот несчастный кандидатишка Бикали, который каждому в рот смотрит, и тот дал жене защититься. Все говорят, он ей диссертацию сделал. Ведь такую бестолочь поискать только, — спроси у нее, где нос, она на рот покажет.

— Значит, по-твоему, все бестолочи должны стать кандидатами?

— Тебе мало меня унизить, тебе надо меня оскорбить. Нашел себе рабу и отпустить боится. А ведь бестолочь ты, а не я. Стану кандидатом — тебе что, от этого хуже будет? Несчастная сотня, которую я из себя выжимаю в бесконечной возне с детьми, в грязных дрязгах с директором, с завучем и бог знает еще с кем, — плохо будет, если завтра вместо одной сотни три будет? Стоит задуматься.

— В этих пустых стенах, где только эхо от наших с тобой голосов гуляет, для нас двоих денег достаточно. Разве что из сторублевок платья тебе кроить…

— Да в деньгах одних разве дело? А почет? А имя? Вот ты — профессор. Кому плохо будет, если жена твоя — доцент? «Семья, где каждый — ученый» — плохо звучит?

— Разве в том дело, что говорить будут?

— А как же? Ты для чего работаешь? Для чего исписал эту прорву бумаги?

— Для чего же, интересно бы знать?

— Ради славы. Удачи ради. Успеха. Карьеры. А уж после ради того, чтоб жилось хорошо.

— Может, бросишь эту дудку и уберешься от-

сюда?

— А-а… Как против шерстки, так на дыбы? Ты же других за людей не считаешь! Думаешь, я слепая? Не вижу? Кому другому, а мне можешь очки не втирать. «Прогресс науки», «благо народа» — так я и поверила, что ты ради этого спину гнешь! Уж кто-кто, а ты-то живешь единого хлеба ради. И не строй из себя ни ученого, ни святого. Ты — торгаш, и наука — твой товар. Чем колотить себя в грудь: «я — доктор», «я — профессор», лучше б жене помог. Нужна твоя ученость, когда от тебя как и от мужика-то проку чуть.

— Вон, старая кобыла… Мало жеребцов, под которыми ты гнулась… Дурь твою не вытоптали…

Но даже после того, как Гульжихан в слезах, то ли и вправду искренних, то ли фальшивых, вся подобравшись, тихо исчезла, Бексеит еще долго не мог прийти в себя. Он мерил шагами огромный, прекрасно обставленный кабинет, стены которого были в полках, забитых книгами, а все пространство у окна занимал великолепный письменный стол, и в голове его царил содом. Он гнал от себя мысли, выплеснутые гневом, который кипел в нем. Он жаждал унять этот гнев… «Нервы, все нервы, надо беречь себя», — и перебирал длинные четки (тончайшая резьба

по красному дереву), которые в последние годы всегда были в кармане.

Как ни заставлял он себя думать о чем угодно, лишь бы не о том, что произошло сейчас, Гульжихан не желала покидать его мысли. До чего бесстыдна! Чтобы женщина — и такова! Как была она прелестна, когда он увидел ее впервые. В ее движениях, в походке, в том, как она обращалась к собеседнику, в самих словах ее, даже в том, как она пила и ела, угадывалось, что она из хорошего дома, что выросла среди людей порядочных и достойных. А теперь вон что повылезло…

Бексеит никогда не жалел о том, что связал свою жизнь с ней. Она была дорога ему. В пору, когда не на кого было опереться — ни родных, ни близких, — она сделала немало, чтобы он обрел новую родню и новые знакомства, и даже в том, что он достиг, в его должностях и званиях, в почете, которым он теперь окружен, — немалая доля ее труда. С ней он всегда ощущал себя главой дома, но мелочами она не донимала его. Быт не касался его, а между тем он все получал готовеньким и все в доме сияло. Как пастух нюхом угадывает перемену погоды, так она по одному только движению бровей угадывала настроение мужа и поступала в соответствии с

его переменчивостью. Но самое главное… Самое главное — Гульжихан открыла ему, что есть жена, что такое истинно современная женщина… И все же, супружеская требовательность Гульжихан к мужу в последнее время стала для Бексеита утомительна. Пользуясь любым случаем, он отправлялся на неделю-две в командировку, уверяя, что какой-нибудь периферийный институт зовет прочитать лекцию-другую, а то и целый курс, или на полтора-два месяца отбывал в Москву или Ленинград — опять науки ради. А приехав, обновленный, с пылкостью и энергией молодожена отправлял свои супружеские обязанности. Нет, Бексеит не жалел о том, что все сложилось, как сложилось. Гульжихан умела все. Не получилось лишь одно…

В последнее время — как ни глушил он это в себе, как ни пытался забыться, — в последнее время этот трехлетний мальчишка с тощенькой шейкой и ножками хомутом стоял перед ним — никуда не деться. Даже неизменные сопли под носом придавали ему только прелести. Секен-Секиман-Секитай-Сейтжан… Сейтжан Бексеит-улы Атаханов! Студент третьего курса МГУ, будущий ученый-востоковед Сейтжан Бексеит-улы… Впрочем, подобно тысячам отвергнутых абитури-

ентов, может быть, вернулся домой и он?.. Может быть, уже давно, давным-давно… Ведь здоровье у него было никудышное…

В дверь постучали:

— Господин профессор!

Четки замерли в руках Бексеита, и он остался стоять у окна как стоял. Даже не обернулся. Дверь тихонько отворилась:

— Бексеит!

На этот раз он обернулся, чтобы еще ей выдать, но, увидев Гульжихан, возникшую на пороге легко и просто, будто и не было ни обид, ни крика, сдержался.

— Мой всемилостивейший повелитель, обед на столе.

Он рассмеялся. Рассмеялся невольно. Над бесстыдством жены. Над своим бессилием.

— Нам нельзя ссориться, — улыбнулась Гульжихан. — Мы должны приноравливаться друг к другу.

«Поди угадай, куда тебя поведет», — подумал Бексеит.

— «Человек человеку волк» — это какой мудрец сказал?

— Бартольд не отрицал.

— Помню, помню, этот самый Бартольд говорил

еще, что вокруг каждого — кольцо недругов...

— Ну и что?

— Вот ты — ученый. Ты — высокая душа, которой ни до чего дела нет, кроме науки.

«К чему бы это?» — в Бексеите снова закипала ярость.

— Ученый — это птаха неоперившаяся. О нем заботиться надо. Больше всего ему нужна женщина, самозабвенная, любящая, понимающая его душу.

— Вроде тебя?

— У женщины волос длинен, а ум короток. Что делать, может, не всегда хватает мне ума угадать твои желания, но душа моя чиста. Я тебе верная, преданная жена, и ты постарайся быть мне хорошим мужем.

«Что я стараюсь быть тебе хорошим мужем — сомнений нет, а уж верная ли ты жена — аллах ведает», — подумал Бексеит.

— Кто пожалеет нас, если мы друг друга жалеть не будем? Найди тулпара, у которого все копыта целы. Из тех, что живут на земле, у каждого — свой изъян и своя беда. Зачем мучить друг друга попусту?

«Если слова твои и правда от чистого сердца, так не мучь меня, исчезни отсюда — из этой ком-

наты, из этого дома. Насовсем. Навсегда. Чтобы ни следа, ни духа твоего не осталось возле меня», — взмолился Бексеит. Но не вслух, а про себя.

— Для настоящего ученого жена, семья, дети — дело десятое, может, даже вовсе лишнее. Сколько великих ученых даже женщины не познало, а про семью и говорить нечего! Прожили как перст — одинешеньки. Твой главный долг — труд. Твоя первая обязанность на земле — открытия. И еще книги, великие книги.

«Змея, — подумал Бексеит, — куда пробралась. И все ползком, вьется, вьется, петля за петлей».

— Ты помнишь, еще давно, мы только с тобой познакомились, ты говорил: создать в науке что-нибудь стоящее можно, лишь поправ все житейское, отказавшись от радостей и забот.

— Не забыла? — произнес Бексеит.

«Только то, что я вытворял тогда, нравилось тебе куда больше моих слов», — подумал он.

— И не забуду, — подхватила Гульжихан. — Никогда не забуду!

«Да и как забыть? Если мужу твоему было под шестьдесят, а высокомудрому джигиту двадцать семь», — опять про себя подумал Бексеит.

— Как хорош ты был…

— И как силен! — подхватил Бексеит.

— Правда, правда, — согласилась Гульжихан. — Сила воли — огромная. И характер удивительно спокойный, а в лице столько дружелюбия.

«О боже, боже! Где те годы?.. Уплыли вдаль, вдали исчезли». Других строк Бексеит вспомнить не смог.

— Ты и сейчас хорош. — Гульжихан приблизилась и белыми, упругими руками обвила его полную шею, в которой уже ощущалась дряблость. — Только иногда между нами словно черная кошка пробежит… правда?

— Да.

— Обед уже остыл. Пойду подогрею. А ты сбрось этот пыльный халат. Вот свежий. Мой руки и — за стол.

Бексеит сложил бумаги, разбросанные по столу, подошел к другим. Собрал и эти. Вот еще одна стопка рассыпалась…

«Казахская историческая наука в послевоенный период».

«Социализм и равенство наций».

«Туркестано-Сибирская магистраль и ее роль в индустриализации Казахстана».

«Единение наций и коммунизм».

«Из истории профсоюзов в Караганде».

Сколько всего понаписано!

Вдруг взгляд его упал на листок, вырванный из школьной тетради. Посередине — контур детской ручонки с растопыренными пальцами. Когда в доме появилась Гульжихан, он сунул этот листок в первую попавшуюся рукопись.

«Это — Секитая рука».

«…ваша добрая и верная супруга Айгуль…»

Лучи достигшего зенита солнца сверлили голову, и, обливаясь потом, он сорвал рубаху, а на макушку натянул носовой платок, завязав на концах узелки. Прибавил шагу. Он шел на темный холм, у подножия которого густо краснела таволга. А за холмом, сказали ему, юрта, возле юрты с утра стоит грузовик. Повезет, успеешь добраться — грузовик подбросит тебя до райцентра. Но перевалам, выжженным солнцем, конца не было. Издалека поглядеть — спины белых-пребелых овец, сгрудились в загоне и трутся боками. Подошел ближе — холмы отползли друг от друга, будто кто растянул пружину, и распластались вдоль твоего пути. Меж холмами в огромных, причудливо вогнутых впадинах сереют лощины, поросшие кияком, иссеченные ручьями, берега которых в густом тальнике, а над тальником

устремленные вверх одинокие тополя. Прошел лощиной, и опять пологий подъем, и опять спуск, покойный и плавный. Нет конца твоему пути. Половины его не оставил ты за собой. Лишь начало открылось тебе, а степь широка и бескрайна. Отрешенно и горделиво распростерлась она, в величавом сознании собственных сил провожая века за веками. Гул от конских копыт прокатился по этим степным перекатам, — ни страха, ни поражений не знали гунны, в походах рождавшиеся, в походах гибнущие. Отогнала их степь далеко на запад. Прошел Чингисхан, возомнивший, что власть над всей земной твердью дарована ему богом Тенгри. Он вел за собой неисчислимое войско, в котором слились тюркско-монгольские племена. Прахом рассыпалась держава кипчаков, дерзнувшая думать, что под пятой у нее полмира, что незыблемы стены ее государственности и любая война принесет лишь победу. Мощным усилием собрав ослабевшие, разобщенные роды и подняв бело-синее знамя, здесь стал жить казахский народ. Он пас стада в сотни тысяч овец и растил лошадей десятками тысяч. Что росло здесь извечно, умножало себя, а чего не бывало здесь раньше, нарождалось, чтобы множиться дальше.

Всем богатством моего народа, которому в радость был каждый день, а жизнь дарована как счастье, была ты. Ты — степь! Веками отбивал он тебя от врага, неся ему смерть на стальном конце своего копья, и жилистые руки его гнулись под напором бессчетных полчищ, рвущихся со всех твоих краев. В этой бескрайней степи найдешь ли хоть пядь, где не пала б кровь моих отцов и слезы моих матерей? Любую твою пылинку готов целовать, земля моя!

Словно белой шалью затянутый облаком, померк свет солнца, и, будто только того и дождавшись, зашевелились верхушки трав — пронесся прохладный ветер. Бексеит пересек уже заросли таволги у подножия холма и, поднявшись по склону, опустился в мягкий густой ковыль. Он стянул с головы платок и вытер пот. Поостыв и чуть переведя дух, он повернулся на бок, подставив грудь ветру.

И почудилось: напоенная запахами красного емшана, белой полыни, седого ковыля, степная прохлада доносит таинственный, неизведанный, не обнимаемый разумом аромат иного, далекого мира, где живут, не зная ни суеты, ни забот, могучие джигиты, в жилах которых играет огонь, и девы, прекрасные, как солнце. Там вечный

праздник и вечные игрища. Там девам всегда восемнадцать, а джигитам — по двадцать пять. Ни души там не вянут, ни тела, пребывая в нескончаемом блаженстве любви, благоухание которой дано им вкушать вечно.

Где он, тот край?

Отзовись!

А-а-а-а-а!

Восторг вырвался из груди, и Бексеит сам не заметил, как закричал. «Дурак! — улыбнулся он сам себе. — Тебе уже двадцать три. Думаешь, сделаешься ученым, перевернешь мир? А ты дурак дураком, вопишь как маленький посреди безлюдной степи».

В верхушках таволги быстро пробежал ветер. Бексеит поднял голову, отбросил волосы, упавшие на глаза. Вздрогнул. Прямо перед ним, шагах в пяти, стояла девушка с тяжелым мешком за спиной.

— Кто ты? — голос его вдруг осел.

Девушка едва улыбнулась.

— Что ты тут делаешь?

— Кизяк собирала, а вы позвали…

— А-а, — протянул Бексеит.

Она все стояла, чуть подавшись вперед и улыбаясь все той же едва заметной улыбкой.

— Поди сюда, — Бексеит уже пришел в себя. — Брось свой мешок. Отдохни.

А она стояла, не в силах отвести удивленно раскрытых глаз от его прокаленной на солнце темноволосой груди, от шапки его кудрей в золотистом отблеске тугих завитков.

— Ты что, из-под земли явилась?

— Нет, — она улыбнулась. И, видно, комар укусил, потерла ноги одну о другую. Ее старенькие парусиновые туфли со сбитыми каблуками и отстающей подметкой едва держались на обветренных, исцарапанных и потрескавшихся смуглых ногах.

— Так откуда ж ты взялась?

— Да из колхоза «Жанатурмыс». Тут рядом. Мама у меня умерла, и с этой зимы я у дяди. Его Тлеужан зовут.

— Значит, у нас одна беда. Мне тоже нужна юрта этого самого Тлеужана, и у меня тоже недавно умерла мать.

— Да благословит ее бог, — промолвила девушка.

Бексеит поблагодарил кивком.

— Хороший она была человек… — Девушка заговорила Степенно, тоном старшего, пожелавшего разделить твою печаль. — Все глядела на

вашу карточку и просила бога помочь ее единственному. И плакала. Когда уж совсем плохо сделалось, попросила послать телеграмму. Два раза посылали. Так ждала, так тосковала…

— Некогда было. — Бексеит нахмурился. — Только до Москвы добрался, засел в архиве, материал попался необыкновенный… Тебе сколько лет? — пожелал он переменить тему.

— Семнадцать осенью будет.

— Да брось ты свой кизяк. Я что, унесу его? Посиди отдохни.

Девушка переступила с ноги на ногу и опустила на землю мешок. Но сесть — не садилась.

Оттого, что теперь не гнулась она под тяжестью мешка, видно стало, как высока она и стройна. Ситцевое выгоревшее платьишко, истончившееся от частых стирок, обтягивало ее тело, и, чем сильнее дул ветер, тем явственней проступали его очертания. Точно крохотный тостаган, из которого малыши тянут свой айран, остро и прямо выпирали упругие груди, и тоненьким четким прутиком трепетала ее талия. Когда взгляд Бексеита добрался до плотных, округлых бедер девушки и обхватил ее стан, совершенства которого еще не коснулось время, туман заволок его глаза и мозг. «Зачем она здесь? Говорит, что звал.

Разве я звал ее? И не думал звать. Сама пришла. А зачем приходить девчонке к парню, который бог знает почему валяется в степи? Да и знать она его не знает… Чего она здесь потеряла?» Словно холодом обдало — он задрожал всем телом.

— Иди сюда… смугляночка… Иди, иди!.. Присаживайся! — он трижды перевел дух, пока произнес это. Во рту пересохло. Он проглотил слюну.

Девушка не двигалась. Она замерла изумленно и робко.

Бексеит не стал дожидаться, когда она сама приблизится к нему.

И ошибся. Сопротивлялась она отчаянно, напрягшись, будто сжатая пружина. Как в железные тиски схватила она его руки и не отпускала. Они долго боролись, пока, изнемогши, не почувствовал он вдруг, что она ослабела. В то же мгновение она испуганно взметнулась всем телом, но поздно — навалившаяся тяжесть не давала шелохнуться. Словно ягненок косули, схваченный волком, она вскрикнула раз — и все…

Опустошенный и легкий Бексеит долго лежал возле девушки. Резкими порывами пробегал прохладный ветер. Суматошно сновали бело-розовые бабочки. Где-то верещал сурок. По белым облакам

пролегли темные полосы. Высоко в небе — три короткие черточки: это птицы высматривали с неба земную добычу. Все при этих птицах — и когти, и сильный клюв, и крылья широки в размахе, и сами они крупны. Но это не беркуты, а кушегены. Их корм, их добыча — мыши и падаль… Вдруг один из кушегенов стал падать прямо на них. Снизившись, он описал два-три круга и повис, словно удивляясь, зачем здесь эти двое. Едва шевеля крыльями, он парил, уставившись, казалось, в одну эту точку. И вслед за ним Бексеит невольно перевел взгляд на девушку. Но она была все так же недвижна. Даже подол не одернула. Лишь отвернулась. Плачет, догадался он.

Но и когда поднялась, слезы все падали сами собой, будто не ее эти слезы. Как быть? Бексеит вовсе пал духом.

— Машина, которая должна к вам прийти, там еще? — Ничего другого он придумать не мог.

— Шофер сказал, после обеда погрузит овец и поедет, — она произнесла это очень тихо, едва шевеля губами, но в голосе не было слез. — В Алма-Ату? — спросила она немного погодя.

— Да…

«За полдень уже перевалило, не опоздать бы», — подумал он.

Девушка впервые взглянула на Бексеита в упор. Глаза ее были как две влажные ягоды. Она была сейчас совсем другой. Раскрывшаяся чистая душа… Словно молодая степная трава омытая дождем.

Он обнял ее и с жаром поцеловал. Ее нежные губы пылали, а горящие щеки были мягки, как тонкий шелк. Словно током пронзило его. Она не стала сопротивляться, но и страсти в ней не было. Так — безразлична.

— Ведь не вернетесь, — сказала она потом.

— Вернусь. Вернусь к тебе, — произнес он первое, что пришло в голову.

— Прошлый год весь за матерью ходила, в школе отстала, — она глядела мимо него. — Если в интернат возьмут, опять пойду учиться…

— Десятый кончишь — заберу тебя, — пообещал Бексеит, лишь бы сказать что-нибудь.

— Еще два года ждать.

— Пошли, а то машина уйдет, — сказал он.

Она сделала было несколько шагов, но, обогнав его, остановилась.

— Не надо смотреть так, — она обернулась. — Неловко мне. Ступайте, я после приду… Вон и мешок забыла.

Он припустил с такой прытью, что последние

слова девушки уже не достигли его слуха.

Шофер, знакомый малый, из одной с Бексеитом школы, только на четыре класса старше, сменив лопнувшее колесо, уже убирал свое хозяйство. Место в кабине было, и он согласился подбросить Бексеита. Расспрашивая про Алма-Ату, сказал, что в прошлом году страсть как намучился, гоняя машину на ремонт в Тургень, зато выкроил время и разочка три смотался в Алма-Ату.

— Отменное местечко — о чем еще мечтать, — и даже причмокнул, — молодец, что в столице осел, и что в науку подался — тоже молодец, только, слышно, дна мудрости еще никто не достиг, — думаешь, тебе добраться? Лучше б шанырак свой поднял — рухнула крыша, как не стало матери; пусть над домом дымок вьется, жену бы взял, а то людям в глаза смотреть стыдно. Ты ж обрусел совсем и знать не знаешь, что мы с тобой родственники в седьмом колене, ты — Ерсары, а я — Кулсары, и оба мы — от Естербек-батыра, мир праху его святому, по всему Среднему жузу знаменитый был человек, а ты, сопляк, брата своего старшего не признаешь, плеть по тебе плачет, а от благословенного пращура нашего Естербек-батыра, да святится имя его, байбише принесла пятерых сыновей, прапрапрадед твой

Ерсары — самый младший из них, стало быть, последняя ветвь главного в нашем роду дома — ты, ты один. И запомни мои слова: приедешь в Алма-Ату, женись, не дай исчезнуть дымку над батыровым шанырaком, пусть потомкам славного рода не придется опускать из-за тебя глаза.

Все это он выпалил на ходу, ни на секунду не замолкая, его руки заправляли машину, заливали бензин и воду, протирали капот и стекла. Когда наконец все было готово и он велел садиться, из полуразвалившейся трехкрылой юрты, похожей больше на шалаш, послышались визг и вопли.

— Ойбай-ай, распутница несчастная! Еще не выросла, а отца родного сожрала, мать, что грудью тебя вскормила, живьем поглотила. Теперь до нас добралась, сука проклятая! Ты где целый день шлялась? Куда кизяк подевала? Ойбай-ай, ойбай! Как я теперь в глаза посмотрю людям, овца блудливая!

Чем-то громыхнули, и девушка в красном ситцевом платьишке с разодранным подолом выскочила из юрты. Пущенный вслед деревянный ковшик пронесся над ее головой и ударился о борт грузовика. Девушка подлетела к Бексеиту, который уже лез в кабину.

— Вернись только — все космы повыдираю, —

неслось из прокопченной развалюхи, — и морду располосую, стерва проклятая! Голова моя разнесчастная, и за что на нее такая беда? Кому эта голь нужна? Кто посватается за нее, сучку эту, ойбай-ай!..

— Ага… — Голос девушки дрожал, и она вот-вот разрыдалась бы. — Ага, не кончать мне школу, увезите меня отсюда!

— И увезем! — Шофер вывалился из кабины и разом обнял и Бексеита и девушку. — Пусть я буду твоей жертвой, господи!.. Увезем ее! Вот сейчас и увезем! Только что я этому нечестивцу про бабу толковал — услышали духи предков, дошла моя молитва! Нет, прапрапрадед наш Естербек не из простаков был и прапраправнуку его дураком не бывать. Не дурак, ой не дурак, вон какую красавицу отхватил. Минуты не простоим, прямым ходом ко мне — завьем свадебку!

Бексеит, оказавшийся меж двух огней, не знал, как и быть. И она тут со своей доверчивостью. И шофер бог знает что несет. Будто кто за глотку схватил — ни «да», ни «нет» он не мог из себя выдавить.

— Бексеит, голубь мой, да эта Айгуль чистое золото! — ликовал шофер, будто для себя увозил невесту. — Девчонку с такой душой поискать

только. Не то что в нашем «Жанатурмысе», а во всем районе, да что там в районе — во всей Карагандинской области, да и во всем Казахстане не сыщешь. А я-то все думал — это кому же такое счастье достанется? Слава тебе, аллах, не ушла далеко, в нашем роду останется. Иди ко мне, голубонька, расцелую тебя… — Громадными своими ручищами он облапил девушку и звонко чмокнул в щеку. — Родная ты моя, в лучший род ты идешь, аллахом отмеченный, пусть господь пошлет тебе счастье, пусть наградит тебя потомством!.. — восторгам его конца не было.

У Бексеита голова шла кругом. «Зовут Айгуль… Школу, говорит, кончать не буду… Учиться не хочет… Айгуль…»

— Тетка Ойбай! Тетка Ойбай! — не смолкал шоферский бас.

Из дверей высунулась всклокоченная голова, и на пороге возникла пожилая, костлявая, с лицом серым, как земля, Тлеужанова жена, которую за крикливость иначе как теткой Ойбай и не звали.

— Тетка Ойбай! Увозим мы твою Айгуль, недолго была ты ей вместо матери… благослови ее!

— Господь ты мой, что эта балаболка несет! — Путаясь в подоле замызганного платья, тетка Ойбай неслась к машине. — Ты что тут намолол?

— Увозим, говорю, твою Айгуль. Благослови, а после уж готовь приданое.

— Где это слыхано, чтоб сироте приданое? — заполыхала тетка Ойбай.

— Из этой парочки коров одна — чья? И два крыла у этой юрты, два переплета новехонькие — чьи будут? — Похоже, шофер разозлился всерьез. — Не сори тут словами, тетка, кузов пустой, погрузим — и все дела.

— Вы что, и правда забираете ее? — Пыл тетки Ойбай тут же угас, и она переводила взгляд с Бексеита на шофера.

Бексеит уже пришел в себя. «Вы тут над Айгуль измываетесь, мы и хотели припугнуть вас, так, смеха ради», — хотел он сказать, но взгляд его пал на девушку.

И следа обиды не было сейчас в ее лице. Она сидела, не скрывая счастья и не сводя глаз с Бексеита. Часто дышала, а талия у нее тонкая, как у танцовщиц на старинных миниатюрах. В прорехе разодранного платья темнела нога, гладкая и округлая, как скала. На эту б молодую траву сейчас…

— Правда! Увозим! — Бексеит вздрогнул — так рявкнул его новоявленный родственник. — И что ты стоишь разиня рот? Камчу покрепче да по

заднице б тебя, чтоб треск стоял. Вали быстрей в юрту да овечку тащи!

— Шалунья ты моя, верить ли мне ушам своим? — запричитала тетка Ойбай и повисла на Айгуль. — На кого же ты нас оставляешь? Тетку свою и дядю родного… Не послал нам господь детей… От тоски иссохли… и-и… куда уносит тебя, тонконогий ты наш жеребеночек?..

— Ишь, как складно запела, пустая твоя голова, — шофер сплюнул со смаком.

— Уйду, ничего мне не надо, — сказала Айгуль.

— Не отпущу, ойбай, не отпущу! — Поняв, что добру и скоту ничего не грозит, тетка Ойбай мигом пришла в себя, и слезы ее иссохли.

— То есть как это не отпустишь? — на этот раз шофер и впрямь разозлился. — Тебе что, зятек не по душе? Всю людскую премудрость постиг, до самого донышка, в Алма-Ате живет — вон куда забрался — рукой не достанешь… Лучше зятька не сыскать! Может, думаешь, в дурную семью идет? Раньше бай — так и он был вовек бай, батыр так батыр, а теперь у нас и шофера тебе, и доктора, ученый, так он уж учен — куда там, а не выучился, так и без ученья до всего дошел, все постиг. Радовалась бы лучше, что в такой род девку отдаешь.

— Ой, не пущу, ойбай, не пущу! — пуще прежнего заголосила тетка Ойбай. — Одним домом живем, одной семьей тянемся! Кто корову подоит и кизяк соберет? Ойбай-ай! Кому овечек наших сторожить по ночам? Не пущу, ойбай, не пущу!

— А ты зачем? Сама дои, сама сторожи, сама кизяк собирай! Мало детским трудом попользовалась? У нас, милая, эксплуатация человека человеком еще когда уничтожена! Хочешь старые порядки вернуть? А что преступлением все это попахивает — соображаешь? Молчишь. Стало быть, понимаешь! Стало быть, на преступление шла сознательно… А такого мы не допустим — ни сейчас, ни впредь… Залезай, Айгуль, в кабину, поехали, голубонька моя!

— Ойбай! Несовершеннолетнюю насильно увозят, ойбай…

— Хватит горло драть. В Советской стране каждый, кто достиг шестнадцати, имеет право на труд, на ученье, на отдых и еще право любить и быть любимым. В Конституции записано. А ты что, против? Признавайся — против закона? Мне только мигни — я б живо тобой занялся…

Все доводы тетки Ойбай были сокрушены, и она стала стихать.

— Хоть бы дядю дождались. Вернется с овца-

ми — обида какая, до гроба! Без его-то благословения…

Но это была уже беспомощная увертка.

— С ним я поговорю уже в другой раз, а сегодня времени нет. На тебя убил сколько… Хватит! — Шофер уже заводил мотор. — Бексеит-свет, да ты что, от жениной родни оторваться не можешь? Давай залезай с невестой рядышком. Вот так, мой милый, и живи с ней до седых волос! Брату твоему непутевому ничего для тебя не жалко… Айт, а-у-у-у, животинка моя!..

Старенький грузовичок, в кабину которого втиснулись трое, а в кузове среди всякого дребезжащего хлама покойно лежала стреноженная темная овца, изрытая сизый дым, натужно ревя и подминая густую траву, несся на полной скорости через степь к большаку.

В Алма-Ате было лето. Самая знойная пора. Одиноко повисло в безоблачном, белесо-голубом небе солнце. Оно стояло в зените, но его прямые лучи не достигали, казалось, земли. Как стрелы ровные улицы города, защищенные многоярусной кроной старых широколистных дубов и стройных, стремящихся ввысь тополей, хранили в себе легкую прохладу. Зеленый тоннель прорезали тротуары, бесконечно тянущиеся вдаль, а в ма-

леньких арыках, выложенных плитами из камня и густо обсаженных зеленью, чисто журчала вода. Громады многоэтажных домов, прижатых друг к другу, серый асфальт, омываемый чистой водой из плавно скользящих машин, пестрая толпа, разномастный народ — все ошеломляло Айгуль. Это был тот самый таинственный мир, который и называют — рай.

В поселке Горный гигант они сняли комнатенку с отдельным ходом. Хозяин оставил им железную кровать, грубо сколоченный стол и стул с поломанной спинкой. Айгуль тут же окунулась в хозяйство. Взяв Бексеита в советники, она в тот же день купила всего по паре: две простыни, две алюминиевых тарелки, два граненых стакана, две ложки и еще поварешку и нож. Это было целое состояние, и они были счастливы. А больше — зачем?

В распахнутое окно льется ночная прохлада, напоенная запахом яблок. Совсем рядом, над головой, шумят тополя. Издалека доносится приглушенный расстоянием шум горной реки, срывающейся с кручи и гулко несущейся по каменистому руслу. Со стороны вокзала — пронзительные гудки паровоза. Где-то брехнет собака, ей откликнется другая. Но молодые люди ничего

не слышат, кроме себя.

Девичье тело словно отлито из бронзы. И каждый день шлифует его все тоньше. Ни глазу, ни душе не насытиться. Коснись его — и ни власти над собой, ни памяти. Свет полночной луны сочится в комнату, обволакивает их белым маревом, и они пробуждаются, чтобы снова ласкать друг друга. И не понять, кто просыпается первым — откроет глаза один, а на него уже смотрит другой, и снова их бросает в жаркую бездну.

Пусть будет так каждую ночь, и каждую ночь бессчетно, ибо есть ли, о господи, в подвластном тебе мире что-либо прекрасней и выше, чем она — в восемнадцать и он — в двадцать пять?!

Днем они бродили по городу — в кино заглянут, зайдут на зеленый базар, гудящий словно пчелиный рой. Купят мяса, помидоров, ягод — всего понемногу, и опять домой. Изредка занесет их в большой магазин, что-нибудь купить для Айгуль. Купят по дешевке, а ей все хорошо.

Пройдя яблоневым садом, они перебирались по камням через неглубокую, но очень холодную речушку, которая мчалась, пенясь и ревя, и уходили к подножию горы. Глядят на город северные, круто обрывающиеся склоны невысоких тугих предгорий, а южные иссечены квадратами

редко посаженной ели. Кажется, что это курганы, в которых под слоем земли и песка погребены стены и башни древних крепостей, павших в незапамятные времена.

Ни шум машин, ни людские голоса не долетают сюда. Ни единого признака жизни вокруг. Лишь ошеломляющая тишина.

Они отыщут место, куда и ветер не залетит, и трава мягкая, и вытащат снедь, которую прихватили с собой. Ломоть черного хлеба, пара яиц и остывший чай — вот и вся трапеза. А потом, обнявшись, растянутся на солнце.

В одну из таких блаженных минут Айгуль испуганно вскрикнула и, вскочив, мгновенно натянула платье. Бексеит решил, что ее змея укусила, но, не отрывая глаз от соседнего склона, она лишь мотала головой.

То было забытое казахское кладбище, которое не всякий и заметил бы, — высокая трава и колючий кустарник скрыли его от праздного взора. Кое-где еще можно было различить бугорки могил, остальные ушли в землю, и в глубоких провалах лишь доски торчат, потемневшие от солнца и дождей. В сплетении травы и колючек, надежно укрывших одно из надгробий, Бексеит поймал тусклый блеск серебряного полумеся-

ца — редкой красоты старинная инкрустация, а на камне — арабская вязь. Попытался прочесть, но письмо было древнее и многие буквы стерты. «Бисмилла Ир-рахман, ир-рахим...» — только и мог он разобрать.

— Великолепное кладбище... — Он вернулся к Айгуль, которая так и не двинулась с места. — Как раз для историка. Когда умру, вели похоронить меня здесь.

— Пойдем отсюда.

Бексеит обнял ее, и они еще постояли.

— Господи! Красота-то какая! — Он полной грудью набрал воздуха. — Я не о кладбище, выбрось его из головы. Простор какой!

У самого подножия горы берет свое начало речка Весновка. Как ни силился Бексеит вспомнить ее старое название — не смог. Извиваясь узкой голубой лентой, река прорезает яблоневые сады и, струясь в россыпи камней иссохшего русла, исчезает в тесном ущелье. Вдали, там, где кончаются сады, зеленеет небольшой тугай, в просветах высоких тополей мелькают низкие крыши редко разбросанных домов. Когда-то здесь стоял Алмалык, древний казахский город, от которого не осталось и следа, а сейчас здесь Горный гигант, в котором они снимают комнату.

Еще дальше плоской желтой равниной, утопающей в дымке, плавно спускается пологий северный склон, а в голубой чаше, по краям которой клубится туман, покоится Алма-Ата. Белым пятном выступают здания повыше — опера и почтамт, — а весь город тонет в густой зелени, в ее сердцевине еще различимы строгие ровные просеки, а дальше — сплошная зеленая стена.

— Хорошо как! — промолвила Айгуль.

— Да, великолепно! — Бексеит хлопнул ее по спине. — Чудо просто. Под тобой — красавец город, над тобой — огромные горы, а посреди — древнее погребение, забытое людьми и богом. Да я готов хоть сейчас распроститься с белым светом, лишь бы меня здесь закопали. Не вру, ей-богу… Слышишь, черномазенькая моя! Умру — похорони только здесь.

— Ну что ты болтаешь! — Айгуль вздрогнула всем телом. — Несешь что ни попадя. Тревожим покой мертвых… Зачем? Пойдем отсюда. Скорей…

Зеленые сопки — как стадо слонов. Бегут друг за другом, и все в Алатау. Взобрался — спустился, взобрался — спустился. И снова — подъем, но покруче, и опять перевал, но повыше. Дальше и дальше, выше и выше.

Вздумалось как-то Айгуль дойти до снегов. Отговорить ее Бексеит не смог, и они пустились в путь. Но сколько ни шли, горные снега Алатау не приближались к ним ни на шаг. То сверкая на солнце, то скрываясь в голубом мареве, снега оставались недвижны в своей вышине. Когда они достигли елей, терпение Бексеита иссякло. Айгуль, не противясь, повернула обратно. Спускались долго. Вдруг Айгуль, враз обессилев, переломилась в поясе и опустилась на землю. И лишь тут до Бексеита дошло, что они ждут ребенка.

Изнемогая от усталости и жажды — язык не вмещался во рту, — они в сумерках подошли к дому.

На что жить? От денег, что он выручил за семь овец и корову — наследство матери, остались гроши, которых хватит от силы недели на три. С голубых небес Бексеит спустился на серую землю и уж тут мигом сообразил, что лето прошло впустую, работа не продвинулась ни на йоту. И от Махмета Алиханова, своего научного руководителя, он вернулся темнее тучи.

Наутро вскочил чуть свет, портфель под мышку и — в архив.

Для Айгуль потянулись одинокие, тусклые

дни. Бексеит уходил спозаранку и возвращался затемно, едва волоча ноги. Наскоро перекусив, перебирал и раскладывал крохотные, с язычок, сплошь исписанные бумажки, некоторые переписывал вновь, подклеивал к другим, опять тасовал, некоторые клочки еще разрезал надвое, натрое, нумеровал и складывал в маленький чемодан. «Гляди, чтоб ничего не потерялось, — говорил он Айгуль, — а то все мои труды кошке под хвост и мне — конец». И кому мог понадобиться этот облезлый, набитый рваной бумагой чемоданишко, который затолкали под ржавую кровать? Но Айгуль ревностно выполняла наказ мужа и в страхе за чемодан по нескольку раз на день лезла под кровать — проверить, на месте ли он.

От Бексеита теперь слова лишнего не услышишь. Едва коснулся постели — и уже храпит себе. Не разбудишь. А чуть начнет светать, он уже на ногах — и опять в архив.

Аспирантская стипендия — шестьсот восемьдесят рублей по-старому. На руки шестьсот двадцать один рубль двадцать копеек. Двести пятьдесят рублей — за квартиру. Остается триста семьдесят один рубль двадцать копеек. Каждый день не меньше семи рублей дай Бексеиту на обед. За уголь и дрова плати, за воду плати, а сколько еще

всяких мелких расходов. Хорошо, если у Айгуль останется хоть десятая часть. Но удивительно, раньше Бексеит комнату не снимал, жил в общежитии, стипендия уходила на себя одного — и все равно не хватало, а теперь и то надо, и другое, делишь эти гроши, перекраиваешь, а укладывается. И хоть бы раз пожаловалась, что жить не на что. Утром встанет чуть свет, он еще спит — готовит завтрак. Вечером пришел — суп и чай наверняка тебя ждут. Наступили холода — уголь привезен, сухие дрова на растопку сложены в поленницу. Как все это достается, на какие деньги — Бексеиту и в голову не приходит спросить. Ну, а Айгуль не скажет ему, что на осень нанялась в колхоз снимать яблоки, да и от всякой мелкой работы не отказывается. Не заметит Бексеит, что в другой раз сама недоест — ему оставит. И знать не знал, что побывала она в городе не раз и не два, все надеялась, возьмут, может, на швейную фабрику, может, на трикотажную. Только ничего из этого не вышло — живот уже не скроешь, да к тому ж на руках ни паспорта, ни прописки. В ауле паспорт не нужен, а в городе — какая без паспорта жизнь? Так что молчи себе, помалкивай.

Да и не до мелочей Бексеиту. Он с головой ушел в полуистлевшие тома, на ветхих страницах

которых — судьбы тысяч людей и десятков столетий. Здесь умыслы и деяния, до которых ни одна живая душа не дозналась, и мысль, что такое случалось, ни в чью голову забрести не могла — ни сейчас, ни тогда. Перевернешь сотни страниц, исписанных разными чернилами и разной рукой, потратишь недели и месяцы — все тщетно. Что ждешь — не находишь, а найдешь, так — мелочь, пустяк, пыль. Но будешь копить пустяк к пустяку, пылинка к пылинке, по крошке, по капле, и тогда быть может, а может и вовсе не быть, не свершится тот миг озарения, когда приоткроется глухая даль времен и просочится оттуда свет, неведомый ни нам, ни пращурам нашим.

Для того, кто отдал себя познанию, есть ли мгновения счастливей и выше?

Это была страсть, и она поглотила его. В Корее шла война; зашевелились милитаристы в Западной Германии; испытывалось атомное оружие; перевооружалась Япония, но Бексеит был глух не только к далекому миру, но даже к тем, кто жил рядом. Он мог не узнать знакомого, а узнает — пройдет и не оглянется. На свете существовала только его диссертация. Поэтому, когда однажды — уже таял снег и запахло весной — Бексеит вернулся домой позже обычного и навстречу

ему вышла хозяйка и попросила суюнши[38] за то, что Айгуль родила здорового мальчишку, он остолбенело уставился на нее, ибо эта новость показалась ему совершенно неожиданной.

Третьего жителя их комнатенки — крупноголового младенца — Бексеит воспринял как еще одну помеху работе. Малыш ревел ночи напролет. Сморщит личико в кулачок и орет на все лады, будто режут его на мелкие части. Изводимый этим беспрестанным плачем, одуревший от кошмаров, Бексеит, открывая глаза, неизменно видел одно: склонившись над столом, который был и коляской и кроватью, Айгуль баюкает сына. Убедившись, что жена ни при чем, а вся беда от этого горлодера, он давил в себе раздражение и пытался уснуть.

Работа в архиве уже подходила к концу. Теперь надо было отбирать, обобщать, писать. Материал накопился огромный. А где расположишься с ним? В читалке? Смешно… Нужен дом, где вольготно и тебе, и бумагам. А дома — рев. Но дни становились теплее, и эта беда рассосалась. После завтрака Айгуль завернет малыша — и в сад под яблони до обеда. Бродит с ним вокруг дома — то в

---

[38] Примечания: 38

Суюнши — подарок за радостную весть.

окошко заглянет, то в дверь. Если Бексеит пишет, она будет качать и баюкать — ори не ори. Но оторвется Бексеит от стола, особенно если время к обеду, она быстренько — в дверь, малыша — на кровать, а сама — готовить обед.

Сынишка — она назвала его Сейтжан, чтобы похоже на Бексеит, — не радовал красотой. Огромная голова, тонкая шея — с волосок, и тонкие ножки хомутом. Он не был кареглазым и светлокожим, как отец, и не отличался смуглотой матери. Он был круглолиц и горбонос, а глаза, как черемуха, черные. «В кого он такой?» — Бексеиту прикоснуться к нему было противно, а малыш уже ползал и лез — не отстанет. Но если Сейтжан и отличался от другой малышни, так лишь тем, что был хил. А так ребенок как ребенок. И в чью породу пошел, Бексеит тоже знал. Его отец Турдыбек был горбонос, с острым взглядом черных глаз. Люди говорили, нрава он был отчаянного, несговорчив, прямолинеен и строптив. Во время коллективизации перебаламутил немало людей. За оружие даже хватался. Пора б уж было ему и сдаться, так нет — погиб от шальной пули в случайной перестрелке. Так оно было или нет — поди проверь. Единственное, что Бексеит знал твердо, — что он сирота и сиротой был всегда.

И на тебе — мальчишка, похоже, вылитый дед. Но Айгуль об этом не знала, а Бексеит ей ничего говорить не стал.

Несмышленое дитя так и росло в страхе. Зимой с ним целый день на улице не поторчишь. В крохотной их каморке ему и поползать-то негде. «Сейтжан, оставь папу в покое! Сейтжан, не трогай бумаги! Чего тебе понадобилось под кроватью?.. Да посиди ты хоть минутку спокойно!» К десяти месяцам у мальчика ни одного зуба не появилось. Был он крохотный и все кашлял. В середине зимы слег, долго метался в жару, и с тех пор из ушей у него всегда текло.

Плохо пришлось зимой не только маленькому Сейтжану, но и Айгуль. Одежонка, которую они по дешевке купили в то счастливое время и которая — хоть и простенькая — так была ей к лицу, постепенно перекочевала в скупку. Перебиваясь от стипендии к стипендии, они протянули до весны.

А с первым теплом, едва проклюнулась первая травка, диссертация была готова. Лето ушло на уточнение деталей, на редактуру, на машинку. Бексеит получил одобрение научного руководителя, диссертацию прочитали на кафедре. Ждали начала учебного года, чтобы провести

обсуждение.

Впервые за последние два года, два мучительных года, стоивших ему двух десятков лет, Бексеит не метался. Он чувствовал себя обновленным, и состояние приподнятости не покидало его. «Моя черномазенькая хоть и посветлела как будто, но уж больно исхудала, да и одежонка на ней совсем износилась, — говорил он, обнимая Айгуль. — Ничего, мы еще покажем себя, мы еще перевернем этот мир и поглядим, как он будет валяться у наших ног. Теперь, главное дело, голову не потерять. За собой следи. Приглядись, как у профессоров одеваются жены и дочки. Чтобы не уступать им ни в чем. А денег, которые заработает профессор Бексеит Турдыбек-улы Атаханов, как-нибудь хватит, чтобы одеть как положено свою разъединственную жену. Думаешь, нет? Да еще наш горбоносый. Вот уж на кого не наработаешься — так на него. Легче десятерых прокормить. Ноги колесом, голова как котел, а уж нос… — Бексеит нажимает на горбатый носишко сына. — Бип, б-и-ип». Оба счастливы. «Иди, Секен, сюда, на плечах покатаю». Но мальчик, не привыкший к отцовской ласке, жмется и сторонится отца. «Э-э-э, — спохватывается Бексеит, — да тебе играть-то нечем — одна свистулька… Ну, обо-

жди, осенью защищусь и навезу тебе игрушек. Педальную машину прикачу. Сам сядешь, сам поведешь. И всего-то три сотни. Ровно половиночка от отцовской стипендии. А кандидата получу, и станет в месяц таких стипендий пяток, а там уж и докторская маячит — плохо ли? Би-би-ип!»

В день предварительной защиты все поднялись чуть свет. Небо было безоблачно, и утренний аромат вселял в душу бодрость. Айгуль возилась с завтраком, а Бексеит с маленьким Секеном на руках отправился через сад в горы, чтобы с высоты взглянуть на столицу.

Плетень, которым обнесен был яблоневый сад, весь разворочен. Трава исполосована свежевытоптанными тропинками — работа местной ребятни. Куда ни глянь, яблок почти не видать. Лишь на верхушках можно обнаружить редкие плоды, да и то если хорошо приглядеться. И здесь потрудились мальчишки. Обобранный сад похож на покинутое стойбище. Сухие пожелтевшие листья шелестят на ветру, трава пожухла и посерела. Уныние и запустение…

— Стой! Куда идешь?

Точно из-под земли возник пожилой казах на коне с длинной камчой в руке. Из-за плеча выглядывало дуло двустволки.

— Куда идешь? — голос не предвещал добра.

— В горы хотели…

— Нельзя! Яблоки красть будешь.

— Да вы что? — возмутился Бексеит. — За кого вы нас принимаете?.. Мы что… воры?

— Вор ты, не вор — для меня один черт. Когда созревают яблоки — в сад посторонним вход воспрещен.

— Зачем же грубить? Сказали б сразу… Разве нельзя по-человечески?

— А чего говорить, объяснять? Тут общественное добро, тут колхоз — хозяин. Мне головой отвечать. Будут еще всякие с утра шляться, бузу устраивать и яблоки воровать.

— Можно бы повежливей…

— Хватит! — рявкнул сторож. — Проваливай отсюда. А то камча у меня длинная, достать — недолго, пригоню к бригадиру, скажу — воровал… Убирайся, да побыстрей, шайтан тебя унеси!

— Что так скоро? — удивилась Айгуль, когда Бексеит, пригнувшись, чтобы сын не ударился о притолоку, появился на пороге дома. От былой радости не осталось и следа.

— Да попался тут… отродье собачье.

— На коне?.. Это охранник.

— Сволочь он… Не пустил нас через сад.

— Но он же охранник… Он службу несет… Зарплату получает.

— Зарплата — это ладно. Детей кормить надо. Но кто его заставляет так с людьми обращаться… кричать, оскорблять?

— Не покричишь — слушать не будут. Может, ему велели кричать.

— Ну и пусть… Пропади они пропадом — и сад, и сторож, и весь этот свет. Давай тащи свой завтрак.

— Успеешь… До двенадцати еще далеко.

— Господи, опять лапша? Мы же вечером глотали эту бурду?

— Больше нет ничего, — смутилась Айгуль. — Четвертый день без денег.

— Завтра стипендия, — Бексеит помял лапшу вилкой. — Последняя стипендия.

Они ели молча, только посапывал Сейтжан, старательно уплетая из маленького блюдечка пустую лапшу, размазывая ее по лицу и по столу. Малыш чихнул.

— Да не оставит нас аллах своей милостью, — произнесла Айгуль. — Защитится твой папа.

— Я хотел сегодня ребят привести, — сказал Бексеит. — Помнишь, на улице встретил? Обмыть положено… предварительную защиту. Они ведь

не отстанут. Давно пристают, почему не зову.

Но вернулся он один. Все это время она крутилась возле дома, а когда наконец еще издали увидала его, сердце как в яму ухнуло. Он шел весь поникший. Потемневшее, будто обуглившееся лицо — с кулачок. Лишь глаза посветлели и запали. Он прошел мимо Айгуль, словно ее тут и не было, переступил порог и повалился на кровать. Айгуль присела с краю — о чем тут было спрашивать?

Темнело, и тишина, устоявшаяся в комнате, теснила душу. Даже маленький Сейтжан почувствовал: что-то произошло, и, прижавшись к коленям матери, затих. Прошел час, второй… В комнате стало совсем темно. С той минуты, когда в дом вошла беда, безмолвие так и не нарушалось. Вдруг за стеной, что выходила в сад, раздался выстрел. Сейтжан, которого только страх заставил молчать, вскрикнул. Очнулась Айгуль. Поднялась, зажгла свет. Мальчик повис на шее матери, и с ребенком на руках она расстелила скатерть и накрыла на стол.

— Куке, ау, куке… — Она коснулась туго вьющихся волос Бексеита. — Вставай, поешь… С утра ведь крошки во рту не было. Свалишься еще…

Бексеит перевернулся на спину и открыл гла-

за.

— А что вы мне можете предложить? Лапшу на воде или какую-нибудь вонючую баланду? Или картошечки?..

— Мясо!

— Откуда это?

— Ты говорил, ребята придут… У соседей заняла.

— Ишь, какие добренькие… — Бексеит уже сидел, впервые за это время подняв наконец глаза. Он был весь будто изжеванный. — Добренькие, видишь, у нас соседи… — бессмысленно повторял он. — У нас ведь человек человеку друг, товарищ и брат. Добренькие попались нам соседи. Может, тетка эта, соседка наша, отвалит нам тысчонку?

— Завтра — стипендия. Нет, разве?..

— Стипендии мало… В Москву еду… — Он машинально пересел за стол. — Мой Алиханов собирается написать в Москву своему старому другу, в гимназии еще вместе учились… Есть такой историк Никитин… профессор тоже. — Бексеит вертел в руках алюминиевую ложку и разглядывал ее так, словно желал убедиться, точно ли это ложка и правда ли из алюминия или из чего другого сделана. — Старик этот в Москве очень влиятелен, повлиятельней нашего

Алиханова в Алма-Ате.

Айгуль притихла. Только Сейтжан ерзал на коленях у матери, потому что хотел есть.

— Алиханов говорит, этот Никитин все может.

— А сегодня… что же?

— Вот он и говорит: понравится Никитину твоя работа — все. Даст у себя защититься… А сегодня? Ты про этих?.. Сегодня как было?.. Разве не видишь?..

— А как же тогда?.. Раз никуда не годится?

— Годится! — От гулкого удара кулака старый тяжелый стол дрогнул и плоское блюдо с горой мяса чуть накренилось. Задребезжали бутылка со стаканом. — А эта зеленоглазая откуда взялась? — Бексеит сощурился. — Ах, это все соседка добренькая… А ну-ка зови ее сюда. — Он откупорил бутылку и доверху налил большой граненый стакан. — Пить будешь?.. Нет? Ладно! Лучше не пить. И я пить не стану. Только сегодня выпью… Но уж напьюсь так напьюсь… За ваше здоровье, добренькие… — Он выпил как воду, не поморщился даже. Схватил кусок мяса, понюхал и опять швырнул на блюдо. — Годится! — И опять кулаком по столу. — Кто посмеет сказать, что не годится? Напротив… Все как один нахваливали. Говорили, что я — сила… Что я истинный уче-

ный… И что работа замечательная, говорили… Что новых фактов — куча, открытий — полно… Мысли смелые… Все ново, свежо… И так далее… И тому подобное… Много чего наговорили… Но! Но, но, но… но — молодость, неопытность, кое-что неясно, попадаются нечеткие выражения… Все бочком, бочком — и, пожалуйста, пропасть недостатков и даже прямых ошибок… Если я тебе сейчас все это перечислю, ты за голову схватишься и бросишься бежать от меня куда глаза глядят… Но имей в виду, говорилось все этак, любя, по дружбе, из одного желания мне помочь, и только.

— А потом…

— А потом сказали: еще немного поработает, исправит недостатки и, пожалуйста, пусть защищается, никто мешать не станет…

— Ну и что… Поработай, исправь… Вон сколько написал… Целых четыреста страниц… А уж это не напишешь?

— Ну куда ты свой нос суешь, черномазая! К тому, что я написал, словечка добавить нельзя. Думают, меня проведешь… А дело все в том, что большинство на кафедре против самой сути моей диссертации. И защитить мне все равно они не дадут. Это не я тебе говорю. Это сам профессор

Алиханов мне сказал.

— А как же он тогда… этот человек?

— Очень хороший этот человек! Просто замечательный… Мягкий, вежливый, старик добрейший… Оттого все, кому не лень, на нем ездят. Заведуй я на его месте кафедрой, я бы поглядел еще… Впрочем, как знать… По тому, как они бросились сегодня в бой… Да… Время героев прошло. Чтобы уложить самого могучего батыра, теперь одной пули достанет… И всем рот не заткнешь… — Он взял бутылку. — Не вешай нос, моя черномазенькая. Ничего, не сдохнем… — Он снова до краев налил стакан. — За здоровье профессора Махмета Алиханова! — Он поднялся, качнулся, отхлебнул с полстакана и перевел дух. — Впрочем… — Он поднес стакан к глазам и посмотрел на свет, словно желая убедиться, много ли осталось. — За успехи в науке профессора Бексеита Атаханова! — Он вдруг рассмеялся и, опорожнив стакан, метнул его в дверь. — Пусть все несчастья этого дома сгинут вместе с этой посудиной!

Но стакан остался цел и лежал у порога. Он сделал два неверных шага к двери, медленно поднял стакан, будто удивляясь, что он цел. Замахнулся было, чтобы швырнуть его снова, но раздумал

и, добравшись до кровати, рухнул всем телом. В ту же секунду Айгуль и Сейтжан услышали могучий храп.

После первого письма он молчал два месяца. Наконец в один из промозглых дней поздней осени, когда, не переставая, нудно сеется дождь, а Горный гигант, растеряв свою летнюю красоту, утопает в серо-зеленой глине, пришло коротенькое письмо. Бексеит сообщал, что взял новую тему, и просил денег. Гроши, которые удалось ей сколотить за эти два месяца, она тут же выслала телеграфом. С того дня каждый месяц посылать Бексеиту деньги стало для нее обыкновением. Она сама понимала, что посылает мало, что хватить ему этого не может, но что поделаешь… Большая сумма, которую она заняла у соседки, чтобы снарядить его в Москву и которую обещала вернуть тут же, — этот долг тянулся уже сам по себе, но она и на работе должна была многим. Что «срам хуже смерти» — эта достойная истина, Айгуль поняла, доступна лишь тем, кому жить хорошо. Она сквозь землю готова была провалиться, но занимала. Не для себя, а для Бексеита, которому где-то там, далеко, не хватало, и еще для маленького Сейтжана, на которого что ни день валились новые хвори.

Что сама себя она во всем урезывала, недоедала, падала от изнеможения — об этом и говорить нечего. Но живуча человеческая душа, и нет конца ее терпению и стойкости, если только пробивается к ней хоть лучик надежды, что бесконечная эта мука когда-то кончится и придут светлые дни. Жива надежда — и ад выдержишь. Исчезнет она — и какая ни будь у тебя воля, глядишь, скис человек, сломался, пропал. Но сколько ни валилось на Айгуль, она не гнулась, духом не падала, на судьбу не роптала, а лишь смирялась и терпела. Ибо надеялась. И не только надеялась, но и верила.

Оттого-то, когда ранней весной пришло от Бексеита письмо, что дела его пошли на лад, что Никитин взял его к себе ассистентом, что денег ему теперь посылать больше не надо и он месяцев через семь-восемь завершит свою работу, она нисколько не удивилась, а приняла это как то, что только и могло и должно было быть.

Диссертацию предстояло защищать в Алма-Ате, так как тема была связана с историей Казахстана в советский период и специалисты по этой теме жили в большинстве своем здесь. Бексеит, однако, особо не суетился, все мелочи и частности решал в письмах, а сам появился, когда до защи-

ты оставалось не больше двух недель.

В голове у него было теперь одно: не защита, а банкет.

— Андрей Иванович сам приедет, — втолковывал он ей, едва прилетев. — Что делать, не знаю. В долг брать стыдно. Без тоя стыда еще больше. Будут потом всю жизнь попрекать — не смог народ напоить.

Незадолго до этого Айгуль получила из аула письмо. Дядя писал, что молчал, потому что уж больно далеко она уехала и куда писать, он не знал, что он, слава аллаху, здоров, жить стало полегче, но что сестринская доля в хозяйстве висит у него на совести и енши покойницы он вышлет ее дочери деньгами. Айгуль отказываться не стала. И теперь этим деньгам пора уже было прийти.

— Деньги найдутся, — радостно возвестила Айгуль. — Из аула пришлют.

— Удивительное дело… И какой же это родственничек раскошелится?

— Дядя мой… Тлеужан… Ты его знаешь.

— Теперь уж родственникам счет потеряем… Спохватились. Где, интересно, они раньше были? — Бексеит вдруг так вскипел, что даже сел на постели. — Пусть не рассчитывают… Никому не хочу быть обязанным! Слышишь?

— Деньги эти наши, — сникла Айгуль. — От моих родителей кой-какая скотина осталась…

— А-а…

В ночь накануне защиты сон не шел к Айгуль. Страшные мысли опутали ее сознание и не выпускали из своих сетей. То ей мерещилось, что весь ученый совет поднялся с места и вот-вот кинется на ее Бексеита. Рта раскрыть не дают. Слова в защиту свою не скажешь. Да, говорят, способности, конечно, есть, но к науке его не подпускать, потому что помыслы его скверные, и убрать его лучше куда подальше, ибо не ученый он никакой, а злой сорняк, волк в овечьей шкуре, и много еще чего говорится, а Бекен едет в Москву… Ах да, ведь в Москве-то он уже побывал… Теперь куда же?.. Выше Москвы нет ничего. Что же теперь делать?.. Нет, нет… Не все будут «против». Только половина. А другая половина — «за». Большой спор получается. Но Бекен свою правду отстоять сумеет. Он — сильный. Он все знает и ничего не боится. В такие минуты — будь то мир или война — все решает сердце. А у ее Бекена в груди сердце льва. Оно огромное — с верблюжью голову. И ему ничего не страшно. А иначе разве мы забрались бы так далеко. Да, в первом бою его сразили. Но он не дал себя смять, раздавить. Он не

оставил поля боя и за полтора года написал новую работу. Талантливый у ее Сейтжана отец. Только разве посмотрят люди на талант? Все равно до последнего будут палки в колеса совать, лишь бы не дать защититься. Не все, конечно, а половина только. Другая половина будет хвалить. Диссертация, скажут, для защиты годится и надо дать ему ученую степень. Не могут же они спорить без конца? Станут, говорят, голосовать. Как раньше волостных избирали. Одни белые камешки кладут — это те, что одобряют. А другие — черные, те, что говорят, диссертация не годится. Не камешки, конечно, а бюллетени… Проголосовал ученый совет. Потом комиссия появляется. Считает. За Бекена, конечно, большинство. Но большинства мало, надо, чтобы две трети было «за». Но ведь только половина за нас… Что же выходит?.. Нет, нет… Стоит только Бексеиту рассказать про свою работу, сколько в ней мыслей, какая она важная, и большинство из тех, что были против, свое мнение переменят. Потом Бексеит еще два раза будет говорить. И с каждым разом еще видней будет, какой диссертант умный, талантливый, сколько он знает и сколько постиг и что цены нет его работе, и мало-помалу, один за другим, станут перебираться на нашу сторону. Ведь не

дураки же сидят там, люди ученые, много повидавшие, сколько труда положившие, чтобы двинуть науку вперед. А иначе кто бы их сделал членами ученого совета?.. Конечно, большинство будет за Бекена, то есть не большинство, а две трети. Шестнадцать из двадцати четырех… А если одного голоса не хватит? Всего лишь одного голосочка?.. Не шестнадцать белых камешков, а пятнадцать?.. Нет, не может такого быть… Шестнадцать наберется, может, даже семнадцать, а то и все восемнадцать… Ну кто это может знать? Господи, как этот мир качается! На тонюсеньком лезвии держится… Упадет камешек туда, а может, сюда… Подсчитали — пятнадцать… Еще раз пересчитали — пятнадцать! И опять считают…

Только на рассвете она сомкнула глаза, и ей привиделся сон. Взявшись за руки, они с Бексеитом поднимаются по зеленому плоскогорью. Путь их лежит к Алатау. Они только-только познакомились. Парень, которому двадцать три, и девушка семнадцати лет. Еще ничего не сказано, но уже все известно. Оба знают. Нутром своим знают. Знают, что любят друг друга. Что друг без друга жизни нет, тоже знают. Только не говорят об этом. Зачем говорить, когда и так понятно. Лучше молчать, чтобы души друг дружку слушали. А

душа поет. Иначе пошла бы Айгуль с незнакомым джигитом, о котором она одно лишь знает — как его зовут?.. Разве позволила б она держать ее вот так — за самые кончики пальцев? И не пошла бы, и не позволила… Даже близко не подпустила б… А вот сейчас? А сейчас пусть будет что будет. Как захочет он — так и будет.

«Я твоя, — говорит Айгуль, — твоя… И тонкие пальцы, которые ты держишь, и сердце, маленькое, с кулачок, которое заставляет дрожать жилки на этих пальцах, и глаза мои черные тоже твои…» Не вслух она говорит это, а про себя. Кричит про себя. Душа Бексеита вняла этому зову.

«Я тоже твой, — откликается он. — На всем свете ты у меня одна. И подумать не могу, что полюблю другую. Ты такая красивая, умная, ты так чиста. В душе моей одна любовь к тебе. И еще страх. Неужели и правда — ты моя?.. И я не потеряю тебя… Ведь вокруг столько парней… Львы прямо… Аргамаки. Вдруг уведут тебя? Как удержать мне тебя? Стою ли я тебя? Скажи, что не уйдешь, не бросишь… Скажи, что любишь…»

«Нет никого лучше тебя, — отвечает ему Айгуль. — Ты — мой возлюбленный. Моя жизнь и моя судьба. Я рождена, чтоб быть твоей. Для тебя я все перетерплю, все вынесу. Устанешь в долгом

пути — посохом твоим стану. Жажда измучит тебя — глотком прохладной влаги стану. Мягкой травой расстелюсь, чтобы острые камни не касались ступней твоих. Легким облаком заслоню солнце, чтобы не жгло твою голову. В ночной пустыне костром запылаю, чтобы согреть тебя и отогнать жадное зверье, рыскающее в ночи. Лишь бы пригодиться тебе хоть на что-нибудь; пусть умру, но, если от смерти моей какой-нибудь толк тебе будет, счастливой умру. И не надо мне ничего».

Бексеит счастлив. Он сжимает пальцы Айгуль, и легкий ток пробегает по его телу. Мир покачнулся, поплыл. До чего горячи руки! Тело плавится в этих руках. Пусть плавится… Пусть сгорю… Пусть обращусь в пепел… Остановился Бексеит. И только тут Айгуль увидела, что они на вершине Алатау. Взобрались на самый пик. Под ногами белым-бело от снега. Снег мягкий и очень теплый. Внизу спит Алма-Ата. Отсюда так хорошо видно все — деревья, дома, улицы, стрелой автобус мчится, снуют трамваи, бегут люди. А над ними солнце. Не одно, а два. Стоят в зените два солнца. Нет, второе это не солнце, а луна. Говорят, свет луны — от солнца. Та половина луны, что повернута к солнцу, светит ярко. А

другая половина — в тени. На синем небосводе мерцают звезды, словно благословляя Айгуль и Бексеита. «Счастливого вам пути, — говорят звезды. — Живите в любви до глубокой старости. И сто лет живите, и тысячи, вечно живите. А погаснет жизнь, пусть любовь живет и переходит от сына к сыну — песней, преданием… Аминь!» Но лукаво это мерцание. Подмигивают звезды, подпрыгивают.

«Ты знаешь, зачем мы пришли сюда?» — спрашивает Бексеит.

А по ущельям и скалам проносится эхо: «знаешь, знаешь, знаешь… сюда, сюда, сюда».

«У каждого есть своя звезда».

«Своя звезда, своя звезда…» — отзываются горы.

«Мы пришли, чтобы взглянуть на свои звезды. И соединить наши звезды. Твоя — какая?»

«…Какая? Какая? Какая? — сурово спросило эхо. И само себе ответило: — Моя звезда — Темирказык, Темирказык».

«Темирказык — это Железный кол. Во всем мире ее зовут Полярной звездой. Слабо светит эта звезда. И стоит — ни с места, будто кто воткнул ее в небо. Ты посмотри, сколько звезд на небе. Горят, переливаются. Выбери себе получше».

Глухо молчит гора, не отзывается.

«Темирказык указывает путь заблудившемуся. Это моя любимая звезда».

«Сейчас двадцатый век. Для плутающих есть компас. Темирказык никому не нужен. Выбирай себе другую звезду… Думай!»

«Темирказык!» — Ничего больше придумать она не может.

«Это звезда для меня. Темирказык!»

«Темирказык, — гулко откликнулась каменная гора. — Темирказык, Темирказык!»

«Ну и пусть. — В голосе Бексеита раздражение. — Только потом пеняй на себя. Моя звезда — Алтынказык».

Только сейчас Айгуль заметила, что слева от Темирказыка, только чуть повыше, ярким желтым светом сияет огромная, словно солнце, звезда.

«Алтынказык! — кричит Бексеит. — Золотой кол!.. Алтынказык, Алтынказык! — повторяет он снова и снова, потому что эхо не отзывается ему. — Алтынказык!»

И тут большая желтая звезда дрогнула, качнулась и, точно сорвавшись с гвоздя, на котором висела, ринулась вниз, таща за собой хвост дыма и прочерчивая на небосводе яркий красно-зеленый след. Она становилась все меньше и меньше

и где-то далеко внизу стала совсем крохотной, с обыкновенную звездочку, и у самой земли вовсе погасла. Айгуль обернулась. Бексеит упал ничком, головой к западу, и душа оставила его тело.

— Аллах! — вскрикнула Айгуль и проснулась.

— От аллаха помощи ждать нечего, — сказал Бексеит, живой и здоровый.

— Как хорошо, что я проснулась… А сон мне приснился очень красивый.

— Чего ж ты тогда испугалась?

— Ты умер.

— Ну так это прекрасный сон…

— Правда, прекрасный. Старики говорят, кого увидишь во сне покойником, жить будет долго.

— А кого живым — умрет?

— Не шути так. Важно не то, что приснилось, а как разгадают сон. Твоя звезда скатилась. Значит, все будет наоборот. И что ты упал, стало быть, к добру. Значит, твоя звезда засияет ярче. Но почему ты смотришь так строго? Совсем другой стал… Не свой какой-то, совсем чужой человек. Я боюсь тебя.

— Чего еще видела?

— Много чего. Будто мы с тобой только познакомились. Взбираемся на Алатау, а я тебя так люблю, так люблю, сил нет.

— Как ты меня любишь, покажешь ночью, а сейчас времени нет.

Он разомкнул ее руки и стал одеваться.

— Куда ты так рано?

Не отвечая, Бексеит завязывал галстук.

— А завтракать?

— В столовку забегу.

— А мне что делать? Пойти с тобой?

— Ты не Санчо Панса, чтобы всюду таскаться за мной. Почисти-ка лучше мне пиджак. Хотя я, конечно, сильно смахиваю на Рыцаря Печального Образа… Жена должна мужу все приготовить. Чистила, говоришь? Это же не дом, а пещера… Видишь, сколько пыли на нем за ночь собралось… Ладно, раз интересно, приходи попозже, к самой защите. Или сразу на банкет… Все хорошо. Спасибо.

— Ну, ступай. Пусть духи предков не оставят тебя.

— Ни аллах, ни духи предков не помогут. Не жди. Сколько раз я тебе говорил.

— Не греши попусту.

— Смотри да поглядывай, — звонко рассмеялся Бексеит. — Еще поглядишь, как я проедусь с ветерком… да единогласно.

— Пусть сбудутся твои слова. Только лишнего

не скажи… Ведь тогда как было…

— Другие теперь дела, да и я другой. Был сопляк — аспирантишка, слепой кутенок, одну конуру свою знал и больше ничего. Думал щенок: я хорош, так и все со мной хороши, написал хорошо — так тебя по спинке погладят. Да и Никитин не Алиханов. Тоже мне, дожил до шестидесяти, а как младенец невинный, так и сошел в могилу, ничего не поняв. А теперь пусть только кто-нибудь голос поднимет… Ну-ка, еще разок проводи по ботинкам щеткой… Снимать некогда. Давай прямо так. Теперь пусть поглядят, как я с ветерком прогуляюсь. Господи, да что это за дрянь — таракан или мокрица? Как только ты в этой вонючей конуре жить умудряешься? Ребенок в больницу попал… да здесь взрослый окочурится. Мерзость какая-то. Пусть только кто тявкнет, я его как эту мокрицу раздавлю, бога помянуть не успеет. Пошел против диссертанта? Значит, поднял руку на его руководителя… Пусть только попробуют. На свалку вышвырну — могилы не выроют. Проскочу на полном скаку… Е д и н о г л а с н о!

И правда, пусть не единогласно, но при двадцати одном «за» и при трех голосах «против» Бексеит прошел на «ура». В адрес двадцатисе-

милетнего диссертанта, решившего проблему огромной научной важности, и в адрес его научного руководителя профессора Никитина, воспитавшего столь выдающегося ученого, было высказано пропасть всяких похвал. Усердней всего возносили те, кто два года назад топтал Бексеита.

На пути с банкета Бексеит считал обиды:

— Ладони у тебя как терка, — я краской заливался, когда руку тебе пожимали. А одета? Чулки — штопаные. Платье — мешком, будто шерсть возила и с арбы только что слезла. Волосы заплела — как веревки висят; ты что, в городе не жила, людей не видала? Могла б уж понять, что к чему… Нож в правой руке держат, а вилку — в левой. Все перепутала — как птицу едят, как рыбу… — и еще, и еще…

Целый день она за станком. Домой пришла — дров наруби, угля принеси, печь растопи, воды натаскай, обед приготовь, да еще стирка, да уборка… Крутишься от зари до зари, божьего света не видишь — одни заботы… Огрубели, конечно, руки. Поначалу крутилась, чтобы денег на хлеб и дрова хватило, потом копейки считала-высчитывала, чтобы побольше выгадать да мужу послать. Четыре года — от семнадцати до двадцати од-

ного, самая пора женская, — прошли в мелкой борьбе, в копеечных счетах — конечно, куда ей за модой, и обращенье у нее не то, что у тех, кто нужды не знал, а в городе всего нахватался. Бексеит правильно говорит, но ведь не от рождения эта премудрость, не от природы — жизнь человека учит, люди, время... Бексеит то ли не понимал все это, то ли и понимать не хотел. Но едва он устроился в университет, Айгуль тут же ушла с работы и стала готовиться в вечернюю школу. Главное, однако, ты сама. Что одевалась она как попало — это ладно, эту беду она быстро поправила. Как ножом и вилкой орудовать, когда птицу ешь, когда рыбу, — тоже наука не велика. На модную стрижку и маникюр времени капля ушла. Но душа ее покоя не знала. Древняя наука косметики, таинственная и совершенствуемая веками, хранящая свои тайны от непосвященных и большинством не постигнутая, поглотила теперь ее мысли. Но успехов Айгуль Бексеит не хотел замечать, а может, заметил, да отмахнулся, может, доволен был, да без радости. В то время он, молодой доцент с наметившимся брюшком и вторым подбородком, уже познакомился ближе с одной из своих студенток, заочницей исторического факультета, двадцатичетырехлетней

красавицей Гульжихан, которая только что развелась с мужем, этим грубияном и невеждой, человеком в годах и чинах, и осталась одна-одинешенька в прекрасной четырехкомнатной квартире, набитой мебелью и всяким добром.

Были по расписанию лекции или не были, Бексеит поднимался ни свет ни заря и с пузатым желтым портфелем отправлялся делать докторскую. Обедать и вовсе не приходил — для этого хватает кафе и ресторанов. Постепенно вошло в привычку являться поздно вечером, а порой и вовсе не ночевать — не отпускал преферанс. Наконец, в один из тех весенних вечеров, когда Алма-Ата утопает в свежей светлой зелени, а люди исполнены жажды добра, Айгуль, которую магазины задержали в центре, встретила возле кинотеатра Юного зрителя Бексеита под руку с молодой и очень красивой, полнобедрой и светлолицей женщиной.

Если случалось дома не ночевать — они сейчас сняли квартиру получше, двухкомнатную, — Бексеит возвращался к вечеру на другой день. Но на сей раз он изменил себе — пришел под утро. Айгуль, притулившись у края письменного стола, сидела неподвижно и была очень бледна.

— Не спала, что ли? — спросил Бексеит, ощущая

глухую неловкость. — Светло уже, а ты и света не выключила… Зачем ждать?

Айгуль молчала.

— Я тоже ночь не спал.

Он и правда не спал. Когда они, выйдя под руку из кино, свернули на безлюдную, полутемную улицу, кто-то подхватил Гульжихан под руку с другой стороны. Хотя эта явная дерзость Бексеита задела, он вежливо отошел в сторону. Однако парень явно не торопился. Что он говорил, было не слышно, но держался весьма развязно. Он взял Гульжихан за подбородок, полуобнял и потянулся поцеловать… Вот тут терпение Бексеита лопнуло, и он приблизился к ним. Мальчишка оказался совсем сосунок — лет восемнадцать, не больше.

— Вот этот? — не сводя глаз с Гульжихан, кивнул парень на Бексеита. — Ты что, ослепла, получше этого кретина не нашлось?

Бексеит открыл было рот…

— Заткни пасть!

— Эрик, перестань! — взвизгнула Гульжихан.

— Тебе слова не давали, — промолвил Эрик. — Ну а ты, — парень внимательно оглядел Бексеита, — ну а ты, недоумок, давай чеши отсюда, да поживей. Гуля со мной пойдет. Хватит с тебя и того, что перепало. Топай, топай, не задержи-

вайся!..

Бексеит сунулся к негодяю и через секунду обнаружил, что сидит на тротуаре, прислонясь к дереву. Рядом суетилась Гульжихан.

— И надо было связываться, — она гладила его, целовала. — Обыкновенный хулиган. Так и ходит за мной по пятам. Теперь уж не явится. Расквитался, говорит, прощай… Этот уж слово свое держит… И мне по щеке залепил, собака!..

Из того, что она говорила, что-то доходило до Бексеита, что-то и нет. Конечно, хулиган. Иначе зачем приставать к людям, которые идут себе по улицам, никого не трогают?..

Но когда в нарядной четырехкомнатной квартире Гульжихан он пришел в себя, освежившись под душем, вся эта потасовка предстала перед ним совсем в другом свете. Он разглядывал Гульжихан, рыжей лисицей проплывавшую из комнаты в комнату, и вспоминал, что, когда еще только познакомился с ней, до него доползали слухи, что муж ее вовсе не плохой человек был, но проделки юной супруги не по нраву пришлись ему и, оставив ей все, он ушел. Но паршивенький этот слушок растаял в той радости, которую она каждый день приносила ему, и лишь сейчас ожил. Может, конечно, болтовня пустая. Бексеит

засобирался домой, но Гульжихан повисла на нем, зацеловала, наговорила жарких и сладких слов — и опять нет сомнений. Однако пыл поостыл, и он вернулся домой отрезвленный.

— Голова что-то побаливает, — сказал он. — Чаю не дашь?

Айгуль тяжело поднялась и вяло расстелила дастархан.

— Только чаю, да покрепче…

— Портфель оставил где ночевал? — Айгуль налила чаю из термоса. — Пей… А под глазом у тебя что? — медленно спросила она. — Вот так и прикончат где-нибудь в темном углу. Иди пей свой чай.

— Н-да, все это бросать надо. Я о картах… Ну, и хорош чаек!

— Как кино? — спросила она спокойно, прямо глядя ему в лицо.

Чашка громко плюхнулась, и крепчайший чай, густо перемешанный со сливками, выплеснулся на стол.

— Следишь, значит?

— Не слежу. Случайно увидела… — Это был голос человека, тяжело уставшего от жизни.

— Я не мальчишка, чтобы за каждым моим шагом следить! — вскипел Бексеит.

— Ты — мой муж. Я встретила тебя с чужой женщиной.

— Твой муж? Прекрасно… Просто замечательно. А где это написано, что я твой муж, в каких это книгах? Предъявите документики, гражданочка…

— Ты бы эти бумаги попросил у наших с тобой матерей. Правда, тогда были муллы…

Он думал, она станет браниться и грозить. Про суд будет кричать, про алименты, про стыд и совесть. Но она молчала.

— Завтра в восемь у меня лекция. Дай мне отдохнуть, и больше никогда не будем ругаться. Ладно, черномазенькая?..

Но это уже она не услышала. То, что столько лет точило ее, вылилось сейчас в тихие и горькие слезы.

— Перестань, — Бексеит допивал остывший чай. — Завтра поговорим. Раз тебе так приспичило, оформим, как по закону положено.



Это Айгуль услышала.

Когда на другой день Бексеит вернулся из университета, он не застал Айгуль дома. Решив, что она опять отправилась по магазинам, он прилег отдохнуть, но сон не шел к нему. Чего-то не хватало в доме, будто опустел дом. Он вскочил, открыл шкаф — там висели одни его вещи. Он оделся и отправился в ясли.

— Сейтжана забрала мать, — сообщила молоденькая воспитательница, увидавшая Бексеита впервые. — Еще она сказала, что уезжает в аул.

«Наверное, они сейчас на вокзале?» — у Бексеита голова раскалывалась — он не выспался.

Через две недели Бексеит с Гульжихан справили шумную свадьбу.

«Больше жизни чтимый нами, товарищ профессор Атаханов!

Получив ваше письмо, мы очень обрадовались, что родной аул и земляки не забыты вами… Для нас всех великая честь, что из нашей среды вышел такой многомудрый ученый. Вся наша учащаяся молодежь берет с вас пример, и каждый мечтает стать гражданином, которого народ любит и почитает, как

вас. Все мы, ваши земляки, хорошо знаем ваши книги: «Победа колхозного строительства в казахской степи», «Казахстан в период первых пятилеток», «Казахстанская целина».

Вы спрашивали про своего сына Секена, то есть про нашего племянника Сейтжана Ниязова. Сейтжан жив-здоров, дела у него идут хорошо, живет и радуется жизни, как все его сверстники. Это джигит огромного роста и богатырской силы. На каждое плечо по человеку посадить может. Одна беда — из-за болезни ушей он дальше второго класса не пошел. А так Сейтжан ничем не хуже других, все понимает, если руками показать. В настоящее время он лучший тракторист колхоза «Жанатурмыс», в котором и вы родились и выросли. Теперь это целинный совхоз «Новороссийский». Совсем недавно Сейтжана опять хвалили и фотографию его напечатали в районной газете.

Его мать, а наша сестренка Айгуль, все убивалась, что в свое время не могла его полечить как надо бы. Руки не дошли. Но ведь судьба человека в руках

божьих. Может, вы слышали, прошлый год мы ее в Алма-Ату возили, так и ее врачи не смогли вылечить? Сказали, рак матки болезнь называется. В Алма-Ате и скончалась. Мы выполнили ее просьбу и похоронили Айгуль в горах на мусульманском кладбище, недалеко от колхоза «Горный гигант». Покойница за вас душу готова была отдать. Ваши книги, которые находятся у них в доме, она все сама нашла и купила. Часто видели, она в газетах и журналах ваше имя ищет. До самой смерти по-городскому одевалась, по-городскому жила. Незадолго до смерти заочно окончила учительский институт. Сколько к ней хороших людей сваталось, а внимания — никому. Все жалела, что уехала, не простившись с вами! «Хоть бы разок увидеть», — это я много раз от нее слышал. Даже в последний свой час не велела звать вас. Так она вас любила. Хоть и не говорила, а мы знали. Жалко, уж больно молодая ушла… Пусть земля будет ей пухом, нашей звездочке, одинешенько закатившейся на чужбине.

Ваш Тлеужан.
3 июня 1970 г.

Грамоту мы знаем слабо. Если в нашем письме что не так, не обижайтесь. Растите еще дальше, поднимайтесь еще выше. Пусть светлым будет ваш путь».

1970

Перевод И. Борисовой.

ГИБЕЛЬ БОРЗОГО
1

Под конец он совсем обессилел. И все-таки дважды — сначала с одной стороны, потом с другой — подобрался к холмику, волоча по земле истощенное, налитое болью тело и каждый раз принюхиваясь заново. Холмик был пологий, оглаженный с боков степными ветрами и припорошенный свежим, нетронутой белизны снегом. Белый, безмолвный холмик… Веяло от него горьким одиночеством и тоской. Летом, когда снег был еще рыхлым, здесь и пахло иначе. Что-то знакомое, доброе чуялось в том запахе, — так по крайней мере борзому казалось. В ту пору он прибегал сюда часто. И все бродил вокруг, тычась носом в желтоватую перемешанную с мелкими камешками землю. Запах, который он выделял, был слаб и смутен. Запах — не из приятных. Так же пахло от лис дня через два-три после того, как, содрав шкуру, их забрасывали в степь, подальше от жилья. В смердящих лисьих тушках копошились червячки, муравьи, жирные, ленивые

мухи… Тазы[39] был брезглив, тот запах вызывал в нем тошноту. Но здесь, у холмика, он ощущал другое. К запаху гниющего мяса примешивался явно улавливаемый чуткими ноздрями запах хозяина. Он лежит в этой земле! Трудно представить, но это так. Он знает, он видел все своими глазами…

Борзой почувствовал облегчение. Хозяин тут, рядом… И вот-вот проснется. Быть может, завтра. Сколько ему еще лежать?.. Но надежда, почти уверенность, сменилась тревогой. Вдруг он уже встал и ушел? И сидит дома, как раньше?.. Нет. Снег выпал только нынешней ночью, на нем не видно никаких следов. Значит, он здесь.

Напрягшись всем телом, борзой принялся здоровой лапой разгребать холмик у основания. Под слоем пушистого снега показалась земля. Не податливая, сырая, исходящая густым и теплым живым духом, а застарелая, твердая, какая бывает у входа в опустевшие звериные норы, Слежалась, вымерзла и сделалась как камень. Когти ее не брали, только царапали. Борзой остановился, замер, всматриваясь в продолговатый холмик. Холодный. Недвижимый. Похожий на черный валун, вросший в землю… Нет, не похожий. Там,

---

[39] Примечания: 39

Тазы — среднеазиатская борзая.

в глубине, лежит хозяин. Его хозяин лежит под этим холмиком!

Он повернул голову, бросил взгляд в низину. На овраг, заросший кустарником. У его начала, в узкой расщелине, летом бьет ледяная родниковая струя. Дно раскидистого оврага покрывается тогда зеленой травой, такой высокой, что едва виднеются в ней спины жеребят-стригунков. Но сейчас и овраг, и то место над ним, где становится на летовку аул, — все наглухо замело снегом. Только в небольшой, защищенной от ветра лощине темнеет покосившаяся стена — все, что сохранилось от старого становища. Когда в последний раз аул готовился к откочевке, под этой стенкой остался лежать больной барашек, покрытый коротенькой реденькой шерсткой. Остался лежать и больше не встал. И уже никогда не встанет. Не захрустит молодой сочной травой, не напьется из родника прозрачной воды. Там, где лежал он, теперь белеют лишь тонкие, не успевшие окрепнуть косточки…

Это было как молния, как удар камчи. Тайна, недосягаемая прежде, открылась борзому. Она была до того чудовищна, что уши у него поднялись торчком и он застыл, неподвижно уставясь на холмик. Только спустя время, нужное для того,

чтобы разгрызть большую берцовую кость, борзой очнулся, пришел в себя. Но тут все суставы у него расслабились и размякли, а тело зашлось в мелкой дрожи. В горле пересохло, дыбом поднялась на спине шерсть, по затылку разбежались мурашки. Он присел на задние лапы, задрал морду к небу. Пасть раскрылась сама собой, и тяжелый, протяжный звук вырвался из глотки. Степное безмолвие пронзил взмывший над землей стон.

И был этот стон, этот жалобный плач о невозвратном, страшен и нескончаем…

2

Как светел мир! Как просторен! А небо — до чего же оно голубое, высокое! А солнце!.. Конечно, берегись на него смотреть прямо, и все равно — какое оно теплое, ласковое!.. Белый щенок, сидевший под стенкой сарая, на припеке, не выдержал и заскулил от удовольствия. Ему здесь так сухо, так мягко — под ним пучок соломы с ошметками засохшего конского навоза… Какая благодать!

Поблизости — лужица, наполненная талой водой. Желтая лужица, желтая вода… Щенок

поднялся, подошел, осторожно лакнул — раз, другой. Вкус у воды солоноватый, неприятный, и припахивает она скверно — скотским пометом. Щенок фыркнул. Нет, пить эту воду нельзя. Он уже усвоил: все вещи делятся на те, которые можно есть или пить, и те, которые для этого непригодны. Таких, непригодных, гораздо больше, к сожалению…

Впрочем, огорчение было коротким. Щенок запрыгал по рыхлому снегу. Снег потемнел, покрылся сверху мусором и копотью, лапы в нем глубоко проваливались, и вода тотчас набегала в ямки следов. Но по их краям горячо искрились ледяные крупинки. Есть их было нельзя, но лизать можно. Вкуса у них, однако, не было никакого, и они холодили язык. Щенок отвернулся. Он был сыт — перед тем как выпустить во двор, его досыта напоили молоком.

А между тем прежнее место под стеной сарая, где он грелся на солнышке, успела захватить пестрая курица со своим суетливым семейством. И вовсю квохчет, шебуршит соломой, разгребает сор. Цыплята ее, желтенькие, взъерошенные, носятся, попискивают, туда и сюда, ныряют матери под ноги. Стоит ей подать знак — и они гурьбой бегут на зов, обгоняя и расталкивая друг друга:

«Давай! Давай! Мне, мне!» Мгновение — и стайка круглых комочков рассыпается. Но вновь раздается: «Нашла, нашла!» — и цыплята, спотыкаясь и падая, устремляются к матери. Интересно за ними, потешными, наблюдать… А играть с ними, верно, еще интересней…

Завиляв коротким хвостом, щенок дружелюбно тявкнул и, зарываясь по грудь в рыхлый снег, спустился с сугроба. Но курица тут же подняла тревогу: «Спасайся, спасайся!» Цыплята, беспечно сновавшие вокруг, метнулись к пеструшке, под ее защиту. Курица воинственно растопырила крылья: «Кет! Кет! Прочь, паршивый щенок!» — закудахтала она.

Вот тебе и раз!.. Щенок опешил. Какой-то цыпленок высунул было черный клювик, но тут же исчез под раздувшимися перьями. Ну и ну… Щенок все-таки сделал два или три нерешительных шага, опустился на землю, прилег, потявкал, потом поднялся и снова потявкал. Курица в ответ рассердилась не на шутку. Похоже, она уже не намерена была ограничиваться одним «Кет! Кет!», а изготовилась к нападению. Щенок вконец растерялся, но неожиданно, из духа противоречия, что ли, шагнул вперед. Курица, грозная, с распушенными крыльями, поднялась ему навстречу.

Казалось, вот-вот она ринется на щенка… Но вместо этого пеструшка внезапно повернулась к нему хвостом и не спеша, сохраняя достоинство, двинулась за сарай, квохча свое «Кет! Кет!». И цыплята с нею…

Щенок, опечаленный тем, что не довелось порезвиться, отвести душу, гоняясь наперегонки, тоже повернулся и одиноко побрел на окраину аула.

Земля еще не успела подсохнуть. В ложбинах и впадинах поблескивают и дымятся легким парком голубые лужицы. В густых зарослях таволги белеют лоскутья снега, но все вокруг преобразилось, приняло какой-то новый, удивительный облик. Совсем недавно все выглядело здесь так уныло и хмуро, а сейчас озарилось улыбкой и радуется, спешит напиться золотистого сока солнечных лучей. Воздух благоухает живительным ароматом. Откуда он, этот сладкий запах?..

Щенок уловил, что источает его та низкорослая травка, с тонким стебельком и пушистой шапочкой, которую он топчет. Он опустил морду и ткнулся носом в запашистую травку. Вряд ли ее можно есть, но нюхать — приятно… А вокруг — нежные и упругие стебли, выпирающие из сырой глубины пучками, и каждый пахнет на свой

лад. С особенным удовольствием принюхивался щенок к тугим стрелкам ковыля, растущего тут в изобилии. Какой запах!.. Непонятная радость охватила все щенячье существо, и он с наслаждением вывалялся в мягкой, ласковой зелени. Затем, растопырив лапы и вытянувшись, улегся, подставил солнцу брюшко.

Улегся, пригрелся, задремал и увидел сон. Будто перед ним стоит желтый цыпленок и попискивает, приглашая поиграть. Маленький такой птенчик… Разумеется, он ответил веселым лаем, и вот уже оба носятся друг за другом. До чего же, однако, быстроногий цыпленок! Его не догнать… Но щенок не отстает, бежит за улепетывающим желтым комочком — только ветер в ушах посвистывает. И наконец — настигает. Сейчас он схватит его — крохотного, пушистого. Он запросто уместится в пасти. Ведь цыпленок — это как раз то, что годится для еды… Какое неожиданное открытие! Да, да, цыпленок годится для еды!.. Но внезапно желтый комочек останавливается у щенка перед носом. Бесстрашный, не желающий уступать. «Р-р-р! — вырывается у цыпленка. — Тепер-р-рь твой чер-р-ред удир-р-рать!»

Вздрогнув, щенок открывает глаза. Над ним навис громадный пес, черная, ощерившая пасть

дворняга. Щенок облизнулся как ни в чем не бывало, зевнул протяжно, потянулся. Потом потявкал тоненьким голосочком и стал подниматься. Но черный пес, наклонившийся над ним, повалил щенка снова на землю, а дальше… Щенок и понять ничего не успел. Тело его словно пламенем опалило, красно-зеленый туман заклубился в глазах, все вокруг закачалось.

— Эй, кет! Кет! Пошел!..

Отчаянный вопль слился с нарастающим конским топотом. Тяжесть, надавившая щенку на грудь, исчезла. Он почуял хозяина, который подоспел так вовремя, и жалобно заскулил, заплакал. Хозяин торопливо спешился. И вот уже руки его подхватили щенка, подняли с земли… Но хотя прикосновение этих рук было бережным, осторожным, словно копье вошло в дрожащее тельце и пронзило насквозь. Щенок снова заскулил, застонал, как если бы вновь очутился в пасти огромного черного пса.

Ведя коня в поводу, хозяин как прижал щенка к груди, так и донес до самого дома, и потом еще долго мучил, чем-то смазывая нестерпимо болевшие раны. Наконец он перебинтовал щенка и уложил на стоявшую в углу комнаты железную кроватку, обтянутую по бокам сеткой. Те же руки

теперь кормили щенка и по три-четыре раза в день выносили на свежий воздух. Остальное время щенок неподвижно лежал на постели. Здесь было мало места, чтобы подняться и пройтись, а перескочить через сетку пока не хватило бы сил. Да ему и не хотелось…

Спустя две-три недели раны на теле щенка заживились. Но сердце его страдало от раны, которую не залечить. Ему, разумеется, не дано было постигнуть, что на свете существуют несправедливость, жестокость, насилие и, если над твоей головой нависнет несчастье, вся твоя правота, случается, не сумеет тебя защитить… Само собой, понять этого он не мог. Но отныне среди живого все незнакомое вызывало у него недоверие, а то и прямую враждебность.

3

Когда щенок выздоровел и вернулся к своей беззаботной жизни, в дом к хозяину приехал мальчик. Сорванцом он оказался отменным. Только-только спрыгнул с арбы, как тут же бросился к щенку. А тот уже научился делить всех людей на две части: на хозяев — к ним, кстати, относилась и женщина в длинной одежде,

наполнявшая каждый день до краев его миску и хлопотавшая по дому, — и на посторонних, чужих. Щенок отскочил от мальчика, спрятался за хозяина. Но хозяин и не взглянул на щенка, зато мальчишку прижал к себе и целует, целует… Высвободясь из его крепких объятий, мальчик снова потянулся к щенку. Как быть? Раз хозяин проявил такое расположение к мальчику, щенок не вправе от него бежать. Да и сам хозяин опустился на корточки, подбадривает: «Лашын[40], Лашын, иди к нам!»

Руки у мальчика оказались мягкими, ласковыми. Он обхватил щенка, приподнял и, приговаривая: «Песик мой, песик», стал поглаживать по голове, по спине, потом приблизил свое лицо к мордочке, обросшей белой шерстью, и потянул носом, принюхался. На мать, пригнавшую кобылицу, для которой настало время дойки, он и внимания не обратил, хотя она еще издали, завидев его, кричала: «Адиль! Адильтай!..» Он прижал к груди щенка и побежал в дом.

В тот день к вечеру здесь собралось много людей. Тесно было за низким круглым столом, на котором высились горой свежие румяные

---

[40] Примечания: 40

Лашын — сокол.

баурсаки, и в глазах рябило от кусочков белого рафинада. Адиль посадил на колени Лашына и прикармливал то баурсаками, то сахаром. А вокруг шумело застолье, довольные гости вели веселую беседу, попивая густейший темно-коричневый чай, заправленный верблюжьим молоком.

— Настоящий джигит вырос, — говорил аксакал Омар, с улыбкой глядя на Адиля. — Долгих лет ему здоровья и счастья!

— Ну, Казы, на радостях тебе сорок дней справлять той, — подхватил рябой Есенжол, продавец, который и привез Адиля. — Учителя сказали, твой Адиль — самый лучший из всех, кто первый класс закончил, а закончило целых двадцать пять человек. Он, сказали, задачки уже за второй и за третий класс решает, все учебники наизусть выучил. Теперь не станет больше приставать — мол, расскажи сказку… Сам все книги у тебя в Красной юрте перечитает до осени…

— В отца пошел… Как говорится, идущий предкам вослед и стрелы остро заточит…

— А я думаю, тут жашлуга шештйенки нашей Камийи, — встревает в общую беседу жена Есенжола, картавая Айсулу, которая к тому же набила баурсаками полный рот и, пережевывая,

с трудом выговаривала каждое слово, — До чего шноровишта… Глядите, сколько кизяка во дворе у нее наготовлено… Ох, и кьепка она в хозяйстве, ох и кьепка…

— Помолчи, жена, ты свое потом скажешь, не мешай аксакалу…

— Ты шего это надо мной командуешь? Я у тебя вшегда как бельмо на гьязу… Есйи я дйя тебя пьехая, поищи себе хоошую…

— Помолчи, говорю! Дай людям уважаемого человека послушать.

— Идущий предкам вослед и стрелы остро заточит, — повторил аксакал Омар, выдержав паузу. — Покойный Амир, отец Казы, был джигитом из джигитов. И борзые собаки у него водились отменные. Такие, что лису, словно вихрь, настигают, не борзые, а барсы. Е-е, другому не поверишь, пока сам не увидишь… Вот вы теперь весь скот высокопородным сделать хотите. Про скот судить не берусь, а охотничьи собаки у казахов и в давние времена были самых чистых кровей. У Мамая, к примеру, борзой был. Сынок одного бая предложил за него пять кобыл с жеребятами, так ведь не поменялся, упрямец! А борзого с тех пор

так и прозвали — Бескара[41], хотя у него раньше своя кличка была. Серый, помню, в темную полоску — просто тигр. Если скажу, что грудь ниже голени на неполный суйем[42] выпирала, — солгу, а если скажу, что на три пальца, — это уж точно. Такая была крутая, широкая, могучая грудь, что на брюхо не ложился, разве что бочком. Голова громадная, скулы крепкие. Ростом с Бескарой ни одна собака не могла сравниться. Верить или не верить — ваше дело, а только ведь и среди людей рождаются мудрецы, о которых слава идет из края в край, или батыры, которым страх неведом, как прочим смертным. Велик аллах! Вот и у зверей встречаются такие, что с рождения отличаются от собратьев. Бескара был таким псом. Наши с Мамаем зимовки стояли рядом, так что я собственными глазами видел: за одну зиму Бескара тринадцать волков взял. Ну, а зайцам, лисам — и счету нет. Он и на архаров нередко выходил. Мамай потом серую борзую держал у себя, говорил, что от Бескары она. Дожила борзая до глубокой старости и подохла в год окончания войны, вес-

[41] Примечания: 41

Бескара — в значении «пять голов скота».

[42] Примечания: 42

Суйем — расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами.

ной. Почуяла смерть и ушла неизвестно куда. Не зря говорят: «Хорошая собака не хочет, чтобы ее мертвой видели». Мамай несколько дней траур соблюдал. Иной человек умрет — по нему родня столько не горюет. Да и правду сказать, хоть и не Бескара, но борзая была что надо. Сейчас таких породистых не сыскать. Где уж там людям время найти, чтобы за собакой, как положено, ходить или птицу ловчую содержать…

— То-то и есть, — сказал Казы. — Кому же тогда скот государственный пасти, сено косить?.. — Кашель, рванувшись из глубины груди, перехватил ему дыхание, Казы не закончил фразы.

— Кому тогда водку пить?.. — подхватил Есенжол, и рябое лицо его сморщилось в мятой улыбке.

— Помойчал бы лучше! Никогда, видно, пьодавцом тебе хоошим не стать, — сказала Айсулу. — И что это за магазин, без гойкой-то водички, о гошподи?

— Вот и хорошо, что нет на столе этой дьявольщины. — Омар одобрительно кивнул Есенжолу. — Молодец, что не принес.

— Я бы принес, — усмехнулся Есенжол, — только вся кончилась, на базе нет ни бутылки. Район отстающий, говорят, по старинке живете, а в

культуре тоже толк понимать начинаете… Раньше одного ящика нашему аулу на целую зиму хватало. Кроме нас двоих, меня да завфермой, никто не пригубливал. Ну, а той осенью взял я три ящика беленькой с красненьким — и как не бывало. Даже Казы, когда последний раз в район ездил, с ней, окаянной, успел снюхаться. Вот летом, когда весь народ на джайляу отправляется, у меня на одного аксакала надежда… Так он за свою жизнь и глоточка не принял, говорит, намаз от него силы лишится.

— Да простит тебя, болтуна, аллах, — вздохнул Омар. — И для тех, кто не соблюдает его предписаний, водка тоже вещь непотребная.

— Э, аксакал, вы ее вкуса не пробовали, оттого так рассуждаете. Вон Казы разок отведал и увидел, что вся его прежняя жизнь впустую пролетела. И мне хорошо: есть с кем чокнуться. Скоро ведь он, аллах свидетель, жену за пол-литра отдаст…

— Ну, заладил… Тебе бы только язык почесать! Было дело, случилось выпить, — что же теперь?

— Пей, да почаще, удачи тебе…

— Они, как в прежние времена между одногодками-курдасы водилось, все насмешничают друг над другом, — сказала байбише Нурила, жена Омара, темнолицая худощавая старуха в белом

кимешеке. Ей хотелось переменить разговор.

— Когда курдасы сойдутся, весело бывает, — вставила Айсулу.

Щенок, вдоволь насытясь баурсаками и сахаром, внезапно затявкал, как бы одобряя ее слова.

— Вот что значит старость, — покачал головой Омар. — Начинаю про одно, перехожу на другое… О чем это я рассказывал?

— О том, что среди собак бывают такие, с которыми даже человеку не сравниться, — пошутил Есенжол.

— Да, вспомнил… И зверь, и человек походят на своих предков. Скажем, тягой к собакам Адиль точь-в-точь уродился в своего деда, покойного Амира…

— К тому же старый Мамай, о котором вы говорили, приходится мне нагаши, — сказал Казы. — Этого щенка я у него и взял, когда зимой в Баканас ездил. Он единственным родился, и Мамай, честно говоря, не хотел отдавать его. Мол, внук подрос, на охоту скоро выйдет, собака ему понадобится… Так я насел на него, чуть не силой отобрал: это, мол, в счет сорока коз[43], таков, мол, обычай… А щенок… На ваш взгляд, чего он

[43] Примечания: 43

По обычаю, племянник должен получить в подарок от своих родственников по материнской линии сорок коз или что-нибудь равноценное.

стоит?

— Собак хороших я перевидел немало, а сам охотиться не пробовал. Какой из меня знаток?

— Все равно по сравнению с ними вы человек опытный. Адиль, опусти щенка… Скажите, аксакал, свое слово.

— Что сказать… Грудастый — значит, в беге выносливый. Шея короткая, морда скуластая — значит, зубастый, сильный. Задние лапы с приземистой голенью — верный признак быстроты. Не знаю, возьмет ли волка, но лисьими тымаками всех нас одарит, попомните мое слово…

— Да исполнится все, что вы сказали! Первый тымак — ваш! — воскликнул Казы.

— Не зря Мамай не хотел с ним расставаться, — заметил Есенжол.

Спустя немного времени к столу подоспело блюдо с мясом, поверх которого возвышалась жирная баранья голова с отвислыми ушами, разваренная до того, что местами обнажились кости черепа. Но Адиль и его белый щенок уже спали, прикорнув у стены, щека к щеке.

4

Наступили в жизни Лашына счастливые, безмятежные деньки…

Отец наказывал Адилю:

— Он любит побродить на свободе, дома ему не сидится. Недавно этот паршивец Бардосок, дворняга Есенжола, чуть его не задрал. Не случись меня, он бы загрыз беднягу. Пришлось уложить Лашына в кроватку, ту самую, где ты маленьким спал. Дней двадцать прошло, пока на ноги не поднялся. Так что смотри не спускай с него глаз.

Адиль и без того не разлучался с Лашыном. Три дома среди безлюдной степи — вот и весь аул; детей здесь, кроме Адиля, нет, и единственное у него развлечение, не считая книг, — щенок. В первый же день нацепил он на конец длинного курука лисий хвост. Лашын, хоть и ведать не ведал, что это такое, все же вознамерился куснуть его — так, на всякий случай. Адиль опустил кончик хвоста чуть ли не к самому его носу, разрешил понюхать, подразнил, а потом вдруг, стоя на месте, закружился, держа курук в вытянутой руке. Лашын бросился за хвостом, но тот летел по кругу, оставаясь недосягаемым. Вот он

приспустился, стелется легкой волной, чуть не касаясь кончиком щенячьей мордочки. Лашын прибавляет ходу, но хвост взмывает вверх. Щенок несется по кругу во весь опор. Сейчас наконец он будет у пса в зубах!.. Но неуловимый хвост взлетает снова и несется в обратную сторону. Щенок тоже поворачивает назад. Лапы у него наливаются тяжестью, бежит щенок все медленней. Но хвост, мягко струящийся по воздуху, не уходит от него слишком далеко. Чужой, но приятный запах, остающийся в воздухе, будоражит щенка, раздувает в душе пламя непонятной страсти. Впитавшийся с кровью предков азарт охоты вновь подстегивает его, и щенок с еще большим остервенением пускается вдогонку за лисьим хвостом.

Но вот пушистый кончик попадает ему в пасть! Щенок с наслаждением грызет и рвет его, волочит по земле хвост и долго, рыча, возится с ним. И вдруг хитрейший хвост снова выскальзывает из его зубов. Щенок пускается в погоню — и так много раз…

Дом Казы стоит в укрытом от ветра месте, у подножия холма, до самой вершины заросшего сизым ковылем и таволгой. Холм плавно переходит в низину, когда задувает ветер, густые травы

на ней колышутся, будто катятся зеленые волны. Бойкий родничок журчит по дну рассекающего низину оврага, вдоль извилистого ложа шелестит-лопочет молодой тростник…

У Адиля главная забота — пригнать кобылу в положенное для дойки время, она пасется среди высоких, набирающих сок и силу трав. И щенок, у которого только голова мелькает белым пятнышком между зеленых стеблей, мчится вприпрыжку за Адилем. На обратном пути он вовсю заливается веселым лаем, преследуя кобылицу. Она пускается вскачь, Лашын отстает и, донельзя возбужденный, путается у Адиля в ногах.

— И зачем ты таскаешь за собой этого глупого щенка? — сердилась Камила. — Сколько повторяю: нельзя перед дойкой тревожить кобылу, она теряет от этого молоко.

Но Адиль по-прежнему не расставался со щенком, а тот не упускал случая позабавиться с кобылой. Лишь после того, как мать, потеряв терпение, сгоряча влепила Адилю хороший подзатыльник со словами: «Смотрите какой — маленький, а упрямый!» — и огрела щенка подвернувшейся под руку палкой, мальчуган более внимательно отнесся к ее наставлениям. Отец смастерил красивый узорчатый ошейник,

и теперь Адиль водил щенка с собой, сдерживая вовремя его боевой пыл. Однако щенок по привычке, едва завидев серую кобылу, принимался гавкать, а кобыла, то ли уступая ему, то ли жалея и боясь, чтобы от неистового лая он не разорвался на части, по-прежнему неслась в аул галопом. Так что, случалось, пока Казы, набив книгами свой хоржин[44], доберется, потратив полдня, до аула, выехавшего на сенокос, да не меньше чем за день объедет отары, разбросанные по джайляу, — случалось, что за это время и Адилю, и Лашыну не раз достанется, и довольно крепко, от скорой на расправу Камилы.

За низиной, поодаль, тянется гряда сопок, разделенных невысокими перевалами. Здесь повсюду кудрявятся густые тальники; поблескивают в камышовых зарослях родники — прозрачные, чистые, со студеной водой; дикий щавель на просторных луговинах так высок, что укроет опустившегося на землю верблюда…

Когда лето перевалило за середину и небо накалилось, налилось тугим, неслабеющим зноем, а кончики трав начали подсыхать и желтеть, Адиль стал уходить во время своих прогулок все

---

[44] Примечания: 44

Хоржин — мешок, переметная сума.

дальше от дома, в сопки. И Лашыну, для которого до сих пор границей был овраг, теперь открылся новый, незнакомый мир. Множество неизвестных запахов ударяли ему в ноздри. Был среди них и резкий запах перепрелого, вывалянного в пыли кизяка, и пряный запах сочного луга, и тонкий, нежный запах алых, желтых, голубых цветов, и сыроватый запах прошитой корешками дерна почвы, и горький запах сгнившего дерева… Щенок, у которого кружилось в голове от слоистого аромата, пропитавшего воздух, весело тявкал от беспричинного ликования, валялся по траве, прыгал вокруг Адиля, бегал, повизгивая, взад и вперед, резвясь в полное свое удовольствие. И чем дальше от аула, тем чаще встречались запахи всевозможных живых существ. Тут — запах лошади, там — запах коровы, здесь проходил человек, ну а вот — запах того пушистого хвоста, который летел за куруком… Да, да, этот хвост побывал здесь, где разрыта земля, затем обогнул колючий кустарник и направился куда-то к холмам… Лашыну хотелось бежать по его следам, но позади раздавался голос Адиля, приказывающий вернуться, и ему волей-неволей приходилось поворачивать назад.

В небольших рощицах по склонам оврагов про-

хладно и даже влажновато. Земля здесь волглая, трава мягкая, шелковистая. Пахнет шиповником, бояркой, хмелем, но все эти запахи забивает запах черной смородины. Адиль без особых хлопот доверху наполняет свое небольшое ведерко крупными ягодами под сизой туманной пленкой. Потом, отыскав местечко, где повыше трава, укладывается, подложив под голову толстую корягу. Так он лежит на спине, под нависающими над самым лицом ветками смородины, и небо, просвечивая между разделенными на три зубца листьями, кажется отсюда пятнистым, разорванным на мелкие голубые клочья. Но оно все равно кажется прекрасным, и еще — не очень далеким, достаточно протянуть руку вверх, разгрести листву — и вот оно, у самых твоих пальцев… Ягод и без того великое множество, но когда смотришь снизу, их видно еще больше. Их уже не скрывают листья, и они, как черные блестящие бусинки, теснятся одна к одной, часто-часто. Адиль, заложив ногу за ногу, не спеша захватывает ягоды полными горстями и отправляет в рот. А когда там, куда дотягивается рука, ягода кончается, он, двигая локтями, меняет место. Но вскоре он ест ягоду уже не горстями, а лениво срывает по одной, словно нехотя раздавливая губами, цедя кислова-

тый сок. Потом, заложив под затылок руки, долго лежит не двигаясь, глядя в голубое небо, блекнущее, когда по нему проплывают облака. Белый щенок, подражая хозяину, тоже распластывается по земле, привалясь грудью к влажной траве; здесь ему прохладно, и он, положив голову на вытянутые лапы, замирает, не издавая ни шороха. Его беспокоят лишь комары да мошки. А не будь их, так сладко можно было бы выспаться, столько увидеть приятных снов! Но после того как они со щенком так вот полежат, отдохнут в полном блаженстве, Адиль, будто внезапно вспомнив о чем-то, произносит «Хоп!» и вскакивает с места. Виляя хвостом, щенок вскакивает за ним и сильно, всем телом встряхивается. Перепрыгивая через родниковые струйки, поблескивающие среди потемневших, гнилых коряг и поваленных стволов, с треском обрывая цепкие нити хмеля, они выбираются из сплошных зарослей. В овраге знойно, душно. Солнце в зените печет, обжигает лоб. Адиль повязывает голову, обритую наголо, носовым платком, и вдвоем со щенком они бегут к перевалу. Здесь дует прохладный ветерок. За перевалом — аул…

Лашыну исполнилось шесть месяцев, он вытянулся, покрупнел и стал больше походить на

взрослую собаку. К этому времени он постиг, что в жизни и обычаях его хозяев, да и не только хозяев, а вообще двуногих существ, есть немало такого, что ему не под силу объяснить. Раньше все или почти все, с чем он сталкивался, казалось ему вполне понятным и разумным. Но теперь, как призадумаешься, то одно, то другое просто не укладывается в голове.

Скажем, та же лошадь. У нее четыре быстрые сильные ноги. Она никогда не спотыкается, не падает, подобно Адилю. А поскачет — и никакому человеку за ней не угнаться. Однажды серая кобыла рассердилась на что-то и давай брыкаться обеими задними ногами, так что изгородь не выдержала, повалилась на землю. А если бы под копыта ей попался человек?.. Что бы от него осталось?.. Но, несмотря на все это, лошадь не выходит у него из повиновения, что ей человек ни прикажет — она все исполняет. Даже маленький Адиль — и тот над ней хозяин. Как это понять?..

Или, например, корова. На голове у нее торчат два рога — толстые, острые. Как-то Лашын крутился рядом с ее теленком, и вдруг она с ревом устремилась на щенка. Не отскочи он в сторону, не пустись наутек, она бы все косточки ему раздробила. И что же?.. Корова тоже покорно служит

человеку. А бедняга верблюд — уж на что страшилище, да еще и с двумя горбами, — он запросто поднимает груз, который и десяти двуногим не под силу, а ведь тоже день за днем смирнехонько выполняет за человека его работу. И ревет, прямо-таки исходит ревом, бедолага, но поперек человека ни за что не пойдет.

Ну, а черный псина, который едва не загрыз его весной?.. Зубы коренные страшенные, кинься он на кого-нибудь — никто перед ним не устоит. Но ведь и он покорен человеку. Покорен и жалок даже — ему не позволяется, как Лашыну, например, входить в дом, дальше порога его не пускают. И главное в жизни — еда — тоже целиком во власти этих двуногих. Они поедают все самое сладкое, самое вкусное, причем едят сколько пожелают. Правда, Лашын в еде не испытывал недостатка, но, судя по тому, как черный псина рыщет по дворам, что-то вынюхивая, Лашын, глядя на его запавшие бока, понимал, что тому не так уж часто доводится досыта набивать свое брюхо.

День ото дня все больше загадок возникало вокруг. Чего стоит хотя бы железная арба, на которой однажды приехали в аул какие-то люди! В нее не было впряжено ни лошади, ни верблюда, бежала она сама собой, к тому же издавая рычанье,

похожее на рокот далекого грома. Другой раз в степи опустилась огромная птица. Вместе с аульчанами, оседлавшими коней, помчался к птице и Лашын. Что же он увидел? Обыкновенное железо, светлое на цвет. Из него вылезли люди, постояли немного, разговаривая с конниками, что-то у них выспрашивая, и снова вернулись внутрь железной птицы. Голос у нее оказался ужасающий, вдобавок птица, взлетая, подняла целую бурю. Если Лашын и остался жив, то потому, что опередил отступавших под жесткой струей ветра лошадей и успел отбежать в сторонку…

Чем таинственней казался ему человек, тем больше Лашын верил в его могущество. Вдобавок произошло событие, после которого Лашын и вовсе перестал удивляться тому, что все живое в мире покорно человеку, он и сам признал его полнейшее, безоговорочное превосходство…

А было так. После очередной вылазки за смородиной они с Адилем возвращались в аул. И едва обогнули высокие кусты ушката, которыми зарос пологий склон, как увидели перед собой Бардасока. В двух шагах, на расстоянии конского повода. Тощий пес, раскидав запасы семян и соломы, собранные полевыми мышами, в нетерпении разгребал лапами мягкую землю. Поскребет-по-

скребет когтями, сунется мордой в нору и нюхает, рыча от жадности. Потом снова принимается за работу и с каждым разом все больше распаляется, чует, наверное, близкую добычу… Адиль замер от удивления, застав собаку за таким странным занятием. Ну, а у Лашына при виде заклятого врага екнуло сердечко. Задрожал он — каждой косточкой, каждым суставчиком — и забился под ноги Адилю, ища защиты. Тогда вспомнилось Адилю, что рассказывал ему отец об этом черном разбойнике, чуть не растерзавшем его щеночка, его милого Лашына, когда тот был совсем еще маленьким…

Он пригнулся, пошарил рукой по земле. Заслышав шорох, пес выдернул морду из норы, но поздно. Едва он успел повернуть голову навстречу опасности, как острый, увесистый камень угодил ему в бок. Отчаянный визг эхом откликнулся в сопках, и пес пустился бежать, выгнув от боли спину горбом. Второй камень, чуть поменьше первого, последовал за Бардасоком, не попал и шмякнулся где-то в кустах таволги. «Черт!..» — с досадой хлопнул себя по бедрам Адиль. Только теперь Лашын, совершенно не ожидавший такого оборота событий, очнулся, очухался. И тут его обуяла ярость. Он загавкал тоненьким

голоском и помчался за улепетывающим Бардасоком. Лишь проводив своего давнего врага на значительное расстояние, он против воли остановился, подчинившись Адилю, который бежал за ним, упрашивая вернуться. И долго еще не мог прийти в себя, оправиться от потрясения, которое перевернуло все его прежние представления о жизни, о собственном существовании, о сильных и слабых. Если Адиль — самый маленький среди ему известных двуногих — способен на такое, то на что способны остальные?..

«Откуда я пришел, кто я, куда иду?..» Нет, столь сложные философские вопросы, понятно, не рождались у щенка в голове. Но после описанных происшествий Лашын убедился, что есть на свете обладатель могущественных, всепобеждающих сил. Повелевая ими, он может все, чего захочет. Имя этому повелителю — человек.

5

Казы, сухо покашливая, с трудом отстегнул крючок на забухшей двери. Лашын опередил хозяина и стремглав выскочил наружу. Выскочил — и зажмурил глаза, ослепленные удивительным ярким светом. Все окрест, вчера еще грязно-серое,

бурое, сегодня переменилось: и дальние холмы, и двор, и крыши сараев — все накрыто празднично-белым покрывалом. Лашын, слегка поеживаясь от свежего воздуха, сделал два-три шага вперед. Что-то слабо похрустывало под его лапами. Он обернулся: за ним четко пропечатались следы. А вот и хозяин — идет к сараю, и за ним тоже тянутся цепочкой отметины. Некоторое время Лашын постоял на месте, в недоумении от нового открытия, потом по примеру хозяина направился к сараю. И опять увидел следы, но похожие на его собственные, только поменьше. Ткнулся носом, принюхался — оказалось, что их оставил Бардасок. Судя по всему, он кружил здесь, выискивая что-нибудь съедобное.

Воздух был чист, свободен от чужих запахов, плотен от морозца, — с каждым вдохом Лашын чувствовал, что его грудь наливается силой. Взметывая сухой, искрящийся снег, он пробежал несколько раз вдоль двора. Ему захотелось помчаться к роднику, — и потом за перевал, похожий на изогнутую верблюжью шею, и еще — порезвиться в поле. Только опасенье, что где-то рядом бродит Бардасок, остановило его. К тому же, увидев, что хозяин вывел коня и привязывает к изгороди с наружной стороны, он решил, что

тот куда-то собирается ехать и, возможно, прихватит его с собой.

Щенок, еще недавно голенастый, куцехвостый, тугобрюхий, уже превратился в почти взрослого борзого. Он окреп, раздался в костях, грудь развернулась вширь, брюхо подтянулось. Его голова, непропорционально большая в сравнении с телом, могла выдержать любые придирки знатоков: темя высокое, умное, уши крупные, в меру широкие, свисающие книзу мохнатыми кончиками. А зубы Лашына, ровные, белые, где положено — длинные и острые, где положено — короткие и крепкие, зубы, которыми невольно залюбуешься, когда он откроет пасть, — зубы эти способны, кажется, перегрызть и самую толстую верблюжью кость.

С тех пор как Адиль вернулся к себе в школу, за подрастающим щенком ухаживал Казы. Не давая борзому пищи, от которой может завязаться жир, Казы дожидался первой пороши. Но, как назло, осень затянулась. Зарядили долгие моросящие дожди, задули тоскливые промозглые ветры. Между тем, если собаку не вывести на охоту до годовалого возраста, мышцы у нее на шее потеряют гибкость, затвердеют, и тогда уже не стать ей ловким, хватким псом. Это в особенности тревожило

Казы. И когда, наконец, выпал первый снег, Казы, проворочавшись всю ночь в постели, поднялся затемно, наскоро оседлал коня, покормил Лашына жидкой похлебкой и, уложившись таким образом в короткое время, необходимое для того, чтобы вскипятить молоко, выехал со двора.

Для охоты он избрал склоны Жауыр-тага. И каких только меток не увидел здесь на свежем снегу Лашын! И крупные, и мелкие следы, большей частью совершенно незнакомые по рисунку и запахам; и то переплетаются, то вытягиваются в цепочки, то расходятся в разные стороны. Он готов был мчаться по каждому следу, только приказ хозяина удерживал, смирял его нетерпение. Но вот обозначился след, похожий на оставленный возле сарая Бардасоком, только не такой крупный. Борзому почуялся длинный, пушистый хвост, за которым он гонялся летом… Опустив голову к земле, пес затрусил по каменистому склону. Однако хозяин за ним не последовал, напротив, понизив голос, позвал назад. Потом указал в противоположную сторону и сам повернул коня. Лашын сообразил, что ошибся. Вскоре он уже уверенно несся по следу, опередив хозяина.

Поблизости от плато, между невысоких сопок,

поросших редким караганником, пушистый хвост неожиданно сбавил бег и пошел петлять, отыскивая добычу меж присыпанными снегом кустами. Кое-где встречались разрытые им мышиные норы; не успевшая смерзнуться земля перемешалась с рыхлым снегом. Пушистый хвост то поднимался на холм, то нырял в ложбину и подолгу петлял из стороны в сторону. Неопытному псу, который все время старательно держал след и раз десять, наверное, возвращался кругами к одному месту, наконец надоело гоняться за не то чересчур хитрым, не то попросту глупым зверем — и без всякого результата… Но когда хозяин приблизился к нему, азарт охоты вновь взыграл в Лашыне, и он, труся по следу, теперь повернул вверх по склону. Едва он перевалил за холм, как заметил внизу, у подножия, метнувшегося в заросли караганника зверя, того самого, которого так долго и безуспешно искал. И хвост у него в самом деле оказался длинный и пушистый, а сам он в чем-то походил обликом на собаку. Но зверь был огненно-рыжий и напоминал раздуваемое ветром пламя… Невозможно было им не залюбоваться! Красным, жарким языком стелилось оно по белому снегу… На какой-то миг Лашын замер, но секундой позже, взметая сильными лапами

снег, уже летел стрелой.

Расстояние стремительно сокращалось. Характерный лисий дух донесся до ноздрей борзого. Лашын отчетливо видел впереди спину зверя. «Я быстр! — ликовал молодой борзой. — О, как я быстр!» Хотя у лисы ноги короткие и на ходу она семенит, при всем том бежит она так, что запросто ее не нагонишь. Лашын был от нее уже на расстоянии аркана, но потом заметил, что промежуток между ними стал увеличиваться. Лисица тянула теперь поперек низины, уходя мало-помалу в сторону сопок. Стоит ей добраться до каменистого склона, и она спасена… Но на беду ей впереди проступил темный силуэт хозяина собаки. Он, видно, решил перебить ей дорогу и скачет наперерез. Лисица тоже напрягла все силы, но человек, нахлестывая коня и крича во все горло, успел отрезать ей путь. Зверь свернул в сторону и побежал наискось. Удалось выиграть небольшое расстояние. Теперь была надежда, что, опередив всадника, ей удастся улизнуть по склону в безопасное место. И правда, через некоторое время всадник, скакавший вдоль подножия сопки, стал отставать. Борзой тоже не был сейчас для лисы опасен. И она, казалось, вот-вот перестанет быть для них досягаемой…

Но в это мгновение впереди открылась широкая впадина. И лисица увидела, что совершила гибельную ошибку. Вдоль впадины земля заросла высокой травой, пересохшей и жесткой, присыпанной тонким слоем снега. Летом здесь зеленел веселый луг, не ведавший серпа, и сочная, разросшаяся на приволье трава скрывала лошадь по самую голову. Теперь же этот луг, увядший и поблекший, представлял неодолимую преграду для лисицы с ее короткими лапами. Как быть?.. Не ведая иного выхода, она кинулась прямо на впадину, на крутом ее склоне трава была не так густа. Но ее сухие стебли кололи и царапали брюхо, и лиса бежала вприпрыжку, всем телом вскидываясь вверх. Зато псу, долгоногому, юному, полному сил, ломкие стебли не могли служить препятствием, скорость его не уменьшалась. Расстояние, которое лисе удалось было выиграть, выжав из своих четырех лап все возможное, быстро сокращалось. «Настигну! — вновь ликовал борзой. — Еще немного… и я ее настигну!»

Лиса была в мыле, ее хвост беспомощно обвис. Он уже не пушился, не раздувался на ветру, а волочился следом, вдобавок ко всему замедляя ее бег. «Сейчас! — торжествовал пес. — Сейчас я

схвачу ее!» Зубы его лязгнули, предвкушая миг, когда конец огненно-рыжего хвоста окажется у него в пасти. Но тут крутой травянистый спуск оборвался, лапы лисицы коснулись твердой гладкой земли, светлой от укрывшего ее снега, с торчащими там и сям стрелками ковыля. Собрав последние силы, изнемогая от когтистого, впившегося в затылок страха, лиса рванулась вперед. Смерть, щелкая пастью, приотстала, но надолго ли?.. Расстояние между лисой и псом — не больше конского повода. К тому же столько сил ушло на то, чтобы одолеть крутой склон… Лапы, потяжелев, уже без прежней легкости отрывались от земли. Но предсмертный ужас гнал лисицу вперед.

Позади размеренно и все громче похрустывал снег, возвещая неуклонное приближение врага, и сдавленное, тяжелое сопенье, которое лиса отчетливо слышала, свидетельствовало, что зубы, острые и безжалостные, готовы вот-вот впиться в ее нежное тело. Пот застилал ей глаза, бурый туман клубился вокруг. Не из надежды, что это избавит ее от опасности, а лишь по привычке, инстинктивно, лисица вскинула хвост — и он вырос на пути у собаки, последнее препятствие и единственная защита. Простодушен был молодой

борзой! До сих пор гнался он за лисицей вовсе не ради того, чтобы схватить ее и разодрать в клочья. Чем-то вроде забавы было для него это преследование. Настичь и, слегка прихватив зубами, повалять на снегу, поиграть в перевертыши. Когда рыжий хвост расцвел у него перед глазами, он и это принял за новую игру и теперь вовсю стремился завладеть хвостом. Но хвост вилял из стороны в сторону и не давался. Только порхнет у самой морды — и тут же метнется вбок. Борзой повернет морду, нацелится, вот-вот схватит — а хвост уже взмыл, упорхнул. Пес по инерции стремглав проносится мимо, а хитрый зверек опять в стороне, на расстоянии курука. Пес в запале скачет за ним, преследует почти по пятам. Но рыжее пламя вспыхивает где-то слева, и потом справа, и снова слева, — борзой хватает пастью пустой воздух, крутит головой и видит, что лиса выиграла у него пространство, которое не одолеть и за три добрых прыжка.

Лашын обессилел от этой погони. А лисица, пока он, задыхаясь, взбирался по крутому склону, свернула неожиданно к зарослям таволги, обежала их кругом, вконец измотав борзого, и припустила вперед по прямой, все так же расстилая по воздуху свой пышный и лукавый хвост.

Еще миг — и она исчезла из глаз, перескочив узкую седловинку между соседними холмиками.

Лашын остановился. Грудь его распирало, язык разбух и не умещался во рту. Ныли ноги, чужие, непослушные, в голове кружилось. Цепочка убегающих вверх следов, переплетенные ветки кустарника, холмы, белые от снега, — все покачивалось, куда-то плыло… Но внезапно борзой встрепенулся, хотя и не поверил себе в первое мгновенье. Та самая лисица, которую он, казалось, окончательно потерял из вида, вынырнула из-за уступа и теперь во весь опор неслась ему навстречу.

Должно быть, хитроумный зверек не подозревал, что пес, гнавшийся за ним, пока всего-навсего «кёк-асык», то есть зеленый, не достигший зрелости, и способен в решающий момент оборвать преследование. Да, такого лиса не ожидала… Перескочив седловину, она метнулась вбок, огибая сопку по каменистому спуску, на котором не оставалось следов. Так рассчитывала она сбить с толку настигавшего ее пса. Но хитрость ее доконала: враг, которого удалось так ловко обмануть, нежданно-негаданно очутился перед нею, лицом к лицу.

Все было кончено, лисица почуяла, что попала

в когти смерти. Она в отчаянии кинулась назад, однако Лашын, успевший немного передохнуть, отдышаться, настиг ее в два прыжка. Стелющийся по земле хвост уже был в его пасти. Лисица обернулась, куснула борзого в морду. И пес, у которого не было мысли причинять зло пушистому зверьку, разозлился, когда в него впились острые зубы. Лиса, высвободившись, вновь пустилась бежать, да где было ей спастись от нависшей над нею громадины! Прыжок — и пес опять завладел ею, вцепился в бедро, ударил оземь, потом сдавил клыками, раз и еще раз, только хрустнули ребрышки…

Подоспел хозяин. Спрыгнув с лошади, он подбежал к собаке, тормошившей безжизненную лису: «Хватит, Лашын, хватит!» Он вырвал из пасти у борзого добычу, приподнял за хвост лисицу и ударил головой о землю.

— Счастливой охоты тебе и твоему потомству!.. — улыбнулся он псу.

Лашын, разумеется, не понял, что кроется за словами хозяина, но уловил главное: тот благодарен ему и очень доволен.

Так борзой научился убивать и уяснил, что за это хвалят. Для него наступила жизнь, полная борьбы и собачьей доблести, кровавых схваток и

неизменных побед.

6

Вскоре слава о борзом разнеслась по всей округе. И редкий мужчина среди живущих в ближних аулах не украсил в ту зиму голову новеньким лисьим тымаком. Все были довольны и хвалили Лашына. Особенно старый Омар. «Теперь я не мерзну, как раньше, в дрянной мерлушковой шапчонке, — говаривал он. — Теперь мне тепло, а все Адиль, воспитавший такую собаку, да процветет его потомство, да не переводятся у него пятерки, да будет он первым из сверстников!..» Чаще всего повторял он эти слова, когда заходил в дом Казы услышать свежие вести о своем, любимце. Чабаны и сторожа с окрестных зимовок или сами заворачивали к Казы, или передавали привет через посланца, но так или иначе каждый разжился у него лисой. А Беккали, заведующий фермой, даже двумя лисьими тымаками обзавелся: один надевал в ауле, другой — когда ехал в колхозное правление или в район. И только продавец Есенжол остался без лисы. «Пускай сначала перестанет обсчитывать народ на своих счетах, — якобы сказал Казы. — Да пускай не

обманывает и не ябедничает!»

Как-то раз, недолгое время спустя после первой охоты, Казы уехал из аула вместе с Беккали, который спешил в районный центр с годовым отчетом. Вернулись они домой недели через две. Вечером в тот день жители четырех домов, именуемых в совокупности центральной усадьбой фермы, собрались у Казы. В отличие от обычного, посреди круглого стола выстроились три бутылки с прозрачной жидкостью. Но не было за дастарханом веселого оживления, от которого светом и радостью наполнился дом после приезда Адиля. Говорил большей частью Омар, остальные же — и толстый Беккали, у которого, несмотря на то что ему не исполнилось тридцати, выпирал живот и жирно лоснились тугие щеки, и увертливый, подобно рыжей лисице, рябой Есенжол, и картавящая на каждом слове Айсулу, — все они старательно заливали в себя прозрачную водичку. Даже Камила и жена Беккали отведали ее разок. Лашын заметил, как та и другая при этом сморщились, закрутили носами. Не очень-то, наверное, вкусна прозрачная водица, горчит… Но хозяин от нее не отказывался. И гостям подливал, уговаривал пить до самого донышка, и о себе не забывал. Закашляется, захрипит с при-

свистом — и тут же опрокинет в рот стаканчик. А потом и вовсе странно себя повел: гости еще не разошлись, а хозяин привалился к подушке и заснул, захрапел. Не похоже на него это… Нет, не похоже. Что-то случилось у него, какая-то перемена в жизни.

Казы часто выезжал на охоту, особенно если выпадала пороша, на которой зверь оставляет свежие, отчетливые следы. Спозаранок пускались они с Лашыном на поиски добычи, случался ли на ту пору, как называют казахи, «долгий сонар», когда снег прекращается к полуночи, или «кровавый сонар», когда валит до самого утра, или «короткий сонар», когда сыплется мелкий и день и ночь: по снегу, как по странице в открытой книге, опытный глаз прочитает, давно ли проходил зверь и далеко ли успел уйти. А иной раз, не дожидаясь погоды, Казы целиком полагался на пса, на его нюх, сметку и скорость. И не зря: даже в самые неудачливые дни возвращались они по крайней мере с парой зайцев. Лашын окреп, тело у него стало упругим, налились мускулы, незнакомым людям его вид и размеры внушали невольную опаску. Правда, у себя в ауле он держался довольно робко, вспоминая, возможно, какого страха натерпелся в этих местах когда-то,

в пасти черного пса…

Но однажды вечером, когда непрестанно кашляющий Казы, выпив горькой водицы, прилег и укрылся, чтобы пропотеть, Лашын выскочил за дверь и замер у порога как прикованный: во дворе был Бардасок. Он остерегался обычно появляться во владениях Лашына, но сейчас нарушил запрет и с жадностью рылся в куче отбросов. Он тоже заметил борзого. Бардасок стоял к нему вполоборота и только повернул голову, оскалился и зарычал. Однако Лашыну послышалось в его рычанье больше боязни, чем угрозы. Несколько удивленный и успокоенный этим, Лашын пригляделся к псу, которого давненько не видел. Тот словно сделался меньше ростом и был какой-то потрепанный, жалкий на вид. Он, видимо, тоже сопоставил свои силы и силы борзого и понял, что потасовка не обещает ему ничего хорошего. Глухо рыча, он поджал хвост и пустился наутек по направлению к своему дому. На борзого внезапно нахлынула ярость. В несколько прыжков настиг черного кобеля и тем же способом, каким бросался на лисиц, ухватил его, вцепился зубами в пах, шмякнул о землю и навалился всем телом сверху. Но кобель оказался посильнее лисы. Истошно воя, он кусал борзого куда придется,

и лишь когда острые клыки сомкнулись у него на горле, прекратил сопротивление. Хриплые звуки сдавленно клокотали у него в глотке, лапы конвульсивно дергались и скребли землю.

Кровь заливала борзому глаза. Ничего не видя перед собой, он продолжал душить Бардасока. Только неожиданный удар заставил его прийти в себя. На мгновение Лашыну показалось, что хребет у него треснул, переломился надвое — это изо всей мочи пнул его кованым сапогом Есенжол. И тут же замахнулся во второй раз. Лашын увернулся. Выпустив свою жертву, он отскочил в сторону, но не побежал — остановился напротив, оскалил зубы.

Казы, до которого донесся шум собачьей грызни, выскочил на улицу и, прихрамывая, кинулся к Есенжолу.

— Эй, ты чего мою собаку бьешь? — закричал он.

— Бью?.. Да я шкуру с нее сдеру!

— Шкуру?.. Да ты… Ты кто такой?..

— Ах, ты еще не знаешь?.. — усмехнулся Есенжол. — Ну так узнаешь. Я тебя заставлю узнать. Отправишься следом за племянничком.

— До моего племянника тебе дела нет, — сказал Казы, внезапно притихнув. — А мне ты не грози.

Люди говорят: правду согнешь, да не сломаешь. Я кровь проливал. Это всем известно. Вот! — И Казы, чуть пригнувшись, хлопнул себя ладонью по деревянной ноге.

— Э, голубок, видали мы таких чистеньких! Ангелы с крылышками, да и только! — Голос у Есенжола взвился вверх и задрожал. Он чем дальше, тем больше взвинчивался, срывался на крик. — Думаешь, все ослепли, бдительность потеряли? Не все! И у нас есть глаза и уши!.. Ты у себя в Красной юрте какие книжки собираешь? А?.. Какие, говорю, книжки?..

— Как это — какие? Те самые, которые советские издательства выпускают.

— Их предатели выпускают, вроде твоего племянничка! Все вы одного поля ягода… Я, думаешь, не знаю, какие книжки у тебя летом сын Есенжана брал, студент?.. Все немецкие да американские. А нашим грамотеям ты что суешь? Старые книжки, старые! Которые о прошлом плачут, про них в газетах писали! Спалить бы давно их надо, а ты припрятываешь. Может, ответишь — зачем? А?.. Молчишь? Ну, молчи. Зато честные люди молчать не будут!..

— Заткни свой поганый рот, бесстыжая тварь! — Казы ухватил Есенжола за ворот.

Их уже со всех сторон обступили соседи.

— Вот так, уважаемые! Смотрите! — сказал Есенжол, воздевая руки. — Смотрите… Его борзой моего пса задрал, а теперь он и меня хочет убить. Будьте свидетелями!..

— Мразь! — процедил Казы сквозь зубы. — Или тебе и правду набить рожу!..

— А ты попробуй, попробуй… — Есенжол без усилия высвободил ворот из разжавшихся пальцев и резко оттолкнул Казы. Глядя на своего недруга, неуклюже осевшего в снег, бросил: — Пьянчуга несчастный! — и, брезгливо хмыкнув, пошел прочь.

Лашыну остались непонятны слова, произнесенные во время скандала. Но ясно было, что причиной ссоры послужила его схватка с Бардасоком. Когда Казы схватил Есенжола за ворот, у борзого дыбом поднялась шерсть на спине, он бы кинулся хозяину на помощь, не помешай ему подоспевшие люди. Тем не менее Лашын не сомневался, что хозяин одержит верх над щуплым и тщедушным продавцом. Но случилось иначе…

Обычно Лашын не придавал значения тому, как люди относятся друг к другу. Правда, двуногие бывают разные. Камила, например, пользуясь тем, что она больше Адиля, наедине частенько

его поколачивала, после чего мальчик уходил, чтобы пригнать кобылу, или отправлялся за водой. А однажды, когда Камила особенно наседала на Адиля, Казы запустил в нее сапогом, который в тот момент стаскивал с ноги… Но всему этому Лашын не придавал значения. Зато схватка, причиной которой был он, убедила борзого, что люди, подобно всему живому, делятся на сильных и слабых… Впрочем, уважение к хозяину у Лашына не уменьшилось. Поняв, что в трудную минуту он готов за него заступиться, не полагаясь на собственное превосходство над врагом, Лашын полюбил его даже больше прежнего…

7

Бардасок, едва избежавший смерти, теперь и приблизиться не смел к дому Казы. Стоило ему издали завидеть Лашына, как он поспешно прятался. Что же до Казы, то хоть он и потерпел поражение в стычке с Есенжолом, однако в присутствии продавца ничуть не робел. Раз в два-три дня он заходил в магазин, доставал из кармана похрустывающую бумагу и вручал Есенжолу, а за пазуху заталкивал бутылку, наполненную горькой водичкой…

Борзому нравилось, когда они с хозяином направлялись в ту сторону, где стоял дом продавца, примыкающий к магазину. Бардасок, почуяв их приближение, терял покой. Он забегал в сени, выскакивал наружу и снова прятался, а когда у него исчезали последние сомнения, предпочитал убраться со двора. Казы, впрочем, не заглядывал к Есенжолу в дом, он открывал дверь тесной лавчонки, в которой и двоим не повернуться, и тут же, на пороге, запускал руку в карман…

Дорога в ту сторону борзому была по вкусу, а обратная — нет. Стоило ему немного удалиться от дома продавца, следуя за торопливо ковыляющим хозяином, как Бардасок, взобравшись на кучу прелого навоза, разражался вдогонку хриплым от ярости лаем: «Испугались? Ну, то-то же! Проваливайте прочь, пока целы!» Остановится Лашын, оглянется — черный кобель сразу же смолкнет. Еще и в подворотню забьется, поджав хвост. Но едва борзой тронется за хозяином, тот опять за свое. Поначалу это злило Лашына, хотелось кинуться, проучить хорошенько наглого труса, однако вскоре он перестал обращать на него внимание. Другое тревожило Лашына. Вернувшись домой, хозяин ударом ладони о дно бутылки вышибал из горлышка пробку, наливал

до краев граненый стакан и выпивал залпом. После этого, чувствовал Лашын, что-то в нем изменялось… Нет, собаку он не обижал и Камилу не трогал, — она и без того на цыпочках, тише тени, ходила по дому… Обхватив руками голову, хозяин подолгу сидел без движения. Но каким бы смирным ни казался он, Лашын в такие минуты его побаивался.

Все дома наперечет в ауле, расположенном рядом с фермой. В магазин, снабжающий жителей чаем, сахаром, разным продовольствием и одеждой, за целый день явится три-четыре покупателя. Но Есенжол неукоснительно высиживает за прилавком положенное время — с десяти утра и до шести вечера. Стучит костяшками на счетах, что-то подсчитывает, пересчитывает, распаковывает, увязывает. Разве что в обед позволит себе часовой перерыв, не считая воскресного отдыха. Зато уж если, скажем, в выходной день приедут чабаны с отдаленных зимовок, то проси не проси, а замок с дверей не снимет. «Магазин опечатан, права не имею нарушать государственные порядки, — говорит он сухо. — У меня, дорогие, одна голова на плечах». И остается либо поворачивать восвояси, либо дожидаться завтрашнего дня. Люди, которые круглый год пасли скот, не зная

выходных, привыкли к такому обхождению. Им и в голову не приходило возмущаться или жаловаться. И хотя поговаривали, что Есенжол продает товары по завышенной цене, да еще и обсчитывает покупателей, на это смотрели сквозь пальцы. Мол, здесь, в степной глуши, и за такой магазин спасибо, а разживется Есенжол десятью — пятнадцатью копейками — тоже не беда… Широка душа у степняков, не привыкла мелочиться, считать обиды!

Как-то Казы вернулся домой без привычной бутылки. Кончилась горькая водичка, не поверил бы, да сам Есенжол показал ему пустой ящик. Что поделаешь, раздосадованный Казы, прихрамывая больше, чем всегда, заковылял к дому. Хозяин был хмур, зато Лашын весел. Хрустя затвердевшим после бурана снегом, он кругами носился возле хозяина, раза два или три вывалялся в сугробе. С неба сеялись редкие крупинки. Значит, к вечеру пойдет снег, и завтра они не станут отсиживаться дома.

Казы словно угадал, на что надеется борзой. Он сводил коня на водопой к роднику, потом поставил на привязи у плетня, вынес охапку душистого сена; зайдя в сарай, привел в порядок седло с принадлежностями. И только когда баг-

рово-красное солнце, слабо просвечивая сквозь низкие облака, скрылось за горизонтом, они с Лашыном вошли в дом.

В комнате было сумеречно. Казы сбросил сапог, поставил у входа, снял протез, по обыкновению затолкнул под кровать. И прилег перед печкой, облокотясь на подушку, поверх сырмака, настланного на сложенное вдвое одеяло. Собака расположилась у хозяина в ногах. Окно все плотней затягивала ночная темь, ползущая в дом сквозь заиндевевшие стекла. Лишь отблески огня, с треском и шипеньем пожиравшего кизяк под чугунной плитой, вспыхивали на стенах и низком потолке. Порывистый ветер, задувая в трубу, временами гнал пламя внутрь, и оно выбивалось острыми язычками из-за печной заслонки. Тогда на мгновение комната озарялась тревожно и резко. Борзой видел, как хозяин, по-прежнему мрачный, безмолвный, лежит, уставясь в угол тоскующими глазами.

Кизяк в печи мало-помалу выгорал, превращаясь в подернутые сероватым пеплом угольки, темнота вокруг становилась все гуще. Только раскаленная чугунная плита под чайником и побулькивающим казаном угрюмо светилась багряным жаром. В казане варилось мясо, Лашыну

щекотал ноздри, сладко дурманил голову запах поспевающей конины… Но хозяин вдруг поднялся и, прыгая на одной ноге, скрылся в соседней комнате. Он вернулся с домброй в руках. Вновь усевшись возле печки, он посидел, помолчал — и начал наигрывать незнакомую, не слышанную Лашыном до сих пор мелодию.

Пальцы его не ударяли по струнам, а как бы осторожно, едва касаясь, пересчитывали их. Мурашки, неведомо отчего, побежали у собаки по телу. Грусть, странная, непонятная, заполнила душу, — грусть и словно бы ожидание чего-то. Лашыну представилось урочище с колышущейся зеленой травой, и вершины холмов, и желтая, спаленная солнцем степь. И будто бы пробираются они с хозяином по некошеному лугу, а потом переваливают гряду бесконечных, вдаль уходящих, сопок и устремляются в неоглядно широкую степь. Прохладой веет с ласково-синего неба, ровно и весело рысит конь. Мелкая пыль вьется кудрявой пряжей из-под копыт и тут же рассеивается, будто растворяется в воздухе. Следам снующего повсюду зверья нет числа. Но они едут все прямо и прямо, не обращая на них внимания. Ах, сколько запахов! Лашын водит носом, ловит запах полевых цветов, запах полыни, ковыля,

запах знакомых и незнакомых тварей. Вот из-под куста в испуге метнулся заяц, а там, под коричневатым стволом таволги, затаилась лисица… Но охотничий азарт заглох в борзом: он не кидается к лисице, не терзает клыками, не душит, придавив к земле. Нет. Одно-единственное чувство целиком захватило его, одна-единственная мечта… Что это за чувство, что за мечта — Лашын и сам не знает. Перевалы и сопки опять и опять сменяются новыми перевалами и сопками, нет края у желтой степи… А они с хозяином стремятся вперед и вперед…

И вдруг — всему конец. Не в силах перевести дыхание, хозяин зашелся, захлебнулся в кашле. Оборвалась песня домбры… Громыхнула дверь, и в окружении морозных клубов появилась Камила. Она, видно, продрогла, устраивая на ночь скотину, и еще дверь не успела закрыться, как послышалась ее воркотня. Казы удержал в груди кашель и, дыша с присвистом, помалкивал. Камила, по-прежнему ворча, скинула на ходу верхнюю одежду, присела на корточки, протянув руки к догорающей плите, немного согрелась, потом засветила десятилинейную лампу, пододвинула к Казы круглый стол, расстелила скатерку. Лампу она поставила на стол поближе к дверям, а сама,

взяв большое, с полустертой росписью блюдо и дуршлаг, принялась вынимать из казана мясо.

Хозяин, разрезая конину, бросил борзому жирную мозговую кость. На ней уцелел кусочек мяса — размером с детский кулачок. Камила что-то неодобрительно буркнула. Казы и теперь промолчал, положив перед женой позвонок, обросший мясом на добрый палец. Камила, однако, не оценила этого и тут же сердито затараторила о чем-то. Ее маленький, с наперсток, румяный рот не закрывался, черные блестящие зрачки, казалось, рассыпают искры, миловидное лицо потемнело. Глядя на нее из своего угла, борзой и костью не мог насладиться в полное удовольствие. Что-то подозрительное чуялось ему, страх зябким ветерком тронул его затылок… Он успокоился немного, лишь когда Камила сполна выговорилась и утихла. Хозяин и его жена принялись за еду, но были оба хмуры, озабочены. Лашын поймал на лету кость, брошенную ему…

Эх, даже то невеселое времечко, вспоминая, будет казаться Лашыну завидным…

8

Наутро, раным-рано, когда так и манило подремать до рассвета, они с хозяином поднялись и, едва забрезжило на востоке, отправились в путь. Снег, недолго падавший вчера вечером, сдуло порывами ветра в низкие места, и теперь на фоне застарелой, потемневшей корки, покрывающей из конца в конец всю степь, он выделялся белесыми пятнами. Пестрой и безрадостной выглядела равнина, словно сшитая из грязных лоскутьев. От предутренней стужи воздух сделался жестким и острым, как стальное лезвие. И подобно реке, скованной льдом в ветреный день, коченела в тяжелом безмолвии степь с глыбами приземистых сопок, изломанными гребнями холмов, и не было кругом ничего живого, радующего глаз, кроме чернеющих то здесь то там редких кустов таволги. Но то ли от холода, то ли от предчувствия кровавых схваток все тело борзого, едва они вышли из дома, пронзила легкая дрожь.

Аул остался позади. Лашын постепенно пришел в себя, бег его стал живее, стремительней. Он продвигался впереди хозяина, на расстоянии аркана, уклоняясь то вправо, то влево, зорко

посматривая по сторонам. Казы понимал, что нелегкое дело в такой день и на след напасть, и поймать лису, но тем не менее надеялся на удачу. Авось подфартит судьба, и случай, как говорится, подмаслит тороку седла…

Позади, отделив от горизонта длинное, похожее на ленту облако, показалось солнце. Оно было большое и круглое, как крышка у казана, и красное, как раскаленное в огне железо. Лучи его, разливаясь во все стороны, не согревали, казалось, небо и землю, а добавляли холода. И все же мир преобразился. Мертвая, оцепеневшая степь вздохнула и ожила. Если теневая сторона заснеженных гребней выглядела по-прежнему темной, зловещей, то солнечная заиграла, вспыхнула золотисто-розовыми блестками. Ну, а лощинки, где скопился выпавший накануне снег, засверкали чистейшим серебром.

Еще через некоторое время, когда сумрачные долгие тени стали короче и посветлели, как бы подтаяли на белесом снегу, впереди метнулся заяц. До него было далеко, но у Лашына уже давно гудели лапы, и, хотя заяц, почуяв опасность, тут же помчался вверх по косогору, пес прямо с места рванулся за ним. В темпе, который он взял, ему понадобилось совсем немного, чтобы

приблизиться к зайцу. Казы, пришпорив коня, не сомневался, что вот-вот перережет заячью глотку, разбрызгав по снегу алую кровь, и подцепит белую тушку задними лапами к своему седлу. Вероятно, и Лашыну мерещилось то же самое… Но случилось иначе. Заяц, слыша у себя за спиной нарастающее хрустенье снега, летел стрелой. Лашын выложился до конца, но расстояние между ними не сократилось. Оба выскочили на разглаженное в ровную площадку плато. Но как ни трамбовал его ветер, а снег здесь был все же рыхловат. Зайца-то он выдерживал, а собака в нем то и дело проваливалась. Лашын видел: заяц медленно, но верно удаляется от него…

Он успел на своем веку переловить столько лисиц и зайцев, что хорошо усвоил: звери бывают разные — и тихоходы, не способные к быстрому бегу, и резвые, словно ветер, а потому в конечном счете все решается не только тем, с близкого или дальнего расстояния началась погоня. Этот долгоногий беляк, уже начавший линять с хвоста — хвост был заметно темнее тела, — явно выделялся среди своих собратьев. Он то собирался в горсть, то расстилался над землей — и мчался так, что ни одной живой душе не угнаться. Но гордость пса, не знавшего поражений, ни за что

не дала бы Лашыну признать себя побежденным. Где там! Рано или поздно, а он поймает и этого косого, схватит, распотрошит. Он старался бежать ровно, кровь бесчисленных предков придавала ему задор, он стремился только не упустить зайца из виду.

Подъем за подъемом, лощина за лощиной… Тяжестью налились ноги, но Лашын не сдавался. Наконец, когда пересекли заросшую кияком и засыпанную рыхлым снегом низину и стали вновь подниматься вверх по склону, Лашын заметил, что заяц от него всего на расстоянии аркана. И бежит уже не так сноровисто, как прежде. И длинные уши у него обвисли от усталости… Пес напрягся, собрал последние силы и рванулся вперед. Но заяц, обезумев от страха, первым выскочил на перевал. Выскочил — и ринулся вниз, туда, где чернели кусты караганника. Измотанный пес только зубами лязгнул, увидев, как беляк нырнул в чащу. Борзого хлестали по морде промерзшие ветки, он с трудом продирался сквозь них. Тем временем юркий заяц окончательно ускользнул от него и бесследно пропал. Бесследно — потому что внутри зарослей караганника, тянувшихся по склону сколько видел глаз, было множество заячьих троп, спутанных, петляющих,

пересекающихся, отыскать среди них единственно верную было невозможно. Лашын, высунув язык, тяжело дыша, потерянно ткнулся в одну сторону, потом в другую, понял, что потерял длинноухого, и повернул назад.

Казы, в шубе с разлетающимися на ветру полами, гнал запаленную лошадь по следу Лашына. Увидев борзого, он спрыгнул с седла, неуклюже крутнув в воздухе деревяшкой. Первым делом он внимательно пригляделся к собаке, осмотрел морду, пасть, возбужденно дышавшую грудь. Но кровяных брызг на белой шерсти не заметил. Как же так?.. Он был не столько раздосадован, сколько удивлен. До сих пор Казы полагал, что не найдется зверя, которого упустит его собака. Наверное, вся беда в насте, покрывающем снег и ломающемся под тяжестью борзого…

Сезон, когда охотятся на зайцев, уже миновал. Но по приметам, в которые кто верит, кто нет, если на выезде из дома встретится заяц, его непременно надо затравить. Иначе охота в тот день выдастся неудачной и назавтра вряд ли что-нибудь путное подвернется… Ну да к чему дальше мешкать? Казы проверил у собаки лапы. Они были целы, только сам пес выглядел унылым и глаза смотрели виновато, пристыженно. У

него пропотела и взмокла шея, бока, сопрело под мышками. Кое-где шерсть обметало инеем. Скинув шубу из поярковых шкурок, Казы разостлал ее на снегу и укутал пса. Потом вынул откуда-то небольшой кусок желтого курдючного сала и вложил собаке в пасть.

Когда прошло время, достаточное для одной дойки, Казы оседлал коня и повернул его в сторону аула. Что делать, приходилось смириться с тем, что сегодня им не повезло… Но Лашыну, видно, думалось иначе. Силы у него восстановились, он успел передохнуть. Борзой по обыкновению вырвался вперед и рыскал, сворачивая то вправо, то влево, дотошно выискивая след. Правда, без всякого успеха. Таким образом они двигались довольно долго, прежде чем добрались до широкого плоскогорья. Здесь паслись овцы. Затвердевшая на морозе корка тут и там была пробита острыми копытцами, зернистый снег перемешан с землей и мелкой ледяной крошкой. В нем тонули, пригревшись на солнце, темные овечьи катыши. Кое-где подрагивали, пригибаясь под ветром, редкие, чахлые былинки, уцелевшие от нашествия многочисленных отар.

На пастбище борзой, уже совсем, казалось, потерявший надежду отыскать след, сразу почу-

ял присутствие незнакомого запаха. Запах был свежий, зверь, видно, только что здесь прошел. Лашын закружил на месте, принюхиваясь, и тут же напал на след. Обыкновенный собачий след, оставленный на снегу, взрыхленном овечьими копытцами. Но запах… Нет, конечно же, это не заяц. И не лиса. Слишком крупный отпечаток… Это враг. Да, враг… Пес возбудился; недавняя злость, связанная с потерей зайца, вновь заклокотала в нем. От кончиков ушей до хвоста по телу Лашына пробежала резкая дрожь, на спине шерсть поднялась дыбом; немного постояв, как бы успокаивая себя, борзой тронулся вперед.

Враг — а Лашын, не зная, кто это, уже совершенно отчетливо чувствовал, что это враг, — бежал вдогонку за отарой, которая разбрелась по пастбищу. Лашын трусил не торопясь, чтобы не потерять взятый след. Когда он поднялся на перевал, километрах в полутора показалась пестрая, из черных и белых пятен, рассыпанная по косогору отара. Здесь, на приволье, паслись овцы между темневшими кое-где кустами таволги и уже проступившими на снегу проталинами. И было видно, как чабан, сидя на противоположном склоне, от скуки забавляется тем, что складывает из камешков курган. Конь его, со

спутанными ногами, пощипывал внизу прошлогоднюю травку…

Неожиданно прямо перед собой Лашын заметил рослого серого пса. Порысит-порысит — и остановится позади какого-нибудь выступа или холмика. Будто хоронясь… Боевой дух взыграл в борзом, лай — пронзительный, яростный — рассек стылое безмолвие. Раза два или три подал голос Лашын и — такого никогда не случалось — кубарем покатился вниз по склону. Где-то за спиной раздался подбадривающий окрик хозяина.

Серый резко приостановился, едва почувствовал опасность, и тут же повернул в сторону высоких сопок. Его, вероятно, смутил не только человек, упорно скакавший следом, а и собака, грудастая, крупная, — часто оглядываясь на нее, он невольно замедлял бег. Ему не удалось уйти далеко, пес настиг его за первым же перевалом. Голос хозяина подхлестывал борзого, и Лашын, чуя, что противник его боится, нагнав серого, по старой привычке, как лису, вцепился зубами ему в пах. И хотел вскинуть в воздух и с силой шмякнуть о землю. Но серый оказался куда тяжелее, чем Лашын предполагал. И тело у него было мощное, крепкое, он сразу дал понять Лашыну, что его

не так-то просто подмять под себя; только зад у него дернулся, когда Лашын ухватил зубами волчье тело. И в тот же миг острые клыки щелкнули у самого уха Лашына. Но серый не рассчитал, оборачиваясь, и чуть-чуть не дотянулся, чтобы вцепиться борзому в морду. Когда он вторично, с красными, налитыми кровью глазами, наскочил на пса, сверкнув оскалом длинных белых зубов, Лашын успел увернуться. Серый глотнул пустой воздух, но зато сумел высвободиться из железной пасти борзого. Раздался крик — это кричал скакавший на коне Казы. Серый, оставляя позади кровавый след, пустился бежать. Лашын кинулся за ним, взбешенный тем, что не сумел в схватке одолеть и подмять волка. Но что на сей раз противник попался не из слабых — это он уже понял. И понял, что лишь быстрота и увертливость помогли ему самому остаться невредимым. Однако страха у него не было, напротив, ожесточение придавало ему силу и смелость.

После того как борзой чуть не до смерти закусал Бардасока, он стал охочим до драк. Не было от Лашына покоя собакам, которые сопровождали хозяев, приезжавших в аул с окрестных зимовок. Быстрый, ловкий, сноровистый, как и положено псу его породы, Лашын одерживал верх над сто-

рожевыми собаками, не уступавшими ему в силе. Случалось и борзому отведать их клыков. Но из любой схватки в конечном счете он выходил победителем. А собака, хотя бы раз побывавшая его жертвой, больше никогда не рисковала заглядывать в аул.

Помня о прежних победах над косматыми сторожевыми псами, Лашын решил применить испытанный прием. Следовало, улучив момент, вцепиться волку чуть пониже уха или в глотку. Волк, почуяв, что бегством ему не спастись, уже не надеялся на свои ноги. Он видел, что единственный шанс уцелеть — это осилить противника в кровавом поединке. Угрюмым, беспощадным огнем горели его глаза. Волк и собака, следя за малейшим движением друг друга, бежали почти рядом, почти соприкасаясь мордами и стараясь улучить подходящий момент для нападения. Они порядком опередили Казы, который следовал за ними. Серый только того и дожидался: он внезапно прервал бег и стремительным скачком рванулся к Лашыну, по инерции продолжавшему двигаться вперед. И на этот раз увертливость спасла борзого — волк успел вцепиться ему в бок и вырвать кусок мяса меж ребер, но и только. Из раны хлестнула кровь… Лашын, впрочем, не

заметил этого в пылу схватки. Ему почудилось было, что бок опалило пламенем, но и это чувство тут же исчезло, растворясь в ярости, которая теперь бушевала в каждой его жилке.

И все же он пока не кидался на волка. Это волк, все с тем же угрюмым, беспощадным огнем в глазах, наскакивал на пса, напряженно замершего, неподвижного. И ни звука не издавали ни тот, ни другой — не было слышно ни лая, ни рычанья. Только учащенное дыханье вырывалось из волчьей пасти да зубы щелкали, хватая воздух.

Лашын выжидал. Ему достаточно было поймать волка на единственном неверном движении, чтобы сокрушающим броском закончить поединок. Все решала выдержка…

И он дождался своего. Волк, поверив, что он намного превосходит собаку в силе, утратил терпение и осторожность. Рывок… Но Лашын ловко увернулся и в свою очередь кинулся на волка. Он целил в глотку. Но просчитался — вцепился в толстую волчью шею. Зато вцепился намертво. Зубы его глубоко вошли в волчье тело. Волк тоже попытался ухватить собаку за плечо, но зубы лишь содрали лоскут кожи, покрытый гладкой шерстью. Лашын продолжал все глубже вонзать клыки, намереваясь вывернуть волку шею и сва-

лить зверя на землю. Однако тот не поддавался. И мускулистая шея была крепка, клыки словно вросли в нее и затвердели. Но Лашын чувствовал, долго волку в таком положении не продержаться, и яростно рычал, пытаясь плотнее сомкнуть челюсти. Только бы не дать вырваться… Вдруг позади раздался конский топот и зычный голос хозяина. Волк, упершийся в землю всеми четырьмя лапами, чуть ослаб, подался, и Лашын, ощутив новый прилив сил, в один миг свернул зверю шею. Волк упал, неуклюже задрыгав лапами в воздухе. И все-таки он еще не сдался, еще пробовал подняться, столкнуть с себя борзого, и комья снега, перемешанного с землей, летели из-под его лап.

Но в это время, бормоча себе под нос «бог в помощь» или что-то в этом роде, с лошади скорее скатился, чем спрыгнул, Казы. Спотыкаясь и падая на бегу, он выхватил из-за голенища широкий охотничий нож и полоснул волка по брюху.

Пришлось вложить борзому в пасть конец рукоятки камчи, чтобы разжались сведенные намертво челюсти. На боку у Лашына была рана, довольно большая, но не опасная: на ребрах была содрана кожа, вырван клок мяса… Заживет. А раны на груди, на лопатках — так, простые цара-

пины, затянутся через пять-шесть дней. Казы был рад, что удалось остановить кровь, сочившуюся из тела собаки.

И в самом деле, Лашын вскоре поправился. Правда, рана на боку, размером в ладонь, довольно долго гноилась, но наконец и она заросла рубцом… Зато Казы, которого на охоте прохватило холодным ветром, слег в постель.

9

Стаял снег, в степи зазеленело, и небо, поголубев, словно раздвинулось вглубь и вширь. Семья Казы погрузила на скрипучую, высохшую арбу старую войлочную юрту, которая долго хранилась в сарае, и, пристроясь к цепочке верблюдов с такой же поклажей, направилась в сторону джайляу, на сенокос. Красная юрта перешла под начало жены Есенжола — картавой Айсулу. Казы это не огорчило. Чувствуя, что болезнь одолевает, он предпочел вести спокойную жизнь, не ерепениться попусту и пить свежий кумыс от собственной кобылицы.

Сенокосный аул — так называли пять-шесть юрт, где жили скотоводы, обязанные заготовить сено и корма для колхозных отар. А овцы, ко-

торых пасли они сами, на лето были розданы по соседним отарам. Поэтому у каждой семьи осталось две-три собаки, временно лишенных привычного занятия. Многие из них были простые дворовые кобели, но встречались и редкие полукровки. Некоторые оказались знакомцами Лашына, не раз получавшими от него взбучку, с прочими — тем же порядком — познакомился он теперь. Хозяева нередко вступались за покусанных собак, доходило до ссоры, но не до такого жестокого скандала, как тот, что случился зимой между Казы и Есенжолом. Собаки — они и есть собаки, стоит ли из-за них оскорблять друг друга?.. После того как все обосновались и пообвыкли на джайляу, однажды в густеющих вечерних сумерках на тарахтящей, быстроходной арбе, которая двигалась сама собой, в аул прикатили трое незнакомцев, на взгляд Лашына — чрезвычайно странно одетых, и, не задерживаясь долго, увезли с собой Казы. Лашын, впрочем, не придал этому событию значения. Он был в расцвете сил, в поре зрелости, когда перед ним впервые приоткрылся неизведанный и влекущий мир чувств, о которых до того времени он не имел представления. И всему причиной была сука — полукровка по кличке Ушар. С того времени, как она вошла в

период течки, все аульные кобели бегали за нею по пятам.

Вот когда закипели кровавые сражения!.. Лашын зачастую оставался в одиночестве, и не так-то просто ему бывало устоять против целой своры разъяренных собак! Шерсть взлетала клочьями, иные, ростом с годовалого теленка, лохматые псы лишались уха, иные бежали с поля битвы, истекая кровью, но и сам Лашын потом подолгу зализывал глубокие раны. И все же, одолев соперников, он остался единоличным обладателем красавицы Ушар. Прочие собаки, поглядывая, как они развлекаются, только кружили в отдалении, не рискуя им помешать. Но не успел борзой в полной мере насладиться торжеством, как вместе с другими аульными ребятами приехал на летние каникулы Адиль. И первое, что он сделал, это разогнал палкой остальных собак, взял за ошейник Лашына, привел к юрте и привязал к порогу на волосяной повод. Борзой хоть и радовался появлению маленького хозяина, но такой поступок не мог одобрить. Однако ни жалобное поскуливание, ни беспокойный лай не тронули Адиля. Он освободил пса только тогда, когда все собачьи страсти в ауле приутихли.

Адиль во многом изменился. Он, разумеется, за

год подрос, отпустил на лоб челку, но главное — сделался не по возрасту серьезным. Говорил мало, во всем старался походить на взрослого. Игры с аульными детьми его не привлекали. В юрте было с десяток толстых и тонких книг, ими-то и занялся Адиль, каждой по очереди. С одной же и вовсе не расставался — читал и про себя, и вслух, с выражением. И когда слышался в юрте звонкий голос Адиля, дверь широко распахивалась от легкого удара посоха, и в юрту входил старый Омар, перебравшийся вместе с Казы на джайляу и здесь исполняющий обязанности точильщика кос.

Он располагался на тёре, подвернув под себя по-турецки ноги, слушал мальчика и спрашивал:

— Про какого батыра ты читаешь — как его имя?

— Алпамыс.

— Умница, голубок… Одинокому, говорят, бог — опора. Он тоже у отца с матерью единственный был, как ты. В огне не горел, в воде не тонул, стрела его не брала и меч не рубил, в одиночку против многотысячного войска ходил, потому что храбрым батыром был, мужественным, страха не ведал. Нет уж батыров таких, перевелись… И силы такой нет в человеке. Зато знания есть, мудрые книги, — они дают человеку могущество,

силу, крыльями награждают, львиное сердце дарят, зажигают звезду в груди. Учись, голубок. Улыбнется тебе судьба — станешь настоящим джигитом, достойным человеком. Готовься к этому дню и остерегайся прийти к нему ни с чем. Учись. Будешь хорошо учиться — добьешься всего, чего захочешь.

И оба молчат, задумавшись. Наконец Омар говорит:

— А теперь, Адильжан, уважь старика, читай дальше…

Так случается почти каждый день.

Иной раз Адиль, как и в прошлое лето, берет Лашына с собой и уходит с ним далеко от аула. Но уже не прыгает через встречные ямы и кусты, не размахивает ивовым прутом на бегу, крича во все горло, не вслушивается в эхо, возвращающее голос, отраженный сопками, не валяется, резвясь, в сочной траве. Увидит какую-нибудь сопку повыше — взберется на нее, усядется на камень и сидит, в молчании глядя на извилистую дорогу, проложенную в степи колесами тряских телег, исчезающую на горизонте; дует ровный ветерок, шевелит на лбу коротенькую челку. В такие минуты Лашын блаженствует, пристроившись рядом с Адилем, на каком-нибудь замшелом

камне, подставив, как и мальчуган, грудь дыханию степного ветра и грея спину на солнце.

В пору, когда начали вянуть кончики трав, однажды после обеда вместе с Беккали, выезжавшим в райцентр, в аул возвратился Казы. Адиль читал старому Омару свою книгу и как раз дошел до того места в поэме о Ер-Таргыне, когда батыр, искалеченный, брошенный своими сородичами, лежит в горах Булгыр… Заслышав голоса, мальчик выбежал из юрты. Отец, только что спешившись, обнял его, и Адиль заплакал, зарывшись лицом в отцовскую грудь.

Вечером весь аул собрался в четырехкрылой юрте Казы. И все были веселы, особенно старый Омар. Он с великим трудом сохранял степенность, приличную умудренному жизнью аксакалу. Но едва входил в юрту новый гость, как он поворачивался к Казы и громко, так, чтобы все слышали, говорил:

— Правда гнется, да не ломится… Нет, не зря сказаны эти слова!.. Если ты цел и невредим вернулся домой, избавился от напасти, значит, есть справедливость на свете. Видно, услышал аллах Адиля и его мать. Возблагодарим же создателя, всемилостивого, всемогущего! — И Омар то закладывал за губу комочек зеленоватого насыбая,

то снова его вынимал, вспоминая при этом давние лишения, которые выпали на долю народа, а также совсем еще недавнюю страшную войну, и опять благодарил бога за то, что все эти беды остались позади.

Ну, а сам Казы говорил мало, больше молчал. И только прижимал Адиля к груди, только гладил его по голове, ворошил отросшую за лето челочку на лбу. Иногда Казы начинал душить кашель, и тогда на него становилось больно смотреть… Он очень изменился внешне, осунулся, побледнел. И отпустил черные смоляные усы. Они шли ему, но, кажется, еще больше подчеркивали худобу лица.



Казы так и не удалось оправиться от болезни после возвращения. Когда аул, меняя стоянку, перебрался к Суык-булаку — Студеному ручью, он коснулся щекой подушки, с которой уже не суждено ему было подняться. Умер он посреди ночи. В те дни над Суык-булаком лили дожди, работа в поле прекратилась, все взрослые мужчины были дома. Вблизи от стоянки, на которой расположился аул, на вершине пологого холма, что чуть ниже родника, вытекающего из ущелья, вырыли могилу глубиной в рост человека. Как положено обычаем, не мешкая долго справили жаназу[45] по покойному, а назавтра с рассветом предали мертвое тело земле. Не было человека, который бы не прослезился. У старого Омара дрожал и срывался голос, пока он читал заупокойную молитву. Только Адиль стоял безмолвный, бледный. Когда обернутое белым саваном тело опустили в могилу, глаза его увлажнились. Как подсказали ему старшие, он зачерпнул рукой горсть черной отсыревшей земли, кинул в могилу и, не дожидаясь конца похорон, ушел.

Когда хозяин, уснув с вечера в своей постели, утром так и не проснулся, это не очень встревожи-

---

[45] Примечания: 45
Жаназа — поминки.

ло Лашына. И когда его унесли и зарыли в землю, Лашын не почувствовал особого беспокойства. Мало ли непонятного в людской жизни? Хозяин проспится хорошенько и очнется, пробудится от сна, вернется домой. Ведь и раньше он, бывало, уезжал, но всегда возвращался. А на этот раз он и вовсе не ушел далеко. Лежит прямо за аулом. И не сегодня-завтра поднимется…

Однако чем чаще навещал борзой могильный холмик, тем тоскливей делалось у него на душе. Что-то смутное начинало его тяготить. Что-то похожее на боязнь — а вдруг хозяин залежится надолго, вдруг будет пустовать без него дом, как это случилось летом, когда пропадал он целых три месяца… Вспоминая то время, Лашын чувствовал себя одиноким, заброшенным. И когда Омар, посадив на запряженную быком арбу пять или шесть ребятишек, отправлявшихся в школу, выехал из аула, борзой увязался за ними. Как ни пытался отогнать его Адиль, пес не отставал. И только тогда повернул назад, когда тот, соскочив с арбы, запустил в него камнем.

Лашын был обижен, и обижен без всякой вины… Это он чувствовал. А понять, что чувствовал Адиль, уезжавший на тряской арбе из аула, — это было ему, разумеется, недоступно.

10

Казы по-прежнему спал на вершине сопки. Спал, не просыпаясь. Не пытаясь хотя бы разок заглянуть домой. Между тем листья пожухли, помрачнело небо, сенокосный аул рассеялся — люди разъехались по своим зимовкам. Камила с Лашыном тоже вернулись к себе на ферму. А Казы как лежал в земле, так и остался лежать поблизости от старого становища.

Пустота была в доме, в каждой из трех его комнатенок. Бежать без оглядки хотелось отсюда, от жутковатой этой пустоты. Но и в степи было безрадостно. Зарядили дожди. Впрочем, и дождем-то это не назовешь. Так, моросит и моросит с утра до вечера, ни на минуту не перестанет. Хоть бы ливень пролился, что ли, или в небе прояснело, а то сыплет мелкими капельками, всю даль сплошным туманом затянуло — ни то ни се. А прервется ненадолго дождь — задувает ветер, промозглый, пронизывающий до самых костей…

Холодно. Тоскливо.

Да к тому же и голодно, если правду сказать. Не наедается теперь Лашын досыта, как бывало. Порой Камила и вовсе забудет, существует на

свете он или нет. Как-то раз, когда борзой, чтобы напомнить о себе, стал путаться у нее в ногах, она даже пнула его, чего прежде никогда не случалось. Пнула, прогнала от себя, словно какого-нибудь попрошайку… Что ж, Лашын больше не надоедал ей. Он укладывался, свернувшись, в углу, за печкой, и терпеливо ждал хозяина. Стоило отвориться двери, как тут же вскинется с лап его голова, но в дом входит чужой человек. Послышатся снаружи мужские голоса — Лашын вскочит, распахнет дверь толчком, вылетит во двор… Но не видно хозяина среди беседующих.

Терпел, но не мог притерпеться, привыкнуть к такой жизни Лашын. Единственной надеждой для него было, что все-таки вернется хозяин.

Как-то в сумерках вошел в дом Есенжол. Камила, давно уже неулыбчивая, хмурая, повеселела. В казане булькало, варилось мясо. Есенжол, переступая порог, что-то сказал смеясь, и как ни в чем не бывало расположился на тёре. Камила торопливо накрыла стол и принялась выкладывать баранину на блюдо. Есенжол вынул из-за пазухи бутылку с прозрачной водицей, поставил на скатерку. Когда он смеялся, его рябое личико сморщивалось, сжималось в горстку. Едва перед Есенжолом оказалось блюдо, исходящее слад-

ким паром, как он первым делом накидал перед Лашыном целую груду костей. Да каких — мозговых, с кусочками не срезанного ножом мяса! Впервые с тех пор, как вернулись они с джайляу, пес мог вдоволь насытиться. И злая давнишняя обида, жившая у Лашына в сердце, исчезла, улетучилась, он был благодарен гостю за его доброту. От вкусной еды, наполнившей пустой желудок, Лашын всем телом расслабился и, умиротворенный, довольный, начал подремывать. Веки его будто склеились, он заснул.

Неизвестно, сколько он проспал, перед тем как очнуться от странного стона. Лампа была не потушена. Стол не убран. Блюдо с остатками мяса по-прежнему стояло посреди стола, и рядом — опустевшая бутылка. Лашын снова начал погружаться в дремоту, но послышались те же звуки. Он понял — это голос Камилы. Стон доносился из соседней комнаты. Казалось, кто-то душит женщину, она задыхается… Сон пропал в одно мгновение, и собака, прыгнув через стол, кинулась на помощь. При свете лампы, падавшем через открытую дверь, он увидел, что Есенжол подмял под себя Камилу на постели. Борзой устремился к нему, рванул одеяло. Вслед за тем острые клыки по самые десны ушли в голый

жирный зад.

Отчаянный вопль разнесся по дому. Оба в страшной суматохе соскочили с постели. Но когда собака вновь ринулась на Есенжола, Камила, в чем мать родила, вместо того, чтобы помочь, набросилась на самого Лашына. В руках у нее в тот момент ничего не было, а пес, рычащий, с налитыми кровью глазами, не думал отступать. Наконец Камила схватила палку Казы, обычно стоявшую в ногах у кровати, и выгнала борзого на улицу. Первый раз в жизни Лашыну пришлось заночевать во дворе, а не у себя в доме, под крышей, в тепле…

С того дня совсем скверно жилось Лашыну. Миска его постоянно была пуста. Оставалось пробавляться отбросами на мусорной свалке, а иногда и голо дать по два-три дня. Но в самые голодные дни не рыскал он, подобно Бардасоку, по дворам, не вынюхивал что-нибудь съедобное в вонючих помоях. Уж лучше промышлять мышами, чтобы не подохнуть с голоду. Однажды поблизости от аула ему посчастливилось даже поймать зайца.

Куда труднее оказалось переносить осеннюю непогодь. Борзой искал прибежища, зарываясь в солому, сложенную кучей за сараем. Но плохо

согревала она пса, выросшего в четырех стенах. Особенно под утро, когда белела от инея трава и еще злее задувал пронизывающий ветер, борзой, не зная, куда деваться, дрожал всем телом. Ну, а в дождливые ночи ему приходилось и совсем туго. Лашын усаживался под стенкой сарая с подветренной стороны и так встречал рассвет. Не пытаясь ни скулить, ни просить Камилу отворить дверь, зная, что все равно она не смягчится.

Один-единственный человек в ауле сочувственно относился к борзому. Старый Омар, заметив как-то, что пес ночует на улице, под открытым небом, пришел за Лашыном и увел к себе домой. И велел хорошенько покормить его. Надеялся Омар, что борзой переспит у него, но не тут-то было. Пес, похоже, только и дожидался, пока откроется дверь, чтобы вылететь опрометью на улицу. А затем вернуться на свое прежнее место, к сараю.

Не раз и не два Омар возобновлял свои попытки, но собака так и не прижилась у аксакала. Поест — и снова восвояси. Как можно — вдруг хозяин вернется?.. Лашын готов был теперь не отступаться от него ни на шаг. Бегать за ним повсюду, куда бы тот ни направился. Только бы не потерять вновь… Но так и не появлялся хозяин. Случалось, иногда через день, иногда через

два-три дня, после полуночи или в предрассветных потемках, кто-то осторожно постукивал в оконное стекло, и Камила открывала. В первый раз борзой, уверенный в том, что явившийся в столь неурочный час человек и есть его хозяин, тут же вскочил с места и побежал было к нему, но увидел всего-навсего проскальзывающего в дом Есенжола. Вскоре, негромкое постукивание в оконце и ответный скрип двери стали для Лашына привычными. Он оставался у себя на сене и не двигался. Душа к Есенжолу у него никогда не лежала, но все же, чувствуя, что его вмешательство здесь неуместно, пес, незлобивый по природе, затаил свое недовольство глубоко внутри.

Однажды среди ночи хлопьями повалил снег. Ночь выдалась безветренная и была теплее обычного. Отощавший пес провел ее в полудреме, зарывшись в солому. И раскрыл глаза, лишь когда стих снегопад. Все вокруг было белым-бело. В очищенном, прозрачном воздухе удивительно четко проступали очертания холмов, как бы отступивших за ночь от аула в далекую даль. Борзой потянулся, расправляя занемевшее тело, и шумно встряхнулся. Потом, вдохнув полной грудью свежий, бодрящий воздух, прыгнул на месте раз, другой… Что-то давнее проснулось в нем,

и смутно захотелось прижаться, приласкаться к кому-то… Он обежал двор. Кто-то заходил в дом и не сразу, а спустя некоторое время вышел. Следы, которые вели к двери, успел припушить снег; те же, что тянулись со двора, отпечатались ясно, даже узоры на подошвах сапог были заметны. Это Есенжол. А от хозяина, видно, по-прежнему нет вестей…

Лашын постоял немного, вглядываясь в контуры отдаленной гряды сопок, затем неохотно, как бы против воли, медленным шагом двинулся из аула. На окраине задержался, опять постоял. И уже решительно, не оглядываясь, затрусил прямиком в сторону Суык-булака.

11

Поверхность выпавшего за ночь снега успели испещрить следы множества зверей. Здесь все как на ладони. Кто прошел, когда, куда держит путь — Лашыну с первого взгляда понятно. Вот прорысила на трех лапах желтая ласка. Следы ее исчезают неподалеку, под кустом таволги, чтобы шагов через десять — пятнадцать снова обнаружиться на снегу… И в самом деле, они тут как тут. Теперь ласка повернула направо. Но

Лашыну она ни к чему. Маленький зверек, какая ему цена?.. Ну, а тот след, что идет наперерез, — это хорек. Хоть и невелик, а силен и увертлив, и отчаянный — страсть! Любил его хозяин. Бывало, идут они по следу лисицы, а встретится хорек — непременно свернут за ним. Но сейчас Лашын торопится. Как-нибудь после, вместе с хозяином, будет случай сходить на хорька… Лисий след. Наверное, резво бежала, хвостом помахивала, пушистым, игривым… Тоже прошла стороной, и незачем ее преследовать. А это лисенок. Ну да бог с ним, пускай себе прыгает. И снова лиса. След свежий, недавно пробежала. По следу легко догадаться — самец. Эх, и стелется же сейчас где-то по снегу, сверкает на солнце рыжим огнистым языком… Где-то близко, один-два холма их разделяют. Жаль!

Но нет, не выдержала душа. И только пустился Лашын по следу, только взобрался на первый же гребень и вгляделся в даль, хоронясь за выступом, как увидел, что лисица и вправду бродит среди кустов караганника в низине.

Пес тут же устремился к ней, наискосок срезая пологий склон. И прежде чем лиса, застигнутая врасплох, услышала шорох и пустилась наутек, Лашын был от нее уже на расстоянии брошен-

ного аркана. Он не дал ей далеко уйти и подмял под себя.

Но вот что странно. Не было у пса прежнего азарта. Зачем он погнался за лисой? Зачем поймал ее — для кого? Что за надобность была убивать огнехвостую. Он не знал. Неподвижная, вытянувшись во всю длину, лежала перед ним лисица. Капелька крови скатилась у нее из носа в снег, Борзой огляделся по сторонам — нет ли кого поблизости? Нет. Никого. Хотя что значит никого? А хозяин? Ведь он-то совсем рядом… Лашын, вспомнив, зачем покинул дом, даже не взглянул больше на свою добычу и помчался веселыми длинными скачками к Суык-булаку. Ему была известна кратчайшая дорога. Оставалось обогнуть, двигаясь узкой лощиной, крутой отрог, заросший колючим шиповником и ушкатом.

Уже в лощине борзому почудилось, что кто-то со стороны следит за ним. Лашын обернулся назад, но никого не увидел. И не заметил ничего настораживающего, подозрительного. Не задерживаясь дальше, он побежал вперед. Но неприятное, тревожное ощущение возникло снова. Лашын передернулся всем телом, боязливо огляделся вокруг. Нет, ничего такого, что могло бы насторожить внимание… И все-таки словно

таинственный обладатель какой-то непонятной, сверхъестественной силы все туже сжимал его в холодных, чудовищного размера тисках. Они охватывали Лашына со всех сторон — жестокие, невидимые… Борзой ускорил бег. Уже и отрог, покрытый кустарником, позади, теперь надо подняться к седловинке между холмами, а там уже неподалеку лежит хозяин… И вдруг Лашын замер на месте, остолбенел от неожиданности. Прямо напротив, облокотясь на серый валун, кто-то стоял. Кто-то, расплывчатый, с пятном вместо лица, и контуры тела его были тоже размыты, неопределенны. Но это был Казы — на голове лисий тымак, на плечи наброшена хорьковая шуба. Кажется, смотрит на Лашына и улыбается. И зовет к себе — без единого слова или звука, но Лашыну все понятно… Радостный лай рванулся из собачьей пасти, борзой, одним скачком одолев, пространство, прыгнул к хозяину. Но что-то лязгнуло. И Казы исчез. А то непонятное, сжимавшее Лашына со всех сторон чудовищными тисками, внезапно вонзило зубы в его переднюю правую лапу, в то место, откуда вырастает локтевая кость.

Кто-то из чабанов, задержавшихся до холодов

на кузеу[46], наверное, поставил капкан на волка, да так и забыл о нем…

12

Лашыном овладело смятение. Он отчаянно вскинулся кверху — железные тиски не выпустили, не разжались. Он прыгнул еще раз — но только выдернул из-под снега чугунное зубчатое колесо, скрепленное с капканом длинной железной цепью. Тяжелый груз рванул его лапу к земле, и борзой, перекувырнувшись, грохнулся на прикрытые снегом камни. Локтевая кость хрустнула, переломилась. Кровь ударила в глаза Лашыну, он привстал и кинулся на капкан. Сероватая сталь, слегка порыжевшая от ржавчины, заскрежетала у него под зубами. Но собачьи клыки оказались бессильны, не разомкнуть им железные челюсти… Борзой в исступлении кусал бесчувственный металл. Вскоре и капкан, и снег были залиты кровью. Тиски не разжимались — напротив, они сомкнулись как будто еще крепче. Выбившись из сил, борзой повалился на снег. И так лежал долго, ничего не слыша, не видя.

---

[46] Примечания: 46
Кузеу — осеннее пастбище.

Наконец он открыл глаза. Прежние страх и смятение покинули его. Теперь он смотрел на капкан, вцепившийся намертво в его лапу, как на одно из опасных творений человеческих рук. Вспомнилось, что такой же капкан — только старый, поломанный — валялся и у них во дворе. Это взбодрило пса, внушило надежду.

Придя в себя, Лашын ощутил помимо боли сильнейший голод. Последние дни ему не перепало ни кусочка. Он подумал о пойманной лисе и, хотя ни разу в жизни не отведывал лисьего мяса, пожалел сейчас, что не распотрошил свою добычу, не насытился ею. Случайно глаза его скользнули по пятнам крови, засохшим корочкой на снегу. Не только рядом с капканом, но и на расстоянии в два-три шага все вокруг было в крови. Тогда Лашын, приподнявшись, принялся глотать застывшую на морозе кровь. Спустя несколько минут на снегу не осталось ни единого пятнышка.

Голод чуть поутих, притупился, и борзой почувствовал себя бодрее. Он понял, что самостоятельно из железных тисков ему не вырваться, вызволить его мог только хозяин. И вызволит, лишь бы до него добраться. Лишь бы добраться…

Зубчатое колесо, прикрепленное к капкану в ка-

честве волока, оказалось неимоверно тяжелым. Лашыну со страшным трудом давался каждый шаг. Сломанные кости терлись друг о друга и похрустывали. Все упростилось бы, возможно, если бы зажатая капканом стопа так и осталась бы в железных зубьях. Но она не хотела расставаться с телом и прочно держалась на крепких сухожилиях и мышцах. При каждом шаге, когда Лашын припадал на правую переднюю лапу, в глазах у борзого кружились красные и зеленые сполохи и тонули в сером тумане. Тем не менее вершок за вершком Лашын продвигался вперед. Тяжеловесный волок то цеплялся за камни, то застревал в кустах. В такие минуты Лашыну казалось, что он уже не стронется с места. Но, порядком помучась, он продолжал путь. Один раз волок защемило между стволами, его никак не удавалось высвободить. За время, которое ушло на тщетные попытки, в казане поспевает мясо… И все-таки борзой догадался оттянуть колесо назад, чтобы кое-как вытащить его и вырваться из чащи. Наученный опытом, он уже старался пробираться там, где не встречалось ни кустов, ни камней.

Но капкан становился с каждым шагом тяжелее. Каким ровным ни казалось место, по

которому пес прокладывал себе дорогу, но под предательски гладким снежным покровом то и дело обнаруживались неожиданные препятствия. Еще сложнее было взобраться на вершину сопки, где лежал хозяин. Раньше борзой в несколько прыжков одолевал эту невысокую сопочку, но теперь она словно выросла, превратилась в крутую гору. Одно хорошо — раненая лапа застыла к этому времени, превратилась в ледышку. И, не причиняя боли, висела — чужая, безжизненная. Собрав остаток сил, борзой тащился вперед. Солнце клонилось к закату, когда наконец он добрался до заветного холмика…

13

Долго выл борзой. Выл с короткими паузами, с жалобным всхлипом. Так воет аруана, потеряв своего верблюжонка, — с протяжным, надрывающим душу стоном. Эхом вторили ему окрестные сопки. Как было не выть, не рыдать Лашыну, когда ему открылась ужаснейшая из тайн… Человек, повелитель всего живого на земле, вдыхающий жизнь в бесчувственное железо и уподобляющий его то быстроногому коню, то птице, взмывающей выше сокола; человек — все-

могущий и всемилостивый — он тоже умирает! Как малый ягненок или как полевая мышь! Вот почему столько дней и ночей лежит на вершине холма хозяин. И нет в целом мире никого, кто помог бы Лашыну, истекающему кровью, ослабевшему, доживающему последние часы… Выл борзой, оплакивал хозяина. Выл, сам уже чуя собственную близкую смерть. Выл, прощаясь с белым светом, с простором земным и небесным…

А наступила смерть еще скорее, чем думалось, и не такая, как он ожидал. Голодная волчица с тремя волчатами, кружившая долгое время возле зимовок, вдыхая запахи дыма, жилья и сытной пищи, заслышав тоскующий собачий вой, тут же помчалась на голос. Вой безошибочно привел ее к цели. Еще издали, выбрав укрытие, она поняла, что поблизости нет людей и что перед нею — одинокий, заплутавшийся в степи пес. Из опасения, как бы жертва, сама шедшая им в лапы, не причинила своим бегством излишних хлопот, все четверо, по безмолвному сговору, крадучись, ползком, окружили холм с четырех сторон и только после этого, с горящими огнем голодными глазами, обнажив в хищном оскале белые, длинные зубы, накинулись на борзого.

В тот день на долю Лашына выпало столько

бед, и такая ужасная тайна, не оставлявшая надежд, открылась ему, и он уже так истомился от страданий и боли, что ничему не удивлялся и ничего не страшился. Собственное существование утратило для него всякий смысл. Но он был еще жив, а у жизни свои законы. И борзой не сдался, не подставил покорно голову судьбе в ожидании смертельного удара…

Первое нападение волков, посчитавших одинокого пса легкой добычей, окончилось безрезультатно. Только волчица сумела, изловчась, рвануть Лашына за бедра. Клыки борзого, грозно клацая, с молниеносной быстротой мелькали в воздухе, не давая молодым хищникам даже коснуться его тела. Волки отступили, но тут же с удвоенной яростью устремились на свою жертву.

Он был один — их четверо. Он был скован в движениях капканом — им ничто не мешало атаковать пса, наращивая бешеный натиск. Чаши весов были неравны. Волчица, понаторевшая в жестоких схватках, уже не сомневалась, что напьется вдоволь теплой крови, наестся свежего мяса. Осторожность покинула ее. Все смешалось, слилось в один яростный хрипящий, лязгающий ком, барахтающийся в облаке свежей пыли. Под-

мятый волками борзой был в самом низу. Но, упреждая мгновение, когда волки разорвут, растерзают его на части, неуловимым движением он успел вспороть волчице брюхо.

Свою мать, неистово кружившую на снегу, пытаясь ухватить себя за бок, дотянуться до брюха с вываливающимися кишками, молодые волки заметили только тогда, когда с борзым было покончено и кости наспех обглоданы. Пес оказался не в меру истощавшим, пустые желудки так и не насытились. Напротив, терзавший их голод лишь увеличился, аппетит раздразнился. И едва волки увидели кровь, хлеставшую из страшной раны, как немедленно набросились на волчицу.

Прошло совсем немного времени, и от волчицы, которая родила их, вскормила своим молоком, взрастила сильными и беспощадными, остался лишь кончик короткого хвоста и четыре затвердевшие, жесткие подошвы.

14

На вершине косо срезанной, похожей на тюбетейку сопки, стоящей над одним из глубоких оврагов, изрезавших предгорья Жауыр-тага, насыпан невысокий земляной холмик. Всякий раз,

когда поблизости разбивает стоянку аул, кочующий по зеленому джайляу, аксакал, опираясь на крепкий сучковатый посох, ведет к этому холмику мальчика-подростка и, преклонив колени, читает гортанным голосом молитву. И оглаживает холмик ладонью, чтя память покойного. А в те дни, когда мальчику попадает от матери, он приходит сюда и долго сидит в одиночестве, молча, вздрагивая иногда всем телом. Этот холмик — могила Казы, хотя бы и единственной ногой, но ступавшего по этой земле. А подросток — его сын Адиль.

Здесь, у самой могилы, пролилась кровь борзого пса, по имени Лашын. Правда, об этом никто не знает. Все, что осталось от борзого, — это лисьи тымаки на головах у аульных мужчин. Но и они давно поизносились. Их сменили простые мерлушковые шапки, дешевые малахаи… Ведь последним в этих краях псом из чистопородных борзых был Лашын.

1969

Перевод Ю. Герта.

РАССКАЗЫ

В СУМЕРКАХ

— Дочь Серикбая приехала!

Жумагул, оплетавший сыромятью решетки юрты, вздрогнул да так и застыл с туго натянутой тесьмой в руках.

В доме Серикбая уже второй день хлопотали, готовились к встрече дочери. Но Жумагул до последнего момента сомневался, что состоится эта встреча. Далеко от дома училась девушка, присмотрела небось там себе паренька, кто его знает — может и не приехать. Умчится прямо из института вслед за суженым куда глаза глядят. Вон дочь Сеитбека-аксакала даже конца учебы не дождалась, и про аул, и про стариков своих забыла, ускакала куда-то за тридевять земель. Э-э, на нынешних девиц не надейся… Но Жанат-жан — другое дело. Вот приехала, сразу понятно, что и воспитанна, и умна, не то что другие, вертихвостки…

Жумагул взглянул на жену, принесшую ему эту весть. Лицо его светилось радостью и гордостью.

— Верно в старину говорили, — сказала жена, — не жди от девки проку. И эта вот тоже… Притащила с собой тонконогого мальца в узких

брючках. Вместе учились, что ли, давно будто бы после учебы жениться договорились. Вот и будут теперь свадьбу играть. Сваты со сватьями понаехали. А я-то все думала: чего это Серикбай так хлопочет? И кобылицу нагулянную резать пригнал, и водки черт-те сколько ящиков накупил. А оно вон оно что, оказывается... А-а, что ни говори, дочь — не ребенок! Что с нее толку. Влезет бедняга Серикбай из-за нее в долги, а она и даст деру, только поминай ее как звали...

Таких слов Жумагул не ожидал. И как-то сразу пусто стало у него на душе. Ведь правда это, что девушка для чужих создана. Подросла — и улетела. Силком ее возле себя не удержишь. Рано ли, поздно ли, а улетит. Так пусть пораньше, пока еще не тянутся за ней хвостом всякие суды-пересуды, найдет свое счастье, совьет собственное гнездо. Лишь бы повезло... А то кто еще попадет... Старуха говорит — легкомысленный желторотый мозгляк... А-а, треплет, поди, языком, как всегда. Откуда ей знать? Впрочем, кто ведает... Хотелось бы, конечно, девушке счастья, дай ей бог!..

Визгливый голос жены прервал раздумья Жумагула:

— Ну что стал как столб, рот разинул? Строгай свои деревяшки! Только-то нам и осталось... Так

вот и сдохнем — никто не заметит. Зарыть нас да молитву за упокой наших душ прочитать будет некому… — Из визгливого голос ее становился все тише, тоскливей и задрожал совсем жалобно: — Господь для нас самую какую завалящую девку даже пожалел. Да пусть на край света умоталась бы, все знала бы, что осталась где-то твоя плоть… Все легче бы на душе было…

Жена отвернулась, сжавшись в беспомощный комочек, кончиком платочка стала вытирать слезы.

Покосившись на нее, Жумагул тяжело вздохнул. Не девку какую-нибудь, а двух сыновей дал им господь бог. Богатырями росли. Сам он выше районного начальства подняться не мог — образования не хватало, хорошо понимал это — и сыновей учил. Хотел, чтобы выросли, получили образование — добились бы того, что было не по силам ему. Всего себя отдавал им, ничего для них не жалел, да что из того толку?.. Обоих забрала война. На старшего, на Жомарта, пришла похоронка; младший, Танат, пропал без вести. Но эти слова — «пропал без вести» — оставляли какую-то надежду, и Жумагул все еще не терял ее. Кто знает, может, где-то он и живет, его младшенький, теперь настали другие времена — и

вдруг объявится в один счастливый день? Но, по правде говоря, какая это надежда… Так, утешение просто, хотя и заменяет ее, — ведь только шайтан живет, говорят, без надежды. Разумом понимал Жумагул, что оба его сына ушли туда, откуда нет возврата, однако слабая эта, обманчивая надежда поддерживала, согревала его со старухой на старости лет.

Но у него, у Жумагула, есть и другое, тайное утешение, своя, тайная радость. Нет, он не одинок, не бесплодным он уйдет с земли. Ишь как говорят: дочь — не ребенок! Почему не ребенок? Какая разница? Ведь если бы вместо Таната или Жомарта родилась девочка, она бы не погибла на войне и сейчас бы жила на свете… А-а, хватит изводить себя бессмысленными думами. Мертвых не воскресишь. Такая уж, видно, судьба. Да и нечего ему так уж убиваться: он-то не одинок. Она только воспитывается в другом доме, но дочь-то — его. Пусть, пусть она, его дочь, этого не знает, но она — его кровь, его плоть. Этого никто у него не отнимет.

Жумагулу стало жалко старуху, лишенную подобной тайной радости, но он и сейчас промолчал, не сказал никаких слов утешения.

Во рту у него с того самого момента, как жена

подошла с вестью о Жанат, все еще была вода. Он побрызгал ею на твердую, плохо выделанную сыромятину и снова принялся за работу. Уже несколько дней он возился, ставил юрту для приезжего молодого зоотехника. Все уже почти готово. Осталось смастерить да собрать последнюю створку. И тогда завтра он отправится в тальник возле речки, выберет и нарежет хороших прутьев для остова, опять начнет понемножку копошиться, заготавливать решетки впрок. Некогда бездельничать, жить-то ведь чем-то нужно. Чабанить он совсем не умеет. Остается одно — мастерить юрты. Когда-то, когда красные размолотили белых и Жумагул был еще совсем мальчишкой, он все помогал отцу, мастеру по юртам: рыл ямы для подпорок, выстругивал прутья для решеток, гнул уыки[47]. А потом как началась круговерть… лихие настали времена!.. О! Активистом был Жумагул. Мотался по аулам, раскулачивал богачей, занимал разные высокие должности, ходил весь в кожаном, в скрипучих ремнях, поблескивал медными пуговицами. Но всему, видно, свое время. С годами удача изменила ему. Он ведь и расписывался-то с трудом. И

[47] Примечания: 47

Уык — длинный гнутый прут из тальника, выполняющий в конструкции юрты роль стропила.

начал катиться все ниже и ниже и докатился до бригадирства в колхозе. А потом и из бригадиров пришлось уйти. Вот к чему на старости лет вернулся — с чего начал…

Жумагул и не заметил, как вспомнил вдруг всю свою прошлую жизнь. И разом взяла его тоска, постылой и бессмысленной показалась работа. Он через силу покопался еще немного, но работа больше не шла, и он отшвырнул сверло, встал, отряхнулся и принялся складывать створки.

— Какого черта я тут выбиваюсь из сил?! — бормотал он. — Достаточно на сегодня. Солнце уж вон садится. Завтра, чай, тоже день будет.

Жумагул вошел в дом — и сразу же вытянулся на подстилке. Сколько же исполнилось Жанат-жан? Двадцать… двадцать один… двадцать два! Неужели с того дня прошло уж двадцать два года?! А ведь кажется, только вчера все это было. Да, да, Жанат уже двадцать два… Столько же было тогда и Зайре. Нет, больше. Где-то под тридцать. Но на вид она казалась совсем юной. И красивая. Пугливый такой верблюжонок… А глаза у нее были черные-черные, влажно-чистые и ясные. Эти-то глаза, полные слез, и увидел сейчас Жумагул как живые. На всю жизнь запомнились эти ее полные слез глаза…

Было утро. Только что взошло над аулом солнце. Дымился истаивающим туманом берег реки. Густые заросли тальника отделяли их с Зайрой от аула — пяти-шести юрт, тесной кучкой столпившихся на пригорке. В звонкой утренней тишине было слышно, как лают в ауле собаки, кричат резвящиеся ребятишки, скребут котлы, очищая их от копоти, женщины. Зайра пришла за водой, он приехал поить коня.

Зайра стояла перед ним, не сняв с плеча коромысла, носком мягкого кожаного башмачка чертила какие-то линии на песке и вдруг быстро-быстро замигала, выдавила глухо: «Понесла я от тебя… — И, не сумев сдержаться, разрыдалась. — Что же мне теперь делать, Жумагул? Сколько же я буду его обманывать? А он, глупец, радуется, что будет у него наконец-то ребенок…»

Жумагул никогда не относился к своей связи с Зайрой серьезно. Так, одна из многих его побед непостоянного в своих привязанностях джигита. И новость, сообщенная ею, не взволновала его. Ну, что плакать, что убиваться? Ведь ни единая душа не знает, что было между ними. Никто не видел их вместе. Так чего же бояться? Зачем плакать? Он усмехнулся: а, на то и баба, чтоб мокрядь разводить.

Он с нетерпением обнял молодую женщину, привлек к себе, поцеловал мокрые ее глаза и, наклонившись, шепнул словечко на ухо. Лицо женщины полыхнуло румянцем, складки между бровями медленно разгладились, она взглянула на него испуганно-встревоженно и радостно. Жумагул улыбнулся, подтверждающе кивнув головой, и повел ее поглубже в тальник.

Только тут Зайра поняла, зачем он увлек ее в чащу, — вздрогнула, остановилась на миг и, забыв о воде, опрометью бросилась к аулу, гремя пустыми ведрами на коромысле. Жумагул не побежал за нею. С того дня все между ними было кончено навсегда.

Как память о Зайре, как память об их недолгой любви осталась Жанат. Закончила вот теперь институт — и вернулась в аул. Все считают ее дочерью Серикбая. Души в ней не чаял Серикбай. И дочерью, и сыном была она для него, нежил ее, баловал. Не давал тосковать по матери, рано ушедшей из жизни. Ни на миг сомнения не омрачили его душу. Один аллах знает все…

Ну, ладно, хватит валяться, ворочаться с боку на бок. Надо сходить к старику Серикбаю, поздравить его с радостью, взглянуть на Жанат-жан да на ее жениха.

— Пойду схожу к Серикбаю, — сказал он, поднимаясь.

Жена хлопотала у очага, готовя ужин.

— Успеешь, — отозвалась она. — Сегодня они никого не приглашают, молодым нужно отдохнуть с дороги. Завтра сходишь.

Но сидеть дома Жумагул не мог.

— Пойду пройдусь, — пробормотал он.

Солнце уже почти все ушло за горизонт. В воздухе начинали разливаться вечерние сумерки. Впереди, прямо перед аулом, темнела речка с редким теперь тальником и отдельными березками на обрывистом берегу. Да, вот на этом самом месте и встречались когда-то они с Зайрой. Только теперь все изменилось вокруг. Где прежде стояли юрты — теперь бревенчатые дома. Весеннее половодье подмыло берег, изменило русло речки. Разросшийся за эти годы аул вырубил на топку почти все прибрежные заросли тала. И только сама вода в реке будто не изменилась: так же спокойно и плавно ее течение, так же чисто песчаное дно под ней и все так же мелко всюду, везде можно перейти вброд.

И Жумагул уже не тот, не прежний горячий, пылкий джигит. Ему нет еще и шестидесяти, а он уже дряхлый старик. Но те далекие счастливые

дни их любви с Зайрой он помнит так живо, до таких незначительных мелочей, будто вчера все это только и было. В трудные моменты жизни, в мгновения душевной усталости или просто в минуты, когда прошлое вспоминается с особенной настойчивостью, он приходит сюда, к реке, единственной свидетельнице тех безвозвратных свиданий, и подолгу сидит на берегу. Только здесь, на этом берегу, он может по-настоящему отдохнуть душой и телом…

И сегодня Жумагул направился на заветное место, чтобы посидеть там немного, погрустить, отойти душой. Шел он медленным, тяжелым шагом усталого, старого человека. И вдруг почти у самой речки заметил, что навстречу ему идут девушка с парнем. Они шли молча и, занятые собой, ничего не видели вокруг. Внезапно они остановились и обнялись и теперь, в вечернем сумраке, казались одной фигурой.

Жумагул сбился с шагу, споткнулся и, удерживая равновесие, невольно вскрикнул. Парень с девушкой отпрянули друг от друга, только теперь они увидели, что не одни, и смутились.

И тут Жумагул узнал в девушке Жанат. Он замер в растерянности, а Жанат со своим избранником быстро пошли в сторону и, отойдя подальше,

снова обнялись, опять слившись в густеющих сумерках в одну фигуру.

— Неудобно как-то получилось, — сказала девушка.

— А чего это он так вылупился?

— Узнал нас. Он ведь из нашего аула.

Но юноша не обратил на эти слова внимания.

— Наверное, молодость вспомнил, вот что, — улыбнулся он.

— Разве обязательно? Может, о чем-то другом подумал.

— Ну, о чем же мог подумать старик, когда ему навстречу идут в обнимку девушка с парнем. Как по-твоему? Через много лет, когда мы с тобой увидим молодых в обнимку, у нас тоже будут слезиться глаза.

— Выходит, мы когда-нибудь тоже…

— Постареем.

— Но ведь это ужасно.

— Ну, не расстраивайся. До этого еще далеко.

— Все равно ужасно, — сказала девушка, — если поздно или рано мы постареем…

— Нет, не все равно.

— Нет, все равно. Я не хочу стареть.

— Ладно, — примирительно сказал юноша и крепче прижал девушку к себе. — Пусть будет по-

твоему. Мы постараемся не стареть. Мы навсегда останемся молодыми.

— В самом деле?

— Совершенно серьезно…

— Ой!.. — счастливо сказала девушка.

Погасли последние облака, пунцово отражавшие лучи давно уже закатившегося солнца. Начало быстро темнеть. А Жумагул все стоял на том же месте, где споткнулся, словно чучело, оставленное за ненадобностью откочевавшим аулом, и все смотрел, смотрел вслед скрывшимся с его глаз молодым, чья жизнь только-только начиналась.

Кто знает, может быть, и в самом деле молодость вспоминал старый Жумагул…

1961

Перевод А. Курчаткина.

ЗИМОВЬЕ В ГЛУШИ

Едиге проснулся от топота архара, раздавшегося, показалось, прямо под ухом. Перестук копыт удалялся, делаясь все глуше и глуше, и вдруг пропал, будто его отрезали ножом. В снежную глубь угодил, подумал Едиге.

Небольшое окошко, разрисованное лохматой наледью узоров, было бледным — на дворе наступил рассвет. Но в комнате только-только начало светлеть. В углах все еще прячется темнота.

Едиге заметил, что он один, — бабушка, значит, уже встала. Кровать мамы в тёре тоже пуста. В центре настенной кошмы, покрытой орнаментом, можно уже различить повешенную наискось, стволом вверх, двустволку. Это папина. Говорят, ее прозвали «кровавым дулом». Папа его был метким стрелком, никогда не промахивался. Едиге сам не видел, так люди говорят. Как-то он зараз уложил трех уток, пролетавших над аулом. Непонятно, как он мог двумя выстрелами уложить сразу трех уток. Но, видно, все правда. Потому что, оказывается, тогда все только что встали, хорошо выспавшись, и видели это своими глазами. Уток он отдал детям, прибежавшим

на выстрел. А тем, кому не хватило, сказал: не хнычьте, завтра всем подстрелю по гусю. Папа никогда не лгал. Сказано — сделано. Щедрым был. Раз около соседнего аула он застрелил сразу четырех архаров. Конечно, при этом было сделано только четыре выстрела. Говорят, весь аул пропах тогда свежей кровью. Столько было белого сала, красного мяса… А домой отец принес маленький кусок. Бабушка говорит — это настоящий охотничий характер. В здешних краях никогда не было такого меткого охотника, как его папа. Говорят, попадал в глаз косуле[48]. Зачем в глаз, непонятно. Наверное, хотел, чтобы люди видели, какой он хороший стрелок. Но папа вовсе не был хвастуном. Просто он был первым среди сверстников, говорит бабушка. И в армию он ушел одним из первых, когда еще никто не уходил. Ему прислали бумажку с вызовом — и он сразу же ушел. В то время мы были друзьями с Керманом[49], говорит бабушка. Поэтому, наверно, и оставил свое ружье. Не знал, видимо, что будет война. Он думал, что позанимается воен-

[48] Примечания: 48

«Попасть косуле в глаз» — выражение, аналогичное русскому: «попасть в беличий глаз».

[49] Примечания: 49

С Германией.

ными упражнениями, побудет в разных местах и вернется. Через четыре месяца после ухода папы, в зимнюю стужу, родился он, а только ему исполнилось полтора годика, началась война, рассказывает бабушка. Три года нет уже писем от папы. Некогда ему, наверное. Мороз ли, жара ли, ночь или день, не зная радости и смеха, воюют там. Одни сильные, здоровые джигиты. Воюют и воюют, и нет у них времени написать письмо домой. Так объясняет бабушка. А мама ничего такого не говорит, молчит. Сидит и молчит. А иногда, когда ей кажется, что никто не видит, плачет. И дедушка такой же. Нет, он не плачет. Мужчина ведь. Большой-пребольшой к тому же. Он не плачет, но он тоже сидит мрачный. И только иногда вздохнет тяжело. Это, конечно, от усталости. Весь день он на коне — пасет овец — и устает. В последнее время перестал даже рассказывать на ночь сказку и петь старинные предания.

В передней комнате зашипело. Это вскипевший чай выплескивается на плиту. Слышно, как около печки возится бабушка. Со скрипом открылась дверь, кажется, заходит что-то большое-пребольшое, бесконечно длинное, — только когда клубящийся сгусток мороза уже вполз и в заднюю комнату, дверь наконец закрылась. Послышался

глухой стук тяжелого ведра о глинобитный пол.

— Замерз родник, еле до воды добралась. Рука от лома так и заледенела вся.

— Ой, светик мой! Попросила бы деда.

— Апа! Ты видела архара?

— Ой, он уже, оказывается, проснулся!

— Елик-тай[50], — сказала бабушка, — пока печка не разогрелась, полежи, а то замерзнешь.

— Я же спрашиваю. — видели архара?

— Э-э, архара мы видим каждый день, — протянула бабушка. — Дед говорит, они сейчас пасутся вместе с овцами.

Едиге вспомнил, как дедушка сказал однажды: «У женщины волос долгий, а ум короткий», — и промолчал. Спрашивай не спрашивай — все равно без толку. Большая длинная печка, делящая дом на переднюю и заднюю комнаты, гудит, пожирая дрова. Едиге прижал руку к ее шершавому боку. Тепло. Из-под кровати послышался какой-то треск. Это мышь. Говорят, у нее зубы чешутся. Едиге перевернулся на другой бок. Треск прекратился. В тёре, где белая, высокая деревянная кровать мамы с костяной красивой резьбой по лицевой стороне, теперь уже совсем ясно видна

---

[50] Примечания: 50
Форма ласкового обращения.

двустволка — до спусковых крючков, до затвора, с деревянного приклада кое-где сошла краска.

Снова открылась дверь. Словно бы кто-то никак не может перешагнуть порог. Снова в комнаты рванулся целый воз холода. Мороз в комнате очень похож на белесые облака на небе. Кажется, двери нравится стоять открытой настежь и охлаждать комнаты, — с тягучим скрипом, как бы нехотя закрылась она. Человек, вошедший в дом, отряхивает с ног, стоя у порога, снег. Дедушка. Кто чуть свет может прийти на далекое, забытое в глуши зимовье?

— Ата, ты видел архара?

— Видел, Елик-тай.

Едиге, торопливо надев рубашку, лежавшую в изголовье, спустился на пол. Натянул кое-как новые красно-полосатые штаны, которые мама сшила ему из своей старой толстой шали на день рождения — когда ему исполнилось пять лет, — и побежал в переднюю комнату. Дед, бросив шубу на свою старую поржавевшую железную кровать в углу, снимал с длинных белых усов льдышки сосулек, и каждая была с мизинец.

— А как ты его увидел, ата?

— Завернул за угол, а архар стоит под окном, огромный самец-трехлетка.

— Вчерашний?

— Да, уже пять ли, шесть ли дней, как ночь — так и ходит вокруг нашего двора.

— А что он ищет? — спросил Едиге, когда все расселись вокруг низкого круглого стола около печки.

— Зима что-то затягивается, Елик-тай, а корма в горах все меньше и меньше. Вот он и приходит, надеется, может, что перепадет ему сена от нашей скотины. Да и сам двор в низине, под укрытием горы, здесь не так холодно, как в горах и в долине, там постуденей. Две недели уже, как ветер с севера дует. А ночью буран был, снег валил. Может, и холод пригнал его сюда… А может быть, от волков здесь укрылся. Кто знает. Как бы там ни было, он привык к нашему двору.

— Был бы Мурат, он бы пристрелил его в первый же день, — сказала мама.

— Нет, Анар-жан, убивать попросившего у тебя приют, даже если это животное, не говоря уже о человеке, — недостойно. Мурат не был таким бессердечным. Но коныр ан[51] не жалел, — дед чуть приостановился и вздохнул тяжело, — ужас как много убивал их, не дай бог, чтобы это обер-

[51] Примечания: 51

Коныр ан — собирательное имя архаров, сайгаков, оленей, маралов, куланов; по народному поверью, не следует убивать их слишком много.

нулось против него бедой…

— Не надо, Маке… — прервала его бабушка. — Не надо, дед Едиге, не говори плохих слов. И без того вон сноха печальна. «Кому смерть не уготована, хоть сорок лет резня — останется в живых», так говорится. Плохая весть давно докатилась бы. Сейчас мне хорошие сны снятся, не то что в прошлом году. Жив мой Мурат. «Только мертвые не возвращаются, а настоящий джигит, если жив, какая б дорога ни выпала, в какие б кандалы ни заковали, всегда найдет тропку к дому», — так еще в старину говорили. Скоро вернется. Войне закончиться время. Говорят же, наши вошли уже в земли Кермании.

— Э, кто знает. И немцы вошли в советские земли. До Москвы дошли. Но война на этом не закончилась, наоборот, только разгорелась. Однако, когда двое борцов борются слишком долго и никто никого не пересиливает, а один вдруг найдет в себе скрытые силы, то борьба заканчивается. На это я и надеюсь. О аллах, один ты в силах положить конец этой войне… Ну да что мы тут… солнце встало, пора выгонять овец. — Старый Мамай быстро доел те несколько горсток мяса, что остались от ужина, выпил залпом полную

чашку жирного бульона с раствором курта[52] и стал подниматься. После двух-трех неудачных попыток ему наконец это удалось. — Елик-тай, день морозный, долго не гуляй, не то обморозишь лицо, как в прошлый раз.

— Милая, ты же знаешь деда, он не хотел сказать ничего плохого. Просто у него такая манера говорить, не принимай близко к сердцу, — сказала старая Орынкул Анар после того, как дед Мамай, надев поверх шубы армяк из верблюжьей шерсти и подпоясавшись обшарпанным широким ремнем, тяжело волоча ноги, вышел из дома. — И ему, бедному, несладко. Сам даже на коня сесть не может, обязательно на камень встать надо. Боюсь, как бы однажды не остаться ему в степи… Молодым в любой компании заводилой был, охоту любил, сокола и гончих держал. Теперь состарился, почтенным аксакалом стал… В старину говорили: «Если коню худо — у него кости торчат, если мужчине худо — у него высыхает тело». И вот какие ужасные времена настали: ссохшимся стариком он с утра до вечера пасет овец… Лишь бы вернулся Мурат-жан. Все позабудется, как сон. Елик-тай, почему не ешь?

---

[52] Примечания: 52

Курт — кислый твердый сыр в маленьких кусочках из овечьего молока

Ешь пшеницу, подбавляй масла побольше.

Едиге посмотрел в свою маленькую деревянную чашку с отбитым краем и поблекшей краской. Чашка полная. Красная пшеница со вздувшимися боками. Сначала мама как следует очистила ее от шелухи. Затем бабушка хорошо зажарила в казане. Самая почетная еда в этом доме. Положена только Едиге.

Шалун Едиге не знает, чего она стоит, эта редкая еда. В чулане есть полосатая длинная сума, сшитая из алаши[53]. Она висит у самого края одного из шестов, обоими своими концами прикрепленных рогожей к потолку. Сума наполнена пшеницей. Ежедневно, взяв две-три горстки, бабушка зажаривает ему этой пшеницы. Бывает, что сума пустеет до середины, а то и ниже. Однако как только издалека, с центральной усадьбы колхоза, что расположена в долине на расстоянии трех-четырех кочевий, кто-нибудь приедет, сума уже на следующий день вновь полная. Но Едиге не известно, что один из шестов, на который подвешивают мясо, почти совсем уже не прогибается под тяжестью своего груза. А полосатая сума кажется ему волшебной скатертью-само-

[53] Примечания: 53

Алаша — шерстяная материя, сотканная ручным способом.

бранкой, про которую бабушка рассказывает в своих сказках.

…Едиге почувствовал, как кто-то тихонько подтолкнул его в плечи. Кок-Даул, борзой пес. Это он просит есть. Скулит с мольбой, будто говорит: «Ну дай же!» Когда он открывает пасть, то видны желтые корни обломанных старых клыков. Главного оружия охотничьей собаки — длинных, острых передних клыков — нет у него вообще. Шерсть у пасти бурая и вытерлась, как остатки коротко остриженных усов старца. На кончике хвоста и холке полным-полно седых волосков. Совсем постарел пес. А говорят, когда-то волка брал без труда, как зайца. Лису замечал издалека и гнал ее, оказывается, совсем недолго, ловил. Снизу под пастью у него — одинокий волосок, тоже седой. Это знак величия. Дедушка говорит, борзые с такой меткой даже в старые времена встречались редко, а теперь их нет вообще. Но теперь от пса, который в свое время ничего не боялся, не уставал ни от какого гона, выиграл сотни схваток, остались только одни кости да непомерно большая голова. Наполовину оторванное, болтающееся правое ухо, все еще не зажившее, — память о последней схватке, схватке, закончившейся для него позорным поражением.

Молодой сторожевой пес Алыпсок, у которого клыки были как ножи, а сила так и била через край, не знающий о славных победах Кок-Даула, не захотел признать авторитет, каким почему-то пользовалась эта старая развалина, и однажды, когда ему налили бульону меньше, чем Кок-Даулу, не удержал в себе давно клокотавшей яростной злобы, набросился на старика. Беззубая пасть и былая слава не могли противостоять молодой силе. Алыпсок загрыз бы Кок-Даула до смерти, но старого пса спасла бабушка, выбежав на шум борьбы, хрипы и визги. Бедному Алыпсоку досталось по первое число. Всем в доме он был ненавистен, все ополчились против него. Но в ту же ночь кружившиеся возле дома волки утащили Алыпсока, и бабушка с дедушкой очень переживали, что потеряли единственного сторожевого пса. А Едиге тогда вспомнил сказанные как-то бабушкой слова, что не след таить злобу на другого, ибо поплатишься за нее сам, и подумал, что с Алыпсоком так и вышло.

Дней шесть пролежал Кок-Даул под кроватью дедушки в передней комнате. Во двор теперь почти не выходит, только по нужде. Не ест. Иногда вдруг заскулит от боли, причиняемой тяжелыми ранами, и снова лежит молча, жалко глядя на-

литыми кровью, полуослепшими старческими глазами. Кажется, страдает, что ему пришлось пережить такое позорное поражение от какого-то сторожевого пса, которого в былое время он бы одним ударом уложил насмерть. Так, в общем, объяснила бабушка. Совсем изменился Кок-Даул с тех пор. Свернувшись, выставив свои торчащие кости, лежит и лежит у печки. Спит или просто дремлет.

Сидя на задних лапах, Кок-Даул опять положил передние Едиге на плечи. «Проголодался, дай чего-нибудь», — говорит. Едиге взял своими маленькими ручонками горсть пшеницы из чашки и высыпал на кошму. Пес понюхал и вновь подтолкнул Едиге лапами. Теперь Едиге, перебрав лежавшие на столе кусочки и попробовав их на зуб, дал Кок-Даулу курт, самый твердый кусочек.

— Сделать бы ему болтушку из отрубей, да где они… — сказала мама, глядя, как Кок-Даул безуспешно пытается размолоть остатками зубов твердый сыр. — Откуда быть отрубям, раз муку не мелем.

— Дай ему, что осталось от ночного мяса, и налей побольше бульона, — велела бабушка.

Когда Едиге с красивыми деревянными санками, на которые был положен кусок рогожи,

вышел во двор, Кок-Даул выбежал вслед за ним. Утренний трескучий мороз начал сдавать. Огромное, круглое желтое солнце будто бы с великим трудом взбиралось на гору Кара-унгур. Уже осилило более чем половину пути до вершины и висит теперь над скалами на высоте поставленного стоймя шеста. Небо блеклое. Снежинки в сугробах, серебряно поблескивая в слабых солнечных лучах, словно бы очищают воздух, и дышится легко и свободно. Все вокруг объято безмолвием. Белое безмолвие. Кажется, природа еще не очнулась от ночного сна. Ни звука, ни движения… Только старая, подзавалившаяся каменная зимовка, стоящая в самом центре этого покрытого белым мраком мира, да беспорядочные следы овец, их чернеющий на свежем белом снегу помет говорят о том, что тут есть жизнь.

Едиге повернулся и посмотрел в противоположную сторону — на горы Жуар-таг. Сопки, плавно перетекавшие одна в другую, были похожи, как сестры. Вчера их солнечные стороны, обращенные к зимовке, еще чернели расселинами и падями, теперь же все это укуталось в белое одеяло. Только лишь серые скалы были засыпаны снегом наполовину и торчали из него, будто выпятив грудь. Едиге заметил, что на одной

из скал со срезанной плоской вершиной стоит в стойке стража архар. В синевато-тусклом воздухе он был едва-едва различим. Едиге присмотрелся — почти под ногами у стража лежал еще один архар, а поодаль от них, отдыхая, каждый в свою сторону головой, лежало еще несколько. Едиге пригнул одно колено, скинул варежки из верблюжьей шерсти, вытянул левую руку вперед, будто поддерживал ружье за цевье, и указательным пальцем правой несколько раз нажал на «спуск»:

— Пух! Пух! Пух!

Что-то теплое, влажное и мягкое прошлось по лицу — это лизнул Кок-Даул.

— Фу, дурачок! — сказал Едиге, стирая собачью слюну с лица пушистым снегом. — Ты бездельник. Овец не сторожишь. Даже еду, которую тебе кладут в рот, не можешь проглотить сам. Только и знаешь спать. Лучше бы отправился в горы да поймал хотя бы одного или двух архаров!

Кок-Даул облизнул пасть длинным красным языком и остался стоять, помахивая хвостом.

— Хочешь сказать, состарился. И ата состарился, но он же пасет овец. И аже состарилась, но все время что-нибудь делает. Вот вернется куке, получишь трепку.

Кок-Даул, скуля, лег на снег, будто хотел сказать: виноват, нехорошо веду себя, прости, родной!..

— А-а! Боишься! Ладно, не хнычь. Поймай тогда хотя бы лису. Большую-большую, красную-красную и с длинным хвостом. Сошьем шапку куке. Почему не киваешь головой? Ничего до тебя не дошло, а? Нет у тебя ума. Ладно, идем, будем кататься на санках.

Гуляя, Едиге не уходит далеко от дома. Возле зимовки есть небольшая сопка, она носит у него название Салазки. Это корым — курган, насыпанный из камней, древнее захоронение. Он сейчас тоже покрыт толстым, плотным слоем снега. На самой вершине корыма — большой серый камень. Это — балбал — каменная баба. Плечи, шея, голова — ничего не очерчено, одна сплошная глыба, да не ясны уже и черты лица: жгло солнце, дул ветер, сек дождь и снег — линии стерлись, человеческий облик лишь угадывается. Но в воображении Едиге — это храбрейший витязь, не отступающий перед самой дикой, пронизывающей холодом бурей, не боящийся ни ночного безмолвного мрака, ни волчьего воя, от которого мурашки бегают по спине. Снег почти до половины завалил его, видна только рукоять меча, прикрепленного к поясу. Но он не страдает

от этого. Стоит молча, в гордой, независимой позе, выпятив грудь. Конечно, ему не очень-то приятно так стоять, но он не подает виду. Едиге, сжалившись, погладил витязя по голове. Он был весь холодный. Едиге почувствовал это даже сквозь варежки. А Кок-Даул не обратил никакого внимания на балбала. Собака ведь. Для нее это просто камень.

— Ну, поехали!

Кок-Даул сделал вслед за Едиге только два прыжка и остановился. Выпавший ночью снег не давал санкам съехать вниз. Старый накат был засыпан им. Только после того, как Едиге спустился несколько раз, он немного расчистился. Но все равно санки не едут далеко. А Кок-Даул будто привязан к ним. Когда Едиге съезжает вниз, он скачет следом, забегает то с правой, то с левой стороны, обрадованно повизгивает и, когда Едиге лезет наверх, тоже взбирается за ним.

На этот раз санки съехали дальше обычного. Едиге подождал Кок-Даула — его не было. Он оглянулся — пес стоял, навострив уши, вытянув вперед морду, и пристально смотрел в сторону Жуар-тага.

Бросив санки, Едиге бегом поднялся наверх. Стадо архаров беспорядочной массой спускалось

к подножию Жуар-тага. Едиге взглянул на Кок-Даула, — кажется, пес не мог ясно различить: домашняя ли это скотина или дикие животные. Архары достигли котловины, лежавшей на их пути к Кара-унгуру, и встали сгрудившись. Стояли они недолго. Из стада вышел громадный самец с длинными закрученными рогами и ступил в снежную пучину; остальные, один за другим, последовали за ним.

Снег в низине глубокий. Самец-вожак идет впереди стада на длину шеста, и снежная целина разрезается за ним надвое. Иногда он чуть не весь уходит в снег — виднеется лишь его голова с громадными толстыми рогами. В таких случаях он несколько раз подряд подпрыгивает. Матово-белая грудь его блестит на солнце, снег, разлетающийся в стороны, отсверкивает серебром. Стадо, следующее за вожаком, пестро: есть и крупные самцы, есть и некрасивые на вид самки с прямыми, лишь чуть-чуть загнутыми назад рогами, есть и однолетки с двухлетками, у которых рога только-только пробились. Самцы словно плывут, и над снегом видны их темно-коричневые спины. Все они гордые и важные. Самки и однолетки с двухлетками двигаются торопливо, спешат и то и дело коротко подпрыгивают, но все

равно не могут идти быстрее. Загибая пальцы, Едиге стал считать вслух: «Раз, два, три… девять, десять…» Пальцы кончились. А архары не кончаются. Тянутся один за другим, как верблюжий караван. Последние только ступили в низину. А вожак уже выбрался на твердое. Встряхнулся и стоит, окидывая взглядом свое стадо, гордый, важный, независимый. Он, очевидно, заметил Едиге с Кок-Даулом и немного обеспокоен. Стоит смотрит и будто бы торопит на своем языке: «Побыстрее! Побыстрее! Ну, поживее!» Выбравшиеся из снега архары скачут галопом к плоскому склону горы Кара-унгур и, двигаясь наискось по отношению к зимовке, уходят все дальше и дальше.

Вдруг Кок-Даул рванулся с корыма вниз. Едиге подумал, что к архарам, но он несся в противоположную сторону, к зимовке. Только теперь Едиге заметил, что до архаров совсем близко, однако на пути к ним — глубокий снег, и собаке пройти его невозможно. Бывалый пес пошел к подножию гор, где снега было мало. Он несся, взбивая снежную пыль, по большому полукругу. Архары почувствовали опасность, напирая друг на друга, стали торопиться выходить из низины и, выбравшись, большими скачками уносились прочь. Только вожак был спокоен.

Но и герою, оказывается, хочется жить — последние два-три одногодка, отставшие от стада, еще не успели выбраться из снега, как вожак, закинув на спину свои тяжелые закрученные рога, похожие на толстый старый саксаул, задрав морду к небу, изо всех сил помчался в сторону гор. Но пес, затравивший в свое время не одного архара и прекрасно знающий их повадки, оказывается, уже перехитрил его: он уже занял путь к гребню, на котором было меньше всего снега и который был единственной дорогой к горам, и самцу пришлось повернуть обратно. Молодняк, потерявший голову от страха, сбивая друг друга, бросился в низину. Спотыкаясь и падая, одногодки пошли в обратную сторону по только что проложенной глубокой тропе. Из снега виднелись только их головы. Казалось, и вожак хотел последовать за ними, но, видимо, он понял, что это гибель, и резко рванул в сторону. Кок-Даул, шедший за ним на расстоянии выстрела, в тот же миг срезал путь и поравнялся с архаром. Едиге не видел, как пес цапнул самца за брюхо. Если бы прежние времена, когда зубы у него были целы и сил хоть отбавляй, живот архара был бы распорот и белый снег окрасился кровью. Но те дни давно минули, — архар лишь подпрыгнул

и продолжал бежать. Кок-Даул, однако, не отставал — он вышел на гребень вслед за самцом. Расстояние между ними было в длину натянутой узды. Едиге заметил, что теперь, когда вышли на ровный, открытый гребень, Кок-Даул начал гнать, идя не по пятам, а чуть сбоку, и архар стал забирать все левее и левее, и они пошли на ту сторону горы Кара-унгур, которая была скалиста и непроходима. Вскоре они исчезли. Сколько Едиге ни вглядывался, ничего он больше не видел.

Теперь и играть стало неинтересно. Едиге еще несколько раз съехал вниз, постоял немного в раздумье и пошел к дому, везя за собой на ремешке санки.

— Кок-Даул ушел за архаром, — сказал он матери с бабушкой, очищавшим от навоза и закладывавшим новое сено в обнесенный плетеной тальниковой оградой загон, в котором обычно стояли старые овцы и исхудавший, неспособный пастись молодняк.

Оказывается, они тоже видели, как архары переходили котловину и как погнал вожака старый пес. Но особого восторга по этому поводу они не выразили.

— Собирается взять архара, а как бы сам не стал добычей волков, — вздохнула бабушка.

— Э, разве дикое горное животное дастся спятившему псу, которому уже пятнадцать зим. Не будет он бегать сам по себе, скоро вернется, — сказала мама.

— Пока не расправится с архаром, не вернется, — отрезал Едиге.

Ни мама, ни бабушка не ответили.

— Схватит за ногу и перебросит через себя, — продолжал Едиге. — Схватит за горло и зарежет. Я на коне поеду и привезу.

Снова не отозвались женщины. Раздают сено овцам в загоне.

— Затем подъеду к дому и крикну: «Эй, кто тут есть, снимите архара с коня». Дед выбежит и снимет. Зарежем. Снимем шкуру и сварим мясо. Почку съем я сам, уши[54] пошлю куке. Куке наестся как следует. Скажет: «Мой Едиге настоящий джигит, архара поймал!»

Ни слова не сказали женщины. Бабушка отвернулась. Мама посмотрела на запад, вздохнула и только быстрее заработала поржавевшими вилами с обломанным третьим зубом. Потом и она отвернулась.

— Кок-Даул быстр, — сказал Едиге. — Дедушка

---

[54] Примечания: 54

Почки и уши считаются почетным угощением для детей.

говорит, он ловил на бегу быстрейшего из зверей — зайца и хитрой лисице не давал кружить долго.

Молчат обе. И будто смеются, отвернувшись. У мамы даже плечи вздрагивают.

— Кок-Даул силен, — сжал кулачки Едиге. — Дед говорит, что, когда пасет овец по склонам гор, каждый день видит останки архара, съеденного волками. Он говорит, не было бы волков, архары развелись бы здесь тысячами. А Кок-Даул когда-то уничтожал этих волков без числа. Для Кок-Даула архар ничего не значит… Он их тоже брал без числа. Вы же сами говорили об этом.

Откуда-то вдруг донесся собачий лай. Он доносился обрывками, эхом отражаясь в скалах. Все прислушались, затаив дыхание. Теперь лай зазвучал отчетливее. Он раздавался в стороне непроходимых скал Кара-унгура. Кок-Даул. В лае его была злоба, и лаял он с долгими паузами.

Вскоре лай прекратился совсем. Опять вокруг наступило безмолвие. Мертвая тишь. Только и слышно, как жует молодняк, как чихают старые овцы. Заблеял какой-то ягненок, видно, боднули — и смолк.

Едиге взобрался с трудом по лестнице на крышу и, встав возле теплой печной трубы, из которой

поднимался к небу синий дымок, долго смотрел в сторону Кара-унгура. Солнце уже давно поднялось над горой и продолжало свой путь к небесной высоте. И кроме него, этого солнца, не было вокруг никаких других признаков жизни, — мир застыл в безмолвии. Похожая на огромную перевернутую чашу, гора сурова; проглотила всех тех архаров, и того самца, и Кок-Даула и теперь стоит, как бы говоря: можете подать еще, что там есть у вас.

Нарушая это безмолвие, вновь раздался собачий лай. Теперь в голосе пса были бессилие и мольба. Словно бы он звал на помощь.

— Не волки ли окружили несчастного, — сказала бабушка. Она прислушалась к лаю. — Нет, волков там, кажется, нет.

— Может быть, Кок-Даул взял архара, — сказала мама.

— Разве у бедняги остались силы на это? Ериктай, стой подальше от края, упадешь. Не то слазь, все равно ничего не видно. Анар, помоги ему слезть, никак не достанет до ступенек. Ну-у, у него и нос покраснел, и лицо побелело. Не замерз?

От Кара-унгура опять донесся лай Кок-Даула.

— Он взял архара, — сказала мама.

— Подождем немного, может, придет обрат-

но, — сказала бабушка.

Ждали долго. Кок-Даул не возвращался. Лишь лаял по-прежнему, хрипло и надсадно. Словно его привязали там.

— Он распорол архару живот и не может отойти, сторожит, — сказала мама.

— Может, сорвался со скалы и просит помощи… — посмотрела в сторону горы бабушка. — Ладно, — сказала она затем, — видно, не вернется сам, придется тебе пойти за ним. Не боишься? Да собака-то подает голос — все не так страшно. Я бы сама пошла, но старость, нет мочи в гору подняться.

— Дайте свой нож, — попросила мама.

— И то… чем черт не шутит… — Бабушка распустила пояс, расстегнула шубу и вытащила из кармана безрукавки черный складной нож. — Если жив еще, спусти кровь. Когда нет мужчины, можно это сделать и женщине. Только не позабудь сказать: «Бисмилла!»[55] Ну, иди теперь. Возьми палку — и идти легче, да и защита.

— Глядите тут за овцами.

— Удачи тебе! Едиге, ты-то куда с санками? Не будь, родной, шалуном. Э, вижу, не хочешь оста-

---

[55] Примечания: 55
Именем аллаха.

ваться без мамы, сразу видно, кто тебя родил[56]. Ладно, мать — твоя, никто не спорит. Она сейчас вернется, а ты замерз, пойдем в дом, согреемся и выйдем.

…Прошло время, достаточное для того, чтобы сварилось в казане мясо, и мама наконец вернулась. Руки ее были пусты, а следом за ней еле тащился Кок-Даул. Он хромал, каждый шаг давался ему мучительно тяжело, лапы у него были в крови, шерсть слиплась и свалялась. Глаза у мамы покраснели и опухли.

— Прыгнул — и только его и видели, — сказала она, — аж с ног меня чуть не сбил.

Опершись о загородку загона, она перевела дыхание.

— Кок-Даул загнал его в каменный тупик. Огромный шестилетний самец, не меньше стригунка. Никогда не видела такого большого архара. Рога толстые, корявые, с тройным загибом. Встал задом к скалам и не давал псу подойти к себе. Меня издали увидел. Постоял немного, потоптался на месте, а потом прыгнул и понесся прочь. Кок-Даул шел за ним след в след, но как только начался голый гребень, без снега, архар тут же

[56] Примечания: 56

По казахскому обычаю, первый сын в семье молодых воспитывается у бабушки с дедушкой и считается как бы их сыном.

оторвался от него. Кок-Даул отбил себе все лапы. Насилу до дому дотащились... Эта война стала чумой, бичом для мужчин, — сказала она после молчания самой себе, ни на кого не глядя. — Теперь над нами насмехаются даже звери.

Старая Орынкул не произнесла ни слова. Едиге обхватил за шею старого пса, лежавшего чуть боком, опершись на выставленную лапу и словно бы подпиравшего землю своей огромной грудью. Я никогда не пойду на войну, подумал Едиге, не пойду. Но именно в тот день где-то в непостижимых глубинах его души зародилась уверенность в том, что жизненный путь человека полон беспрестанной борьбы, и раз ты родился им, то должен бороться и воевать, хочешь этого или не хочешь, и в этом вся суть жизни, вся прелесть и вместе с тем вся горечь ее.

1968

Перевод А. Курчаткина.

НОЧНЫЕ ГОСТИ

— Коли такой мастак приветствовать — так уж и быть, проходи, — сказал Омирбек-аксакал, не переменив позы, оставшись лежать, как лежал, лишь поудобнее устраивая под локтем аккуратно свернутый купи[57]. — Дверь только закрыть не забудь.

— Сзади товарищ есть, — сказал гость, как рыкнул.

— А, деда твоего в душу, богатый, значит, приехал! — усмехнулся Омирбек. — Аклима, дверь закрой-ка.

Снимавшая пену с мяса в казане, бледная, с мизинчик старушка, по пояс исчезнув в волнах белого тумана, клубами вползавшего в дом, торопливо закрыла дверь.

— И-и, свет ты мой, — сказала она гостю, — замерз совсем. Руки вон, гляди, не слушаются. Дядя чабан, — обратилась она к мужу, — уж раздел бы Токмет-жана. Разве лежат так, когда гость в дом пришел?

---

[57] Примечания: 57

Купи — верхняя одежда с подкладкой из верблюжьего или овечьего меха.

— Хоть генерал-губернатор приди — не могу я встать, — ответил Омирбек. — Сам разденется.

Но раздеться сам гость не мог. Одежда на нем словно залубенела. Аклима, худая, с узкими плечами, с морщинистым, точно вымя переставшей доиться коровы, лицом, волоча по полу конец своего длинного кимешека[58], зашла к гостю с одного бока, с другого и, дергая за рукава, с трудом стащила с него белый тулуп. Под тулупом у гостя оказался туго перехваченный в поясе черный полушубок. Аклима сняла и его. Из-под полушубка на свет белый явился кожаный жилет. Сняли и жилет. Тесемки лисьего тымака стянулись в тугой узел. Аклима долго возилась с ними, наконец распутала. Теперь гость остался в одном застегнутом до горла синем кителе. Прижав обе руки к груди и чуть согнувшись, поздоровался снова:

— Ассалау-магалейко-ом! — Шагнул было к тёру, но остановился.

Присев на носки, он попытался снять с валенок галоши. Но галоши не снимались. Сев на голый пол, гость потянул галоши обеими руками. Галоши не поддались. Тогда они попробовали вдвоем с Аклимой. Опять ничего не вышло.

---

[58] Примечания: 58

Кимешек — женский головной убор.

— Не снимаются, проклятые, — сказал гость.

— Закаменели на морозе. Теперь схватились с валенками намертво, — заметил Омирбек.

— Что же теперь делать? — спросил гость. Он готов был расплакаться.

— Разрежь ножом, тогда снимутся, — посоветовал Омирбек.

Гость засунул руку в карман, отыскивая складник, который должен был лежать у него там, но складника не оказалось.

— Выпал, — сказал гость. — Из семи частей, замечательный складник был. Проклятое железо, чтоб ржавчина тебя съела, не могло потом потеряться, когда галоши вот эти порезал бы... ой, да что же мне теперь делать-то?..

— В аул свой приедешь, новый складник купишь. Вот тогда и порежешь себе галоши с валенками вместе, — сказал Омирбек. — Ну, а сейчас так проходи.

— Во-о! Придумал! — Обрадовавшись, довольный собою, гость снял валенки совсем, швырнул их один за другим к порогу и, волоча за собой размотавшиеся портянки, прошел на тёр.

— Куль-тура! — сказал он по-русски, поднимая палец.

— Как ты будешь резать, что ты будешь ре-

зать — мне дела нет[59], — сказал Омирбек. — Садись. Ровесник мой жив-здоров? Бодр еще, наверное?

— Бодр, — ответил гость. — Вы же крепкий народ.

— Крепкий, — сказал Омирбек. — Особенно вот я крепкий. Оттого что крепкий, и от овец не отставляете, хоть мне и семьдесят уже.

— Ничего, — сказал гость. — На свежем воздухе полезно для здоровья работать.

— Конечно, — кивнул Омирбек. — Не было бы полезно, так вы б не заставляли. — Он чуть помолчал. — Вечером с коня едва слезаешь. И сейчас вот подняться не могу, кости ломит. Иной раз ночь напролет мучаешься, стоном исходишь. Вся работа на моей шее. Просил какого-нибудь мальчонку дать, чтобы хоть был здесь кто, когда пасти уезжаю, — скотинке слабой сенца подкинуть, так вы все тянете, длинным арканом, широкими путами. Дом мой единственный тут. Умру в один день, так пока узнаете да прискачете, не подохнет ли ваша скотина в загоне?!

— Не умрете! — протянул гость. — Раньше девяноста коня не осадите.

---

[59] Примечания: 59

Здесь игра слов, возникшая из совпадения частей слова «культура» с двумя казахскими словами: «куль» — мелко, «тура» — резать.

— Если мы до девяноста дотянем, так вы до ста тридцати доедете, — сказал Омирбек.

— Сто тридцать… Это так… Это как бы… многовато. Вот этих: восьмидесяти, девяноста — хватит нам.

— До девяноста играючи доедете. А дальше — там сорок градусов бешеной воды есть, которую вы каждый день потребляете, так, нет? Вот тебе и сто тридцать.

— Не-ет, — сказал гость. — Сто тридцать ваших — многовато. Что нам перепадает? Плохая, горькая водка, вонючий спирт. В Алма-Ате, говорят, без всякой примеси чистая водка есть, которую сильные мира сего пьют, коньяк называется. Что же делать, досюда не доходит. А то бы…

— Э-э, дурного твоего деда в душу, — прервал гостя Омирбек, — я тоже без ума, что жалуюсь тебе, печаль свою изливаю. Ладно уж, утром поговорим.

— Утром на центральной усадьбе буду.

— В таком виде в ночь ехать хочешь? Никуда не поедешь. Поешь сейчас — и спать!

В эту минуту дверь снова открылась и впустила еще одного гостя. Человек немного отряхнулся на пороге от снега и неуклюже пошел к тёру. Пожав руку приподнявшему голову Омирбеку,

он посыпал скороговоркой:

— Живы-здоровы? Мамаша, — посмотрел он на Аклиму, — как себя чувствует? Руки-ноги в порядке? Скотина, люди — целы? Убойная скотина, наверно, жирная, сена много, слышал я — сноха ваша родила, сына принесла, пусть здоровым растет, долгой ему жизни. Той устроили — меня не позвали: пусть, дескать, Тлеукен со всеми придет. В чем моя вина? Обиделся я на вас. Особенно вот на мамашу обиделся.

— Ой, свет ты мой! — сказала Аклима. — Собрали вечером трех скотоводов с окрестных зимовок — про это, наверно, и говорят люди. Почему же не позовем, родной? Позовем. Пусть только лето наступит, на земле попросторней станет.

— Шучу, апа. Говорят, кто в последнее время проезжает здесь, просто так не уходит из этого дома. Нам бы тоже угоститься от того дастархана, что на тое был.

— Есть, дорогой, есть. Мы ведь на дороге, вот и закупили впрок, чтобы, кто проезжает, согрелся бы. Есть вот как раз.

— Ай, как хорошо! Тогда раздеваемся.

Движения Тлеукена были ловки и скоры. Всю одежду с себя он скинул в одно мгновение. Так

же, как и Токмет, он оказался в застегнутом до горла синем кителе и толстых, стеганых черных шароварах. Раздевшись, Тлеукен присел в ногах Омирбека. Ему было лет двадцать пять, крепкий, атлетического сложения мужчина. Рядом с Токметом, которого так и качало и временами он чуть не падал, Тлеукен казался, ни больше ни меньше, горой. Грудь его — чуть ли не в размах рук обыкновенного человека, на каждое плечо можно посадить по джигиту. Только вот голова у него будто не от этого тела. Словно и нет ее, а все это — одна толстая шея, которая, становясь тоньше и тоньше, обрывается неожиданно тупым огрызком. В висках она уже, чем в щеках, лоб в два пальца. Череп выбрит, и голова круглая-круглая и белая, как свежевыделанный бурдюк, набитый маслом. Когда Тлеукен говорит, виски его вслед губам тоже двигаются.

— И вправду, даже честные слова лгуна на ветер уходят, — сказал Омирбек. — Когда Токмет объявил, что не один, мы не поверили. Что же ты так долго дверь искал?

— Да не-ет… — протянул Тлеукен. — Лошади проголодались. Сена им подкинул, пока устраивал… ну вот…

— В райцентр часто ездите, велели бы в дом,

где останавливаетесь, две-три арбы сена подбросить.

— Сено есть, — сказал Тлеукен. — Да лошади наши заняты были — день-деньской под седлом простояли. Думали сначала с рассветом ехать, да за чаем вот засиделись, потом люди к нам пришли, затем мы к ним зашли… В общем, что уж там, пока то да се, оказывается, и солнце село. Тогда только за разум взялись, сели на коней в спешном порядке и только вот до вас, видите, доехали…

— Э, пусть, — махнул рукой Омирбек. — Конторские бумаги — не скотина, их пасти не надо. Утром по потемкам выедете — к полудню будете.

— Утром заседание правления, — сказал Токмет. — Я присутствовать обязан. Порядок нужен. Где плохое руководство, там и работа не может не хромать.

— Ой, ой, слова Токи — как книжные слова, — сказал Тлеукен.

— Значение животноводства на сегодняшний день — велико, — поднял палец Токмет. — И раз уж правительство доверило тебе ответственную работу, ты обязан оправдать это доверие, работа — не игрушка.

— С государственной работой играть нельзя, —

подтвердил Тлеукен. — И потом, вам непременно нужно добраться до моей женеше[60] нынче же ночью.

— А это тоже работа, — сказал Токмет. — Зарегистрировался я в загсе — значит, взял на себя ответственность. Взял ответственность — неси ее!

— Взял ответственность — неси! — повторил Тлеукен, широко улыбаясь.

— Апа!.. — сказал Токмет. — Водочку свою неси. Поедем мы.

— Сейчас, милый, сейчас, — отозвалась Аклима. — Чай вскипел, и мясо как раз сварилось.

— Мясо — это пережитки прошлого, апа. Ну что это такое — мясо. Мясо в каждом доме найдется. Вот водку не везде достанешь. Тлеукен, разве ту бутылку, из сумки, не принесешь?

— Принесу, — сказал Тлеукен.

— Нет, — сказал Токмет. — Сначала мы выпьем до дна водку этого дома.

— Сначала мы выпьем водку этого дома, — сказал и Тлеукен.

— Ну, а ту — на дорогу.

— Да, пусть на дорогу будет.

---

[60] Примечания: 60

Женеше — уважительное от «женге» — жена старшего брата, старшего по возрасту человека.

— Когда до перевала Айкай доедем — вытащим, да?

— Когда до перевала Айкай доедем — вытащим.

— Прямо из горлышка будем пить?

— Из горлышка выпьем.

— Чтоб булькала?

— Чтоб булькала.

Едиге засмеялся. До сих пор, не обращая на этих двоих особенного внимания, он молча сидел перед печью, греясь ее близким теплом. Теперь против воли он обернулся: не только поведение пьяного Токмета, но и то, как ловко огромный, будто верблюд, Тлеукен подлаживается под него, было смешным.

— Ой, а это… как его… Этого хитреца Омирбека сын… то есть… ошибся я, я думал, это ваш сын, а это внук Маке… ай, господи, я все путаюсь… сын Маке ведь, а? — сказал Токмет.

— Едиге это, стало быть! — заметил Тлеукен.

— Откуда ты, куда ты? — спросил Токмет.

— Домой на каникулы, на десять дней.

— Только перед вами зашел, — сказала Аклима. — Дни-то божьи стоят морозные, продрог весь. И-и, дорогой ты мой!..

— На десять дней? — спросил Токмет, сощурив

глаза. — Сегодня же двадцать четвертое декабря. До каникул ведь еще неделя, так, нет?

Едиге промолчал.

— Детей, которые отлично учатся, отпускают, оказывается, раньше, — сказал Омирбек.

— А, вон как. Какой у тебя нынче класс?

— Шестой.

— Учеба как?

— Хорошо.

— Четверки?

— Нет, пятерки.

— Все пятерки?

— Все пятерки.

— Ой, молодцом! — сказал Токмет довольный. — Не сходи с этой позиции. Будешь хорошо учиться — таким же, как я, будешь.

— Я, как вы, не буду, — сказал Едиге.

— Я — заведующий фермой, — сказал Токмет. — Вся скотина, все деньги в моих руках, не ломаю головы, что есть, что надевать. Разве не хочешь заведующим фермой быть?

— Не хочу быть заведующим фермой, — сказал Едиге.

— Тогда кем же ты хочешь?

Едиге снова промолчал.

— Ты не учился, на полдороге застрял. А Едиге

до дна знаний дойдет, — сказал Омирбек. — Самое меньшее — пуркорол[61] в райисполкоме будет.

— Батюшки, тогда кончили, — закрыл Токмет лицо своими худыми длинными пальцами. — Думается, смерти ищем мы, играя с пуркоролом?

— Не смейся. Живы будем — увидишь еще, — сказал Омирбек. — Это такой мальчик.

— А чего смеяться? — сказал Токмет, вновь становясь серьезным. — Из способного мальчика что-нибудь да выйдет. Я ведь вот в школе тоже хорошо учился. Особенно по арифметике сильный был. А иначе б я разве чего достиг?

— Ну, мойте руки! — позвал Омирбек. — У старухи, кажется, ужин готов.

— Ой-ей, драгоценная ты мать наша! — сказал Токмет, усаживаясь за столом. — Недаром люди ваш дом хвалят.

— Дорогой, все здесь, что имеем, — сказала Аклима. — На зиму только одного бычка прирезали, да худой оказался. А больше нечего было резать. Это мы для Едиге мясо сварили. Свою долю позднее получите.

— Есть ли лучшая доля, чем эта зеленогорлая? — воскликнул Токмет. — Я же про нее и

---

[61] Примечания: 61
То есть прокурором.

говорю. Мясо пусть Едиге и Тлеукен едят. А мне и этой бешеной воды хватит. Наливай, Тлеукен.

Тлеукен взял со стола бутылку.

— Тока, сегодняшняя норма выполнена, может, не будем пить?

— Эй, а кто заведующий фермой у нас?

— Вы. Конечно, вы.

— А счетовод кто?

— Я, Тока.

— У кого работа выше, кто кому подчиняется?

— О, что вы говорите, Тока. Разве я когда перебегал вам дорогу?

— Тогда наливай.

— Верно, Тока. Но ведь нам в путь сейчас. А этак, так-то… не тяжеловато ли будет?

— Сколько лет у меня под рукой, а ума не набрался! — огорчился Токмет. — И на тое внука Омеке пить не будем, что ли? Неужто хотя бы пол-литру не осушим мы за здоровье только что пришедшего в мир советского гражданина? Или тебе жалко для меня этой водки?

— Побежден, Тока. На сей раз не серчайте уж на меня, — сказал Тлеукен, хихикая и качая своей маленькой, как у ящерицы, головой. Разлил водку поровну в две чашки, принесенные Аклимой, и поднял свою. — Раз уж пить, так чего ее мусолить,

опрокинем разом.

— На, Едиге, возьми кость, погрызи, — предложил Омирбек, нарезавший мясо. — А ты, Токмет, позвонком полакомься — закуской будет.

— И-и, свет ты мой!.. — глянула Аклима на Едиге, когда он принялся за еду. — В чужом доме живет и учится мальчик, разве ж он ест досыта? И-и, милый мой, ешь, не стесняйся. Доконает вас эта учеба. Погляди на себя — как былинка…

— Ну давай, хлобыстнем, — сказал Токмет.

— Покорен вашему приказу, сей момент, — отозвался Тлеукен. — Апа, дайте чашку холодной воды!

— Мясо ешьте, — сказал Омирбек.

— Это зимовье совсем вроде обветшало, — поглядел Тлеукен вокруг. — Вон матица-то как выгнулась. Как бы не сломалась в один прекрасный день.

Токмет тоже поглядел на потолок.

— И балки погнулись, едва держатся, — покачал он головой. — Износились. Летом починить надо.

— Когда обвалятся, вытащите наши кости, тогда и почините, — сказал Омирбек. — К чему пустые слова говорить? Сами-то вы в хорошем доме с голубой крышей живете, а нам… а нам

и этого хватит. Ну, пока не остыло, ешьте мясо. Едиге, ты не гляди на них, ешь.

— Ешь, Едиге, ешь, — сказала Аклима.

— Апа! — позвал Тлеукен. — Вода ваша что-то больно холодная, не надо мне, отнесите обратно. — Он подмигнул ей. — Но только не вылейте, после нас гости выпьют.

— Ну, поехали! — поднял Токмет голову.

— Поехали, — сказал Тлеукен.

— Бисмилла…

— Иррахман, иррахим…[62]

— Прости их, всевышний, — подняла глаза к потолку Аклима.

— Бесового вашего деда в душу! — выругался Омирбек.

— Вкуса нет, — сказал Токмет, поднося к носу полную горсть мяса и нюхая его.

— И мне так кажется, — протянул к блюду руку Тлеукен.

— Чем больше пьешь, тем лучше идет, родимая.

— После четырех-пяти стаканов водой отдает, — подхватил Тлеукен.

— Ешьте, легче будет, — сказал Омирбек.

---

[62] Примечания: 62
Милостивого, милосердного…

— Ешь, Едиге, — посмотрела на мальчика Аклима.

На улице послышался звонкий лай собаки. Тут же к нему прибавился другой — поглуше и пониже.

— Возьми, эй, возьми! — закричала Аклима.

— Ого! — сказал Омирбек. — Сильнее кричи. Тот волк, что твой голос услышал, во второй раз близко к нам не подходит.

Сучка на улице так и заливалась, не прерываясь ни на мгновение. Чувствовалось, что она не стоит на месте, а суетливо бросается то в одну, то в другую сторону. Ну, а породистый самец, кажется, и не подумал еще даже подняться — лежит, как лежал. Лишь взлаивает лениво. Но лай его — не суетливый лай сучки, а грозный рык.

— Снова пришел. — Омирбек вытер руки о салфетку, оперся о пол и встал. — И поесть не даст. Серый тут один с самой осени околачивается, вынюхивает, что бы урвать, но мы пока еще целы…

Накинув на себя купи, который лежал у него под локтем, он снял висевшее над порогом видавшее виды ружье шестнадцатого калибра и вышел. Спустя некоторое время раздался слабый бухающий звук. «Пороху мало», — подумал Едиге. Умолкшие было в момент выстрела, собаки

теперь уже обе залились яростным возбужденным лаем и понеслись куда-то в сторону. Донесся подбадривающий крик побежавшего за ними Омирбека. Потом и лай, и человеческий голос вновь приблизились — и смолкли, будто их обрубили. Со скрипом открылась наружная дверь. Было слышно, как учащенно дышит Омирбек, как он обколачивает, стуча одной ногой о другую, снег с сапог.

— Ну как, попал? — спросил заметно протрезвевший Токмет, не успел Омирбек появиться в дверях.

— Если с каждым выстрелом попадать, волков в этих краях не останется. Лучше бы спросили, увидел ли я его! — Взобравшись к столу, Омирбек медленными движениями свернул купи и снова подложил его под локоть. — Пальнул, в общем, в ту сторону, куда собаки лаяли, а если б и увидел, то даже на расстоянии от тёра до двери не попал бы.

— Батюшки, да ведь легенды люди про вас рассказывают — дескать, отличный вы стрелок, — сказал Тлеукен.

— Не смейтесь, и ваш черед придет, — сказал Омирбек. — Думаете, такой уж я стрелок, раз ружье держу! Лишь бы зверя пугнуть.

— Но если все же повезет…

— Не повезет, — прервал его Омирбек. — Вместо свинца я туда конского навозу побольше наталкиваю. Так огнем из дула и полыхнет. Зверь увидит — в ту ночь больше не является. Только вот каждый-то день стрелять не будешь. Осенью сюда скупщик шкур Секербай приезжал, патронов и пороху у него было завались, так не продал, проклятый, — охотничьего билета, говорит, у тебя нету. Была у меня лисица, тымак себе хотел сделать — отдал задаром да еще и умолял на лишнюю горсточку пороха расщедриться. Как ни берег, а вот кончается. Был бы загон прочный, так не о чем бы и думать, а тут боюсь, как бы серый через крышу не залез. Только вот на собак наших и рассчитываем.

— Ничего, — сказал Токмет, — В будущем году переведу тебя на одну из новых зимовок.

— А сюда какого-нибудь другого беднягу воткнешь?

— И это зимовье будет починено.

— Починится, ага! — подхватил Тлеукен.

— Как будто я не слышал этих слов, — махнул рукой Омирбек. — И в прошлом году говорили то же. Облагодетельствовали, в общем.

— Ребята устали в дороге, не тронь их, — сказа-

ла Аклима. — Пусть мяса поедят.

— Сыты! — развел руками Тлеукен.

— Не идет что-то, — подтвердил Токмет.

— Бульону вот выпейте, а сейчас и чай будет, — сказал Омирбек.

— На чай у нас времени нет, — сказал Токмет.

— Токмет-жан! Да переночевали бы уж! — уговаривающе сказала Аклима.

— Не задерживай, старуха! От работы отвлекаешь джигитов! — прикрикнул Омирбек.

— Едиге! Конь твой остывает еще, так поедем с нами, что ли! — посмотрел Токмет на мальчика.

— Конь его в сенях, к стенке прислоненным стоит, — засмеялся Омирбек. — Животное такое, что и сена не ест, и воды не пьет.

— Лошади нет. Я на лыжах, — объяснил Едиге.

— Ай-я-яй, как же так: а когда мы в ваши края ехали, отец твой говорил, что лошадь за тобой отправит! — воскликнул Тлеукен.

— Домой очень захотелось, вот и не стал лошадь ждать, — сказал Едиге.

— Ничего, — возразил Токмет. — Привяжем к тороке веревку, за конец возьмешься — только скользить и останется.

— И без веревки вашей дойду, — отрезал Едиге. — Утром рано выйду, три-четыре часа — и

буду на месте.

— Дом твой по пути, неловко оставлять тебя, подсаживайся тогда к кому-нибудь сзади, — сказал Токмет.

— Оставим тебя — Маке нам еще голову проломит, — потрогал свой бритый череп Тлеукен.

— Ни к кому я подсаживаться не буду, — снова отрезал Едиге.

— Тяжелый характер, — сказал Токмет. — Говорили, что своенравный — выходит, правда.

— Так ведь старика же Маке сын, — сказала Аклима.

— Не мучьте мальчика по-пустому, — подал голос Омирбек.

— Выходит, мы его на дороге оставили, — сказал Токмет.

— Люди прослышат — в глаза от стыда им глядеть не сможем! — заохал Тлеукен.

— Вот вы как сделайте, — сказал Омирбек. — Будете через Шат проезжать — зайдите в дом к Едиге, объясните, что к чему. Пусть выедут ему навстречу с лошадью для него.

— Совет разумный, — обрадовался Токмет.

— Очень разумный, очень! — подхватил и Тлеукен.

— Сами знаете, у меня кроме гнедого, на ко-

тором овец пасу, другой скотины нет, а то бы посадил да отправил. Так-то тоже отпускать: какой еще день будет… вдруг запуржит… маленький еще мальчик…

— О господи, отстрани беду! — испугалась Аклима. — Как иногда начнешь заговариваться, плетешь лишнее…

— Без плохого слова нет хорошего дела, — сказал Омирбек.

Едиге проснулся от громких возбужденных голосов.

— Эх, Тока, разве я не говорил, что мы снова в Каракору приехали? Вон Едиге лежит. Вон, гляди, проснулся как раз.

— Едиге? — пробормотал Токмет. Язык у него заплетался, он пробормотал что-то еще, Едиге не разобрал.

— До Шата мы еще не добрались, — продолжал Тлеукен. — Забыли, Тока, что ли: ночью он с нами не поехал, остался здесь. Это Каракора. Зимовка аксакала Омирбека. Только что у водопоя человека видели — это он был. Ага! Вот и Аклима-апа пришла, гляньте сами, не узнаете, что ли?

— О боже мой, дорогие вы мои! — проговорила Аклима, вошедшая в дом с мешком кизяка на спине. — Говорили ведь ночью — переспите,

нет, не согласились. Раздевайтесь теперь, сейчас печь растоплю, согреется дом. Замерзли небось. И-и, милые вы мои… и не еда, и не питье — что за напасть на вас, такую к ней страсть имеете. Доконает вас эта водка в один прекрасный день. Господи сохрани, хорошо хоть, в степи не остались, вернулись благополучно.

— И лошади устали, — сказал Тлеукен. — Едва добрались.

— Раздевайтесь, садитесь, скоро и чай вскипит, — сказала Аклима.

— К-к… ка-ак Кар… р… ракора? — выговорил Токмет.

— Ой, бедный Тока! — сказал Тлеукен. — Когда мы добрались до перевала Айкай, мы разве не вытащили нашу дорожную бутылку? Не пили разве из горлышка, она так и булькала? Потом я дальше потянул, а вы — в эту сторону, аул наш в этой стороне, сказали. В конце концов вы одолели, вот и приволокли меня. Остались вы теперь без своего собрания.

— Спать… хочу!.. — пробормотал Токмет.

— И я выдохся, — сказал Тлеукен.

— Сейчас, милые, сейчас, — проговорила Аклима. — Сейчас постелю обоим.

Едиге поднялся, неторопливо оделся и подошел

к окну. Стекло обметал серовато-белый иней. Только в разбитой и залатанной потом средней шибке осталась не затянутая им, с кончик пальца, прогалинка. Едиге пригнулся и посмотрел в нее на улицу. Он увидел небо — маленький кусочек, с конский потник. Синее-синее. В воздухе кружились и поблескивали снежинки. День будет тихий, подумал Едиге.

1969

Перевод А. Курчаткина.

ЛИВЕНЬ

Молодого поэта Уакаса Дуйсенбай-улы Жалбагаева родной аул встретил с почетом. Едва переступил он порог Кармысовой юрты, как народ повалил валом. Сначала примчались дети. Но дальше порога удалось просочиться лишь редким смельчакам, остальные прилипли к щелям. Однако весь последующий ход событий определили именно эти босоногие сорванцы. Вихрем промчавшись по аулу, они мигом разнесли, что из Алма-Аты приехал ага-писатель, и притащили к Кармысу отцов, матерей, дядьев, теток и старших братьев, после длинного и тяжелого трудового дня уже расположившихся отдохнуть. Лишь когда гости спокойно разместились в четырехкрылой юрте Кармыса, ребятня наконец обрела счастье лицезреть достигшего вершин знаний поэта Уакаса Жалбагаева, которого старики всегда ставили им в пример, а также его жену, молодую смуглую женщину с коротко остриженными вьющимися волосами и двух их мальчишек-погодков, семи и восьми лет.

Сидят лишь старшие. Всех их Уакас помнит. Но и перемены в них он заметил сразу. У нынешних

аксакалов, когда он уезжал, борода была еще черна и они были карасакалы. Те, кого он оставил цветущими джигитами, заняли их место и хотя бород теперь не отпускали, но видно было, как отяжелели они и обрюзгли, а многие успели уже и внуков поцеловать. И женщины сдали. Молодые женге, красивые и добрые, когда-то баловавшие его айраном и баурсаками, теперь превратились в дородных и рыхлых теток. Из его сверстников было лишь двое. Остальные разбрелись кто куда. Те, что пооканчивали институты, подались в другие места и живут либо в соседних аулах, либо в райцентре. Те, кто не стал учиться, бродят с отарами по джайляу. И все-таки больше всего молодежи. Это рослые, статные джигиты, с загоревшими, обветренными лицами, не привыкшие отводить глаза в сторону, а глядящие собеседнику прямо в лицо. Они приветствуют ага-писателя с почтением, как старшего. И лишь немногих из них Уакас узнает.

Можно назвать несколько причин, почему народ оказал Уакасу столько внимания, даже когда он не переступил еще порог этого дома.

Отец Уакаса — Дуйсенбай — человек широкой и щедрой души, был очень уважаем в ауле. В тяжелые годы он ушел вслед за возчиками шерсти

в город и через три зимы вернулся, обучившись в городе русской грамоте. Сколь хорошо он знал русский, неизвестно, но прошло совсем немного времени, и энергичный, грамотный парень был избран председателем колхоза. Не знавший материнской ласки, рано узнавший нужду, Дуйсенбай быстро обрел добрую славу, ибо был ровен и справедлив со всеми. Началась война. Поздней осенью отправился на фронт и Дуйсенбай, а уже в середине зимы пришла на него похоронка. Жена с трехлетним Уакасом остались одни. Это было лишь началом вереницы бед, которые с тех пор пошли валиться на мальчика. Молодая женщина, у которой еще с той самой поздней осени, когда призвали Дуйсенбая, ветер загулял в подоле, не дождавшись сороковин со дня гибели мужа, вышла замуж за пожилого вдовца с детьми. Однако жизнь с ним не сложилась, и через три месяца они разошлись. Теперь все кому не лень почитали за радость заглянуть на огонек к молодой вдове, и дом ее превратился в обитель, где каждый мог усладить душу и тело. Прогуляла она всего с полгода, пока однажды привлеченные несмолкаемым детским ревом аульчане не обнаружили ее на постели мертвой. Плакать по ней было некому. Все решили, что ее

покарал дух покойного Дуйсенбая. Родственники Дуйсенбая, которым не унять было разгулявшуюся вдову и которые погибали от позора, забрали к себе маленького Уакаса. Так погас очаг и рухнул шанырак в доме того самого Дуйсенбая, который еще вчера хозяином носился по этой жизни. Пока шла война, никто об этом особо не горевал, но когда вернулись в аул фронтовики, они горько сокрушались, что огонь в очаге почитаемого ими сородича погас. Недаром говорят, однако, что коня стригунок заменит. Вся надежда была теперь на мальчика, которому подошла пора учиться. В первую послевоенную осень он был устроен в интернат.

И вот теперь этот маленький Уакас, которого вырастили земляки, стал большим человеком и приехал в родной аул, да еще со всей семьей. Всем казалось, что это сам Дуйсенбай вернулся к ним после долгой разлуки. И в самом деле, десятка полтора юрт, из которых состоял этот аул, все принадлежали потомкам одного рода. Каждый приходился родственником Уакасу — кто в пятом, кто в седьмом колене, были даже такие, кто оказался ему родней чуть ли не через десяток поколений. Одни — со стороны матери, другие — со стороны отца. А случись здесь кто из

других краев, так все равно дочерей своих отдавал за родственников Уакаса или, напротив, брал в свой дом девушку из числа его родственниц… Так или иначе, но при желании всегда можно обнаружить нити кровного родства, тянущиеся к Уакасу. Оттого-то все от полной души приветствовали родственника, которого они не видели теперь уже, считай, больше десяти лет и который пожаловал к ним из такой дали.

У этих людей, почитавших мудрость, знание и книги, любая буква, напечатанная в газете, вызывала уважение. Им ли не гордиться тем, что писатель, постигший тайну слова, вышел из их среды? Но прошло столько лет… Он ни разу не приехал, и никому не посчастливилось увидеть его. И вдруг сегодня такая радость! Сидя за дастарханом в ожидании обеда, старики говорили детям, влезшим к ним на колени: «Ты читал в книгах, журналах и газетах, что пишет Уакас-ага. Теперь смотри — он сам перед тобой. Будешь хорошо учиться, станешь как он, в Алма-Ате будешь жить». А Безусый Матай, который до шестидесяти лет аккуратно брился, за что его и прозвали Безусым, и прозвище это осталось за ним навсегда, хотя он давно отпустил усы и бороду, и были они теперь белы, как снег, и казался он

глубоким старцем, — так вот, этот самый Безусый Матай, на глазах которого Уакас вырос, сказал: «Как топот копыт умчавшегося вдаль тулпара, доходит до нас твоя слава. Лишь вчера ты был босоногим мальчишкой, взнуздавшим гибкую хворостину словно коня, но наделил тебя аллах помыслами, высокими, как гора, и удача улыбнулась тебе, обогнал ты всех нас. Мы желаем тебе, чтобы и там, в далеких краях, не был ты простым участником кокпара, а обгонял всех подобно тарлану[63]». Слова эти сильно взбодрили Уакаса. Он мгновенно вырос в собственных глазах. То, что приветствовать его пришел весь аул, что исполнены были почтительности и доброжелательства слова мужчин, обращенные к нему, и движения женщин, разливавших чай, что все затихали, стоило ему лишь рот раскрыть, — все это он уже принимал как нечто ему положенное, как естественное и заслуженное поклонение широкой читательской аудитории перед ним, знаменитым поэтом. Поначалу он еще улыбался по поводу и без повода, но, быстро сообразив, что это не приличествует столь почитаемой личности, обрел серьезность. Он вообще обладал

[63] Примечания: 63
Тарлан — пятилетний беркут.

способностью быстро осваиваться с обстоятельствами, даже весьма неожиданными.

Сирота, воспитанный в интернате, очень средненько окончивший десятилетку, он особенно и не стремился в институт. Конкурс — жестокий, каждый год заваливаются почти все, кто поехал сдавать на родные отцовские денежки, а из тех, кто учился на пятерки, хорошо, если поступит половина. Уакас трезво решил не ввязываться в пустые хлопоты. Ехать не на что, да и не чувствовал он в себе таких способностей, чтобы выдержать конкурс. Словом, жалеть было не о чем. Только обидно, что не видать ему, как другим, большого города.

Как раз в те самые годы заговорили о том, чтобы молодежь после школы, прежде чем идти в вуз, поработала и узнала жизнь. Одноклассник Уакаса Секен, получив золотую медаль, так и заявил: «Хотя у меня есть право без экзаменов поступить в институт, я не желаю быть белоручкой и пойду работать, чтобы узнать жизнь со всеми ее трудностями. Прошу сделать меня табунщиком». Областная газета напечатала статью, подписанную Секеном, и он, взяв курук, отправился к лошадям. Уакас, которому не с чем было выходить на газетные страницы, да и сам

он не просился, был правлением колхоза отправлен к отаре. Старший чабан, тот самый Кармыс, у которого он сейчас остановился, отлично знал, как ходить за овцами. Покойному отцу Уакаса он приходился родственником по материнской линии.



Кармыс не сразу оставил Уакаса с отарой. Поначалу он доверял ему лишь самую простую работу: развозить сено по зимовкам, собирать кизяк. Постепенно, если выпадали ясные, теплые дни, он начал отправлять Уакаса к стаду вместо себя. Правда, обычно уже после обеда он приезжал на коне, свесив длинные ноги, словно плети, и отсылал Уакаса обратно. Зимовка стояла на отшибе. Неделями, а то и месяцами никто к ним не заглядывал. Свободного времени девать некуда. Уакас изнывал от безделья и не знал, к чему себя пристроить. Однажды обнаружил книгу. Это был однотомник Абая, выпущенный к его столетнему юбилею. То была единственная книга, которая нашлась в сундуке у Кармыса. Читать больше было нечего, и Уакас несколько раз перечитал однотомник от корки до корки. В школе, когда заставляли, Уакас не мог запомнить ни одного стихотворения и хватал двойки. А теперь стихи сами врезались в память. Через два месяца он знал наизусть всю книгу. А затем и сам взялся за перо.

Еще в старших классах он сочинял девчонкам любовные послания в две-три строфы и стихотворные шутки на своих одноклассников. Теперь он весь отдался стихам и просиживал над ними

ночи напролет. Оторванный от мира животноводческий аул, лунные ночи, побрехивающие во тьме собаки, волки, бродящие вокруг аула, остервенелый буран, пытающийся унести крышу с трубой, затейливая вязь звериных следов на снегу, мечты одинокого парня о девушке, о любви, бесконечные бессонные ночи… Он не думал о том, что кто-нибудь прочитает его стихи и они могут быть напечатаны в газете. Он писал как писалось — обо всем, что волновало его, заботясь лишь о том, чтобы передать свои ощущения, как они есть. В его стихах жила правда невыдуманного чувства, в них была естественность, свежесть и чистая душа. Потом Уакас попробовал написать стихи о джигите, который ночью встречается с любимой у звенящего ручья в степи, раскинувшейся зеленым ковром. Эти стихи были послабее, но тоже неплохи.

В тот год среди зимы выпал град и случился джут. Колхоз потерял много скота, но отару Кармыса джут обошел. Их зимовка расположилась в хорошо защищенном месте, к тому же отара до самого последнего времени паслась на далеких пастбищах, а теплые лощины на ближних предгорьях остались у нее про запас. Когда миновали морозы, потеплело и даже стал таять снег, в ауле

появился корреспондент одной из центральных газет, известный журналист Жартыбай Тауасаров. Он исколесил уже весь их район, а на острый материал так и не наткнулся, О передовиках и орденоносцах было писано-переписано, ну а среди тех, кто лишь набирал силу, особо примечательных не нашлось. Когда Жартыбай посетовал на свою неудачу, ему посоветовали разыскать Кармыса.

Кармыс сказал, что ходил за скотом не он, а молодой его родственник и что все беды той зимы вынес на своих плечах Уакас. А про себя Кармыс подумал: «Зачем на старости лет шум поднимать? Станут еще говорить — как это старая кляча стала вдруг иноходцем? Пусть лучше молодого порадуют, а то с пеленок нахлебался, бедняга, горя, светлого дня, сирота, не видел. Ему жить». Журналист виды видывал, кто истинный чабан, нутром чувствовал, но решил Кармыса послушать, да и биография у парня хоть куда, подать ее как следует — получится что надо. Журналист торопливо записывал, что ему говорил Кармыс, а когда наконец оторвался от блокнота, заметил в стороне молодого чабана, который тоже писал в тетради. «Данные о скоте», — привычно подумал журналист. Оказалось, однако, стихи. Было

время, когда журналист сам увлекался поэзией, много читал и даже писать пробовал. Как ни противился Уакас, Жартыбай прочел все, что он успел написать.

Стихи ему не понравились. «Не пишутся так стихи», — сказал он. Оказалось, Уакас берет темы слишком незначительные, в стихах нет стержня, нет начала, развития и конца.

— Ты пишешь как бог на душу положит, не утруждая себя отбором и анализом: написал одно — бросил, написал другое — за третье схватился, а связи нет. Фраза слишком уж вольна, образы слишком неожиданны и непривычны. Но главное, что заставляет задуматься и вызывает тревогу, — говорил корреспондент, — что вещи твои далеки от жизни, а стиль таков, что добром все это не может кончиться. И в итоге — «печатать такие стихи нельзя».

После этого журналист долго приводил в чувство оторопевшего Уакаса, у которого и слов таких не было, чтобы отвечать. Успокаивая, он говорил, что, «несмотря на перечисленные недостатки, руку Уакас набил, рифмует хорошо, и, кто знает, может, еще и выбьется в поэты».

Не поскупился и на советы, как быть, чтобы этот момент приблизить. Надо терпимо отно-

ситься к критике.

— Вот ты молчишь, не возражаешь, а я же вижу, что в душе ты со мной не согласен. Это качество нехорошее, его нужно в себе истреблять. Тебе повезло, ты находишься в гуще жизни, отсюда именно и надо брать темы для своих произведений. В стихах должно быть событие, сюжет и большой объем. Ведь ты можешь написать поэму о том, как самоотверженно трудился в эту зиму. Говорить, разумеется, будешь не о себе, а о другом, вымышленном лице. Народ ждет от писателей произведений, прививающих любовь к труду и призывающих беречь общественное добро как зеницу ока, — учил журналист. — Священный долг каждого мастера пера — откликнуться на этот зов.

Прошло всего несколько дней, как уехал корреспондент, и однажды вечером, едва не загнав коня, примчался в отару заведующий фермой Безусый Матай. Завидев Уакаса, расчищавшего снег во дворе, он чуть не свалился с лошади, подлетел к нему, расцеловал в обе щеки, распахнул полушубок и, выхватив из внутреннего кармана аккуратно сложенную в несколько раз газету, протянул ее остолбеневшему джигиту. Очерк «Парень с горячим сердцем» занимал два подвала

на внутренних полосах.

Два старика, один с бородой и усами, другой — до синевы выбритый, потягивая чай, несколько раз прослушали очерк.

— Если уж и быть писателем, так вот таким, — прицокнул Безусый Матай. — Светлая память деду твоему Тауасару, тебя породившему.

— Вот герой так герой! Надо же так написать! — восхищался Кармыс, поглаживая сивую бороду.

— Там много неправды, — не стерпел наконец Уакас.

— Милый ты мой, — протянул Безусый Матай, — так это не что-нибудь, а газета, без того чтоб не прибавить — нельзя. Да что там газета, сводку в район посылаешь, так и то всякий раз хоть немножко, а прибавишь, сколько конюшен да овчарен отремонтировали, сколько центнеров сена к зимовке подвезли.

— И мясо присаливают. Не подкрасишь, будет ли цена слову? — поддакнул Кармыс.

Уакас спорить не стал. И правда, корреспондент пером владел бойко, не пожалел на Уакаса ни вдохновения, ни красивых слов. Такой материал хоть кого зажжет. Единственно, что задело Уакаса, — так то, что Кармыса даже не упомянули. Ведь героем-то был аксакал, а слава его досталась

Уакасу. И все-таки похвала льстила ему.

Корреспондент начал издалека. Отец передового чабана дрался за Советскую власть и стал первым председателем первого в этих краях колхоза. В год, когда фашисты напали на нашу Родину, он добровольно ушел на фронт и смертью храбрых пал в сражении под Москвой. Мать, проводив мужа на фронт, как и другие женщины, встав на место ушедших отцов, мужей и братьев, самоотверженно трудилась в тылу, несмотря на слабое здоровье, и скончалась от запущенной болезни. Школа и комсомол не дали мальчику почувствовать сиротство — его вырастил и воспитал интернат. Закончив десятилетку, юноша не поехал учиться, а, решив поработать, активно включился в борьбу за увеличение продуктивности сельскохозяйственного производства, и когда во время джута даже отары опытнейших животноводов несли потери, молодой чабан сохранил доверенное ему поголовье до последнего ягненка и сейчас намерен от каждой сотни овцематок получить по полтораста голов приплоду. В заключение журналист говорил о стирании граней между умственным и физическим трудом и, приведя своего героя в качестве примера, процитировал две строфы Уакаса, посвященные зимней

степи. «Как знать, может быть, этот молодой чабан, самоотверженным трудом снискавший заслуженный почет своих земляков, застенчивый и немногословный, но волевой и энергичный, издаст в будущем тома своих произведений. Мы бы хотели узнать передовика-овцевода Уакаса Жалбагаева и в этом качестве», — так заканчивался очерк.

Тауасаров, уезжая, не взял у него ни одного стихотворения, видно, написать про стихи он решил уже после, когда уехал.

Что некоторые слова в этих двух строфах были изменены, а одна строка оказалась и вовсе не его, Уакас понял как ошибку корреспондента, цитировавшего на память. И все-таки эти восемь стихотворных строк показались Уакасу роднее всей остальной статьи.

Прошла неделя, и свалилась еще одна неожиданность. Уакас получил письмо от известного поэта, главного редактора республиканского литературного журнала, который писал, что стихи, приведенные в статье Жартыбая Тауасарова, ему понравились и он бы хотел познакомиться со всеми сочинениями Уакаса. Уакас, не забывший разноса, учиненного ему журналистом, очень боялся посылать свои сочинения еще более вы-

сокому судье, но не исполнить просьбу такого большого человека он тоже не решился. Две ночи напролет он переписывал красивым почерком в толстую тетрадь стихи, сочиненные им за эту зиму, и отправил их в Алма-Ату акыну-аге. Не отправил он только поэму «Златогрудый джигит», которую написал всего за пять дней после того, как корреспондент уехал.

В поэме энергичный юноша по имени Серик, закончивший школу с золотой медалью, избирает трудную, но почетную профессию — становится табунщиком. Получилось как раз сюжетное произведение. Герой сражается с бураном, джутом, волками. В конце концов, одолев все препятствия, он получает второе золото — на этот раз Золотую Звезду Героя Труда. Написана поэма была не очень-то хорошо — Уакас чувствовал, но воспитательное ее значение, как понимал теперь он, было велико и важно. Вполне можно было ее напечатать. Но, на беду, одноклассник Секен, прообраз героя, жизни табунщика не вынес и сбежал в город к брату-инженеру. Уакас узнал про это, когда поэма была уже закончена. Хоть и пропал труд, поэму он не порвал — вдруг Секен одумается и вернется к лошадям? Да к тому же в поэме был не только сюжет, но и солидный

объем. Пота сколько пролил, пока писал…

Еще несколько скупых строк от редактора журнала — и жизнь Уакаса потекла по новому руслу. Редактор писал, что прочитанное им — плод чистого поэтического чувства и многие стихи исполнены свежего дыхания и новизны, что само по себе редкость, и что несколько стихотворений будет опубликовано в одном из ближайших номеров. Писал, однако, редактор и о том, что есть в стихах Уакаса недочеты, объясняемые молодостью и неопытностью, что придется трудиться и совершенствоваться, прежде чем станешь мастером, а в конце письма — приглашение приехать в Алма-Ату и посетить журнал.

К этому времени отары уже вышли на пастбища, а у Кармыса обострился бруцеллез, и его положили в больницу. Все, кто не ходил за скотом, в эти дни были брошены на заготовку кормов. И председатель колхоза, уверяя, что Кармыс-аксакал скоро выпишется, уговорил Уакаса повременить с отъездом. День шел за днем, обещания за обещаниями — так прошло лето, наступила осень, и лишь когда народ перебрался на зимовки, на смену Уакасу прислали нового выпускника, и Уакас смог наконец развязаться со своей отарой. В тот же день он появился в

центральной колхозной усадьбе, взял расчет, простился со всеми родственниками, нутром чувствуя, что покидает родной аул навсегда, и, договорившись с шофером одной из машин, возивших в колхоз стройматериал, отправился прямым ходом на железнодорожную станцию, до которой было около двухсот километров.

Здесь его ждала радость. В пристанционном киоске он купил последний номер журнала, который всегда приходил в аул с опозданием, и, перевернув первую страницу, почувствовал, как по всей земле разливается благодатный свет. Ослабли мускулы, задрожали руки, казалось, и глаза изменили ему — верить им было невозможно, они снова и снова пробегали по строке, набранной крупными буквами: «Уакас Жалбагаев. Голос чабана». Все тот же портрет, снятый тем корреспондентом: Уакас в борике из лисьих лапок, в мерлушковом чекмене. В кратком предисловии редакция сообщала читателю, что Уакас Жалбагаев, закончив среднюю школу, сам попросился в отару и вскоре стал вровень с лучшими животноводами республики, снискав всеобщее уважение; что с чабанским посохом и авторучкой в руке он после рабочего дня ночами писал стихи и, будучи совсем молодым, стал

образцовым тружеником и гражданским поэтом одновременно, но что стихи его всего лишь проба пера и что в будущем от молодого поэта можно ждать многого.

Поезд пришел в Алма-Ату вечером. Был канун большого праздника. Столица ликовала, утопая в россыпи красных, зеленых, голубых огней. Девушки в коротеньких платьицах, с коротко остриженными волосами, парни в узких брюках и ярких рубашках, в галстуках, похожих на шнурки от ботинок, — все было необычно и звало к себе. Поднимаясь по широкому проспекту, протянувшемуся от вокзала к центру города, Уакас застрял возле Дома правительства, который был в лесах. На широкой площади перед строящимся домом танцевала молодежь. Уакасу, который и фокстрот с грехом пополам осилил, городские танцы показались несуразными, смешными и бесстыдными. Он стеснялся своей одежды и задерживаться здесь не стал. В сельпо ничего не купишь, и он отправился в Алма-Ату в чем ходил за скотиной — в самом простом грубошерстном лыжном костюме.

Скудный запас русских слов позволил ему разыскать нужный адрес. Открыл ему Секен, который, увидев Уакаса, замер от неожиданности,

потом бросился его обнимать и, наконец, разрыдался. Как выяснилось, истосковался по аулу, по дому, по отцу с матерью. За это время, оказывается, все изменилось, с медалью без экзаменов теперь не принимали, и, схватив одну четверку, Секен не прошел по конкурсу. Уакас, хоть от души и сочувствовал другу, рад был радешенек, что Секен здесь и теперь у него будет свой человек в чужом городе. У Секена, оказывается, тоже был этот номер журнала, и они до рассвета перечитывали стихи Уакаса, вспоминая школьные денечки, учителей, товарищей и прикидывая, кто куда мог устроиться.

В редакции молодого чабана встретили со всей душой. Уже несколько газет высказалось о стихах Уакаса. Известный молодой критик, за смелость и язвительность прозванный Ур-Токпак (Бей-Колоти), на этот раз, изменив обычной своей манере, писал:

> «Это само по себе искусство — уметь вовремя оценить талант. Пушкин и Лермонтов доказали свое величие едва ли не в пятнадцать лет. Почему же для своих талантливых современников мы так скупы на высокие слова? Нас спросят: «Кто

он такой, этот новоявленный талант? Он что, из-под земли вырос или с неба спустился к нам на аркане?» Но когда наступает рассвет, кто сможет задержать восход светила? Не станем таиться, скажем прямо: в нашу литературу пришел поэт редкостного дарования, от которого мы вправе ждать многого. Имя его — Уакас Жалбагаев!»

В другой газете особенно много было сказано о том, что молодой поэт — рядовой труженик и вышел из простого народа, и тоже хвалились стихи, хотя и не так сильно, как в статье Ур-Токпака.

От всего этого у молодого поэта голова пошла кругом. То ли явь, то ли сон. Ему казалось порой, он парит где-то в недосягаемой вышине, под ним — облака, над ним — небесный шатер.

Спустя год вышел прекрасно изданный первый сборник его стихов «Шай, шай, мои овцы!». Наряду с опубликованными стихами в сборник вошел написанный по просьбе издательства романтический цикл стихов о труде чабана, длинный толгау «Завет отца» и поэма «Златогрудый джигит». В новом варианте поэмы герой, не выдержав поначалу тягот кочевой жизни, поскольку та-

бунщик живет в седле, убегает домой, но после строгого суда общественности вскакивает опять в седло. Герой таким образом побеждает не только стихийные силы природы, но берет верх и над стихией собственного характера, избавляясь от таких отрицательных качеств, как лень, слабоволие и малодушие. Этот новый поворот темы оживил поэму, придав ей более глубокий смысл.

Захваленный Уакас не сомневался уже, что первый его сборник будет принят на ура. Но читатель оказался разочарован. По поводу сборника «Шай, шай, мои овцы!» посыпались письма, смысл которых сводился к тому, что «…если овцы, на которых вы возлагали свои надежды, таковы, то…» и т. п. Даже благосклонная к Уакасу критика отвернулась от него. Правда, до него доходили слухи — то ли правда, то ли нет, — что Ур-Токпак сидит над всесторонним исследованием его творчества. А пока появилось всего две-три бледненькие рецензии. В одной писалось, что в художественном отношении сборник весьма слаб и что, погнавшись за актуальными темами, поэт сгладил реальные трудности, встречающиеся в жизни, отчего его герои слишком легко одерживают победы, и сила воли, столь превозносимая автором, оказывается под со-

мнением. В другой утверждалось обратное, что молодой поэт, погнавшись за художественностью, ослабил идейную струну на своей домбре, отчего особенно пострадала поэма «Златогрудый джигит», замысел которой неплох, и молодой табунщик действительно всего добивается сам, но воспитательная роль старшего поколения не отражена. Третий критик тонко указывал на то, что золотая медаль, которой отмечаются особо отличившиеся десятиклассники, нечто вроде монеты, на грудь ее не повесишь, и трактовал это упущение как недостаточное знание жизни молодым поэтом. Тем не менее цикл стихов «День чабана» и философская поэма «Завет отца», призывавшая брать пример с наших отцов и матерей, были оценены высоко. Уакас не знал, кому верить, утешаясь тем, что рецензенты, поплясав на его костях, неизменно завершали свои статьи утверждением, что, «несмотря на перечисленные недостатки, сборник следует считать удачей молодого автора».

Но самый большой удар обрушился на собрании, посвященном итогам литературного года. Ур-Токпак, докладчик по поэзии, с горечью заявил, что некоторые неправильно понимают заботу о молодой смене и превозносят начина-

ющих авторов, имеющих лишь самое слабое влечение к поэзии, чем приносят вред нашему общему литературному хозяйству. В качестве примера был назван Уакас. Уакас сидел, боясь глаза поднять, когда на трибуну вышел акын-ага, который и вытащил Уакаса из глухого аула в столицу. Акын-ага отмел большинство обвинений в адрес Уакаса, а в Ур-Токпака выпустил столько яда, что тому, казалось, теперь не подняться. Но и он сказал, что Уакас перестал искать новое, что знаний у него мало, что способности есть — спору нет, но нет и взыскательности, нет работы над собой.

Когда Уакас еще только приехал в Алма-Ату, месяца через два он был взят на работу в молодежную газету. Его коллеги были молодые ребята, выпускники факультета журналистики либо студенты-журналисты с последнего курса. Даже тем, кто считался в редакции аксакалами, было не больше двадцати пяти. Со всеми ними Уакас так и не сблизился. Встретили его, девятнадцатилетнего нашумевшего поэта, поначалу настороженнее но уже довольно скоро перестали скрывать пренебрежение к нему. В редакции шум, беготня, звонки, разговоры, а, смотришь, ребята кладут на стол двухподвальные статьи. Иной уставится на

клочок бумаги, где всего-то с пяток цифр, и вот уже диктует на машинку очерк, который потом займет в газете чуть ли не полосу.

Таких очерков от Уакаса никто не требовал. Его определили в сельхозотдел, и он должен был в каждый номер сдавать по двести-триста строк из читательских писем. Обработка читательских писем считалась самым легким заданием, но Уакасу возвращалась почти половина его материалов. Всем было ясно, что он не газетчик. Но поначалу его держали оттого, что он талантливый самородок, а спустя год увольнение уже считалось незаконным. К тому времени он был уже заочник факультета журналистики, учиться на стационаре у него не хватило духу, да и побаивался он жить на одну стипендию, а к газете уже стал понемногу привыкать. Уже публиковались его корреспонденции строк на полтораста, случались и заметки строк на триста. Однажды из командировки он привез даже очерк. Редактор долго возился с ним сам и мучил Уакаса, заставляя переписывать и перекраивать, но в конце концов подписал в печать.

После суматошного газетного дня Уакас валился вечером на постель совершенно опустошенный. А назавтра надо было сдать материал в номер или

ждал очередной университетский зачет. Стихи покидали его. Они теперь не приходили к нему сами, как бывало, не лились свободно и легко. Порой он заставлял себя садиться и писать, но хорошо, если выжимал из себя к утру две-три бесцветные строфы. Он уже потерял представление о том, что ему удавалось раньше, а что нет. И как дальше писать. Он уперся в глухую стену. Вняв советам акын-аги, назиданья которого остались для него святы, он бросился читать. Неруда и Уитмен, первые, с кого он начал, поставили его в тупик. Их мысли казались ему слишком сложны, а манера письма — чуждой. Но уйти от них он не мог. Его поразило, как вольно владеет стихом Уитмен и как свободен в общении с читателем Неруда. Желая продемонстрировать свою причастность мировой поэзии, Уакас белым стихом написал поэму «Привет XXI веку». Древние эллины, титаны Ренессанса и космонавты объединились в одном лирическом потоке.

Поэму разгромили. Критик свидетельствовал, что Уакас не смыслит ни в азах поэзии, ни в азах культуры и даже переврал имена титанов Ренессанса. Маститый, но осмотрительный, до сих пор избегавший рискованных ситуаций, критик высказался вдруг в том роде, что поэт, известный

своей одаренностью, попал под влияние формализма и что это не может не настораживать. С тех пор, где бы ни завязался разговор о поисках новых путей и форм, как пример лженоваторства называлась последняя поэма Жалбагаева. Вся эта критика навсегда отлучила Уакаса от поэзии, но известности его сослужила хорошую службу. Одни считали, что Уакас хотел шума вокруг себя и поэма не столько плод поэтического воображения, сколько плод искусства ловкого газетчика, знающего, как заставить о себе говорить. Другие видели в поэме чистосердечное заблуждение ищущего таланта. Мнение, что в нашу литературу идет большой поэт, в конце концов возобладало.

А время шло. Уакас женился и обзавелся детьми. Лет семь он мотался по частным квартирам, снимая то у русских, то у казахов, то у уйгуров. Менял Тастак на Горный гигант. Горный гигант на Малую станицу, пока, наконец, не получил собственную квартиру. Наконец и университетский диплом был получен. Время, опыт и труд делали свое дело, и мало-помалу Уакас стал журналистом если и не знаменитым, то во всяком случае вполне солидным. Однако по меркам молодежной газеты он был уже стари-

ком — ему перевалило за тридцать. Его бывшие коллеги давно рассеялись по другим местам, а он один тянул лямку здесь. Наконец друзья подыскали ему спокойное местечко с приличной зарплатой. Он давно уже не писал стихов, но имя его еще мелькало в поэтических обзорах. Сейчас его снова потянуло к стихам, но… бесплодно. Отчаявшись, он собрал все, что у него оставалось неопубликованного, присовокупил несколько стихов, написанных по поводу разного рода памятных дат, и отнес рукопись в издательство. Он посетил всех, кто мог повлиять на судьбу сборника, заверил, что возврата к той поэме не будет, получил аванс и отправился в родной аул, чтобы повидать тех, кого не видел уже добрый десяток лет.

Аул изменился неузнаваемо. Передовая техника на всех участках производства и достаток в домах бросались в глаза. Этой техникой управляли преимущественно вчерашние выпускники местной школы. Материала для газетчика хоть куда, и Уакас уже кое-что для себя прикинул.

Ночами юрта наполнялась запахом свежескошенной травы, и, упиваясь прохладой, проникающей из-под стен, Уакас засыпал мертвым сном. Он просыпался лишь под утро, когда над

ухом начинали тарахтеть трактора, заходясь словно в кашле, который постепенно переходил в ровный, удаляющийся рокот. Уже вертелись в голове строки будущих очерков: «Молодые джигиты обхаживают своих железных тулпаров…», «Новенькие «Беларуси» тянутся вереницей журавлей…» Но он опять засыпал и, проснувшись в одиннадцатом часу, принимался за шелпеки, баурсаки и чай. А там — полдень. Пожалуйста, кумыс. А там обед с сочащимся куырдаком[64] и опять кумыс. На ужин мясо, и кумыс перед сном. Сегодня одни зовут к себе, завтра другие. И бесконечные извинения, что автолавка опять не приехала и водки нет, на нет и суда нет, и чего нет, того и самому резвому скакуну не догнать, а дастархан раскинут, и стол широк, как озеро. Уакас попробовал было подсчитать, сколько он с семьей проедает в гостях каждый день, и ужаснулся. Аппетит у всех отменный. Не прошло и десяти дней, как его тощая изнуренная жена — под глазами вечно круги и скулы выпирают — округлилась и даже побелела, а его хилые и вялые сыновья ожили. От всего этого он испытывал даже некоторую неловкость и однажды за

---

[64] Примечания: 64
Куырдак — шкварки.

дастарханом, когда было много гостей, сказал:

— Вот вы говорите — Алма-Ата, столица. О воде и дровах думать не надо. Магазины под рукой. В магазинах — все, что душа пожелает. Живи себе и вкушай все радости этой жизни. Вроде бы все так. Но наш брат казах, для которого вольная степь — родной дом, ему душно в городе, тесно, дома лезут друг на друга, на каждом шагу смотри, оглядывайся — здесь не пройдешь, там не проедешь, народу — толпы. На меня посмотреть, недели у вас не прожил, а как раздобрел, жиром скоро заплыву… — и сам рассмеялся, и все рассмеялись, и стало после этого легче дышать.

Но нельзя же все время жевать и пить. Взяв жену и детей, Уакас начал делать вылазки в горы. Один из аксакалов сказал ему, будто в горах, совсем рядом с аулом, есть валуны, на плоской стороне которых можно разобрать изображения людей, архаров, кииков, оленей и даже письмена, не похожие ни на арабскую вязь, ни на русские буквы. Уакас эти валуны не нашел. Впрочем, он их особенно и не искал. Стоит ли ради каких-то каракулей ноги обивать? Не было в ауле ни кино, ни кафе, ни парков, ни цирков — Уакас заскучал.

— Уакас-жан, — сказал однажды Кармыс, вернувшись вечером с работы и уже несколько дней

замечавший перемену в настроении гостя. — Взял бы ты ружье, да и размялся б немного. С лошадьми у нас, правда, туговато, все в работе. Да если б и была лошадь, все равно на своих двоих лучше. Сейчас, в жару, в таволге и караганнике стоят архары. И зайца полно. Может, даже дрофа попадется или куропатка. А ничего не настреляешь — все равно сходи. Ворон пострелять — и то забава. А может, и на зверя наткнешься. Чего тебе — сам себе владыка.

Уакас этим словам внял и на следующее утро, наевшись соленым куырдаком с кумысом, забросил на плечо ружье и отправился в горы. Боясь сбить новенькие остроносые югославские туфли и придирчиво следя за тем, чтобы к серым брюкам, складка на которых была как лезвие, не прицепилась колючка или какая-нибудь другая дрянь, он ступал осторожно, высматривая всякий раз, куда поставить ногу. Далеко он, конечно, не ушел. Хотя юрты, рассыпавшиеся по склонам предгорья, уже исчезли из виду, но все на той же высоте клубился голубой дым, до сих пор не растаявший. Холмы вздымались один за другим, и едва Уакас перевалил самый высокий из них, как раздался хруст, и перед Уакасом на той стороне глубокого оврага возник огромный, темный, в

цвет земли, архар. Он пробежал оврагом, взлетел на один из выступов круто поднимающегося холма, обернулся и уставился на Уакаса. Только теперь Уакас увидел, что это не самец кулжа, а самка с парой ягнят. Он вскинул ружье, но архар повернулся к нему спиной и ленивым галопом исчез за гребнем холма. Уакас даже на мушку не успел его взять.

С трудом карабкаясь, добрался он до места, где только что стоял архар. Кругом было пусто — самка исчезла вместе с ягнятами, и след их простыл. Запыхавшийся Уакас опустился на плоский камень. Пробежал всего ничего, но в сердце покалывало, голова кружилась, даже подташнивало. «Сдаю», — пронеслось в голове.

С севера набежала прохлада. Расстегнув нейлоновую сорочку, Уакас подставил грудь ветерку. Прохлада ласкала тело — он оживал и успокаивался.

Огляделся. Высоко вздымаясь или слегка приподнявшись, бежали друг за другом волны предгорья, разделяемые лощинами, то просторными, то узкими, как щель. Трава, синевшая в низине, блекла по мере подъема, еще выше делалась и вовсе белесой, но ближе к вершинам обретала бурый оттенок. Уакас попытался припомнить,

где какая трава растет — шалгын, кияк, ковыль, полынь… А вершина горы сплошь усеяна плоскими черными камнями.

Дальше за перевалами желтела выжженная солнцем равнина. С полвека тому назад на этой равнине прошел последний в этих краях ас, — имя бия, по которому справлялись годовые поминки, он уже забыл. Но аксакалы до сих пор вспоминают, что в скачке участвовало сто семьдесят четыре лошади и тридцать из них получили призы. Борьба, жамбы ату, тенге алу, кокпар, байга… — все игры. Сто семьдесят четыре коня… двести… триста коней… Вихри пыли, поднятой тысячами копыт… Пай, пай! Вон опять по равнине пыль, где-то в самой сердцевине ее. Вихрь пыли… Может, стая антилоп мчится к новым местам? Нет, пыль жгутом закрутилась, к небу взметнулся столб — смерч, конечно.

Край равнины подернулся тенью. Чернильным пятном по желтой промокашке расплывается эта тень, тянется к центру и тихо ползет сюда. И уже всю степь поглотила туча. Далеко вдали с неба на землю пала сеть из серых прямых нитей. Сверкает молния. Очень робко. Словно кто-то осторожно чиркает спичкой. Уакас улыбнулся, вспомнив давнишнее стихотворение Секена «Дождь».

Сборник «Шай, шай, мои овцы!» еще только должен был выйти, когда Секен, который, не выдержав очередного конкурса (теперь уже по всем предметам он схватил четверки), отправился в армию и уже на вокзале протянул Уакасу толстую тетрадь в дерматиновом переплете. «Стихи, — сказал он, вымученно улыбаясь. — Написал, когда твои прочитал. Может, пригодятся, напечатаешь в своей газете». Уакас со смеха помирал, когда читал. А одно стихотворение «Дождь» его особенно развеселило, и, когда после того собрания, на котором его разнесли и акын-ага, пригласив Уакаса к себе домой, объяснял ему, что такое культура и как надо шлифовать талант на образцах мировой поэзии, Уакас в ответ вытащил это стихотворение и сказал, что вот у автора этого сочинения по всем предметам было пять и даже золотую медаль он получил, а что имеем? Уакас стал читать «Дождь» с длинными паузами, выжидательно поглядывая на акын-агу. Молодой поэт описывал, как нависла над степью тяжелая черная туча, как гремел гром и сверкала молния, а потом и дождь пролился, и все промокли. Стихотворение заканчивалось так:

Дождь, пролившийся в этот день,

Был действительно сильным очень.

Строку, в которой «сверкало единственное солнце», акын-ага попросил, однако, повторить, а потом сказал: «Конечно, приятель твой не поэт, но он чистосердечен, и душа его не утратила младенческой ясности. Что он видит и что чувствует, хочется ему передать, как оно есть. Хороший человек из него должен выйти».

Вспомнив последние строки этого стихотворения, Уакас рассмеялся было и тут же смолк. Рядом загоготали гуси. Гуси в горах?.. Он даже дышать перестал и весь обратился в слух. Звон… И совсем рядом. Он огляделся. Под выступом, на котором он сидел, скрипел на ветру курай и стонал. Где-то вдалеке натужно затарахтела сенокосилка и тут же смолкла. Лишь ветер посвистывал, ударяясь в расщелины скалы.

Он оперся о ружье и встал. Земля у ног его была вся в катышках кумалаков. Кумалаки были крупнее овечьих и чуть удлинены. Архаровы кумалаки. Они уже немного подсохли. Это все, что досталось ему от самки с ягнятами. Он подобрал несколько кумалаков и тут же бросил, побоялся руки запачкать. Когда-то, еще в чабанах, подражая Кармыс-аксакалу, он тоже гадал на кумалаках, на архаровых и овечьих. Загадывал

он всегда на одно и то же — на девчонку младше его на один класс.

Он стал спускаться и лишь тут взглянул на свои туфли. Их было не узнать — нежная лайка висела лохмотьями. И нужен был ему этот архар… Брюки в птичьем помете. Попробовал соскрести — остались пятна. Колени в чем-то липком — смола, от курая или сасыра. И эту дрянь не соскребешь. Черт бы побрал всю эту пакость!

Под ногами что-то хрустнуло — он не заметил, как влез в заросли дикого конского лука. Сдвоенные стебли пожелтели. На верхушках еще оставались острые пики головок, но и они уже выцвели. Кругом валялась высохшая желтая шелуха — работа аульных мальчишек. Уакас рванул длинный плотный стебель, но не выдернул его, а лишь сломал посередке. На сломе выступило густое молоко. Он коснулся его языком — горечь страшная — и тут же выплюнул. Добавляют в куырдак да в любое мясо… Дичь какая-то. Горечь растекалась по языку, разъедала рот, — ни сглотнешь ее, не выплюнешь. Все в котел, все в утробу. Всякая дрянь им в добро.

Он спустился в лощину шириной с полкилометра, всю покрытую густой луговой травой, а дальше желтело ровное поле. Трава была еще

не скошена. То место, где он спустился, поросло светлыми зарослями шилика. Кустарник расползся по площади, на которой вполне мог бы разместиться аул. Два тополя у края кустарника похожи были на воспитательниц, ведущих на прогулку детсадовских малышей. Сколько времени здесь проведено! Сколько травы измято! Только тогда было не два тополя, а две или три рощицы. И шилик не разбежался так. Наверное, поэтому место показалось сначала Уакасу незнакомым. Под тополями должен быть большой родник. Родниковая вода пробивается сквозь заросли тростника и, сбегая к равнине, теряется где-то в лугах.

В горле запершило, когда он вспомнил о роднике. Уже вошло в привычку каждый день в эту пору пить кумыс. «Живая вода, — подумал он. — Напьюсь — воскресну».

Родник был на своем месте. С одной стороны он зарос травой, трава убегала дальше, вверх по склону, а противоположная, полого спускавшаяся сторона была вся в гальке, втоптанной в землю скотиной, приходившей сюда на водопой. Галька была перемешана с коровьим и конским навозом. «Все равно вода проточная, чистая. Напьюсь», — жажда не давала покоя. Родник был

тих и прозрачен. Ясно виднелось дно, и в нем — глазки, из которых бурунчиками била вода. Уакас уперся руками в землю и припал к воде. Она была ледяная, и сразу заломило зубы. «Ангину бы не схватить». Он сделал два глотка, и тут из-под камешка на дне выползла какая-то тварь. Водяной жук! Гнусность какая! Словно смутившись за свой вид, жук юркнул обратно под камешек. Но Уакас больше не мог пить. «Дизентерия теперь обеспечена», — сокрушался он, а пить хотелось, и надо было возвращаться домой.

Через гору он возвращаться не стал. «Тише едешь — дальше будешь», — и он отправился по спокойной тропинке, гладким кольцом огибавшей подножие горы.

Тропинка бежала лугом, и он ладонями касался трав, доходивших до пояса. «Домбру б сейчас», — в голове застучали рифмы и тут же оборвались. Он упал ничком так, что ружье отлетело далеко в сторону. Оказывается, он угодил в одну из тех канав, которые избороздили луг, неся в себе воду. Он промок до колен. Брюки прилипли к ногам и были сплошь облеплены мокрой травой и тиной, ступни заволокла синевато-бурая жижа. «Будь ты проклята, эта трясина!» И тут прямо перед ним, громко гогоча вспорхнули два огаря с золотистой

спинкой и белоснежным брюшком, и в белых полосах были крылья. Хороши, ничего не скажешь. Уакас ползком добрался до ружья. Птицы как вспорхнули разом, так парой и понеслись к горам, но, когда он прицелился, они тут же повернули обратно. Лениво взмахивая крыльями, они шли прямо на него, Уакас взял на мушку первого, нажал на курок. Слабо треснул выстрел, но огарь не упал. Не упал и второй, а, лишь сразу взмыв в вышину, будто ветром ударило их снизу, они быстрее замахали крыльями и с тем же звучным гоготом пронеслись над Уакасом. С молниеносной быстротой он перезарядил ружье, прицелился, теперь во второго, и выстрелил. И снова ни один из них не упал, а сделав широкий виток, они повернули назад. Теперь, чуя опасность, они шли порознь. Один, сторонясь подозрительного места, где стоял человек, держался поближе к горам. Уакас опустился в траву и, уставив дуло в небо, водил им, то и дело теряя огаря из виду и лишь по гоготанью определяя, где он сейчас. А второго, у которого голос позвучней, словно привязали невидимой нитью к месту, откуда они взлетели, и он лишь делал виток за витком, набирая высоту. Уакас еще трижды выстрелил, но пули, казалось, и не вылетали из ствола, а лишь слабо лопались, и

звук этот терялся в монотонном гоготанье огарей. Сообразив, что лишь пугает птиц, стреляя попусту, он решил выждать. Видно, и огари поняли, что этот двуногий так просто отсюда не уберется, и, покружив еще немного, опустились на белый солончак, там, где влажная низина, тонущая в высокой траве, переходила, поднимаясь, в плато, покрытое полынью и бетеге. Вот уж где можно подсечь их, если это ему суждено! Поднимаясь на четвереньки, где трава была повыше, и ползком, где она росла низко — о брюках и жалеть теперь было нечего, — он медленно продвигался вперед. И лишь когда гогот раздался прямо у него под носом, он поднял голову и в метрах сорока увидел птицу, стоящую вполоборота к нему. Огарь был совсем не так велик, каким казался в полете. Очарование исчезло — обыкновенная рыжая курица, только шея подлиннее. Уакас старательно прицелился и выстрелил. Теперь он не сомневался, что уложит птицу. Но лишь песок взметнулся перед ее клювом. В ту же секунду огарь взлетел, видно, не заметив Уакаса, и, еще покружив низко над землей, сел чуть подальше. Уакас дополз уже до самого края луга, и стоило ему продвинуться еще хоть на шаг — огарь его заметит, он очень осторожен, теперь — уж ясно — близко не подпустит,

хотя их разделяли с полсотни метров, не более.

Уакас перезарядил ружье и, сняв туфли, надежно облепленные глиной и густой тиной, соорудил из них упор для винтовки. На этот раз пуля, стукнувшись в один из валунов, под которым сел огарь, отскочила рикошетом, прожужжала и пропала. Куда попала другая пуля, он и сам не понял. «Позор! Унижение!» — убивался Уакас.

Он вспомнил, как писал очерк об университетском студенте, мастере спорта, чемпионе республики по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Когда, отыскав его в общежитии, он спросил: «Как вы добились такого результата?» — студент ответил: «Да не знаю! Помаленьку как-то». Но Уакас не отставал, и тогда студент сказал: «Приходите в тир. Может, тренер скажет».

Когда Уакас явился в тир, чемпион стрелял с колена. Рядом прилип к биноклю, вмонтированному в треножник, белоголовый, узкоплечий старик. Руки по-обезьяньи длинные и прехудущие, словно мускулов на них и вовсе нет. Когда Уакас сунулся к нему с разговором, тот отмахнулся и вдруг завизжал: «Куда взял?.. Опять восьмерка… Все время — разброс. Как с колена — так поперечный. Стоишь — так долевой». И, не отлипая от бинокля, отмахнулся от Уакаса, который сно-

ва сунулся к нему с вопросом. «Ну, куда опять? Кошмар!» Уакасу так понравился тренер, что тренировка лучше всего и получилась в очерке. И в душе он унес сомнение: так ли уж и хорош молодой чемпион. А выходит, попасть в восьмерку с пятидесяти метров — все равно что на этом же расстоянии снять баурсак с верхушки камыша. Ведь сейчас перед ним не баурсак, который сам с мизинец, а крупная птица — не с гору, конечно, а что с хороший казан она будет, когда его вверх дном опрокинешь, — это уж точно. Стоит, не улетает, будто уговаривает: попади, убей! Да стреляй наконец! И правда, с чего это второй-то кружит и кружит над ним? Только сейчас Уакас сообразил, что эта пара — с выводком. Тот, что кружит в безопасной вышине, — отец. А та, что прилипла к месту, — мать. В трех шагах от канавы, в которую плюхнулся Уакас, остались желторотые птенцы. Куда ей от них? Уакас опустил винтовку. Слава аллаху, от самки с ягнятами его тоже отвело.

Теперь уже нечего было прятаться, и он поднялся. Золотисто-снежная самка захлопала крыльями и понеслась совсем низко, едва не касаясь земли. «Огарь — это падшая, она обратилась в птицу, и стрелять в нее грех, а мясо ее поганo», — вспомнил он. Холодная капля скользнула

по лицу Уакаса. Дрожь пробежала по спине, и ему показалось — он леденеет. Он коснулся щеки — она была влажная. Уакас обернулся — дождь, сеявшийся из черной, в светлых разводах тучи, окрасил вершину горы в голубоватый цвет. И тут же послышался шум тяжелых капель, упавших на луг в низине. Хотя капли падали редко, трудно было надеяться, что дождь кончится скоро. Тяжелые черные тучи слились в одно зловещее месиво, и неведомой силой их волокло вперед. Ветер волной пробежал над склонившимся тростником, и тростник зашумел. Уакас не знал, куда бежать. Под тополями не укроешься — кроны их сильно поредели. А дождь уже бил по лицу, и он бросился к темной скале рядом с тем местом, где только что сидел огарь.

Он не успел добежать до нее, когда дождь обрушился на него всей массой. Перемешанный с градом, он хлестал и стегал, а крупные бледные горошины жгли спину и голову. Вспышка ослепительной голубизны озарила все вокруг, и небо словно разломилось надвое. Дождь вроде бы и утих, но раскатам грома не под силу было унять себя разом, и они долго гуляли в вышине, пока не умолкли где-то вдали. Раздавленный страхом, Уакас распластался на земле. Когда грохот стих,

он обернулся и увидел, что один из двух тополей перерезан чуть ниже середины ствола, а из расселины вьется сизый дымок. Уакас заставил себя подняться и побежать. Спотыкаясь и падая, он добрался наконец до скалы, но со всех сторон скала плавно сбегала к земле, ни навесов и выступов — укрыться негде. Хотя град иссяк, но молния словно отбросила край темного полога, затянувшего небо, и оттуда ринулись на землю новые потоки дождя.

У подножия другой скалы, круто вздымавшейся, ему почудилось что-то темное. Может, пещера? Но это была не пещера, а выбитое ветром углубление в породе размером в трехкрылую юрту. Дождь бил прямо сюда, и лишь в самой глубине оставалась сухая выбоина, в которой можно было укрыться, вжавшись в стенку. Вода, стекавшая ручьями с Уакаса, тут же намочила и это убежище.

Мокрые пряди облепили лицо, и, когда пальцы коснулись волос, он нащупал на лбу, на висках, на макушке, на затылке взбухшие, с кукурузное зерно, шишки. Небесный подарочек. Спасибо, у аллаха голова на плечах еще есть, — хоть молния в него не угодила. Но это не утешило. Его бил озноб, и прямо в грудь ударяли холодные порывы

ветра. «Теперь уж свалюсь наверняка. Вот и конец», — подумал он. Он закрыл глаза и вжался в свою нору. Неведомо откуда выплыли имена святых, наверное, из тех времен, когда он пас овец.

Вновь сверкнула молния, и вслед убегающим раскатам грома понеслись по лугу ликующие крики. На соседнем склоне, почти вровень с кустарником у края лощины, вихрем носилось пятеро всадников. Уакас узнал парней своего аула, косивших сено в предгорье. Видно, ребята устроили кокпар. В руке одного — на темном коне он вырвался вперед — была зажата чья-то шапка. В той же руке он держал камчу, подняв ее высоко над головой. Парень оглянулся. Зычный вопль — и лошадь под бритоголовым, мчавшимся посреди цепи, — видно, это его была шапка, — споткнулась и кубарем покатилась вниз. Перелетев через голову коня, всадник рухнул на землю. Конец! Но парень поднялся и, отряхиваясь, приблизился к коню, который тоже уже стоял на своих четырех. Передние джигиты, придерживая поводья, повернули назад, задние и вовсе стали. Все сгрудились вокруг бритоголового, но, убедившись, что он цел и невредим, опять хлестнули коней. Быстро поправив сползшее седло, бритоголовый мигом взлетел на коня и с торжествующим криком

припустил за друзьями.

Уакас долго следил за ними, пока, обогнув склон, они и вовсе не скрылись из глаз. Он покинул свое убежище. Холодный дождь бил по лицу — но он не замечал этого.

1969

Перевод И. Борисовой.

НЕПРЕДВИДЕННАЯ ВСТРЕЧА
1

Набитый уставшими за день, издерганными людьми, как бочка сельдью, трамвай, в давке которого ни у кого не было даже возможности вытащить из кармана деньги, чтобы приобрести билет, и иные, стиснутые соседями, были словно подвешены в воздухе, лишь едва касаясь пола ногами, — по мере того как удалялся от центра, стал понемногу пустеть. Покрывшиеся от людского дыхания сероватым налетом инея, сделавшиеся словно вязкими, с великим трудом раскрывающиеся двустворчатые красные двери все-таки распахиваются, и на каждой остановке люди сходят целыми группами, а вновь садящихся — единицы. Сколько человек входит, сколько выходит — трамваю все равно, равномерно раскачиваясь, грохоча, точно старая телега, набитая сухим хворостом для растопки, он все тянет и тянет вперед в своем отлаженном, размеренном темпе. Однако каждый сходящий человек как бы уносит с собою частицу трамвайного тепла, и чем меньше становится людей, тем студенее

делается в трамвае. Пока я стоял, то не ощущал этой закономерности со всею суровостью, но, когда сел на одно из освободившихся мест, мороз, пробравшись под одежду, обосновался там совершенно по-хозяйски, — тело так и заломило от холода, я задрожал. Особенно холодно стало ногам. Считающиеся в Алма-Ате «зимними» чешские полуботинки сделались мне будто малы — жали ноги и леденили. Подняв воротник пальто, пристукивая ногами одна о другую, я попытался согреться, но все тщетно, теплее не становилось. Потом я заметил — многие были примерно в моем состоянии. И сидящая рядом хрупкая, еще не утратившая привлекательности, средних лет женщина в теплом пальто с лисьим воротником и в лисьей шапке — тоже. Вздернутый ее носик покраснел, пудра на щеках лежала окаменелой пылью, все лицо сжалось словно бы в горсть, посинело, губы едва шевелились. Но тем не менее, глядя доверительно снизу вверх на стоящего над нею хорошо сложенного, высокого, огромного, как верблюд-самец, мужчину, она говорила без умолку.

— Петр Иваныч, — говорила она, — Петр Иваныч!.. Письмо за письмом писали, уговорили-таки нас с Дамиром… Солнечный город… А ведь

холоднее даже нашего Тамбова…

Из-за грохота трамвая одни слова были мне слышны, другие нет.

— Семь лет здесь живу, такого в Алма-Ате еще не было, Лариса Петровна, — отвечал Петр Иваныч.

— …идцать пять — сорок градусов… — говорила Лариса Петровна. — До костей пронимает. — Но говорила она все это с приятной для слуха интонацией, голосом, полным довольства, словно хотела сказать совсем другое: «Ах, как славно, что день студеный!» Соответственно этой ее интонации и пар, вырывающийся у нее изо рта, поднимался кверху струящейся изящной ленточкой, точно из узкого носика чайника.

— Не-е… не-ет, — отвечал Петр Иваныч, и при этом пар у него изо рта валил целыми клубами. Рядом с маленькой Ларисой Петровной он был похож на окутавшийся дымом паровоз. — Не больше двадцати восьми — тридцати градусов.

— Сомневаюсь, — говорила Лариса Петровна, пытаясь переливчато засмеяться. Сморщив носик, она потянула им в себя воздух, словно хотела таким образом высказать спутнику свое расположение. Но тут же она сняла варежку, достала из сумочки носовой платок и изящным движением

вытерла ноздри и рот. — Сомневаюсь, — повторила она через некоторое время.

Только что по радио я слушал сообщение синоптиков: двадцать четыре градуса. Но тем не менее для Алма-Аты — это все равно что сорок градусов для Сибири. Вмешиваться в разговор незнакомых людей — неприлично, и я промолчал, уставившись в окно, затянутое толстым слоем льда. Улицы не видно. Прямо на уровне моих глаз кто-то вытопил дыханием крохотную прогалинку, но она уже тоже подернулась ледком. Рядом с согбенной старушкой, сидящей, опершись на палку, напротив меня, нарисован морозом лик Мефистофеля, а под ним — профиль Пушкина.

Когда трамвай, качнув всех вперед, затормозил перед остановкой, я уловил, что Лариса Петровна, все так же продолжавшая свой спор об Алма-Ате и вообще Казахстане, начала уже понемножку, но уверенно брать перевес над моим старым земляком Петром Иванычем.

— В вашей Алма-Ате яблок, оказывается, нет. На зеленом базаре килограмм — три рубля! Да и тех мало.

— Ну уж это… маловато нынче яблок уродилось, — не сдавался все-таки патриот своего

города Петр Иваныч. — А то каждый год…

— Каждый год, говорят, так, — с удовлетворением произнесла Лариса Петровна, почувствовав замешательство Петра Иваныча.

— Правда, яблок мало, зато всяких продуктов полно! — рубя слова, вмешался чей-то чужой голос.

Участники короткой трамвайной сценки: беседующие Петр Иваныч и Лариса Петровна, а также я, герой без слов, — все строем обернулись к новому персонажу. Это был темнолицый рябой парень с вытянутым лицом, острыми выступающими скулами, курносый, с серыми глазами. Бороду и усы он, видимо, давно уже не приводил в порядок и зарос до невозможности. На нем была стеганая нейлоновая куртка, на голове — старая ондатровая шапка с изрядно свалявшимся и облезшим там и сям мехом.

— Это верно, — сказала Лариса Петровна, вежливо улыбаясь. — В газетах все правильно пишут: Казахстан — край изобилия.

— У нас есть пословица: «Не плюй в колодец, из которого пьешь».

— Здесь у вас никто не спрашивал про пословицу, — сказал Петр Иваныч.

Парень хотел было что-то ответить, но Лариса

Петровна помешала ему.

— Садитесь, — сказала она, поднимаясь, — простите…

Я только теперь увидел, что парень — инвалид. Правой ноги ниже колена у него не было, а вместо нее — деревянный, похожий на бутылку горлышком вниз протез. Я тоже вскочил:

— Садитесь!

Парень не обратил внимания на нашу вежливость. Ни за что не придерживаясь, твердо впечатывая деревяшку в пол, он пошел по направлению к двери. Мне было уже недалеко до моей остановки, и я пошел вслед за ним.

— Что ни говори, но Алма-Ата испортилась, — сказал парень, качая головой и прицокивая языком, когда я встал рядом.

Я промолчал и тем самым как бы согласился с ним. Из большого, широкого, не тронутого инеем окна кабины, перед которым сидел вагоновожатый, был виден тускло поблескивающий в слабом уличном свете трамвайный путь. Точно туго натянутые серебряные струны домбры, готовые, кажется, вот-вот лопнуть от сковавшего их мороза.

Парень, снова зацокав языком, усмехнулся, ни к кому не обращаясь:

— Холодно!

Но по нему не было видно, что он замерз. Таким жалким, как я, он не выглядел. Неожиданно этот сероглазый курносый парень с морщинистым лбом показался мне знакомым. Причем хорошо знакомым, с которым в прошлом я общался довольно близко. Но вспомнить, кто это, я как ни силился, не смог.

— Холодно, — сказал он и после того, как мы оба на одной остановке сошли с трамвая. — Как вы смотрите, чтобы зайти в этот магазинчик и немного согреться? Не сочтите за грех.

Какой тут грех? Мой дом от остановки далековато. Авось не околею, но чем бежать съежившись, лучше, конечно, зайти, отогреться немного.

В небольшом продовольственном магазине, квадратном, с низкими потолками, с одной наружной стеной сплошь из стекла, тепло-тепло. И гулкий гам беспорядочных голосов.

Стройные девушки в белых халатах по ту сторону прилавка звучно поцокивают каблучками, упруги и стремительны в движениях; полные приземистые женщины двигаются неторопливо и плавно, словно серебристые сазаны в тихом омуте.

Консервы в жестяных и стеклянных банках,

витые круглые калачи, белый, черный, серый хлеб, что-то завернутое в лохматую желтую бумагу, обычно там или масло, или колбаса, — необходимые для жизни вещи, называемые продуктами, — все это в сплошной сутолоке и гаме наталкивается, набивается в сетки и сумки, туго распирая их бока, и уносится из магазина женщинами, мужчинами, молодыми, пожилыми…

Стоять внутри этой круговерти было неудобно, и, оглядевшись, я направился в угол.

— Да, здесь удобнее, — сказал мой спутник, догоняя меня. Его деревяшка, когда он шел, звонко постукивала о каменный пол. — Ну, а теперь давайте ваши шестьдесят копеек, — протянул он руку. — Я бы вас и не беспокоил, да монет у меня в кармане не хватает.

Я несколько оторопел. В городе у незнакомых людей денег не просят. Да и в ауле. Да и вообще нигде. Но с другой стороны, ничего в этом нет такого уж страшного. Среди казахов встречаются подобные простые душой люди, что всех считают своими друзьями. Возьмут — так не полагают это за долг, дадут — так не ждут возврата. Такие, говорят, в стародавние времена случайному путнику, у которого пала какая-нибудь беспородная лоша-

денка, отдавали своего единственного аргамака, незнакомому гостю резали единственную овцу, которую для голопузых своих детей жалели, и преподносили ему на блюде ее голову. И посему я, потомок этих простодушных, добрых, щедрых кочевников, тоже не стал жадничать, полез в карман. К счастью, горсть у меня оказалась полной — медь вперемежку с серебром.

— Вот, берите сколько надо.

Мой спутник широко осклабился, обнажив желтеющие кривые зубы, и, напоминая мне курицу, клюющую просо, выбрал с ладони три двадцатикопеечные монеты.

— Достаточно, на бутылку красного хватит.

Надо же, какая глупость с моей стороны! Только теперь до меня дошел смысл этого слова — «согреться». Но пути отступать уже не было.

Парень с торжественным видом тут же застучал своей деревяшкой к прилавку и скоро вернулся, принеся пол-литровую бутылку дрянного вина.

— Вот, мой господин!.. — улыбаясь, засуетился он. Вытащил из кармана большой четырехскладник с роговой ручкой, отогнул штопор и, ввинтив его в пробку, с хлопающим звуком открыл бутылку. — Чем богаты, тем и рады, на нет и суда нет. Пейте. В следующий раз я вас коньяком угощу.

Бутылка была холодная-прехолодная. Да была она и не чиста снаружи — не то соломенная труха налипла, не то пыль.

— А-а… к-как, прямо здесь? — спросил я, заикаясь.

— Не беспокойтесь, девчата свои, ругаться не будут.

— П-прямо вот здесь… вот так… вот так вдвоем?.. — сказал я, не находя нужных слов.

— Да уж оба из горлышка, — ответил мой собутыльник, угадав, что я хочу сказать. — Так-то пить вкуснее будет. Ну, пожелайте себе здоровья и пейте. Надо бы поскорее до дому добраться. Вечер, время, когда бабам подчиняемся. Да и детки, как говорится, есть.

«Пусть, — подумал я, не видя иного выхода, чтобы выбраться из капкана, в который сам себя и загнал. — Как будто никогда не пил такой дряни… — Я вытащил из кармана платок и вытер им горлышко бутылки. — «Полезно иногда и побеситься», сказал некогда Абай, мир его праху. Найдем в его словах опору и попробуем из горла… Ну, я пошел, будьте здоровы!»

Вино оказалось настолько холодным, что заломило зубы. Меня хватило лишь на два глотка. Но тем не менее в следующее же мгновение по всему

телу разлилось приятное тепло.

— Не спешите, выпейте, сколько вам нужно, — сказал мой собутыльник, когда я, решив, что двумя этими глотками исполнил свой долг, протянул ему бутылку. — Вы человек ученый, а наши слюнки… и-и… Наши остатки вам не след пить, — поцокал он языком, как недавно в трамвае, и покачал головой.

— Что за разговор?! — сказал я, по-прежнему протягивая ему бутылку. — Я кончил.

— О-ой, да что же вы… — Мой спутник совершенно искренне заволновался. — Вот что значит толк в слове не знать, не так скажешь… Мне и того хватит, что останется, вы хоть глоток еще сделайте!

— Холодное, — сказал я.

— А чего спешить? Давайте вот на батарею поставим, пусть отойдет немного.

То ли вино, принятое на голодный желудок, хоть и выпил-то я каплю, так подействовало на меня, то ли бесконечное добродушие этого парня, но я вдруг весь так и переполнился непонятным благодушием. В таких случаях даже люди, считающиеся серьезными и рассудительными, становятся легкомысленными, и самые большие умницы, что не скажут впустую ни слова, несут

пустопорожнюю чепуху. В подобные минуты человек сочувствует всем и всякому, готов всех назвать другом и братом, всех, кто только подвернется под руку, обнимать и целовать. Поначалу я смутился, увидев, что парень превратно истолковал мое нежелание пить, но на лице его не было никакой обиды, и я успокоился. И теперь уже счел неловким стоять чем-то вроде этакого начальника-истукана, решил занять своего собутыльника разговором. Но человеку, который с самого начала ступил неправильно, трудно выправиться, и я лишь увяз еще больше.

— На какой войне вы сумели отдать эту ногу? — Более дурацкой шутки невозможно было и придумать, я понял это в то же мгновение, как сказал, но что же делать — слово вылетело.

— Э-э, последствия опьянения, — ответил мой спутник, и улыбка с его губ исчезла. — Только не от водки и не от вина опьянение… — Он, видимо, и сам не думал, что так быстро ответит на больной вопрос, и ему стало стыдно перед самим собой. Скулы его заострились еще больше, углы губ опустились, и без того сморщенный, в два пальца лоб его весь собрался мученическими складками — он за секунду как-то весь постарел. Только глубоко посаженные серые глаза поче-

му-то по-прежнему смеялись, совершенно не соответствуя этому общему выражению лица.

Неожиданно, точно в моем мозгу распахнулась заржавленная дверца некоего архива, все мне вспомнилось в одно мгновение.

— Скажите, а как вас зовут? — Это была вторая ошибка, допущенная мною за последнюю минуту.

— Кошим, — сказал мой спутник.

Он!

2

Тогда я учился в университете на третьем курсе исторического факультета. Безгорестное, беззаботное время. Учеба шла своим установившимся ходом, чуть-чуть, то есть выше среднего, — лишь бы вытянуть на стипендию. Большего-то ведь и не надо — все один диплом получают. «Двадцать пять не вернутся к тебе опять», — поется в одной старой песенке. Об этом мне было трудно судить, мне тогда исполнилось только двадцать, а я уяснил одно: не возвратится вновь студенческая жизнь, это уж точно, и не следует тратить время впустую. Библиотека, читальные залы… Ну разумеется, раз уж ты студент, то конечно… Во время

экзаменов, зачетов. А основное занятие — совсем иного рода. Говоря конкретно — знакомиться с девушками. Себя я считал превосходным знатоком женского сердца. Натянув «стильные», с подошвой в два пальца толщиной туфли и не широкие, но и не узкие, а точно четырнадцать сантиметров внизу, из тонкого сукна брючки (это было время, когда спор между широкими и узкими брюками достиг кульминационной точки, — по моему тогдашнему мнению, это было борьбой между старым, тянущим за подол назад, и смотрящим вперед новым), я, как наступал вечер, обхаживал женский аул — ЖенПИ. Порою сам пренебрегаю девушкой, порой, как говорится, девушка мной пренебрегает — разумеется, об этом мои товарищи не узнавали, для них «покидающим» всегда бывал я; и вот, так или иначе, я понял жизнь, и до меня дошло, что надо бы подумать уже о том, чтобы заиметь кого-то постоянного, с кем впоследствии можно будет соединиться навеки.

Бог не заставил долго ждать, скоро исполнил и это мое желание. Разочаровавшись в ЖенПИ, попытав счастья с представительницами гуманитарных, технических и множества других специальностей, я наконец нашел в медицинском институте. Волосы коротко острижены,

телосложением превосходна — как вылепленная рукою мастера скульптура, икры упруго-округлые, точно брюшко белой сельди. В левом углу губ — родинка с просяное зернышко; иногда, начертив карандашом, она ее увеличивала; небольшой прямой нос, острые, как у рыси, глаза и по-калмыцки скошенные брови, — ее светлое личико было очаровательным и самобытным. В общем, внешностью она походила на японку, хотя и была чистой казашкой. Разве что вот говорила она несколько путано. Звали ее Кульмира.

Когда я познакомился с этой имеющей привычку смотреть тебе прямо в глаза, игривой, увертливой, точно дикая коза, красивой девушкой, я решил, что именно она должна быть тем человеком, кто разожжет очаг в моем доме. Я ей, кажется, тоже понравился — она согласилась тут же вечером пойти со мной в кино. Однако я слишком рано возмечтал о столь далеко идущем продолжении нашего знакомства. После кино она не выразила особого желания прогуляться со мной наедине по свежему воздуху — завтра у нее должен быть семинар. Завтра у меня тоже был семинар, но я даже забыл о нем, и подумаешь — кто же каким-то одним семинаром достигал дна знаний? Однако доказать девушке свою правоту

я не смог. И как будто мало мне было этого огорчения; когда мы подошли к общежитию, девушка «моя» сказала: «Не беспокойте себя зря, больше ко мне не приходите». И, оставив меня в дураках, даже не обернувшись ни разу, крепко стуча каблучками, словно очень сожалела о потерянном времени, пошла прочь.

«Не приходите» — всего два слова, но не приходить на самом деле ох каких стоит сил. Говорят же: мужчину убивает честь. Разве это не бесчестие для уважающего себя джигита, когда он, даже не начав еще толком ухаживать, уже оказывается брошенным? Да если к тому же девушка очень понравилась… Через три дня я пришел снова. Вышла. Рассказывая ей о том о сем, о всяких историях, случавшихся бог весть с кем, сделав по пути две-три остановки, чтобы попытаться обнять ее, пройдя в общей сложности что-то километров пять, за двенадцать минут до двенадцати часов я вполне благополучно расстался с нею у дверей общежития — ровно в двенадцать ноль-ноль двери закрывались. Хотя мне и не удалось ничего особенного, но вроде бы дело у нас наладилось. И опять я ошибся — история первого дня повторилась через неделю. На сей раз я уж подумал было, что действительно получил отказ.

Но есть ли предел могуществу бога? Не прошло и недели, как мы снова прогуливались с нею по улицам, любуясь луной и звездами. Однако и на этом дело не кончилось, еще через некоторое время мне снова пришлось встретить рассвет без сна. Так прошли три полных унижения месяца, а я, водя девушку через день в кино, все еще не мог назвать ее своей. Вконец устав от такой собачьей жизни, я уже решил было не появляться у нее больше, если эта чертовка снова заявит мне: «Не приходи», — когда в одну безлунную ночь на одной из унылых, безлюдных, с разбитыми фонарями улиц она вдруг сама упала в мои объятия.

Все это время, оказывается, она испытывала меня. И убедилась, что я действительно ее люблю. Теперь разве что смерть разлучит нас.

Спустя некоторое время я понял, что соответственно новым условиям на меня теперь возложена новая роль. Ее смысл: к своей девушке я должен ходить самое малое три раза в неделю, ну, а в субботу или воскресенье — в обязательном порядке в кино или в театр; с ее подругами должен здороваться с особенной уважительностью — необходимо зарекомендовать себя в их глазах с хорошей стороны; пустое шатание оставлю, — неизвестно, каким путем она это узнала, но

девушка оказалась до тонкостей осведомленной во всех перипетиях моей трехлетней жизни в Алма-Ате, — и если вдруг буду замечен у ЖенПИ, иняза или других подобных заведений, то не увижу больше и порога мединститута. В общем, сначала я вверил себя единственно судьбе, а судьбу затем, как говорила Татьяна Онегину, — этой хорошенькой, как куколка, девушке, которая специализировалась на том, чтобы вспарывать человеку внутренности и расчленять его на части.

Среди ее подружек на курсе самой близкой Кульмире была плотно сбитая, с толстыми, как бы вывернутыми губами, с нескладным, оттопыренным задом смуглянка Алия. Они и в школе вместе учились. С детских лет самая лучшая, жертвующая для нее всем подружка. На трудном пути к счастью, которого я достиг, она, оказывается, сыграла особенную роль. Когда Кульмира бывала не в духе, она, оказывается, несколько раз насильно ее одевала и выталкивала ко мне на улицу. К самой Алии ходил сероглазый малорослый парень со следами оспы на лице, по имени Кошим. Всегда красиво одевался, с иголочки. Черный костюм, черный галстук с крохотным узелком, черные остроносые туфли, белая ру-

башка с накрахмаленном воротничком, белые носки — все по последней моде. Близко мы не познакомились и разве что иногда, здороваясь, кивали друг другу. Чувствовалось, что он еще не достиг моего уровня, но было также видно и то, что он не простой претендент, а отобранный, имеющий какие-то надежды. Только уж что-то слишком затянулось испытание: когда я начинал карьеру, у него, кажется, был уже кое-какой стаж, а он все на том же положении. Алия, говоря, что ей некогда, порою не выходит к нему, и эта ситуация повторяется в последнее время что-то слишком часто.

Ну, а я… я, как старый солдат царской армии, испытавший на своем веку немало кровопролитных сражений, двадцать пять лет в порядке долга мытарившийся с погонами на плечах, а теперь считающий по пальцам, сколько месяцев, сколько дней осталось до возвращения в родную деревню, я был близок к тому, чтобы сполна расквитаться за все унижения на любовном фронте, которые претерпел от женского пола с тех пор, как вступил в пору зрелости: предстоящей осенью мы с Кульмирой решили пожениться. Соответственно этому прежнее любовное расписание было отменено, и я ходил к своей девушке, невзирая на

время суток, в любой понравившийся мне час.

И когда бы я ни шел, всегда у дверей общежития видел съежившегося Кошима.

Была суббота. На экраны вышел чрезвычайно интересный, говорили — потрясающий фильм под названием «ЧП». Натолкавшись в очередях, я с грехом пополам достал-таки билеты. Кульмира, оказывается, тоже сидела наготове — ждать не пришлось. Когда мы спустились на улицу, дорогу нам преградил Кошим. Хотя день был и не морозный, мягкий, но все-таки середина зимы, а одет он был легко — может быть, от этого у него был бледный, осунувшийся вид? Раньше, когда, одетый с иголочки, ходил твердой, уверенной походкой, гордо развернув плечи, его маленький рост не бросался в глаза, а теперь, с опущенными плечами, он стал совсем с мизинец…

— Сестренка, — сказал он. — Кульмира… Вызовите мне Алию, пожалуйста…

— Алии нет, — холодно сказала Кульмира, окидывая Кошима взглядом с головы до ног.

— Простите… — пробормотал Кошим, голос у него был совсем робкий. — Простите, пожалуйста, но я сейчас видел в окно — Алия дома.

— Какой вы, однако, интересный парень, — сказала Кульмира, иронически, усмехаясь, сердясь,

вместо того чтобы смутиться, что ее уличили во лжи. — Пристали и никак не отстанете. Что ж я могу поделать, если она вас и видеть не хочет?

Кошим потерянно стоял перед нами, не в силах произнести ни слова.

— Слушай, — сказал я Кульмире, испытывая неловкость за ее поведение. К тому же мне было жаль Кошима («У всех носящих шапки — честь одинакова»). — Позови.

— Не выйдет ведь, — сказала Кульмира, повернувшись ко мне и разом потеплев лицом.

— Вытащи. Сагитируй.

— Приказ ваш выполнен. Сейчас наша Алия выдаст вашему Кошиму его порцию, — сказала Кульмира, пожимая мне пальцы, когда вернулась и мы отошли от Кошима.

— Тогда зачем же она целых полгода морочила ему голову?

— Разве человек не ошибается? А этот как еще разоделся! Будто инженер. Сказал, что на АЗТМ работает… А оказался вовсе и не инженером, а рабочим. В университет, не то на филфак, не то на физмат, три раза подряд экзамены сдавал, такой удалец, и не попал.

— Нынче поступит, — сказал я. — Обязательно поступит. Сейчас, кто с производства, в первую

очередь берут.

— А, пусть! — сказала Кульмира, сморщив нос. — Теперь уже все равно. Алия нашла себе парня. В горном институте учится. Великолепная фигура, густые черные брови, такой симпатичный… Красивый парень. — Она помолчала немного. — Разве в этой Алии есть что-нибудь, чтобы парни заглядывались? — сказала она потом, качая головой. — Говорят же, пути господни неисповедимы. Такая никудышная девчонка, и попудриться-то как следует не умеет, а какого парня себе подцепила! Он сейчас на последнем курсе, конечно, женится на ней…

Я не нашелся, что сказать — ни в поддержку, ни в осуждение. Я впал в какое-то странное, окаменелое состояние. И даже не решался посмотреть в лицо своей девушке. Так молча мы и шли под руку. Потом Кульмира, видимо, почувствовала, что наговорила лишку, быстро глянула на меня и прижалась к моему плечу, будто сильно продрогла. Стала вспоминать некоторые эпизоды наших первых встреч, вспоминала — и смеялась. Я согласно кивал головой, но не в силах был выдавить из себя ни слова.

— Знаешь, — сказала наконец Кульмира, когда мы уже подходили к кинотеатру «Казахстан», — я

тебя ни на кого не променяю!

Высвободив свою руку из ее, я обнял Кульмиру за талию.

— Я ведь не вещь, которую можно обменять.

— Нет, ты вещь, моя собственность.

— Ну хорошо, если берешь меня навсегда, согласен быть и вещью.

— Ой, Салтыкенчик…

— Кто, ты говоришь?

— Салтыкенчик… Я теперь всегда буду тебя так называть. Значительно и красиво.

— Самое значительное имя, которое знаю, — сказал я, — это имя, которое с утренней молитвой дал мне отец: Салахитдин.

— Такое старомодное…

— Ну так зови меня как товарищи по курсу, — Саладин, на европейский манер. Знаешь, кто это — Саладин?

— Знаю, знаменитый герой, участвовавший в походе крестоносцев[65].

— Подумай.

— Да-да, я в книге одной читала. Друг английского короля Ричарда Львиное Сердце. Он барон

---

[65] Примечания: 65

Саладин (Салах-ад-дин, 1138—1193) — основатель египетской династии Эйюбидов, разгромивший в 1187 году войска крестоносцев во главе с английским королем Ричардом I (Ричардом Львиное Сердце).

был.

— Перепутала ты все.

— Пусть, мы же не историки, нам все равно. Почему тебе не нравится имя Салтыкен? Был же такой хороший писатель — Салтыков по имени Щедрин.

— В русской истории была и Салтычиха…

— Все равно я больше не буду звать тебя по-прежнему — Салкен. Салкен — Сакен. Сакен Сейфуллин…[66] Какой он красивый мужчина… такие тонкие красивые усы, точь-в-точь как Сейфуллин. Я про нового парня Алии говорю. Его тоже Сакеном зовут.

Сердце у меня заныло. Я почувствовал что-то похожее на тошноту, словно опился маслом.

3

Прошло около недели. Началась зимняя экзаменационная сессия. Как водится, перед нею были зачеты, и я сдал их вполне удачно; как говорится, и дух из меня вон, и из головы тут же все вылетело. Конечно, позиции мои были шатки,

---

[66] Примечания: 66

Сакен Сейфуллин (1894—1937) — известный казахский поэт-революционер.

но благодаря своему трехлетнему опыту, там, где не знал точно, говорил в общем, а где не знал и в общем, плетя черт-те что, как бы между прочим переходил на другой, родственный вопрос, и хотя в сильнейшие не попал, но и позади не остался — одним словом, проскочил. Однако «большое жаркое будет, когда верблюда прирежут», так говорят, вот и мне первый же экзамен из предстоящих четырех нанес такой удар, что боль от него долго еще потом шатала меня.

В плавание я пустился, едва прочитав билет, но, перетряхнув все складки своего мозга, сумел все же оттуда и отсюда надергать немного сведений, достаточных для ответа на эти три вопроса. Однако наш добрый старый профессор, который не ставил двоек даже тем, кто и рта-то не раскрывал, заболел, и вместо него принимать экзамен пришел только что защитивший докторскую диссертацию молодой человек по фамилии Меирманов[67], лет этак тридцати или чуть-чуть за тридцать; он оказался совершенно не соответствующим своей фамилии и надолго усадил меня перед собой, задавая различные дополнительные вопросы. И если я был зубастым студентом,

[67] Примечания: 67
Меирман — добрый, милосердный.

то он, видно, многим таким зубастым обломал зубы, молодой, не знающий, куда девать силу, профессор; если популярно, так я был перед ним в лучшем случае боксером-третьеразрядником, а он — мастером международного класса, к тому же я был любителем, зеленым мальчишкой, а он — профессионалом, Джо Луисом, и вот он загонял меня по очереди во все четыре угла ринга и лупил самым безжалостным образом. Не прошло и двух-трех раундов, а я, потеряв уже все надежды на победу, прекратил сопротивление, признал свое поражение. Сижу на корточках, опершись рукой о пол. Голова безжизненно повисла. Жду грозного приговора своего судьи и противника Джо Луиса: «восемь… девять… десять… аут — неуд».

— Ничего не знаешь, — сказал, тяжело дыша, весь красный, точно и взаправду выдержал жаркий бой, профессор. — Позор!

«…восемь…»

— Удивляюсь, как это вот такие молодчики, вроде тебя, которых попросишь нос показать, а они на ухо кажут, проходят через чудовищный конкурс, когда на одно место десять человек претендуют, и поступают учиться!

Это он хватил лишку. Хоть я и не профессор, но из таких, что считают себя ничем не хуже

профессора.

— Я в университет был вне конкурса принят, без экзаменов, — сказал я, продолжая сидеть на корточках, но подняв голову. — Школу я с серебряной медалью закончил.

— Удивляюсь, как вот такие ребята, — продолжал профессор, оставив мои слова без внимания и лишь немного смягчая первоначальную свою характеристику, — как вот такие ребята, с грехом пополам поступив и после-то совершенно ничего не зная, все же продолжают тащиться и дальше, переходить с курса на курс. Удивляюсь!

— Первые три семестра я учился отлично. — Отняв руки от пола, я собрался с духом. Но сил встать с корточек недостало.

— Ага, вон как? — сказал профессор, который хоть и был старше меня, но зато младше некоторых моих сокурсников. И насмешливо хмыкнул. — Тогда, дорогой… расскажи-ка мне о последнем походе Марка Красса. Напомню тебе: Красс погиб в сражении с парфянами, а вскоре после этого распался и первый триумвират…

Похоже, он действительно был настроен на то, чтобы поставить мне двойку. Ведь он перешел мне дорогу! В учебнике все сведения о смерти Красса, которые он мне тут выложил, этим и

исчерпывались, ну, а про парфянскую войну и вовсе ничего не говорилось. Но, впрочем, все это уже было несущественным — давал он мне наводящие сведения или нет, переходил дорогу или стоял на месте: в свое время я внимательно, от корки до корки, прочитал всю классическую литературу, какую только мог достать, связанную с историей древнего мира.

«Бокс!» Я тут же стремительно вскочил с корточек и снова включился в бой. Темп мой высок, и я не скоро думаю переводить дыхание.

— Хорошо, — сказал мой судья-противник. (Гонг! — еще один раунд кончился, на этот раз в мою пользу.) — Это так Плутарх пишет. Второй вопрос: кипчаки и Кавказ.

— Это слишком общий вопрос.

— Говорите в пределах программы.

— В программе этот вопрос не охвачен. Но если вы не спеша меня выслушаете…

— Тогда… — Профессор, глядя на меня, помедлил, сощурив глаз. — Борьба между хулагидским Ираном и Золотой Ордой. И хан Ногай…

— Много знаешь, — сказал профессор, понаблюдав немного за моими прыжками и выпадами. — Слишком много знаешь. (Непонятно: одобряет или издевается.) Но из таких безалаберных джи-

гитов все равно ничего не выходит. Видел ведь студента, который только что перед тобой отвечал? Много готовился, долго сидел, всю душу в подготовку вложил, чтобы сдать этот экзамен. И едва заслужил тройку. Потому что это его предел, это та высота, на которую он только и способен взлететь. Если бы ему да твои возможности, кем бы он стал, а? Ошибся всемогущий боженька. Но мы сию ошибку исправим… и как первый шаг на этом пути я вам сейчас… поставлю оценку «неудовлетворительно»… Вот.

Делая обманные движения и вселяя в меня надежду своей пассивностью, он вдруг нанес мне снизу сокрушительный удар в челюсть. Я распластался на полу, не в силах собрать ни рук, ни ног, в глазах у меня поплыл туман. Нокаут…

Вечером, чтобы утешить боль и немного развеяться, я пошел к Кульмире. Я не стал ей жаловаться, но по моему настроению она сама догадалась, что у меня не все ладно.

— Что-то ты слишком погрустнел, не на экзамене ли провалился? — спросила она, когда мы свернули на безлюдную улицу.

— Нет, — сказал я; не мог я ей сказать правды. — Тройку получил.

— Только и всего?

— Только и всего…

Кульмира звонко рассмеялась.

— Смотри, говорят, в вашем университете какой-то парень повесился. Стипендиатом был, а тут по одному предмету четверку схватил.

— Да врут, наверное…

— Нет, правда. В общежитии на Чайковского. Там ведь во дворе полно густых деревьев. Вот там. Наши девчонки говорят…

— Если девчонки говорят — значит, пустые слова, — сказал я, чувствуя, что мне от этого разговора становится не по себе. — Надо с парнями все-таки поосторожней шутить.

— Тогда я скажу тебе еще одну ложь, — с улыбкой посмотрела на меня Кульмира. — Этот твой друг Кошим…

— Мой друг Сакен.

Вместо того чтобы посочувствовать мне, когда я пришел к ней за утешением — бедняга, мол, мой!.. — она еще насмехалась надо мной, и это начинало меня раздражать.

— Твой друг Кошим, — продолжала Кульмира, не обратив внимания на мою колкость, — оказывается, заявил нашей Алии: «Жить без тебя не могу, теперь для меня смерть лучше», — и в тот же день попал под трамвай.

— Как?!

Вырвавшийся у меня крик был, видимо, слишком громок.

— Тс-с, — сказала Кульмира, прикладывая указательный палец к губам. — Без паники.

— Как… значит…

— Ничего другого не смог, так напугать решил! Конечно, он и не думал: кто-то, будучи пьяным… а кто-то просто не заметил… случается… машины в городе много людей сбивают.

— Он жив? — Не знаю, то ли это было сострадание к Кошиму, попавшему в беду, то ли удивление черствостью Кульмиры, так небрежно рассказывавшей мне обо всем этом, но мною овладело какое-то непонятное чувство потерянности или еще чего… определить его я и сам был не в силах.

— Жив, — ответила Кульмира. — Говорят, только одну ногу отрезало. Операция прошла удачно.

В кончиках ушей у меня защемило.

Я словно только что, раскрыв глаза, очнулся от сна, огляделся, — оказывается, все это время мы кружили возле недавно выстроенного Центрального стадиона (тогда он назывался «Урожай»). Высоких домов вблизи не было, и вокруг нас гулял бесшабашный крепкий ветер, так и гудел.

Джигиты-рыцари не мерзнут, они только дрожат от холода. Сам же я, хотя и ходил все шесть зимних месяцев без головного убора, даже дрожь считал за проявление слабости. Но именно в ту минуту я не просто задрожал, у меня просто зуб на зуб не попадал — так меня затрясло. Какой защитой в зимнюю стынь может быть легкое осеннее пальто, которое я носил из одного форса, — мороз залез ко мне и под мышки, и за пазуху. Кожа на моей непокрытой голове стала словно бы тоньше, голову будто втиснули в железный шлем, и он давил на висках, на затылке… Ломило все кости головы, казалось, она вот-вот затрещит. Я поднял было руку — уши мои задеревенели, кончики, видимо, у обоих были обморожены.

Ладное что случилось, то и случилось, теперь моей задачей было не дать знать о происшедшем. Осторожно развернув Кульмиру, я вывел ее на улицу, ведущую к общежитию.

Шли молча. Признаться, чтобы говорить, у меня и сил не осталось.

— Почему это у всех хороших мужчин жены бывают плохими? — сказала вдруг Кульмира. — И красивый, и образованный, и слава ему, если хочешь, и почет, и вот, глядишь, рядом с таким незаурядным мужчиной, как в паре с аргамаком,

идет какая-нибудь вислобрюхая кобыла с не вылинявшей еще длинной шерстью. Извини за выражение, ни морды нет, ни вида нет, замызганная баба, прямо душа горит, увидишь такое.

Я не знал, что и ответить. Довольно, конечно, верно, но тем не менее эти слова могли исходить не из уст неопытной, еще не раскрывшейся юной девушки, а из уст повидавшей, натерпевшейся в жизни женщины. И хотя мне было страшновато, я задал ей встречный вопрос:

— Ну, а как это получается, что хорошие девушки, не заметив в свое время этих замечательных парней, выходят замуж, будто специально их выискивают, за плохих?

Как ни умудрена была Кульмира в подобных вопросах, с этой стороны она не заглядывала. Ответить мне сразу она не смогла ничего.

— К примеру? — сказала она только через некоторое время, становясь напротив и глядя мне прямо в глаза. Мы, оказывается, подошли уже к ее общежитию.

— К примеру, я думаю, что твоя подружка Алия лишилась своего настоящего счастья.

— Алия не такая уж красавица, чтобы кто-нибудь мог на нее позариться, это ты и сам знаешь, — сказала Кульмира. — Только вот ве-

зучая она. А то… К ней, в общем-то, подходит не твоя, а моя формула.

— А к тебе самой? — Не знаю, как это и вырвалось у меня.

— Это покажет будущее, — сказала Кульмира, глядя теперь куда-то поверх моей головы.

Все у меня внутри, и без того замерзшего, так и похолодело. Я словно лишился дыхания. Открываю рот — а слова не выговариваются.

— У меня к тебе одна просьба, — сказала Кульмира, готовясь уходить. — Сделаешь одно дело ради нас с Алией?

Я молча кивнул.

— Этот ненормальный Кошим перед смертью… то есть в общем… перед этим самым, как случиться, написал Алии письмо и отправил по почте тетрадь со стихами, пусть, мол, памятью будет, сохрани, не потеряй. Как будто кто-то жаждет прочитать эту тетрадь, прямо умирает… А теперь, раз уж так вышло… от греха, знаешь, подальше. Надо бы отдать ему… самому…

4

Толстая тетрадь в красном ледериновом переплете от первой страницы до последней была

заполнена стихами. О Родине, о партии. Посвященными 23 февраля, 8 Марта. Автор писал о нашей счастливой сегодняшней жизни, о героическом труде простых людей. Но основной темой тетради была тема любви. Это угадывалось уже по одним названиям: «В Алма-Ате лунной ночью», «Любимой», «А . . и», «Вечная клятва» и так далее.

В общем, характерные для всякого молодого человека стихи, страдающие одним общим недостатком: неточностью рифм, случайностью их, а то и полным отсутствием; автор совершенно игнорировал ритм, путался в размерах, строфы не рассыпались, не разбегались в стороны лишь потому, что эти составлявшие их неуклюжие, то чересчур длинные, то чересчур короткие строки, абсолютно не связанные друг с другом смыслом, единством мысли, точно насильно слепленные, были написаны очень тесно, впритык одна к другой. Только последнее стихотворение в тетради было безупречно. Созданные рукой настоящего мастера, излившиеся из сердца настоящего поэта удивительные строки с нежной точностью воссоздавали состояние молодого человека, сломленного любовью и потерявшего всякие надежды на ответное чувство возлюбленной:

«Гляди — душа моя в огне… Кричу, стеная, внутри меня волнами пламя разлилось. Мечусь, униженный, как пес, истаивает жизнь во мне. Кто знает о грядущем дне? Придет, таясь, последний час, придя, не отойдет от нас. Еще дыша, живет душа. А вот — другой на смену мне».

Чувство, владевшее Кошимом, я постиг не через множество сочинений, что заполняли тетрадь, а через эти несколько строчек. Лишь один недостаток был в стихах — они принадлежали Абаю.

Ну, а тетрадь Кошима? По решению девичьего совета я должен вернуть ее владельцу. За то же, что я без разрешения перелистал тетрадь, аллах, возможно, простит меня: любопытство — черта, присущая не только мне, но и большинству двуногих душ.

Вечером того дня, когда с грехом пополам был сдан следующий экзамен, я отправился в городскую больницу.

Он неподвижно лежал на животе, повернув лицо к стене, и было непонятно, бодрствует он или спит. Я взял стул и присел рядом. Сидел и смотрел на его узкие лопатки, плоский затылок, выдававшееся горбом темя. Посмотреть на ноги не хватало духу. Мне казалось, я унижу, опозорю, втопчу в землю его искалеченную душу, если

сделаю это. Так прошло какое-то время. Я уже начал жалеть, что пришел. А выйти просто так тоже было неудобно.

И вдруг, точно угадав мои мысли, он медленным движением повернул голову. Повернул — и испугался. А может быть, и не испугался, а просто изумился, а может быть, неловко повернулся — и это движение отозвалось в его теле болью… Как бы то ни было, он издал странный звук — нечто среднее между стоном и криком. Бледные губы его дрожали, словно он безмолвно проклинал меня, нарушившего его покой. Но это продолжалось недолго. Он перевалился на спину, пододвинулся поближе к краю кровати и, боязливо глядя на меня, вымучил из себя улыбку.

— Живы-здоровы? — спросил он шепотом.

— Да слава богу.

Мы оба замолчали.

— Зимняя сессия кончилась? — спросил он наконец. Как будто больным был я, а он пришел проведать.

— Кончится скоро.

— А-а… — протянул он. — Потом на каникулы?

— Ну да…

Разговор наш снова оборвался. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать, чтобы не молчать, но

что? Успокаивать его? Сочувствовать? Или что-то вроде назидания? В дурацкое я попал положение.

Он приподнял голову и, опершись на оба локтя, подтянулся на подушке повыше.

— Кульмира… — сказал он затем, прочищая горло. — Кульмира тоже, наверное, хорошо сдает экзамены?

Он, конечно, хотел спросить о другом. Не про Кульмиру он хотел спросить. Я это понял в то же мгновение.

— Хорошо сдают… еще два экзамена… — Мне показалось, я очень ловко вывернулся, не назвав никакого имени.

Человек полагает, что хитрость, известная ему, другому неведома. Кошим, видимо, ждал от меня прямого ответа. На лице его так и остался след вопроса. Или, может быть, он говорил, мне этим: понимаешь ведь мое состояние, пойди же мне навстречу?!

— Привет передали… — вынужден был сказать я. — Сами знаете, в медицинском институте сложные предметы. Наизусть латинские названия всяких там костей и конечностей надо… некогда им… Вот я и пришел…

Так человек становится лгуном. Да по неопыт-

ности я и соврать-то не сумел складно. Но что удивительно — Кошим поверил. Поверил — и весь просиял.

Только тогда я понял, в какой тупик загнал сам себя. У любви нет ни глаз, ни разума. Ею руководит одно лишь слепое чувство. Этот покалеченный парень, кажется, был готов поверить и в то, что Алия сейчас плачет-убивается и, появившись завтра, повиснет у него на шее. И мой приход к нему он считал тоже не случайным. Моргающие глаза его были одной сплошной надеждой.

Я почувствовал: если задержусь еще немного, то скажу любую, самую большую неправду. Поерзав на месте, я встал. И, не посмев взглянуть Кошиму в лицо, даже не попрощавшись с ним, метнулся к двери. Толстая красная тетрадь со стихами почивающего духом в райских садах Абая и обреченного на неудачу и в поэзии, и в любви несчастного Кошима, которая и явилась причиной моего визита в больницу, осталась со мной в моем портфеле. Никуда не сворачивая, я прямиком потянул к общежитию мединститута.

5

С той, к которой шел, я столкнулся у общежитских дверей. Мы подходили к ним с разных сторон, и она увидела меня еще издали. Опустив голову, она хотела проскользнуть мимо, будто на самом деле не заметила, но, прибавив шагу, я загородил ей дорогу.

— А-а, это вы, — сказала она, отводя глаза в сторону, словно почему-то не могла глядеть на меня. — Кульмиры нет дома. Она в театр… по делу куда-то… — В руках у нее болталась сетка с бутылкой молока, половиной буханки серого хлеба, тремя банками консервов, не то рыбных, не то еще каких-то, полузавернутых в бумагу. Одета она была как попало. На голове — небрежно повязанный, непонятно какого цвета, не то розоватый, не то желтоватый, выцветший старый платок. Всегда прекрасно на ней сидевшее новое, с каракулевым воротником серое пальто как бы неожиданно обветшало и обвисло. И сама она была вся какая-то сникшая. В желтом свете лампочки над общежитским крыльцом ее смуглое лицо мне показалось вдруг и необычно темным и бледным одновременно. В сердце у

меня шевельнулась надежда. То, что я ходил к Кошиму, она несомненно знала.

— Я не к Кульмире, я к вам пришел.

Взмахнув загнутыми ресницами, Алия наконец посмотрела мне в глаза и, подняв свои широкие брови, выразила удивление.

— Мне необходимо поговорить с вами наедине.

— Хорошо, сейчас… — прошелестела она. Голос у нее был низкий и мягкий. Я почувствовал, что в это мгновение между нами вдруг установилась некая невидимая никому тайная близость. Сначала я думал о своей затее, в общем-то, как о пустой, теперь же я был почти уверен, что задуманное мною — осуществимо.

Долго я ждал девушку, которая сказала: «Сейчас». Возможно, полчаса, возможно, около часа. А может быть, и больше. Наверное, оттого, что я подвигнул себя на большое дело, возложил на себя миссию ангела любви, решив вернуть влюбленному джигиту его возлюбленную, моей исходившей нетерпением, бурлившей благородством наивной душе каждая минута казалась за десять. В общем, я порядком извелся, пока дождался ее.

В первое мгновение я ее даже не узнал. Она

собрала волосы на затылке пучком и повязала голову клетчатым синим платком. Пальто, только что висевшее на ней как мешок, вновь стало новым и сидело вполне ладно. Поскрипывали при каждом шаге высокие, на каблуках боты. И нежный запах духов.

Мы пошли вниз по Уйгурской улице.

В профиль она казалась очень даже недурной. И несколько плоский, узкий лоб ее, и всякие лишние выпуклости лица как бы приняли иные, совершенные очертания, и иными, более изящными стали густые черные брови. Некрасивый нос ее с большими ноздрями тоже стал как бы тоньше, прямей. И широкий округлый подбородок был теперь вытесан заново, приобретя скульптурную завершенность. Лишь одно портило ее профиль — толстые, врастопырку губы. Но тем не менее в эту минуту Алия показалась мне довольно симпатичной.

Мы шли вниз по улице. Чтобы Алия не поскользнулась на обледеневшем асфальте, я поддерживал ее под локоть. Она прижимала его к себе, и под мышками у нее было тепло-тепло.

Грохоча, стремительно проносились книзу, обгоняя нас, трамваи. Там, внизу, они останавливались — как раз напротив моего общежития с

одной стороны и базара — с другой. Со скрипом открывались двери и с треском захлопывались снова. Чуть-чуть покачиваясь на ходу, светясь задними огнями, трамваи удалялись. Впереди, в конце улицы, темнели купола Никольской церкви с непропорционально большими крестами. Чем ближе мы подходили, тем яснее становилась видна церковь, тем отчетливее проступали кресты. Но, не дойдя до нее, мы свернули направо, в Студенческий сквер.

Летом это место выглядело совсем иначе. Располагавшийся у нижней части Никольской церкви, у ее правого крыла, весь долгий день, совершая свои нехитрые операции по купле-продаже, пчелиным роем гудевший базар с наступлением вечера расходился, и открывался молодежный базар Студенческого сквера, у верхнего, левого крыла церкви.

Общежития университета, иняза и мединститута — все находились неподалеку от сквера. И всегда из нескольких тысяч населяющих эти общежития студентов сотню-другую можно было найти в сквере. Сквер, кажется, весь состоял из различных укромных закоулков. Вдоль пересекающихся и вновь расходящихся, вкривь и вкось бегущих по скверу дорожек, но не прямо

на них, а в стороне, в самой чащобе зелени, так что не заметны глазу, пока не подойдешь совсем близко, точно специально предназначены для влюбленных, снежно-белые скамейки с выгнутыми сиденьями и покатыми спинками. Зеленые лужайки с небольшими цветниками или островками густой высокой травы со всех сторон окружены одичавшим кустарником, которого никогда не касались ножницы садовника, и даже самые любопытные, заглянув туда, не разобрали бы, что там происходит. Всякая тень, под каждым деревом, под каждым кустом, кажется домом. От влюбленных, безмолвно взявшихся за руки или обнявшихся, от жарко целующихся парней и девушек так и мельтешит в глазах. Лунный свет, соучастник темноты, аромат листвы, трав и цветов, даже такая не свойственная городам вещь, как неожиданно раздающееся где-то под самыми ногами кваканье лягушки, словно в ауле, — все это возбуждает переступившего границу сквера и втягивает в общую атмосферу. Подобные, пронизанные волшебством страсти, уголки обманчивы и коварны — наверное, немало девушек, неосторожно пришедших сюда в это вечернее время, позволило себе слишком много с нелюбимыми, опытными парнями.

Ну, а сейчас стояла зима, а не лето. Кругом было пусто, и лишь из церкви, опираясь на палки, с трудом переступая ногами, выходили поодиночке седые старики и старухи, одетые в простую, темную одежду. Через некоторое время во всем занесенном слежавшимся, почернелым снегом, замусоренном сквере, с торчащими по краям его длинностволыми, растопырившими ветки мертвыми деревьями, утыканном там-сям жалкими, сиротливыми, голыми кустами, остались только мы с Алией. Все вокруг было уныло, словно мы пришли на становище откочевавшего аула. Казавшийся летом запущенным, громадным, непроходимым, сквер занимал, оказывается, совсем немного места — под руку с Алией за самое короткое время мы обошли его раза два, а то и три. Наконец мы остановились под раскоряченным, как-то странно вывернутым, криво выросшим дубом, вся кора которого была в ранах и зазубринах. Мне казалось, Алия нутром догадывалась, что у меня на душе: по движениям ее рук, ее походке, по тем редким словам, которыми она поддерживала наш бессодержательный, бессмысленный разговор, я улавливал, что она волнуется.

Все это было хорошим предзнаменованием, но сразу вот так выложить то, главное, мнилось мне

не очень правильным, и потому я начал издалека, приближаясь к означенной для себя меже с превеликой предосторожностью и аккуратностью. Я сказал ей, что место, где мы сейчас с ней находимся, летом полно обнимающихся парней и девушек. Мол, как писал великий Абай, «мир без любви пуст». Но любовь, однако, есть и обманчивая, короткая, а есть и постоянная, вечная. И людей, в груди которых поселилось вот это настоящее, святое чувство, следует ценить. Потому что любить, страдать умеет не каждый второй. Человек же, которому дарован талант любить, за всю свою жизнь, короткую или длинную — все равно, любит лишь раз, любит всей душой, отдавшись этому чувству целиком, забыв обо всем другом в мире. И если вдруг кто-то проникается к нам такой страстью, мы не должны сразу отвергать его. Любовь — это ведь, как горное озеро, таинственное, загадочное чувство. Возможно, где-то на самом дне нашей души лежит предназначенное именно для этого человека, но не созревшее еще, не понятое нами самими н е ч т о, что обязательно в будущем выльется в большую любовь, то есть… лежат, возможно, зерна этакого…

И довольно долго я говорил в таком роде. И, разгорячившись, впал даже в какое-то вдохновение.

Бог мне в помощь, кажется, я зажег и Алию — грудь ее то поднималась, то опускалась, дыхание было стесненным, и, опустив глаза, она молчала.

Наконец подготовка к основным действиям — «артподготовка» — была закончена, и я перешел в окончательное наступление.

— Правда, Алия, — сказал я, — вам, кажется, больше нравится другой. У меня, конечно, нет никакого морального права требовать от вас, чтобы вы, следуя моим словам, ушли от него. Но под солнцем и под луной есть только одно-единственное сердце, которое любит вас по-настоящему. Ради вас оно вынесло немало мучений. Подумайте… Неужели вы не можете пожалеть? Неужели это сердце и в самом деле не достойно вашей любви?

Видимо, только теперь она по-настоящему поняла состояние бедного Кошима. Мои слова, кажется, растопили ей душу, расслабили ее, она вся жалась ко мне и, когда я, наконец замолчав, перевел дух, положила голову мне на грудь и молча замерла.

— Я тоже… — сказала она потом дрожащим голосом. — Салкен, я тоже… — Плечи у нее затряслись, словно она рыдала. Или словно смеялась. — Я тоже… люблю вас!

О обманчивый мир!

Если бы на моем месте были вы, что бы вы сделали? Ну да не все ли равно... Исправлять ошибку было уже слишком поздно. На том дело несчастного Кошима и закончилось.

Ну, а я, явившийся в качестве добровольного посланника любви? Я испугался полузакрытых больших карих глаз, полных страсти, — смоченная не то слюной, не то слезами, потекла с приклеенных ресниц краска и застыла на самых кончиках черными каплями, — испугался ее вывернутых губ, напоминавших мне в этот момент толстое рыло слона в зоопарке, готовое ухватить и пряник, и калач — все, что бросят ему ребятишки, этих еще более прежнего вздернувшихся губ, тянувшихся ко мне с ожиданием, и, выскользнув из обвивших меня за шею рук полнобедрой коренастой девушки, я покинул поле боя. Кто-нибудь другой, с более крепкими нервами и более умудренный жизнью, может быть, и сумел бы вывернуться, что-нибудь и придумал бы, но у меня не хватило сил даже на то, чтобы прийти в себя.

Ту ночь я провел без сна. Я думал о жизни, сталкивающей тебя с такими неожиданными, непостижимыми явлениями, бросающей то в холод, то в тепло, полной и сладостного, и горест-

ного, и возвышенного, и низменного… Я думал о человеке, существе, поднявшемся на высшую ступень развития, обладающем осознанием своего бытия, сочетающем в себе и хорошее, и дурное, и бренное, и святое… Но все же то было еще время молодой душевной сумятицы, и я еще не мог в своих размышлениях уйти далеко от предмета своего недуга под названием «любовь», о которой так много читал в книгах, так много слышал от людей и которую вроде бы не раз испытал сам…

Не помню кто, один прославленный писатель, сказал, что человек, с детских лет и до глубокой старости, до тех самых пор, пока не сойдет в объятия могилы, под воздействием тех или иных событий постоянно меняется и внутренне обновляется. Я тоже в ту бессонную ночь претерпел одну из таких многих линек на отпущенном мне жизненном пути и, хотя чисто внешне казался абсолютно прежним, внутренне, я чувствовал, превратился совсем в другого человека. К добру ли это, к беде ли — я тогда об этом не думал.

К Кульмире я больше не ходил. Возможно, узнав от Алии о моей рыцарской исповеди, она просто назвала меня предателем, возможно, долго не медля, оборотила к себе парня своей лучшей подруги, с которой вместе росла и провела

полжизни, — Сакена, не знаю. Ни ее, ни робкого сердцем Кошима, ни туготелую, широкобедрую Алию — никого я больше не видел. На узкой тропинке своей судьбы в дремучем лесу ежедневных сует ты сталкиваешься со многими людьми. Сколькие из них оставляют след в твоей душе! Один след ты долго ощущаешь в себе, другой нет. Но уж раз прошло, скрылось из глаз, рано или поздно все превращается а привидевшийся сон. Все забываешь. Таков закон великой жизни, все надежды и все опасности которой всегда связаны с днем грядущим.

6

И вот воскресший из каких-то темных закоулков моей памяти Кошим стоит сейчас передо мной, опершись о теплую, выкрашенную светлой краской батарею. Нос у него вздернут пуще прежнего, скулы выступают еще больше, и все лицо, задубелое от работы на холоде, в пятнах. На висках преждевременная седина. От бывшего Кошима в нем ничего нет. Но в его облике, в его лице, поведении я не нахожу ни следа огорчения или хотя бы обиды. Серые глаза его поблескивают. Когда он смеется, рот его, кажется, вырастает

в размерах — уголки губ едва-едва не достают до ушей. Я спросил у него имя, и он, видимо, счел необходимым дать краткую справку о себе.

— Сначала я на заводе работал, — сказал он, прицокивая языком и качая головой. — Но по состоянию здоровья... — он чуть помедлил, прокашлялся, — сложились, в общем, обстоятельства, и я ушел. Теперь я дворник. В двух местах работаю. Слава богу, ничего зарабатываю.

— В прошлом году, что ли, — сказал я, — в одной центральной газете я очень даже приличный рассказ прочитал. Молодой парень написал, тоже вот, как вы, дворником работает.

— Как его зовут-то?

— Не помню. Не то Суворов, не то Нахимов, знаменитая, в общем, какая-то военная фамилия. Помню только: тоже дворник, как вы.

— Тоже, как видно, делать нечего, — усмехнулся Кошим. — Или пусть пишет себе, или работает, как люди.

Это бес подтолкнул меня — опять мы свернули на опасный путь, и я срочно переменил тему разговора.

— Где-нибудь в этих краях живете?

— Да нет, — сказал Кошим. — Родственники моей жены живут. Теща прихворнула что-то,

решил попроведать… Сам я в микрорайоне живу. В прошлом году квартиру получил. Трехкомнатную. Сверкает вся. Самое, конечно, большое удовольствие — этим щенкам. Я про детишек своих. Старший во второй класс ходит. Остальные в саду-яслях. Рядом с домом. Жена моя нянькой там. Работает и за своими детьми одновременно присматривает. — Кошим снова засмеялся, беззвучно и широко раскрывая рот. — Вот уж что называется работка!..

— Так ведь это чудесно, — сказал я.

— Живем — во! — провел он ребром ладони по горлу.

— Конечно, коль вы вдвоем зарабатываете!

В сторону центра, не задерживаясь на остановке, длинной вереницей, впритык друг к другу, прошли четыре красных вагона. Два сцепленных вместе трамвая.

— Один, видно, поломался, — сказал я. — Еле тащатся.

— Колеса целы — как-нибудь до парка доберутся, — сказал Кошим. — О господи! — воскликнул он тут же. — Говорят же: бабы болтают — теленок всю мать высосет. Про это-то дело мы и забыли совсем… О, одна сторона запотела, согрелась, видно. Взболтнем. Ну вот!

— Ваш черед, — сказал я. — Пейте. Я после вас.

Минут через десять, обнявшись, мы с Кошимом распрощались. Так он и ушел, не узнав меня. И я решил, оно даже и к лучшему.

А если бы я встретился с ним на следующий день после того, как пытался исполнить добровольно взятую на себя роль ангела любви, я бы с ним по-другому поговорил.

Форм существования много на земле, но сознательная жизнь дается лишь человеку, да и то, в сравнении с вечностью, на краткий лишь миг; высокого происхождения жизнь — священная вещь, и ей не требуется ложных забав и увлечений на ее бренном пути и приношения себя в жертву во имя всяких сомнительных «высоких чувств». Так бы я сказал и еще много чего мог бы сказать. Но между тем днем и нынешним пролегло уже двенадцать лет. Вчерашние слова не годятся для времени настоящего. Что толку бередить затянувшуюся рану?

С тем я и ушел.

Среди нас четверых, участников небольшой драмы, разыгравшейся в те далекие уже годы нашей юности, наиболее достойным счастья был этот Кошим. И я был рад, что он его наконец нашел.

1971

Перевод А. Курчаткина.

СТРОПТИВАЯ

Когда Батиш, взяв с собой своего шестидесятилетнего отца, который по-русски, кроме «издрасти», не знал больше ни одного слова да и по-казахски-то был не очень грамотен, поехала в Семипалатинск поступать в институт и, не прошло даже двух недель, вернулась домой, провалившись на экзаменах, одни в ауле протянули: «Э-ээ!», другие: «И-ии…», а третьи: «А-аа!!». «Э-ээ!», произнесенное с восклицанием, означало: вон наша Еркежан сплошь на четверки и пятерки училась, и то не поступила, а этой-то девице, которая школу с одними тройками окончила, ей-то чего было тревожить старые кости Ирсая, заставлять его ехать черт-те куда, пойти на такие расходы, по первому же предмету «гуся» схватила, — так ей и надо. «Э-ээ!» — говорили солидные женщины в возрасте от тридцати до сорока пяти. «И-ии…», произнесенное с многоточием, означало: о-хо-хо, с этой растреклятой учебой год от году все неладней, эти люди в городе, что «егзем»[68] принимают, сами, видно, ничего не сообража-

---

[68] Примечания: 68
Искаженное «экзамены».

ют, — вон сын горлодера-то, бывшего бухгалтера Сатыпалды, забияка Еркебай поступил, сказывают, учиться на учителя, а тут единственную дочь Ирсекема-аксакала, которой бог его на старости лет только и одарил, не пустили к науке, ох, бедняжка, как же так делается-то... «И-и...» — говорили сердобольные старухи возрастом от пятидесяти и выше. «А-аа!!» — с двумя восклицательными знаками звучало грозно и значительно и, в основном, было произнесено устами парней от семнадцати до двадцати лет; в этом восклицании заключался большой смысл, оно было чревато далеко идущими последствиями. Хотя, если выразить словами, прозвучало бы очень коротко: «Ура, какое счастье!» Так восклицалось не из злорадства, не потому, что парни относились к Батиш с неприязнью. Они восклицали так от радости. И радовались они не тому, что Батиш не поступила учиться, а тому, что вернулась в аул. В конце концов, джигиты этого аула вовсе не были против учения. Они были против того, чтобы девушки, которые ходили с ними вместе в школу, которые выросли и созрели у них на глазах, уехав учиться, выскакивали бы там, не успев даже закончить институт или техникум, замуж за совершенно чужих джигитов и уезжали бог знает

куда. Иначе говоря, подтекст этого «А-а!!», равнозначного восклицанию «Ура, какое счастье!», был буквально нашпигован сотнями слов, таких, как «айналайм — моя милая», «ардагым — моя высокочтимая», «асылым — моя драгоценная», «арманым — моя мечта», настолько же отличных по значению, насколько они разнились в произношении. Потому что девушек в этом ауле было много, но Батиш была одна. Соответственно числу девушек много было и джигитов, но все джигиты были влюблены только в Батиш.

Спустя три-четыре дня все восклицания мало-помалу сошли на нет, и даже бодро звучавшее поначалу «А-а!», обратившись в нечто вроде легкого вздоха, тоже угасло. Зато по аулу поползли всевозможные толки и слухи: дескать, Батиш с кем-то сговорена, кому-то она дала слово и так далее.

На самом же деле никакого сговора у Батиш ни с кем не было, и никому она слова не давала. Просто в тот самый день, когда она вернулась из города, дом ее, уже под самый вечер, посетили два джигита. Одному захотелось узнать о последних новостях в Семипалатинске, который он и в глаза-то не видел, второй пожелал узнать что-либо о своем младшем брате, уехавшем поступать в

Алма-Ату. Эти-то визиты, видимо, и послужили причиной для судов-пересудов.

Но болтливые тетушки крепко просчитались со своими догадками. Эти два визита были лишь началом. Не успела пройти и неделя, а в аул Байкошкар, являвшийся центром отделения, наведались все, у кого только была возможность, машиной ли, верхом ли, добраться, живущие окрест джигиты, питавшие какую-либо надежду на Батиш, — все они почли своим долгом поприветствовать Ирсая-аксакала, совершившего такую далекую поездку.

Но и на этом дело не кончилось. Те, что наведались раз, наведались во второй, те, что успели два раза, наведались в третий. У того трактор сломался — потребовались запчасти. У другого инвентарь обветшал — ему нужны новые вилы, грабли, лопаты. У третьих деньги кончились — хотят аванс попросить. Автолавка больше уж месяца не показывалась — так вот за чаем да сахаром пришлось приехать…

Словом, причина для приезда в центр отделения всегда найдется. Ну, а вот повод, чтобы зайти в дом к Ирсаю-аксакалу, отыщется не всегда. Поэтому-то, так и не найдя никакой возможности встретить ее, перекинуться хоть словечком, и

возвращаются джигиты к себе грустные — лишь издали полюбовавшись Батиш, лишь увидев ее силуэт, мелькнувший в окне.

Но страдания джигитов продолжались недолго. Батиш устроилась на работу в местное почтовое отделение. Бог знает когда она выучилась этому; в общем, с утра до позднего вечера, нацепив на уши такие круглые черные штуки, щелкала какими-то тумблерами, туда и сюда, к себе и от себя, и все повторяла: «Але! Але! Как слышите?!» А между этими делами принимала письма, телеграммы, всякие отчеты и сводки отделения для пересылки в правление, распределяла газеты и журналы. Короче, все успевала делать одна.

С того дня, как появилась Батиш, работа почты заметно оживилась.

Раньше мало кто заглядывал в этот сложенный из кирпича-сырца, с плоской крышей, с маленькими, похожими на конуру сенями однокомнатный домишко на окраине аула. Связь аула с внешним миром осуществлялась, с одной стороны, через почтальона — прежнего почтового работника, который в обеденную пору самолично разносил по адресам письма и телеграммы, газеты и журналы, а с другой стороны, через голубой почтовый ящик, прибитый к стене клу-

ба — небольшого строеньица с высокой крышей, дверь которого всегда была на замке. Но Батиш с первого же дня отказалась разносить почту по аулу. Она и без того исполняла работу двух-трех человек, а на место почтальона, оказывается, требовался специальный штатный работник. На следующее утро после ее появления на почте исчез и голубой ящик с клуба. Ночью кто-то выломал его из стены, обвалив громадный кусок штукатурки и вывернув два кирпича. Зато на светлом столбике перед почтовым отделением появился новый ящик. Некоторые ясновидящие кумушки утверждали, что все это один ящик и что на новое место перенесла его не Батиш, а младший брат учителя вместе с братом жены начальника отделения. Ну да если вещь обрела наконец свое место, что ж в этом плохого, что ее перенесли? Одним словом, не прошло недели-другой, как Батиш появилась на почте, а все внимание аула сосредоточилось на ее заведении.

Раньше в ауле знали только один конверт для письма — с четырехкопеечной маркой. А оказывается, этого добра существует полным-полно — всяких видов. Семикопеечные, десятикопеечные, двенадцатикопеечные; заказные, авиа, ценные,

с уведомлением… И если одни полагали, что все это — результат выдумки Батиш, молодая все-таки, школу закончила: что ей не выдумать, то другие считали это проделкой джигитов, которые перестали доверять свою корреспонденцию почтовому ящику на улице и отдавали ее только в руки самой Батиш. Разумеется, последнее утверждали всякие завистливые, недобрые люди.

На то, кто зашел в почтовое отделение, кто ушел, Батиш никогда не обращала внимания. Вот, скажем, Быкен (или Бекен, или Бокен), только вчера закончивший вместе с ней школу, а сейчас работающий на пастбище помощником чабана где-нибудь километрах в пятнадцати, двадцати, двадцати пяти отсюда, специально отпросился на полдня и на взмыленном коне подъехал к дверям почты.

— Здравствуй, Батиш! — говорит он, входя.

— Здравствуйте, — едва шевелит губами Батиш.

— Мне нет писем?

— Ваша фамилия?

Быкен от души хохочет, принимая все это за шутку; Бекен хлопает ресницами, а Бокен так и вспыхивает от ярости.

— Имя, отчество, фамилия? — невозмутимо

переспрашивает Батиш.

— Имя[69] в табуне, — отвечает Быкен, все еще смеясь.

— Я же Бекен, Бекен, — хлопавший ресницами Бекен теперь уже таращит на нее глаза в полном недоумении.

— Ты что, с неба свалилась? — вконец вспыливает Бокен.

На все на это ответ у нее всегда один:

— Вас много, а я одна. Что я, думаете, все фамилии в голове держу?

— А-а… а? — переспросит, тут же перестав смеяться, Быкен.

— Вы… Батиш, я же этот… — бормочет Бекен, начисто забыв в этот момент и свое имя, и свою фамилию.

— М-мм!.. — тянет налившийся яростью Бокен, у которого и слов не осталось, чтобы выразить свои чувства.

— Если у вас нет никаких дел, то, пожалуйста, не мешайте работать! — Батиш поворачивается спиной, садится к телефонному аппарату, надевает эти самые круглые черные… ну, наушники то есть, скрепленные между собой пружинистой

---

[69] Примечания: 69

Игра слов «ат» — имя и «ат» — лошадь.

железной дугой, чем-то щелкает и с шумом начинает крутить ручку аппарата.

— Але! Але! Огизтау! Я Байкошкар! Я Байкошкар! Огизтау, слышите меня? Прием!..

И добродушный Быкен, и простодушный Бекен, и вспыльчивый Бокен, не сумев противостоять Батиш, вынуждены теперь, нетерпеливо переминаясь на месте, ждать, когда она вновь обернется к ним. Ничего другого не остается, как снести это унижение, склонить голову перед заносчивой девчонкой.

— Батиш, милая, — говорит Быкен, — если бы вы взяли вот это письмо…

— Батеке, — говорит Бекен, — вот это… вот… если бы вы…

— Товарищ связная, — говорит Бокен. — Вы бы приняли у меня письмо.

— Почтовый ящик на улице, — отвечает Батиш. — Але! Але! Огизтау!..

— Заказное письмо, — говорит Быкен.

— Как же… надо ведь же… — говорит Бекен.

— Очень важная кор-респондент-сия! — ломая язык, говорит Бокен.

— Сейчас, погодите… — отвечает Батиш. — Але! Але! Я Байкошкар! Огизтау, почему не отвечаете?

Сколько еще томиться джигиту, зависит от того, когда ответит этот самый Огизтау. Но результат ожидания всегда один. Батиш принимает письмо, громко простукивает на нем в двух-трех местах штемпелем, словно вымещая на нем злость, а затем протягивает джигиту крохотный язычок квитанции.

— Семь копеек.

— Двенадцать копеек.

— Пятнадцать копеек…

— Семь копеек… Всего семь копеек? — говорит Быкен, только-только начинающий приходить в себя. — Пожалуйста. Чистая медь, без всякой примеси.

— Спасибо, — говорит Бекен и, забыв заплатить, идет к двери. — А-а!.. — вспоминает он после того, как Батиш окликает его по имени. — Да-а… Я так… так… вот, пожалуйста. Спасибо…

— У меня обычно крупные деньги, — говорит Бокен. — Нате. Рубль! О, черт побери, да как я его разменяю… Кто мне разменяет! Вот чертова девчонка…

И всем приходилось мириться с таким положением вещей.

Кое-кого Батиш поначалу и отпугнула, но в конце концов все свыклись с ее характером и вновь,

используя любой повод, стали заворачивать на почту. Некоторые мало-помалу добились того, что им стало позволяться и шутку отпустить. А иные храбрецы отваживались, говорят, даже на то, чтобы пригласить ее прогуляться после того, как сядет солнце, за аулом. Только ничего из всего этого не выходило. Прикусит свою чуть припухлую нижнюю губу, сведет прекрасные, словно только что народившийся месяц, круглые брови и сидит с суровым видом. Всегда суровая, во всех случаях, все ей одно, кто перед нею: женщина ли, мужчина ли, дряхлый старик или молодой парень, застенчивый красавец или самонадеянный нахал. Вопросы — односложные, ответы — краткие. И это тоже возвышало, приподнимало Батиш над всеми остальными девушками. Имевшие к ней влечение прониклись страстью, а те, кто пылал страстью, и вовсе потеряли головы. Но все были бессильны. Сколько раз в неделю можно приезжать в центр? Сколько заказных писем можно отправлять в каждый приезд? Раз приедешь, самое большее — одно отправишь. Допустим, приехал два раза и отправил два письма. Ну ладно, пусть три раза — три письма. И на каждое письмо получишь всего пять слов:

— Здравствуйте!

— Десять копеек.

— Будьте здоровы!

Все.

И Быкен, и Бекен, и Бокен слышат только это. Да кто же такое может выдержать? Но, с другой-то стороны, кричать, что ли, будешь, о помощи кого-то просить? Или драться с кем-то полезешь?..

Наступила осень, люди перебрались в зимние жилища, и джигиты придумали новый способ видеться с Батиш. Имя этому способу было — день рождения. Первым свое семнадцатилетие отпраздновал, пригласив на той всех своих бывших одноклассников, всех ровесников, друзей и знакомых, добродушный Быкен. Затем отметил свое совершеннолетие простодушный Бекен. Вспыльчивый Бокен тоже решил подвести черту под своими девятнадцатью годами не в одиночестве. После этого настала очередь и других. Те, что родились летом, перенесли дни своего рождения на зиму, а те, что весной, предпочли осень.

Сначала все опасались, что Батиш и порога этого дома, в котором устраивается празднество, не переступит. Тогда, разумеется, остальные дни рождения, настоящие и ненастоящие, были бы преданы забвению. Но — кто знает, как уж ему это удалось? — Быкен уговорил Батиш прийти

на свой день рождения. Она сказала, что его аул далеко и она не сможет приехать, — тогда он перенес празднование в ее аул. Ну, и после этого дни рождения пошли один за другим. И где бы, в каком ауле ни жил виновник торжества, а собирались в центре отделения. Батиш, согласившейся пойти на первые вечера, было уже трудно уклониться от остальных.

Сколько всевозможных дедовских игр, предназначенных для того, чтобы свести девушку с парнем, родилось заново на этих вечерах! Все было переиграно: и «Каков хан?», и «Бросание платка», и «Кольцо в руке», и «Пастух»... Наконец из всего этого множества постоянными сделались «Письма» и «Сосед-соседка».

Игра в письма может тянуться весь вечер одновременно с другими играми, и, когда играли в нее, все собравшиеся джигиты — и животноводы, и механизаторы, и рабочие — становились поэтами или уж, на худой конец, просто писателями. Другим девушкам писали ради приличия, коротко и небрежно, при обращении же к Батиш выказывали все свое искусство. Обычно письмо складывалось по такому примерно образцу:

«№ 1-му от № 13-го.

Любимая моя, моя белоликая, заболел я тобой, горю в огне, разожженном тобой, настанет ли день, когда увижу твое лицо обращенным ко мне?! И днем и ночью все мысли мои — лишь о тебе!

Б! Мои глаза устали следить за вами, вы не подаете мне никаких вестей (далее зачеркнуто слово «любимая»), почему так? Если я вам нравлюсь, как вы мне, если я вам по душе (следующее слово написано неразборчиво и густо зачеркнуто), если имеете ко мне расположение, то завтра вечером в восемь часов — или прямо вот сейчас после вечеринки — приходите к развалинам старой кузницы за аулом (или же свидание назначается у овечьего загона). Жду, жду, жду! Приходи, приходи, приходи!

Ваш ровесник Б. (или С., или Д.)»

Все письма Батиш принимала с благосклонной улыбкой, все прочитывала, но никому не отвечала. После вечеринки или назавтра в восемь часов вечера у развалин старой кузницы за аулом (или у загона овец) сталкивались двое-трое джигитов. Делая вид, что выискивают какую-то

железяку в куче металлического хлама или ищут запропастившуюся телку, они некоторое время крутились у места назначенного свидания и, убедившись в конце концов, что Батиш не придет, расходились.

«Сосед-соседка» — эта игра поинтереснее «Писем». Тут уж не надо ждать конца вечеринки или завтрашнего дня, тут можно попытать счастья на месте.

Участники игры, то есть вся мужская половина их, лезут из кожи вон, чтобы оказаться соседом Батиш. Но ведь рядом-то всем не сесть. Соседом может быть только один. Вот и сваливаются на голову бедняги все радости этого соседства и все страдания.

— Ой-ей, не уживаюсь с соседкой! Прошу соседку Секена, — говорит Быкен.

— Я… в ссоре я… Мне бы Батиш… эту… этого Секена… это… соседку надо, — мямлит Бекен.

— Требую соседку Секена! — заявляет Бокен.

Секен возражает:

— Не могу отдать соседку.

— Не хочет расставаться с соседкой! — объявляет водящий. — Какое ему за то наказание?

— Пусть заревет быком, — говорит Быкен, улыбаясь до ушей. И довольно ерзает на стуле,

оглядываясь по сторонам.

— Пусть петухом… нет, простите… этой, как ее… курицей закудахчет, — краснея и весь вспотев, выговаривает Бекен. И, еще больше съежившись, опускает глаза в пол.

— Три куплета песни, три удара ремня, — холодно бросает Бокен. Недовольно скашивает глаза на висячую, из пиалы, лампу под потолком, которая уже начинает коптить, и еще больше выпячивает грудь.

Несчастному Секену приходится и быком реветь, и курицей кудахтать, и срывающимся, хриплым голосом исполнить три куплета песни, и подставить ладонь под жгучие удары толстого кожаного ремня. Претерпя столько испытаний на пути любви, стойко перенеся все муки, Секен горделиво смотрит на свою соседку. Та, кажется, довольна. Секен мысленно благодарит судьбу и за то, что подняли его на смех, и за то, что побили. Но тут уже подходит и его черед отвечать, в мире ли он со своей соседкой.

— Я, — говорит он, — с соседкой своей в мире.

— Докажи, что в мире, — требует водящий.

Значит, надо или обнять девушку, или коснуться ее щеки своей щекой. А поцелуешь — совсем хорошо.

Но какое там — обнять или коснуться! Батиш, которая до сих пор сидела совершенно спокойно, теперь прямо под потолок взвивается, не подпускает к себе.

— Не смог доказать, что ты в мире. Протягивай ладонь, — говорит справедливый водящий.

И снова три удара ремня. Безжалостно бьет водящий. С размаху бьет. Прямо весь дух из тебя вышибает.

На следующем кругу выпадает отвечать и самой Батиш.

— Я, — говорит она, — в ссоре. Мне нужен сосед Сакып.

Вот тебе и благодарность, вот тебе и награда за все насмешки, за все побои, — предают тебя, ничего не приняв во внимание…

Теперь уже Быкену доводится испытать счастливое унижение. Затем — Бекену. Потом — Бокену…

Как-то вспыльчивый Бокен, когда его попросили подтвердить мир с соседкой, взял да и поцеловал Батиш насильно. Условиям игры это противоречило. Прильнувшие к ней против ее воли губы будто выпили из девушки всю кровь, и побледневшая Батиш, как только высвободилась, ударила джигита по щеке. Такое правилами

игры тоже не предусматривалось. Бокен хотел было тут же расквитаться с девушкой, но руку его перехватил Секен. Джигиты разделились на две группы, девушки на три; едва не завершившись дракой, вечеринка в конце концов расстроилась окончательно.

После этого случая празднование дней рождений прекратилось. Джигиты тоже поубавили свою прыть. Стоит кому-нибудь заговорить о Батиш, простодушный Бекен краснеет и начинает ковыряться рукояткой плети в земле. Видно, крепко защемило у него сердце; говорят, завидит Батиш где-нибудь впереди — и еще издали переходит на другую сторону улицы. Вспыльчивый Бокен, только при нем упомянут имя Батиш, молча скрипит зубами. На следующий день после того скандального вечера он, говорят, напился до чертиков, смешав белое с красным, и со слезами на глазах поклялся, что не пройдет и месяца, он, дескать, хоть и силком, а женится на этой девчонке. Так утверждали знающие люди. Добродушный же. Быкен не краснел, не ковырялся в земле рукояткой плети, не скрипел зубами и ни в чем не клялся, только, говорят, когда потребовалось высказаться, поцокал языком: «Ай, и строптивая! Самая что ни на есть дикая среди

строптивых. Уж я-то знаю, нет с ней сладу». И головой покачал.

Это оказалось правдой. В назначенный день и час была проведена операция по похищению девушки, но закончилась она полным провалом, и на вспыльчивого Бокена был повешен ярлык клятвопреступника. Но и Батиш, которую подкараулили в вечерних сумерках два джигита и поволокли к машине, а она все же, пинаясь и кусаясь, сумела продержаться до помощи, ободрав одному ногтями в кровь все лицо, а другому повыдергав все его волосы, тоже не поддержал никто. Напротив, ей пришлось разделить судьбу Бокена: хотя никто и не осмелился называть ее так в лицо, но за глаза Батиш окрестили так, как о ней сказал Быкен: строптивая.

Мало-помалу базар вокруг девушки стих, но число любопытных не уменьшилось. Затаившись, ждали, чем это все кончится.

Так и шел день за днем, наступила весна, скотина принесла приплод, а там наступило и лето, началась заготовка кормов. Джигиты, что имели виды на девушку, кто оседлал тихоню-гнедого и, гоня перед собой блеющих овец и ягнят да мемекающих коз, подался на пастбище, кто оседлал железного гнедого и пошел, глотая пыль, день-

деньской жарясь на солнце, косить сено. Всех заняла работа.

Но хотя и забирала работа джигитов вроде бы без остатка, а все мысли их были о Батиш. Ни один не терял еще на нее надежды. Ведь никто из них не получил от нее отрицательного ответа — дескать, не нравишься ты мне, не люблю тебя, не подходи ко мне, убирайся. Правда, никто не слышал от нее и ласкового слова. Потому что сколько ни встречались джигиты с нею в сутолоке бегущих будней, а переговорить с нею наедине не получалось. Все как-то не подворачивалось случая. И все, естественно, сожалели об этом — близок локоть, да не укусишь.

А потом прошло еще какое-то время, и люди снова стали оседать в своих зимних жилищах, и в предвкушении перемен все влюбленные сердца вновь возгорелись надеждой. Предстоящая зима, казалось, обещала какие-то перемены… в общем, все верили, что не миновать какого-либо значительного события.

И в самом деле, вскоре в ауле Батиш произошло даже не одно, а целых два больших события.

Первое из них джигиты встретили с настоящим ликованием: в центр отделения прибыла постоянная киноустановка. Много возникло вокруг

нее всяких разговоров.

Вторым событием было открытие в ауле медпункта. Но из приятного оно вскоре превратилось для джигитов в неприятность. В такую неприятность, что все лишились покоя и даже радость от прибытия киноустановки тоже померкла. Предметом «медицинских» разговоров, которые в ауле велись обычно о болезнях и о больных, стал теперь приехавший фельдшер…

Ах да, в ауле произошло еще одно событие. Вернулся из тюрьмы пьяница, шофер Жартыбай, который лет пять тому назад в пьяном виде разбил жене голову и сломал сыну руку. И если одни говорили на его возвращение: «Жартыбай перестал пить, исправился», — то другие, наоборот, возражали: «Конченым человеком он вернулся, у него теперь кровь испортилась». Разговоры вокруг Жартыбая велись в основном в одном плане: сойдется он или не сойдется с женой, подавшей на него в свое время в суд. Самые уважаемые сородичи того и другого вмешались в это дело, но примирения не вышло. Оказывается, жена сказала: «Не две же у меня души, чтобы жить с ним». Ну, а Жартыбай заявил на это: «Любую молодуху щелчком отберу, баба — на дороге, дитя — на поясе». На том все разговоры вокруг

его возвращения, пустые, никому не нужные, и прекратились. Жартыбай, провозившись месяц, починил свою полуторку, которая все это время простояла в гараже и от которой ничего, кроме колес, не осталось, и начал развозить по зимовкам сено.

Кино показывали раз в неделю — по субботам. Иногда привозили новые картины, иногда старые. Случалось, что один фильм гоняли подряд три субботы. Но это никого не смущало, зал всегда набивался до отказа — и аульной молодежью, и приехавшей с ближних зимовок. Одни хотели просто кино посмотреть, другие — воспользоваться случаем, увидеть Батиш. Старались сесть рядом или хотя бы пристроиться где-то поблизости, чтобы перекинуться словечком, проводить потом, после кино, домой, поговорить наедине. Но — напрасные старания. Все оставалось по-прежнему.

И вдруг в один прекрасный день все увидели, как эта строптивая девушка, которая всех парней, пытавшихся заигрывать с ней, говоря фигурально — и кусала, и пинала, в зависимости от того, с какой стороны к ней подкатывались, которая и близко к себе никого не подпускала, на виду у всего зала, в самом центре маленького клуба

уселась плечом к плечу с джигитом-фельдшером, тем, что недавно прибыл в аул. Увидели — и едва не лишились разума. Не просто они сидели, а по-настоящему разговаривали! Джигит смел, но и девушка вроде бы не отталкивает его. И никто из них не стесняется, не обращает внимания, кто рядом, слышит их — старшие ли, младшие ли, ровесники ли…

Те, что решили: девушка все же своенравна и лишь из вежливости разговаривает с фельдшером — чужой все-таки человек, ошиблись. В тот коротенький перерыв, когда кончилась первая часть и пока киномеханик, погромыхивая кассетами, менял ленту, готовясь прокрутить следующую часть, наблюдавшие за Батиш сумели заметить, что разговор между ними, начавшийся еще до фильма, не только не прервался, но, наоборот, пошел, кажется, по обновленному руслу. Теперь в клубе шло поочередно как бы два фильма, и зрители готовы были смотреть тот, что шел в самом зале, сколько угодно раз: если первый фильм, на экране, состоял из девяти частей, — так девять раз, а если в нем окажется одиннадцать частей, — так и одиннадцать раз…

С тех пор так и повелось: Батиш появлялась в кино в сопровождении джигита-медика. После

кино он провожал Батиш до дому. Причем сразу они не расставались, долго стояли в пятне света, отбрасываемом из окна лампой старого Ирсая. Иногда, не останавливаясь у дома, уходили за аул. Что там происходило у них — не знал никто. Со стороны взгорья — густые заросли таволги, со стороны реки — обрыв.

А на следующий день после того, как джигит-медик впервые показался вместе с Батиш, все в ауле бог знает откуда уже доподлинно знали всю его биографию. Зовут Бейсен. Нынче только закончил медицинское училище. Двадцать лет. Отец с матерью умерли год или два тому назад. Сирота… То есть… то есть одинокий джигит.

«Самый тот, что нужен Ирсаю-аксакалу, у которого Батиш и за сына, и за дочь», — так оценили медика жалостливые старушки. «Ай, уж больно он ловок. Вон как легко вскружил голову бедной девушке. Увидите еще — этот хитрец потешится с Батиш да и бросит», — зачесали языками тетушки-пустомели. Ну, а парни… парни, те и раньше, в общем-то, сознавали, что девушка, знающая себе цену, всегда захочет выйти замуж за ученого человека, а Батиш — именно такая девушка, и они, конечно, не те джигиты, о которых она мечтает. Поэтому-то никто ничего и не мог ей

сказать. Добродушный Быкен давно уже перестал беспричинно улыбаться. Простодушный Бекен и вовсе сник. Лишь один вспыльчивый Бокен, которого люди давно списали со счетов и который сам бы уж должен был распроститься со всеми надеждами на Батиш, лишь этот коренастый, с огромными кулачищами Бокен проявил мужской характер. Пока я жив, заявил он, девушка не достанется какому-то там чужаку. Люди видели, как, выследив возвращавшихся из кино Бейсена с Батиш, он пошел за ними в сторону холмов. Видели — и испугались: как бы не случилось беды. Но никакой беды не случилось. Только на следующий день увидели Бокена с распухшими синяками под глазами и на лбу, да и сам он был какой-то притихший. Увидели — и поняли, что этот гибкий, как прутик, стройный юноша-медик не даст себя в обиду. Поняли и, приняв к сведению, не стали подвергать обсуждению происшедшее.

Бейсен и Батиш превратились в неразлучную пару. То, что в кино рядом сидят да по вечерам прогуливаются вдвоем, — это само собой. Но джигит и на почту по три раза на дню заглядывает. Газеты берет. Письма отправляет. Что за нескончаемые такие газеты? Что за письма, которые

никак не напишутся? Ладно бы заглянул — да и вышел. Так нет, как будто ночи мало, день-деньской торчит возле нее. А еще, придумав повод: дескать, медикаменты нужны, два раза съездил в колхозный центр. Думаете, один поехал? Нет, вместе с Батиш. Так чего же теперь еще ждать?

Но тем не менее ничего там за всем этим не оказалось.

Прошло немного времени, и люди стали поговаривать, что между медиком и Батиш ничего нет. Все их разговоры, оказывается, сводились к астрономии — о Млечном Пути, созвездии Весов и Малой Медведицы, о Плеядах и других звездах. Неделей спустя стало известно, что иногда они спускаются и на землю. Джигит говорит о том, что все живое на земле подразделяется на людей и животных, а люди, в свою очередь, делятся на две группы, больных и здоровых, больные люди — это те, что подвержены какому-либо из множества всевозможных недугов, перечислял формы недугов и способы их лечения. Сам медик, оказывается, тоже болен. Сердце больное. С тех пор как приехал сюда, в аул, заболело. Ну, он-то медик, он, поди, знает, какое ему лекарство надобно для излечения, да вот вроде бы что-то не в порядке с этим снадобьем — то ли нет его здесь,

то ли очень дорогое оно, в общем, схоже оно с луной на небе — вроде близко, а не достанешь. И еще, как выяснилось, джигит посоветовал Батиш стать врачом.

Вот таковы, в общих чертах, были сведения, которые удалось собрать охочим до знания тетушкам через одного, как стало известно, слишком рано созревшего любопытного мальчишку, использованного ими в качестве «шпиона».

Слух этот, что Батиш, дескать, собирается поступать в медицинский институт и с медиком никаких серьезных отношений у нее нет, просто он начитанный, много знающий джигит, и она, консультируясь у него, лишь готовится к экзаменам, распространялся по аулу все шире. Точность этой версии не подвергалась никаким сомнениям. Когда парень приходил на почту, он становился у перегородки, доходившей ему до пояса, подобно другим, и униженно простаивал так часами. Девушка же, как и всегда, кроме своего обычного: «Але! Огизтау! Я — Байкошкар! Огизтау, вы слышите меня? Дайте ответ!» — ничего другого не говорила. И, как заметили все, ничего ей от врача во время этих его приходов не нужно было.

Но тем не менее отношения их продолжались.

Как и прежде, вместе ходили в кино. Сидели рядом. И вместе же уходили. Около дома теперь уже никогда не стояли. Или скрывались в густых, высоких, с человеческий рост зарослях таволги в степи за аулом, или же прятались под обрывистым берегом реки, где рос высокий, верблюда за ним не увидеть, серебристый тальник. Короче, находили местечко, защищенное от ветра, теплое и удобное. Назавтра… Назавтра они опять вроде бы были в ссоре! Людям, не знавшим, чем там они занимались ночью, и не понимавшим, о чем они думают днем, оставалось только теряться в догадках.

Так, в обычной суете и горячке, во всевозможных слухах и разговорах, прошло еще одно лето. По поведению Батиш не было заметно, что она собирается на какую-либо учебу. Да и замуж вроде бы не собиралась. Зато неожиданно для всех снялся с места ее отец, Ирсай-аксакал. Заявив, что больше не в состоянии ездить на коне, а сидеть в центре и глотать пыль ему осточертело, он велел вытащить из сарая и проветрить хранившуюся там несколько лет свою старенькую юрту, подправил кое-что, починил — привел все в порядок — и в тот же день съехал на пастбище. Батиш осталась в доме соседей.

Сплетни, давно уже бестолково метавшиеся по аулу в поисках твердой дороги, теперь, кажется, нашли ее. При отце-то уж не больно она робела, а теперь-то вот и разгуляется, заключили всезнающие тетушки. Одна видимость, что осталась у соседей, — жила она, как выяснилось, дома. И как вечер, так медик идет к ней. По сведениям подглядывавших в окно, девушка до того потеряла всякий стыд, что даже готовила к его приходу ужин. А парень читал ей какие-то книги. Рассказывал какие-то интересные истории. Батиш наша только и сидела раскрывши рот от удивления. Потом они начинали вовсю крутить патефон. И, обнявшись, танцевали — одни в пустом доме. Играли даже вроде бы в игры, такие, как: «Колтабыскак — найди руку» или «Ормек — пряжа». Какие там еще они затевали игры, кто их знает, факт тот, что джигит уходил от девушки где-то в полночь за полночь, а то и еще позднее.

Видно, очень увлекли Батиш эти встречи, потому что за целый месяц, хотя и была такая возможность неоднократно, она еще ни разу не наведалась к родителям на пастбище. Но наконец в один из предвыходных дней, то ли опасаясь сплетен, то ли и в самом деле соскучилась по отцу-матери, она села в машину Жартыбая,

что-то повезшего чабанам, и укатила в ней. На глазах у всего аула Бейсен сам подсадил Батиш, поддерживая ее под мышки, в крохотную, точно спичечный коробок, тесную кабину полуторки. И в ту же минуту весь аул заключил, что девушка едет к родителям просить у них разрешения на замужество.

Батиш пробыла у родителей дня три-четыре и на работу вышла с опозданием. Выглядела она грустной. Видимо, отец предложил ей подождать с замужеством. Но свежий ветер пастбищ живителен для души, и она стала еще красивее, лицо ее так и сияло светом, небольшие черные глаза ее, всегда глядевшие собеседнику прямо в лицо, зажглись огнем. Упругие ее губы, сводившие с ума всех аульных джигитов, стали еще алее. Волнистые черные волосы, прежде густо обрамлявшие лицо с висков, теперь, словно кто их откинул назад, свободно рассыпались, полностью открыв лоб, ставший от этого еще выпуклее и прекраснее. Маленький нос ее сделался словно бы тоньше, черты лица как бы вдруг приобрели свою завершенность. И во всем ее облике, в походке, движениях появилась та покойная мягкость, которая приходит к человеку, живущему на просторах пастбищ, пьющего их живительную воду,

с теплыми летними днями.

Не прошло и двух-трех дней, Батиш снова отправилась к родителям. На этот раз она не задержалась у них. Но в следующее воскресенье съездила к ним опять. И садилась при этом лишь в машину Жартыбая. Словно это ее личный шофер. А Жартыбаю что — отвозит, привозит обратно. Только уж больно он невоспитанный человек, грубо разговаривает со своей младшей сестренкой Батиш. В субботу, где-то к обеду, расплескивая колесами пыль, подлетает к почте, резко тормозит и раза три нажимает на клаксон: бип, бип, би-би-би-ип! Батиш, которую с места не всякий и начальник поднимет, тут же выбегает на улицу, забыв и про «Байкошкар», и про «Огизтау».

— Эй, на пастбище поедешь, строптивая девчонка? — кричит Жартыбай, не сказав ни слова приветствия, словно это не чудо, что Батиш так спешно выскочила на его оклик. Не то шутит так, не то насмехается, не то заигрывает, не то поддразнивает — непонятно. Но как бы то там ни было — не очень-то это красиво.

Батиш делается вся пунцовая. Видно, хочет что-то сказать. Но как укротишь такого — не мальчик все-таки, а взрослый человек, за сорок

уже. К тому же у него вошло в привычку со всеми так разговаривать: и с председателем колхоза, и с заведующим фермой, и со старыми, и с малыми. Поэтому стоит она, моргая, даже подбородок у нее чуть подрагивает, и наконец говорит едва слышно:

— Да, поеду, — и головой легонько кивает.

— Тогда побыстрее давай, я спешу, — подводит черту Жартыбай. Извлекает из нагрудного кармана кусок сложенной сорок раз газеты, отрывает от него угол и, насыпав махорки, сворачивает самокрутку. Зажимает ее обветренными, влажными в уголках от слюны губами и, обхлопывая карманы, ищет спички. Чиркает по коробку, прикуривает. И начинает попыхивать, пуская дым изо рта и из носа.

— Эй, скоро ты там? — прищурившись, взглядывает он через некоторое время на Батиш, которая все еще стоит на: пороге.

Батиш вздрагивает и, повернувшись, тут же скрывается внутри. Торопясь, заканчивает все дела и усаживается рядом со спешащим Жартыбаем в его крохотную кабину с дырявым сиденьем и разбитым боковым стеклом. В следующее мгновение она уже подпрыгивает на этом сиденье в несущейся на полном газу в сторону пастбища

машине. Машина Жартыбая не обращает внимания ни на какие ухабы, и Батиш напоминает в эту минуту взъерошенного глупого вороненка.

Что и говорить, очень выгодно отличалась Батиш от других девушек — внимательна была к отцу с матерью, не забывала о них.

Да разве молодежь что понимает: как-то раз этот ее медик вдруг взял да и воспротивился тому, чтобы она ехала к родителям! Батиш не очень-то его послушалась, и он тогда решил поехать вместе с ней. Но этому уже воспротивился Жартыбай. «Там и без тебя и бараньих, и собачьих врачей полно!» — заявил он. После этого они и разодрались. Совершенно новый черный костюм джигита превратился в лохмотья. Но зато у Жартыбая живого места на лице не осталось. До чего же крепко кулаки у этого гибкого, как прутик, паренька, до чего длинны руки — так и обмолачивали Жартыбая: то по левой скуле, то по правой, то в подбородок, то в нос. Поначалу, когда бросился на медика, глаза у Жартыбая сверкали дикой яростью, а вскоре помутнели, мышцы словно ослабли — никак не может точно ударить, только и хватает парня за одежду. Те, что стали свидетелями этой сцены, говорили потом: «Не вмешайся люди, так или шоферу бы

конец пришел, или врач голым остался». Но все равно Жартыбай не посадил Бейсена в машину. Когда пришел в себя, смыл с лица кровь и посадил Батиш. Да и был таков. Однако взбесившийся дурак после того, как выехал из аула, все-таки раздумал, видно, ехать вместе с ней, к полночи вернулся с полпути, ссадил Батиш и отправился на пастбище один.

Несколько дней Батиш болела, ходила осунувшаяся. Ни с кем не общалась. И с Бейсеном встречалась редко. В это-то время и поползли по аулу слухи: Батиш-де у тех-то попросила соленого курту, а у тех-то выпила кружку ашымала[70]. Много же на свете сплетников, на всякий роток не накинешь платок. Да разве оттого, что человек ест соленый сыр, он становится плохим? А если кто пьет кислый ашымал — так совсем уже, значит, пропащий человек? Соленый курт едят все, начиная с младенцев, у которых только-только прорезались первые зубы, и кончая стариками, у которых зубов и вовсе нет. А это кислое молоко, ашымал, другие джигиты по три раза на дню потребляют. Что в том такого… экая беда!

Много всяких сплетен наплели. А только одно

[70] Примечания: 70

Ашымал — прохладительный напиток, изготовленный из кислого молока с пшеном.

было во всей грязи правдой: Батиш и Бейсен поссорились крепко. Причем поссорились с тем, чтобы больше не сойтись.

Говорили, что все испортила сама Батиш. Обвинила во всем случившемся одного парня. Не выдержала характера, наговорила обидчивому джигиту черт-те чего, жестоко ударив по его самолюбию. Сказала, говорят: это ты-де довел меня до всего этого. Последнее-то, пожалуй, и верно. Растоптал мое счастье, так сказала. Размазня. Позорник. Ну, эти-то вот слова и были лишними, ясное дело. Да к тому же, словно этого всего показалось ей мало, обозвала еще его атеш — петухом. Другие, правда, утверждали, что не «петух» она произнесла, а «атек — кастрат». Но вернее все же, видимо, первое. Как раз подходит: петух — существо не очень-то разумное, как говорится, распетушится да и лезет в драку со всяким. Короче, разговор их закончился тем, что она его прогнала и при этом сказала: «Проваливай, и чтоб больше ко мне близко не подходил!» И еще, говорят, сказала: «Кровь во мне закипает, когда вижу тебя. Если еще раз порог этого дома переступишь, возьму нож — и тебя прирежу и себя порешу». Это-то уж, конечно, добавили досужие языки. Но что она прогнала его — точно. Ну, а раз

девушка прогоняет, разве самолюбивый джигит снесет такое? Повернулся, говорят, и пошел. Только сказал напоследок: такого, дескать, я от тебя не ждал. Не могу я, мол, больше в этом ауле жить, видеть тебя в таком положении.

Слова его эти оказались правдой. На следующий день съездил в районный центр и вскоре, не особо задержавшись, перебрался в другой колхоз.

Ну, а девушка наша, так несправедливо обвинившая во всем только парня, прогнавшая его от себя, оставшаяся одна-одинешенька, сама с собой в пустом доме, сделалась вовсе дикаркой. Утром шла на почту. На устах у нее — один Байкошкар. Говорила лишь с Огизтау. Вечером шла домой. Не поужинав даже, гасила лампу и ложилась спать. Назавтра — то же. Никуда не выходила. Ни с кем не общалась. Только раза два-три в машине Жартыбая съездила еще к родителям. В последнюю поездку Батиш упросила отца с матерью перебраться обратно в аул.

Прошло еще месяца полтора, и стала оправдываться самая что ни на есть гнусная из всех дурных сплетен о Батиш, распространявшихся по аулу в последние два года. Батиш прибавила в бедрах, в талии, и походка ее день ото дня дела-

лась все тяжелее. Охочие до разговоров тетушки, и раньше-то не державшие на девушку никакого зла и судачившие о ней постольку, поскольку более интересной темы для болтовни у них не было, теперь стали и жалеть ее, дескать, что же делать, на все воля божья, а ведь сама невинность была — точно ангел, да вот попутал черт, приехал этот проходимец из города, околдовал, что ли, таинственные всякие зелья, поди, дал выпить — совратил, в общем, и бросил. Что же теперь с бедным Ирсай-аксакалом станет, когда он услышит такую ужасную новость, что теперь с самою-то с ней, бедняжкой, будет? Из холодных зрителей все теперь превратились в горячо сочувствующих. И когда в один из промозглых, серых осенних дней как с неба свалилась весть: скандалист Жартыбай въехал в дом к Ирсаю-аксакалу на правах зятя-щенка, никто в ауле по этому поводу не злословил. «Ой, несчастная, что же ей оставалось делать?» — только и сказали люди. Осыпали проклятиями медика, совратившего целомудренную девушку, и нашли много добрых, благородных качеств в характере Жартыбая, который до того оставил двух жен и два раза сидел в тюрьме.

Женская душа, говорят, потемки. Мы тут рас-

сказали, что слышали. Конечно, это рассказ со стороны, и поэтому в нем очень много всяких домыслов. Некоторые, например, утверждают, что парень-медик вообще ни при чем, что все с самого начала испортил этот башибузук Жартыбай. Мальчик, родившийся спустя четыре месяца после того, как Батиш вышла замуж, оказался как две капли воды похож на Жартыбая. Но все же подобное не очень-то поддается разумению. Ведь говорят же старые люди, что бывают такие случаи, когда дети одних просто совершенно случайно рождаются похожими на других. Нам бы хотелось верить именно в это.

1972

Перевод А. Курчаткина.

ПОСЛЕ АЛТЫБАКАНА[71]

Именно в этот вечер Косайдар почувствовал со всею отчетливостью, с каким уважением относятся к нему окружающие.

В общем-то, если подумать, так по-другому и быть не могло. Девушки и парни, собравшиеся у алтыбакана, в большинстве были здешние, из аула, студенты же в основном были семипалатинские, из областного города. Алма-атинских студентов оказалось всего четыре человека. Единственная среди них девушка — из педагогического, двое парней — из зооветеринарного. Ну, а он, Косайдар, — представитель самого значительного учебного заведения столицы, Политехнического института. И не первый, не второй — третий курс. Самый первосортный студент, со зрелым, сложившимся умом, понимающий, что есть жизнь. На своем веку он много видел всяких таких гуляний, прочих празднеств и увеселительных вечеров, научился безошибочно распознавать как податливых, что рано созревают и сами падают с ветки тебе в руки,

---

[71] Примечания: 71

Алтыбакан — сборные качели, сооруженные из шести шестов.

девушек, так и строптивых, изощренных в хитростях, на которых не так-то просто накинуть курук, — опытный, в общем, джигит, знающий, как с какой разговаривать, как понравиться той, к которой его влечет, знающий, как заставить соперника потесниться…

К тому же Косайдар приходился этому аулу жиеном[72]. И не обычным при этом, каким-нибудь там одним из многих жиенов, а прибывшим издалека — гостем. Человеком со стороны. Казахам же человек со стороны всегда представлялся более достойным почета и уважения, чем какой-нибудь свой, хорошо знакомый. Поэтому-то Косайдар и оказался в самом центре внимания.

Вечером он очень долго не мог уйти от бабушки. Раньше Косайдар знал ее лишь по рассказам матери и не очень-то горел желанием узнать лично, но, приехав сюда, невольно потянулся к ней, почувствовав родную кровь, и даже, пожалуй, полюбил ее, без конца, как маленького, целовавшую его, ласково проводившую ладонью по его щеке, с нежностью вбиравшую в себя его

[72] Примечания: 72

Жиен — племянник по материнской линии, вообще родственник по материнской линии; жиены пользовались уважением не только своих двоюродных братьев, дядьев и т. д., но и всего рода, аула и имели право на подарки, называемые «кырык серкеш — сорок козлов».

молодой запах. Нынче она кормила его сначала куырдаком, а потом заставила пить крепкий чай, заправленный сливками, сказав, что иначе будет болеть голова. После чая вдруг всполошилась, что поел он не очень плотно, скоро проголодается, и заставила съесть еще целых полблюда мяса. Затем, чтобы ему не захотелось пить, насильно напоила его кумысом. Взяла с него обещание, что будет осторожным и скоро вернется. Лишь когда все средства, чтобы задержать его, были исчерпаны, — лишь тогда бабушка отпустила Косайдара.

Когда наконец преодолевший столько препятствий Косайдар добрался до алтыбакана, веселье уже было в самом разгаре. Одни, окружив алтыбакан, пели песни, другие, образовав отдельную группу, шумно смеялись чему-то — все были радостны и возбуждены. Неподалеку резвилась мелкота, играя в какую-то свою игру. Впрочем, подразделять собравшихся здесь на взрослых и детей не имело, пожалуй, смысла: детьми были все. Каждый так и светился детской открытостью души.

Нескольких парней и девушек Косайдар знал, познакомившись с ними, когда его как гостя водили по домам, и они встретили его громкими возгласами: «О, Косайдар!», «Жиен из Каркара-

линска!», «Да нет, из самой Алма-Аты!». Один из них, Айдар, — джигит лет двадцати, с отложенным поверх пиджака воротником белой рубашки, в кирзовых сапогах с подвернутыми голенищами, — вышел даже на середину круга и, прокричав: «Нас теперь стало три Айдара[73], ура!» — заставил всех захлопать в ладоши. Парень и девушка, качавшиеся на алтыбакане, вынуждены были остановиться и теперь стояли одной ногой на качелях, другой на земле. Косайдара потащили в их сторону. Парню велели сойти, и запоздавшего почетного гостя усадили на его место. Косайдар пытался возражать, сказал, что он никогда прежде не видел алтыбакана даже в глаза, но на возражения его никто не обратил внимания. «Нет такого джигита, который бы не качался на алтыбакане. Нет такого джигита, который бы не садился на коня. И здесь, и в Каркаралы — земля одна, казахская!» — только и галдели кругом. Молча и как бы равнодушно сидевшей напротив него девушке, с длинными, переброшенными на грудь косами, наказали: «Спой старшему брату песню как следует».

А девушке, казалось, не было до него никакого

---

[73] Примечания: 73

Косайдар — буквально: два Айдара.

дела. Казалось, если бы даже качели не раскачивали с двух сторон, то она бы сидела так же безучастно. Но когда раскачивавшие отступили в сторону и сказали: «Ну, теперь сами…» — она вздрогнула, точно очнулась от забытья. Спустя несколько мгновений Косайдар обнаружил, что он взлетает под самое небо. Ему почудилось, что он сейчас ударится о перекладину, но он не ударился. Вместо этого его подняло еще выше, и он увидел группу парней с противоположной стороны алтыбакана, странно накренившихся, будто они валились на землю. В следующий миг он уже несся вниз. И теперь ему показалось, что он ударится об эту землю головой. Но он не ударился. Ноги его взлетели вверх, он невольно запрокинул лицо — над ним было небо с беспорядочно рассыпавшимися звездами. Потом небо со всеми своими звездами покатилось куда-то вниз, а земля, словно перевернувшись, всплыла наверх. Так повторилось три или четыре раза, и Косайдар почувствовал, что небо с землей начинают крутиться у него перед глазами, грудь теснит и сердце подкатывает к горлу. Раз, потеряв равновесие, он чуть даже не вывалился из качелей. «Откинься назад!» — крикнули ему откуда-то. «Песню! Песню!» — прокричал другой голос.

Только теперь до Косайдара дошла вся сложность его положения. Он вспомнил о незнакомой девушке напротив. С ними не было никого третьего, и это она так сильно раскачивала алтыбакан, резко откидываясь назад и упираясь рукой в шест. Он взглянул вниз и увидел, сколько там девушек — стоят и смотрят на них… Надо было напрячь все силы, прийти в себя, чтобы не стать потом объектом общих насмешек, и этой мелкоты, крутящейся возле алтыбакана, этих мальчишек и девчонок, тоже. Косайдар, как ему посоветовали, чуть откинулся назад и выпрямился. Алма-атинский парк отдыха, лодки тамошних качелей — он старался думать о вещах, не имеющих отношения к происходящему с ним сейчас. Но мысли прыгали, ни на чем не останавливаясь. Через некоторое время, однако, он заметил, что небо с землей вновь занимают положенные им места. И воздух перестал быть таким плотным, дышать стало легче. До слуха вдруг донесся, подобный слабому шелесту птичьих крыльев, то возникающий, то исчезающий звук. Это были, оказывается, длинные косы девушки! Когда она взлетала вверх, косы тянулись к нему, падающему в бездну, на кончиках они чуть распустились, и распушившиеся волосы трепетали на ветру.

Когда девушка летела вниз, косы, точно они испугались незнакомого джигита, прижимало ей к груди. В следующее мгновение они снова тянулись к Косайдару. Тянулись — и не дотягивались, уходили — и возвращались. Шелковый их звук был как зовущий к себе шепот. И, мешаясь с теплым травяным запахом ночи, обдавал его нежный их аромат.

«Эй, так когда же! Почему не поете?» — зашумели с земли. Сколько прошло времени, как они начали качаться, час или две-три минуты, Косайдар не понимал, но все это время, выходит, они прокачались впустую. Но как же петь, когда он, призвав на помощь всех духов, едва собрался с силами; это требование было для него невыполнимым — он рта не мог раскрыть. Однако молодежи внизу, видимо, не было до всего этого никакого дела. Перебивая друг друга, уже кричало разом сразу несколько голосов. «Косайдар! Покажи, что ты из песенного аула!» — кричали парни. «Хотим послушать прекрасный голос такого красивого джигита!» — кричали девушки.

Прибывший из песенного аула красивый джигит растерялся теперь по-настоящему. Отмалчиваться, конечно, было нельзя. Возможно, многие заметили, как он скрючивался недавно,

когда у него закружилась голова, пытаясь удержаться на качелях. Возможно, некоторые из них и сейчас посмеивались про себя: э, до сих пор еще не очухался! Косайдар прочистил горло, решив хотя бы для видимости спеть что-нибудь. Но так вот сразу никакой песни ему не вспоминалось. А снизу продолжали кричать.

Песня, которую все ждали, неожиданно зазвучала с другой стороны качелей — пела девушка, качавшаяся вместе с Косайдаром. «На вершине Каркаралы одиноко стоит арча[74], ах у этой девушки, что так скоро отвечает на письма, острый ум...» Косайдар удивленно замер. Не потому, что это была именно та песня, которую он силился вспомнить, не потому, что вышла она из уст девушки, только что обошедшейся с ним не то что неучтиво, но почти враждебно. Дело в том, что, хотя мелодия и была той же самой, звучала она совершенно непривычно из-за необычной манеры исполнения. Голос певицы был груб и казался почти неприятным для слуха. Сказать, что это женский голос, было нельзя — больно уж низок для женского, сказать, что мужской, — тоже невозможно: не хватало в нем мужской густоты.

---

[74] Примечания: 74

Арча — можжевельник.

Девушки и парни внизу, до того шумно галдевшие, тоже притихли, словно удивлялись вместе с Косайдаром этому низкому, точно кузнечными мехами рожденному голосу, так не подходящему юной девушке. Даже мелкота, с криками носившаяся вокруг алтыбакана, прекратила свои игры. «Ау, пролетела ты, молодость моя недолгая, отгулял я уже свое…» — пела девушка. И Косайдару вдруг понравился этот голос. Глухой, не заливчатый, но льющийся свободно и просторно. Теперь уже ему показалось, что только так и можно петь эту песню. Снизу девушку никто не поддержал — то ли боялись, что собьют ее, то ли просто всем захотелось послушать ее голос. Стояли неподвижно и молча, словно не хотели тревожить покоя длинных своих теней, изломанно лежавших на лужайке, залитой тихим светом низко еще стоящей луны. Лишь круглая, как тюбетейка, сопка, у подножия которой стоял алтыбакан, отзывалась эхом на песню девушки, лишь темное небо с ярко сияющими звездами, как бы дрожа, подпевало ей. Косайдар присмотрелся к обладательнице этого странного голоса повнимательнее. Лицо ее в падавшем прямо на него лунном свете казалось совершенно бескровным, иссиня-бледным. Глаза у нее были маленькие, рот же, пожалуй, несораз-

мерно большой. Но Косайдар нашел ее красивой.

То, что они уже не качаются, Косайдар понял только тогда, когда кончилась песня. Коль скоро и тот, кто раскачивал, и тот, кто просто качался, оба забыли про свои обязанности, то и алтыбакан, словно заслушавшись, медленно останавливался и теперь лишь тихо покачивался на месте. Ноги Косайдара коснулись земли, и он тут же поспешно вскочил и взял девушку за руку.

— Молодец, сестренка! Я уж подумал, не сама ли Жамал Омарова[75] поет.

— Нет, у нее голос понежнее будет, — иронически ответила девушка.

От такого ответа девушки Косайдар растерялся. Следовало бы сказать что-то еще, чтобы ей стало понятно, как он благодарен ей, но подходящих слов не находилось. Тогда он, хотя в этом не было необходимости, поддержал ее за локоть, когда она слезала с алтыбакана, и они вместе отошли в сторонку.

— Спасибо, — поблагодарила девушка.

Косайдар не понял, за что она его благодарила — за то ли, что похвалил ее голос, за то ли, что оказался вежлив… Он постарался рассмот-

---

[75] Примечания: 75

Жамал Омарова — известная казахская певица, у которой был очень низкий голос.

реть ее лицо получше. Рот был не таким уж и большим. И глаза были совсем не маленькие, с выпуклыми веками под густыми бровями. Зато она оказалась носатой. И лоб у нее был слишком широк для девушки. «Некрасива, — решил Косайдар. — Не страшилище, но и некрасива. Даже просто некрасива». Он уже поостыл немного от возбуждения, рожденного тихим шелестом кос, тянувшихся к нему, протяжной мелодией, так просторно прозвучавшей под звездным сводом неба. Теперь в нем осталось лишь изумление, до чего же все-таки один и тот же человек может быть совершенно разным.

— Голос у вас великолепный, — сказал он совершенно искренне.

— Я за вас пела, — ответила девушка. — Уж очень вы разволновались... не могли даже придумать, что петь.

Косайдар признательно пожал ей руку.

— Хорошо на алтыбакане качаетесь, — сказала девушка. — Мало таких парней, что меня выдерживают.

Косайдару почудилось, что она насмехается над ним. Он хотел было сказать ей какую-нибудь грубость, но не решился.

— Где учитесь? — спросил он, считая, что мол-

чать все-таки неудобно.

— В школе, — ответила девушка. — Не бойтесь, не в шестом классе. Нынче перешла в десятый.

— Аа… — протянул Косайдар.

— В Политехнический институт думаю поступать. Вы на каком факультете?

— В наш институт очень трудно поступить, — сказал Косайдар.

Девушка рассмеялась.

— Меня зовут Балкия.

— Косайдар, — представился Косайдар, с запозданием понимая, что своим ответом обидел ее. — Приезжайте. У нас девушек-казашек много.

Она промолчала, и он тоже умолк, не зная, о чем говорить с нею еще.

— Пойдемте, — предложил он через некоторое время. Она отрицательно покачала головой, но он все же повел ее к алтыбакану.

На этот раз они не стали сильно раскачиваться. Качались спокойно и неторопливо, спев вместе со всеми одну из тех протяжных народных песен, в мелодии которых есть что-то от тихого дыхания ветерка с перевала.

Потом, когда, оставив алтыбакан уже давно жаждущей добраться до него мелюзге, все переключились на игры, они опять были вместе.

Играли в «Соседа-соседку», и их неоднократно хотели разлучить, но Косайдар как джентльмен посчитал унизительным для себя отдать девушку, за что ему пришлось получить изрядное количество ударов ремня. Правда, во всем этом был неудобный момент: когда ударов ремня оказывалось слишком много, Балкия подставляла свою ладонь вместе с ним. И не обращала внимания на все его возражения. Водящий, наказывая Косайдара, проявлял к нему как к гостю некоторую снисходительность, но уж свою аульную девушку не жалел. Косайдару же в глубине души было, в общем, приятно, что девушка, с которой он не успел еще даже толком познакомиться, готова идти за ним в огонь и воду. Он был даже горд этим.

Когда переиграли во все игры, стали думать, чем же заняться еще, Косайдару пришла в голову замечательная мысль:

— Ребята, а почему бы нам не потанцевать?

Кругом одобрительно зашумели.

— А где же музыку взять? — спросила одна из девушек.

— У нас дома есть старый патефон, — сказал кто-то из парней. — Только пластинок нет к нему.

Косайдар несколько растерялся.

— Аккордеон есть? — спросил он затем, оглядываясь по сторонам.

Аккордеона не оказалось тоже.

— Ну, хотя бы мандолина найдется?

Не нашлось и мандолины.

— Домбра есть, — сказал молчавший до сих пор Айдар.

Кто-то засмеялся.

— Неси, — сказал Косайдар. — Попробуем хоть под домбру.

Вскоре мальчишка, которого отправил Айдар, принес домбру в войлочном чехле, и, оставив зеленую лужайку, на которой был поставлен алтыбакан, с ее высокой травой, все переместились по склону горы повыше. Овальная площадка размером с овечий загон, возле родника, была точно создана для танцев. Скотина, приходящая на водопой, вытоптала траву до корней, и не валялось на ней ни единого камня, которые могли помешать кружиться. Со стороны родника топорщилась тростниковая стена, со стороны горы шелестела стена густой таволги. Место было подветренное, и оттого здесь оказалось теплее, чем у алтыбакана. К тому же и мелюзга, путавшаяся под ногами, осталась в стороне. И далеко было от юрт, возле которых шумно жевали жвачку

коровы, взлаивали собаки. Все сокрушались, что не пришли сюда раньше. Но большинство сомневалось, что из всей этой затеи что-нибудь выйдет. Сомнения усилил и сам Косайдар.

— О! — сказал он, когда взял в руки протянутую ему Айдаром домбру и, поджав ноги, расположился на краю площадки прямо под стеной таволги. — Видел я домбру и о девять ладов, и о двенадцать, но кто бы мог подумать, что она еще и трехструнная бывает!.. Вряд ли я сыграю на ней, — покачал он головой.

Бренча по всем струнам сразу, Косайдар сидел некоторое время, подкручивая колки. Продрогшие без движения парни и девушки начали переговариваться между собой, подталкивать друг друга плечами. Некоторые затеяли игру в «третий лишний», в которой можно было всласть набегаться и согреться. Поэтому когда Косайдар, захлопав в ладоши, попросил тишины и сказал: «Танец! Дамский вальс!» — все приняли это за шутку.

Исполнитель ли был виноват, инструмент ли, но мелодия не лилась, как ей надлежало. То задевалась лишняя струна, то брался неверный лад — домбра захлебывалась, взвизгивала, порою и совсем замолкала. Однако никто на это

не обращал уже внимания. Пары кружились, не останавливаясь, и земля под их ногами подрагивала. Танец кончился. Запыхавшийся парень, этакий ветрогон по виду, подскочил к Косайдару и, подняв его руку с домброй, заставил всех похлопать ему. Косайдару было лестно находиться в центре внимания. Он объявил «Казахский вальс». Рука его уже привыкла к инструменту, и «Казахский вальс» он исполнил довольно сносно. Затем повторил «Вальс любви» и снова сыграл «Казахский вальс». Попробовал другие вальсы — получалось неважно. Айдар, ни с кем ни разу не протанцевавший, все время молча стоявший возле Косайдара с мрачным видом, сказал: «Не годится так сидеть гостю, иди потанцуй». У Косайдара уже затекли ноги, и он послушался.

Оказалось, что Айдар — настоящий мастер. Танго он сыграл на одной струне, фокстрот на двух и, лишь перейдя к вальсу, заставил звучать все три струны одновременно. Разошедшимся парням и девушкам, впрочем, было все равно, как играют и что. Одни плыли в вальсе, другие дергались в чарльстоне, третьи перешли на твист. На то, соответствует ли их танец музыке, никто не обращал внимания. Каждый выделывал что хотел.

Косайдар танцевал только с Балкией. Сна-

чала он ждал, что она и в танце возьмет тот же темп, что на алтыбакане. Считавшийся в институте хорошим танцором, он был готов к этому. Но танцоркой девушка оказалась весьма посредственной. И как ни старался Косайдар, наделенный от природы тонкой костью и изящностью стати, он не смог закружить, завихрить в вальсе почти одного сложения с ним, крепкую, мускулистую девушку. Они двигались в неторопливом, медленном ритме и разговаривали.

Разгорячившийся Айдар, оставив современную музыку, принялся за старинные казахские мелодии. Он их проиграл все, начиная с «Хромого кулана» и «Смутных времен» и кончая «Черным иноходцем». В конце концов, войдя в азарт, не в состоянии усидеть на месте, он стал продвигаться все дальше и дальше вперед, по-прежнему оставаясь с поджатыми под себя ногами. Так он добрался до середины круга. Почти все прекратили танцы и, замерев, слушали его.

— Он же просто фантастично играет, — заметил Косайдар, не сняв руки с девичьей талии, вместе со всеми наблюдавший за игрой домбриста — как он нащупывает лады, как бьет по струнам…

— В нашем ауле много виртуозных домбристов, — сказала девушка. Было видно, что она уже

не раз слышала его раньше, и, кажется, все это ей порядком наскучило. Сжав руку Косайдара, она потянула его танцевать.

— А кем он работает? — спросил Косайдар, уступая ее желанию.

— Здесь… В Красной юрте…

— А почему бы ему не пойти в консерваторию?

Девушка, прищурившись, коротко глянула на Косайдара и усмехнулась:

— Ездил в прошлом году. Сказали, что так не играют. Не поступил.

— С таким-то искусством…

Девушка, плавно покачивавшаяся в его объятиях под мелодию «Сокровенного», резко остановилась:

— Если вы еще хоть раз заикнетесь об этом парне, танцевать я с вами больше не буду.

Косайдар не нашелся что ответить. Девушка же без всякой видимой причины вдруг расхохоталась и, увлекая его за собой, вновь начала танцевать. Косайдаром овладела ярость. Девчонка, подумалось ему, не в своем уме… Употребив все свое искусство, он все же заставил ее кружиться в танце, как мотылек, уводя от домбры все дальше и дальше. Так, кружась, они ушли довольно далеко от всех, шагов на тридцать — со-

рок, к самому взъему горы.

— Ну, достаточно? — спросил он, стараясь не показать, как запыхался.

Девушка снова рассмеялась.

— Я надеялась, вы меня таким образом прямо на вершину поднимете.

— Пошли, — сказал Косайдар, убеждаясь, что взять над нею верх он не в силах.

— Куда?

— На вершину. Давай руку!

Держась за руки, они начали карабкаться по склону, заросшему невысокой таволгой и кое-где кустиками ковыля. Девушка, знавшая дорогу, шла впереди. Косайдар полагал, что, идя сзади, он поддерживает ее. О том, что идет за ней как бы на поводу, он не подумал. Склон оказался довольно пологим и без больших камней, о которые можно было бы поранить ноги. Подъем не доставил им никакого особого труда. И все же, когда они наконец взошли на вершину, Косайдару показалось, что мир как бы раздвинулся, неожиданно став огромным. А сам он словно бы стоял на некоем почетном месте этого огромного мира. Подставив грудь теплому ветру, овевавшему вершину, он глубоко вздохнул. Ослабил галстук, расстегнул пуговицы на вороте рубашки и, вытянув вперед

руки, немного постоял так. Потом застегнул ворот, подтянул галстук и повернулся.

Аул лежал как на ладони.

Семь ли, восемь ли юрт, дремавших у подножия горы в лунном свете, казались гигантскими яйцами, оставленными сказочными птицами — симург. В дверные щели и между кусками кошмы — верхним покрытием юрты, — высветленными с противоположной стороны луной, пробивался слабый свет. Чуть правее темнело небольшое село из невзрачных, грубого обличья деревянных домов, окруженных сараями и всякими другими подсобными помещениями, на окраине дома стояли совершенно беспорядочно. И во всем этом не угадывалось ни единого признака жизни. Село спало.

Извилистая белая лента, что пролегла прямо между юрт, — это тот самый медленный ручей, поблескивавший в лунном свете. Исток его остался под обрывом, его не видно. Парни и девушки — где-то там. От алтыбакана, стоявшего совсем рядом с аулом, доносился возбужденный гомон мелюзги. Вроде бы расходились. Где-то заблеял козленок. Косайдар удивился, что не слышно ни домбры, ни смеха веселящихся ровесников. Ведь они же с Балкией были именно к ним

ближе всего. Может быть, в «молчанку» играют? Нет, едва ли, скорее всего — возвращаются сейчас по домам. Или уже разошлись парочками. Кроме Айдара… Косайдар резко повернулся к молча стоявшей с ним рядом девушке:

— Этот парень-домбрист кем тебе приходится?

Девушка замялась. Ну да Косайдару было все равно. Спросил, потому что спросилось. Взяв ее быстрым движением за упругую талию, он обнял девушку и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась. Но вроде бы не было в ней и желания целоваться. Она стояла без единого движения. Губы у нее были холодные-прехолодные. И вся она едва заметно дрожала. Сняв пиджак, Косайдар набросил его девушке на плечи. И, не дав надеть в рукава, застегнул его поверх ее рук. Пиджак был для этого чуть-чуть узковат.

— Руки связаны. Теперь ты моя пленница.

Никакой страсти в нем не было, но он решил все же снова обнять девушку и поцеловать. Девушка, однако, крутя головой, на этот раз не далась.

— Не думал я, что эта гора так невысока, — сказал Косайдар. — Жорга![76] Название-то какое. Малюсенький холмик!

---

[76] Примечания: 76
Жорга — Иноходец.

— Стоите на самой вершине, вот и кажется невысокой, — сказала девушка.

— Да и с подножия смотреть — какая-то она, как расплющенная, — Косайдар усмехнулся.

— А это потому, что стоите у самой подошвы, — сказала девушка.

— Свой аул, своя гора — вот и защищаешь.

— Посмотрите вокруг, — попросила девушка.

Косайдар повел взглядом по сторонам.

— На восток, — сказала девушка. — На дорогу, по которой вы сюда приехали.

— Вижу огни какой-то машины, — сказал Косайдар.

— На каком она расстоянии, как вы думаете?

— Двадцать… двадцать пять — тридцать километров.

— Восемьдесят — девяносто, — объявила девушка. — А сколько между нею и нами еще всяких гор и перевалов! И этот вот наш небольшой, с тюбетейку, холмик выше всех.

— Да… — протянул Косайдар, вынужденный против воли признать ее правоту. — Кажется, мы эту вашу Жоргу увидели, едва из райцентра выехали, ехали — и весь долгий день не могли добраться до нее. Все впереди голубела. Озорная гора. — Он снова обнял девушку. Но на этот раз

попытки поцеловать не сделал. — Ну, а в этой стороне что у вас есть? — спросил он, поворачивая ее лицом к западу. И сам все продолжал обнимать ее.

— Вон та гора, что как раз под луной темнеет, — сказала девушка, вытягивая вперед подбородок, — Жауыртагы — Лошадь с больной спиной.

— Ага… — сказал Косайдар. — Это которая с горбами?

— Да. А левее от нее — Шубарайгыр — Пестрый жеребец.

— Увидел.

— Ничего вы не увидели, — сказала девушка. — Мы слишком далеко от нее. Она видна только днем. Она к нам боком стоит.

То, что он принял за гору, было темной тучей, осевшей на горизонте. Косайдар рассмеялся.

— А, так это не гора, это, стало быть, туча.

— В стороне той тучи ваш Каркаралинск, пожалуй. Или еще немного правее…

Косайдар снова рассмеялся.

— Шубарайгыр… Жауыр… Жорга… а вот, скажем, Алыпсок[77] или Борибасар[78] — таких мест

---

[77] Примечания: 77
Алыпсок — Бери и бей.

[78] Примечания: 78
Борибасар — Волкодав.

нет у вас?

— Есть, — ответила девушка холодно. — Озеро есть. Собачье озеро называется. Вот там.

— Интересные люди здешние казахи. Дают названия, какие только взбредут в голову.

— Ну, а вы знаете, почему именно такие названия в здешних краях?

— Знаю, — ответил Косайдар. — Мать рассказывала. Когда Айбас-батыр искал аул Баян, он оставил здесь своего загнанного иноходца.

— Верно, — сказала девушка. — Так говорится в «Козы-Корпеш-Баян-сулу»[79]. Но, по-моему, было не совсем так... — Она вдруг замолчала, прислушиваясь к чему-то, и, постояв еще немного, высвободила из-под пиджака руки, расстегнула пуговицы. — Вы продрогли...

Косайдар снова набросил пиджак ей на плечи.

— Вернемся, — сказала девушка. — Вон уже все расходятся.

И действительно, между домами замелькали темные фигурки. Доносились приглушенные расстоянием голоса. Кажется, разобрали уже и алтыбакан. Было слышно, как скребли по земле и поскрипывали шесты, которые волочили за

---

[79] Примечания: 79

Лиро-эпическая песнь о несчастных влюбленных Баян и Козы.

собой дети. В крайней юрте, огонь в которой все еще не был погашен, широко откинулся полог двери, и показался кто-то во всем белом. Держа войлочный полог приподнятым, человек постоял так некоторое время, — в полосе света из юрты были видны лежавшие на привязи у входа козлята и ягнята.

— Эй, Усен, — прокричал человек старческим женским голосом. — Где твой старший брат? Косайдара-агу не видел?

— Не знаю где, Ай-аже, — откликнулся мальчишеский голос откуда-то из-за юрт. — Они все давно уже к роднику ушли.

Ай-аже, прикрыв дверь, побрела к центру аула, в темноте белел длинный ее кимешек, волочащийся по земле.

— Вон бабушка тебя ищет, — сказала девушка, впервые за весь вечер переходя на «ты». — Иди домой.

— Старики — интересные люди, — смеясь, покачал головой Косайдар. — Думают, враг нас здесь подстерегает? Или сами они не были молодыми?

Оживившийся на недолгое мгновение аул вновь погрузился в тишину. Никто не попадался Ай-аже навстречу, чтобы она могла спросить о внуке. Наконец она начала звать Косайдара,

окликая его по имени.

— Я здесь! — закричал Косайдар; грудь ему вдруг так и переполнило радостью.

— Ой, господи, — испугалась от неожиданности Ай-аже. Она дошла уже почти до окраины аула и теперь, резко остановившись, огляделась по сторонам. — Бисмилла, бисмилла… Откуда он… джинн или шайтан?..

— Это я, Косайдар. Я стою на вершине горы. Сейчас приду! А рядом со мной здесь… — Но кто рядом с ним, сказать он не смог — девушка зажала ему рот ладонью.

— Напрасно, — сказал Косайдар, беззвучно смеясь. — Теперь тебя начнет искать твоя бабушка, будет беспокоиться.

— У меня нет бабушки, — сказала девушка.

— Ну, тогда никто не будет искать. Пошли.

Вершина горы представляла собой плоскую, изогнутую дугой площадку, заросшую серебрящимся ковылем. От самого центра ее уходил вниз глубокий овраг с петляющим, извилистым входом. На лунном свету он как бы дымился голубоватой пылью. Некоторые места его темнели округлыми котлованами.

— Пойдем так…

Девушка не возражала.

Зиявшие глубокими провалами, эти темные пятна в овраге оказались зарослями высокого кустарника, местами редкого, местами же стоявшего тесной, сплошной стеной. Снизу ветки его густо оплетал ковыль. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Старый, вековой овраг с круто и высоко уходящими склонами еще не отдал накопленное дневное тепло. Переполнявший его мягкий теплый воздух, казалось, застрял в ветвях кустарника.

— Давайте посидим, — сказала девушка, первой вошедшая в заросли, останавливаясь на небольшой, с трехкрылую юрту, полянке.

— Сыро ведь…

«Я дурак», — тут же пронеслось в голове у Косайдара.

— Ну и пусть, — отозвалась девушка. — У меня ноги устали.

Косайдар поспешил исправить свою ошибку.

— Погоди… — Он снял с девушки пиджаку сложив его подкладкой наружу, намереваясь постелить на землю.

— Оставьте, — испугалась девушка. — Нельзя садиться на мужскую одежду.

Косайдар опять смешался.

— Мы ведь вдвоем — один человек, — зашептал

он потом девушке на ухо. — Так что можно.

Но девушка не согласилась и теперь.

— Нарвем лучше травы, — сказала она.

Нагнувшись, они нарвали немного травы. Сели рядом и обнялись, накрывшись пиджаком. Земля была совсем не сырой. Ковыль, до которого не дотрагивалась ни одна скотина, казался верблюжьей шерстью. Густой, мягкий и теплый.

— Какая ты суеверная, — сказал Косайдар.

— Я знала, что встречусь с тобой, — сказала девушка.

— Что, на бобах гадала?

— Здесь вот… — пробормотала она. — Именно здесь, в этом кустарнике, он и пасся.

— Ваш серый телок?

Девушка взглянула на него, словно силилась вспомнить, кто он такой, и снова ушла в себя.

— А-а, — понял Косайдар. — Это ты все про того иноходца… которого Айбас оставил.

— Я же сказала, — неожиданно повеселела девушка, — иноходца оставил не Айбас, это Баян его оставила. Чтобы Козы, который выехал следом, мог пересесть, когда лошадь его устанет. В этом овраге она и стреножила иноходца…

— Теперь понял, — сказал Косайдар. Крепко обняв, он тесно прижал девушку к себе. — По-

тому-то эта гора и называется Жорга. Ну, а та, с горбами, называется Жауыр, потому что Баян и там…

Девушка звонко рассмеялась.

— Интересно вы рассуждаете, Косайдар. Разве невеста будет дарить своему любимому какую-то дохлую лошадь с натертой спиной?

— А как же тогда? — спросил Косайдар.

— Так, как в песне. В том месте Айбас-батыр оставил одну из своих лошадей, загнанную и больную.

— Э-э…

— О-о!..

Прижав к себе беззвучно смеющуюся девушку еще теснее, Косайдар поцеловал ее несколько раз подряд. Губы ее уже не были холодными, как тогда, на вершине. Но не было в них и ничего такого особенного. Обыкновенные губы. Обыкновенная девушка. Балкия, впрочем, думала, кажется, иначе. Крепко обвила рукой его шею.

— Спать хочу, — сказала она дурашливо.

— Тогда поспим.

Разжав объятия, Косайдар лег на спину. Девушка ничуть не смутилась. Не задумываясь, она обняла его за плечи, тесно легла рядом и положила голову ему на грудь.

Косайдар посмотрел на небо. Над ним расстилалась безоблачная бледневшая синь. Звезды заметно потускнели. Рассвет был уже совсем близок.

«Я дурак, — подумал Косайдар о себе во второй раз за этот вечер. — Был бы кто на моем месте посмелее, не болтал бы впустую столько времени, давно бы уже…» Кровь у него кипела, сердце в груди так и стучало. Но как начать, он не знал. Ну, а девушка будто и впрямь уснула — лежала без единого движения. Кончиком косы Косайдар провел ей по лицу, и она, с трудом разлепив, приоткрыла действительно сонные глаза.

— Не замерзла?

— Нет, милый.

Он перевернулся на бок, и она, положив голову ему на руку, снова смежила веки. И, сжавшись в комок, вся приткнулась к нему, то ли желая согреться, то ли просто ей было удобно лежать так.

— Ты меня любишь? — спросил Косайдар, не найдя никаких других слов для того, чтобы начать.

— Я ведь сказала, — отозвалась девушка. — Я все сказала…

«Вот оно!» — подумал Косайдар. Но все же он решил уточнить:

— А как ты… чем… чем ты это докажешь?

— Я с тобой… Я твоя… Навечно… — Она уткнулась лицом ему в грудь, как проголодавшийся младенец, ищущий сосок матери.

Теперь у Косайдара, который весь вечер только и думал об одном, не осталось никаких сомнений. Задрожавшими руками он перешел к решительным действиям. Но девушка, словно вдруг испугавшись чего-то во сне, тут же вскинула голову. Она удивленно и озадаченно поглядела на Косайдара и, не сказав ни слова, села. Не ожидавший от нее сопротивления, Косайдар приписал это ложной стыдливости. Он снова обнял ее и уложил рядом с собой. Но сколько он ни бился, навстречу ему она не пошла. Наоборот, видя его настойчивость, она наконец даже встала. Косайдар подумал, что теперь она рассердилась и выдаст ему по первое число. Но ничего подобного не произошло.

— Рассвело, давайте возвращаться, — только и сказала она.

Косы ее, спускающиеся ниже колен, наполовину расплелись. Девушка велела Косайдару подержать их и снова заплела. Отряхнула платье, сколько смогла — расправила образовавшиеся складки.

Обняв девушку за талию, Косайдар стал говорить о своей любви к ней. Не потому, что любовь так и распирала ему грудь. Просто он полагал это своим долгом, чем-то вроде обязательной повинности. Ему хотелось загладить вину перед ней за свое недавнее поведение. Девушка слушала молча. Только уже на выходе из оврага, у самого аула, прощаясь, быстро обняла его за шею и сама поцеловала. Язык у нее был острый-острый и горячий-прегорячий. Никогда раньше Косайдар так не целовался. «Со многими, видать, успела, чертовка… больно уж опытная…» — подумал он. Но вслух опять сказал, что всем сердцем полюбил ее. Пообещал тотчас по приезде написать письмо. В тот день он должен был уезжать в Алма-Ату.

Сначала они переписывались беспрерывно. Косайдар, полагавший, что у молодого парня обязательно должна быть девушка, считал переписку с Балкией за тысячу километров не только приятным холостяцким развлечением, но и своего рода честью для себя.

Каждый раз, когда он читал письма Балкии, у него перехватывало дыхание от восхищения. Какая чертовка, здорово наловчилась переписываться с парнями, многих, видимо, перевидала уже, бестия такая, думалось ему. Он не мог по-

нять, как это у нее все получалось, откуда у нее все это бралось. Балкия никогда не писала ему всяких возвышенных слов, типа «страдаю», «горю», «умру», «погасну», — это он, джигит, изощрялся подобным образом. Но тем не менее в глубине души Косайдар понимал, что именно так, как пишет она, и открывает влюбленная свое сердце возлюбленному, именно так и разговаривают люди, верящие друг другу. Ему хотелось слышать эти удивительной силы и теплоты слова еще и еще.

Прошло немного времени, и для самого Косайдара, который исчерпался до дна, скраивать каждое новое письмо стало великой мукой. Порою, пока он писал письмо, разорвав первый вариант его и заново составляя другой, проходило достаточно много времени. Что было хорошо — Балкия не обращала на это внимания. Пока Косайдар вымучивал свое письмо, задавая вопросы о здоровье, о житье-бытье, рассказывал о погоде в Алма-Ате, от нее успевало прийти два, а то и три письма. Постепенно оба они привыкли к этому.

В первых письмах Балкия все расспрашивала его о Политехническом институте, к весне же про дальнейшую учебу перестала и заикаться. Нако-

нец перед Майскими праздниками от нее пришло коротенькое, сухое письмо. Она писала, что в районе выдвинули лозунг — всем заканчивающим в нынешнем году школу остаться работать в ауле. Все семьдесят восемь выпускников их школы должны ехать работать животноводами в отдаленные отары, учиться на механизаторских курсах. Свободны они могут быть только через два года.

Косайдар, для которого писание писем стало уже обременительнейшим занятием, оборвал переписку. Вся эта игра разом надоела ему, Балкия его больше не волновала. Девушку, которая собиралась сдавать государственные экзамены для того, чтобы стать дояркой, Косайдар забыл меньше чем за неделю.

Минула весна, кончилось лето. И однажды осенью, когда в институте снова уже начались лекции, в общежитие к Косайдару пришла незнакомая девушка. Маленькая, рыжеволосая, бойкая девчушка. Оказывается, она кончала десятилетку вместе с Балкией. С какой такой Балкией? Обыкновенной. Той, что в «Жорге». Да, они действительно всем выпуском пошли в животноводство. Сама она… сама она в Казпи поступила. Ой, до чего любопытный молодой

человек! Ну разве не могут один-два человека отойти в сторону… А Балкия… Балкия осталась в ауле. Конечно, по своей воле. Она Балкии самая близкая подруга, знает все ее тайны. Сама Балкия и наказала. Поэтому и пришла. Еле-еле разыскала. Очень многое нужно ей сказать Косайдару.

Выйдя из общежития, они свернули на одну из тихих улочек. Рыжая девчушка, только что тараторившая без умолку, наговорившая ему, путая начало одной истории с концом другой, всякой всячины, теперь, когда они уединились, не раскрывала рта. Не назвала даже, когда он спросил, своего имени. Не приняла его предложения зайти в кино согреться. Наконец, после долгого этого молчания, продолжая начатый раньше разговор, она сказала, что Балкия послала ему привет. Песенный привет. Предупредила, что голос у нее слабоват, и несколько раз попросила за это прощения. Затем она запела, тихо и протяжно:

— Ты — тополь, поднявшийся на горе, я — тюльпан, выросший в долине, дотянуться ли рукам моим до тебя? Только на неприступную вершину по соседству с собой да на голубое небо ты смотришь; на слабый цветок, распустившийся в стороне, не обращаешь внимания. Глубокими корнями своими впитываешь ты могучую силу

земли. Высок ты и крепок. Не может повалить тебя буря, не может побить тебя град. И ярости трескучего мороза ты не боишься. Ну, а я — нежный цветок с корнем, как ниточка, с тоненьким стебельком. Гнет меня долу ветер, бьет град. Не выдержать мне промозглых осенних холодов. Бессильно никнет моя голова, ломается стебелек, дыхание обрывается. Почувствуешь ли боль мою, гордый тополь, поймешь ли мою печаль? Ты проживешь сто лет, а мне угаснуть с первыми заморозками… Но не умру я! Настанет весна — и я возрожусь. Снова потянется кверху мой стебелек. Снова протяну я руки свои к мечте. Если тебе отпущено жизни сто лет, то я вечна. Потому что в бренном этом мире есть волшебная сила, вновь и вновь дающая жизнь моей угаснувшей плоти, возрождающая мое мертвое тело. Это — вечно льющийся с неба солнечный свет, это — бесконечная моя любовь к тебе.

Мотив песни был незнакомый, незнакомы и необычны были и ее слова. Косайдар ничего не понял. Когда рыжая девчушка допела песню и умолкла, прерывисто, тяжело дыша, он долго стоял неподвижно, глядел на нее и молчал.

— Это… что? — спросил он наконец. — Я… простите… ничего не понял.

Рыжая девчушка, словно Косайдар сказал что-то неприличное, испуганно вздрогнула. Казалось, она тут же хотела убежать, но, пересилив себя и немного помедлив, ошеломленно глядя на него, затянула песню по второму разу.

Теперь Косайдар, хотя и не вникал в содержание песни, почувствовал ее мелодичность. Но когда эта маленькая рыжая девчушка, мало-помалу забыв, где она находится, стала петь так, словно вышла на сцену, ему стало неловко. Некоторые, прохожие замедляли шаг, и не только замедляли, но и вообще останавливались, и чем дальше тянулась песня, тем больше их становилось, и он уже готов был провалиться хоть в саму преисподнюю. Подруга же Балкии пусть и слишком поздно, но все-таки поняла нелепость своего поведения — петь среди бела дня, прямо на городской улице в полный голос! — как только песня закончилась, закрыв лицо руками, она бросилась прочь. Едва не сгоревший со стыда Косайдар тоже постарался покинуть место происшествия поскорее. Только успел заметить краем глаза, что одни из зрителей аплодировали, а другие, улыбаясь, покачивали головой. Насмехались или одобряли — понять это он был не в состоянии.

Спустя недолгое время среди студентов полу-

чила хождение вся пронизанная тончайшим лиризмом и светлой печалью красивая песня под названием «Песнь тюльпана». Про песню эту ходило много всяких рассказов. Одни говорили, что ее сочинила одна из студенток ЖенПИ, безответно влюбленная в какого-то джигита. Другой вариант истории создания песни, наиболее распространенный, был длинным и походил на сказку. Жили-были, значит, парень и девушка. С малых лет они росли вместе. После окончания десятилетки парень поступил в университет, а девушка не прошла по конкурсу. Парень был и поэтом, и домбристом, и красивым, и умным к тому же. Живя в городе, он встретился с другой девушкой и позабыл свою первую любовь… Далее история, сообразно с характером рассказчика, дробилась на несколько разных окончаний. Парень, значит, женится на горожанке, а та девушка, в ауле, сочиняет эту песню. Или по-другому: на свадьбе, когда он уже почти женился, парень слышит песню и понимает свою ошибку; оставив невесту, он возвращается к своей настоящей любви… Другим же все было известно куда как более точно. Джигит, значит, — такой-то композитор. Ну, а девушка — его жена. Не ссорились они и не разводились. И давно уже как живут

вместе. А эта песня, как и все другие, просто сочинена молодым композитором в день, когда на него сошло вдохновение. Очень скоро, дескать, вы ее услышите по радио. Тогда и узнаете, кто есть кто и насколько всякие другие слухи о песне ошибочны.

Косайдар довольно долго предполагал, что это, возможно, какая-то народная песня или же новая вещь какого-нибудь известного композитора, случайно распространившаяся среди студентов как безымянная. Но со временем он перестал сомневаться в том, кто сочинил песню. Балкия. Эта песня принадлежала Балкии. Понял он и то, при каких обстоятельствах она сложена и кому посвящена. Когда он на студенческих вечерах, на всяких молодежных сборищах слушал теперь уже такую близкую его сердцу, такую понятную ему «Песнь тюльпана», вся прелесть и очарование которой были ему теперь ясны до конца, ему хотелось крикнуть: «Я! Я все знаю, как есть. Эта песня посвящена мне!» Его тянуло написать Балкии. Но, думая о том, что сам он заканчивает институт, а у нее нет никакого специального образования, да к тому же и вообще она еще не поступила учиться, Косайдар всякий раз решал пока не писать.

И пока он все жил так, колеблясь, с ним случилась беда.

На вечере танцев в общежитии накануне Нового года подвыпивший Косайдар повздорил из-за девушки с незнакомым парнем, с лихо закрученными усами, длинными волосами до плеч и одетым по последней моде. Оба они подошли к этой девушке одновременно, и та, поочередно, снизу вверх внимательно поглядев на них и все для себя взвесив, предпочла длинноволосого. Оскорбленный Косайдар почел своим долгом поквитаться за обиду. Узнав, что незнакомец из сельскохозяйственного института, он и вовсе взбесился. «Эй, колхозник, — закричал он, толкая его, — зачем это колхознику так разряжаться?» Стычка их вылилась в настоящий скандал. И у той и у другой стороны нашлись защитники, кое-кто стал их разнимать. Косайдар, вконец взвинтившийся от поддержки большинства собравшихся, схватил за ворот одного из парней, пытавшихся его утихомирить. С этого-то все и началось. Парень, которому он разорвал ворот, хоть и жил в общежитии, оказался не студентом, а неким ассистентом некоей кафедры, нынче только закончившим институт и оставленным на преподавательскую работу.

Во время обсуждения скандального происшествия двух мнений не было. Некоторые, припомнив ему задолженности по одному ли, по двум ли предметам, равнодушное его отношение к учебе, потребовали даже, чтобы дело передали в суд. В конце концов постановили: за появление в нетрезвом состоянии, за организацию драки в общественном месте, за то, что поднял руку на своего преподавателя, студента-хулигана Косайдара Алимбетова исключить из Политехнического института.

Месяца два-три Косайдар провел в праздном болтании. Службы в конторе не нашлось, идти же рабочим не позволяла гордыня. Но тут как раз скончался отец, и волей-неволей пришлось вернуться в Каркаралинск. И не способная работать, больная мать, и маленькие еще его братишки — все остались теперь на его попечении. Объявив, что взял академический отпуск, Косайдар устроился рядовым служащим в одно из городских учреждений, на место, не требовавшее специальности. На следующий год он поехал в Алма-Ату и предпринял несколько попыток восстановиться в институте, но все было безуспешно, и он вернулся обратно, сказав, что перешел на заочное отделение. Как говорится, кто старое помянет, то-

му глаз вон, — через два-три года люди и забыли, что этот молодой джигит, начавший бросаться в глаза своим пристрастием к выпивке, учился когда-то в приличном институте.

Так и шла жизнь. Косайдар женился, семьи не получилось — разошелся. Некоторое время после этого он вел разгульную холостяцкую жизнь, потом снова женился — на красивой молодой женщине, бывшей до того замужем, со штампом и без штампа, раза четыре. По утрам ругаясь, по вечерам дерясь, где-то перед тем как лечь в постель примиряясь, не зная нормальной жизни, какой живут все люди, и не разводясь по-человечески, влачили они бестолковые свои дни. Расспрашивая уроженцев того аула Семипалатинской области, Косайдар узнал, что Балкия вышла замуж за парня-домбриста по имени Айдар, они заведуют автоклубом, имеют детей. После этого Косайдар запил и пил несколько дней кряду, не просыхая. На работе стали недовольны им, ему грозило увольнение. В конце концов в дело вмешались по-доброму к нему относившиеся уважаемые аксакалы — белобородые, и почитаемые всеми карасакалы — чернобородые, вынесли решение и, вырвав у него клятву, заставили бросить пить. Теперь Косайдар только за

праздничным застольем и выпивал рюмку-другую — за здоровье присутствующих. Но и того было достаточно, чтобы щеки у него по-пьяному залились алым. Ну а стоило лишь за таким вот застольем раздаться ставшей в народе широко популярной «Песне тюльпана», на глазах у него разом наворачивались слезы. Кто-нибудь из рядом сидящих подталкивал тогда соседа: «Эту песню специально для Косайдара сочинила одна девушка из аула его матери. Есть ли в женщине постоянство: пела-пела свою песню — да и выскочила за другого. А ведь он был джигитом из джигитов! Вот из-за предательства девушки и стал таким…» На что сосед, усмехнувшись, возражал: «Ну ты несешь тоже невесть что! Народная ведь песня. А этот пьяница, даже когда «Одинокую арчу» поют, и то плачет».

1972

Перевод А. Курчаткина.

БЕЗ ХОЗЯИНА

Это была не какая-нибудь немецкая овчарка с разбойничьими глазами, готовая в любой момент, только прикажи, броситься, схватить, подмять, не английский дог с пиратским оскалом, мнящий о себе, что на свете нет более свирепого существа, чем он, и не казахский дворовый пес, способный довериться кому угодно и куда угодно последовать за ним. Это была маленькая болонка, которая не то что сторожить дом, охраняя его от всяких там воров и грабителей, а даже лаять, просто подать свой собачий голос по-настоящему и то не могла. Поэтому-то в глазах ее хозяев она не имела никакой ценности.

Если, впрочем, быть точным, то собака эта вообще не имела хозяев. Откуда она пришла, где она жила прежде — было неизвестно.

В один из дней, как всегда по утрам, надев рабочую одежду и выйдя из дому, хозяин его увидел, что у крыльца с подветренной, солнечной стороны, лежит белая, размером чуть больше кошки, болонка. Когда же вечером, уставший и весь пропыленный, он вернулся домой, то увидел, что с этой утренней болонкой играет его маленький

сын Ален. Зная, что предоставленный целый день самому себе сын скучает, отец только и сказал: «Э, бог с ним, пусть играет!» К тому же щенок (для казахов всякая маленькая собака — щенок) был премиленький. Тело его покрывала длинная, слегка курчавившаяся, белая шелковистая шерсть. Торчащий прутик хвоста напоминал гребенку. И весь он, со своими тоненькими лапками, был трогательно хрупок. Чистый-чистый, словно только что вывалялся в снегу. Маленькие его глазки из-под длинных, пушистых густых косм надо лбом так и поблескивали.

Худой, щуплый, с ногами хомутом, шестилетний мальчик провозился с белой болонкой до самых сумерек. Ни отец, у которого, как всегда, не было на него времени, ни мать, которая хоть и была рядом с ним целый день, но никогда не обращала на него внимания, не запрещали Алену играть с болонкой. Но когда он захотел взять ее домой, они воспротивились. И не посмотрели ни на рев его, ни на топанье, сказали, что это чей-то соседний заблудившийся щенок и теперь ему пора возвращаться домой. Но утром следующего дня, когда они поднялись, оказалось, что болонка спит под их крыльцом. Переночевала она под крыльцом и на другой день. Так белая болонка,

выскочившая каким-то образом из просторной, богатой квартиры в центре города, заблудившаяся, брошенная, наверное, затем каким-нибудь хулиганистым мальчишкой в трамвай и очутившаяся в итоге на тихой узкой улочке городской окраины, стала щенком Алена, жившего в покосившемся старом доме с соломенной крышей, имевшем две полутемные комнаты, крохотные сени и огороженном дырявой штакетниковой изгородью.

Но это лишь одно название, что собака стала щенком Алена, на самом деле болонка по-прежнему оставалась без хозяина. Отец Алена уходил с рассветом и возвращался с сумерками. А придя домой, рубил дрова, таскал уголь, ломал какие-то ящики, сколачивал какие-то доски, и если ему не находилось работы по двору, то возился в крохотном саду возле дома, в котором росло около десятка яблонь, переворачивая все в нем кверху дном, а в выходные дни работы у него только прибавлялось — когда уж тут ему смотреть за собакой. Мать же все время крутилась у плиты: что-то чистила, что-то резала, что-то кипятила, смешивала, переливала из одной посуды в другую — в общем, день-деньской не разгибает спины, а все у нее дела не кончаются, — когда ей

налить собаке поесть? Во всем доме без работы только один человек — Ален. Раньше весь долгий день он сидел в полутемных комнатах, чинил машину, у которой отвалились колеса, или скакал на трехногой лошади, и все равно не знал, как убить время, теперь же он не замечал, как подходила пора садиться солнцу. Вечно теперь он был на улице, вечно с болонкой. Вечером валился с ног от усталости, а утром снова начинал возиться с ней. Он выдумывал все новые и новые игры: то они соревновались в беге, то боролись, то бодались, то перетягивали какой-нибудь прутик. В общем, у обоих у них не было ни минуты покоя.

Но положение белой болонки от этого не улучшилось. Еще в тот день, когда она объявилась у дома, мать увидела, что Ален ту самую баранку, которую обычно приходится заталкивать в него силком да еще следить, чтобы он не выплевывал, а глотал, ест с необыкновенной жадностью, откусывая от нее поочередно со щенком; с той поры есть на улице ему было категорически запрещено и запрещено было выносить что-нибудь специально для щенка: кто мог поручиться, что, увлекшись, Ален не начнет откусывать от того же куска. Ну, а давать еду бездомной собаке, сливать в миску остатки супа по-прежнему никто в доме

не считал своей обязанностью. Не по лени и не от жадности. От невнимательности. А в результате белая болонка иногда по нескольку дней кряду ничего не ела.

Густая шерсть не давала заметить, что упитанная когда-то, ухоженная болонка похудела, опала в боках, у нее проступили ребра, что она вконец истощена. Разве что подумаешь, глядя на нее: какая она стала грязная, как свалялась на ней шерсть. Состояние, в котором она находилась, можно было угадать по ее покрасневшим, постоянно теперь слезящимся глазам. Лишилась она и прежней своей игривости. Ален, у которого от постоянного пребывания на воздухе появился волчий аппетит, наестся утром до отвала и, икая, идет во двор, а болонка все еще лежит, свернувшись, сунув мордочку в пах, под крыльцом. Сытый Ален не понимает, в каком состоянии голодная болонка. «Щенок, щенок!» — зовет он ее. Тычет палкой, бьет прутиком. И наконец заставляет подняться. Для него начинается игра, для болонки — рабочий день.

Постоянно голодная болонка взяла себе за правила регулярно обегать соседние дворы. На нее нападали другие большие собаки, гоняли ребята. Но пустой желудок давал о себе знать, и болонка

была вынуждена рыскать по округе. Она доедала объедки от трапезы какой-нибудь доброй овчарки, подбирала огрызки хлеба из мусорного ведра или оброненные играющими ребятишками. В общем, поддерживала силы этими перепадавшими ей крохами, чтобы не протянуть ноги.

В один из таких ее обходов болонку сбил на улице мотоцикл. Подросток, только учившийся водить, не смог справиться с управлением, а может быть, и нарочно наехал на нее. Все это издали видел отец Алена, возвращавшийся с работы. Когда он подошел к болонке, она дико верещала своим тоненьким голоском, царапая землю передними лапами. Отец не смог смотреть на нее и ушел. Все равно болонка должна была подохнуть. Ален хотел пойти посмотреть, как она будет подыхать, но отец не пустил его.

Вечером во время ужина разговор за маленьким круглым столом крутился только вокруг белой болонки. Отец Алена упрекал мать. Собака-де, сказывают, удачу приносит дому, эта сама пришла — так ты не сумела хозяйкой себя проявить. Хоть и не говорит, а живая тварь, так ты ни толики внимания ей не уделяла, кормить никогда не кормила. А ведь единственному твоему хворому мальцу какой забавой была — что так

жадничала? Был он хмурый и весь поникший и говорил, не повышая голоса. Жена не оправдывалась. Но она не считала виноватой только себя. Бедная моя головушка, сказала она, день-деньской торчу в этой могиле, сама от собаки мало чем отличаюсь, от единственного легкого теперь уже, поди, половинка только и осталась. Таскаю еще свои кости — так кажется, что живая, а на самом-то деле тоже ведь труп уже. Когда ты, хозяин, сказал, что будем эту собаку держать у себя, когда ты сказал, что этот щенок наш, и надел на него ошейник? А если у тебя такая мысль была, то почему ты конуру ему не сделал, не посадил у конуры на цепь? Что мне, жалко для собаки помоев, которые я каждый день в уборную выливаю? Все из-за тебя вышло так, и теперь на тебе грех за смерть невинного животного. В общем, не в лучшем ты свете, чем я…

А утром, выйдя на улицу, отец, радостный, тут же вернулся в дом.

— Ален, вставай, — сказал он. — Щенок твой живой, сам пришел.

Ален, уже проснувшийся, начал, торопясь, одеваться. Мать, никогда прежде просто не замечавшая щенка, вышла вместе с ними.

Болонка не смогла добраться до своего обыч-

ного места под крыльцом. Она лишь вползла во двор и упала там у самой изгороди. Только глаза у нее и поблескивали.

Отец поднял болонку и отнес под крыльцо. Подстелил ей соломы, солому сверху накрыл куском старой мешковины. Мать налила в оловянную миску теплого молока. Накрошила в молоко хлебной мякоти. Ален начал было гладить болонку по голове, по спине, но отец остановил его, и он больше не беспокоил собаку.

Все думали, что болонка сдохнет в этот же день. Но до вечера она не подохла. И назавтра не подохла. И на третий день. Наоборот, день ото дня ей становилось все лучше. Наконец дней через пятнадцать — двадцать она встала на три лапы. Задняя левая лапа, неправильно сросшаяся в бедре, осталась прижатой к туловищу.

После того как болонка, которую все приговорили к смерти, поправилась, хозяин снова перестал обращать на нее внимание. И без того ему было некогда. Жена его снова стала забывать кормить болонку. Ей со своим-то горем бы справиться, да и по хозяйству дел все время выше головы. Даже маленький Ален и тот перестал глядеть на своего щенка. Не годится он для игр, как поначалу. Несимпатичный, грязный, со свалявшейся шер-

стью — плохой щенок. Да и хромой к тому же.

Белая болонка, ковыляя на трех своих лапах с улицы на улицу, как и прежде, бродила по дворам. Порою какой-нибудь совсем старый, которому лень даже вылезти из конуры и полаять, добродушный пес отдавал ей остатки своего обеда из чашки. Иногда какая-нибудь дряхлая старуха, опершись на палку и щурясь, гревшаяся на солнце у стены дома, поднималась и, сгорбившись, шла внутрь, выносила ей то ли корку хлеба, то ли кусок кости — в общем, что-нибудь такое, для чего у болонки была слишком маленькая пасть, а если и не маленькая, то не по ее зубам. Болонка перебиралась на другую улицу, на другой двор. Хромую, ее не трогала ни одна из встречных собак, никто из играющих мальчишек не бросал в нее камнем. Даже машины и мотоциклы, редко забиравшиеся на эти окраинные улицы, объезжали ее. Но хотя болонка и чувствовала себя в безопасности, уходить дальше двух-трех ближайших улиц она не решалась. Боялась, что заблудится. Смутно припоминалось ей, что когда-то в далекие, давние времена, едва успев прийти в мир, она выскочила на волю из большой комнаты, где было много мягкой еды и всяких сладостей, и в каком-то дурацком восторге

пробежала, не останавливаясь, несколько улиц. К чему это приводит, она теперь знала. Поэтому каждый вечер болонка возвращалась на свой двор и ложилась на привычное место под крыльцом — укрытие от дождя и ветра.

Но, выросшая в теплом доме на мягком диване, болонка не знала, что у природы бывают четыре времени года и что сейчас — середина лета.

1972

Перевод А. Курчаткина.

СЧАСТЬЕ ТУЛЫМХАНА

Большеглазый, с плоским лицом смуглый мужчина лет тридцати пяти, сойдя с курсирующего между аэропортом и микрорайоном автобуса-экспресса, пересек улицу и торопливо зашагал в глубь массива домов. По старенькому пальто с облезшим воротником и мятыми полами, по толстому коричневому портфелю с начавшими протираться углами в нем угадывался человек, уставший от дороги. По слегка подавшимся вперед широким плечам, по тому, как он быстро и семеняще перебирал своими короткими ногами, можно было понять — спешит он к себе домой.

Рядовой работник республиканского торгового учреждения Тулымхан был счастливым человеком. Собой был доволен и другими доволен; временем доволен и судьбой, что довела родиться в это время, тоже доволен.

Просыпался он рано — когда до восьми оставалось еще пятнадцать минут. Стараясь не разбудить посапывающую в своей зарешеченной кроватке маленькую дочурку, поднимался с постели и на цыпочках ступал по донельзя скри-

пучему полу, с которого уже давно сошла краска и половицы потеряли былую привлекательность. Доставал чугунноголовые, с утолщением на середине ручки, большие гантели, раза два-три вскидывал их над головой, нагибался до полу — это была утренняя гимнастика. Затем шел в ванную и, встав под душ, пускал шумно лившуюся вниз прохладную воду. И освежался, и умывался одновременно, и уходили на это какие-то считанные минуты. После того как хорошенько разотрешься махровым полотенцем, оставалось еще как следует почистить зубы — и все.

К этому времени был готов и чай на кухне. Мысленно принося судьбе тысячу благодарностей за то, что ему досталась такая заботливая жена, как Шарипа, Тулымхан садился за стол. Намазав на кусок хлеба густой слой масла, выпивал две чашки крепкого чая без молока. По настоянию жены — на этот раз всухомятку — съедал еще кусок хлеба. Смотрел на часы. Часы показывали десять минут девятого. Торопливо одевшись, Тулымхан бежал к автобусной остановке.

Народу на остановке — тьма. Но Тулымхан — серьезный человек. Он не суетится, как некоторые. Занимает очередь за такими же, как он, воспитанными людьми, терпеливо дожидающимися

автобуса. Первый автобус приходит полным. Второй автобус, не остановившись, проносится мимо. В третий автобус удается втолкнуться пятерым-шестерым. Наконец появляется раскачивающийся на ходу, похожий на трамвай с прицепным вагоном длинный «Икарус». Места в нем много. И ход у него мягкий. Все зашли, а свободно. Не обрывают тебе ворота, не ломают пуговиц. Но народ все-таки мало-помалу набивается. Становится тесно, на обуви не остается живого места. Кто-то наступит, кто-то заденет. Однако все это чепуха, раз на работу успеваешь вовремя. В кармане у Тулымхана всегда лежит маленькая старая тряпочка. Сойдя с автобуса и выбравшись на тротуар, он тут же наклоняется и счищает с туфель всю пыль и грязь. Тряпку, выполнившую функцию щетки, сворачивает грязной стороной внутрь и снова кладет в карман, отряхивает костюм, поправляет галстук и, развернув плечи, идет по направлению к своей конторе.

Вот уже восемь лет, как Тулымхан сидит за одним и тем же столом. Восемь лет уже — и все на одном месте. Люди перемещаются с работы на работу. Получают повышение, растут. Есть и такие — что уж тут скрывать, и такие еще встре-

чаются среди нас, — что, нарушив общественные законы или совершив какой-нибудь чуждый для советской интеллигенции поступок, получают понижение или вообще отстраняются от должности. Тулымхану подобное не грозит. Водки он не пьет, табака не курит. К пустой болтовне пристрастия не имеет. Поэтому-то никогда никаких выговоров он не получал, и никакой дурной славы за ним не водится. Правда, и благодарностей нет у него. Но Тулымхан отнюдь не относится к числу людей, жаждущих похвалы и одержимых страстью к карьере. Он любит свою работу. И не было случая, чтобы ослушался начальства, не выполнил бы что-то, что ему поручено. Разве что на часовой перерыв в обед отлучится, а так с девяти утра и до шести вечера он не встает из-за вверенного ему стола. Стол полон папок. В одних он роется, в других что-то сверяет, в третьи подшивает, какую-то бумагу переписывает, какую-то сочиняет — и так, в кипучей деятельности, проходит весь долгий день. Но число папок на столе от этого не уменьшается. Сколько уходит, столько же и приходит. Так было, когда он двадцатишестилетним, только закончив институт, переступил порог этого учреждения. Сейчас он опытный служащий, ему уже тридцать чет-

вертый, а все так же.

Чем ближе конец рабочего дня, тем чаще люди начинают поглядывать на часы. Стараются уйти пораньше. Кто посмелее — минут на пять, кто побоязливее — хотя бы на две-три минуты. Тулымхан не относится ни к тем, ни к другим. Он любит порядок. В шесть ноль-ноль. Только тогда он поднимается со своего места.

Автобусная остановка кишит народом. Если утром люди выходят из домов кто раньше, кто позже, то вечером двери всех учреждений распахиваются в одно время. Если утром люди — выспавшиеся, отдохнувшие, то вечером все — усталые после работы. Стараясь влезть в автобус, и без того переполненный, они толкаются, теснят друг друга, кто-то падает. Бывает, что стоят в открытых дверях на ступеньках буквально на цыпочках, вывалившись наружу всем корпусом. А то еще бегут за автобусом, проехавшим остановку и раскрывшим свои двери поодаль. Всю эту суматоху порождают нетерпеливые люди. И сами без толку суетятся, и другим от них покоя нет. Тулымхан — человек с достоинством. Выдержанный. Культурный. Никого не толкает, никуда не лезет. И не бежит за проехавшим остановку автобусом как очумелый. Ждет автобуса посвободнее

или же когда народу станет поменьше. Стоять — тоже ведь отдых. В конце концов он добирается до дому в семь, а то и в половине восьмого. Но добирается не измочаленным автобусной давкой, без всякой нервотрепки и происшествий.

Когда он приходит, жена возится с ужином на кухне. Дочь в комнате на диване играет с куклой. А большой квадратный стол в самом центре комнаты стоит уже накрытый пестро-голубой скатертью.

Маленькая Найля не замечает отца, открывшего квартиру своим ключом. Она увлеклась игрой. Какое очарование детскому личику придают пушистые, чуть вьющиеся густые темные волосы! «Потом распрямятся, — говорит Шарипа. — Я маленькая тоже кудрявой была». Нет, у Найли волосы не разовьются. Если разовьются, это уже будет не Найля, а кто-то другой. В крайнем случае можно будет и специально завиваться — не так уж это трудно. Но Тулымхан не может представить себе Найлю большой, взрослой. Ему хочется, чтобы она всю жизнь была вот такая маленькая, такая очаровательная. Потому что Найля — это сам, перевоплощенный, Тулымхан. «Точь-в-точь на тебя похожа», — говорит Шарипа. Она, наверное, по глазам судит. Большущие глаза, как

две чашки. Все остальное не похоже. Наоборот: Тулымхан курнос, а у Найли носик с горбинкой. «У нас, говорят, дед был горбоносым», — говорит Шарипа. Ну что ж. Дети часто бывают похожи на родственников матери. Вот и Найля похожа. Это даже хорошо. Главное — родная его кровиночка. Тулымхан не представляет, как это он жил в этом доме без Найли. Они оба с Шарипой очень хотели ребенка. Шарипа, та подавляла свое волнение. А Тулымхан сильно переживал. И вот, когда уже не осталось почти никакой надежды, когда уже прошло чуть ли не шесть лет их совместной жизни, небо смилостивилось над ними. Тулымхан радовался как сумасшедший. Ночи напролет проводил без сна, предаваясь всевозможным мечтаниям. Но даже и тогда он еще не представлял, какое это счастье — целовать своего ребенка.

Найля замечает отца лишь тогда, когда он уже подошел. Вскакивает на ноги и начинает подпрыгивать на диване, ее кудрявые волосы при каждом прыжке взметываются вверх. Тулымхан раскрывает объятия. Девочка обхватывает его за шею своими крохотными ручонками. Тулымхан прижимает ее к себе, только-только начавшую лепетать, втягивает в себя запах ее волос. Его распирает от нежности к дочери. Хочется прижать ее

к себе так сильно, чтобы косточки захрустели. Но этого нельзя делать. И, осторожно обняв, он берет ее на руки и всю обцеловывает, с головы до пят.

— Сколько лет вы уже не виделись? — спрашивает с кухни Шарипа. Каждый вечер она произносит эту фразу. Шутит.

Ей хорошо. Работа близко. Автобуса ждать не надо. Выходит она довольно поздно, относит Найлю в ясли. В перерыв не выстаивает тоскливую очередь в столовой, а приходит обедать домой. Вечером тоже все успевает раньше него. Как хорошо, когда работа рядом с домом. Но дело не только в этом, Тулымхан знает. А уж оттого, что знает, и ценит. Такой жены ни у кого нет.

Шарипа приглашает отца и дочь к столу. Замечательная жена! А как она вкусно готовит! Интересно, что на сегодня?

— Борщ по-казахски, — говорит Шарипа.

Тулымхан смеется. Казахи раньше не знали, что такое борщ. На завтрак — мясо, на обед — мясо, на ужин — мясо. Капусту не выращивали, какой уж тут борщ! Борщ по-казахски — это так Шарипа назвала. На обыкновенный борщ нарезается побольше мяса. Если добавить еще кость посолидней и несколько ребрышек — совсем хорошо. И картошки кладется больше, чем поло-

жено. Это тебе и борщ, и суп, и тушеное мясо, а все вместе — борщ по-казахски.

После ужина Тулымхан берет сумку и спускается на улицу. Надо сходить в гастроном, купить продуктов на завтра и всякие другие необходимые мелочи. И по хозяйству поможешь, и ужин по телу разойдется, и по свежему воздуху прогуляешься.

Вернувшись из магазина, Тулымхан снова берет дочку на руки и смотрит телевизор. Только до десяти. Потому что в десять Найлю нужно укладывать. После того как дочь заснула, Тулымхан снова смотрит телевизор. Вдвоем с Шарипой. Причем не беспорядочно, все подряд, а строго по программе. Смотреть впустую, ненужное — это вредно для глаз. Да и телевизор быстрее изнашивается.

Одиннадцать часов вечера, половина двенадцатого. Сегодняшний день закончен.

Тулымхан ложится. Спит.

Утром все начинается заново.

Выходные дни проходят несколько иначе. Тулымхан, собрав Найлю, отправляется на прогулку. Путь они держат недальний. Они садятся в автобус, идущий от центра, и через две-три остановки выходят. Вокруг — ряды четырехэтажных

домов. Крупнопанельных. Как будто дома сложены из обтесанного серого горного камня. Все предварительно вымерив и подсчитав, пробили в этих камнях десятки окон и, чтобы окна соседних квартир отделялись друг от друга, встроили там и сям балконы. Один дом похож на другой. Тулымхан и сам живет в таком же. Та же архитектура. Тот же вид. Но в облике этих вот домов есть все-таки своя особенность. Они как бы сбежались сюда откуда-то и, словно бы оробев перед чем-то, столпившись, остановились. Они буквально нависают над улицей с оживленным двусторонним движением, — туда и сюда несутся по ней с ревом и воем автобусы, троллейбусы, легковые и грузовые машины. Эту улицу называют Северным кольцом или иначе: Жамбас жол — Главная дорога. Главная дорога — граница города. На другой стороне ее — чистая степь. Ни одного дома. Квадратное поле, засеянное клевером и кукурузой. По обеим сторонам его — глубокие арыки под тенью тесно посаженных друг к другу, высоко взметнувшихся к небу тополей. Яблоки, вишни, урюк. Посадив Найлю на шею, Тулымхан уходит далеко за дорогу и останавливается где-нибудь в тени у воды. Осторожно спускает девочку на землю. Расстилает на траве одеяло, которое принес с собой

в сетке. И начинается самое интересное. Отец и дочь борются. Играют в футбол. Бодаются, как бараны. И, устав, отдыхают. После того как съест захваченную отцом из дома еду, Найля спит, а Тулымхан загорает. Домой они возвращаются где-то к вечеру, а то даже и с закатом солнца.

Зимой они тоже заходят за город. Конечно, если хорошая погода. Катаются на санках. Играют в снежки. В «палки-стрелы». Строят снежный городок. К обеду, проголодавшиеся, но веселые и довольные, возвращаются домой.

Шарипа никогда не ходит с ними. Стирать надо. Квартиру убирать. Магазины обойти. И множество еще всяких других дел. Кто их за нее делать будет? Нет, она останется дома. Все равно ей неинтересно. Не поддается никакой агитации, не уступает никаким мольбам Тулымхана. И не позволяет им оставаться дома. Говорит — мешать будете убирать. Лучше отдохните, подышите свежим воздухом. Сует им в руки необходимые вещи и буквально выталкивает из дома.

Вот какая заботливая жена. И замечательная мать.

Тулымхан этой жизнью был доволен.

Но было в ней одно обстоятельство, заставлявшее его сходить с наезженной колеи. Команди-

ровки. Раз в месяц. В обязательном порядке. Иногда по три дня. А большей частью по четыре-пять дней. Билет надо брать. В аэропорт надо ехать. В самолет садиться. Час, два, три часа добираешься до нужного места. Выходишь. Гостиница. Его все знают. Приезжал пять или шесть месяцев назад. И в прошлом году приезжал. И в позапрошлом, и в позапозапрошлом. Номер для него готов. Но Тулымхану все это чуждо. Чужая среда. Чужие люди. Что может быть лучше того, чем ночевать у себя дома, сидеть за своим столом!

В областном отделении его встречают очень хорошо. Он представитель «верха». Из центра приехал. Все перед ним так и порхают. Все его чрезвычайно уважают. Тулымхан уже не ощущает себя самой маленькой деталью гигантской машины, как это бывает с ним в столице, — он здесь ее заметная, весомая, значительнейшая часть. Ему уже кажется, что, не будь его, и из щупалец его учреждения, запущенных в самые отдаленные уголки республики, уйдет жизнь, да и не только это — развалится работа вообще всего учреждения. От так и расцветает от оказываемого почета, вырастает в своих глазах.

Днем в хлопотах время проходит быстро. Мучения начинаются вечером. Тулымхан думает о

маленькой дочурке Найле, которая обычно повисает у него на шее, когда он приходит с работы. Не замерзла ли она там? Не мучит ли животик? А может, зубки вдруг заболели? И еще она имеет привычку, проснувшись ночью, просить воды. Шарипа спит крепко, как бы девочка не замучилась там от жажды. А то вдруг решит она сходить за водой сама, начнет вылезать из кроватки — и упадет? Много всяких мыслей лезет в голову. Много переживаний. Ночь напролет думает о дочери Тулымхан, весь изведется. Потом начинает думать о жене, о своей Шарипе. Вспоминает, какая она рачительная хозяйка, какая она хорошая семьянинка. Ни к чему он не может придраться ни в делах ее, ни в поступках. Вспоминает и о других ее достоинствах. Вспоминает ее белоснежные, без единого признака дряблости округлые плечи, высокую полную грудь, нежный запах ее шеи, ее плавную талию… Обхватив руками подушку, Тулымхан уносится в мир грез. Вспоминает первые их месяцы, первые годы. Очень они были жаркими. Умела она дарить наслаждения. И сама принимать умела. Вспомнишь вот так — как будто сон. Потом мало-помалу Шарипа почему-то охладела. Словно бы устала. Или все это приелось ей. Правда, она его никогда не отталкивала. Но

как бы только исполняла свой долг — и все. Временами все же она отдавалась страсти, забывая обо всем на свете, со всем пылом души. Прямо как девушка. Тулымхан, хотя и не знал в своей жизни другой женщины, был уверен, что во всем мире подобной жены больше нет.

В последнее время у Шарипы появились черты, которых раньше он не замечал в ее характере. Почему мы до сих пор живем в однокомнатной квартире? Все тебя называют работником торговли, считают богатым, когда же ты будешь приносить в дом достаточно денег, настанет ли день, когда мы перестанем считать копейки? Даже те, что позже тебя пришли, уже старшими инспекторами стали, когда же ты вырастешь? Подобные упреки Тулымхан слышал и раньше. Еще когда Найля не родилась. Но особенного внимания он на них не обращал. Не помнит — то ли просто не придавал им какого-то значения, то ли Шарипа высказывала ему все это не с такой резкостью и категоричностью. Да если бы он и обратил внимание, если бы придал значение, что бы он сделал? По закону им на двоих полагалась однокомнатная квартира. И то вне очереди получили — подвернулся случай: многие, стоявшие впереди, отказались ехать сюда, в микрорайон,

куда-то к черту на кулички. Конечно, тесновата квартира, особенно теперь, когда Найля родилась, стала тесной, но ведь сколько еще людей не имеют собственной крыши над головой, ютятся на частных квартирах! Надо ведь и об этом подумать! Что же он может сделать, если нет у него пока возможности получить квартиру побольше. Все это в руках большого начальства. Не может же он просто вот так заявиться к нему и требовать. Ну, а насчет повышения — так ведь это тоже связано с начальством. На работу он приходит без опозданий, положенное время отсиживает полностью, с обязанностями, на него возложенными, справляется. Что он может сделать еще? Кого он будет умолять — дескать, повысьте меня! Все работники в конторе закончили институты. Не скажешь ведь, что такой-то, который отделом заведует, он меньше тебя это место занимать достоин. Конечно, есть джигиты, которые растут более чем скоро. Кто-то сам силен, у кого-то родственники сильные. Ну, а он способен лишь на одно — ждать. Сочтет начальство необходимым — так, возможно, и повысят его. Ну, а заработок… заработок связан с работой. Деньги, которые получает, он ни что не тратит, все до последней копейки отдает жене. Даже от коман-

дировок у него что-то остается на дне кармана.

Так что выдвинутые против него женой обвинения Тулымхан находил несправедливыми. Тем не менее всякий раз, когда она заговаривала об этом, он чувствовал себя неловко. То, что его зарплата на нынешней службе невелика, — это одно, это от него не зависело, другое дело, что он давно уже внутренне признавал неудобство своей нынешней работы для семьи. Он даже начал сообразно своим возможностям узнавать у начальства, а нельзя ли ему обменяться местами с каким-нибудь из вновь прибывших холостяков. Но результатов пока не было никаких. Похоже, начальство считало, что с его работой справится не всякий. Что ж, он оставался на прежней должности. Только старался как можно реже выезжать в командировки, а если выезжал, то не надолго. Поэтому-то в очередное свое путешествие в один из осенних слякотных дней Тулымхан отправился с крайней неохотой.

Командировка же выдалась дольше обычного — на пятнадцать дней. И то ли потому, что уезжал он надолго, то ли видя, как он расстроен, и желая поднять ему настроение, Шарипа пошла его провожать. Говорила ему, чтобы он не беспокоился ни о дочке, ни о доме, а хорошенько

бы выполнял задание — не заработал бы дурной славы и поскорее бы возвращался. Пообещала писать каждые два-три дня. Очень они славно, по душам поговорили — прямо как в первое время — еле-еле оторвались друг от друга.

Город, в который Тулымхан летел на сей раз, был Кызылжаром. Там уже стояла зима. Было морозно. Устроившись в гостинице, он тотчас поехал в нужное ему учреждение. Однако включиться в работу с ходу не удалось. Заведующий отделом, к которому он специально приехал, оказывается, заболел.

Тулымхан прождал его десять дней. Он покончил в отделе со всеми делами, в которых можно было обойтись без заведующего, и счел дальнейшее свое пребывание здесь бессмысленным. Он связался с Алма-Атой и получил разрешение на выезд. Вскоре он уже сидел в самолете. Вечером будет дома. Как, наверное, истосковалась по нему дочка! А как обрадуется Шарипа, ожидающая его только дней через пять-шесть. Трудно ведь женщине одной.

Но с дорогой Тулымхану не повезло. Алма-Ата не принимала, и всю ночь он сторожил карагандинский аэропорт. А как бывает в подобных случаях, всем известно. Объявляют: вылет от-

кладывается на два часа. А потом предлагают: подождите еще три часа. Три часа обрастают еще часом-другим. И не поспишь. И не отдохнешь. Сидишь как на иголках, точно провинился в чем-то и вот сейчас ждешь наказания.

Наконец Тулымхан полетел. С рассветом. Как встало солнце.

В аэропорту он сел в «экспресс» и к обеду добрался до своего микрорайона. Как раз в это время Шарипа приходила домой. Пить чай. Тулымхан решил разыграть жену. Тихо открыв замок своим ключом, он зашел в квартиру и постучал в дверь с внутренней стороны:

— Кто у нас дома есть?

В доме действительно кто-то был. Но после его слов на мгновение установилась тишина. Затем сдавленный, испуганный голос спросил по-русски:

— Кто там?

— Шарипа, жена Тулымхана, здесь живет? — И, довольный своей шуткой, Тулымхан раскатисто рассмеялся.

— Сейчас, — ответила Шарипа, и голос ее странно задребезжал. — У тебя ноги грязные, подожди.

В следующее мгновение она выбежала к нему. Накинула на себя легкий халат. Даже застегнуть-

ся не успела. Совершенно голая.

— Ты что? — недоуменно спросил Тулымхан.

— Я… я спала… — сказала Шарипа. Дрожащими пальцами она стала застегивать халат на груди.

— А-а… — протянул Тулымхан.

— Я приболела что-то… — пробормотала Шарипа, боязливо заглядывая ему в лицо. — Дня три, как приболела, на работу не пошла…

Действительно, Шарипа была бледна. И тяжело дышала, как запыхалась — едва переводила дыхание.

— Найля где? — спросил Тулымхан, у которого на душе сделалось вдруг неспокойно.

— Найля в садике. Ты погоди, не раздевайся. В пыли весь! Сама почищу. Да погоди же, говорю! — закричала Шарипа. — И не разувайся. Сейчас принесу какую-нибудь тряпку и вытру. Не двигайся с места, стой! — Обняв Тулымхана за шею, она коснулась губами его губ. Они у нее так и горели. — Сейчас.

Но в комнате Шарипа задержалась надолго. «Сейчас, погоди», — только и твердила из-за двери. Бегала по комнате туда-сюда, словно бы перекладывала что-то с места на место. Показалось даже, будто она зашепталась с кем-то, сказала что-то отрывисто. Открыла дверь — не то

шифоньера, не то балкона — и снова закрыла. И только потом уже вышла в прихожую.

— Чего не раздеваешься стоишь?

— Тряпка-то твоя где? — спросил Тулымхан.

— А? Д-да… Не нашла.

— Сейчас найдем, — сказал Тулымхан.

Он сунул Шарипе тяжелый портфель, который до сих пор держал в руках. Быстро скинул обувь, верхнюю одежду и прошел в комнату. Вконец побледневшая Шарипа в обнимку с портфелем двинулась было следом за ним, но тут же и остановилась, прислонившись к косяку.

— Ты ложись, — сказал ей Тулымхан. — Знал бы, что ты так… раньше бы приехал. Ложись, говорю.

Шарипа поставила портфель на пороге и, как призрак, подойдя к кровати, опустилась на совершенно развороченную постель со сбитым в сторону одеялом и смятыми подушками.

— Раз, два, три — прячься и сиди… Раз, два, три — прячься и сиди. Раз, два, три — прячься и сиди… Готово? Ищу!

Сначала Тулымхан заглянул под кровать.

— Под кроватью нет…

Затем он заглянул под диван.

— Под диваном нет…

Посмотрел за телевизором.

— За телевизором нет... Нигде нет, нет, нет! Ага! — воскликнул он. — В шифоньере ты сидишь.

Но и в шифоньере никого не оказалось.

— Где? — спросил с недоумением на лице Тулымхан.

— Кто?

— Я же только что слышал, как ты шепталась.

— Ни с кем я не шепталась.

— Хорошо! — во весь голос сказал Тулымхан. — Я не нашел! Найля, выходи! Я по тебе соскучился. Давай обнимемся.

Найля не появилась. Зато Шарипа соскочила с постели, взмахнула руками, повисла у Тулымхана на шее.

— Я Найлю утром в детсад отвела, святая правда, — сказала она. Висела у него на шее и не отпускала. Намертво обхватила. Видно, истосковалась. — Фу! — сморщила она нос. — Какой ты грязный!..

Тут же, не медля, она стащила с него пиджак, брюки и за руку повела в ванную. Только тогда Тулымхан и заметил.

В коридоре, у самого порога, за его растоптанными осенними коричневыми туфлями стояли

огромные черные ботинки с большими застежками, на толстой подошве, невероятно толстой, не меньше чем в два пальца. У Тулымхана даже дыхание перехватило.

— Эй… эй!.. Это… чьи?

Отбросив руку жены, продолжавшей тащить его к ванной, он подошел поближе и присмотрелся к ним. Да, чужие.

— Откуда они у нас?

— Что?

— Что… вот эти ботинки.

— Сами пришли! — Шарипа звонко рассмеялась. — Ой, глупыш ты мой. Да пойдем же скорее. Откуда неживые ботинки возьмутся в доме, если их кто-нибудь не принесет? Я принесла. К твоему дню рождения.

— Мой день рождения…

— А что, за месяц вперед нельзя купить? Только вот плохо, что ты увидел. Теперь неинтересно.

Но Тулымхан что-то не очень поверил ей. Он потянулся к ботинкам рукой, чтобы рассмотреть эту обувь как следует, но Шарипа обняла его сзади.

— Нельзя, — сказала она. — Посмотришь, когда подарят.

И чуть ли не насильно впихнула его в ванную. Пустила воду из крана. Принесла все необходи-

мое для мытья: мыло, мочалку. А затем снаружи подперла дверь не то старым тазом, не то табуреткой — чем-то, в общем, основательным.

— Убежишь еще, — сказала она, стараясь перекричать шум льющейся из крана воды. — Мойся побыстрее. Я пока поесть приготовлю. Проголодался, поди.

Тулымхан только делал вид, что моется, он лишь сполоснулся. Его грызли сомнения. Черные ботинки… Надо бы все-таки рассмотреть их. Но ботинок, когда он вышел, на месте не оказалось.

— Что ты ищешь? — спросила Шарипа, увидев, как Тулымхан роется в обувной полке, вынимая всю обувь подряд и заталкивая ее обратно.

— Да эти вот…

— Зачем они тебе?

— Рассмотреть хотел. Вроде бы ношеные…

— Новые, — ответствовала Шарипа. — Совершенно новехонькие. Сказала ведь, подожди до дня рождения. Тогда и дам.

— Они мне не нравятся, — сказал Тулымхан. — Какие-то… ну как… страшные какие-то.

— Ну, а я… нравлюсь?

Она все еще была не одета. По-прежнему безо всего под халатом. Она его застегнула на все пуговицы. Только самая нижняя оторвана. И

полы халата расходятся. И видны ее гладкие белые бедра. У Тулымхана все поплыло в глазах от желания.

— Может, чай после попьем?

— Давай, — сказала жена. — Я ведь по тебе тоже соскучилась.

Не то осень, не то зима, точнее, ни то ни се — пора предзимья затянулась. Тулымхан с Найлей выходные дни стали теперь проводить дома. Пойти бы прогуляться, отдохнуть, но день холодный, промозглый. На салазках бы покататься, да на земле и снега-то нет. Ночью — ледяная корка, днем — слякоть. Шарипа тоже вся извелась, прислушиваясь к сводкам синоптиков. И когда наконец в один из вечеров накануне выходного крупными хлопьями повалил снег, все ему обрадовались.

Тулымхан взял санки, все лето простоявшие привязанными на балконе, почистил полозья, протер, даже веревку привязал новую — в общем, подготовился как надо.

Наутро, торопливо позавтракав, они с Найлей отправились за город. Шарипа проводила их до телефона-автомата у почтового отделения. Ей надо было позвонить какой-то женщине, подружке по работе.

Прогулка вышла прескверная. Слой снега оказался слишком тонким, А под ним — или застывший шишками лед, или просто окаменелая земля. В первый же раз, как санки попали на лед, они заскользили юзом, перевернулись, и Найля разбила себе нос. Дети часто падают. Поднимутся — и тут же снова включаются в игру, не успев и снег-то с себя стряхнуть. Тулымхан, оставшийся на горке, даже в ладоши захлопал и закричал что-то веселое, когда санки перевернулись. Но, увидев, с каким громким ревом встала дочурка, увидев лицо ее, все в крови, он испугался.

Кровь остановилась быстро. Найля перестала плакать. Все у нее вроде было в порядке — ни царапин, ни ушибов. Но тем не менее гулять дальше как-то сразу стало неинтересно. Тулымхан, ведя Найлю за руку и волоча на веревке санки, пошел домой.

Он переступил порог квартиры — и недоуменно замер на месте. Кто-то невероятно громадный, горбоносый, в черной папахе, надвинутой на глаза, снимал в прихожей пальто. Тулымхан был до того ошарашен, что, забыв, как он только что самолично открывал дверь своим ключом, решил даже, что нечаянно попал в чужую квартиру. Незнакомец тоже опешил. Как снял один рукав,

так и остался стоять с полуснятым пальто, выпучив на Тулымхана большущие круглые глаза.

— Вы… вы извините… я так… — сказал незнакомец, и сизые от бритья щеки его нервно задергались.

В это время из кухни выбежала Шарипа. Но выразить свое удивление она не успела. Найля, ровно ни на что не обратившая внимания и, как вошла, скинувшая в прихожей валенки и направившаяся было в комнату, увидев мать, расплакалась, вспомнив, видимо, как упала с санок и разбила себе нос.

— Что с ней? — испуганно уставилась на Тулымхана Шарипа.

— Ш-шанки упали, — проревела Найля, утыкаясь лицом в материн подол.

— А-а… ну ничего, ничего… — забормотала Шарипа, успевшая уже прийти в себя. — А ты чего стоишь? — обратилась она к Тулымхану уже по-русски. — К нам гость пришел. Почетный гость. Надо его в комнату пригласить. — И, не дожидаясь, пока муж сдвинется с места, раздела гостя сама. Тулымхан только тогда и заметил, что у незнакомца вместо левой руки культя. — Вот, Сурен Арамович, — сказала Шарипа, помещая длинное пальто гостя с каракулевым воротни-

ком на вешалку. — В такой вот конуре живем. Одна-единственная комнатенка. Восемнадцать квадратных метров. На кухню маленький стол едва влазит. Повернуться негде. Хорошо, что зашли. Ай, а познакомить-то вас я и забыла, — спохватилась она, качая головой и как-то напряженно смеясь. — Это мой муж. Зовут его Тулымхан. А это — Сурен Арамович Карапетян. Заместитель директора у нас. Проходите, Сурен Арамович. Найля, отойди-ка в сторонку, не путайся в ногах.

— Спасибо, — поблагодарил Сурен Арамович, улыбаясь, и лицо его сложилось складками. — Разуемся… грязно на улице-то…

Тулымхан невольно глянул на ноги гостя. Черные ботинки на толстой подошве с большими застежками… У него зашлось сердце. Те. Те самые. Он смотрел то на ноги гостя, то на жену.

— Где мои новые ботинки? — спросил он затем по-казахски.

Шарипа, кокетливо засмеявшись, покачала головой.

— Потерялись. — И снова перешла на русский: — Сурен Арамович, простите, подобные вопросы задают лишь женщины — где вы купили ваши ботинки?

— Где?

— Будьте добры, проходите.

Гость сел на диван. Следом за ним в комнату, как тень, проплелся и хозяин дома, Тулымхан. Но он не сел, встал посередине комнаты и стоял как вкопанный.

— Где, говорите? — машинально повторил вопрос Сурен Арамович. — Не знаю. Жена принесла.

— Жена!.. — подхватила Шарипа. — Ваша жена, должно быть, очень счастливая. Что ни принесет, вы все принимаете. А мой вот товарищ не такой. Принесла я ему ботинки — точь-в-точь как у вас. Не понравились. Не буду носить, говорит.

— Напрасно, напрасно, — сказал Сурен Арамович. Он вытащил из нагрудного кармана расческу и причесал свои и без того прилизанные, блестящие вьющиеся волосы. Только на висках они были чуть-чуть посеребрены. — Теплые. Прочные. Замечательные ботинки. Английские ботинки. Долго носятся.

Но Тулымхану от этого легче не стало. Подозрение буквально жгло его. Он только и ждал повода, чтобы взорваться.

Не улучшили настроение Тулымхану ни похвалы, которые гость расточал по адресу Найли, ни ласковое его обращение с нею, ни его очень

внимательные расспросы о работе Тулымхана.

После того как поговорили о погоде, о всяких подобных разных разностях, Шарипа встала и молча отозвала Тулымхана в сторону.

— Ты чего как корова, которой вот-вот телиться, сидишь? — сказала она свистящим шепотом, стараясь не повышать голоса. — Большой человек. Что он о нас подумает? К тому же и не казах. Гость, который второй раз не придет. Или не говорила я тебе, что наш комбинат дом строит? Скоро квартиры распределять будут. Он к нам специально пришел, по моей просьбе — на наши жилищные условия посмотреть. Ужасно справедливый человек. К тому же и власть у него в руках. Неужто и это не разумеешь?

Голова у Тулымхана совсем пошла кругом. А Шарипа сунула ему в руку большую сумку и положила в карман деньги, весьма порядочное количество.

— Коньяк возьми, одну бутылку. Армянский коньяк. Лучше четыре звездочки, если будет. Сыру сто пятьдесят граммов. Смотри, плавленого не возьми. «Эстонского» или «Советского». Хорошей колбасы, если будет, копченой… — Неожиданно она остановилась, как-то обессиленно уставившись на него, и махнула рукой, злость у нее уже

прошла. — Ничего ты в таком дурном настроении, пожалуй, не принесешь. Напишу-ка я лучше. А ты вон те новые ботинки надень, — сказала она, уходя в комнату. — У старых-то вон каблуки совсем отвалились. От людей стыдно.

Тулымхан и сам удивился, как это он не заметил раньше. На полке для обуви стояла новехонькая белая коробка. А в ней, поблескивая новой кожей, лежали черные ботинки. Подошвы в два пальца. С большими застежками. Английские ботинки. Новые-новые.

У Тулымхана все внутри задрожало. Торопясь, он стал надевать ботинки. Внутри был толстый ворс, мягкий-мягкий. Ноге было тепло-тепло. Пальцы не слушались Тулымхана, он едва справился с застежками. Забыв накинуть пальто, опрометью бросился на улицу.

— Знаю! — уже с лестницы прокричал он жене, которая что-то говорила ему вслед. — Не дурак я, сам знаю, что для почетного гостя покупать!

Прошло немного времени, и семья Тулымхана в селилась в новую квартиру. Квартира была двухкомнатная. Третий этаж. На окраине микрорайона, у Северного кольца, чуть ниже проспекта Абая. Теперь Шарипе стало далековато до работы. Но и отсюда можно было ходить пешком. Выйти

минут на пять раньше — и все дела.

Говорят, бог пожелает — одарит не скупясь: очень скоро Тулымхан устроился на работу в только что открывшийся гастроном, совсем рядом с домом. Он не директор. Не заместитель. Не главбух. Но тоже руководящий работник. Все в его руках. Доходов — выше головы. И семье хорошо: в командировки выезжать не надо, в перерыв дома обедаешь. Шарипе уж и грех жаловаться на что-то. Даже в выходные дни она теперь не остается одна. Идти-то до природы несколько шагов, вот и поднимаются они всей семьей — дочь, отец, мать. Ну, если что-то и останется недоделанным?! Надо ведь и радости отведать в жизни, которая так коротка! Не прошло и месяца, а Тулымхан забыл, как в утренних потемках бежал к автобусу, как, не зная теплой супружеской постели, мотался по командировкам. Словно с самого начала была у них жизнь такой гладкой, всего в достатке и в изобилии, живи да радуйся.

Только Шарипа, говорят, все никак не может свыкнуться с этой их новой жизнью.

1973

Перевод А. Курчаткина.

АРХИВНАЯ ИСТОРИЯ

Мы с ним случайно встретились на улице. Хотя и жили в одном городе, не виделись мы уже около года. Он все такой же, как в прошлом году, как в позапрошлом, как десять лет назад, когда мы учились в аспирантуре. Фетровая шляпа со сломанным передним полем, надвинутая на глаза. Черно-белый шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи. Короткое демисезонное пальто. Узкие брючки. Туфли на толстой подошве. В левой руке как бы между прочим зажаты черные кожаные перчатки. Мода меняется, сменяются времена года — Сембек неизменно одинаков. И в осенний дождь, и в зимние морозы он одевается в одно и то же. И не только в одежде он постоянен. Нисколько не изменился он сам: тот же нелюдимый характер, та же манера говорить — все как десять лет назад.

А в первые месяцы знакомства с этим парнем я ничуть не сомневался, что он человек необыкновенный, что его ждет большое будущее — будущее великого ученого. Было ему тогда двадцать два года. Закончив с отличием исторический факультет, он по решению ученого совета был оставлен

в аспирантуре. Казахским и русским языками владел он одинаково превосходно. Недурно знал английский и немецкий. И еще, я слышал, делал успехи в изучении персидского и арабского, а в перспективе у него был и китайский. Мне тоже в ту пору едва-едва перевалило за двадцать. Я тоже с отличием закончил университет. Я тоже, я тоже… Одним словом, я считал себя чуть ли не гением. Но все же, познакомившись с Сембеком, должен был признать его превосходство. Причем признал я это без всякой внутренней борьбы, потому что преимущество его было просто бесспорно — он и в самом деле был каким-то сверходаренным. Правда, специальности у нас были разные, кроме того, способность к языкам еще не есть способность к научной деятельности. Но меня в Сембеке поражала не сама хватка его, а глубина его знаний — во всем, чем он когда-либо занимался. Поражала его бескрайняя, безграничная эрудиция. Дело дошло до того, что в его присутствии я уже не решался говорить ни о чем по своей специальности — филологии. И не один я — вся аспирантская братия в общежитии буквально поклонялась Сембеку как некоему идолу. Никто не сомневался, что кандидатскую диссертацию он защитит раньше срока и, пока

мы будем возиться со своими, подготовит и докторскую.

Молодость — та пора, когда человек подвластен более чувству, нежели разуму. Можешь в одно мгновение влюбиться или возненавидеть, и так же в одно мгновение разочароваться в том, во что веровал; потерпишь неожиданное крушение каких-то надежд — и тут же отрекаешься от прежних своих пристрастий. Прошел год, другой, и мы начали сомневаться в гениальности, да и вообще в какой-то особой даровитости Сембека. А к середине третьего года просто убедились в том, что он такой же смертный, как и мы, и даже не потягается, пожалуй, со многими из нас. За все время Сембек сдал лишь кандидатский минимум. Ни одной публикации за душой. И ни строки диссертации не написано. Скажете, заленился, запил или загулял… Нет, нет и нет! Днями и ночами просиживал он в библиотеках и архивах. Съездил два раза в Казань, по разу — в Москву и Ленинград. Но все равно ничего не сделал. И в конечном итоге, когда его товарищи, закончив аспирантуру, одни защитив диссертацию, другие завершая над ней работу, разлетелись кто куда — кто в академию, кто в высшие учебные заведения, — получил всего лишь жалкое свиде-

тельство о прохождении теоретического курса аспирантуры и устроился рядовым сотрудником в Центральный архив.

Мы не были с ним закадычными друзьями, но приятельские, добрые отношения между нами сохранились. Во всяком случае, при встречах на улице мы не ограничивались простым кивком головы, а останавливались, здороваясь за руку. Расспрашивали друг друга о доме, о детях, о работе. Впрочем, если быть точным, останавливался и протягивал руку для приветствия я, а уж расспрашивал потом обо всем он. То ли Сембек смотрел на всех свысока, то ли впрямь не замечал никого вокруг себя, но никогда он не здоровался первым, даже если ты и шел прямо на него; только после твоего приветствия он вдруг вздрагивал, словно ты разбудил его, и поспешно протягивал руку. Тут же начинал дотошно выспрашивать тебя о здоровье твоей жены, здоровье твоих детей и, как следователь, выпытывал, в каком состоянии твоя докторская. Ну, а ты, разумеется, подобных вопросов ему не задавал, не решался. Жены у него нет, а раз нет жены, то нет и детей. Кандидатскую он еще не защитил, а потому ни о какой докторской не может быть и речи. Раз спросишь, другой спросишь, третий спросишь, а потом и самому

неинтересно становится. Трудно разговаривать с человеком, который живет бобылем, всех сторонится. Люди, не добившиеся того, чего желали, потерпевшие неудачу в жизни, очень обидчивы. И если тебе выпало на долю начать свой жизненный путь рядом с таким человеком, тебе, считай, весьма не повезло. Совсем не разговаривать с ним невозможно, а расспрашивать его о том о сем тоже нельзя. Ты чего-то добился, а у него вот не вышло. Решит еще, что, расспрашивая, упиваешься достигнутым. В общем, как говорится, палка о двух концах.

Правда, если ты хорошо знаешь этого человека, тебе бывает достаточно при встрече буквально одного взгляда на него, чтобы определить, о чем спрашивать, а чего в разговоре лучше избежать. За десять лет я тоже успел изучить Сембека.

Поздоровавшись, сказав два слова о том, что давно не виделись, оба мы на несколько секунд умолкли, и в это короткое мгновение молчания я вдруг понял, насколько обманчиво было мое первое впечатление от Сембека, — в нем произошли значительные перемены. Худое лицо его осунулось еще больше. Необычно тонкие губы были сурово сжаты, в правом углу рта залегла морщина горькой усмешки. Глаза потухли, нос словно бы

заострился. Между густыми бровями появилась складка, рассекавшая лоб почти до середины. Он не стал, как прежде, расспрашивать меня о здоровье моей жены, которую никогда не видел, интересоваться, какие языки изучают мои дети (еще дошколята) и к чему их, собственно, влечет. Он снова молча взял мою ладонь в свою, сжал ее так, что я почувствовал, как напряглись все мышцы его сухой, костистой руки, и внимательно посмотрел мне в лицо. Казалось, он хотел мне сказать что-то. Я замер в ожидании. Но Сембек ничего не сказал. По его невидяще уставившимся на меня глазам я вдруг понял, что мысли его сейчас далеко отсюда, на иной земле, на другой планете, и, кстати, он и меня, стоящего напротив, не видит. Неожиданно лицо Сембека, точно он насмехался надо мной, искривилось какой-то дьявольской усмешкой и застыло в ней, тонкие его ноздри сжались. Но мысли его по-прежнему были далеко отсюда.

— Так как дела-то? — спросил я, не выдержав больше молчания.

— А? — Сембек вздрогнул так, что вздрогнул и я сам.

— Ты очень похудел, — сказал я, пытаясь высвободить руку из его клещей.

— Самет-аксакал изволил отбыть в мир иной… — глухо ответил он.

По-видимому, это был какой-то его родственник. Я выразил Сембеку соболезнование.

— Да нет, он мне не родственник, — сказал Сембек. — Ты его знал. Он в архиве работал. Был там один старичок, маленький такой, еще прихрамывал на одну ногу, помнишь? Так это он.

Я помнил этого старичка. Была у него привычка глядеть на человека прищурив глаза, как бы испытующе, с видом сознающей свое превосходство над всеми личности. Шустрый, живой старичок был. С песочными такими волосами. Щупленький. Но ведь его…

— Так он же давно умер.

— Верно говоришь. — Сембек наконец отпустил мою руку. Надо же — худущий, а силы в нем хоть отбавляй. — Он умер, когда мы еще в аспирантуре учились. Вот сегодня ровно семь лет, десять месяцев и двадцать дней.

Кожу на голове мне обдало холодом. Еще в аспирантуре доходили до меня слухи, что Сембек, говоря по-народному, заучился и на этой почве тронулся умом. Я не верил в это, но подспудно какое-то подозрение жило в душе всегда.

— Он испугался меня, — сказал Сембек. — По-

чувствовал, что проиграет. Потому и замел следы. Но я уже сейчас могу смело говорить, что сделал не меньше, чем он. А ведь он был великим ученым. Все-таки я сумел сравняться с ним. Во многих местах он так и не побывал. А я там побываю. Ты знаешь, какие это места? Библиотека Стамбульского университета. Потом Британский музей…

Я закивал головой, делая вид, будто соглашаюсь с ним, и собрался уходить. Но Сембек неожиданно взял меня за плечо, с сомнением поглядел мне в лицо и расхохотался.

— Ей-богу, ты сейчас наверняка подумал, что я пьяный или еще что. А может, ты поверил уже в этот слух, что я, дескать, умом тронулся?

Я стал поспешно разуверять его в этом. Сказал, что иду в библиотеку, что спешу. А ни о чем подобном и думать не думал.

— А, пусть! — Сембек перестал смеяться так же неожиданно, как начал, словно обрезал свой смех ножом. — Пусть болтают что угодно — мне все равно. Но ты мой старый приятель. И мне бы хотелось, чтобы ты знал. Ты должен, знать. Кто я такой. Чем занимался эти долгие десять лет. Я провожу тебя до библиотеки. Весь-то мой рассказ — на десять-пятнадцать минут.

— Что я собой представлял при зачислении в аспирантуру, ты знаешь сам, — начал Сембек. — Все ждали от меня больших дел. Я и сам не сомневался, что блистательно войду в науку и будет это причем довольно скоро — через два-три года. У меня всего достало бы: и знаний, и ума, и воли. Не успел я узнать, что зачислен в аспирантуру, как уже сидел в архиве. Я спешил. Я очень спешил. Я не знал, что такое выходные дни, что такое кино, театр, не знал никаких развлечений. Я работал по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки, работал каждый день. А кроме того, ты знаешь, я ведь за час мог с делать, столько, сколько другой за пять часов, за пять дней и даже, если хочешь, за пять месяцев.

С самого первого дня, как пришел в архив, я заметил, что за мной наблюдает один человек. Какие бы дела я ни запрашивал, какие бы ни просматривал бумаги, что бы ни читал и ни выписывал — ничто не ускользало от его внимания. Сощурит свои старческие выцветшие глаза и поглядывает на меня украдкой, а то проходит мимо, даже вроде головы не повернет, а я уже знаю, что за эти считанные мгновения он получил все необходимые ему сведения обо мне. Сначала все это меня удивляло, потом стало забавлять, но со

временем эта повторявшаяся изо дня в день, из месяца в месяц картина стала меня, в общем-то, раздражать. Чего я только не делал, чтобы сбить с толку моего преследователя, да не просто сбить с толку, а еще и посмеяться над ним, поиздеваться. Я брал совершенно ненужные мне дела, раскладывал их перед собой по две, по три папки сразу, но он тем не менее безошибочно определял, что я ищу, что мне надо и что я уже нашел. Ты сам знаешь, что такое работа в архиве. То из-за какого-нибудь пустяка возишься дни и даже недели, а то за один день найдешь материал, которого хватит на год работы. Так вот, я заметил: в неудачливые дни мой негласный опекун не подходил ко мне вовсе. Он даже на глаза мне не показывался. Ну, а когда мне везло — это просто удивительно! — он обязательно околачивался рядом. Я чуть ли не начал верить, что этот тщедушный старик, словно привязанный ко мне какой-то невидимой нитью, обладает даром провидения.

Где-то к весне судьба улыбнулась мне. Я нашел никогда, нигде не публиковавшийся, не известный науке документ, имевший прямое отношение к казахской истории. Вне всякого сомнения, этот документ немедленно был бы опубликован на страницах солидного издания, и

я благодаря ему получил бы признание и славу. Как и все молодые люди, только вступающие на стезю науки, я был тогда чрезвычайно честолюбив. Старался любым способом обратить на себя внимание, старался вырваться вперед. Я верил, что удача улыбнется мне, что я открою нечто такое, благодаря чему возвышусь над всеми, проложу в науке свою тропу. И найденный документ я воспринял как некую закономерность, как естественный залог будущих моих успехов. Но все же радости моей не было границ. Я внимательно изучил материал. Снял с него фотокопию. Выписал необходимые мне места. Набросал вчерне небольшую сопроводительную статью. И когда все было готово, мне наконец пришлось столкнуться с этим человеком, всю зиму неусыпно следившим за каждым моим шагом, лицом к лицу.

То ли я привык к его постоянному присутствию около себя, то ли так меня увлекла работа, что я просто забыл о нем, но я совершенно не придал никакого значения тому, что старик в последнее время как-то необыкновенно заинтересовался мной, что один раз, забыв про всякую осторожность, он даже остановился у моего стола. И я очень удивился, когда, выходя из архива по-

сле дня напряженной работы, увидел у дверей старика, по тому, как он подался ко мне, явно поджидавшего меня. Подобного никогда прежде не случалось, он никогда даже не пытался заговаривать со мной. Я не имел понятия, где он работает и чем занимается. И сейчас я хотел было пройти мимо него, но старик протянул ко мне обе руки сразу и произнес напевно, по-домашнему: «Ассалау-магалейко-ом!» Чуть ли не в течение года мы виделись с ним каждый день и никогда не здоровались. И весь долгий нынешний день мы также просидели в одной комнате и ни разу не кивнули друг другу. Смешно! Но на приветствие старика тем не менее я ответил. Мне даже неловко стало. Это бы мне как младшему следовало почтить его приветствием. Хотя он мне и не друг-приятель, но ведь знакомый уже все-таки человек, а я за все это время не смог сообразить, что следовало бы приветствовать его. И сейчас я подумал, что аксакал собирается пожурить меня. Если б так — это было бы хорошо, но старик заговорил совершенно о другом.

— Вы в последнюю неделю неплохо поработали, — сказал он. — Я вас поздравляю. Вы нашли очень ценный документ.

Я ничего не смог ему ответить. Только подо-

садовал в душе на свою неосмотрительность. Подобное можно было предотвратить — лишь запретить старику подходить к моему столу.

— А теперь что вы намерены делать? — спросил старик. — Опубликуете это?

— Разумеется, — ответил я и пошел к автобусной остановке. Мне хотелось как можно поскорее избавиться от него.

Но старик, припадая на хромую ногу, заковылял за мной и, поравнявшись, попытался остановить. Тут уж я разозлился по-настоящему.

— Чего вы от меня хотите, аксакал? — спросил я. — Скажите!

— Сначала остановитесь, — ответил старик.

Я остановился.

— Ну, говорите. И попрошу убраться потом от меня подальше.

— Простите, простите… — Старик все не мог унять одышки. — Вы не имеете права так со мной разговаривать, я тоже, как и вы, человек науки! К тому же и возрастом старше. Где уважение к седине?

Я извинился. Сказал, что спешу.

На эти мои слова старик не обратил внимания. Он ухватил меня за лацканы пальто белыми, бескровными руками с неприятно чистыми

длинными ногтями, словно боялся, что я убегу, и, почти вплотную приблизившись своим лицом к моему, заглянул мне в глаза.

— Вы уверены, что про этот документ, — он указал подбородком на портфель у меня в руке, — никто, кроме вас, ничего не знает? Можете ли вы положа руку на сердце сказать, что первооткрывателем являетесь именно вы?

Ответить так вот сразу я не смог.

— Ага! — выдохнул старик. — Не можете. Потому что этот документ был известен и до вас.

— Где и когда он был опубликован? — спросил я. Хоть я и был уверен, что нигде никакой публикации не было, при вопросе старика у меня болезненно зашлось сердце, под ложечкой появилось какое-то странное ощущение — будто я переел чего-то жирного.

— Нигде и никогда документ этот опубликован не был, — сказал старик.

Неожиданно в голову мне пришла нелепая мысль.

— Вы? Стало быть, вы открыли его?

— Я, — горделиво произнес старик.

Он весь так и распрямился, скрестил руки на груди и перевел дух. Нижняя губа у него была злорадно закушена, в сощуренных маленьких

карих глазках прыгала злая усмешка.

— Понятно, — выдавил я из себя. — Вчера вечером вы его открыли — вот когда. Да мне надо было просто-напросто запретить вам подходить к моему столу. Я не сделал этого из-за ваших седых волос.

Старик покачал головой.

— Какой вы горячий! Совершенно чуждая казаху черта. Но я вас понимаю. Понимаю — и прощаю вашу горячность. Однако ваше обвинение придется вам взять обратно. Вы сами убедитесь, что не правы. Пойдемте ко мне домой.

Некоторое время я стоял, раздираемый самыми противоречивыми чувствами. Потом все-таки последовал за стариком.

Он занимал комнату в коммунальной квартире с общей кухней. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я зашел в комнату, — это газеты. Настланные на пол подобием дорожки, от порога до самого окна напротив. Вместо настоящей дорожки. Газет лежало, наверное, пять, десять, а может, и двадцать-тридцать слоев. Видимо, по мере того как изнашивался верхний слой, на него настилали новый. А если менять весь этот настил, сколько бы килограммов газет приходилось покупать старику ежедневно? Так оно все и

оказалось. Старик снял у порога свои войлочные ботинки на резиновой подошве и, вытащив из внутреннего кармана пальто несколько газет, принялся стелить их на пол. От порога до окна вполне хватило четырех развернутых, положенных в длину газет.

— Проходите! — пригласил старик после того, как «ковер» его был готов.

Сняв обувь и пройдя в комнату, я с любопытством огляделся. В углу возле окна торчал один-единственный на всю комнату стул, со спинкой, обмотанной проволокой, рядом стоял маленький обшарпанный стол. Справа у стены — длинная, узкая железная кровать. Все остальные стены в комнате, от пола до потолка, были заняты книжными полками. Но ни одной книги на них я не увидел. Полки были сплошь заполнены тесно, впритык друг к другу, стоявшими папками. Здесь были папки с твердыми, картонными, и мягкими, матерчатыми, корешками, голубые, серые, коричневые, красные, полинявшие и вообще потерявшие всякий цвет, тонкие и толстые папки, неизвестно откуда взявшиеся здесь и неизвестно сколько времени здесь стоящие.

Старик усадил меня на стул, сам нашел на полке у двери тоненькую папку, обтянутую голубым

ледерином, вытащил ее и подошел ко мне. Повернувшись затем ко мне спиной, он порылся в папке и, видимо, нашел то, что ему было нужно.

— Вот!..

Это были фотокопии тех самых найденных мною неизвестных материалов. Всего-то несколько листочков бумаги… Пошла прахом вся работа последних шести дней, да и не только их — пошли прахом все шесть месяцев моего напряженнейшего труда.

— Несколько минут назад вы произнесли слова, которые оскорбили меня не только как ученого, но и как человека, — сказал старик с особым достоинством. — Всю последнюю неделю дело находилось в ваших руках. Когда, скажите, мог я успеть снять с этих бумаг фотокопии? Конечно, и в этом можно сомневаться. Ведь я — сотрудник архива…

Последнее его признание было для меня новостью. Мне как-то и в голову не приходило, что старик может работать в том самом Центральном архиве, который я посещал каждый день.

— Вполне можно допустить, — продолжал старик, — что я узнал о вашем открытии, а затем вечером, после работы, совершил свое черное дело. Но посмотрите на эту фотобумагу. Она не

похожа ни на проявленную сегодня, ни на проявленную вчера. Она уже желтеть начала. Конечно, и это не доказательство. Я мог бы специально подобрать старую бумагу. Как видите, вы можете предполагать что угодно. Но, дорогой мой, — перешел он на «ты», — ты и сам хорошо знаешь, какие в архиве порядки. Можешь проверить, кто и когда просматривал эти папки. Ты. И я. Только мы с тобой. Но против твоей фамилии стоит дата «4—10 апреля 1963 года». Ну, а против моей… как вы думаете? — снова перешел он на «вы». — Против моей — «7—25 марта 1956 года». Семь лет. Этот документ был открыт мною ровно семь лет назад. Ясно? Вы поняли?

Я был уничтожен. Я не знал, что и сказать, так я был подавлен. Мне даже не пришло в голову попросить у старика прощения за брошенное ему недавно оскорбление.

— Почему же вы не опубликовали этот документ вовремя? — спросил я после некоторого молчания, признавая тем самым перед стариком свое поражение.

— Времени не было, — ответил он, забирая у меня фотокопии и пряча их обратно в папку.

— Как это не было времени? Целых семь лет. Такой важный материал…

— Дорогой! — Старик покровительственно похлопал меня по спине. — Это ничего не стоящая вещь, поверь моему слову. Ничего не стоящая. Я не хочу сказать, что документ не имеет никакой цены. Он ценный. Это очень значительный документ. Но, как говорил Шекспир: мой друг Горацио, в этом бренном мире так много тайн, о существовании которых мы даже и не подозреваем! Они-де и во сне нам не снятся, куда же нам еще размышлять над ними. Так и в науке. Особенно в казахской науке, которая только-только начинает развиваться. Где уж на каплю обращать внимание, когда рядом целое море?

— Так, стало быть, по поводу этого материала вы не написали ни статьи, ни исследования, ни даже краткой справки?

— Нет, — ответил старик. Голубую папку он обеими руками прижимал к груди. Точно любящий отец обнимал сына.

В глубине души у меня затеплилась надежда.

— Хорошо, вы первым открыли этот документ, — сказал я. — Но гласности его не предали. Никто так и и не узнал об этой тайне, кроме вас. Никто — за все долгие семь лет. Ну, а теперь этот документ открыл я. Без вашей помощи. Самостоятельно. Так ведь? Я имею право утверждать это?

— Разумеется, разумеется.

Тлевшая во мне надежда стала разгораться.

— У вас, вы говорите, не было времени, чтобы опубликовать этот документ. Вы только знали, что он хранится в таком-то деле под таким-то номером. Но ничего по этому поводу не написали…

— Говорите, говорите, не стесняйтесь, — подбодрил меня старик.

— Я и говорю. Статью, которую не написали вы, написал я. Я выдвинул свои предположения по поводу содержания этого документа. Я собираюсь вынести на суд общественности действительно научные заключения. Все это — только мой труд. — Старик помахал руками, словно хотел мне возразить что-то, но я не стал его слушать. — Да, это мой труд. Никто с этим спорить не будет. Но, учитывая то, что документ первым открыли все-таки вы, я намерен сделать вам такое предложение. Просмотрите мою статью. Если пожелаете что-то добавить — подумаем. Предложите какие-то изменения — обсудим. Но я полагаю, в ней нечего ни убавлять, ни добавлять. Вам надо лишь внимательно прочитать. А потом поставить свою подпись. Статья будет опубликована как наша общая.

Старик по-мефистофельски усмехнулся. Точ-

но боясь, что я совершу какое-нибудь насилие, он отнес голубую папку, которую все это время продолжал прижимать к груди, на свое место и с силой задвинул стекло полки.

— Нет! — Он заложил руки за спину и, как был в носках, зашагал по газетной дорожке от двери к окну, от окна к двери. Газеты так и зашуршали у него под ногами. — Нет! Нет! Нет!

— Почему? — спросил я и поднялся со стула.

— Я не могу подписываться под статьей, написанной другим человеком.

— Тогда напишите сами. И мы объединим наши статьи.

— У меня нет времени, — сказал старик. — Я… — замямлил он, — я… мне не хочется писать.

— Тогда прощайте. Я буду публиковать статью за своей подписью.

— Вы не имеете на это права! — закричал старик. Голос его был пронзительно тонок и остр. Мне показалось, у меня разорвутся барабанные перепонки.

— Почему?

— Первым открыл я.

— А я говорю — я.

— Но ведь это не так. Вы же сами видели. Ты же сам видел, голубчик. — Теперь он поочередно

называл меня то на «ты», то на «вы». — Только что убедился. Открыл я. Я первооткрыватель.

— Как и кому вы сможете доказать это? — спросил я. — Кто поверит, что вы, вот именно вы, зачем-то держали все это в тайне столь долгое время?

Старик не ответил. Плечи его обвисли, голова беспомощно свесилась на грудь. В одно мгновение он вновь превратился в жалкого, сморщенного старичка, каким я привык его видеть обычно.

— Если бы вы были способны на такое коварство, я бы не встал на вашем пути, но вы… — Старик снова своими длинными худыми пальцами коснулся ворота моего пальто. — Вы очень порядочный и трезвый молодой человек, к тому же глубоко образованный. Не подумайте, что я льщу. Я наблюдал за вами все эти шесть месяцев. Вы чисты и благородны. Скажите, скажите, пожалуйста, разве это достойно человека — втоптать меня в грязь, как червяка какого-нибудь, как козявку… присвоить себе документ? Конечно, юридически вы правы. Но как это все будет выглядеть с моральных позиций?

Старик был прав в своих рассуждениях. Да, я сам по себе нашел этот документ, но у меня не хватит совести обнародовать его без согласия

человека, обнаружившего его первым. Но своего решения я все же менять не стал. Дал старику две недели сроку. Пусть напишет статью. И тогда мы опубликуем материал под двумя фамилиями. Ну, а если не напишет — что ж, тогда у меня руки развязаны.

Так вот я и познакомился с сотрудником архива, стариком Саметом. Так мы надели общий хомут, доставивший нам потом обоим много страданий.

В молодости человек часто бывает жесток. Безжалостен. Самет-аксакал и без того-то был плох здоровьем, страдал сердцем. Сейчас вот как подумаю, так это, пожалуй, я виноват, что болезнь его обострилась, я в том повинен, что он раньше положенного сошел в могилу.

Так получалось, что до последнего времени мне часто отказывали в нужных папках, в таких причем, в которых, как мне казалось, я мог бы найти и для себя много интересного. Почему-то именно этих папок не оказывалось на месте. То у них корешок меняли, то переплет. В общем, находились какие-нибудь причины, и в результате папок я не получал. Естественно, после того как я узнал, что Самет-аксакал работает в архиве, у меня не могло не возникнуть подозрений.

Без лишних выяснений я отправился прямо к начальству. Все папки оказались на месте. Самету-аксакалу как следует выговорили за невыполнение требований заказчика, а я, получив наконец пропыленные папки, направился в зал.

Теперь Самет взял себе за правило каждый день к концу работы архива поджидать меня у выхода. И всякий раз, как я видел его, у меня холодело сердце. Мне не хотелось верить в то, что произошло, но как тут было не верить — ведь я видел. Однако от приглашений зайти к нему домой я отказывался наотрез. Избегал всяких разговоров с ним, только спрашивал коротко:

— Написали?

У Самета тотчас начинал дрожать подбородок, он буквально утрачивал дар речи.

— Хорошо, — говорил я. — У вас осталось еще три дня.

Три дня проходили, и мы снова встречались у выхода.

— Закончили? — спрашивал я. — Ладно. Даю вам еще пять дней. Не от любви к вам. Просто мне сейчас самому некогда. Я нашел кое-что весьма интересное. Тот материал рядом с этим — ничто.

Через пять дней происходило такое.

— Добавляю вам еще семь дней, — говорил

я. — Не от почтения к вашему возрасту, а оттого, что занят. Сегодня я еще кое-что нашел. Погодите! Это только начало. Я весь ваш архив переверну вверх дном. Посижу еще с полгода, так другим здесь и делать будет нечего. Будьте здоровы. И про статью не забывайте.

Не жалел я его. Не обращал внимания ни на годы его, ни на болезнь. Но уж он отыгрался на мне!

Осень только еще наступила, а я уже закончил сбор материала для диссертации. И вот тогда-то этот старик снова привязался: пошли да пошли к нему домой. Что говорить, все-таки неспокойно было у меня на душе. И я пошел. Я не сомневался, что некоторые незнакомые науке факты, которыми я располагал теперь, окажутся в папках старика. Но — о ужас! Чтобы он знал весь мой материал, который по крохам, по крупицам я собирал целый год! Все опять оказалось у Самета, все ему уже было известно.

Я не знал — или мне удивляться, или огорчаться... Мозг мой отяжелел, голову ломило так, что казалось — череп вот-вот расколется. Я был близок к помешательству. Но я не сдался. Я запел ему свою старую песенку. А он затянул свой старый припев. Лишь в одном не оставалось

сомнений: в этой нашей схватке победил он, а я был побежден.

Разумеется, я мог бы написать диссертацию. Никто бы не помешал мне в этом. Работа, построенная на неизвестных науке фактах, дала бы мне не только диплом рядового кандидата наук, она бы принесла мне и славу, и почет, она открывала дорогу к докторской диссертации, а затем соответственно — к званиям профессора, академика… Но — и это мне было известно! — сведения, которыми я располагал, не новы, все эти многочисленные материалы, которые я буду преподносить как открытия, вовсе не открытия. Все они найдены до меня. Их переписал, сделал с них фотокопии и микрофильмы человек по имени Самет. Трудно было примириться с подобным, но что ж поделаешь, истина была именно такова.

Я разочаровался во всех радостях жизни. Мне хотелось умереть. Покончить с собой. Но, к своему несчастью, я слишком верил в себя. Я никогда не сомневался в том, что я великий человек, что на мне от рождения — печать гениальности. Я должен был, не обращая внимания на все насмешки судьбы, на все удары жизни, невзирая ни на бури, ни на снег, невзирая ни на что, совершать великие дела. Я был рожден для великих

дел. Это меня обязывало. Поэтому я не умер. Я вынужден был жить дальше и таскать по земле свое бренное тело.

Я взял новую тему. Очень перспективную. Она была посвящена очень сложной проблеме. Необходимые материалы я мог получить лишь вне Казахстана — в архивах Министерства иностранных дел Российской империи, Коллегии внутренних дел, в книгохранилищах Москвы и Ленинграда. Я снова проработал всю зиму. Один год в аспирантуре пропал даром, и, чтобы наверстать упущенное, я просиживал за работой дни и ночи. Не хватало времени на то, чтобы обобщить, обдумать материал, выбрать из него нужное, я решил сделать это после и потому брал все, что попадало под руку. С наступлением лета я наконец-то перевел дух, и оказалось, что всяких бумаг с различными отрывками, сносками, цитатами, всяких фотокопий, ксерокопий, микрофильмов набралось у меня два больших чемодана. Материалы, которых вполне хватило бы не на одну кандидатскую диссертацию. Я навьючил на себя этот свой багаж и сел в поезд «Москва — Алма-Ата».

Поезд прибыл в Алма-Ату с опозданием часа на три-четыре, где-то около полуночи. Я поймал

такси, погрузил в него чемоданы и поехал прямо к Самету-аксакалу. Он еще не спал. Правда, лежал уже в постели, но не спал. И вообще был он болен. Но, несмотря на это, встал и оделся. Глаза его глубоко запали, углы рта опустились вниз. Казалось, он сделался выше ростом. Живой скелет, погромыхивающий костями. Я был весь как натянутая струна. Хотя и был уверен, что уж на этот-то раз не попаду к старику в когти.

Напрасные надежды! У Самета-аксакала оказался весь найденный и привезенный мною материал. То с той, то с другой полки снимал он папки. Фотокопии… ксерокопии… Громадное количество всяких копий — можно завалить ими небо и землю. Правда, кое-чего, чем располагал я, у Самета-аксакала все-таки не обнаружилось. Но то, что оставалось у меня, было материалом незначительным, второсортным — мелочь, словом. Я не смог сдержать себя. Я разрыдался так, будто тридцать моих сыновей погибли в один день. Стариц успокаивал меня.

— Не огорчайтесь, — говорил он, — филателисты всю жизнь проводят в поисках какой-нибудь одной марки. Бывает, что так и не находят ее. Потому что эта марка у другого человека. Надо ее или выкупить у него, или выменять. Ну, а

мы? Мы сами себе хозяева. Что может помешать нам? Все зависит от нас самих, от того, сколько ты вложишь труда. В этом-то и преимущество нашего дела.

Потом он, видимо, решил подбодрить меня, в голосе его появилась назидательность, он заговорил громче.

— Вы очень талантливый молодой человек, — сказал он. — То, над чем я корпел долгие семь лет, вы осилили за какие-то двадцать месяцев. Темп у вас просто потрясающий. А я все это собирал всю свою жизнь по малым крохам. Вот эти полки — результат моего неустанного труда в течение сорока двух лет. Ну, а вы с вашими темпами, с вашими-то возможностями все, что я узнал за сорок лет, освоите за пятнадцать-шестнадцать. Вам будет лет тридцать восемь — тридцать девять максимум. А сколько вам еще после этого жить?! Вы переплюнете меня! Это точно. Время на вашей стороне.

Он много еще наговорил мне таких вот хороших слов. Но что толку от слов, если он обобрал меня до нитки? Самет-аксакал был человеком чести, благородным человеком. Никаких условий на сей раз он мне не поставил.

— Если ты боишься, — сказал он, — что не

выдержишь выпавшего тебе испытания, ты свободен. Выходи из игры. Объявляй, что первооткрыватель всех этих материалов — ты, публикуй их, защищай там свою диссертацию, я тебе поперек дороги не стану!

Да он и не смог бы стать мне поперек дороги. Я повторяю: если бы не моральная сторона, то юридически я был бы полностью прав. Но я отказался продолжать работу. Новая тема потеряла для меня всякий интерес. Каково бы было тебе, если бы ты влюбился в девушку, видел в ней ангела и, лишь женившись, случайно узнал о бывшей ее греховной связи с развратным стариком? Прости меня за грубое сравнение. Но именно такое чувство я и испытал. Я попросил третью тему. Третий год аспирантуры. Третья тема. Профессор очень расстроился. Отругал меня. Уговаривал. Но я не поддался. Покойный любил меня, верил мне. И в конце концов согласился со мной. Насколько уважаемо было мое мнение у профессора, настолько же велик был его авторитет в ученом совете. Отклонив все возражения, он добился, чтобы мне утвердили новую тему. Через два дня после решения об этом, не откладывая дела в долгий ящик, я отправился в Казань.

«О Казань! Казань больная! Казань печальная!

Казань светлая!»[80] Казань — один из важнейших культурных центров тюркских народов. Э-эй, братец! Чего там только нет! Всего полным-полно. Всего в изобилии. Я с головой окунулся в работу. О, сколько попадалось мне на удочку, сколько нового извлекал я из архивного забытья на свет божий и беспрестанно сопоставлял, сравнивал, анализировал данные. Что и говорить, попил я тогда живительной воды из разливанного того моря, всю осень и всю зиму не существовало для меня мира вокруг, кроме архива.

В Алма-Ату я вернулся ранней весной. Работа моя еще не была закончена, следовало кое о чем посоветоваться с руководителем. И, что греха таить, я хотел также заглянуть к Самету-аксакалу. Пожалуй, в тот момент это было для меня самым важным. Но меня здесь поджидала неудача, даже не неудача, а несчастье. Самет-аксакал скончался. Мне он оставил записку. На листе бумаги косой строчкой были написаны только лишь две фразы: «Все это у меня есть. У меня — все!»

Я поверил ему. Я ни секунды не сомневался после этой записки, что нашел бы у Самета-аксакала все, что ценой такого напряжения сил было

---

[80] Примечания: 80

Строки из стихотворения классика татарской литературы Токая «В путь».

собрано и накоплено мною в течение целого года. Однако следовало, конечно, убедиться в этом собственными глазами. Я поинтересовался библиотекой покойного. Как сообщил сосед, Самет оставил ее родственнику, жившему неподалеку, в нескольких кварталах отсюда; родственнику эти вещи были не нужны, и он сдал их в комиссионный магазин. Не библиотеку, конечно же, а полки. Про папки, стоявшие на полках, сосед ничего определенного сказать не мог. Полки, когда их выносили из дома, были пусты — это точно. Видимо, Самет-аксакал, поняв, что силы оставляют его, несколько дней подряд рвал, жег свои бумаги — и все уничтожил. А после этого уже написал записку. Мне не оставалось ничего другого, как просто поверить ей…

Ты, конечно, можешь подумать, что, избавившись от соперника, я испытал облегчение. Как бы не так. Наоборот! Уж лучше бы он был жив. Я теперь совсем потерял покой. Что бы я ни находил теперь, не известное науке, я уже не мог выяснить, знал ли об этом Самет-аксакал. На какой бы свежий материал я ни выходил, я не мог с достаточной уверенностью считать себя первооткрывателем. Жизнь снова потеряла для меня всякий интерес. Мне снова захотелось уме-

реть. Уже второй раз за последние три года. Но, говорят, только шайтан живет без надежды, а я все-таки еще очень многого ждал от будущего. Я не умер. Не смог умереть. Меня вовремя осенила мысль, что должен же быть предел, край собранному Саметом-аксакалом. Одному человеку, каким бы он гением ни был, практически не под силу собрать все сведения по истории, этнографии, искусству, литературе целого народа. Я тоже наверняка не осилю всего этого богатства. Но я ничуть не сомневался в своем преимуществе перед Саметом-аксакалом, в своих больших возможностях и способностях. Тот громадный материал, который покойный собирал по крохам сорок два года, я мог бы одолеть за какие-нибудь пятнадцать — двадцать лет.

И я взялся за осуществление этого грандиознейшего дела, пожертвовав ради него всем. Все вы за прошедшие годы успели жениться, получили просторные квартиры, обзавелись, так сказать, семейным очагом, детишек нарожали, а у меня вот ничего нет. Все вы сейчас кандидаты, некоторые уже и на доктора идут, а у меня никакой степени. Но я счастливее вас всех. Всех вас выше. Пока вы гонялись за обманчивыми учеными степенями, я познал вкус настоящей работы. Я

обладаю сейчас несметным богатством! Ведь всего десять лет, как я занимаюсь наукой, а сколько уже мной собрано! Да. Не через пять-шесть лет, а через какие-нибудь три-четыре года материал, который я соберу и обработаю, сравняется с материалом, собранным Саметом-аксакалом. По количеству сравняется, по объему. Ну, а по качеству… по качеству мой материал намного выше. И я не ограничусь тем, что сравняюсь. Я пойду дальше. Потому что столько еще нераскрытых тайн, столько еще загадок кругом. Какие сокровища таятся в архивах мира!.. Нет им цены. Э-эх, дружище, посидеть бы годок в книгохранилищах Стамбула и Лондона!..

Мы, оказывается, уже подошли к Центральной публичной библиотеке. Сембек заканчивал свой рассказ. Я чувствовал себя как-то очень странно. Я не знал, как отнестись ко всему этому. Не знал, что сказать.

— Все это, конечно, хорошо, — выдавил я из себя наконец. — Но почему ты ничего не публикуешь? Ничего не пишешь?

— Ой-ей, дружище, да где же время на это? — сказал Сембек. — У меня в самом разгаре сбор материала. Я уже почти дошел до намеченной межи. Еще лет семь-восемь, ну, самое большое, де-

сять посижу. Вот тогда и возьмусь за писанину.

Ответ его не удовлетворил меня.

— Так что же ты ищешь в конце-то концов? И что ты находил до сих пор?

— Все нашел! — воскликнул Сембек. — Я даже не знаю, кто я сейчас такой. Пожалуй, все-таки историк. Но вместе с тем и фольклорист, и этнограф, и искусствовед. Потому что у меня есть все!

— Что значит — все? — вскричал, в свою очередь, я. Я уже начал было подумывать, а не разыгрывает ли меня Сембек.

— Я аккуратно прочитываю то, что ты иногда тискаешь в печати. Разбираешься во многом, я это подметил. Но вот скажи, коли ты такой специалист: какие отношения существовали между Русским государством и казахским ханством в начале шестнадцатого века?

— Во времена хана Касыма между Казахской ордой и Москвой были чисто дипломатические отношения, — ответил я. — Но какого уровня были и как осуществлялись, не скажу, да этого и никто не скажет. Все документы по этому вопросу сгорели…

— …во время пожара Москвы в тысяча восемьсот двенадцатом году, — сказал Сембек и усмехнулся, — самолетов с фугасками не было.

Артиллерию с современной не сравнить. Сам же знаешь, как проходила эвакуация, кто поджег город и когда он загорелся. Так что невозможно, чтобы такие ценные бумаги были уничтожены…

— А что, ты нашел их? — спросил я.

— Дипломатических бумаг было очень много, и все они, кроме того, были написаны на казахском языке, — уклонился Сембек от прямого ответа. — Сам, надеюсь, понимаешь, какое значение имеют эти документы не только для истории, но и вообще для нашей культуры?

— Так где они? Ты действительно нашел их? — нетерпеливо перебил я его.

— Надеюсь, ты достаточно осведомлен о жизни казахского султана Ораз-Мухаммеда Ондановича, который при царе Борисе Годунове правил городом Касимовом на Рязанщине? — невозмутимо продолжал Сембек, словно бы и не слышал моего вопроса. — Так знаешь ли ты о том, что у этого Ораз-Мухаммеда была богатейшая библиотека и что в ней, помимо сочинений арабских, персидских и тюркских ученых, помимо русских летописей, хранились еще и книги казахских авторов, писавших на родном языке? Где она, эта библиотека? В восемнадцатом веке по заданию хана Аблая была написана казахская история. Где

она, эта история?

Сембек буквально засыпал меня такими вот риторическими вопросами, а ни на один из моих встречных вопросов не ответил.

— Ну, ладно, — сказал он наконец, собираясь убегать от меня. — Отнял у тебя время пустой болтовней. Прости. Гуд бай.

Но мне вовсе не хотелось оставаться в дураках. И я не отпустил его. Однако я чувствовал, что задавать ему какие-либо вопросы совершенно бесполезно. Поэтому я решил сманеврировать, пошел в обход:

— Где же ты работаешь?

— На прежнем месте, — ответил Сембек, зевая. Но, видно, он мне совсем задурил голову — я никак не мог вспомнить, где он работал прежде.

— Ты похудел, — уже в какой раз сказал я, не в состоянии придумать что-нибудь другое. — Тебе отдохнуть бы.

— Это не от усталости, — отозвался Сембек. — От любимой работы человек не устает. Это не от усталости…

Он оглянулся по сторонам и спросил, не знаю ли я одного молодого человека. Я знал. В последнее время он опубликовал в печати несколько очень приличных статей о казахском фольклоре.

Насколько я помнил, он нашел более древний и более совершенный, еще не известный науке вариант одного героического эпоса.

— Нехороший он парень, — сказал Сембек. — Я его к себе домой пригласил. Показал. Предупредил. Он не имел на то никакого права. Никакого морального права не имел. Но нынешняя молодежь груба, невежественна. На все ей наплевать. Ничего не стыдится. Взял да и опубликовал. А сейчас снова каждый день в архив ходит. Я за ним наблюдаю, смотрю, что он там делает. Все, что он «открывает» сейчас, у меня уже давным-давно лежит. Все у меня есть. Я его снова предостерег. Объяснил ему. Но он бессовестный парень. Снова проигнорировал меня. Вот хорошо, что вспомнилось про него к слову. Я тебя попросить хочу. Мы ведь старые друзья… Этот юнец еще не защитил диссертацию, но она у него уже готова. Тянуть дальше просто нельзя. Очень прошу, у тебя есть ученая степень, он тебя должен побаиваться. Пойди поговори с ним, а? Может, наставишь его на путь истинный? Ведь все это первым открыл я. Где же тут справедливость? Честность где?

Я не знал, что мне сказать. С одной стороны, в словах Сембека был известный резон. Ну, а с другой стороны, парень тот был по-своему прав. В

конце концов я сказал Сембеку, что вмешиваться в это дело не буду.

То ли Сембек воспринял мой отказ как предательство, то ли и без того он мысленно много раз спорил со мной, и я был для него привычным, не представляющим опасности противником, он весь так и вспыхнул и набросился на меня с обвинениями.

— Вы все как сырой, недоделанный кирпич, отштампованный в одной форме, — сказал он. — Вы все невежи, вы не нюхали запаха науки. Вы ничего не знаете. Вы даже того не видите, что у вас под ногами лежит. И смеете еще при этом ученые степени получать! Но и со степенями вы дрожите со страху — как бы вас, да кто бы вас… У всех у вас заячьи сердца. У меня нет никакой степени, но я ничего не боюсь. Потому что я верю в себя. Знаю себе цену. Я человек, любящий во всем откровенность и прямоту. Вот ты, к примеру, готовишься стать доктором. Не отрицай. Люди-то ведь говорят. А я еще не видел, чтобы слухи когда-нибудь бы да не оправдывались. Другой цели, иного интереса у тебя нет, я знаю. Лишь бы стать доктором… стать доктором! А стоишь ли ты этой степени? Ты задумывался над этим? А? Не стоишь! Потому что ты не знаешь…

И на меня обрушился целый водопад фактов, сведений, имен, о которых я действительно ничего не знал.

— Послушай, — сказал я, когда Сембек, захлебнувшийся собственным красноречием, остановился на мгновение, переводя дух. — Ты пиши об этом, пиши… — Я обнял его и дружески похлопал по спине.

— Как ты думаешь, — сказал Сембек, — ведь тот парень не прав?

— Сембек! — Мне показалось, я знаю, как переубедить его. — Я тебя понимаю. Но сам ты не понимаешь одной вещи. Для чего все это, чем ты занимаешься? Во имя какой цели? В чем твое отличие от скупого Карабая, который имел девяносто тысяч лошадей, но никогда в жизни не носил незалатанного чапана? Так Карабая можно простить. Эти лошади — его собственность. Ну, а материалы, лежащие в твоем шкафу, чьи они? Какое ты имеешь право держать все это взаперти? Ведь это — сокровища твоего народа, твоих братьев казахов. Значит, ты преступник, намеренно запер ворота к этим сокровищам. Наука — не филателия.

Сембек пропустил все мои слова мимо ушей.

— Этот парень не прав; — только и сказал он.

— Прав, — возразил я. — Или ему нужно ждать, пока ты все накопленное тобой добро изорвешь, сожжешь, пустишь по воде, а? Прав он.

Нашим приятельским отношениям, длившимся долгие десять лет, пришел конец. Я понял это по выражению лица Сембека.

Но все же я счел своим долгом высказаться до конца. Я говорил о необходимости публикации найденных им документов, о том, что по некоторым материалам вовсе нет нужды писать пространные статьи, достаточно краткой сопроводительной записки, я говорил о чести ученого, о долге перед народом и о прочих высоких материях. Короче, в азарте я наговорил ему много чего. Но Сембека ничто не проняло. Наоборот, он сказал, что разочаровался во мне. После такого заявления пыл мой иссяк сам собой. Расстались мы весьма холодно.

Прошло несколько дней. О многом передумал я за это время. Сначала я, в общем-то, был уверен, что все, рассказанное мне Сембеком, — правда. Но когда сгладились первые впечатления, я постепенно пришел к убеждению, что все это сущий бред. А придя к такому убеждению, я пришел и в себя. Улучшился испортившийся было сон, наладился аппетит. Я снова стал самим собой. И

мало-помалу стал забывать про рассказ, так взбудораживший меня, про маленького, тщедушного старика Самета-аксакала, безвылазно просидевшего сорок два года в архиве, сделавшего великие научные открытия, но не нашедшего времени написать о них ни единой строчки и пустившего перед смертью все свои бесценные материалы по ветру. Я стал забывать и про наследника его, самой логикой вещей призванного, казалось бы, не просто продолжить, но и направить его дело в новое русло, — своего старого приятеля Сембека, растрачивавшего попусту данный ему природой талант. Так забывается старая сказка, рассказанная тебе в далеком детстве любящей бабушкой, сказка, когда-то так взволновавшая тебя…

Но вчера… вернее, позавчера я убедился, что все мои мысли о невозможности рассказанного Сембеком — самообман.

Только я вышел с толстенным своим портфелем из архива, как натолкнулся на н е г о. Не на Самета, конечно. На Сембека. Моя попытка пройти мимо него незамеченным не удалась. Сембек остановил меня, громко окликнув по имени. Не поздоровался, не стал ни о чем расспрашивать, как раньше, а с ходу приступил к делу.

— Я знаю, — сказал он, — ты собираешься

засесть за большой труд. Сбор материалов ты закончил. Особенно успешно ты работал последнюю неделю, в частности сегодня после обеда. Но торжествовать тебе рано. Все это — давно открытые вещи, уже известные… У меня все это есть. Не веришь? Можешь поглядеть собственными глазами. Пошли ко мне домой.

…Все во мне перевернулось. Рассудок мой помрачился. Но огромным усилием воли я все же взял себя в руки, не поддался дьявольскому искушению. Не помню, как я дошел до дома, — в общем, добрался. Жена, увидев меня, испугалась.

Но, слава богу, судьба обошлась со мной милостиво: я не свихнулся, не заболел, не умер. Однако то, что я услышал и что увидел, так и выпирало из меня. Мне казалось, я лопну, как чрезмерно надутый мяч, если не поделюсь с кем-нибудь всем тем, что было у меня на душе. Я лег в постель, но сон мой был невыносимо тяжел, несколько раз среди ночи я просыпался от кошмаров и, решившись наконец — чтобы раз и навсегда избавиться от всего этого, — встал, выпил три чашки крепкого чая с молоком и сел за стол. Весь долгий день я писал, как будто кто-то гнался за мной по пятам, потом всю следующую ночь переписывал написанное днем заново и к

ее исходу закончил наконец вот этот самый рассказ. Жена отпечатала его на машинке, вычитала и выправила опечатки. Я чувствовал потребность отнести его в редакцию тотчас же, успеть до конца рабочего дня во что бы то ни стало. Я торопливо собрался и пошел. А по дороге мне пришла в голову такая мысль: «Вот ты написал рассказ. Добро. Предположим, когда-нибудь ты добьешься его публикации — тоже хорошо. Но что тебе делать с полным сундуком материалов, которые ты кропотливо и жадно собирал долгие пять лет?! Что делать с наукой?»

В конце концов, уже переступая порог редакции, я нашел выход. Оставлю науку! Не потому, что вдруг разочаровался в профессорстве. И не потому, что вдруг испугался знакомых уже мне трудностей. Потому что Сембека испугался. Не его самого. А его облика. Испугался, что сделаюсь его двойником.

Аминь!

1973

Перевод А. Курчаткина.

НАШ РОДСТВЕННИК, ДЯДЯ МОИХ ДЕТЕЙ

В кино мы не попали. В зоопарк их на прошлой неделе водила мать. Качели, карусели, «чертово колесо» и другую подобную чертовщину душа моя не принимает. Есть мороженое пока что холодновато. Шашлычная жаровня где-нибудь поблизости вряд ли найдется. Чтобы хоть как-нибудь утешить их, я привел их в магазин игрушек.

Попав в такой мир изобилия, мои мальчишки прямо-таки ошалели. Машины, бульдозеры, подъемные краны… Бронетранспортеры, ракеты, самолеты… Медведи, тигры, львы… Обезьяны, черепахи, лягушки… Они бросали одно и хватали другое. Все передержали в руках. Наконец, выбрав, что надо, успокоились. Оба зажали под мышкой по автомату в целлофановом мешочке. Стоит нажать на курок, как автомат начинает трещать и трястись и ствол возле дула краснеет. Словно бы и впрямь изрыгает огонь, словно бы и впрямь стреляет. А оба мои парня дышат так запаленно, будто они только что из боя. «Это мы

возьмем», — говорят.

Но я хорошо знал их привычки. Точно такие же два автомата были им уже куплены прошедшей зимой. Целых два дня они перестреливались, — один убегая, другой преследуя, выслеживали друг друга, прятались в шифоньер, под кровати, затаивались за диваном и креслами. Все в доме перевернули вверх дном, в квартире невозможно было найти тихого уголка. На третий день, когда сели батарейки, мы решили, что обрели наконец долгожданный покой, но мы ошиблись. Они ныли не переставая, и мать была вынуждена купить новые батарейки. На сей раз автоматы не стреляли и двух дней. Не из-за батареек. Они потребовали ремонта. Но из моих попыток заменить лампочки, починить проводку ничего не вышло. Так они и остались непочиненными. Пластмассовые их корпуса с выломанными прикладами и магазинами, без верхних кожушков, где-то потерявшихся, до сих пор еще валяются дома. Эти огольцы не только не играют с ними, но даже и не смотрят на них.

— Автоматов вам не будет! — отрезал я и стал присматриваться к более надежным игрушкам. Обоим братьям присуще одно качество: какая бы то вещь ни была, им всегда страсть как хочется

открыть ее, заглянуть внутрь. Решив посмотреть, как он там «устроен», вспороли брюхо льву. Желая узнать, как получается звук, разрезали гармошку. Чтобы разобраться в устройстве машины, вытащили из нее пружину и шестеренки. И поэтому я искал что-нибудь неломающееся — хоть топором бей, но вместе с тем и красивое, однако такой игрушки не находилось. А эти, с автоматами в обнимку, хныча, ходили за мной.

— Папочка, а папочка! — Неожиданно сказал кто-то у меня за спиной, осторожно похлопав по плечу. — Купили бы уж… — Я оглянулся — совершенно незнакомый человек. — Они говорят, не будем больше ломать, не будем…

— Они мне в этом и раньше много раз клялись, — сказал я.

— А теперь они по-настоящему дают обещание. Не будем, говорят, шуметь, не будем, говорят, устраивать беготню, будем себя тихо вести.

Я поглядел на своего неожиданного советчика повнимательнее. Это был худой смуглолицый мужчина с глазами навыкате, за сорок ему перевалило уже давно. Редкие, начавшие седеть волосы отдавали на темени голубизной. Седина прокралась и в виски. Под левой подмышкой у него был зажат надувной резиновый крокодил,

под правой — большой пластмассовый паровоз. Из бокового кармана пиджака торчал клюв не то утки, не то гуся. Явно из тех людей, кто детей любит по-настоящему. Но, тем не менее, он и не простодушный аульный казах, который почитает за друга каждого, с кем его сводит судьба, и с каждым разговаривает запанибрата. Нет, интеллигентного вида человек, в недорогом клетчатом сером костюме, хлопчатобумажной рубашке с накрахмаленным воротничком, с широким галстуком. Не очень-то умно с его стороны было вмешиваться в чужие дела. Я холодно отвернулся от него и стал копаться в куче игрушек на полке. Но незнакомец не отставал.

— Купили бы, а? — сказал он, словно бы для себя просил.

Обрадовавшись поддержке со стороны взрослого человека, сыновья мои совсем разошлись.

— Пап, купи автомат! Па-ап, купи вот этот автомат! — ныли они наперебой.

— Да ну возьмите уж! — продолжал настаивать незнакомец.

На нас стали оглядываться. Надо было этому делу положить конец.

— Уважаемый! — сказал я, даже не поворачиваясь к добровольному блюстителю интересов

моих детей. — То, что вам нравится, вы сами и покупайте. А в чужие дела вмешиваться не следует.

«Уважаемый» смолк. Перестали приставать ко мне и сыновья. А я, отчаявшись найти нужную игрушку среди резиновых и пластмассовых, перешел к металлическим и стал теперь искать такую, которая бы, кроме всего прочего, соответствовала автомату по цене и степени ценности и даже превосходила его. Всякие там машины, тракторы, бульдозеры меня не удовлетворяли, и я остановился на танке. Большой железный танк с двумя орудиями. Литой кусок металла — и разбирать-то нечего. Прочный, хоть поезд по нему пройди — выдержит. К тому же никогда раньше у них не было такого. Я решил каждому взять по танку. Следовало лишь формальности ради испросить их согласия.

Оба они, в обнимку с автоматами, стояли у выхода из отдела.

— Как вы смотрите на танки? — спросил я громко.

— Мы автоматы взяли! — закричали хором. — Дядя нам их купил.

— Какой дядя?

— Да вот недавний дядя. Родственник наш.

Действительно, так оно все и оказалось. Заплатил за автоматы и ушел, отдав чек продавцу. Мне оставалось только смириться. Да и вряд ли мальчишки расстались бы с игрушками, которые теперь уже принадлежали им. Нашего дядю-благодетеля я не нашел ни в самом магазине, ни возле него. Он сделал свое дело — и исчез.

Разумеется, сыновья получили от меня порядочную головомойку. Придя домой, оба встали в угол. Вдвоем с женой мы прочитали им целую лекцию по вопросам морали: о нормах приличия, о необходимости внутренней самодисциплины, о жадности — скверной черте характера, ну и так далее и так далее. Наконец мы устали и остановились. А по мальчишкам невидно, чтобы они утомились. Они, кажется, готовы были стоять в своем углу хоть на головах. Не заплакали ни разу, не надулись обиженно. А на дорогую игрушку в руках, приобретенную с таким трудом, бросали время от времени тихие вороватые взгляды. И на лицах у обоих — одна только радость. Счастливы несказанно. В общем, нам с женой оставалось лишь переглянуться да простить их. Простили — и позвали обедать. Не заставляя, как обычно, звать себя по три, по четыре раза, не устраивая гвалта и не дерясь за стулья, они тихо расселись

за столом. Только с автоматами не смогли расстаться. Так и ели, перебросив их через плечо. Сказали, партизаны так делают. Посмеялись мы с женой — и все. Больше ругать не стали. Но на незнакомца был я зол. У меня было такое чувство, будто он насмеялся надо мной. Так и стояли в памяти его лицо, вся его внешность. Встретится на улице — верну ему деньги. И выскажу все, что я по этому поводу думаю.

В жизни, однако, все произошло иначе, чем я себе воображал. Встретились мы случайно.

Выйдя со стадиона после окончания футбольного матча, я стоял на остановке, ожидая, когда рассосется толпа. Не студенческие уже все-таки годы, чтобы суметь в этой свалке пробиться к дверям и закрепиться на ступеньках. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу.

— Ну как, браток? — Это был тот незнакомец из магазина. На лице его — ни тени насмешки, иронии, издевки. Он улыбался так, словно встретился с другом, с которым не виделся уже целую вечность. Есть у меня слабость — не могу, не в состоянии сказать что-то неприятное человеку, который смотрит на тебя с такой вот открытой улыбкой. И я растерялся.

Мы обменялись рукопожатием.

— Как там ребята-то?

— А вы разве не видели игры?

— А-а… «Кайрата»-то? — запнувшись, переспросил незнакомец. — Вы о футболе. Нет, я не видел. Как сыграли?

— Выиграли, — ответил я. — После основного времени забили все пять пенальти. Свое одно очко взяли.

— Всего одно очко? — Ему показалось этого мало.

— Не Ордабаев бы, так и того бы не было, — сказал я. — Молодец парень. Только мяч с места, а он уже прыгнул. Видели мы когда-то Яшина… но и он — ай молодец! У самой штанги мяч шел!

— Как Сегизбаев играл?

— Сегизбаев?.. Сегизбаев ведь тренер. Тренеры не играют.

— А, вон как… А я вроде слышал, что есть такой футболист. Сегизбаев…

Размягченность моя начала понемногу проходить, я опускался на землю.

— Да все равно, впрочем… — продолжал между тем мой теперь уже знакомый незнакомец, не являющийся болельщиком. — Бегают — нечего им делать. — Он махнул рукой, словно был недоволен чем-то. — Другое бы дело, если б дети играли.

Можно бы посмотреть… Да, а как ваши-то герои? Наверняка не поломали автоматы. Они ведь мне обещание дали.

Я уже окончательно пришел в себя.

— Уважаемый! — сказал я. Но придать голосу необходимую твердость не смог, он прозвучал даже как-то вяло. — Вы это плохо сделали… — И, не найдя больше никаких слов, запнулся и начал шарить по карманам.

Лицо «уважаемого» стало каким-то кислым. Он ухватил мою руку за запястье и стал тащить ее из кармана. Но я не сдавался. И когда он наконец вытащил руку, в ней оказалось разными купюрами рублей десять.

Волосы у него на темени сделались как будто еще реже и словно бы встали дыбом, лицо все пошло морщинами. Оно у него то бледнело, то темнело, и он не мог выговорить ничего вразумительного.

— Браток, это ведь неприлично, — только наконец и сказал он. Да и то не сказал, а пробормотал едва слышно, точно провинившийся школьник.

Я хорошо знал, что можно назвать неприличным. Мне только не хотелось спорить с ним.

— Копейки на игрушки детям найдутся и в нашем доме, — сказал я и сунул деньги, как они

были комком, в боковой карман его пиджака.

После этого я хотел уйти от него, но он снова схватил меня за руку. Мертвой хваткой. Я почувствовал, что он не отпустит — разве что придется драться.

— Свет мой! — сказал он. — Свет мой, ты меня сильно оскорбил, вернув деньги за игрушки, которые я подарил детям. Возможно, ты сделал это от непонимания, по молодости… — Я уже не пытался вырваться, и он отпустил мою руку, вытащил из кармана пиджака только что всученные мной деньги. — Я не Ходжа Насреддин, за которого вы меня, видно, приняли. Пятерка, трешка, две рублевки… Рубль лишний. Вот возьмите. — Он отдал мне рубль, остальные деньги аккуратно расправил и тщательно сложил. Из брючного кармашка для часов достал лежавшие там пять ли, семь ли рублей. Сложил все деньги вместе, свернул их и засунул обратно в карман. — Ну вот, полностью с вами рассчитались. От долга вы избавились. Совесть ваша совершенно чиста. Теперь у вас есть возможность поговорить со мной, не испытывая стеснения. Слушаю вас.

Он взял надо мной явный перевес.

— Так ведь… вот так… неудобно получилось, — сказал я, вновь не находя слов. — Дело, конечно,

не в копейках… Вы и сами бы точно так поступили…

Незнакомец оценивающе посмотрел мне в лицо, потом, не то сочувствующе, не то понимающе, похлопал меня по спине.

— Дорогой мой, как бы ты ни спешил, в такой толчее вряд ли влезешь в автобус. Пока народ разъезжается, я тебе расскажу одну историю.

— Расскажите, — отозвался я равнодушно.

Незнакомец вовсе не казался мне человеком, который мог бы рассказать что-то занятное. Но было ясно и то, что в переполненные автобусы, которые подчас проезжали, вообще не останавливаясь, я не влезу, а если и влезу, то ни одной пуговицы у меня на одежде не останется.

— Какой-то сногсшибательной истории я вам не могу рассказать, — сказал незнакомец. — Просто пример. Из собственной жизни. Отойдемте в сторонку. Обычно люди ведут себя как люди. А вот в таких случаях просто с ума сходят, в каких-то дикарей превращаются — ума не приложу, почему так. Вот сюда. А то еще затопчут.

Столпотворение вокруг и в самом деле было такое, что все это напоминало вышедшую из берегов, разлившуюся в весеннее половодье реку. Сплошная волнующаяся черная масса. Уезжали

и автобусами, и троллейбусами, и такси. Многие пошли пешком. Но людей все равно не убавлялось. Последние еще, видимо, и со стадиона не вышли. Мы с моим незнакомцем сделали от толпы на остановке несколько шагов в сторону.

— Я рано потерял и отца, и мать, — начал незнакомец. — Но тем не менее на долю мне не выпало никаких лишений. Что такое сиротство, я не узнал. У меня была сестра, одна-единственная сестра — намного старше меня. Она сразу же взяла меня к себе. Зять мне стал вместо отца. Может быть, даже лучше отца был. Покойный отец никогда не обращал внимания, как я учусь. Он говорил, лишь бы ты здоров был, да следил, чтобы я был сыт-обут. Ну, а зять с первых же дней стал меня приучать к строгому порядку во всем. Я не должен был опаздывать в школу, домашнее задание должен был выполнять в определенные часы, должен был читать книги, которые положено. У него-то у самого так жизнь сложилась, что не пришлось особо поучиться, поэтому учение было для него великой вещью. Очень он хотел, чтобы я получил настоящее образование.

Хотя они и жили вместе уже лет восемь, однако детей у сестры с зятем не было. А может, и от природы было ему дано столько доброты, но зять

любил меня, пожалуй, больше, чем родной отец. Когда я закончил десятилетку, сам повез меня в Алма-Ату. Тогда не было нынешних страшных конкурсов. Не очень-то много шло учиться. По правде говоря, и у меня особого рвения не было. Не учеба меня манила, а город. Городские развлечения. Сдал я документы, и все, стал самым что ни на есть настоящим студентом университета.

Жизнь тогда была тяжелая. Но мне и в студенчестве не пришлось испытать никаких трудностей. Зять каждый месяц высылал деньги. Да и сестра кое-что тайком подкидывала. Плюс стипендия. Был молод, в голове ветер гулял. А уж кем себя чувствовал! В те времена то, что мы студенты, означало для нас чуть ли не то же самое, как если б мы были профессорами или министрами. Зимой — город, летом — аул. Что и говорить, жизнь была постоянно повернута ко мне своей солнечной стороной. Сестра и зять, университет и Алма-Ата — весь мир лишь для моего удовольствия и был создан.

То был год, когда я с грехом пополам закончил третий курс. На каникулы, по обыкновению, я поехал на родину. Домашние мои оказались на пастбище. Мне подвернулась попутная подвода, и, заночевав в пути, на следующий день я уже

добрался до них. Еще издали завидев арбу, зять с сестрой вышли встречать меня. Они делали так каждый год. Но нынче в том, как они шли, в их движениях, выражении их лиц было что-то незнакомое. Обогнав их, шагавших с неторопливой солидностью, к арбе несся маленький, двух-, а может, трехлетний мальчуган. Я спрыгнул на землю, он испуганно остановился и побежал обратно. Только тогда я вспомнил. В одном из писем, написанных зимой, сестра с радостью сообщала, что у меня появился племянник. Они усыновили младшего сына из семьи троюродного брата зятя, только-только начавшего разговаривать. Звали его Абзал. О столь неожиданно появившемся у меня племяннике они писали в каждом письме, а один раз даже обвели на листке бумаги контур его ладони и ножки. Я же не придал этому событию никакого значения, как-то совершенно даже забыл о существовании племянника.

Крохотный мальчуган с большими черными глазами, выбритым теменем и заплетенными на висках двумя светлыми косицами, в красных, с прорезью в клине шароварах, продолжал сторониться меня и после того, как мы вошли в юрту. Только когда мы попили чай и я открыл чемодан, он залез ко мне на колени; сидя на одном, лег

животом на другое и свесился вниз, заглядывая внутрь чемодана.

Другого дома, кроме этого, у меня не было, не было и других родственников, кроме сестры и зятя. Я чувствовал себя членом их семьи и в мыслях никогда не держал против них ничего дурного. Что и говорить, без подарков я к ним не приезжал, да ведь и деньги-то, на которые жил в Алма-Ате, были их деньгами. И в этот раз чемодан у меня тоже был полон: зятю — костюм, сестре — платье, а кроме того — чай и всякие сладости. Не только им, но и соседям хватит. Я все вытаскивал и вытаскивал, и наконец в чемодане, на самом дне, остались лишь мои личные вещи. Я закрыл чемодан и хотел задвинуть его под кровать. Но тут мой племянник, все так же сидевший у меня на коленях, захныкал и потянулся к нему.

— Шина… — протянул он.

Ничего не поняв, я посмотрел на него. Глаза мальчугана были сплошным ожиданием и надеждой, одерни его сейчас — тут же расплачется.

— Шина… бип-бип…

Сердце у меня екнуло. Машина! Он просил игрушечную машину! Всех, значит, облагодетельствовал, а про крохотного своего, с кулачок, племянника забыл.

В доме на миг установилась мертвая тишина, муха пролети — будет слышно. Все: и зять, и сестра, и соседи, пришедшие поздороваться со мной, поприветствовать меня с приездом, буквально затаили дыхание. Только похныкивал мой маленький племянник, и в голосе его была мольба:

— Шина… бип-бип…

Сестра попробовала дать ему монпансье. Мальчик даже не посмотрел на него. Зять залез под кровать и вытащил из-под нее целую кучу игрушек. Пистолет. Лошадь. Собака. Кошка. Все они были вырезанными из березы самоделками. Мальчик ничего этого не хотел — он все их раскидал, какую куда.

— Шина… — говорил он, взглядывая то на меня, то на чемодан. — Шина… бип-бип…

— Всю зиму он ждал, все радовался — дядя мне, дескать, машину привезет, — со вздохом сказала сестра.

Зять засуетился, собирая разбросанные по полу игрушки. Соседи стали расходиться.

В тот день впервые в своей жизни я почувствовал себя чужим в этом доме. Вроде бы все оставалось по-прежнему. Сестра, хлопоча вокруг меня, все так же подкладывала мне в тарелку то одно, то другое. Зять, как обычно, расспрашивал

меня про учебу, про здоровье и ухаживал за мной с особой уважительностью. Но какой-то холодок отчуждения прошел между нами. Я не решался смотреть им в лицо, отводил глаза. Ну, а стоило мне взглянуть на племянника, так все у меня внутри словно обрывалось. Ни то, что вскоре он увлекся сладостями и успокоился, ни то, что он уже ни на шаг не отходил от меня, то и дело карабкаясь ко мне на руки, — ничего не могло снять камень с моей души. Я чувствовал себя бесконечно виноватым, не виноватым даже, а преступником.

В таком угнетенном состоянии я прожил у зятя с сестрой дня два или три. Жить у них дальше после того, что произошло, было мне невыносимо. Я снова засобирался в дорогу. Видимо, они поверили, что у меня срочное дело, — никто в доме не стал возражать против моего отъезда. Зять, как всегда, до отказа набил мне карманы и чемодан разной разностью — всем, чем только мог угостить. Сестра, как это водилось, дала мне массу всяческих, наставлений — вроде того, чтобы на улице я был внимателен, с девушками был осторожен, чтобы я не экономил на еде, не пил и так далее. Я уехал.

Все пошло по-старому, так же, как было и рань-

ше. Зять раз в месяц присылал мне деньги. В день, когда получал перевод, я писал им письмо. Только всякий раз у меня не хватало смелости спросить что-нибудь о моем маленьком племяннике с косичками. И они ничего не писали о нем. Правда, письма их были по-обычному теплыми. Разве что вот приходили все реже и реже. Зимой, месяца два-три, и вовсе никаких вестей от них не было. Но деньги они высылали все так же регулярно.

Кончилась летняя сессия, чего я ждал с величайшим нетерпением. Впервые я сдал все экзамены с первого захода, и сдал хорошо, не как обычно. После той своей последней поездки в аул я заметил, что изменились к лучшему и характер мой, и поступки, и учеба. Мои сокурсники, считавшие меня раньше вонючим баем, теперь видели во мне доброго товарища. В общем, как только закончилась сессия, я тут же стал собираться в аул. Мне было отчего спешить. Я очень соскучился по родным местам. Ведь в прошлый раз я даже не успел вдоволь наглядеться на них. Да и с зятем, сестрой не виделся по-настоящему. А самое главное — там меня ждал мой маленький племянник. Весь чемодан я набил одними игрушками. Только машин набралось пять или

шесть моделей. Я все представлял себе, как мой племянник, потряхивая своими косицами и сопя носом, сидит посреди такого множества машин: и пружинных, заводящихся ключом, и инерционных, с тяжелым маховиком, и простых, которые нужно возить за веревочку, и грузовых, и легковых, и с прицепом, и без прицепа, больших и маленьких, и так и сияет от радости. Еще не доехал, еще не видел на лице его этой радости, а уж был счастлив от одного лишь предвкушения ее. Прямо как шальной стал.

В аул я приехал, когда день уже клонился к вечеру. Встречать меня никто не вышел.

И зять, и сестра были в юрте. Сестра возилась у очага, пытаясь разжечь дымящий сырой кизяк. Зять плел ремень, привязав один конец его к ножке кровати. Оба они словно бы состарились. И когда я внезапно появился в двери, и он, и она, как делали свою работу, — она опустившись перед очагом на одно колено, он — сидя с поджатыми под себя ногами, — так и замерли. Юрта выглядела как-то уныло, точно была нежилой.

Сердце мне обдало холодом.

— А где Абзал?

Сестра, отряхивая подол, неловко поднялась с коленей и, обняв меня, заголосила. Расплакался

и зять. Я понял, в чем дело, и так вот втроем мы долго оглашали округу своими стонами и причитаниями.

Мальчик, оказывается, умер еще в середине зимы от оспы. Горе буквально раздавило зятя с сестрой, но даже просто сообщить мне о смерти племянника они посчитали лишним. Ведь хотя вслух и не было сказано ни слова, а весь год мы были в ссоре. И вот мы встретились — с таким горем в доме, — и все было забыто. Что теперь поправишь…

— Как вспомню, так до сих пор сердце кровью обливается, — сказал незнакомец. Он вытащил из кармана платок и вытер глаза. — Подумайте сами… Малыш… ребенок… Во всей своей трехлетней жизни он имел одно-единственное желание — машину. Игрушечную машину. Подарить ее, сделать ребенка счастливым, было в моей власти… — Он помолчал немного. — И вот с тех пор, — снова заговорил он обычным своим голосом, — я всегда заглядываю в глаза малышам. И всегда сразу узнаю, чего они хотят. Много, думаете, надо, чтобы сделать ребенка счастливым? Совсем немного. Вот я и хочу сказать: нельзя, чтобы из-за этого «немного» на детскую душу ложились рубцы… Подумайте сами. Пусть, предположим,

мой маленький племянник, когда я приехал с чемоданом игрушек, был бы жив и здоров. Все равно он бы не обрадовался так, как в прошлом году. А если бы даже и обрадовался, то разве бы прошлый год вернулся? Разве возвращается назад прошлый месяц, прошлый день, прошлое мгновение? Нет. Никогда не возвращается. Казахские выражения «вернул свою прежнюю жизнь» или, скажем, «вернул утраченное» — пустые слова. Ну, предположим, рано или поздно вы бы приобрели своим детям автоматы, которые они так хотели. Ну и что? Ведь то, именно то желание, в тот момент, когда мы встретились, ведь оно так бы и осталось неудовлетворенным. Погашенное вновь не возгорается, а если возгорается — это уже другой костер. Прошлое не возвращается, нет, а если вернется — так ведь мгновение уже идет другое. Это не только для детей, но и для взрослых. Для всех людей, в общем…

Народ на остановке немного рассосался. Я стал оглядываться по сторонам.

— Простите, — сворачивая свой рассказ, сказал незнакомец. — Отнял у вас время пустым разговором. Будьте здоровы!

Он даже не оглянулся. Вскочил на подножку медленно, неуклюже трогавшегося с места длин-

ного «Икаруса» — и уехал.

А я, не успев даже произнести: «Погодите!» — остался стоять. И чувствовал я себя теперь виноватым. Перед этим моим знакомым незнакомцем. Перед множеством всех знакомых и незнакомых людей. Перед всей планетой. В жизни ты все время схватываешься с кем-то, с кем-то грызешься, борешься, пинаешься и толкаешься локтями, — до того ли тут, чтобы смотреть на чье-то там настроение, блюсти чьи-то чужие интересы. Ну, а если смотреть в корень, так все люди — не вчерашние ли младенцы и не такие же разве, как ты сам? Но ты не думаешь об этом. Скольких ты бьешь по лицу, скольким переходишь дорогу! Простейший пример тому: ты, протолкавшись, залез в автобус, а кто-то из-за тебя остался снаружи. Одно досадно: без этого жить ведь и невозможно. Потому что мы… мы — взрослые люди.

Своего незнакомца, дожившего до седых волос, но так и оставшегося ребенком в душе, я больше не видел. А если бы и увидел — прошел бы мимо, словно не узнал. Что толку узнавать? Ну, поздороваешься. Так от того почета ему не прибавится. Ну, попросишь прощения за опрометчивый свой поступок. Так ведь все равно сделанного не вер-

нешь. Лучше забыть обо всем, будто ничего и не было.

И в самом деле, не прошло и недели, как все случившееся выветрилось из памяти. Только сыновья все никак не могут забыть этого человека. Понравится им какая-нибудь игрушка, обязательно услышишь, как они говорят друг другу: «Завтра наш дядя-родственник купит!» А те автоматы они так и не поломали. Все еще играют с ними. Дали ведь своему дяде-родственнику обещание.

1973

Перевод А. Курчаткина.

МАТЕРИ

Есть люди, получающие истинное удовольствие от дороги. В поезде или самолете они чувствуют себя все равно как в санатории, а шумный вокзал представляется им чем-то вроде волшебного базара, на котором совершенно бесплатно можно приобрести все, что пожелаешь. Ну, а для меня нет большей муки, чем ехать куда-то. Страдания начинаются с вызова такси. Придет оно вовремя или нет? Приходит. Садишься, едешь. Предположим, у тебя самолет. Значит, надо зарегистрироваться. Зарегистрировался. Теперь ждешь объявления на посадку. Полетишь в положенное время или нет? Полетел. Ну, а прилетишь в нужный город по расписанию или придется ночевать где-нибудь на полдороге? Допустим, прилетел по расписанию. Начинаются гостиничные проблемы. Ну, ладно, предположим даже, что и тут все в порядке. Но вот с делом покончено, надо возвращаться домой. Снова вызов такси, снова очередь… Снова… снова… А если поезд? И не говорите мне о нем! Здесь мучений в десять раз больше. Оглушающая суета вокзала. Толчея сотен бегущих, каждый в свою сторону,

людей. В руках у тебя тяжелый чемодан. Пока идешь от одного конца состава до другого… Пока протолкаешься сквозь запруду таких же, как ты, к своему месту… Да не дай бог никому таких мук! Пройдешь через все это — и впредь заречешься ездить куда-либо. Но что делать, проходит месяц, год — и все это с тобой повторяется вновь. Ты досадуешь. И смиряешься.

И вот опять я был раздосадован подобными же обстоятельствами. Разумеется, и на этот раз вынужден был смириться. Единственное отличие ситуации от обычной состояло в том, что отправлялся в дорогу не я, а моя мать, приезжавшая из аула погостить у нас. Бабушка наших детей. Правда, хотя и бабушка, но вовсе еще не старая. Только что вышла на пенсию. Сложилась, как говорится, уже в советское время. В общем, старушка нынешнего века. Отсталость ее заключалась лишь в том, что она не могла ездить одна. По прибытии встречаешь ее. По отбытии провожаешь. И если не попадется в поезде кто знакомый, так надо суметь препоручить ее заботам хоть какого-нибудь пассажира с более или менее добрым лицом. Одним словом, не человек, а сплошные хлопоты. Хорошо бы, хоть понимала о доставляемых ею беспокойствах. Так ведь еще

бог знает в чем и обвиняет! «Ой, — говорит, — аллах! Каким каменносердным уродился...» И еще, своей невестке, с которой она более открыта, чем со мной, потому что у них одна, женская доля: «Оказывается, мы ошибаемся, уча детей. Вон сын Олжабая, тракторист...» И, прицокивая языком, она рассказывает о героических деяниях этого сына Олжабая, тракториста. Он и сена родителям привезет, и топлива забросит, и не дом, а настоящий дворец из шести комнат, с зеленой крышей строит для них. Детей своих возле себя не держит. Все у его стариков пасутся... Послушаешь — так прямо какой-то богатырь из сказки. Тот самый Ожар, сын Олжабая, что учился вместе со мной, оставался в каждом классе на осень и так в конце концов не закончил десятилетки...

Мать и нынче, как всегда, приехала навьюченная. Привезла целую баранью тушу, бурдюк масла (она не знает, что ее невестка, которая, в общем-то, любит получать подарки, в рот не берет этого масла — дескать, не магазинное) да полбурдюка сузбе[81]. Ну, и еще кое-что, всякие вещи помельче. Вмиг мы разбогатели! Ребятишки, конечно, бабке обрадовались. Но покой в

[81] Примечания: 81
Сузбе — неустоявшийся, жидкий сыр.

нашей семье длился недолго. Прожив у нас два дня, к вечеру третьего мать объявила, что завтра рано утром должна выехать обратно. Отец, оказывается, лежит дома больной. Корова у нее там. Телята. Да и ягнята есть, и козлята. Как ни уговаривали мы ее переночевать лишнюю ночь и ехать в субботу, она не согласилась. Никак ей нельзя больше задерживаться. Выхода не было: следовало отпрашиваться с работы. Надо ведь проводить. Вся сложность заключалась в том, что я еще не купил билета — думал, мать погостит подольше.

И вот мы на вокзале. Сутолока, суета. Шум, гвалт. А уж у касс — настоящее столпотворение. Где, куда продают билеты, какая очередь в какое окно стоит — ничего не известно. Расспрашивая тех, других — всех подряд, чувствуя, как закипают в груди слезы от собственного бессилия, я наконец нашел нужное мне окно. Занял очередь. Впереди меня змеился целый караван стоявших в затылок друг другу людей, у самой же кассы была невероятнейшая толчея — спрессованное человеческое месиво. За мною спустя мгновение тоже стояли уже несколько человек. Это меня немного успокоило. Но очередь наша совершенно не двигалась. Такое впечатление, словно впереди

произошел какой-то затор. Все та же там, у касс, куча мала. Не похоже, что нам удастся добраться до вожделенного окна сегодня. Поглядев по сторонам, я увидел, что, кроме меня, никто не проявлял никакого беспокойства. У всех были терпеливо-равнодушные лица. Словно люди даже забыли, зачем они пришли на вокзал. Видимо, и мне надо было запастись терпением. А что еще оставалось?

Неожиданно впереди из очереди кто-то закричал: «Агай! Агай!» Я не обратил на крик никакого внимания, но тут человек выкликнул мое имя: «Саке! Салахитдин-агай!» Это был светлокожий парень с длинными волосами, густыми черными бровями и ниточкой усов над верхней губой. Он стоял в самой гуще толпы, одна голова и торчала из нее. Когда я посмотрел в его сторону, он замахал белой заячьей шапкой, чтобы мне было легче увидеть его. Я и увидел, но лицо его мне было незнакомо.

— Стойте там у себя, — сказал парень, словно я уже бросился к нему с распростертыми объятиями. — А то тут шуметь начнут.

Только теперь я понял, что значила его фраза — «стойте там». И впрямь люди кругом уже вовсю таращились на нас.

— Куда вам? — спросил парень.

Я назвал станцию. Парень стоял почти у самой кассы и минут через десять уже брал билеты. Вслед за ним я тоже выбрался из толпы недавних моих товарищей по несчастью.

— Мягкий вагон, — сказал парень, отдавая мне билет.

Подобное не было предусмотрено нашим финансовым планом. Но не считать же копейки в такой ситуации, — осыпая парня благодарностями, я полез в карман.

— Спасибо, агай. Не надо, — сказал он.

— Да ты что, милый! — Я вытащил кошелек.

— Оставьте, агай, — произнес парень несколько даже смущенно. — Мы и так в долгу перед вами.

Только после этих его слов я по-настоящему задумался, кто же он, этот парень. Совершенно был он мне незнаком. Ну разве что напоминал чуть-чуть кого-то лицом. Видимо, из нашего аула, из малышни, до которой мне не было дела, намного позднее меня приехавшей в город.

— В мягкий вагон ты зря взял, — сказал я, не зная уже теперь, то ли все-таки отдавать ему деньги, то ли убирать кошелек обратно в карман. И сказал я это только лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. — Едет-то моя мать. А она любит,

чтобы вокруг народ был, да побольше.

Это было истинной правдой. Сначала мы ей брали в купе. Но после двух-трех поездок она отчаянно запротестовала. Как-то, оказывается, она всю дорогу ехала во всем купе совершенно одна. До утра, говорит, уснуть не могла. И что бы она делала, если бы какой бандит к ней заявился? Грабить у нее нечего, но если бы вдруг голову ей отрезали, — что бы она делала? А то еще как-то раз попутчиком ее оказался какой-то черный мужчина с горбатым большим носом и огромными страшными глазами. Во-от такой громадный нож был у него! Весь день, с утра до вечера, он резал этим ножом толстую, с мужскую руку, свиную колбасу и ел. Сидел бы просто так — еще ничего. Но он ведь то и дело пододвигал к ней эту колбасу и говорил: «Угощайтэс! Угощайтэс! Кушайтэ! Кушайтэ!» Бутылок пять или шесть опорожнил. (Правда, при дальнейших расспросах выяснилось, что это был лимонад.) Матери ничего не оставалось, как притвориться спящей. Всю ночь глаз не сомкнула. Но в конце концов, когда уже подъезжала к своей станции, заснула по-самому по-настоящему и чуть в Ногайсибирь — Новосибирск не уехала. На ее счастье этот самый горбоносый, поняв, видно, что все равно

ему поживиться ничем не удастся, разбудил ее. «Пропади оно пропадом, ваше копей! — говорила мать, искажая таким образом слово «купе». — Там, похоже, одни жулики да карманники ездят». С тех пор мы и берем ей только плацкарт.

— Вот как, а?.. — произнес парень, совсем смутившись. Он оглянулся на кассу. Словно прикидывал, как вернуться и обменять билет.

— Да нет, все хорошо, — сказал я, извиняясь за свое бестактное замечание. — До того ли тут, чтобы билет выбирать. Не ты бы, так и вообще не достал бы, спасибо. Только вот… — я запнулся.

В прежние времена когда, бывало, поприветствуешь аксакала: «Ассалау-магалейком!» — так тот, ответив на приветствие, спрашивал: «А чей ты, сынок?» Не достигший еще возраста не то что аксакала, но и карасакала, я тоже едва не спросил: «Кто ты, никак тебя не признаю?» — но вовремя остановился.

— Как дома, все хорошо? — спросил я, решив выяснить, кто этот парень, обходным путем.

— Хорошо… — ответил парень. И добавил потом: — Мать заболела.

— Что? Все старая болезнь?

— Ну да, все, видно, насобиралось понемногу. Паралич. — Глаза у него повлажнели.

— Да-а… Вот тебе и хорошо. И как она сейчас?

— Ничего. Сейчас уже сидеть может. Здоровой рукой уже и ест сама.

— Ну, тогда, значит, дела не так плохи, — сказал я жизнерадостным тоном. — Поправится.

— Поправится, — сказал и парень. Но в его голосе особой бодрости не было. — Лето настанет, хочу на курорт повезти, где грязями лечат… Родственники тут приезжали, мать проведать, вот я и покупал им билеты… — Он собрался уходить. — Ну, будьте здоровы!

— Будь здоров, милый, — сказал я. — Только вот заставил меня быть тебе обязанным, это нехорошо.

Парень опять ни с того ни с сего засмущался.

— Матери привет передавай, — попросил я, понимая, что она все-таки действительно откуда-то знает меня. — Пусть поправляется скорее.

— Спасибо, агай. Она вспоминает о вас. Последнее время так и вообще часто говорит: когда вы на квартире у нас жили, она вас притесняла, платить заставляла больше, чем положено…

Резко повернувшись, парень быстро пошел от меня и через мгновение уже смешался с толпой. Только тогда я вспомнил его. Ну, а его мать, которую разбил паралич, я и в самом деле знал

очень хорошо.

Я был тогда аспирантом. То была сложная для меня жизненная пора, когда я, бежав от шума общежития, кочевал с квартиры на квартиру. Кочевать было легко. Все мое добро умещалось в одном чемодане. Я искал комнату, которая была бы и светлой, и теплой. А самое главное — я искал тишину. Но найти такую комнату оказалось нелегко. А если и находилась, то начинались нелады с хозяевами. Вернулся я поздно из кино или театра — хозяевам не нравится. Разбросаны там-сям бумаги и книги — тоже не нравится. Хожу по комнате, чихаю, дышу — все не нравится. Нужно или примириться со своим униженным положением, стать чем-то вроде крепостного крестьянина, или менять местожительство. Примириться не можешь, переезжаешь. На новой квартире начинается то же самое. Я стал искать комнату, которая бы имела отдельный вход. Наконец нашел. На краю света. На самой окраине города.

Это была обыкновенная казахская мазанка из двух комнат. Единственной ее особенностью было отсутствие длинного ряда переходящих одни в другие двух-трех сеней, вместо них к выходу прилепился крохотный дощатый тамбур.

Там, где положено было стоять всяким дворовым постройкам, торчал сооруженный из старой фанеры и рваных листов железа, тронутых красно-коричневой ржавчиной, небольшой сарай. В нем хранился уголь.



Под жительство мне отвели верхнюю комнату. Точнее, бывшую верхнюю комнату, Прежде она была гостевой. Потом дверь между комнатами закрыли, в наружной стене этой бывшей гостевой комнаты пробили отверстие и установили новую дверь. Никакого тебе коридорчика. Открываешь дверь — и сразу оказываешься на улице.

Я испытывал такое счастье, будто попал в рай. В дверь я врезал английский замок и все три ключа положил к себе в карман. В нужное тебе время откроешь. В нужное время закроешь. В нужное время зайдешь. В нужное время выйдешь. Вернешься, когда вздумается, уйдешь, когда потребуется. Можешь разбросать свои бумаги хоть от окна до порога, можешь чихнуть хоть девяносто раз подряд — никто тебе ничего не скажет. Холостой мужчина, кроме того, без гостей не бывает — до этого тоже никому нет дела.

Однако уже через два-три дня этой привольной жизни в комнате, показавшейся мне поначалу раем, стали проявляться и отрицательные ее качества. Крохотное оконце пропускало очень мало света. Разве что только в полдень, в остальное же время ни читать, ни писать. Волей-неволей мне пришлось включать свет и среди белого дня. И не такой уж и тихой она оказалась. От другой комна-

ты ее отделяла лишь тонкая дощатая дверь. Когда смеркалось и в доме начиналась вечерняя жизнь, мне становились слышны малейшие звуки в этой соседней комнате, вплоть до звяканья ложек и шороха шагов. После долгих раздумий я нашел выход. Купив в магазине два метра клеенки, я приколотил ее к косяку, а затем в образовавшуюся между дверью и клеенкой пустоту насыпал древесных опилок, целая куча которых лежала во дворе рядом с кучей угля. Кроме того, комната оказалась еще и сырой. Несколько дней подряд шли беспрерывные дожди. Возле дома, стоявшего вдалеке от больших асфальтированных улиц, постоянно была грязь. Но скоро ударили морозы, выпал снег, утоптался, и дорога к дому стала вполне нормальной. Зато место перед дверью, перед моей распахивающейся из комнаты прямо на улицу дверью, превратилось в сплошной, застывший буграми лед. Длинная казахская печь, служившая одновременно и стеной между комнатами, почти совсем не топилась. У меня стало жутко холодно. Но и тут-я нашел выход — купил электрообогреватель. Теперь стало хорошо. И тихо, и тепло — никаких тебе препятствий для работы. Теперь все зависело только от меня самого.

Хозяйкой дома была одинокая пожилая жен-

щина. Она работала уборщицей в стоявшей неподалеку школе-семилетке — это днем, а ночью сторожила ее. Имела она какое-то отношение и к небольшой фабрике, дымившейся тоже неподалеку от нас, — не то в качестве дворника, не то еще кого. Короче, покоя она не знала. И до меня ей не было никакого дела. Однако с наступлением зимы она лишилась то ли одной, то ли даже двух своих работ. Помрачнела. И стала проводить дома намного больше времени, чем прежде. Неудобств мне это не принесло. Наоборот. Печь, которая раньше топилась лишь раз в сутки, когда она готовила себе еду, теперь топилась постоянно, в комнате стало тепло и без электрообогревателя. Работалось мне просто прекрасно. А соответственно этому приподнятым было и мое настроение.

Однако эта идиллия продолжалась недолго.

Как-то утром, когда я сидел за столом с раскрытыми посередине коричневым и серым томами, готовясь к сдаче минимума по философии, в соседней, хозяйкиной, комнате раздался звук, как если бы открылась дверь между нами, и вслед за тем я услышал испуганный возглас: «Ой-ей, что такое?!» Что-то там сыпалось с легким шорохом. Прибитая к косяку клеенка, всегда, казалось, гото-

вая лопнуть под грузом натягивавших ее опилок, морщинисто обвисла. Я понял, какая случилась беда. У хозяйки появилось ко мне срочное дело, и она, поленившись идти двором, открыла вот эту, внутреннюю дверь, которая, очевидно, была заперта с ее стороны лишь на крючок.

Секунду спустя раздался стук в наружную дверь. Я открыл. Вместе с клубами морозного воздуха, рванувшегося в комнату, вошла и хозяйка. Она была без платка. Волосы ее были растрепаны. Ничего она на себя не накинула, так и прибежала — в платье да домашней жилетке. На босых ногах болтались калоши. Она не прикрыла за собой дверь. Переступила через порог и остановилась. Мгновение помедлила и заговорила, задыхаясь от злобы:

— Товарищ квартирант! Поскольку ты был свой, казах, и был без крова, без крыши над головой, и со слезами умолял пустить тебя, я тебя пожалела, разрешила жить в моем доме. Но не добро я от тебя вижу, а зло… — Выступившие на верхней губе капельки пота, раздувшиеся от возбуждения ноздри, разом, казалось, потемневшие оспины на носу — все это сделало ее лицо отталкивающим.

— Мамаша, закройте сначала дверь, — ска-

зал я.

Хозяйка, будто захлебнувшись собственными словами, запнулась и сделала судорожное глотательное движение. Но дверь она не закрыла. Закрыть ее пришлось мне самому.

— Ну, а теперь присаживайтесь.

Хозяйка, растерянно оглаживая руками платье, присела было на предложенную табуретку, но тут же вскочила, открыла только что закрытую мною дверь и снова закрыла. Потянула ее на себя, словно проверяла, плотно ли она входит в косяк.

— Слушаю вас, — сказал я.

— Дорогой! — начала она, вновь опускаясь на табуретку. — Я хоть и вдова, хоть и одинокая, но не какая-нибудь там аульная размазня баба, которую любой может укусить и обидеть. Я, знаешь ли, и в войну…

— Давайте о деле, — попросил я.

Хозяйка, казалось, смешалась. Но речи своей она не прервала.

— Этот дом я выстроила собственными руками. Сама. Одна. Никто не посочувствовал мне, никто не помог. Это мой дом.

— Дом ваш, — сказал я. — И, не испросив на то вашего согласия, я засыпал дверь между нами опилками — вот моя вина. Об этом вы мне хотите

сказать все это время?

— Не об этом, — ответила хозяйка. — Вот, погляди-ка. — Она потрясла в воздухе какими-то сброшюрованными листками. — Сыбет![82] Один этот сыбет загонит меня в могилу. За полтора месяца — семнадцать рублей. За всю свою жизнь больше семидесяти копеек, в месяц семидесяти копеек, я не платила. В самом крайнем случае, здесь только рубль мой. А кто, скажи мне, заплатит остальные шестнадцать рублей!

В устном нашем соглашении оплата счетов за электроэнергию не предусматривалась. Но выхода не было.

— Вот, возьмите все семнадцать рублей с меня, — сказал я.

Хозяйка, словно не веря мне, стала и так и этак перебирать, меняя местами, полученные деньги: десятирублевку, трехрублевку, четыре рублевки. И все пересчитывала их.

— Вот это правильно, — произнесла она наконец. — А жить за чужой счет — это грех. Как-нибудь пополам платить будем. — Но она мне ничего не возвратила, а, расправив деньги, свернула их вдвое, затем втрое и сунула в карман

---

[82] Примечания: 82
Искаженное «свет».

жилетки. — Дело-то у меня к тебе другое было. Сейчас ведь трудно с квартирами-то. Хорошую да удобную не всегда найдешь. Много вас ищет, так прямо и умоляют. Вчера вон тоже приходили. Парень с девушкой, только что поженились. Сорок рублей, говорят, платить будем. А я… я, конечно, не согласилась. Человек, говорю, снимает уже, неловко. Но все-таки, знаешь… терять… Мы ведь с тобой не родственники, даже не отдаленные.

— Сорок рублей я не могу платить. — Все во мне так и восстало против хозяйки.

— О господи! Разве я говорю — плати. Просто, говорю, сказать хочу — предлагали мне. В старину так баяли: нет большего греха, чем на сиротский да на вдовий кусок зариться. Просто чтоб ты знал, для того сказала. С тебя сорок брать — мне тоже жалко. Тридцать пять если бы, так и хорошо…

Я дал согласие. В результате дело о засыпке внутренней двери опилками разрешилось в мою пользу. Покончив со всеми своими вопросами, хозяйка больше не стала задерживаться у меня. Следом за ней вышел и я сам. Мне нужно было сходить на почту и отбить телеграмму. В аул. Попросить выслать денег.

Вечером, вскоре после десяти, неожиданно погас свет, и я вынужден был прервать работу,

не сделав того, что запланировал. Свет погас и на другой день, и на третий. Только тогда я понял, что в этом была виновата не станция. Вечером четвертого дня, желая предупредить события, я постучал к хозяйке. Однако мне не открыли. Видимо, она не слышала моего стука. Я стучался в наружную, уличную дверь. Она оказалась незапертой, и я зашел в тамбур. Тут же я услышал, что в комнате хозяйки поют. «Проложила в поле борозду девушка-трактористка…» — пели нестройно хриплые, надтреснутые голоса. Судя по всему, одни женщины. А если точнее, моя хозяйка, а с нею еще две или три старухи. Закончив песню — кто раньше, кто позже, — они тут же загалдели:

— Эй, а склянка-то опустела…

— Не могла две бутылки взять, что ли?

— Маладес! Я спою «Песню о выборах». «Новая жизнь — эх, расцвела!.. Двенадцатое декабря…» Нет, какое сегодня число?

— «Новая жизнь — эх, расцвела… двадцать седьмого генваря…»

— Какие ты старые слова помнишь… — Это был голос моей хозяйки.

— Старше твоей «Девушки-трактористки», да, поди, помоложе тебя…

— Э, не говори так. Она не то, что мы с тобой, зубы у нее целые и волосы вон еще какие черные. Не хочет еще в отставку выходить. А то бы пускала, что ли, на квартиру одних молоденьких джигитов…

— Хи-хи-хи…

— Ха-ха-ха…

Я повернулся и ушел. (Позже я узнал, что было их там трое, считая мою хозяйку, — дружили они уже бог знает сколько лет. Каждую неделю они собирались на чьей-нибудь квартире и пировали. Потом я не раз видел, как моя хозяйка провожает своих едва переступающих ногами подруг и, сама до смерти пьяная, едва находит ручку двери.) Назавтра мы объяснились. Отключение света оказалось дипломатическим нажимом. Соглашение о том, что за свет впредь буду платить я, приобрело окончательную силу.

Спокойная, тихая жизнь продолжалась всего лишь недели две. Как-то утром хозяйка снова появилась у меня. У нее был вид человека, сломленного тяжелым горем. Словно бы она пришла найти во мне опору, поддержку. Словно бы одно мое теплое слово утешения принесло ей избавление от ее страданий. Чувствуя, зачем она пришла, я все же, из-за ее вида, боялся: вдруг она пришла

совсем с другими, касающимися меня вестями — из аула, о моих стариках, а может быть, даже и обо мне самом. Только когда она заговорила — все о том же: о трудностях быта, — только тогда у меня отлегло от сердца.

Зима нынче суровая, начала хозяйка. Угля идет больше обычного, к тому же прежние квартиранты сами закупали для себя топливо. Раз уж я сын казаха, так она, казашка, посчитала неудобным напоминать мне о том, что я должен позаботиться о топливе. Но что делать… Вот, пора уже приобретать уголь. (По моим подсчетам, угля во дворе хватило бы и на следующую зиму.) Немного. На каждую комнату по полторы тонны. Кроме того, я ведь не топлю. А есть, оказывается, и такие, что заставляют своих квартирантов топить. Не я, а она выгребает пыльную золу, она разжигает уголь и всегда ходит из-за этого в саже. Но за это она денег не просит. Только за уголь… За мои полторы тонны…

Покой человеку бывает порою важнее всего. Я дал ей денег. Но хозяйка не положила их в карман, а помяла, помяла в руках и пошла дальше. Для того чтобы получить уголь, нужен талон. Талон тоже покупается. Уголь погрузить надо, доставить, сгрузить… Короче, хозяйка успокои-

лась лишь тогда, когда получила с меня все, что просила. А я соответственно послал назавтра моим старикам новую телеграмму.

Однако, как ни ценил я покой, но все-таки я тоже человек, — этот последний приход хозяйки буквально взбесил меня. И когда вскоре она появилась у меня снова, я приготовился быть стойким. Но на этот раз дело ко мне оказалось у нее совсем иного рода. Да и выглядела она необычно. Вся вспотела, ноздри раздувались. И все время посмеивалась, открывая свои сгнившие кривые зубы. Она, видимо, только что вернулась из магазинов — в руках у нее был бумажный сверток, тщательно перевязанный конопляной бечевкой.

— Сын приезжает, — сказала она. — В Москве грамоте немых обучается. — Бесцеремонно сдвинув в сторону мои бумаги, она положила сверток на стол и развязала его. — Кастем[83] купила, пусть порадуется. Емпурт[84]. Болыский[85]. Сто тридцать два рубля. Сам понимаешь, в Москве

---

[83] Примечания: 83
Искаженное «костюм».

[84] Примечания: 84
Искаженное «импортный».

[85] Примечания: 85
Искаженное «польский».

учится, кому носить дорогую одежду, как не ему? Пусть носит. — Она снова завернула костюм в бумагу. — Вечером будь у нас, — сказала она уже от двери. — А иначе какие мы мусульмане?

Пришлось снести и это унижение. Вечером постучал.

Симпатичный молодой человек, сидевший поверх одеяла на кровати у левой стены, вскочил мне навстречу и, протянув обе руки, отдал традиционное приветствие. Он не был немым, хозяйка моя подразумевала, оказывается, его учебу на дефектологическом факультете пединститута. Воспитанный парень. Обращался он ко мне с неизменным «агай». А узнав, что я историк, проникся просто настоящим уважением. Он сам, как выяснилось, мечтал стать историком. Сдавал нынче летом экзамены, но не прошел по конкурсу, а по дополнительному, набору очутился вдруг в самой Москве. Я попытался утешить парня, сказав, что дефектолог — редкая специальность.

— Ну вот, — сказала хозяйка, довольная моим ответом. — Люди, понимаешь, до учения в Алма-Ате не дотянутся, а он, непутевый, Москвой кидается. Уеду, говорит, да уеду, брошу все. Научи-ка ты его уму-разуму. Специально тебя позвала, думаю — защищаться на степень будет,

ученый парень.

«Стол» накрыли прямо на полу. Я сидел у «пограничной» двери, привалившись к ней спиной. Давно я не ел домашней пищи, а уж отварную конину — вообще бог знает когда, и уже не раскаивался в своем приходе к хозяйке. Под мясо хорошо пошел и коньяк.

— Говорят, эту водку пьют ученые люди, едва нашла, — сказала хозяйка. — А дорогая какая! Четыре рубля тридцать две копейки.

Она завелась было по привычке жаловаться на то, как тяжело жить в этом мире, но, посмотрев нечаянно на сына, замолчала.

Коньяк мы налили в граненые стаканы. Немного — на самое донышко. Я произнес небольшой тост — за успехи в учебе, за будущее Марата. Этого благовоспитанного юношу звали Марат. Чокнулись. А выпил, как выяснилось тут же, я один. Марат не пил совсем, он только пригубил. Ну, а хозяйка на мои уговоры отчаянно замахала руками:

— Ради общего настроения — вот чокнулась, а чтобы пить — что вы… Ой, да что же вы думаете, дурь на меня какая напала — на старости лет водку вдруг пить начну?

Дней через десять каникулы у Марата кончи-

лись. Пока гостил дома, он то и дело заглядывал ко мне, заводил разговоры о древностях Отрара, Сайрама и Туркестана; перед отъездом зашел попрощаться. Я едва не сказал ему: бросай все, занимайся любимым делом, но сдержался. Слишком нелегко было бы ему выпрягаться из той упряжки, в которую он уже был впряжен. Я повторил ему какие-то прежние свои советы, и, попрощавшись со вздохом, он ушел.

В тот день, когда он уехал, я вернулся домой довольно поздно. Со стороны хозяйского входа слышалось какое-то бормотание, какой-то стук — не то по двери, не то по стенке. Догадка моя оказалась верна. Это была хозяйка. До смерти пьяная. Она никак не могла открыть замок. Я понаблюдал немного за ее тщетными попытками и, убедившись, что, если не помогу, она неминуемо останется на улице, подошел к ней.

— Душа болит! — сказала хозяйка, ничуть не удивившись моему появлению, и сунула мне в руки ключ, будто все это время только и ждала меня. — У-ух… душа болит. Сирота ведь он, сирота же. Бездомный. Из детдома ведь взяла. Из детдома, да! Душа болит… По самой себе болит. Одной судьбы я с ним… бессемянная. Выучится. Вырастет. И уйдет. У-ух ты!..

Я весь похолодел от того, что услышал. В ту минуту я, кажется, простил хозяйке все ее измывательство надо мной.

Назавтра хозяйка снова уже была такая же, как обычно. Началась прежняя, полная дрязг и мелочного сквалыжничества жизнь. Меня она, видимо, считала за недотепу, который примет любые ее требования, а главное — за богача, который имеет в ауле отца-миллионера, потрошила меня как могла. Нужны дрова, чтобы нагревать топку для угля, — плачу я. За то, что она сдает комнату, домоуправление взыскивает налог, — тоже из моего кармана. Потеплело, электрообогревателем я больше не пользуюсь — плата за свет остается прежней. Деньги за комнату стал по ее требованию отдавать за месяц вперед. И хоть бы за все за это — нормальное человеческое отношение ко мне. Нет, все время хмурая, все время мечет громы и молнии — то по тому, то по другому поводу. Раз в два дня обязательно погасит свет. В конце концов я перебрался обратно в общежитие.

Скоро я и думать забыл о своей злыдне хозяйке, о ее воспитанном сыне Марате, мечтавшем стать историком. Кто мог предположить, что через семь-восемь лет мы встретимся с ним, да еще при подобных обстоятельствах…

Я лишь удивленно покачал головой и пошел к скамейке, на которой оставил мать. Она уже беспокоилась, беспомощно озираясь по сторонам. И обрадовалась мне так, словно я вернулся после дальней дороги.

— Надо же, где ты столько пропадал?! — сказала она. Ей не было никакого дела до того, как мне достался билет. — Еще бы немного — хотела искать идти.

— Зачем же искать?

— Да народу-то вон сколько, кто знает… Люди разные. Кто-нибудь и пристать может…

Скоро объявили, что начинается посадка в наш поезд. Мать не торопилась. На ней было несколько слоев одежды, она вспотела. Сколько пуговиц она расстегнула, сколько карманов обшарила, пока нашла платок, чтобы утереться. Затем она аккуратно свернула его и снова положила в карман безрукавки, под бесконечные слои одежды. После этого она стала искать кошелек. В кошельке у нее лежали три или четыре десятки. Две из них она протянула мне — дескать, на дорогу ей хватит и того, что осталось. Я стал было отказываться, но она обиделась, решив, что этих двух десяток мне показалось мало. Наконец, когда и кошелек был убран, обвесившись многочисленными узлами и

свертками, мы двинулись к поезду.

То, что ей придется ехать в мягком вагоне, встревожило мать, но, увидев в купе соседку — русскую женщину с тремя детьми, успокоилась.

— Больше не приеду, — сказала она перед тем, как поезду тронуться. — От людей стыдно. Все скачешь, задыхаешься — между Алма-Атой и аулом. Ну, а сами-то вы хоть бы раз догадались приехать к родителям, дали внучатам порезвиться в доме своих дедов. Отец этого Ожара, я про Олжабая говорю, уже и посмеивается. Дескать, а есть ли у тебя сноха-то, есть ли внуки-то, правда ли это? Не приеду больше.

— Нынче приедем, — сказал я. — Обязательно приедем.

И вот сказал так, а сам знал при этом — не приедем. Надо для этого в очереди толкаться, билет покупать. Потом в поезд садиться. Сутки тащиться в поезде. Сойдешь на нужной станции. Теперь автобус. Двести километров. Приехал в районный центр. От райцентра нужно добираться до центральной усадьбы колхоза. Попутной машиной. Добрался. Но ты еще не дома. Дом на ферме. А ферма от центральной усадьбы — в пятидесяти километрах, в горах. Что от тебя останется, пока доберешься? Нет, едва ли мы соберемся поехать.

— Каждый год ты говоришь так, — сказала мать. — Не приедете. Я тоже больше не приеду. Хватит. Последний раз была у вас.

Но я знал, что не последний. Еще приедет. Летом приедет. Летом легче приехать. Сообщение удобней. Ну, а зимой… Зимой труднее. В горах — снег. Даже всаднику, и тому трудно ехать по такому снегу пятьдесят километров. Иной раз приходится и заночевать в пути. А иногда буран как начнется!.. Да-а, что говорить.

Сейчас на дворе была зима.

1977

Перевод А. Курчаткина.

СИЗЫЙ ГОЛУБЬ

Выражение «человек в старости — снова ребенок» можно, видимо, употребить не только относительно свойства характера, поступков и дел человека. Разве не душа, не ее глубина или мелкость определяют, кто есть кто? Истинно ребенком под старость может стать лишь тот, кто в свое время был широким по натуре человеком. Ну, а в том, что этот старик — ребенок, не было никаких сомнений. Только рано повзрослевший, с какой-то печалью на сердце ребенок.

Каждый день где-то в пору обеда он сидел на длинной, с выгнутой спинкой, выкрашенной светлой краской скамейке у северной стены музея — бывшей мечети с высоким минаретом, — втянув голову в плечи и весь подавшись вперед, с красивой, инкрустированной латунью черной палкой поперек коленей. В руках у него был хлеб. Перед ним, точнее, буквально в ногах у него толклась целая стая голубей. Старик кормил их, отламывая от булки по небольшому кусочку. Причем его не очень-то вроде бы и увлекало это занятие. Морщинистое, в глубоких складках лицо его с опущенными вниз углами губ то и

дело передергивалось судорогой, острый голый подбородок дрожал, и слезящиеся красные глаза с почти выпавшими ресницами были неподвижно устремлены в какую-то одну точку: казалось, что правая рука его, привычным движением отламывающая от хлеба кусочки, не имеет никакого отношения к ее обладателю. Мне он напоминал некий автомат, механически выполняющий заложенную в него программу. Однако порой мне чудилось, что старик то ли плачет, то ли смеется. Возможно, впрочем, что все это мне действительно чудилось.

Уже второй месяц я копался в запасниках музея. Однако поначалу увлекшая работа эта мало-помалу стала утомлять меня. Я решил свернуть свои «изыскания» и писать предназначенную для одного этнографического альманаха статью, положившись на вдохновение. Поэтому настоящий момент работы характеризовался более обдумыванием статьи, нежели изучением материала. Соответственно этому участились мои незапланированные, самой различной продолжительности прогулки вокруг музея по свежему воздуху. На старика, сидевшего здесь изо дня в день, по-настоящему я обратил внимание только вчера. Нынче же я присел рядом. Часть голубей,

громко и многоголосо ворковавших у ног старика на бледно-сером, запятнанном пестро-желтыми палыми листьями асфальте, встревоженная, моим появлением, шумно взлетела и, описав поодаль небольшой круг, снова опустилась.

Старик не взглянул на меня. Глаза его все так же неподвижно смотрели куда-то в голубиную толчею. И было видно, что мыслями он где-то далеко отсюда. Но руки его привычно делали свое дело. Булки у него осталось уже немного, одна горбушка. Мякоть кончилась. Всякий раз, как он бросал кусок, среди голубей начиналась свалка. Но кусок доставался кому-нибудь одному. Поэтому старик бросал хлеб то в одну, то в другую сторону. Понаблюдав некоторое время за голубями, я понял, что и у птиц у каждой свой характер, своя натура. Некоторые голуби будто заранее знали, куда полетит очередной кусак — они объявлялись в самом центре свалки. И довольно часто лакомство доставалось именно им. Один, например, серый с пестрыми крыльями голубь, за то время, что я сидел, успел уже поживиться четыре раза. И все равно продолжал бросаться к каждому новому куску. Видимо, я выделил его среди других из-за необычной расцветки крыльев, потому что, насколько я мог судить, не он

один был таким сноровистым. И вместе с тем были тут и разини, которым почти ничего не доставалось. Они метались из стороны в сторону и в конце концов всякий раз оказывались далеко от того места, куда падал хлеб. Правда, старик, как хороший табунщик, изучивший повадки каждой своей лошади, знал законы голубиной жизни довольно неплохо. Когда и от горбушки осталась лишь половина, я заметил, что он стал бросать крошки не в общую кучу, а каким-то определенным, известным ему, видимо, голубям. Но и при этом многим разиням ничего не доставалось. Даже те крошки, что падали прямо перед их носом, успевали перехватить другие. Особенным талантом ротозейства выделялся сизый голубь с белыми крыльями. Сколько я наблюдал за ним, он за все время не поймал ни одной крошки.

Хлеб у старика кончился. Немного погодя часть голубей — та, разумеется, что наелась, — шумно захлопав крыльями, взмыла вверх и, сделав круг над минаретом, опустилась в стороне. Ну, а большая часть их, словно все еще ожидая чего-то, беспокойно прохаживалась перед скамейкой.

— Все, — сказал старик, разводя руками.

Голуби, конечно же, ничего не поняли, некоторые, наоборот, подошли к нам еще ближе.

Казалось, они смотрели на нас как бы даже умоляюще…

— У вас ничего нет? — спросил у меня старик.

Я зачем-то, как делал, когда кто-нибудь незнакомый спрашивал у меня на улице спички или сигареты, похлопал себя по карманам. И ответ мой прозвучал соответственно глуповато:

— Ничего не захватил с собой…

Как будто раньше я специально таскал для голубей хлеб в карманах. Старик улыбнулся. Мне показалось, он даже сдерживал смех. Подбородок его задвигался. Было такое впечатление, будто он жевал сало передними зубами. Но старик был беззуб. Ни единого зуба. Разве что остался еще корень-другой. Только теперь, увидев вблизи его беззубый, запавший рот, я понял, почему он издали показался мне чем-то расстроенным.

— Хорошо бы подсыпать им пшеницы или какого другого зерна, — сказал старик. — Не дрались бы так. Каждый бы получил свое. Но где возьмешь?

— Это верно, — согласился я, сочтя неловким не ответить. — Некоторым, кажется, ничего не досталось. Ну, а вот этот голубь точно голодный.

— Какой? — Старик взглянул не на кончик пальца, а мне в лицо.

— Вон тот, сизый. Вон, с белыми крыльями.

Только теперь старик, кажется, и поверил. Ему сделалось словно бы не по себе, он заерзал на скамейке. Взял лежавшую на коленях палку, будто ему срочно стала нужна какая-нибудь опора.

— Надо же, а… Как это я не заметил. Жалко-то как…

— Ничего, — сказал я, действительно пытаясь утешить разволновавшегося старика. — Наверное, хотя бы раз в день им специально подсыпают корм.

Но старик словно и не слышал моих слов. Прижав к себе палку, на которую опирался обеими руками, он как-то весь съежился и замер, глядя куда-то неподвижным взглядом.

Я посмотрел на часы. Минуты две-три мне еще можно было посидеть.

— Скажите, — сказал вдруг старик, с живостью поворачиваясь ко мне. — Вот вы вроде ученый человек, может, вы знаете, сколько лет живут голуби?

По-моему, так ученому человеку знать все вовсе не обязательно. Обязательно знать что-то одно, причем знать глубоко. И если чего-то не знаешь, не бояться признаться в этом. Но как же взрослому человеку разговаривать с ребенком,

который уверен, что взрослый знает все?

— Ворона, говорят, триста лет живет, — ответил я уклончиво.

Старик, удивленно причмокнув, покачал головой. Чему он удивился — моим обширным познаниям или долгой жизни вороны — этого я не понял. Одно было ясно — что он удивился.

— Если ворона, — продолжил я, — которая роется в мусоре, живет триста лет, то голуби уж, по крайней мере, лет сорок — пятьдесят…

— Нет, сынок, — перебил меня старик, не дав закончить фразы. — Откуда ты знаешь, может, потому и живут вороны-то долго, что все время ворошат всякие отбросы? Ну, а голуби… ай, не проживут они. Такие чистые… такие нежные существа… — Сузив свои слезящиеся красные глаза, он помолчал. — Впрочем, кто знает. Может, и живут. Если не сорок — пятьдесят, так хоть двадцать — тридцать. Как вы думаете?

— Вполне возможно, — сказал я, не желая отказываться от своих первоначальных слов и начиная уже испытывать легкое раздражение.

— Тогда, стало быть, жив и голубь Болата… — проговорил старик. — Куда-нибудь, наверное, в другое место жить улетел. Не я, так кто-то другой его подкормит. Я его не вижу, так кто-то другой

видит. Может, и вы его видели, а?

— Какой он из себя, этот голубь? — спросил я.

— Сизый. Нет, не этот, которому не досталось. Тот из всех других голубей выделялся, такой был особенный. Такой славный. Если бы он был сейчас здесь, мне бы казалось, что со мной мой маленький Болат…

Теперь мне все стало понятно. Когда-то, лет двадцать — тридцать назад, у единственного, по имени Болат, избалованного сына этого старика был ручной сизый голубь. Сын умер еще мальчиком, а после куда-то делся и голубь. Старик, тогда еще относительно молодой человек, был обременен повседневными будничными делами, службой — и постепенно, ведь со временем проходит любое горе, забыл о сыне, ну, а уж о голубе-то сына и вообще никогда не вспоминал. Вполне возможно, что так оно все именно и было. Дни шли своей чередой, и вот однажды старик вышел на пенсию. И теперь они со старухой — одни в пустом доме. Детей нет. Работы, забирающей силы, тоже нет. Истерлись и потускнели все прежние желания. Что же теперь и осталось, как не уноситься мыслями в прошлое? И все, что имело в прошлом хоть какое-то отношение к маленькому Болату, приобретает теперь особый

смысл…

Хотя еще и не похолодало по-настоящему, но лето все-таки уже прошло. Я продрог. Да и время, которое я отпустил себе на прогулку, уже вышло. Я решил уходить.

— Тогда Болату было всего пять или шесть лет… — неожиданно проговорил старик, словно начиная какой-то рассказ. Встав было, я снова сел. Рассказы стариков интересны. Единственное, что плохо, — им-то время считать не приходится, а то, что вы спешите, — об этом они не думают. И рассказывают они порою не для вас, а для себя. Вспоминают свое прошлое. К тому же еще у них есть привычка копаться в вещах совершенно посторонних, не имеющих абсолютно никакого отношения к данному рассказу. Но что ж делать, поймался. А судя по тому, как начал старик, история его и в самом деле могла растянуться надолго. И до меня ему действительно не было никакого дела, он ко мне даже и не обращался. — Мы вон там, — указал он куда-то подбородком, — жили. Сейчас от того, что там стояло, ничего не осталось, все порушили, новых домов понастроили. Мы тогда в этот парк каждый день ходили. Для меня-то, уставшего на работе, это отдых. И ребенок, получается, на свежем воздухе играет.

Для Болата в парке главным развлечением были голуби. Их тогда везде полным-полно было. Не такие заморыши, как сейчас, а сплошь одни красавцы. И человека совсем не боялись. Болат ходил среди них, как в стаде козлят или ягнят. Без корма для них в парк, мы не приходили. Чаще всего хлеб брали. Болат сам кормил их. И голуби знали его. Увидят нас еще издалека — и как заворкуют, засуетятся! Даже те, что где-нибудь в сторонке были, и те спешат на то место, где он их кормил обычно, — вот это самое, где мы сейчас с вами сидим. Я сначала-то на забаву своего сына и внимания не обращал. Сидел себе, газеты читал, журналы просматривал. Сам, в общем, по себе сидел. А как-то вечером, когда мы домой пошли, вдруг вижу — один голубь идет за нами. Мы неторопливо шли, спокойно. И все равно голубь едва поспевал за нами; стараясь не отстать, напряженно вытягивал вперед шею. Скорость у него была прямо черепашья — он хромым был. Когда он переступал с левой лапки на правую, то заваливался набок и едва не опрокидывался. Как ни трудно ему было идти, он старался изо всех сил, чтобы не отстать от нас. Но расстояние между нами все-таки увеличивалось. И через какое-то время, то ли поняв, что из затеи его ничего не

выйдет, то ли совершенно выдохнувшись, голубь неожиданно остановился и продолжал при этом все так же напряженно тянуть шею.

На следующий день я сразу узнал его. Красивый сизый голубь. Правая ножка была у него сломана посередине, да так, как торчала в сторону, и срослась. Она словно бы волочилась за ним. Но не это при взгляде на птицу вызывало наибольшую жалость. Каждый раз, когда Болат бросал хлеб, голуби устраивали настоящую свалку, пытаясь завладеть куском. Хромая, кидался в общую кучу и сизый. Только ему-то ничего не перепадало. Другие успевали раньше. Все доставалось другим. Я внимательно наблюдал за сизым. За те полчаса, пока Болат забавлялся, раскидывая вокруг себя крошки хлеба, в клюв сизому не попало ничего. Назавтра, как обычно, мы пришли снова. Вчерашняя картина повторилась. На этот раз мы принесли целых полбуханки. Вокруг нас собралось примерно семьдесят-восемьдесят голубей. Болату до того, кто сколько ест, не было никакого дела. Довольный своей забавой, он раскидывал хлеб направо и налево. Я сидел и считал. Он бросил двести тридцать девять кусочков. И хоть бы один из них достался сизому! На двести сороковом я не выдержал. Крикнул, — и остановил

Болата. Хлеба в руках у него оставалось совсем уже немного. Я взял у сына этот оставшийся кусок и, отрывая от него небольшие кусочки, стал подбрасывать их сизому голубю. Но и так я не достиг каких-либо значительных результатов. Из пяти или шести кусочков ему достались один-два.

С того дня мы начали подкармливать сизого голубя отдельно.

А через год Болат пошел в школу, у него появились новые заботы. У меня сменилась работа. Получили новую квартиру и переехали в другой район. Сизый голубь, конечно же, был забыт. Я тогда еще не мог знать, что вместе с сизым голубем теряю и сына — часть своей души. Только вот по прошествии двадцати лет, когда и жизнь-то сама уже прошла, когда я начал уже выживать из ума, я про все про то и вспомнил. Как подумаю сейчас, так ведь что получается: вместе с тем голубем я лишился и много чего другого…

Старик умолк.

Действительно, судьба, заслуживающая жалости. Кому было бы легко — потеряй он единственного сына. Ладно еще — крепкий вроде старик.

— Нет, я не жалуюсь на судьбу, — проговорил старик, будто прочитав мои мысли. Однако то, что он сказал дальше, было для меня полнейшей

неожиданностью. — Сын со снохой все учебу кончить хотели, потом диссертации защищать вздумали… Ну вот, все наконец закончено. Самое бы теперь время внука заиметь — другой мечты у меня нет. Только доживу ли до той поры, когда с ним играть можно будет… А как подумаю, так ведь и это прихоть. Молодые сами должны ребенка растить, все трудности испытать, И будет потом Болат, как я с ним когда-то, гулять со своим маленьким… Но тогда он еще ничего не поймет. Пусть пройдет лет двадцать. Вот лет через двадцать он поймет цену отцу…

Старик снова замолчал. Он глядел не то на цепи высоких, подернутых синевой гор — снежный пояс их, свидетельствуя о конце лета, опустился значительно ниже прежнего, — не то на ослепительно голубое небо, — в общем, куда-то вдаль, и на лице его было выражение благости и довольства…

Неожиданно мне захотелось подшутить над стариком. Мне захотелось спросить его: «Ну, а сколько же времени тому, как вы сами познали цену отцу?» Но, вспомнив о своем отце в далеком ауле, которому мне все недосуг было писать письма хотя бы раз в месяц и от которого не имел уже вестей бог знает с каких пор, вспомнив о своем

сыне, с того времени, как пошел в школу, переставшем играть со мной и оседлывать меня как верблюда, о своем маленьком сыне, у которого начал уже появляться свой собственный взгляд на мир, я промолчал.

Не так давно моя работа снова привела меня в музей. На этот раз мне предстояло сидеть в его запасниках значительно дольше, чем в прошлый. Каждый день в обеденную пору я выходил на улицу, давая отдых уставшим от неподвижности мышцам. Гулял и любовался голубями, перелетавшими с места на место, шумно плеща крыльями, и дружно клевавшими зерно. Но ни того сизого голубя с белыми крыльями, ни старика, горевавшего о безвозвратности детской поры своего взрослого, преуспевающего в жизни сына, я больше не видел.

1977

Перевод А. Курчаткина.

МИР ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Творческая биография Мухтара Магауина не совсем обычна. До того как стать известным в качестве прозаика, он успел завоевать весьма широкую популярность как историк литературы. Лет пятнадцать назад мне довелось переводить первую большую работу молодого кандидата филологических наук — в русском переводе мы назвали ее «Кобыз и копье». В Казахстане она произвела впечатление почти сенсационное и приобрела необычно широкую для такого рода трудов читательскую аудиторию: молодой ученый отодвинул на несколько веков вглубь историю родной поэзии, впервые собрав воедино и проанализировав произведения древних казахских жырау — поэтов-философов. Собранные вместе, даже лишь дошедшие до нас осколки этой средневековой поэзии засверкали ярким блеском таланта, на редкость своеобразного и первозданно мощного.

Одновременно писались и первые рассказы и

повести. Какое-то время литературное и научное творчество соседствовали — М. Магауин работал в Институте им. М. О. Ауэзова АН КазССР, в старейшем вузе республики — Алма-Атинском пединституте им. Абая. В эти годы им был подготовлен, снабжен большим предисловием и обширнейшим комментарием том «Поэты Казахстана» для «Библиотеки поэта». Но в конце концов прозаик все-таки оттеснил литературоведа. Жалеть об этом не приходится — в литературе появился художник со своим неповторимым голосом.

В то же время его прошлая работа не прошла бесследно для нынешней: естественно, познания в истории литературы у молодого литературоведа были обширнее, чем у большинства его сверстников, начинавших вместе с ним путь в прозе, и это сыграло свою роль. Никогда писатель, каким бы он жизненным опытом ни обладал, не начинает на пустом месте. У него всегда есть литературные учителя. Иначе быть не может. В каждом хоть сколько-нибудь значительном и талантливом произведении пробегают токи от ближних или дальних литературных источников. Это не имеет ничего общего с литературщиной. Просто невозможно воплощать в литературную форму новый

материал жизни, игнорируя опыт того, кто шел перед тобой.

У М. Магауина таких источников было больше, чем у большинства его ровесников. Он широко использует опыт классической западноевропейской новеллы XIX века. Его рассказ «Счастье Тулымхана» — явная ироническая реминисценция Мопассана. В «Архивной истории» чувствуются и Бальзак и Уэллс. Его повести о животных — собаке, коне — заставляют вспоминать о замечательном писателе Э. Сетон-Томпсоне. И все это не мешает М. Магауину быть оригинальным современным казахским прозаиком со своим жизненным материалом, своей темой, своим видением мира. Он принадлежит к отряду писателей «среднего поколения», который в казахской литературе представлен именами Абиша Кекильбаева и Дулата Исабекова, Дукенбая Досжанова и Оралхана Бокеева. В чем же состоит своеобразие Мухтара Магауина?

Детство писателя прошло в ауле, он хорошо знает аульную жизнь и охотно обращается к ее изображению. Однако в отличие от большинства своих литературных сверстников М. Магауин не меньше внимания уделяет и городу. Причем это в основном город старых окраин и новых

микрорайонов, город студенческих общежитий и частных квартир.

Важно, что «аульная» и «городская» тема существуют в творчестве Магауина не параллельно. Он показывает аул и город в их взаимодействии, взаимовлиянии. Это отнюдь не противопоставление суетности города мудрости аула. Правда, рассказ «Ливень» на первый взгляд можно толковать именно так: горожанин-неудачник, ничего в общем-то не добившийся в столице и вместе с тем отвыкший от аульной жизни, — и его ровесники, здоровые, прямодушные аульные парни. Его, дрожащего от холода, гроза загнала в какую-то грязную расселину, а они под хлещущими струями, при блеске молний гоняют лихой кокпар. Но ведь как раз в этой повести незадачливый герой в своей застольной речи невольно пародирует такое противопоставление, доводя его уже до откровенной пошлости: «Вот вы говорите — Алма-Ата, столица. О воде и дровах думать не надо. Магазины под рукой. В магазинах — все, что душа пожелает. Живи себе и вкушай все радости этой жизни. Вроде бы все так. Но наш брат казах, для которого вольная степь — родной дом, ему душно в городе, тесно, дома лезут друг на друга, на каждом шагу смотри, оглядывайся — здесь не

пройдешь, там не проедешь, народу — толпы». Нет, и повесть «Ливень» явно «не про то».

Собственно, взаимоотношения аула и города интересуют писателя не сами по себе, а как частный, хотя и яркий, пример проблемы, которая целиком захватывает его внимание, — проблемы нравственных обязанностей человека. Его герои — и студенты, и давно перешагнувшие студенческий возраст — как бы держат непрерывный, бесконечный экзамен на право называться настоящими людьми, держат его перед временем, перед обществом, перед собой.

В чем драма Уакаса, главного героя «Ливня»? Да в том, что «он вообще обладал способностью быстро осваиваться с обстоятельствами, даже весьма неожиданными». Всю жизнь Уакас приспосабливался к обстоятельствам, не пытался бороться с ними, плыл по течению, но он по крайней мере не делал подлостей. А герой «Смуглянки» — молодой ученый Бексеит, примеряясь к обстоятельствам, походя растоптал самое дорогое, что дала ему судьба, — любовь, семью, ради ученой карьеры предал свой дар, поступился честью в науке — и вот сидит, постаревший, в своем шикарном профессорском кабинете, перебирает черновики написанных трудов, ругается с

женой — вздорной, похотливой и хитрой Гульжихан, читает письмо из родного аула, куда когда-то бежала смертельно оскорбленная им первая жена Айгуль: «Вы спрашивали про своего сына Секена, то есть про нашего родного племянника Сейтжана Ниязова. Сейтжан жив-здоров, дела у него идут хорошо, живет и радуется жизни, как все его сверстники. Это джигит огромного роста и богатырской силы. На каждое плечо по человеку посадить может. Одна беда — из-за болезни ушей он дальше второго класса не пошел. А так Сейтжан ничем не хуже других, все понимает, если на руках показать».

Аспиранту, тогда еще спешившему с защитой диссертации, «некогда» было заняться болезнью ребенка.

И самое главное, понимает Бексеит: никуда от Гульжихан ему не уйти, они теперь — два сапога пара.

Здесь следует сказать вот что: М. Магауин, конечно, хорошо понимает, что в каждом человеке — пусть в разных пропорциях — перемешано хорошее и дурное. Однако есть моральные границы, перейдя которые человек теряет право на сочувствие. У М. Магауина эти границы проведены очень жестко. Он беспощаден не только

к таким, как Бексеит и Гульжихан. Он отказывает в малейшем сочувствии и хорошенькой студентке Кульмире, с холодной расчетливостью выбирающей будущего спутника жизни («Непредвиденная встреча»), и бестолковым представителям совхозного «среднего звена» Токмату и Тлеукену, пьяницам и пустомелям («Ночные гости»). И здесь с автором нельзя не согласиться. Но когда он так же холодно-враждебно изображает вернувшегося в аул инвалида-фронтовика Дауренбека (повесть «Дети одного отца»), то начинаешь думать, что в данном случае писатель, как строгий и в общем-то справедливый судья, все же не лишен порой пристрастности и не всегда принимает во внимание смягчающие обстоятельства.

Естественно, писатель не предлагает никаких всеобъемлющих моральных рецептов. Все зависит от этих самых обстоятельств, которым не следует подчиняться, но которые необходимо учитывать. Иногда, чтобы быть порядочным человеком, требуется предельная деликатность и скромность («Наш родственник, дядя моих детей», «Матери»), иногда эти же качества, как это ни странно, могут привести к беде («Строптивая»). Гордая красавица Батиш, отвергавшая всех

аульных джигитов, полюбила фельдшера Бейсена, парня и умного, и серьезного, и не хлюпика какого-нибудь — боксер, набил морду недавно вернувшемуся из мест заключения Жартыбаю, который приставал к девушке. И все же мужем Батиш стал, к удивлению всех и к ее несчастью, этот самый хам Жартыбай. Для писателя, конечно же, неприемлема такая позиция: «В жизни ты все время схватываешься с кем-то, с кем-то грызешься, борешься, пинаешь и толкаешься локтями — до того ли тут, чтобы смотреть на чье-то настроение, блюсти чьи-то интересы… Скольких ты бьешь по лицу, скольким переходишь дорогу! Простейший пример: ты, протолкавшись, залез в автобус, а кто-то из-за тебя остался снаружи. Одно досадно: без этого жить ведь и невозможно».

Нет, говорит писатель, так жить невозможно.

М. Магауин постоянно подчеркивает социальный, общественный смысл моральных норм. Вот «Архивная история», рассказ «про маленького, тщедушного старика Самета, безвылазно просидевшего сорок два года в архиве, сделавшего великие научные открытия, но не нашедшего времени написать о них ни единой строчки и пустившего перед смертью все свои бесценные материалы по ветру… и про наследника его, са-

мой логикой вещей призванного, казалось бы, не просто продолжить, но и направить его дело в новое русло… Сембека, растратившего попусту данный ему природой талант». Увы, и Сембек идет по пути Самета, превращается в своего рода Скупого рыцаря, бесцельно хранящего в тайне сделанные им открытия. Сембек — великий труженик, большой талант, он совершенно бескорыстен, он сознательно отказывается от всех житейских благ, и тем не менее его поведение аморально, и прав рассказчик, бросающий в лицо своему старому приятелю гневные слова: «Для чего все это, чем ты занимаешься? Во имя какой цели?.. Ведь это — сокровища твоего народа… Значит, ты преступник, намеренно запер ворота к этим сокровищам».

Обратила на себя внимание читателей и критики повесть М. Магауина «Дети одного отца». Это история усыновления в годы войны людьми далекого аула шести маленьких детдомовцев — ребят разных национальностей. Рассказана она писателем без сентиментальности, правдиво, жестко.

Перед распределением детей баскарма аульного колхоза говорит: «Мы сыновей лишились, а те, что стоят перед вами, — родителей. Две половин-

ки — одно целое...»

Конечно, побуждения аульчан, берущих приемышей, — а берут их в основном те семьи, где сыновья погибли на войне, — чисты и благородны. Но, показывает писатель, этого еще мало. Нужно найти путь к детской душе. Не всем это удается. Якова-Жакыпа усыновила одинокая Сакыпжамал. Ей искренне хочется полюбить мальчика. Но «то ли потому, что Сакыпжамал никогда не имела собственных детей, то ли потому, что Яков был уже не малый ребенок, а сама она была еще так молода, то ли потому, наконец, что не нашли друг для друга внятного языка их души, угнетенные — каждая своей — печалью, но, как там ни объясняй, не сроднились они, не стали сыном и матерью».

Глубоко драматична судьба маленьких братьев — Нартая и Ертая. Они были отданы в разные семьи. Приемные родители Ертая старались, чтобы шестилетний мальчик начисто забыл прошлое, не давали братьям встречаться, гнали Нартая от своего дома. И дети решили идти разыскивать своего настоящего отца и погибли в зимней буранной степи.

Зато в других семьях дети встречали не только любовь, но и понимание и выросли настоящими

людьми. Убедительно показывает М. Магауин культуру чувств «простых людей», их доброту, человечность, способность преодолевать вековые предрассудки.

Надо сказать хотя бы несколько слов об анималистических вещах М. Магауина («Гибель борзого», «Судьба скакуна» и др.). Эти вещи — в русле традиции, начатой в казахской литературе «Серым Лютым» М. О. Ауэзова. Звери в них — это настоящие звери, а не аллегории, поведение животных, «психология» собаки или лошади показаны в них выразительно и убедительно. И в то же время это, конечно, и о людях. Не только потому, что вокруг четвероногих персонажей действуют лаконично, но ярко выписанные персонажи людей аула и города, но и потому, что судьба зверей заставляет нас задуматься о человеческой морали.

Наиболее крупным как по объему, так и по значению произведением М. Магауина до недавних пор являлся роман «Голубое марево» — один из немногочисленных еще в казахской литературе городских романов.

Город, описанный в романе, узнать нетрудно. Это Алма-Ата, но Алма-Ата для читателя, привыкшего к описаниям зеленого знойного города,

необычная — зимняя. Автор умеет передать своеобразную красоту оцепеневших деревьев, заснеженных аллей и скверов, снегопада в городе в коротких и выразительных пейзажах: «Тропка впереди совсем исчезла. Снег на тротуаре лежал сплошным настилом, а вверху с обеих сторон сплетались дубовые ветви. Они двигались внутри светлого туннеля».

Действие романа начинается в октябре-ноябре, а кончается в мае. Но и последний пейзаж в книге — не весенний. Это картина внезапно, хотя и ненадолго, вернувшейся зимы.

«Снег засыпал крыши домов, тротуары, выбелил нити проводов над улицей. Снег лежал густыми хлопьями на зеленой, едва распустившейся листве, пригибая к земле отяжелевшие ветки. В прозрачном и звонком от мороза воздухе особенно резко проступали контуры гор. Казалось, их вершины приблизились, нависли над городом.

Сухо похрустывающий под ногами, весь в холодных голубых отливах, снег покрыл весеннюю землю, согретую солнцем, разбуженную, зазеленевшую первой нежной травой…

Недолго держались заморозки, но когда они отступили, яблони в садах стояли осиротелые,

голые».

«Голубое марево» не только городской, но и «зимний» роман. Сумрачный колорит декабрьских алма-атинских туманов неотделим от сюжета произведения, он ощутим в авторской интонации повествования. Можно сказать, что «Голубое марево» — это роман о потерях. Тех потерях, что неизбежны во время становления и возмужания характера, потерях, которые выковывают его твердость. Но менее горькими они от этого не становятся.

Это тоже произведение об экзамене — экзамене чувств, экзамене характера.

Было бы чересчур прямолинейно сказать: суть романа в том, что перед двадцатидвухлетним аспирантом, талантливым филологом Едиге Жанибековым впервые раскрывается противоречивая, порой драматическая, порой трагикомическая сложность окружающего мира. Нет, Едиге умный парень, как-никак пять лет до аспирантуры он прожил в студенческом общежитии, глаз на происходящее вокруг не закрывал, в молочные реки и кисельные берега, якобы расположенные невдалеке, не верил. Правда, материальных трудностей Едиге не испытывал никогда. В простеньком казенном шкафу его

аспирантской комнаты в университетском общежитии висит восемь хороших костюмов. Ему не приходится с нетерпением ждать дня стипендии, поскольку у него есть обеспеченные родители и еще «три-четыре семьи», которые любят его, «как родного сына». Однако Едиге вовсе не является исключением в своей среде, хотя, конечно, у них в общежитии немало аспирантов, вынужденных между стипендиями занимать рублевки у своих более удачливых в смысле родственников коллег.

Но одно дело — со стороны наблюдать шершавость жизни, а другое — испытывать ее на своих боках. Едиге сталкивается с этой шершавостью. Жестко и больно. И… брезгливо отступает, очень гордясь в душе своей порядочностью и своим умом. И отсюда приходит потом полынная горечь потерь.

С точки зрения юношеского максимализма аспиранту Едиге Жанибекову вроде бы есть чем гордиться. Он отступает не из-за отсутствия храбрости, нет, в стычках с противниками он смел, дерзок, язвителен. Когда невежественный, бездарный и бесчестный доцент Бакен Танибергенов поучает его: «Уважение к наставникам, приличия, благовоспитанность — где они? Поро-

га не перешагнув, рветесь к столу, на почетное место. Мы в свое время каждое словечко старших ловили, на заботу добром старались ответить. И хуже от этого не сделались, а?.. Многое, многое вы пока не поняли, да...» Едиге резко бросает ему в ответ: «Ничего, вы нас еще всему научите...» Зная, что Бакен стерпит любую обиду, если почует какую-то возможность выдвинуться, прославиться, Едиге издевательски рассказывает ему о своем «открытии» — якобы найденной им в горах Заилийского Алатау надписи на камне, — и доцент, увлеченный идеей присвоить открытие наивного, неопытного аспиранта или хотя бы примазаться к этому открытию, слушает развесив уши.

Едиге возмущают податливость, бесхребетность его товарища по аспирантской комнате, бессребреника, бедняка и неудачника, математика Кенжека, ошеломившего однажды своего соседа таким «радостным» признанием: «Сегодня поставлена последняя точка в докторской диссертации моего руководителя. Теперь наконец я освободился. Теперь-то, дружище Едиге, и я приступлю к сбору материала для кандидатской». На возмущение товарища Кенжек робко возражает: «Никто меня не заставлял. Я мог бы и не

согласиться… Но такой хороший, просто замечательный человек… и так упрашивал, хотя ведь старше меня намного… Ну, разве тут откажешь?..» Но Едиге не принимает никаких объяснений, он видит беспринципность любого компромисса в подобной ситуации, и, разумеется, он прав.

Что же касается карьериста и проходимца аспиранта Бердибека, то Едиге просто награждает его — вполне по заслугам — пощечинами, и Бердибек, будучи физически намного сильнее, терпит, сносит их. Едиге объясняет ему, почему он должен терпеть: «Только учти: когда тебя выгонят из аспирантуры, тебе придется уже не два-три года пасти баранов, чтобы вернуться, а все двадцать — тридцать лет». «Нас обоих выгонят», — сказал Бердибек угрюмо. Но пыл его поостыл. «А я этого не боюсь, — сказал Едиге. — И вот еще одно доказательство!..» — Он снова, теперь уже по другой щеке, ударил Бердибека».

Словом, воинствующая честность Едиге вне сомнений. Но вот ведь в чем дело: ничем Жанибеков не в силах помочь Кенжеку, к которому искренне привязан. Осмеянный аспирантом, Бакен совершенно спокойно, никого не опасаясь, присваивает себе научное открытие Едиге. Он знает, что юноша способен на короткую ярост-

ную вспышку, но совершенно не подготовлен к сколько-нибудь серьезной борьбе. Разоблачить махинацию Бакена в принципе было вполне возможно. Но Танибергенов не сомневался, что аспирант и не попытается сделать это: он слишком «чист» для разоблачений.

В этой «чистоте» Едиге немало эгоизма, самовлюбленности, снисходительного равнодушия к окружающим. Бердибеку пощечин-то надавал, но фактически сам толкнул к нему Гульшат, влюбленную в Едиге. Да и Едиге горячо любил девушку, а потерял ее нелепо и безвозвратно. История этой недолгой любви написана в романе с щемящим лиризмом, тонко и нежно. Собственно, и не понять, с чего началась размолвка, но трещина все ширится, пока не превращается в пропасть, которую уже не перешагнуть. Но если внешние причины разрыва случайны и почти неуловимы, то внутренняя ясна и четко различима: это та самовлюбленность и гордыня Едиге, которая не дает ему сделать шаг навстречу даже любимому человеку.

В мучительном и медленном становлении Едиге большую роль играют два человека, чей пример — негативный — заставляет его задуматься над тем, действительно ли порядочно

его пассивное «благородство» и не выглядит ли смешной его твердая уверенность в своих интеллектуальных силах, неколебимая вера в свою звезду. Первый из них — большой ученый, научный руководитель аспиранта профессор Бекмухамедов. Максимализму Едиге импонируют те горячие тирады, которые обрушивает старый профессор на головы ремесленников и приспособленцев в науке вроде Бакена: «Почему, объясните мне, ученые, исследующие русскую литературу, обычно владеют несколькими языками, отлично знакомы с историей… Вы же… И подобные вам… свистом, так сказать, скалы раскалываете, а сами простейших вещей не знаете!.. И не считаете нужным знать! Если ребенок едва-едва считает на пальцах, но не усвоил четырех арифметических действий, его не переведут из первого класса во второй. Зато наши «высокочтимые» желают стать докторами наук, так и не научившись считать до десяти!..»

Суровые и справедливые слова. Но, выговорившись, профессор подмахивает Бакену нужную тому рекомендацию. А потом — неделю спустя — и ставит доцента в пример Едиге: «Может быть, Бакену не хватает глубины, полета мысли, но науку двигают вперед не болтуны, а рядовые

труженики… и вообще, молодой человек, для вас пока самое главное — научиться у того же Бакена, как надо себя держать и как работать, и как, между прочим, разговаривать со старшими…»

Азь-ага — настоящий и крупный ученый, заслуженный человек, но ради душевного уюта он готов закрыть глаза и на нечестность и бездарность своих «учеников», и на то, что его родной сын превратился в паразита и тунеядца… И ничего, кроме растерянности, не вызывает у него и прямое «научное» воровство доцента Таниберге-нова… И зоркий Едиге не может не видеть что-то общее в своей жизненной позиции с позицией «слепого» профессора Азь-ага.

Не может Едиге не замечать и того, что его грандиозные творческие замыслы в какой-то мере пародируются его случайным знакомым — пожилым графоманом Кульдари, «стариком честолюбивым, бездарным и несчастным», который хочет «отразить наш век в произведении гигантском, труде титаническом… где и «Тихий Дон» оказался бы лишь эпизодом, коротенькой главкой…» А ведь когда-то Кульдари, как Едиге сейчас, «подавал надежды» — об этом свидетельствуют пожелтевшие подшивки газет двадцатых годов…

В конце повествования Едиге готов признать правоту Кенжека, когда тот, разгневанный, бросает ему в лицо горькие слова: «Ты пыжишься, надуваешься, потому что у тебя мания величия. Ты бог знает что о себе думаешь, а на самом деле ты просто трус… Гордыня тебя заела!..» Жанибеков бросает аспирантуру, уезжает куда-то на дальний Север, в «край, где расстаются с прошлым и начинают новую жизнь». Нельзя сказать, чтобы такой сюжетный поворот казался особенно правдоподобным и убедительным, равно как и краткая информационная справка эпилога: «Характер Едиге изменился в лучшую сторону. Он уже не считает себя пупом земли. Он внимателен к родственникам, обходителен, сдержан в спорах со знакомыми и друзьями. Правда, в его характере заметна некоторая замкнутость. Но это и понятно. Шесть или семь лет он провел на Камчатке или Чукотке, в краях, где природа сурова и не располагает к праздной болтовне…» В этой сухой краткости чудится затаенная ирония, словно приглашающая читателей не слишком всерьез принимать сообщения о метаморфозе, происшедшей с героем. Но некоторая нечеткость, размытость финала ни в коей мере не снимает серьезности нравственных проблем, резко и глу-

боко поставленных в романе.

Отчетливо чувствуется, что автор досконально знает жизнь своих молодых героев, искренне любит их: «У молодых людей в возрасте от двадцати двух до двадцати пяти лет (средний возраст аспирантов) не хватало времени для простых житейских дел, из которых складывается повседневное существование. Они жили будущим и для будущего, направляя свою не растраченную на пустяки энергию к отдаленным целям. Как сказал бы поэт, ветер великих надежд раздувал широкие паруса их желаний». Но отношение автора к изображаемому им кругу начисто лишено сентиментальной умиленности.

«Мухтар Магауин отлично знает историю своего народа», — еще в 1969 году сказал Чингиз Айтматов о молодом тогда писателе. Разумеется, естественно, что в конце концов прочные научные интересы историка родной литературы не могли не привести талантливого прозаика к историческому жанру. Наиболее крупная работа М. Магауина последних лет — историческая дилогия «Смутное время». Сейчас она переводится на русский язык.

Писатель обратился к далеким временам — действие происходит в 1588—1610 годах в казахской

степи, Сибири и в Москве. Среди персонажей книги — казахский хан Тауекелл, царь Федор Иоаннович, Борис Годунов, Кучум, Болотников, Марина Мнишек, Лжедмитрий II, а главный герой романа — сын и наследник Тауекелла Ораз-Мухамед. Судьба этого исторического лица была уникальной даже в ту богатую необычайными судьбами эпоху. Семнадцатилетним юношей он попал в Сибирь в плен к русским, был перевезен в Москву, остался при дворе русского царя, став крупным государственным деятелем и полководцем — он командовал всеми «инородческими» войсками, был воеводой, ханом зависимого от России Касимовского ханства. Во время крестьянского восстания Ораз-Мухамед со своей дружиной примкнул к нему, позже он был предательски убит по приказу Лжедмитрия II.

Не придворная и батальная хроника, не романтические похождения героев интересуют автора. Сам Мухтар Магауин говорит, что его дилогия противостоит попыткам перенести в национальную литературу «вальтер-скоттовскую» традицию, возрождать которую — а таких попыток немало — в конце XX века явно нецелесообразно. И в своей исторической дилогии М. Магауин — последовательный и строгий

реалист. Он определяет свою книгу как художественное исследование далеких истоков дружбы русского и казахского народов, истоков братства и человеколюбия. Путь к ним нелегок, он идет, преодолевая вражду и отчуждение, рознь и боль. Но это единственный путь, предначертанный историей…

Невыдуманная жизнь встает со страниц произведений Мухтара Магауина, серьезного и строгого писателя, герои которого страстно ищут и стойко защищают подлинные нравственные ценности.

П. КОСЕНКО